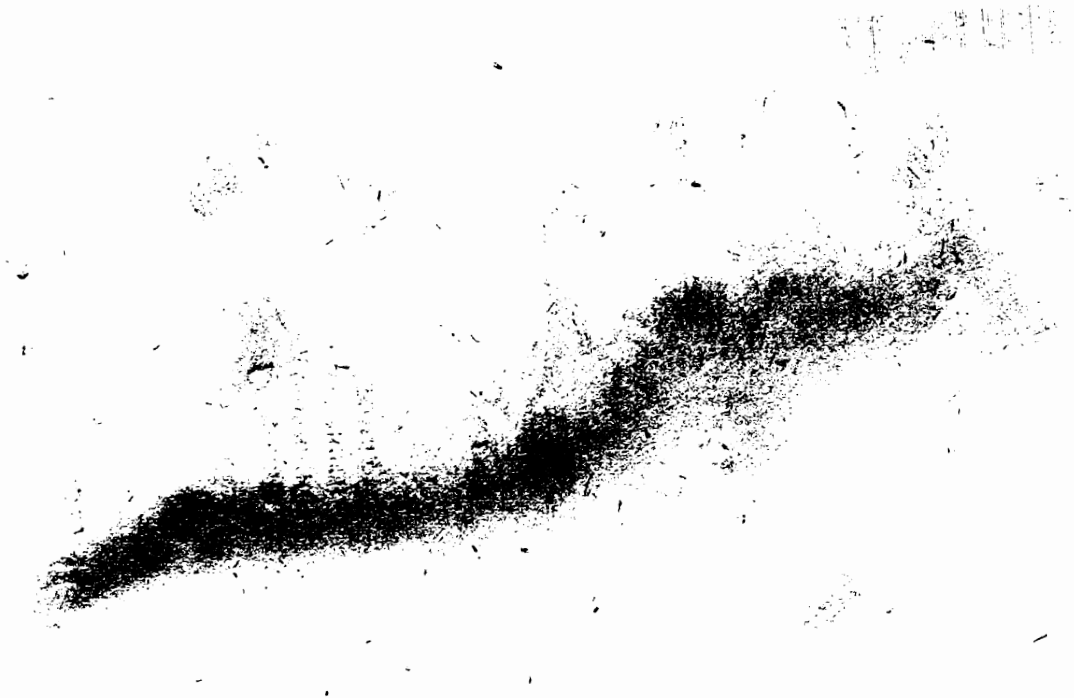
# Владислав Крапивин



# Владислав Крапивин

Собрание
сочинений
в девяти
томах

Издательство «91»

# Владислав Крапивин

Тома 4 и 5

Издательство «91»

ББК 84Р7
К 78

Художник
П. В. Крапивин

К $\frac{4803010201-000}{92}$ 3—92

© Владислав Крапивин, 1992

# СКАЗКИ СЕВКИ ГЛУЩЕНКО

*Повесть*

## Что такое стихия

На дальнем-дальнем Севере, где круглое лето днем и ночью светит солнце, а всю зиму — полярное сияние, жители строят дома из оленьих шкур. Очень просто. Берут они длинные шесты, втыкают их по кругу в землю или в снег, а вверху связывают вместе. Получается как бы скелет шалаша, но называется он не «скелет», а «каркас». На каркас набрасывают шкуры. Вот и готов дом.

За меховыми стенами крякает мороз и топчутся олени — роют снег, чтобы добыть на ужин мох; сверху через круглое отверстие заглядывают озябшие звезды, а холод не попадает: его прогоняет горячий дым от костра, который горит посреди шалаша.

Наверно, в таком доме тепло и уютно, и все это напоминает сказку про Снежную королеву.

Одно непонятно: откуда северные жители берут шесты? В тундре только ползучие кустарники растут. Видимо, приходится запрягать в нарты оленей или собак и ездить за жердинами в тайгу...

Севке проще. Ему для шалаша нужен всего один шест, и ездить за ним никуда не надо. Еще в сентябре его подарил Севке Гришун.

Гришун учится в ремесленном училище и держит голубей. У него несколько шестов, которыми он этих голубей гоняет. Гришун совсем большой, он курит и ругается иногда совершенно жуткими словами. Но когда Севка подошел и спросил, можно ли взять один шест для важного дела, Гришун не пригрозил надавать по шее и никак не обозвал. Он сказал:

— Бери и уматывай на́ фиг, не путайся под сапогами...

Счастливый Севка втащил тонкую жердь в свое окно и уложил за кроватью вдоль плинтуса.

С тех пор Севка часто строил шалаш. Конечно, не в далекой тундре, а прямо в комнате, на кровати. Когда мамы не было дома.

В деревянном старом доме стояла тишина. Но не сильная, не до звона в ушах. За дощатой стенкой бубнила еле слышно Севкина соседка — четвероклассница Римка Романевская. Она учила правила по русскому языку. Эти правила она целыми днями долбила. Один раз Севка пошел в уборную в конце двора и слышит из-за дверцы: «Мягкий знак после шипящих согласных в конце слова ставится у существительных женского рода... Мягкий знак после...» Севка стоял, стоял, переминаясь с ноги на ногу, а потом не выдержал:

— Эй ты, существительное женского рода! Скоро вылезешь? Мне тоже надо!

Но нахальная Римка сказала, что не скоро, и Севке пришлось идти за угол...

Кроме Римкиного бормотанья слышался очень далекий и приглушенный голос тети Даши Логиновой. Это уже не в доме, а на дворе. Тетя Даша ругала сына, первоклассника Гарика, и, конечно, грозила выпороть. Но это не страшно. Пока тетя Даша кричит, от беды далеко. А вот когда она становится молчаливой и решительной — держись, Гарик.

Отчетливо щелкали ходики, а в комнате Ивана Константиновича еле слышно играло радио. Эти звуки не прогоняли вечернюю тишину, а вплетались в нее, и тишина делалась спокойной и доброй.

И все было хорошо. Жаль только, что мама придет еще не скоро.

Севка вытащил шест и положил его концами на спинки широкой маминой кровати. Потом накинул на него старый полушубок и свое одеяло. Подоткнул края под матрац.

В таком шалаше хорошо придумываются всякие приключения. Но сейчас придумывать не хотелось. Не такое было настроение. Севка достал из «Пушинского календаря» маленькую мамину фотографию и с ней забрался в свое укрытие.

В той части шалаша, где крышей служил полушубок, стояла теплая мохнатая темнота. А вытертое одеяло просвечивало, и мелкие дырки сверкали, как электрические звездочки. Севка пристроил фотографию во вмятине подушки и сделал в шалаше щелку, чтобы луч от лампочки падал на мамино лицо.

И получилось, что он вдвоем с мамой.

Было немножко грустно и все-таки хорошо. Севка будто даже мамин голос услышал. Как она поет песню о тонкой рябине.

Севкина мама часто пела, когда что-нибудь делала дома. Чистит картошку, или зашивает продранные Севкины штаны, или белит известкой печку-плиту — и поет. Но это негромко, для себя. А иногда (правда, это нечасто бывало), если приходили гости, мама пела для всех, и все ее хвалили. А в давние времена, еще до войны, когда Севка был крошечным и они жили в Ростове, мама пела на концертах. За это ей однажды подарили книгу «Пушкинский календарь». Там на гладком листе было написано черными чернилами: «Татьяне Федоровне Глущенко за активное участие в художественной самодеятельности. Нач. кл. Сергиенко». «Нач. кл.» — значит начальник клуба моряков.

В сорок первом году, когда эвакуировались из Ростова, мама взяла «Пушкинский календарь» с собой. Потому что Севка очень любил эту книгу. Гладкие белые листы в начале и в конце книги он изрисовал разными картинками (очень уж хорошая была бумага!), с удовольствием разглядывал портреты и рисунки, узнавал на страницах знакомые буквы и цифры. А потом по стихам Пушкина мама учила его читать.

Тяжелый календарь в твердых коричневых корках был самой давней семейной вещью у Севки и у мамы. Самой своей. Да еще большой потрепанный чемодан, с которым Севка и мама приехали в сибирские края. Все остальные вещи появились потом, постепенно: кровать, старый сундук, стол, две табуретки, рассохшийся фанерный шкаф,

зеркало, посуда и все другое, что необходимо людям, когда они живут на одном месте.

Появились и кое-какие книги, но все равно «Пушкинский календарь» был самый любимый. Иногда Севка читал его один, а иногда с мамой. Благодаря календарю и маме он узнал еще до школы очень важные вещи. Не только про Пушкина, но и про многое другое. Оказывается, цари были очень плохие люди. Они грабили и угнетали народ. Цари защищали помещиков, которые издевались над бедняками. Эти помещики били крестьян кнутами и прутьями и продавали их, будто коров или лошадей. Наконец народ не выдержал, и случилась революция. Царя, помещиков и всяких буржуев свергли. Пушкин тоже был за революцию, но он до нее не дожил, потому что один гад по имени Дантес смертельно ранил его на дуэли.

Пушкин умер десятого февраля 1837 года... А ровно через сто лет и один день родился на белый свет Севка Глущенко.

Это число в «Пушкинском календаре» мама обвела красным кружочком. Но Севка не любил страницу со своим днем рожденья. Там была напечатана маска Пушкина. Маску сделали, когда Пушкин умер, и она была с закрытыми глазами. И еще одну страницу — где Пушкин в гробу — Севка не любил. Страшновато было смотреть, а самое главное — очень жаль Пушкина. Ну почему, почему он не успел выстрелить первым?

Севка, уже который раз в жизни, пожалел Пушкина, разозлился на подлого буржуя Дантеса и подвинул к себе «Календарь». Стал его листать. Свет из щели упал на восемьдесят третью страницу. Там была похожая на фотокарточку картинка: Пушкин стоял на скалистом берегу, плащ у него развевался, а перед ним кипели волны. Под картиной были стихи, которые Севка очень любил. Вернее, любил их начало. Стихотворение было большое и не совсем понятное, но первые строчки — печальные и гордые — Севке нравились так, что каждый раз щипало в глазах.

Прощай, свободная стихия!
Последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Мама объяснила, что Пушкин это написал, когда уезжал от моря и прощался с ним.

Севка тоже однажды уехал от моря. Но это было очень давно, и море Севке запомнилось плохо. Что-то сероватосинее, встающее неоглядной стеной. Но все равно Севка его любил. Море — это была стихия. Севка однажды спросил у мамы, что такое стихия, и она объяснила. Стихия — это что-то громадное и сильное: бушующий ветер, гроза, землетрясение. И море...

И стихи Пушкина — тоже стихия:

«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...»

«Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий...»

«Ужасный день! Нева всю ночь рвалася к морю против бури...»

И если даже стихи не про бурю, не про ветер и море, стихия в них все равно чувствуется, только она спокойная. Море ведь тоже бывает спокойным, но оно и тогда могучее...

Севка пошептал про себя четыре строчки про стихию, хотел еще полистать «Календарь» и услышал, что на улице, за двойными рамами с треснувшим стеклом, тоже просыпается стихия. Нарастал резкий ветер. Стекло начало потихоньку дребезжать, быстрый воздух свистел в сучьях тополей, которые росли у кирпичной стены пекарни.

Сразу было понятно, что ветер этот пронзительный и, наверно, завтра он принесет снег. Снег — это здорово, это веселая зима, санки, близкий Новый год. Он, этот сорок шестой год, будет очень хороший, потому что первый год без войны, так все говорили. Но пока от ветра делалось неуютно. Тоскливо даже. И мама не скоро придет, у нее в Заготживсырье опять собрание, и она должна печатать протокол. Она часто задерживается — то на этих дурацких собраниях, то на сверхурочной работе, на которую все должны ходить, хотя «сидишь в конторе, как пень, и делать абсолютно нечего».

Севка тревожился. Ходить поздно вечером по улицам опасно. Бывает, что нападают бандиты с финками, отбирают у прохожих деньги, продовольственные карточки и одежду. Иногда маму провожает с работы капитан Иван Константинович Кан, который живет в комнате за левой стенкой, он возвращается домой из пехотного училища и заходит за мамой в Заготживсырье. Но сегодня он до утра на дежурстве.

Севка поворочался в своем шалаше, чтобы прогнать неспокойные мысли. Они, конечно, не прогнались, они любят привязываться, когда человек один-одинешенек. Мо-

жет, пойти к Романевским? Иногда там весело и даже покормить могут (а то свою порцию пшенной каши Севка слизнул сразу после школы, и в животе опять пусто). Но, кажется, Соня еще не пришла, у нее шесть уроков во вторую смену, а бестолковая Римка все долбит свои правила...

Севка выбрался из-под полушубка и подошел к окну. Бумага, которая закрывала щель в стекле, оторвалась, от окна дуло. Пробившийся с улицы воздух стекал с подоконника, льдисто холодил сквозь чулки Севкины ноги. Но Севка не ушел. Сел на табурет, попытался натянуть на коленки штаны из гимнастерочной ткани, сунул ладони под мышки, спрятал подбородок в растянутый воротник тонкого хлопчатобумажного свитера и стал смотреть, какая за окнами ночь.

Ночь была с луной. Минуты две Севка размышлял, почему луна бывает разная: иногда громадная, будто стол в комнате Романевских, а порой — малюсенькая, с пятак. Сейчас луна была величиной с мячик. И очень яркая. Она висела неподвижно, потому что не было ни облачка. Если есть облака, луна всегда катится им навстречу — словно колобок, за которым гонится волк. Но сейчас резкий ветер выскреб небо — как метлой из жестких прутьев (такой метлой тетя Лиза в школе чистит крыльцо от слежавшегося снега и ледяных крошек; этой же метлой иногда награждает по спинам тех, кто носится сломя голову и мешает работать). Ветер этот дергал и мотал корявые черные ветки тополей.

Если долго смотреть, может показаться, что кто-то в ветках суетится, вертится. Может быть, разбойники или даже какие-нибудь страхилатины — например, Баба Яга. В прошлом году Севка, если был вечером один, побаивался смотреть в чащу веток. А сейчас не боится, потому что никаких Баб Яг (или как: «Бабов Ягов»?) на свете совершенно не бывает. Поэтому сейчас и сказка начала придумываться нестрашная. Будто в тополиных ветках поселились обезьяны. Не такие, как в Африке, а специальные — северные. У них густой мех, добрые желтые глаза, и сами они добродушные и дружелюбные. И у них есть детеныш — маленький обезьянчик (или обезьяненок? Или обезьяныш?). Когда выпадет снег, он прыгнет сверху в мягкий сугроб и приковыляет к Севке в гости. Он пушистый, ласковый и веселый. И они с Севкой...

Что они будут делать, Севка не придумал. Что-то случилось. Все осталось прежним — луна, ветки, скрежет и подвывание ветра, но Севка весь напрягся — с радостным

ожиданием. Будто уловил еле слышный сигнал. Нет, это был совсем неслышный сигнал, даже непонятно что. Но Севка уже знал: идет мама.

С минуту он сидел с радостью и беспокойством — не ошибся ли? Но потом уже явно уловил мамины шаги на лестнице. Захлопали двери — в сенях, в коридоре. Вот мамин голос — она весело поздоровалась с тетей Аней Романевской. И теперь уже у двери...

Севка дернулся, чтобы кинуться к порогу... и остался на табурете. Он был сдержанный человек, Севка. По крайней мере, старался быть сдержанным. И когда мама вошла, он только улыбнулся ей навстречу.

— Севёныш! Ты зачем у окна? Тебя всего просквозит!

— Не просквозит, я тут недолго... — Севка неторопливо встал, подошел, тронул щекой мамин рукав. На улице еще не было снега, но северный ветер пропитал жесткое сукно льдистым воздухом, и от мамы пахло веселой зимой.

Мама торопливо разматывала пушистый платок. Севка поднял на нее глаза.

— А ты почему так рано? Говорила — собрание...

— Собрание получилось короткое... А ты что, не рад, что я пришла?

— Наоборот, — солидно сказал Севка. — Просто удивился.

Мама оглядела комнату.

— Я смотрю, ты тут поработал. Опять на кровати сооружение.

— Сейчас уберу.

— Вот-вот, убирай... А я печку растоплю, сварю макароны на молоке...

— И с сахаром, — облизнулся Севка.

Скоро печка гудела, стреляла, потрескивала и свистела, будто она топка скоростного паровоза. А кастрюля на плите пфыкала, как паровой котел. Мама кинула в нее целую охапку сухих трескучих макаронин (Севка ухватил одну и сунул в рот, как папиросу).

Печная дверца была приоткрыта, чтобы усилить тягу. Севка присел перед ней, стал смотреть на огонь и толкать в щель кусочки коры и щепочки. Вечер обещал быть прекрасным.

Но мама разбила Севкины мечты. Она со вздохом проговорила:

— За уроки ты, конечно, не брался...

— Ну, мама... — осторожно сказал Севка. — Ну, можно же завтра.

— Знаю я это «завтра». Будут сплошные кляксы... Пока варятся макароны, садись и сделай хотя бы упражнение по письму.

— О господи, ну что это за жизнь такая, — сокрушенно произнес Севка, надеясь разжалобить маму. — Только сел человек погреться...

— Если человек будет канючить, он не получит подарок...

— Какой? — Севка пружинисто встал.

— Какой просил.

— Ручку? — осторожно спросил Севка.

— Ручку, ручку...

Севка забыл, что надо всегда быть сдержанным. Он затанцевал вокруг мамы, как вылеченные обезьяны вокруг доктора Айболита. И мама, смеясь, достала из сумки подарок.

Это была металлическая коричневая трубка. С двух сторон из нее торчали, как тупые пистолетные пули из гильзы, блестящие колпачки. Вытащишь один — там перо. Переверни колпачок, вставь тупым концом в трубку и пиши. А во втором — карандашный огрызок. Если писать таким коротышкой, его и в пальцах не удержишь, а в трубке он — как настоящий большой карандаш.

Но главное — сама трубка. Это было оружие. Из нее отлично можно стрелять картофельными пробками. Надо зарядить трубку с двух сторон, крепко надавить сзади карандашом, и передняя пробка — чпок! — вылетает как пуля. В последние дни такое чпоканье то и дело слышалось в Севкином классе. Особенно на уроках чтения, пения и рисования, когда не надо писать и решать. Стреляли счастливчики, у которых были трубки. У Севки не было. Вот он и просил у мамы несколько дней подряд.

Мама, судя по всему, не догадывалась, зачем Севке эта ручка. Думала, что просто ему нравится такая: блестящая, с карандашиком. А сам Севка насчет стрельбы не объяснял. Не то чтобы скрывал специально, а зачем лишние подробности...

Попрыгав, Севка опять стал сдержанным и потащил к столу противогазную сумку, которая была у него вместо портфеля. Достал тетрадь по письму. Она была в самодельной газетной корочке: тетради в школе выдавали без обложек, говорили, что на фабрике не хватает плотной бумаги.

Взглянув на замусоленную тетрадь, мама опять вздохнула.

— Сядь как следует... Подстели газету, стол закапаешь чернилами... Покажи, какое упражнение задали?

Упражнение было небольшое, всего три строчки. Списать предложения, вставить в словах пропущенные буквы. Подумаешь!

Наверно, оттого, что новая ручка помогала, Севка писал быстро и довольно аккуратно. И даже ни одной кляксочки не уронил: ни в тетрадь, ни на газету, ни на клеенку. Но мама все беспокоилась: ей казалось, что Севка опрокинет пузырек с чернилами («макай аккуратней!»), помнет и без того жеванную тетрадку («не ставь на нее локоть»), искривит себе позвоночник («ну, почему ты кособочишься за столом?»).

— И не торопись, никто за тобой не гонится. А то опять напишешь как курица лапой...

Севка хихикнул. Он тут же представил, как тощая грязная курица, одна из тех, что у Гарькиной матери, тети Даши, прыгнула на стол, сшибла крылом пузырек, ступила в чернильную лужу когтистой лапой и начала царапать на листе в косую линейку: «На поле растут рожь и пшеница...»

— Ну что ты веселишься? Вот увидит завтра Елена Дмитриевна твои каракули, опять расстроится.

— А у нас теперь по письму... то есть по русскому языку... теперь не Елена Дмитриевна, а Гета Ивановна. Она теперь нас учит, потому что у Елены Дмитриевны совсем глаза испортились.

— Ну и пусть Гета Ивановна. Думаешь, за такую писанину она тебе спасибо скажет?

— А она ничего не скажет, — деловито разъяснил Севка. — Она, если ей не нравится, ка-ак дернет листок из тетрадки... И — трах-трах его — на клочки. «Будешь переписывать после уроков!» Психопатка настоящая...

— Всеволод! Ты с ума сошел?

— А чего? Если она глупая...

— Учительница не бывает глупая! Заруби на носу. И чтобы больше я...

— Ага! А зачем она говорит «по́льта»?

— Что-что?

— «По́льта»! «Кто не решил все примеры, по́льта не получат и домой не пойдут!»

— Ну... мало ли что... Она просто ошиблась.

— Да, «ошиблась». Она всегда так говорит. Я один раз встал и сказал ей: «Гета Ивановна, надо говорить не

«по́льта», а «пальто», если их даже много, мне мама объясняла...»

— Д-да? — с интересом спросила мама. — И как же отнеслась к этому Гета Ивановна?

— Нормально отнеслась, — вздохнул Севка. — Даже не заругалась. Только сказала: «Если ты такой умный, иди учиться к своей маме».

— Вот видишь! Разве можно делать замечания учительнице! Да еще при всем классе.

— А как же быть? — удивился Севка. — Раз она неправильно...

— Ну... в крайнем случае, подошел бы, когда она одна, вежливо сказал ей: «Гета Ивановна, вам не кажется, что вы немножко ошибаетесь?»

— Да подходил я к ней и так... вежливо, — отмахнулся Севка. — Она недавно нам рассказывала про битву под Москвой и говорит: «Немецкие «мессершмитты» изо всех сил бомбили наши позиции, но ничего у них не получилось...» Я на перемене ей сдазал тихонечко: «Гета Ивановна, «мессершмитты» не могут бомбить, это же истребители...» А она как заорет: «Надоел ты мне, как зубная боль! Вон отсюда!» Схватила меня за лямки и как потащит в коридор... — Севка пошевелил спиной. — У меня даже в пузе забулькало с перепугу...

— Ох уж какой боязливый! Подумаешь, из класса выставила. Не укусила ведь...

— Я не про то, что укусила... Я подумал: вдруг Елена Дмитриевна совсем от нас уйдет, а Гетушка вместо нее навсегда сделается.

— Не Гетушка, а Гета Ивановна, — не очень уверенно сказала мама. — Что это мы с тобой разболтались! Ну-ка, пиши, а то до ночи не кончишь.

— Уже кончил. Вот, словечко последнее осталось...

Севка дописал, закрыл ручку, и она опять стала похожа на удивительный патрон, у которого с двух сторон торчат пули. Севка подкинул ее на ладони.

— Эх, картошечку бы мне, — мечтательно сказал он. — Хотя бы одну...

С картофелиной можно было бы пробраться на кухню — там сейчас никого нет — и разок попробовать, как действует новое оружие. Но мама о Севкиных планах не догадывалась. Она решила, что Севка просто соскучился по жареной картошке — золотистой, хрустящей, на подсолнечном масле. И утешила:

— Скоро привезут. Иван Константинович обещал помочь с машиной.

Картошку, которую мама весной сажала, а летом окучивала (Севка помогал), давно выкопали, но огород был далеко за городом, а машину в маминой конторе вредный начальник Панчухов почему-то все не давал. Мешки стояли в сарае у знакомого колхозника. Сарай назывался стайка, в нем жила добрая корова Зорька с теленком Васькой. Васька Севке очень нравился, корова тоже, а хозяин был сумрачный и молчаливый.

— Не померзла бы картошечка-то, — озабоченно сказал Севка, слушая ледяной ветер. — Вот как выставит дядька мешки на двор, чё с него возьмешь...

Мама засмеялась:

— «Чё возьмешь». Сибирячок ты мой... Не выставит. Может быть, завтра уже привезем. Вот тогда нажарим, наварим. А пока давай макаронами ужинать.

Макароны, сваренные на молоке, посыпанные сахарным песком, были восхитительны. И главное, мама сварила их сегодня много. Севка наелся так, что сразу осоловел и начал засыпать прямо на табурете. Мама постелила ему, как всегда, на длинном сундуке, который остался от прежних жильцов, кинула поверх одеяла старый полушубок — чтобы не продуло хитрым, как вражеский разведчик, сквозняком от окна — и велела:

— Брысь в постель.

Севка послушно улегся. Но не уснул. Когда мама выключила свет и тоже легла, он пробрался к ней.

— Здрасте, это что за гость, — сказала мама.

— Я немножко с тобой полежу, я спросить хочу...

— Ой, а почему у тебя ноги как ледышки? Холодно там?

— Да не холодно, не холодно... Мама, а «стихи» и «стихия» — это родные слова?

— Как родные?

— Ты же сама рассказывала, что некоторые слова от одного корня выросли, как ветки дерева. Ну, «самолет» и «летчик». «Наушник» и «подушка»... А «стихи» и «стихия»?

— Я... ой, Севка, я даже не знаю. Как-то не думала... Может быть. А сам ты как думаешь?

— Тоже не знаю. Если Пушкина стихи, то, конечно, это родные со стихией. Но ведь всякие бывают...

Они помолчали, и мама осторожно спросила:

— А ты больше никаких стихов не написал?

— Да ну... вот еще...

Дело в том, что перед Октябрьским праздником у Севки сами собой сочинились четыре строчки:

Свергнут царь, и свергнута вся свита.
Не владеть землею паразитам.
Знамя красное ярко горит —
Власть Советов всегда победит!

Маме эти стихи очень понравились, и она рассказала про них Елене Дмитриевне. Ну и началось! Сначала Севку упросили прочитать это «стихотворение» на утреннике, а потом еще поместили в стенгазете «За учебу», которая висела в деревянной рамке рядом с учительской. На утреннике Севке вежливо похлопали, в стенгазете стихи его, конечно, прочитали, и Севка, по правде говоря, даже слегка гордился. Поэтическая слава — штука приятная. Но после праздника Людка Чернецова, с которой он поругался из-за промокашки, сказала: «Дурак ты, хоть и Пушкин». Громко сказала, прямо на уроке. Елена Дмитриевна сделала ей справедливое замечание, но поздно — прозвище приклеилось к Севке. А через пару дней оно из «Пушкина» превратилось в «Пусю».

Раньше у Севки было обыкновенное прозвище — по фамилии, как у всех. Глуща, или Гуща, или, чаще всего, Гущик. А теперь какая-то Пуся...

Севка обиженно пошмыгал носом. Потом пробормотал, притворяясь, что засыпает:

— Чё писать-то... Разве я поэт?

— Кто тебя знает, — серьезно сказала мама. И добавила: — А ну-ка, беги к себе, а то уснешь.

— Я еще маленько полежу. Ну, самую чуточку...

Севка повернулся на спину и стал смотреть «кино».

Над печкой высоко в углу была щель в дощатой стене. В нее падал свет из комнаты Романевских, и на другой стенке выступал из темноты желтоватый неровный квадрат с размытыми краями. Качалась в углу паутина, шевелился клочок оторванных обоев, суетились мелкие тени. И все это складывалось в подвижные рисунки. Если приглядеться — очень интересные.

...Вот идет по пустыне медленный верблюд, вот летит над башнями старинного города большущая птица, а на спине у нее мальчишка. А вот спешит куда-то скособоченный человечек в остроконечной шляпе. Он тащит тяже-

лый ящик — наверно, шарманку. За ним увязалась добродушная лопоухая собачонка. Вернее, щенок... Щенка зовут Буль, он сперва был беспризорный, а потом подружился с кривобоким шарманщиком, и они вместе ходили по разным городам. Шарманщик играл всякую музыку, а Буль танцевал и кувыркался, и все их любили, но однажды...

— Севка, ты же совсем спишь.

— Нет, я еще маленько посмотрю.

— Что посмотришь, чудо ты заморское? Сон?

— Кино...

Шарманщик и Буль куда-то пропали, придется досматривать про них завтра...

А что, если бы по правде в углу над печкой было кино! Ложишься спать, а там включается маленький экранчик и начинается какой-нибудь фильм — не отрывочный и сбивчивый, а настоящий! Вот было бы счастье!

...Прошли годы, Севка сделался взрослым и даже пожилым Всеволодом Сергеевичем. Однажды он купил себе маленький транзисторный телевизор — похожий на игрушку, но совсем настоящий. Ночью, укладываясь в постель, он ставит иногда телевизор на стул и смотрит какую-нибудь кинокартину. Это ему нравится. Но особого счастья Всеволод Сергеевич не чувствует. Гораздо счастливее он был, когда смотрел в углу над печкой неясные коротенькие сказки, сотканные из желтых лучей и паутинок. Может быть, потому, что эти сказки сочинял он сам. А может быть, потому, что было ему всего восемь лет...

## Школьные заботы

Севка отодвинул черную от старости доску, и в заборе появилась щель. Севка бросил в нее сумку. Потом протиснулся сам. И оказался в Летнем саду. Сад, конечно, только назывался так — Летний. Теперь он был совершенно осенний. Севка пошел среди голых высоких берез. Он весело раскидывал ногами жухлые листья. На листьях блестела тонкая пыльца изморози. Новая кожа ботинок покрывалась от нее тонкими, как волоски, влажными полосками.

Севка шел в ботинках, а не в старых кирзовых бахилах, потому что в этот ярко-синий безоблачный день уличная грязь окаменела от холода.

Ботинки мама недавно получила по ордеру на товар-

ном складе Облрыбкоопа. Но отпускать Севку в них в в школу она сегодня боялась: говорила, что холодно. Тогда Севка сказал:

— Они и так мне жмут... самую чуточку. А к весне я вырасту и они совсем не налезут, пропадут.

Мама засмеялась и сказала, что Севка слишком хитер для своих лет. И разрешила. Только велела вместо старого легкого ватничка надеть зимнее пальто.

— У-у... — сказал Севка.

— Ничего не «у». Зря я, что ли, шила его из своей почти новой тужурки?

Севка полагал, что зря. В телогрейке было ничуть не хуже. А пальто получалось длиннополое, и Севка считал, что в этой обновке он похож на тонконогую девчонку.

Но говорить этого Севка не стал. Ни к чему портить настроение, когда день такой солнечный, когда в сумке новая трубчатая ручка, когда уроки все (честное-пречестное, все!) сделаны, а завтра уже суббота, за которой придет счастливое долгожданное воскресенье...

Севка прошел мимо заколоченного летнего театра, где в мае они с классом смотрели кукольную пьесу «Веселый праздник», мимо заваленной листьями танцплощадки и через другую щель выбрался на деревянный, покрытый стылыми комками грязи тротуар. В квартале от школы. По обеим сторонам улицы шагали ребята: кто в школу, кто в другую сторону. Первая смена кончилась, вторая начнется через полчаса. Севка кинул на плечо брезентовый ремень сумки, расстегнул пальто — чтобы видно было, что под ним свитер и штаны, а не платьице — и двинулся вдоль забора, поглядывая по сторонам: нет ли знакомых?

Знакомых пока не было. Севка хотел перейти улицу, но из-за угла выскочила лихая полуторка. Ее встряхивало на булыжниках и выбоинах мостовой. В кузове, как живые, подпрыгивали мешки с картошкой. Один, видимо, лопнул — из кузова, когда тряхнуло особенно крепко, выскочили три картофелины. Несколько секунд они, кувыркаясь, мчались за машиной, будто надеялись догнать ее и прыгнуть в кузов. Но быстро устали и скатились в канаву на другой стороне улицы.

Вот это удача! Недаром Севка еще утром понял, что день будет счастливый. Лишь бы никто не опередил! Севка прыгнул через штакетник, продрался через сухие сорняки, которыми к осени заросли газоны (мертвые головки репейника вцепились в чулки и пальто), и выскочил на мостовую. Кинулся поперек улицы.

Твердый носок нового, еще не очень послушного ботинка зацепился за камень. И Севка, взмахнув, будто крыльями, полами пальто, распластался на булыжниках и замерзшей грязи.

Он поднялся почти сразу. Конечно, искры из глаз, а в колено словно гвоздь забили, но посреди дороги пусть лежат дураки и покойники. Машины-то все время туда-сюда проносятся. Да и картошку может кто-нибудь схватить...

Хромая, Севка подбежал к канаве. Картофелины лежали в бурой траве. Две небольшие, ровные, а одна — крупная, вся в шишковатых наростах. Севка поморгал, чтобы стряхнуть с ресниц слезинки, и спрятал три клубня в сумку. И наконец посмотрел на правое колено, которое болело изо всех сил.

Чулок был порван. Дырка оказалась небольшая, но Севка знал, что скоро она поползет и к вечеру будет величиной с картошку, тут уж ничего не поделаешь. Постанывая (не вслух, а про себя), Севка опять перешел улицу. Через дыру в заборе снова пробрался в сад, подальше от посторонних глаз: ему не хотелось, чтобы кто-то видел его мокрые ресницы.

Края у дырки на чулке уже промокли от крови. Если так и оставить, они присохнут к коже и потом будет больно отдирать. Севка это знал по опыту. Морщась, он спустил чулок, отыскал в сумке самую свежую промокашку, свернул ее в четыре слоя, наложил ее на разбитую коленку. Снова натянул чулок. Промокашка сперва ярко заголубела среди коричневой рубчатой ткани, но почти сразу потемнела от крови. Стала почти незаметной. Севка решил, что все в порядке. Боль ослабла. Теперь можно было заняться трофеями.

Севка вынул картофелины. Две были самые обыкновенные, а одна — большая — походила на забавную куклу. С круглой глазастой головкой, с пухлыми ручками-ножками (только ног было не две, а три), с хвостом-шариком. И рот был — широкий, улыбчивый: длинная складка на кожуре картофельной головки. Круглые ручки весело торчали по сторонам, а посреди выпуклого гладкого живота дерзко темнел большой пуп. Севка засмеялся и сразу решил, что картофельного кукленка зовут Кашарик. То есть картошка-шарик. И конечно, Кашарик не случайно выпал из кузова. Он просто-напросто удрал, чтобы отправиться в путешествие и поглядеть на белый свет. Ему, веселому и храброму, хотелось приключений и совсем не хотелось, чтобы его съели.

Севка решил, что варить или жарить Кашарика никому не даст. И резать из него пули не будет, на это хватит маленьких картошек. Он поселит Кашарика на подоконнике, сделает ему шалаш, и по вечерам они вдвоем будут смотреть на круглую Луну и наконец придумают, как до нее долететь. Может быть, на Луне живут человечки, похожие на Кашарика... А может быть, Кашарик и сам — такой человечек? Он прилетел с Луны, оказался на картофельном поле и случайно попал в мешок...

С той стороны забора протопало по тротуару множество быстрых ног. Севка сообразил, что это ребята бегут, боясь опоздать к звонку.

Сказки сказками, а в школу (куда деваться-то!) все равно пора.

Начальная школа номер девятнадцать была маленькая, одноэтажная. Вернее, полутораэтажная, потому что под классами находился еще подвал — с пустыми гулкими комнатами и низким вестибюлем. Но в подвале всегда стоял промозглый холод, и там не занимались. Одно время внизу устроили просторную и удобную раздевалку, но ребячьи пальто и ватники за полдня успевали так отсыреть и промерзнуть, что директор Нина Васильевна распорядилась прибить вешалки прямо в классах. Потому что больше негде. Наверху всего четыре комнаты — с утра в них учатся два первых и два четвертых класса, а после обеда — два вторых и два третьих. Даже для учительской не нашлось отдельного помещения, и ее отгородили от вестибюля фанерной стенкой. На переменах в стенку ударяются с разбега те, кто пробует играть в догонялки. Тогда из-за хлипкой фанеры слышится голос Нины Васильевны:

— Вы у меня побегайте, побегайте! Я вот сейчас выйду...

Но маленькую седую Нину Васильевну никто не боится, она добрая. Другое дело, когда заорет Гета. Однако Гета Ивановна в школе бывает не всегда. Она не то студентка, не то практикантка какая-то. Заменяет Елену Дмитриевну, если та заболеет. Жаль только, что болезни эти случаются все чаще...

Севка прихромал к школьным дверям, когда в руках у тети Лизы жидко дзенькал колокольчик. На ходу Севка стянул пальто, сунул в рукав свою мятую шапку со звездочкой. В классе отыскал на деревянной вешалке свобод-

ный колышек. Пальто — на вешалку, сумку — с плеча, сам — бух на скамейку за партой. Все. Успел.

Севкина парта стояла в самой середине класса — во втором ряду четвертая по счету. Севка огляделся. Все вокруг было привычно. И гомон стоял привычный: кто-то жалобно просил списать, кто-то кукарекал, кто-то дразнил толстого Насонова: «Насончик, дай халвы кусочек...» В воздухе, как обычно, реяли два или три бумажных самолетика, по ним стреляли шариками из жеваной промокашки. Запах тоже был привычный: пахло едкой меловой пылью от доски, березовым дымком от печки, пересохшей краской от парт.

А рядом сидела привычная соседка Алька Фалеева — белобрысая, с коротким прямым носиком и заботливыми глазами.

— Я уж боялась, что опоздаешь, — тихонько сказала она.

— Вот еще, — буркнул Севка.

Шум поулегся, самолетики сели на парты. Все встали. Это вошла Елена Дмитриевна. Потом стало еще спокойнее. Это Елена Дмитриевна сказала:

— Тихо, тихо, ребятки. Садитесь.

И начался урок чтения.

Чтение — это в общем-то и не урок. По крайней мере, для Севки. Не надо ни писать, ни решать примеры, а читает Севка так, что его почти никогда и не вызывают: ставят пятерку за четверть, вот и все.

Короче говоря, пришло самое время, чтобы испытать трубчатое оружие. Севка выкатил из сумки на скамью мелкую картофелину. Алька скосила на нее глаза, но спросила про другое:

— Чулок-то где порвал?

— Запнулся, — недовольным шепотом отозвался Севка.

— Болит, наверно... — посочувствовала она.

— Пфы... — пренебрежительно сказал Севка. И незаметно поморщился: колено все еще болело.

— И дыра такая... Попадет дома?

— Пфы, — опять сказал Севка сердито. И вздохнул.

Он знал, что не попадет. Но мама расстроится: вчера свитер порвал у ворота, сегодня опять «подарочек». Она сделается молчаливой, а на Севкины вопросы станет отвечать коротко и односложно. А наказания никакого не будет.

Мама только один раз в жизни отлупила Севку, да и то все кончилось смехом. Это было в первом классе, тоже

осенью. Мама побывала в школе и узнала от Елены Дмитриевны про Севкину двойку по письму, про драку с тогдашней соседкой по парте и про «слишком самостоятельные разговоры с учительницей». Вернулась мама сердитая и решительная. Спросила Севку, почему он заставляет ее краснеть.

Севка сказал, что ничуть не заставлял.

Мама сказала, что до сих пор неправильно его воспитывала. А теперь будет правильно.

Севка сказал, что пожалуйста.

— Ах, пожалуйста? — сказала мама. И достала из сундука старый брючный ремешок (он там валялся с давних времен, неизвестно откуда взявшийся).

— Иди-ка сюда, — сказала мама.

Севка, разумеется, не пошел.

Мама потянула его за руку, села на стул, положила строптивого сына на колени и принялась деловито хлопать ремешком.

Ремешок был плоский и легкий. Сложенный вдвое, он громко щелкал, но плотные штаны из плащ-палатки не прошибал. Севка слушал эти щелчки и удивленно молчал. В такую передрягу он попал впервые и не знал, как себя вести.

Потом вдруг Севка сообразил, как это обидно и унизительно. Что он, крепостной крестьянин, что ли?

— Ты чё? — заорал он. — Чего дерешься! На маленького, да? Если сильнее, значит, можно, да?!

Раньше он так грубо никогда с мамой не разговаривал. Но ведь и она раньше так никогда...

Севка так возмущенно задрыгал ногами, что просторные валенки сорвались и улетели в разные углы. Один попал в кадку с фикусом, который им подарила соседка, глухая Елена Сидоровна.

Мама отпустила Севку и уронила ремень.

— Тьфу на тебя, ненормальный какой-то...

Севка отскочил за фикус и оттуда оскорбленно сверкал очами. Потом сердито спросил:

— Почему ненормальный?

— Конечно, — сказала мама. — Нормальные дети, когда их лупят, что вопят? «Ой, больше не буду!» А ты и тут про свои права...

Она махнула рукой и вдруг засмеялась. Сперва понемножку, а потом как следует. Севка подобрал из кадки с фикусом валенок, и ему тоже стало смешно. Они целую минуту смеялись вдвоем. Наконец мама сказала:

— Ну, что с тобой делать? Даже драть бесполезно...

Севке показалось, что мама чувствует себя виноватой. Чтобы утешить ее, он сказал:

— Ты не расстраивайся, мне не больно... Вот когда тетя Даша летом Гарьку драла, он все в точности орал, как ты говорила. Потому что крапивой...

— Хорошо, что надоумил, — усмехнулась мама. — В следующий раз я сделаю так же.

— Где же ты сейчас возьмешь крапиву, — снисходительно сказал Севка.

И они опять засмеялись.

...Другое наказание было в тысячу раз страшнее.

Севка лежал на кровати и с холодной безнадежностью смотрел, как мама укладывает его вещи. Он уже выревел все слезы и растратил все обещания, что «больше не будет». Ничто не помогло. Мама спокойно и деловито перебирала и прятала в чемодан его рубашки, майки, свитер, штопаный матросский костюм и стоптанные за лето сандалии.

— Игрушки возьмешь? — спросила мама. — Говори, какие, думай скорее. Много не надо, в детском доме игрушек достаточно...

Севка не ответил, потому что было все равно. Он ощущал черное спокойствие человека, который приговорен к смерти и оставил надежду. Мама собирала его так тщательно, что было ясно: она и в самом деле твердо решила отправить сына в детский дом.

Какие игрушки, зачем они? Он все равно умрет раньше, чем его туда отдадут. Разве сможет он без мамы и своего дома?

И хорошо, что умрет. Это теперь не страшно. По крайней мере, мама до конца будет рядом. Севка внимательно посмотрел на маму: на ее спину в пестрой кофточке, на острые локти, на темный узел волос, под которым дрожали на тонкой шее мелкие, не попавшие в прическу завитки. Глотнул и закрыл глаза. Сердце, кажется, уже не стучало, сильно закружилась голова, и свет, который пробивался даже сквозь закрытые веки, исчез. Все сделалось тихое и черное...

...Потом Севка узнал, что был без сознания минут пятнадцать и мама пролила над ним реки слез. После этого Севка лежал слабый, беспомощный и время от времени шепотом спрашивал, правда ли, что мама передумала и отправлять в детдом его не станет. Мама клялась, что никогда этого не хотела, и опять начинала плакать. Пришел

знакомый врач Федор Евгеньевич, погрел над плитой пальцы, прощупал Севкины тощие ребра и сказал, что у Севки не столько нервное потрясение, сколько голодный обморок. Видимо, это была правда. У Севки и раньше часто кружилась голова, и всегда хотелось есть. А в этот раз он ничего не ел с прошлого вечера. По причине переживаний...

Теперь-то Севка большой, второклассник, и знает, что никогда ни в какой детский дом его не отправят. Мама тогда просто решила Севку попугать, а на самом деле никому его не отдаст. Да и не так-то легко устроить человека в детдом: еще набегаешься за всякими справками и путевками. И кто же даст Севке такую путевку, если он не круглый сирота?

Нет, они с мамой никогда не расстанутся. И поэтому стараются жить так, чтобы друг друга не огорчать. Правда, если честно говорить, Севка не всегда старается, иногда забывает, но это не нарочно...

Но Алька Фалеева про все про это не знала. И беспокоилась за Севку. И жалела его. Она сказала:

— Давай зашью.

— Как? Прямо на ноге?

— Ага. Я умею. Только нитки черные...

— Да это ладно. А не воткнешь?

— Я осторожненько.

Фалеева всегда тихо и ненадоедливо заботилась о Севке. Оборачивала газетами его учебники и тетрадки, давала новые перышки для ручки, умело подсказывала, если Севка не мог решить пример. Один раз подарила блестящую открытку со смешным лягушонком в шляпе, который куда-то плыл на кораблике с пузатым парусом. Такие открытки присылал Фалеевой из Германии ее отец. Он был майор и со своей частью стоял в каком-то немецком городке. Война кончилась, но домой его не отпускали — так же, как и Севкиного соседа Ивана Константиновича. Открытка Севке понравилась, и он тут же придумал про лягушонка сказку.

Благодаря Альке Севка не таскал в школу пузырек с чернилами. Он знал, что перед уроком Алька достанет из аккуратного мешочка фаянсовую непроливашку с голубым петушком на боку и поставит не перед собой, а в среднее гнездо на парте — на двоих.

Но не следует думать, что Севка с Алькой были друзья.

Просто Фалеева была добрая (не то что невозможная злюка и ябеда Людка Чернецова, с которой он сидел в первом классе и наконец разодрался, и Елена Дмитриевна их рассадила). Добрые люди всегда заботятся о других, и Севка принимал Алькины заботы, как обычное дело. Впрочем, сам он Альку не обижал и, если требовалось, даже заступался, хотя драться не очень-то умел...

Алька из-под воротника своей бумазейной курточки достала иголку с намотанной ниткой. Севка придвинул колено.

Сначала он опасливо ждал, что иголка возьмет да и воткнется в кожу. Но она только чиркала по твердой от высохшей крови промокашке. Алька штопала умело. Севка перестал бояться и стал готовиться к стрельбе.

Острые края трубки сочно врéзались в картофелину. Севка покачал трубку и резко дернул. Она с чмоканьем выскочила, в картошке осталось очень круглое черное отверстие. А в трубке — белая пробка. Так же Севка зарядил трубку с другого конца. Длинным карандашом он слегка вдавил заднюю пробку — воздух в трубке сжался. Теперь нажать чуть сильнее — и будет выстрел.

Севка оглядел класс. Елена Дмитриевна сидела за столом и печально слушала, как двоечник Филютин у доски выдавливает из себя слова. Он читал по слогам, будто первоклассник с букварем. Круглая голова его дергалась на тонкой шее, как у петуха, который старается проглотить слишком крупное зерно. Севка в душе пренебрежительно пожалел Филютина и стал искать цель — среди стриженых «под ноль» мальчишечьих затылков. Целиться в девчонок бесполезно: пулька все равно запутается в волосах.

Впереди, через парту от Севки, белел гладким теменем отличник Толик Приказчиков. Севка навел трубку и надавил карандаш. Пробка отчетливо чпокнула. И пролетела мимо оттопыренного Толькиного уха. И тюкнула в макушку второгодника Серегу Тощеева, которого Елена Дмитриевна недавно пересадила с «камчатки» на первую парту.

Севка сложил руки и замер. Алька, не переставая шить, покачала головой: что, мол, с вами, мальчишками, поделаешь.

Тощеев оглянулся и показал кулак — не кому-то одному, а так, в пространство. На грязном кулаке чернилами был нарисован кривой якорь.

Елена Дмитриевна плохо видела, но слышала отлично. Она сказала:

— Кто это опять стреляет? Вот поотбираю все железные ручки, будете знать... Иди, Филютин, на место, слушать тебя тошно... Три с минусом... А к доске пойдет Сева Глущенко.

Вот это новость! Зачем он понадобился? Севка испуганно взглянул на Альку.

— Сейчас, сейчас... — шевельнула Алька губами, и пальцы ее с иголкой забегали очень быстро.

— Ну, что же ты, Сева?

— Сейчас, сейчас, — пробормотал Севка и сделал вид, что хочет вылезти из-за парты. — У меня нога застряла...

Людка Чернецова сзади хихикнула. Алька наконец оторвала нитку и независимо сложила на парте руки. Севка встал, украдкой показал Людке кулак и пошел к доске.

— Почитай вот этот рассказ. Громко, для всех.

А, вот в чем дело! У Елены Дмитриевны болят глаза, и она решила, чтобы за нее почитал Глущенко. Что ж, пожалуйста...

Рассказ был давно знаком Севке. Назывался «Акула». Про то, как в море, недалеко от корабля, купались два мальчика — сын моряка-артиллериста и его товарищ, а хищная акула погналась за ними. И как все перепугались, а отец мальчика грохнул по акуле из пушки и застрелил ее. Севке рассказ нравился, потому что было интересно: про море, про корабль, про приключение. Сначала жутковато, а потом все кончается хорошо.

Он читал неторопливо, громко. Без особого выражения, чтобы не подумали, будто воображает. Но и не очень монотонно. Ребята слушали. Елена Дмитриевна довольно кивала. А Севка иногда поглядывал из-за книжки на коленку. Зашито было прекрасно. Будто мамина работа. Только длинный обрывок нитки говорил о недавней торопливости...

Рассказ кончился. Севка получил очередную пятерку и вернулся на место. Алька спросила:

— Хочешь? — и показала коричневый стаканчик. Такие стаканчики — упругие, с рубчиками по краям — начал выпускать недавно местный завод пластмасс, и они были теперь в каждом доме.

В стакане оказался овсяный кисель. Загустевший, плотный. Такой вкусный даже издали! Севка вздохнул. Алька подцепила кисель чайной ложкой и поднесла к Севкиному рту. Севка слизнул. Кусочек упругого киселя сохранил форму ложки и лежал на языке, будто гладкая конфетка. Только гораздо вкуснее конфетки, хотя и не сладкий. Сев-

ка подержал его так, потом с сожалением разжевал и глотнул. Алька поднесла вторую ложку...

Отказываться было очень трудно. И все же, когда в стаканчике осталась половина, Севка сказал с сожалением:

— Хватит. Себе оставь.

Алька не ответила, потому что затренькал звонок. Сразу все зашумели, завертелись, хотя Елена Дмитриевна говорила, что урок не кончен. Все-таки урок был кончен. Алька сунула стаканчик в парту и пошла из класса. Севка смотрел ей вслед. Тонкие белобрысые косички Альки вздрагивали над воротником бумазейной лыжной курточки. Такие же, как курточка, лыжные штаны были заправлены в залатанные резиновые сапожки. Вокруг пояса моталась короткая юбочка — розовая в черную полоску. В проходе между партами закипала возня и легкие перепалки, но Алька шла спокойно. Ее никто не задевал, и она никого не задевала.

Алька была хорошая. Севка это понимал. Жаль, что она ничуть не походила на Инну Кузнецову из четвертого «Б», в которую Севка давно уже тайно влюбился.

Инна была красивая и всегда загадочно неулыбчивая. Тонкая, с темными глазами, с черной мальчишечьей челкой над бровями. И одетая всегда в черное. «В черный рубчик», — думал Севка. Инна носила хлопчатобумажный свитер с воротником до подбородка, вельветовую юбочку, всегда новенькие чулки в резинку. Она казалась нарисованной черным тонким карандашом. Только отглаженный сатиновый галстук ярким огоньком прорезал эту неприступную траурность. Инна была в школе каким-то пионерским командиром. Чуть ли не командиром над всеми пионерами. Вторым после вожатой Светы. Но Света появлялась в школе не каждый день, она была студентка, а Инна всегда находилась на своем посту.

Инна не догадывалась о Севкиной любви. Вряд ли она вообще замечала его среди стриженой одинаковой малышни: в этом Севка самокритично отдавал себе отчет. Да он и не рассчитывал на взаимность. Просто на переменах он смотрел на Кузнецову и придумывал сказку.

Однажды он сделает из медных трубок двухствольный пистолет-поджиг (как у Гришуна) и поздно вечером выйдет на улицу. А Инна будет возвращаться домой после очень долгого пионерского сбора. И тут из лога, в котором журчит речка Тюменка, вылезут в масках бандиты из шайки «Черная кошка». Чтобы ограбить Инну, исцара-

пать лицо железными когтями и скинуть ее с земляного моста. Вот тогда-то Севка спокойно поднимет пистолет и чиркнет по запалу спичечным коробком. Один раз — бах! Второй раз — бах! Два бандита — наповал, остальные — драпать. А Севка скажет со снисходительным упреком:

— Женщинам не полагается так поздно ходить одним. Время неспокойное.

— Что же делать? — жалобно спросит дрожащая Инна. — В школе столько дел...

— Разве твои пионеры не могут тебя проводить?

— Они все домой торопятся, боятся, что их мамы заругают... Вот если бы все были такие, как ты!

— Я-то как раз не такой, — сдержанно вздохнет Севка. — Я не пионер...

— Как не пионер?! — изумится Инна. — Куда же мы до сих пор смотрели? Мы завтра же... Нет, сегодня же! Сейчас!

Она снимет свой галстук и все еще дрожащими пальцами завяжет его на Севкиной шее. И Севка переложит дымящийся пистолет в левую руку, а правой отдаст салют, как отдают его ребята при встрече с вожатой Светой...

Так Севка мечтал в течение многих перемен, когда тайком наблюдал за Инной Кузнецовой.

Наблюдать и мечтать было нетрудно. В широком квадратном вестибюле на переменах не было большой беготни и возни (разве что в самом начале, когда выскакивали из классов). Если хочешь орать и носиться, пробирайся в подвал или иди на двор играть в догонялки или в буру (это когда гоняют валенками застывшее яблоко конского помета и стараются попасть друг другу по ногам). А в полутемном вестибюле под желтыми лампочками водили хороводы. Девчонки — и среди них обязательно Инна Кузнецова — брались за руки, вставали в круг и с песней шагали в затылок друг другу.

Иногда шагали резво, потому что песни были бодрые: «Эх, хорошо в стране советской жить», «Есть на севере хороший городок», «Клен кудрявый». Иногда шагали помедленнее: «Хороша страна Болгария», «В далекий край товарищ улетает», «С берез, неслышен, невесом, спадает желтый лист». Порой шаг делался еще тише: «Жил в Ростове Витя Черевичкин», «Там вдали за рекой», «Таня, Таня»...

Случалось, что мальчишки лихой атакой (если не видела дежурная учительница) разрубали девичий круг и

внутри его устраивали свой хоровод, поменьше. Он двигался в другую сторону, но пели вместе с девочками. И очень слаженно. А почему бы и не петь мальчишкам? Среди песен были очень боевые: «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», «Кони сытые бьют копытами»...

Песен знали множество и пели каждый день на каждой перемене. Все, кто хотел. И никого не надо было загонять в школьный хор, грозя двойками, как это стали делать потом — когда Севка вырос и у него появились свои дети...

Севка тоже часто пел в мальчишечьем хороводе. Не только потому, что любил песни. Еще и потому, что, когда двигался в кругу, то и дело встречал Инну. И мог смотреть на нее совсем вблизи. И Севка смотрел. Душа его при этом сладко замирала. Но лицо он делал равнодушное и не сбивал ни шаг, ни песню...

В этот раз петь Севка не стал. Он прислонился к стене рядом с фанерной рамкой газеты «За учебу» (здесь еще недавно висели Севкины стихи, на которые, судя по всему, Инна Кузнецова не обратила внимания). Инна уже прошла мимо Севки в хороводе, но посмотреть на нее и помечтать ему не дали. Рядом появился Тощеев.

— Пуся, это ты пульнул в меня на уроке?

В Севке шевельнулся боязливый червячок. С Тощеевым связываться — ой-ей-ей. Но все же он отозвался достойно:

— Сам ты «Пуся».

— Ну ладно, — примирительно сказал Серега. — Я же тебя, Гущик, по делу спрашиваю. Правда, ты?

Имело смысл отпереться. Свидетелей не было. Но желание похвастаться оказалось крепче страха.

— Ага, — небрежно кивнул Севка. — С первого раза. Прицелился и — чпок... А чё такого? Больно, что ли?

— Да не больно... Тоже пострелять охота, а картохи нету. Дашь?

— Айда, — сказал Севка. Серегино миролюбие заслуживало награды.

Они пробились в класс мимо негодующих дежурных Гальки Рашидовой и Мишки Кальмана. Севка достал для Тощеева картофелину с дыркой (целую приберег для себя). Серега был рад и такой:

— Во, законная картошечка! Популяем на арифметике.

Все равно я ни фига не понимаю, как решать. Гета как заорет, у меня все из головы выскакивает.

— А почему Гета? — испуганно спросил Севка. — Сегодня же Елена Дмитриевна...

— Ленушка в больницу идет, не слышал, что ли?

Севка расстроенно покачал головой: ничего он не слышал. С Гетой Ивановной на уроке не порезвишься. Это лишь Тощеев такой бесстрашный...

Серега сказал:

— После звонка все про это говорили... Ты бы меньше таращился кое на кого, а больше бы слушал...

— На кого... таращился? — в тихой панике спросил Севка, и уши у него стали горячими. — Ни на кого я... Дурак ты...

— Да ладно, — усмехнулся Тощеев. — Я не понимаю, что ли? — И отошел.

Севка плюхнулся на скамейку, охватил колючий затылок ладонями и сидел, пока не вошла в класс Гета Ивановна.

Гета Ивановна была высокая, молодая и очень решительная. И сильная: каждой рукой она могла поднять за воротник по второкласснику и донести до дверей, чтобы выставить за порог. Севке она казалась похожей на старинного солдата. Он видел таких на картинках в книжке про Петра Первого. Сперва эти солдаты насмешили его — они были похожи на женщин: в длинных, как платье, мундирах, в чулках и туфлях с пряжками. С дамскими волосами под шляпами. А теперь наоборот — Гета напоминала Севке пехотинца из какого-нибудь Преображенского или Семеновского полка. Ее зеленое платье с блестящими пуговицами было похоже на форменный камзол. Светлые волосы валиками лежали на ушах. Квадратные пряжки на тяжелых туфлях грозно блестели. Острую указку Гета Ивановна всегда держала как шпагу.

Тощеев рассказывал, что недавно Гета прогнала от себя мужа — молодого однорукого военрука из соседней школы-десятилетки. Севка не верил. Скорее всего, муж сбежал от такой ведьмы сам.

— Ну-ка, встали как полагается! — потребовала Гета Ивановна (хотя и так все стояли как надо). — Теперь сели. Руки на парты. Сегодня уроки буду вести я, Елену Дмитриевну вы совсем довели до глазной болезни. Вместо рисования на четвертом уроке будет чистописание.

— У-у... — горестно пронеслось по классу.

— Нечего подвывать! Писать совсем разучились, хуже, чем в первом классе... Ну-ка, положьте раскрытые тетради на парты, я проверю домашние задания.

## «Белая лошадь — горе не мое»

На четвертом уроке дежурные раздали тетради по чистописанию. Гета Ивановна стала с указкой у доски — как полковой командир.

— Всем закрыть рты! Кальман, перестань жевать! Руки на парты! Сейчас будем писать. Не так, как вы пишете обычно, царап-царап, а чисто и красиво, чтобы потом всегда так писать... Кальман, я кому сказала руки на парту, ты чего руку тянешь? Чернил у него нет! У тебя никогда нет чернил! У кого нет чернил, мачите взади... Все сложили руки, я еще не сказала писать!.. Взяли ручки! Пишем!.. Кто будет торопиться и карябать, будет переписывать после уроков...

Севка открыл свою тетрадь с двумя кляксами на газетной обложке. Тетрадка была в «одноэтажную» косую линейку. Еще недавно они писали большими буквами, высотой в две строчки — как в первом классе. Но наконец это унижение кончилось, в начале второй четверти выдали тетрадки в одну косую линию — специально для второклассников. Елена Дмитриевна всех поздравила, а Гета Ивановна была недовольна. Она говорила, что мелкие буквы уродуют и без того скверный почерк учеников. И, чтобы почерк совсем не испортился, она заставляла на чистописании вырисовывать каждую буковку.

Сегодня пришла очередь буквы «Ю». Две заглавных и две маленьких «Ю» были выведены твердой Гетиной рукой в начале строк. «Ох, мама...» — простонал про себя Севка. Придется писать целых четыре строчки.

«Ю» — сложная буква. Будто даже не одна, а две. Это слились «Н» и «О». Севка вздохнул, высунул кончик языка, макнул ручку и взялся за работу.

А работа была нелегкая. Надо следить за нажимом пера, надо выводить дурацкие завитушки у «палочки», надо выписывать «овал», который должен красиво смыкаться в левой верхней части. Потом «палочку» и «овал» необходимо соединить волнистой «перекладинкой»... Про-

мучился, кажется, целых пять минут, а готова всего одна буква. Да и та почему-то с кривулиной...

Когда Севка вырастет и никто уже не станет ругать его за почерк, он будет писать букву «Ю» совсем не так. Он будет проводить прямую палочку, ставить рядом ровный кружок и соединять их резкой чертой — так, что палочка и левый край кружка окажутся перечеркнутыми. Такая буква написана в слове «Юрик» на корочке книжки «Доктор Айболит». Это буква Юрика. Настоящая буква Ю. Не то что эта, с загогулинами, унылая и бесцветная.

Да, именно бесцветная.

Вообще-то у каждой буквы свой цвет. По крайней мере, так всегда казалось Севке. Букву «О», например, представлял он густо-коричневой, как шоколад, которым угощал его Иван Константинович. Буква «И» была пронзительно синей, «Ш» — черной, «Э» — табачного цвета, «Е» — золотисто-желтая, «А» — белая.

Цвет настоящей буквы «Ю» был ярко-вишневый — как матроска Юрика, когда ее только сшили и она не успела выцвести.

Впрочем, когда Севка и Юрик познакомились, матроска была совсем старенькая и потеряла свой цвет.

...Они встретились в хороший майский день, перед самыми каникулами. Было тепло. Счастливый первоклассник Сева Глущенко шагал домой из школы. Вернее, не шагал, а прыгал. Потому что земля и тротуары будто сами поддавали его в пятки. Севка радовался всему на свете. Тому, что кончилась война; тому, что цветут яблони; тому, что скоро переведут его во второй класс, а впереди — бесконечное лето. И тому, как хорошо прыгается и шагается. Он был в стареньких, но еще прочных сандалиях на босу ногу (с протертыми насквозь и потому почти невесомыми подошвами), в матросском костюме — тоже стареньком, еще в детский сад в нем ходил, но зато легком и таком привычном, будто это не костюм, а собственная кожа. И даже противогазная сумка с учебниками казалась удивительно легкой. Подбрось — и улетит за крыши.

Севке не хотелось домой, и он свернул на улицу Челюскинцев. Эта дорога была подлиннее, и, кроме того, здесь особенно густо цвели над заборами яблони.

В середине квартала стоял длинный коричневый дом с деревянными узорами вокруг окон. Узоры были красивые, но дом старый и покосившийся. На одном конце ниж-

ние края окон вросли в землю. Дом был грустный, заброшенный какой-то, и казалось удивительным, что перед ним скачет, как воробышек, мальчик. Такого роста, как Севка.

Тротуара рядом с домом не было, но просохшую землю пешеходы утрамбовали до каменной плотности. На земле белели начерченные мелом «классики», и мальчик прыгал по клеткам, гонял носком сапога баночку из-под крема. Севка сразу посочувствовал: «Такое тепло, а он в сапожищах». Пыльные кирзовые сапожки были небольшие, но очень широкие и сильно болтались. Мальчишкины ноги в полинялых коричневых чулках казались от этого слишком тонкими. Но все это Севка отметил мельком. Главное было в другом. Главное — матроска.

Правда, матроска была не такая, как у Севки. Не синяя, а коричневато-бурая. Но тоже с якорем на рукаве, с полосками на широком воротнике. И Севка сразу почувствовал симпатию к мальчику. Будто они матросы с одного корабля.

Да и не только в матроске дело. Просто мальчик был славный. Прыгал так ловко, несмотря на сапоги. И при каждом прыжке у него вставал торчком светлый мягкий чубчик. У Севки тоже был чубчик, только темный и жесткий. Стричься полагалось наголо, но мама всегда просила знакомую парикмахершу Катю оставить Севке хоть какой-то намек на прическу: чтобы голова была не совсем как картошка. Гета много раз требовала «остричь эту безобразию начисто», но потом забывала.

Севка сам не заметил, как остановился.

Мальчик допрыгал до конца «классов» и поднял голову. И увидел Севку. И они встретились глазами. Глаза у мальчишки были синие, веселые и добрые. Не было в них никакой ощетиненности. Раньше, если Севка встречал незнакомых мальчишек, они смотрели задиристо и даже с насмешкой, будто говорили: «Откуда ты такой взялся? Наверно, слабачок». Потому что каждый хотел показать свою силу. А этот не хотел. Он улыбнулся.

Севка засмущался и тоже улыбнулся.

Мальчик сказал, словно они из одного класса:

— Давай поиграем вместе.

У Севки внутри сделалось тепло, будто солнце прогрело его насквозь. Он кинул сумку в пыльную траву у края земляной площадки. Сказал неловко и обрадованно:

— Ну... ладно. — Потом добавил посмелее: — А я тебя раньше никогда не видел. Я тут часто хожу...

Мальчик охотно объяснил:

— Мы здесь недавно живем. А раньше жили во-он там... — Он махнул куда-то за дома. — Далеко. За рекой. Только там хозяйка начала нас выживать, вот мы сюда и переехали...

Потом они сыграли в классики полный кон — с первого по десятый класс. И мальчик выиграл. И Севка ничуть не огорчился. Ему было так хорошо с новым знакомым. И тому, видимо, тоже было хорошо с Севкой. Мальчик прыгал по начерченным клеткам и, улыбаясь, поглядывал на Севку из-за плеча. Воротник матроски хлопал его по спине. Иногда прилетал ветерок, и воротник вскидывался и трепетал. Ткань матроски под ним не выгорела, она сохранила свой настоящий цвет — ярко-вишневый. Севку почему-то очень радовала мысль, что в прежние времена матроска мальчика была такого прекрасного цвета. Он вспомнил, что и его собственная матроска была раньше очень красивая — темно-голубая, — и обрадовался еще больше.

Когда игра кончилась, мальчик остановился, выдернул левую ногу из сапога, поджал ее, будто цапля, наклонил голову набок и посмотрел на Севку виновато. Кажется, ему было неловко за свой выигрыш. Потом он нерешительно сказал:

— Можно еще как-нибудь поиграть...

— Как? — обрадовался Севка.

— Можно в «бурное море»! — оживился мальчик.

Севка растерянно заморгал.

— Это надо забраться на сеновал, — объяснил мальчик. — У нас во дворе. Можно там кувыркаться в сене и нырять в него. Будто в волнах плывем. Хочешь?

Еще бы не хотеть! Севка ни разу в жизни не был на сеновале. И к тому же игра такая — в море! В стихию...

Двор оказался очень большой, с огородом, с яблонями за специальным палисадником. В конце двора стоял двухэтажный сарай — такой же старый и покосившийся, как дом. Мальчик привел Севу под навес. Оттуда по визгливо скрипящим ступенькам, через люк, они забрались на второй этаж. Окон там не было, но солнце свободно лилось в широкие щели рассохшихся дощатых стен.

Сено лежало за низкой перегородкой. Его оказалось немного, было оно старое, почти труха. Пахло не травой, а пылью. Да и откуда быть сену весной? Старые запасы корова слопала, новых не накосили. Севка, хоть и городской житель, сразу это понял.

Мальчик, однако, смело забрался на перегородку и лихо прыгнул в труху — только воротник взлетел за плечами. И Севка тоже забрался и тоже смело бухнулся вниз. Половицы крепко стукнули его по коленкам сквозь тонкий слой сена. Он сел, отплевываясь от пыльных соломин.

Мальчик сидел перед Севкой и держался за локоть. Сено запуталось в растрепанном чубчике. Синие глаза были виноватыми.

— Кажется, не получилось море, — со вздохом сказал он.

Да, это было не похоже на морскую стихию. Но Севку уже захлестывала другая стихия: теплые волны счастья оттого, что рядом этот неожиданный друг.

— Получится! — крикнул он. — Поплыли к тому берегу!

Плюхнулся на живот и, разгребая пыльные остатки сена руками и ногами, пополз к стене.

У стены они вскочили.

— Мы спаслись, как моряки Робинзоны! — воскликнул мальчик.

— Ура! — возликовал Севка и подкинул над головой ворох сенной трухи. — Салют! — Он чихнул от пыли и радостно посмотрел на мальчика.

Но тот на Севку не глядел. Прижался лицом к щели и что-то высматривал во дворе. Потом поднял палец — тише, мол, — и этим же пальцем поманил Севку. Севка тоже глянул в щель.

Посреди двора стояла высокая старуха с измятым сердитыми складками лицом. Севка ее узнал. Когда он бывал с мамой на рынке, он обязательно видел эту бабку за прилавком в молочном павильоне. Летом перед ней, как воины в шлемах, стояли зеленоватые бутыли-четверти, зимой громоздились белые круги замороженного молока. Старуха смотрела из-за них, неприветливо сжимая губы. Мама с Севкой никогда у нее ничего не покупали.

Сейчас старуха смотрела вверх, на сеновал.

— Услыхала, — прошептал мальчик. — Сейчас полезет сюда.

У Севки захолодела спина. Старуха вдруг спросила гулким голосом:

— Есть там кто али нету?

Потом не спеша двинулась к сараю.

Севка обмяк от страха. Но мальчик взглянул на него глазами смелыми и озорными.

— Пошли! Спасаемся от погони...

Севка напружинил мускулы. К страху примешалось веселье. Ожидалось какое-то жутковатое приключение. Мальчик бросился к другой стене, оттянул на себя и опустил конец тяжелой горизонтальной доски. Открылся широкий просвет.

— Лезь, — веселым шепотом сказал мальчик.

Севка очень боялся старухи. Но не совсем же он трус был! Он сказал:

— А ты?

— Я сразу за тобой.

Севка вывалился из дыры и повис на руках. До земли было метра четыре. Цепляясь за щели в досках и бревнах, срываясь и царапаясь, он спустился в сухой репейник и свежие лопухи (они были уже большие). Следом упала сумка. А Севка-то про нее совсем забыл! Из дыры ловко выбрался мальчик и тоже повис на секунду. Потом, по-обезьяньи работая руками и ногами, полез вниз. На полпути ноги сорвались, он замер, еле держась скрюченными пальцами за выступ доски. А штаны зацепились краешком за длинный гвоздь, натянулись и затрещали.

— Ой-ей-ей... — сдержанно сказал мальчик. — Ловушка... — Он зашевелил ногами, но не смог найти опору. И стал висеть неподвижно.

А что ему было делать? Дернешься — сорвешься. И штанам конец, и ржавый гвоздь бок раздерет. Севка молча кинулся на помощь. Кое-как вскарабкался по стене и, держась одной рукой, другой отчаянно потянул гвоздь вниз. Гвоздь согнулся. Слегка порвавшаяся материя соскользнула с него. Мальчик оттолкнулся ногами и прыгнул. Севка тоже.

Хорошо, что в лопухи. Но все равно пятки отшибло крепко. Севка охнул и остался на четвереньках. Мальчик сидел перед ним на корточках. И глаза его были по-прежнему веселые.

— Вот это да... — сказал он.

— Вот это да... — согласился Севка.

— Ты меня спас, — сказал мальчик.

Севка скромно опустил глаза.

Мальчик взял его за руку, и они, прихватив сумку, уползли за большую бочку, что рассыхалась посреди лопухов.

— Чтобы хозяйка не заметила, если сюда придет, — весело прошептал мальчик.

— А она не догадается, кто там был? — Севка кивнул в сторону сеновала.

— Нет... если сапоги мои не найдет. Да она не заметит в сене.

Только сейчас понял Севка, что мальчик без обуви. К чулкам густо прилипло сено и прошлогодние репьи, ноги казались обросшими клочкастой шерстью. Как у чертенка или какого-то зверька. Севка засмеялся, но тут же встревожился:

— Как же ты теперь? Без сапогов-то...

— А... — беспечно сказал мальчик. — Потом раскопаю. А сейчас можно босиком, лето уже. — Он стянул чулки, похлестал ими о бочку, чтобы стряхнуть мусор. — Затолкай пока в сумку.

Севка затолкал. А заодно и свои сандалии. Босиком так босиком. Вместе. Одинаково.

— Надо выбираться отсюда, — обеспокоенно сказал мальчик и посмотрел вокруг, как разведчик.

Они были уже не в старухином дворе, а в соседнем. В дальнем, заросшем сорняками углу. Посреди двора сохло на длинных веревках белье.

— Мы выскочим через калитку, — сказал мальчик. — Там у калитки тоже есть опасность, но она привязанная...

Однако «опасность» оказалась непривязанной. Когда Севка с мальчиком, пригибаясь под мокрыми простынями, выбрались к воротам, навстречу бросился большой кудлатый пес. И оглушительно загавкал!

— Стой, — быстро сказал мальчик. — Нельзя бежать.

Какое там «бежать»! У Севки онемели ноги. Он замер, зажмурился и понял, что сию секунду с ним от ужаса случится кошмарная постыдная беда. Еле-еле сдержался.

Пес гавкал громко и равномерно. Севка приоткрыл один глаз. Клочкастое чудовище стояло в трех шагах и не приближалось. И... хвост у него мотался из стороны в сторону. И... в глазах не было злости, а блестели веселые точки. Севка перестал жмуриться.

— Ну что ты? — вдруг тонким голосом заговорил мальчик. — Ты зачем лаешь, собака? Мы же не воры... Ты хороший. Ты Полкан. Я знаю, тебя зовут Полкан.

Клочкастый Полкан перестал гавкать. Растерянно мигнул. Потом хвост его заметался быстрее, а собачья пасть заулыбалась. Он сделал еще шаг к мальчишкам.

— Вот какой ты хороший... — осторожно сказал мальчик. Медленно запустил руку в треугольный вырез матроски и достал плоский газетный сверточек.

Свистя хвостом по траве, пес уселся и заинтересованно склонил набок голову. Мальчик развернул газету. В ней

оказался ломоть хлеба. Пес облизнулся. Мальчик отломил краешек. Сел на корточки. На прямой, немного дрожащей ладошке протянул Полкану угощенье. Тот деликатно слизнул его и глазами спросил: еще дашь? Мальчик дал еще. И сказал:

— А теперь хватит. Это нам. Мы пойдем, ладно?

Он взял Севку за руку, и они робко пошли к выходу со двора. Пес двинулся за ними, все еще на что-то надеясь. Мальчик поднял тяжелую щеколду, отвел калитку. Подтолкнул в проход Севку, шагнул на улицу сам. А Полкану сказал, обернувшись:

— Тебе с нами нельзя. Тебе надо от воров белье караулить.

Калитка с лязгом закрылась. Полкан за ней обиженно взвыл. И тут же раздался сердитый женский вопль:

— Это там кто?! Кого это носит по двору?! Вот я вас!

Севка с мальчиком рванули вдоль улицы и остановились только в сквере у деревянного цирка, который ремонтировали пленные немцы.

Там они забрались в чащу желтой акации у деревянной решетчатой изгороди. Отдышались. Мальчик вытащил из пятки занозу, которая воткнулась на дощатом тротуаре. Заулыбался и сказал:

— Вот такие дела, братья-матросики...

Севке это очень понравилось — «братья-матросики»! Он тоже заулыбался и признался, ничуть не стесняясь:

— Я от страха чуть лужу не наделал, когда эта псина загавкала... А ты смелый.

— Ты тоже смелый. Вон как меня с гвоздя снял... А собака эта немножко знакомая. Я ей иногда с сеновала кусочки кидал. Она не злая.

— И хорошо еще, что она не ученая, — авторитетно заметил Севка. — Ученые собаки, если даже не злые, у чужих ничего не берут... А зачем ты хлеб с собой носишь?

— Это мой «сухой паек». Я когда гуляю, всегда хлебную норму беру. Захотел — поел, домой не надо идти... Давай поедим.

Мальчик разломил кусок и половинку протянул Севке. Они сжевали хлеб, слизнули с ладоней крошки. Выбрались из кустов. Снисходительно понаблюдали, как немцы неторопливо и очень аккуратно складывают в штабель золотисто-желтые доски. Злиться на немцев не имело смысла: война кончилась, это были уже не враги, а так...

— О, киндер... — обрадованно заговорил тощий фриц в глубокой пилотке. — Алле киндер это есть кха-рашоу.

— Сам ты киндер, — независимо отозвался Севка. — Навоевались вместе со своим вшивым фюрером, вот теперь работайте.

— Правильно. Это вам не бомбы кидать, — поддержал его мальчик. — Айн-цвай-драй, млеко, яйки, хенде хох, Гитлер — капут.

И они с Севкой пошли из этого сквера. Просто так, неизвестно куда.

Мальчик сказал, глядя, как ступают по занозистому тротуару его босые ноги:

— Когда мы ехали из Ленинграда, еще давным-давно, они наш поезд бомбили, гады. А мы с мамой в яме лежали. Меня всего оглушило. Мама меня закрывала, а меня все равно осколком царапнуло. Вот здесь... Хочешь, покажу?

Мальчик сильно оттянул назад ворот матроски, и Севка увидел повыше лопатки, у плеча, прямой белый рубчик.

Мальчик вздохнул:

— Только мама не велит мне показывать. Говорит, что нечем хвастаться: это же не в бою рана получена.

В бою не в бою, а все равно мальчишка ранен на войне! Повезло человеку! Севка ощутил горячую зависть. И, чтобы скрыть ее, небрежно сообщил:

— Нас когда эвакуировали из Ростова, тоже «юнкерсы» налетели. Но меня вот не задело.

Тогда и правда был налет, мама рассказывала. Но Севка ничего не помнил. Наревевшись от голода, он спал и не проснулся, когда ухнули три бомбы. Немцы промазали и улетели.

— У тебя сумка не тяжелая? Если устал, давай я понесу, — сказал мальчик.

— Да нисколько не тяжелая! — радостно откликнулся Севка.

В эту минуту из-за угла выползла тряская телега с длинной лежачей бочкой. Над горловиной бочки плескалась вода, а впереди сидел старый дядька с небритым веселым лицом. Как раз такой, про которого есть песня:

Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды и ни сюды!

Севка остановился. Дело не в дядьке и не в песне было. Телегу тащила ленивая грязно-белая кобыла. Белая лошадь!

Это была примета.

Сейчас, когда лошади в городах повывелись, примету забыли. Но во времена Севкиного детства мальчишки и девчонки знали: увидеть белую лошадь — это не к добру. Севка торопливо сложил пальцы в замочек.

Но замочек помогает лишь от пустяков: если запнешься левой ногой, или сядет на тебя белая бабочка-капустница (коричневые крапивницы пусть садятся, они добрые), или зачешется левый глаз (что, как известно, обещает слезы). А от белой лошади была лишь одна защита: кому-то передать свое «горе». Полагалось поскорее хлопнуть ладонью того, кто оказался рядом, и сказать: «Белая лошадь — горе не мое».

Но кого хлопнешь? Мальчик с растерянной улыбкой смотрел на Севку. «Замочки» у него были на обеих руках. И даже на ногах он беспомощно пытался сдвинуть пальцы крест-накрест.

Севка ощутил прилив геройства и великодушия. Он протянул мальчику ладонь:

— Передавай.

Синие глаза мальчишки вмиг потемнели. В них появился не то испуг, не то упрек. Он сказал тихо и очень серьезно:

— Что ты. На друга разве передают?

«На друга!» Севку окутало счастьем, как горячим воздухом.

— Тогда... давай, — сбивчиво проговорил он и протянул руку со скрюченным мизинцем. — Давай тогда все горе пополам.

— Давай!

Они сцепились мизинцами и весело рванули руки на себя. И стало сразу ничего не страшно. Подумаешь, лошадь! Да хоть белый медведь!

Они зашагали рядом — два друга, два первоклассника, два человека, побывавших под бомбами, два таких похожих друг на друга мальчишки!

Они познакомились каких-то два часа назад, но за это время в их жизни случилось все, что нужно для настоящей дружбы. Они научились понимать друг друга по глазам и улыбкам. Они выручали друг друга во время опасности. Они пополам ломали кусок хлеба. И пополам решили делить любое горе.

Только одного они еще не знали: как зовут друг друга. Они могли вместе играть, вместе спасаться от беды, могли доверять друг другу тайны, а спросить, «как тебя зо-

вут», было неловко. Это лишь девчонки так вежливо знакомятся. А мальчишки узнают имена между прочим, при случае. Но пришел и такой случай.

Заговорили про книжки, Севка рассказал про «Пушкинский календарь», а мальчик про свою любимую сказку «Доктор Айболит».

— Потому что там про зверей, про пиратов и вообще про приключения...

— Я знаю! — вспомнил Севка. — Нам зимой в школе эту книжку читали. Только я потом заболел и не знаю, как она кончилась... Жалко...

— А возьми у меня и почитай, — сразу предложил мальчик. — Хочешь?

Когда пришли к дому, где они познакомились, мальчик вынес большую потрепанную книгу. На треснувшей обложке был корабль, а на палубе у него сам доктор Айболит и множество зверей. В том числе и замечательный Тянитолкай. Такая прекрасная книга!

— Тебе не попадет за то, что ты ее дал мне? — осторожно спросил Севка.

— Почему же попадет? — удивился мальчик. — Я маме про тебя расскажу... Да я эту книжку могу без спросу давать, это же не мамина, а моя. Вот, даже подписано.

Он откинул корку. На ее внутренней стороне были крупные буквы:

ЮРИК КОШЕЛЬКОВ

Севка почему-то застеснялся, кивнул, открыл сумку, чтобы затолкать книгу... И выдернул свою тетрадку по арифметике. Неловко сказал:

— А у меня вот такая подпись.

Мальчик внимательно прочитал, что было на обложке. Серьезно проговорил:

— У нас в классе, где я раньше учился, тоже был Глущенко. Тоже хороший человек, только все-таки не такой... Рыжий и большой. И звали его Вовка.

— ...Так! А это что такое?

Севка вздрогнул. Севка съежил плечи и поднял глаза. Высоко-высоко над собой он увидел голову Геты Ивановны с буклями военно-старинной прически. И плечи с частыми сборками, похожими на эполеты. Оттуда протянулась рука с наманикюренными пальцами. Взяла тетрадь,

поднесла к Гетиным глазам и опять кинула на парту. Красный ноготь уперся в строчку.

— Это что? Это буква «Ю»? И это! И это? Они что у тебя, дистрофией больны? Или ты решил надо мной поиздеваться?

Севка не думал издеваться. Он вообще не думал о Гете, он думал о Юрике. А рука его сама выводила буквы. Как умела, как привыкла. Севкины плечи съежились еще сильнее. Рядом притихла Алька.

— Останешься после уроков и перепишешь все строчки! Нацарапал своей железякой кое-как... Завтра чтоб я ни у кого железных ручек не видела! Разболтались у Елены Дмитриевны, добротой ее пользуетесь...

Стуча каблуками, Гета Ивановна отошла. Строчки букв расплывались в глазах, превращались в размытые лиловые полоски, как на старой тельняшке. На последнюю букву упала большая прозрачная капля. Буква растеклась жидкой кляксой. Севка торопливо накрыл ее промокашкой.

## Два поэта

После урока Гета Ивановна велела Севке (а еще Борьке Левину и Витьке Каранкевичу, которых тоже заставила переписывать буквы) сесть на задние парты. «Чтобы не торчали на глазах». А остальным тоже приказала не расходиться. Сообщила, что сейчас во второй «А» придет гость. Это фронтовик, офицер-артиллерист и настоящий поэт. Он пишет стихи и даже печатает их в журналах. Стихи для взрослых и для ребят. Поэт может их почитать, если его попросят. И может рассказать про всякие военные дела. Только «все должны сидеть тихо, полóжить руки на парты, а если будут вопросы, поднять правую руку и ждать, когда вызовут, а не махать ей и не кривляться, как Тощеев и Кальман».

Севка очень обрадовался: значит, сидеть придется вместе со всеми, это в сто раз веселее, чем в пустом классе. И к тому же первый раз в жизни он увидит поэта. Конечно, не Пушкина, но все равно настоящего. А буквы он перепишет аккуратненько, будут стоять, как гвардейцы на параде.

Поэт оказался молодым остроплечим человеком в суконной гимнастерке — с портупеей, но без погон. Одно плечо у него было повыше другого — будто поэт удивился

чему-то, приподнял его и забыл опустить. Севка знал, что так бывает от контузии. На щеке поэта был небольшой коричневый шрам. «Зацепило осколком, — подумал Севка. —Повезло еще. Могло и голову пробить, а тут все-таки живой вернулся...»

...У папы тоже был шрам. На подбородке, маленький, похожий на букву «С». Папа его получил не на войне, а гораздо раньше, когда Севки еще не было на свете, а сам он был молодым матросом. Зацепило крюком лебедки. Севка плохо помнил папино лицо, а эту маленькую букву «С» на узком, всегда гладко выбритом, чуть раздвоенном подбородке запомнил с младенчества... Поэту повезло, он вернулся. А Севкин папа уже не вернется...

Или все-таки вернется когда-нибудь? Ведь никто-никто не видел, как он погиб. Транспорт горел, команду с него снял английский эсминец, капитан и еще несколько моряков были убиты, а старпома Сергея Григорьевича Глущенко не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых. Скорее всего, он был среди тех, кого первым взрывом сбросило в воду, и они погибли среди зимних волн от холода или от немецких пуль... Все решили, что было именно так... Но, может быть, и не так? Севка знал, что на войне бывает всякое.

Может быть, и этот поэт не раз чудом спасался от смерти...

Поэт стеснялся. Немного заикаясь, он объяснил «товарищам второклассникам», что еще до войны, в школе, очень любил писать стихи. И даже на фронте, когда вроде бы уж совсем не до этого, он все равно их писал. Для армейской газеты и просто так, для товарищей. Как-то само это получалось. И даже воевать от этого было чуточку легче.

— Вот до смешного доходило, ей-богу: недалеко снаряды грохают, может накрыть в любой момент, а в голове строчка вертится. Думаешь, как бы ее в стихи загнать...— Он виновато улыбнулся, дернул приподнятым плечом.— Ребята наши... ну, товарищи, с которыми в батарее был, меня дразнили: «Сашка, тебе бояться некогда, ты во время обстрела поэмы складываешь...»

— А вы правда не боялись? — спросила вредным голосом Люда Чернецова.

— Чернецова! Когда спрашиваешь, надо руку поднимать!

— Да не надо, — торопливо сказал поэт. — Почему не боялся? На войне все боятся, жизнь-то одна.

— Это тру́сы боятся, а смелые нет, — заспорил Витька Каранкевич. Он был не очень умный.

— Каранкевич!

— Нет, — сказал поэт, — все боятся. Только тру́сы бегут, а обыкновенные люди воюют.

— А вы не бегали? — без насмешки, а скорее с опаской спросил Владик Сапожков.

— Сапожков! Сейчас вылетишь из класса!

Поэт сказал, будто извиняясь:

— Куда побежишь, если ты командир орудия, а потом командир взвода... Ты побежал — за тобой взвод, потом батарея, потом вся позиция начнет откатываться. А кто воевать будет? Конечно, если дают приказ отходить, это другое дело. А без приказа не положено...

— Значит, вы смелый, — с удовольствием сказал Сапожков. Он выяснил для себя все, что хотел.

— На войне смелых солдат столько, что не сосчитать. Им и полагается быть смелыми... Я про другое хочу сказать. Я ребятишек видел таких, как вы... Ну, или чуть побольше. Им тоже воевать пришлось. Вот это герои, честное слово. У меня про одного стихотворение есть. Если хотите, я могу...

Все, не слушая Гету, закричали, что, конечно, хотят! И Севка закричал. Поэт ему нравился. Он был, разумеется, герой, только очень скромный. И про трусость и смелость говорил то же самое, что Севкин сосед Иван Константинович, значит, все правильно.

Севка слушал поэта, машинально макая перо в непроливашку (он забрал ее у Альки). Так же машинально выводил злосчастную букву «Ю». Потому что это было не главное. Главное — стихи живого поэта, который читал их негромко, без особого выражения, но очень понятно.

В стихах рассказывалось, как наши освобождали от немцев маленький город.

Горели дома от воздушной атаки.
Враги огрызались все реже и реже...
По мерзлой дороге
с гуденьем и скрежетом
К окраине шли краснозвездные танки...

Но на пути у танков оказалась немецкая батарея. Она открыла такой огонь, что не пробиться. И тогда к танкистам — сквозь разрывы — пробрался с окраины мальчишка. В рваных сапогах и, несмотря на холод, в одной ру-

башке. Думать было некогда, мальчишку посадили на броню к автоматчикам: он обещал показать безопасный путь.

Рубашка рвалась наподобие флага,
И сам он вперед рвался —
зло и отточенно...
И танки ударили с тыла и с фланга,
И сбили фашистов.
И бой был окончен.

Севка видел все это будто на самом деле. Или, по крайней мере, как на экране кино. Мальчишка был похож на Юрика. И Севка отчаянно боялся, что его убьют. Нет, не убили.

Его, говорят, наградили медалью,
Но это уж после, и там меня не было.
А тут он шепнул:
«Дайте, дяденька, хлеба.
Немножко...
Мы с мамой три дня голодали...»

Сначала все сидели тихо. Потому что это такие стихи, что после них как-то не хочется шуметь и хлопать. Но потом все же захлопали — сильнее и сильнее. Гета Ивановна что-то говорила поэту и медово улыбалась, а он переминался у стола.

Севка не хлопал: неудобно, ручка зажата в пальцах. Он проглотил застрявший в горле комок и стал писать дальше. Выстрелов и разрывов Севка не помнил, танки в тыл немцам не водил, но голодать вместе с мамой — это приходилось. Это он все прекрасно понимал...

Поэт читал еще стихи: про бой с немецкими танками, про салют Победы. Потом рассказывал, как с товарищами брал «языка», когда служил в артиллерийской разведке. И все было так здорово! Гета Ивановна уже ни на кого не кричала, когда шумели и спрашивали наперебой...

И вдруг все кончилось! Раздался звонок с пятого урока, и оказалось, что поэту пора уходить. Ребята кричали: «Еще расскажите», но Гета Ивановна цыкнула. Поэт сказал «до свидания», Гета Ивановна увела его из класса, а все бросились к вешалке. Кроме Левина, Каранкевича и Севки.

Алька подошла и тихонько сказала:

— Чернилку завтра принесешь, ладно?

Севка сумрачно кивнул.

Когда класс почти опустел, Гета Ивановна вернулась.

Посмотрела тетради у Борьки и Витьки, сказала, что все равно каракули, но уж ладно на этот раз, пускай убираются домой. Подошла к Севке. Глянула с высоты.

— Ты, Глущенко, наверно, назло учительнице так царапаешь, да?

— Не... — шепотом сказал Севка.

— Напишешь еще строчку, потом пойдешь.

Она опять удалилась из класса. Свободные Каранкевич и Левин тоже выскочили за дверь. Стало тихо и тоскливо до жути. Даже накал в лампочках будто ослабел. Еле слышно, жалобно, звенели в них волоски.

Севка опять начал глотать слезы. Написать еще строчку — дело нехитрое, но ведь Гета снова заявит, что не так. И до каких же пор он будет сидеть? Уморит Гетушка Севку. Это она ему мстит за разговор про «по́льта». А какое она имеет право? Она еще даже не настоящая учительница! Вот сейчас она придет, и он ей скажет...

Но Севка знал, что ничего не скажет. Во-первых, потому, что страшно. Во-вторых, Гета все равно не возвращалась. Севка всхлипнул и взялся за ручку.

Открылась дверь... но вошла не Гета. Это вернулся поэт! Севка удивленно смотрел на него мокрыми глазами.

Поэт быстрым взглядом окинул класс, увидел на задней парте Севку, неловко улыбнулся. Сказал с запинкой:

— В-вот, имущество свое забыл...

Он взял со стула полевую сумку (такую же, как у Ивана Константиновича), шагнул к двери... и там оглянулся. Посмотрел на Севку повнимательней.

— А почему ты сидишь тут один?

Севка втянул разбухшим носом воздух и опустил голову: чтобы не видно было мокрых глаз.

Поэт постоял у двери и зашагал к Севке. Неуклюже присел рядышком (ноги, конечно, не влезли под парту и остались в проходе).

— Неприятности? — негромко спросил поэт.

У Севки не было сил гордо отпираться. Он кивнул.

— А что за беда случилась?

— Да вот... — сипло сказал Севка. — Буква эта проклятая. Никак не получается ровная, а она... Гета Ивановна... все «пиши» да «пиши»...

Поэт понял все моментально. Он же был военный человек.

— Дай-ка ручку, — сказал он. И придвинул Севкину тетрадку. — Левая рука у меня так себе, а правая пока работает как надо... Здесь писать?

И на строчке, где одиноко торчала косая Севкина буква, он вывел свою. Потом еще.

Севка с нарастающим восторгом следил, как послушные, подтянутые, со всеми положенными по уставу завитушками и перекладинками «Ю» выстраиваются в шеренгу. Поэт писал быстро. Рукав его гимнастерки двигался рядом с поджатым Севкиным плечом. От поэта пахло немножко одеколоном, немножко табаком, немножко старой кожей портупеи. И может быть (чуть-чуть!), порохом, запах которого въелся в ткань военной одежды со времени боев. Так же пахло от Ивана Константиновича, когда он подбрасывал хохочущего Севку к потолку или сажал рядом с собой на жесткую узкую кровать и давал пощелкать курком незаряженного браунинга — маленького и очень тяжелого. Так же, наверно, пахло от папы (только примешивался еще запах морской соли)...

Поэт закончил строчку и вопросительно взглянул на Севку:

— Еще?

— Ой, нет. Спасибо, она мне только одну велела...

Севка вздохнул. Строчка выглядела отлично, только поверит ли Гета? И как быть дальше? Ведь все остальные в жизни буквы все равно придется писать самому.

Поэт понял Севку. И утешил:

— Ты не горюй. Красивый почерк — в жизни не главное. У многих великих людей почерк был такой, что ученые до сих пор не все разобрали, что в их бумагах написано. Вот у Пушкина, например...

— Ой, правильно! — обрадовался Севка.

Он вспомнил:

— У меня есть книга «Пушкинский календарь», там на картинках рукописи Пушкина отпечатаны... — Севка засмеялся. — Гета Ивановна ему показала бы...

Засмеялся и поэт.

— Вот видишь. А ведь это Пушкин... Ты стихи Пушкина читал?

— Конечно, — сказал Севка ласково, будто взял в руки котенка. — Я его люблю. Я его часто читаю.

— И я люблю. На фронт из дома его книжку взял и все время с собой возил, пока не сгорела...

— А вы знаете его стихи «Прощай, свободная стихия...»? — робко спросил Севка.

— Еще бы. Знаю, друг, — сказал поэт и положил на Севкино плечо ладонь.

Ладонь была твердая и очень теплая. Это чувствова-

лось через рубашку. Севка начал таять от этого тепла, от слова «друг», от радостного доверия к доброму и сильному человеку.

— А я... тоже стихи... иногда сочиняю, — задохнувшись от смущения, признался он. — Один раз... про революцию... Только они короткие. Хотите, я расскажу?

Севка тут же раскаялся в своих словах. Он понял, какие неуклюжие у него стихи по сравнению с теми, что читал поэт.

— Да нет, — промямлил он. — Они плохие...

— Может быть, и неплохие. Ты уж прочитай, раз обещал.

Делать нечего. Севка обреченно продекламировал свое четверостишие. Уши Севкины словно варились в кипятке.

— Хорошие стихи, — сказал поэт. — Молодец... Удачно вышло, что мы с тобой встретились, верно? Мы с тобой похожие люди: Пушкина оба любим, стихи пишем...

Он хотел еще что-то сказать, но тут нечистая сила принесла Гету Ивановну.

— О-о... — приятным голосом сказала Гета. — Вы здесь! А я вас жду в учительской. О чем это вы беседуете, если не секрет?

— Да вот родственную душу встретил, — проговорил поэт и нехотя поднялся. — Человек тоже стихи пишет.

— Да, это за ним водится, — согласилась Гета. — Но только, чтобы писать стихи, надо сначала вообще научиться писать как следует. Приличный почерк отработать. Не правда ли? Вот вы скажите ему это.

— Да мы как раз насчет почерка и говорили, — сказал поэт и еле заметно подмигнул Севке.

Гета Ивановна глянула в тетрадь.

— Ну что же, Глущенко, иди... Оказывается, можешь писать, если постараешься.

— До свидания, — сказал Севка. Будто обоим сказал, но на самом деле — поэту.

— До свиданья, — отозвался поэт и на прощанье легонько сжал Севкино плечо.

Когда Севка подходил к дому, почти совсем стемнело. Только в конце улицы светилась под черными облаками багровая щель. Будто в темной комнате приоткрыли дверцу горящей печки.

Дома, наверно, и в самом деле топится печка, потому что мама обещала прийти с работы пораньше. И может

быть, привезла картошку. Тогда мама нажарит полную сковородку. Картошка будет до обалдения вкусная, чуть хрустящая, с золотистыми корочками от подсолнечного масла, которое позавчера получили по талону «жиры» — две бутылки. А еще можно будет напечь прямо на плите картофельные ломтики, посыпанные солью. Крупинки соли стреляют, а ломтики покрываются аппетитной коричневой пленкой с пузырьками..

От этих мыслей Севке было радостно. Но не только от них. Еще больше от встречи с поэтом.

Севка не запомнил его имени. И никогда в жизни больше его не встречал. Он не знал, стал ли этот поэт знаменитым или, наоборот, перестал писать стихи и выбрал другую работу. Но одно Севка знал всегда: это был очень хороший человек.

Впрочем, эти мысли появились у Севки потом. А пока, по дороге домой, занимала его одна подсказанная поэтом мысль: оказывается, можно стать хорошим человеком, если даже не научишься писать красиво.

А о том, что наоборот — не все люди с красивым почерком хорошие, Севка сам догадался, когда стал постарше.

Печка и в самом деле топилась — мама оказалась дома. И картошку привезли! Она была рассыпана по всей комнате — чтобы просохла. На полу остались только узкие проходы — как на минном поле.

Севка вспомнил про свои картофелины. Маленькую выложил на подоконник, для стрельбы (хотя стрелять уже не очень хотелось), а Кашарика показал маме.

Мама была в очень хорошем настроении. Она согласилась, что жарить или варить замечательного Кашарика с Луны ни в коем случае нельзя, пусть он живет у Севки на подоконнике.

Севка вздохнул:

— Только потом он станет старый и дряблый.

— Ничего. Весной из него проклюнутся ростки, мы их вырежем и посадим на огороде. И вырастет у Кашарика целая семья.

Севка обрадовался. И стал рассказывать про поэта. Но тут постучал и заглянул в комнату Иван Константинович.

— Татьяна Федоровна, можно Севу на минуточку? Сева, иди-ка сюда...

Севка выскочил в коридор, где высоко горела пыльная лампочка.

— Ой... — восхищенно сказал Севка. Несмотря на тусклый свет, он сразу разглядел на Иване Константиновиче новые погоны. — Вы теперь майор!

— Да, — улыбнулся Иван Константинович. — Видишь, присвоили. Я насчет демобилизации хлопочу, домой собираюсь, а мне — пожалуйста. Ну да ничего, всему свое время... А это тебе. На память, что был такой капитан Иван Константинович Кан.

Он протянул Севке свои старые капитанские погоны.

— Ой-й... — опять сказал Севка. И глупо спросил: — Насовсем?

— Конечно... Вот только если разжалуют, тогда попрошу назад.

Севка засмеялся: это Ивана-то Константиновича разжалуют?! Да его полковником надо сделать!

В комнате Севка с полчаса любовался сокровищем. Погоны были из золотистой, узорчато вытканной материи с малиновыми кантами по краям и такой же малиновой ленточкой посредине — просветом. На каждом блестели потертой латунью четыре выпуклые звездочки. Все это было настоящее — военное, офицерское.

Севка выпросил у мамы две безопасные булавки и закрепил погоны на плечах — булавками у воротника, хлястиками на лямках штанов. Погоны оказались, конечно, велики, но это не убавило Севкиной радости. Он вертелся перед висячим зеркалом, пока опять не постучал Иван Константинович.

— Татьяна Федоровна, ко мне тут приятели сейчас заглянут. Говорят, что отметить полагается новое звание. Может быть, вы тоже зайдете, а?

Мама смутилась и заволновалась. Куда же она пойдет? В таком виде, растрепанная... И ужин готовить надо, Севку кормить...

Иван Константинович сказал, что приглашает маму вместе с Севкой и ужин готовить не надо, потому что у него есть консервы и еще кое-какие закуски. Вот если бы мама только сделала милость — помогла ему приготовить винегрет...

Через час мама и Севка сидели за столом в комнате Ивана Константиновича. Было еще трое гостей: пожилой веселый майор, черноусый капитан и круглолицая женщина с очень яркими губами — жена капитана. Все шумно разговаривали, пили красное вино из бутылки с пестрой

наклейкой, ели консервы с жареной картошкой, винегрет и бутерброды с крупной оранжевой икрой. Ее шарики лопались на зубах и растекались во рту восхитительным солоноватым соком.

Севке вина, конечно, не давали, но на закуски он налегал вовсю. Мама даже сказала шепотом:

— Не старайся через силу. Помнишь, как объелся пряниками?

Севка помнил. Но все равно старался. Не каждый день случается поесть до отвала и так вкусно.

Иван Константинович пошептался с друзьями, и они наперебой стали просить маму спеть. Мама стала отказываться, но Севка знал, что она все равно согласится. И мама наконец сказала:

— Ну, хорошо, только вы все подпевайте.

И запела замечательную песню, от которой у Севки всегда щипало в глазах.

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Все стали подпевать. Даже Севка — тихонько.

Потом еще спели «Ночь коротка, спят облака» и «На позицию девушка провожала бойца»... А когда спели, услышали, что с суточного дежурства вернулась тетя Аня Романевская. Она ругала за невымытый пол Римку. Слегка расхрабрившийся Иван Константинович встал и сказал:

— Сейчас я ее приведу сюда. Вместе с патефоном.

И правда, привел тетю Аню — слегка упирающуюся, но довольную. И патефон принесли.

Сначала поставили «Рио-Риту», потом быструю музыку, которую очень любила мама, — «Король джаза». Красногубая жена капитана оказалась ужасно веселой. Она подхватила со стула Севку и пустилась танцевать с ним. Она громко смеялась и говорила Севке «товарищ капитан». От нее пахло шелком, помадой и было горячо, как от печки. А настоящий капитан танцевал с Романевской.

Наконец все опять сели за стол. Севка слегка опьянел от сытости, шума и тепла. Все говорили наперебой, и он тоже попытался рассказать о своих делах: о том, что сегодня у них в классе был настоящий поэт и они познакомились. Но мама сказала:

— Подожди, не перебивай, потом расскажешь.

Севка слегка надулся. Иван Константинович заметил это, подмигнул Севке, сходил куда-то и дал ему большую

шоколадную конфету в лаковой красной бумажке. Севка сроду таких не видел!

— Ну, Иван Константинович, — сказала мама. — Вы его все время балуете.

— Н-ничуть, — очень твердо ответил Иван Константинович и опять подмигнул Севке.

Севка снова подумал, что поэт и майор Кан похожи друг на друга. И тоже подмигнул Ивану Константиновичу.

Разве мог он подумать, что через несколько дней сойдется с этим человеком в смертоубийственном поединке?

## Суровое решение

Пришло время рассказать о доме, в котором жил Севка.

Дом был двухэтажный. Первый этаж из кирпича, второй деревянный. Говорили, что до революции в доме обитал владелец городских мельниц Малкин. Он сам, его жена и две дочери-гимназистки. Ну и прислуга, конечно, всякая: кухарки, кучер, дворник. Прислуга жила в кирпичном этаже и маленьком доме, который стоял в глубине двора. А семейство Малкиных располагалось в комнатах наверху. Четыре человека на целый этаж!

Сейчас там было, конечно, гораздо больше жильцов.

На второй этаж прямо от широкого трехступенчатого крыльца поднималась лестница. Почти такая же, как в школе. В давние времена ступени были покрыты желтой краской, но она стерлась, и остатки ее были заметны лишь по краям, у перил. Перила тоже когда-то покрасили — в зеленый цвет. Теперь краска потрескалась и местами осыпалась. Ее квадратные чешуйки легко отколупывались ногтем. В точеных балясинах чернели трещины. Летом из них то и дело выбегали муравьи. Может быть, они там жили, а может быть, что-то искали — Севка не знал.

Лестница кончалась на площадке, тоже окруженной перилами. Там были две разные двери. Шаткая дощатая дверь вела в холодный пристрой, где находились кладовки. А за другой, обитой клочкастым войлоком и старой клеенкой, начинался коридор.

В коридоре всегда стоял полумрак, потому что не было окон. У потолка висела сорокаваттная лампочка, покрытая пылью и мелкими пятнышками. Когда лампочка перегорала, жильцы начинали спорить, чья очередь идти на толкучку и покупать новую. Спорили иногда несколько вечеров. И все это время в коридоре стояла тьма. Лишь в

одном углу прошивали ее игольчатые лучики — они выбивались из комнаты слесаря дяди Шуры, который жил там с глухой тетушкой Еленой Сидоровной. Дяди Шурина дверь была стеклянная, замазанная масляной краской. Свет пробивался там, где краска треснула или отскочила.

Когда лампочку наконец покупали, дядя Шура зажигал свечу, отодвигал от стены старый комод Романевских (который стоял здесь, потому что в комнате места не хватало), ставил на него табурет и налаживал освещение. И все делались довольные. И несколько дней даже забывали ворчать на Романевских за то, что комод в коридоре всем мешает.

Комната дяди Шуры была первая от входа, с левой стороны. За ней располагалась каморка, в которой жила бабушка Евдокия Климентьевна. Она где-то работала сторожихой. Недавно к ней вернулся из армии ее внук Володя. Поступил на завод «Механик» и сразу женился. Теперь они ютились в комнатушке втроем. Римка Романевская сперва говорила: «Вот подождите, молодая-то покажет бабке...» Но Володина жена ничего не «показывала», жили они с Евдокией Климентьевной душа в душу.

Дальше была комната Романевских. Напротив них обитал Иван Константинович. А в конце коридора находилась дверь, которая вела в длинную узкую комнату Севки и мамы.

Была еще на этаже большая общая кухня. В ней пахло подгорелым луком, квашеной капустой и керосином от примусов...

Севке дом нравился. Севка знал, что есть дома, которые в сто раз больше, красивее и удобнее, но это его не касалось, он в них никогда не жил. А в этом доме провел три года своей жизни и полюбил его. Ему нравилась лестница и площадка над ней (немножко похожая на капитанский мостик). Нравилось, что с площадки можно через оконце выбраться на широкий навес над крыльцом — сиди там сколько хочешь, загорай, и никто не ругается. Нравилось, что в коридоре можно потихоньку отодрать верхние обои, и под ними открываются наклеенные листы очень старых газет и журналов — с буквами «ять», с объявлениями о пианино «Юлий Генрихъ Циммерманъ», пишущих машинках «Эдуардъ Керберъ» и «знаменитейшихъ, новейшихъ граммофонахъ марки «Монархъ» с цветнымъ рупоромъ «Лотосъ».

По вечерам дом был полон звуков и голосов. Это делалось особенно заметным, когда Севка ложился спать.

Севка сворачивался калачиком на своем сундуке, закрывал глаза и превращался в радиостанцию, которая принимает разные сигналы.

За стеной спорили о книжках Римка и ее сестра семиклассница Соня. Дребезжаще пел репродуктор у Ивана Константиновича. Кашляли в своей комнате дядя Шура и его тетушка: они оба курили махорку. Стреляли дрова в крошечной печке у Евдокии Климентьевны. Потрескивали стены, и где-то тихонько звенело расшатавшееся в форточке стекло... А может быть, это звенел мотор маленького серебряного самолета, который летал над густым вечерним лесом. В лесу стреляли друг в друга путешественники и разбойники, а в темных болотах пел лягушачий хор. В чаще кашляли косматые великаны. Шумели деревья, бормотали ручьи...

Но были звуки, которые никак не вплетались в сказку. Они проникали с первого этажа, сквозь плотную, спрессованную Севкиной щекой подушку. Это был сердитый голос тети Даши, которая ругала Гарика. Потом наступала тишина. Иногда она означала, что тетя Даша успокоилась. А иногда наоборот — что словесное воспитание кончилось и Гарькина мать ищет ремень. В этом случае вскоре слышалось жалобное хныканье, а потом громкий рев.

Порой оттуда же, из-под пола, доносились мужские крики и пронзительные вопли тети Даши. Гарькин отец был пьяница. Гарьку он никогда не лупил, но зато, вернувшись после выпивки с приятелями, колотил жену — чтобы не ругалась. Тетя Даша хватала сына и убегала из дома. Сама она шла ночевать к подруге, а Гарика приводила наверх, «к Глущенкам».

Мама устраивала Гарика на самодельной кровати из доски и стульев.

Гарик был маленький боязливый первоклассник. Тощий и какой-то всегда несчастный. Мама с жалостью говорила: «Золотушный ребенок». Севка не понимал, что значит «золотушный». Может быть, то, что на остреньком Гарькином лице были рассыпаны редкие веснушки — большие и золотистые? Севка иногда играл с Гариком, но дружить с ним по-настоящему не мог: очень уж тот тихий и затюканный. Севка и сам-то не слишком бойкий, но Гарька по сравнению с ним настоящий мышонок...

Когда Гарька начинал реветь от ремня, Севка отчаянно морщился и отрывал голову от подушки. Краснолицую горластую тетю Дашу он ненавидел, а Гарика жалел.

Но что он мог сделать? Севка беспомощно смотрел в окно. Там глухо темнела стена пекарни.

Эта стена выходила в Севкин двор. А большую территорию, которая примыкала к пекарне, отгораживал от двора щелястый забор из досок. Из-за этого забора прилетал иногда такой вкусный запах, что у Севки до судорог сводило желудок и кружилась голова.

Со стороны пекарни к доскам были грудой навалены железные коробки разной величины — хлебные формы довоенного времени. Широкие и узкие, высокие и плоские. Иногда двойные и тройные — скрепленные ржавыми планками. Севка, глядя на них, поражался: сколько разного хлеба пекли в прежние времена! Теперь-то хлеб, который выдавали по карточкам, был всегда одинаковый — большие прямоугольные буханки. Половина такой буханки в день приходилась на маму и Севку.

Однажды Гришун отодрал в заборе доску, и железные формы посыпались во двор. Ребята набрали целую груду. Несколько дней они играли грохочущими коробками — строили из них города и бронепоезда, делали пароходы и пускали в лужах. Потом эта игра надоела. Всем, кроме Гарика. Гарик утащил десяток форм домой и спрятал под кроватью. Когда отца с матерью не было, он играл в поезд: сцеплял коробки, как вагоны, ставил на переднюю пластмассовый стакан, будто труба, и возил такой состав по половицам. Что же, игра была не хуже других...

Три железных коробки унесла к себе Римка Романевская. Теперь они стояли на подоконниках, и зимой в них зеленели проросший горох и овес. Просто так, на память о лете.

Романевских было четверо: две дочери, их мама, тетя Аня, и отец, дядя Стас. В сорок первом году дяде Стасу отрезали отмороженную на фронте ступню. С тех пор он работал жестянщиком в артели инвалидов. Дядя Стас тоже был пьяница, но не скандальный. Когда он выпивший приходил домой, то сразу отстегивал протез, ложился на кровать, натягивал на голову старую шинель и засыпал. На него не обращали внимания. Или просто так стоит кровать, или с дядей Стасом — все равно.

Старшая сестра — семиклассница Соня — была спокойная отличница с красивыми косами. А четвероклассница Римка — довольно вредная, с задранным, похожим на растоптанный валенок носом. Она считала, что знает все на свете. А если с ней не соглашались, отчаянно спорила и могла стукнуть. Не всех, конечно, а Севку. Но, несмотря

на это, Севка любил бывать у Романевских. Севку не прогоняли и ничего от него не скрывали, будто он свой. И если тетя Аня добывала где-то муку и пекла на кухне в духовке ватрушки с картошкой, Севке тоже давали. Но главное даже не в этом. Главное, что у Романевских все время читали вслух.

Соня читала. Всякие рассказы. То, что задавали по литературе и просто так. «Дубровского», «Гулливера», «Бежин луг», «Ночь перед Рождеством», «Принца и нищего»...

Это было так замечательно! Сядешь на стул верхом, положишь подбородок на спинку, привалишься плечом к теплой печке-голландке и слушаешь, слушаешь... Римка слушает, ни о чем не спорит, тетя Аня слушает. Гарька иногда зайдет и приткнется в уголке... И даже дядя Стас на кровати, кажется, не просто посапывает, а тоже прислушивается к выразительному чтению дочери-отличницы...

А когда не читали, то просто разговаривали обо всем на свете. Тут уж Римка была впереди всех. Только и слышно: «Вы давайте не спорьте, я же знаю!.. Не знаешь, дак помолчи и послушай!»

— Не знаешь, дак помолчи и не спорь, — заявила Римка. — Поэт — это если он только стихи пишет. А если всякие повести и романы, значит, он не поэт, а писатель. Значит, Лермонтов — писатель!

Перед этим Соня читала, как офицер по фамилии Печорин застрелил на дуэли другого офицера — Грушницкого. Севка опоздал к началу чтения. Когда оно кончилось, он стал расспрашивать, что за книжка. Соня сказала:

— Это роман Лермонтова «Герой нашего времени». Слышал про Лермонтова?

Севка даже глаза вытаращил: что за идиотский вопрос! У него в «Пушкинском календаре» напечатано стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». И другие стихи его Севка знал давным-давно: «Парус», «Бородино», «Три пальмы» и еще много. Он брал книжку Лермонтова в детском отделе городской библиотеки, которая рядом со школой, в старинной белой церкви.

— Кто же его не знает? Это же великий знаменитый поэт!

Вот тут-то Римка и заявила: не поэт, мол, а писатель. Соня с ней заспорила, Севка тоже, а толку никакого.

Наконец Севка догадался, чем Римку победить:

— Пушкин тоже не только стихи писал! У него и «Дубровский» есть, и «Капитанская дочка», и еще много... не стихов. Значит, он тоже не поэт?

Римка хлопнула губами. Про то, что Пушкин — поэт, еще в детском саду говорят. Кажется, ее впервые в жизни переспорили. Она сердито хмыкнула и сказала:

— Сравнил тоже! Пушкин — это другое дело.

— Ничего не другое. Они похожие. Они даже погибли одинаково, их обоих на дуэли убили. Потому что их царь не любил. Он боялся, что они за революцию.

Римка опять зацепилась:

— Пушкина вовсе не поэтому убили! Просто царю хотелось за его женой ухаживать, а Пушкин не разрешал.

— Это совсем даже не главная причина!

— Нет, главная, — авторитетно возразила Римка. — Царь за ней увивался, да еще этот Дантес. Все смеялись, а Пушкин злился. Вот и получилась дуэль. Если бы его жена поменьше по балам бегала, ничего бы и не было.

— Значит, жена виновата? — насмешливо спросил Севка.

Римка вздохнула и подперла щеку ладошкой. Проговорила с мечтательной ноткой:

— Может, и не виновата. Кто виноват, если любовь?

— Все-то ты знаешь, — сказала Соня.

— А что такого? Любой женщине приятно, когда в любви объясняются. Особенно если сам царь.

Севка даже забулькал от возмущения: значит, какой-то паршивый буржуйский царь, который угнетал народ, лучше Пушкина?

— Царь по сравнению с Пушкиным — тьфу!

Но Римка, которая все знала про любовь, опять мудро вздохнула:

— Эх вы... Пушкин с утра до вечера только стихи писал, а жене хотелось, чтобы за ней ухаживали. Это всем приятно... Думаешь, твоей маме не приятно, когда Иван Константинович ее в кино водит?

Севка остолбенел.

Потом он выдохнул:

— Что-о? Значит, по-твоему, он за ней ухаживает?

— А нет, что ли? — удивилась Римка.

— Ну-ка придержи язык свой бессовестный! — прикрикнула тетя Аня. — Тебя тут спросили, да?

— А что такого? — обиделась Римка. — Они же по-хорошему. Может, даже поженятся.

— Дура ты окончательная! — тонким голосом сказал Севка. И хлопнул дверью.

Сперва Севка не чувствовал ничего, кроме злости на Римку. Вот ненормальная! Сказать такое про Ивана Константиновича!

Потом... потом как-то само собой подумалось, что ведь и правда: в кино Иван Константинович и мама ходят довольно часто...

«Перестань! — сурово сказал себе Севка. — Мало ли кто с кем ходит в кино? При чем здесь любовь?»

Да, но ведь не только в кино они ходят...

Севке было известно из книжек такое выражение — «червь сомнения». Это когда что-то тревожит и не дают покоя мысли — тоскливые и неотвязные. Будто длинный тонкий червяк шевелится в человеке, противный и скользкий.

...То, что в прежние дни Севке нравилось, теперь вспоминалось по-другому. Раньше он радовался, что Иван Константинович провожает маму домой, если та задерживается на работе. Но теперь он подумал: «А почему только маму? Романевскую ни разу не провожал или еще кого-нибудь...»

Конечно, замечательно, что Иван Константинович помог привезти дрова, а потом и картошку. Но... зачем он это делал? По доброте душевной или чтобы понравиться маме?

Угощал Севку конфетами, подарил карандаши, шоколадку, даже погоны... Тоже для того, чтобы мама видела, какой он хороший?

Нет, не мог Севка поверить. Не мог расстаться так просто с прежним Иваном Константиновичем — добрым, храбрым человеком, который показывал Севке пистолет, сделал однажды из белой блестящей бумаги тетрадку для рисования, рассказывал про войну и лихо подбрасывал к самой потолочной балке. И главное — никогда не разговаривал с Севкой насмешливо и торопливо, как взрослые часто разговаривают с маленькими.

Но... что было, то было. Если вспомнить все по порядку, то ясно — ухаживает. Духи однажды подарил маме: не на день рожденья, а просто так. Иногда зайдет, будто на минутку, и сидит целый час. И чего-то вздыхает непонятно. И на недавней вечеринке танцевал только с мамой...

— Севка, ты что такой скучный, будто у тебя живот болит? — спросила мама.

— А? — растерянно вскинулся Севка. — Нет... Ничего не болит ни капельки.

Не скажешь ведь, что болит душа, изъеденная тем противным червяком.

— Ложись-ка спать.

Севка послушался. Мама была, конечно, ни при чем. Просто она доверчиво попадалась в ловушки, которые расставлял ей коварный капитан (а потом майор) Кан.

Уже в постели Севка вспомнил, что у Ивана Константиновича в Пензе есть жена и дочка-третьеклассница. Ну и что? Севка был не маленький, слышал он не раз истории, когда после войны такие вот «ухаживальщики» не возвращались домой к женам и детям, а заводили себе новые семьи. Про это и мама с тетей Аней беседовали, и Римка любила про такие дела поболтать. Римку всегда волновали вопросы любви, измены и замужества.

Севка уснул, но и после этого не было ему покоя. Снилась нехорошая чушь: длинные червяки с маленькими человечьими головками, урок чистописания в какой-то пещере с керосиновыми лампами и бандиты из шайки «Черная кошка», которые гонялись за Севкой по громадным пыльным сеновалам. Но это были пустяки по сравнению с последним сном. Под утро приснился Иван Константинович в мундире, похожем на платье Геты Ивановны. Севка сообразил, что это форма, какую носил офицер Печорин. Иван Константинович сидел на лавочке в сквере у цирка и чистил старинный пистолет, похожий на клюку.

Севка сразу понял, что делать. Он подошел, сдвинул брови и потребовал:

— Вы больше не смейте подходить к моей маме!

Майор Кан не удивился. Он продул ствол пистолета и, не глядя на Севку, сказал в точности, как Римка:

— А что такого? Мы, может, даже поженимся.

— Нет!

— А тебе не указать, к носу палку привязать, а у палки есть ответ: ты дубина, а я нет.

— Тогда... — отчаянно сказал Севка. — Тогда я вас вызываю на дуэль.

И они сразу оказались на крошечной каменной площадке, окруженной облаками. Иван Константинович неприятно улыбнулся и поднял пистолет-клюку. Прямо в Севку прицелился! А у Севки была только железная трубка с картофельными пробками. Ну ничего, сгодилась бы и

трубка, но Севка никак не мог попасть в нее карандашом, чтобы нажать и выстрелить. А Иван Константинович целился, целился... Как тут было не проснуться?

В школе на всех уроках Севка думал, как поступить. Сказать Ивану Константиновичу: «Не смейте ухаживать за мамой»? Он ответит: «Да что ты, Севочка, разве я ухаживаю? Кто тебе такую чушь сказал. Ты не волнуйся». И все пойдет по-старому, взрослые не очень-то слушают маленьких. Подложить в комнату Ивана Константиновича самодельную гранату из карбида, чтобы он испугался и уехал? Он не испугается, на фронте он и не такое видел.

А что-то делать было необходимо, хочешь не хочешь.

Севка не был храбрым человеком. Он очень неохотно дрался. Он боялся после второй смены возвращаться домой по темным улицам. Боялся грозы и городского сумасшедшего дяди Дуси, который мычал и гонялся за мальчишками, когда его дразнили. Но случалось в жизни, когда бойся не бойся, а деваться некуда. Если, например, дал честное слово, что прыгнешь с трехметрового навеса в сугроб — помирай, но прыгай. Потому что честное слово нарушить невозможно. Если обещал маме сперва сделать уроки, а потом гулять, приходится (хотя и быстро-быстро) делать. Потому что маму обманывать нельзя: во-первых, бесполезно, во-вторых, потом самому тошно. А когда один раз на Гарика налетел третьеклассник Валька Прыгун и отобрал сосновый кораблик, Севка догнал Прыгуна и огрел по спине самодельным автоматом. Потому что за маленьких из своего дома полагается заступаться.

И теперь, как ни вертись, а выход был один. Севка наконец это понял отчетливо.

Приняв твердое решение, Севка слегка успокоился. Конечно, он все равно чувствовал тревогу, но это была не растерянность, не поиски выхода, а волнение перед боем.

Все складывалось удачно. Когда Севка вернулся с уроков, мама еще не приходила, а майор Кан был дома: накануне он дежурил по училищу и сегодня отдыхал. Или поджидал маму, чтобы опять куда-нибудь пригласить?

Севка стал готовиться. Надел матроску — это была его парадная одежда. Натянул длинные зимние штаны. Вообще-то он их ненавидел всей душой и надевал только в самые лютые холода: штаны были из такого колючего сукна,

что даже сквозь чулки кусались не хуже крапивы. Но сейчас приходилось терпеть, чтобы выглядеть взрослее и мужественнее.

Потом Севка подумал, что следует вернуть подарки. Тетрадь он давно изрисовал, карандаши источил, шоколад, естественно, съел. Оставались погоны. Севка прогнал сожаление, сжал погоны в кулаке, встал посреди комнаты и несколько раз глубоко вздохнул — чтобы набраться решимости. В горле что-то само собой глоталось. Севка глотнул посильнее — последний раз — и строевым шагом вышел в коридор. Решительно постучал в дверь майора Кана.

— Сева, это ты? Входи, входи!

Иван Константинович, нагнувшись над столом, заправлял в машинку чистый лист. Машинка была трофейная, только буквы у нее сменили на русские. Она была казенная. Ивану Константиновичу дали ее в училище, чтобы печатать всякие планы для занятий с курсантами. Иногда Иван Константинович разрешал Севке попечатать. Севка мечтал, что когда-нибудь сочинит настоящее длинное стихотворение и полностью напечатает его на этой машинке.

Нет, никогда этого не будет...

Иван Константинович, видимо, удивился: почему Севка стоит у порога и каменно молчит? Он оглянулся. Выпрямился.

— Что с тобой, Сева?

Севка сделал несколько деревянных шагов и отчетливо сказал:

— Нате ваши погоны.

Он метнул их на стол. Один погон застрял под машинкой, другой лег на самый край стола и закачался: упасть или нет? Не упал.

Севка заставил себя посмотреть Ивану Константиновичу в глаза.

— Севушка, что случилось?

Он был такой знакомый, такой добрый и привычный... Но нет, это был враг. Севка опять крупно глотнул и проговорил, не опуская глаз:

— Я вызываю вас на дуэль.

## Дуэль

Иван Константинович приоткрыл рот, мигнул. Хотел что-то сказать, но только тихо кашлянул. Опустился на стул.

Спросил:

— Ты не шутишь?

— Нет, — сказал Севка и ощутил внутри неприятное замирание.

Иван Константинович опустил голову. Мельком взглянул на Севку, забарабанил пальцами по краю стола. Рядом с погоном.

— За что же ты меня так?

— Потому что... — Севка неожиданно осип. — Вы ухаживаете за мамой. А я не хочу... Вы не имеете права!

Иван Константинович подскочил как на шиле.

— Севка, да ты что! — Лицо у него стало жалобным.

«Сейчас начнет отпираться», — подумал Севка.

— Ты с ума сошел, — печально сказал Иван Константинович.

— Нет, не сошел. Может, вы на ней еще жениться хотите?

— Кто тебе наговорил такую чушь?

— Никто. Сам вижу, — сурово сказал Севка.

— Да я... — начал Иван Константинович и замолчал. Что-то непонятное мелькнуло на его лице. Он стал другим.

— Дуэль — вещь серьезная. Может быть, ты еще подумаешь? — строго спросил он.

Севка опять ощутил неприятное замирание. Тайная надежда, что Иван Константинович откажется стреляться и поклянется не подходить к маме, испарилась. Да и глупая это была надежда! Если человека вызывают на дуэль, тот не имеет права отказаться. Это может сделать лишь самый последний трус, и тогда над ним всю жизнь будет висеть черный позор. Иван Константинович ни в коем случае не трус. Значит...

Что же, когда идешь на поединок, на мирный исход рассчитывать не стоит. Севка сказал как можно решительнее:

— Я думал уже два дня.

— Тогда конечно...

Иван Константинович встал.

— Ни в чем я не виноват. Ни перед тобой, ни перед мамой. Это все твои выдумки или чьи-то глупые разговоры. И я не стал бы принимать вызов из-за этого. Но ты швырнул мне мои погоны, это оскорбление офицерской чести. Я теперь просто не имею права уклоняться от дуэли... Каким оружием будем драться?

— Пи... пистолетом, — одними губами сказал Севка.

— У тебя есть пистолет?

— У вас же... есть...

— А! Ты предлагаешь стрелять по очереди?

Севка кивнул.

— Что же, можно и так. Давай начнем.

Внутри у Севки что-то ухнуло и тяжело замерло. Будто он выпил полведра воды и вода эта в желудке моментально превратилась в ледяной ком. Но Севка не шевельнулся, не дрогнул. Не сделал даже крошечного шажочка назад.

— Давайте, — сказал очень тихо, но упрямо. Потому что деваться было некуда. Пускай уж скорее все кончится.

Иван Константинович быстро взглянул на Севку и опять стал смотреть в сторону. Деловито проговорил:

— Один из нас, по всей вероятности, будет убит или ранен. Надо, чтобы тот, кто останется невредимым, не попал под суд. Поэтому придется подписать договор.

— Какой договор? — шепотом спросил Севка.

— Сейчас... — Иван Константинович повернулся к машинке и, не садясь, защелкал клавишами. Потом выдернул лист и протянул Севке. Вот что было там напечатано:

## ДОГОВОР

*Мы, ученик 2-го класса Всеволод Глущенко и майор Кан И. К., договорились о честной дуэли. Оставшегося в живых просим не привлекать к суду.*

Подписи: (Глущенко)
(Кан)

— Прочитал? — спросил Иван Константинович, и Севка увидел его строгие серые глаза.

— Да... — прошептал Севка.

«Неужели это правда? А что скажет мама?»

— Согласен? — спросил Иван Константинович.

— Да...

— Тогда подписывай. Вот здесь.

Он дал Севке ручку-самописку. Севка начал выводить фамилию. Ручка была тяжелая, скользкая, она вырывалась из пальцев. Перо царапало бумагу. Буквы получались очень корявые. Севка вдруг подумал, что, может быть, он пишет последний раз в жизни. Ему стало ужасно жаль себя. Просто хоть плачь. Но он не заплакал все-таки. Не хватало еще такого позора!

Севка поставил большую точку, аккуратно положил самописку и отступил от стола. Медленно поднял на Ивана Константиновича печальные глаза. Но Иван Констан-

тинович на Севку опять не смотрел. Он быстрым взмахом подписал договор и выпрямился.

— Стрелять будем по одному разу, — решительно сказал он. — Патроны у меня казенные, мне за них отчитываться придется, если жив буду... А где брать секундантов? У тебя есть?

— Нету... — прошептал Севка, ощущая слабость в ногах.

— И у меня нет. Обойдемся без секундантов?

Севка кивнул. Он опять часто переглатывал.

— Давай тянуть жребий, — предложил Иван Константинович.

Севка шевельнул губами:

— Как?

— Надо же знать, кто будет стрелять первым... Вот смотри, я на этих бумажках напишу цифры «один» и «два», а ты будешь выбирать. Если вытянешь единицу — твоя очередь первая. А если двойку — вторая.

Иван Константинович что-то черкнул на бумажных клочках, скатал их и бросил в свою фуражку. Севка следил за ним, как следит за хозяином умная собака, когда тот готовит веревку и камень. В ушах у Севки стоял тихий неприятный звон. Сквозь этот звон он услышал:

— Выбирай.

Перед Севкой оказалась фуражка, на донышке которой белели бумажные трубочки. Они лежали далеко друг от друга на серой шелковой подкладке. В подкладке темнела крошечная, словно прожженная искрой дырка. Посредине был пришит клеенчатый четырехугольник с какими-то неразборчивыми буквами. Севка машинально постарался их прочитать и не смог. «Стерлись о волосы», — подумал он. — И услышал:

— Что же ты? Бери.

Да, ведь надо тянуть жребий! Никуда не денешься — дуэль.

Севка постарался ухватить бумажную трубочку — ту, что поближе к середине. Пальцы были какие-то странные, долго не могли подцепить. Наконец Севка взял и развернул бумажку. Там была большая единица.

— Повезло тебе, — со вздохом сказал Иван Константинович. — Будешь стрелять первым. Ну, а если промахнешься, тогда — я.

И Севка увидел, как он достал из ящика кобуру, расстегнул ее и положил на ладонь знакомый браунинг.

Положил, задумчиво покачал на ладони. Потом вынул из рукоятки обойму, щелчком выбил из нее на стол два патрона.

— Обойму я уберу, — объяснил он. — Будем вставлять по одному патрону. Выбирай, какой тебе нравится.

Патроны были коротенькие, аккуратные. С круглыми, похожими на орешки пулями. Такие безобидные на вид.

— Какой тебе нравится?

Севке никакой не нравился. Он отчетливо чувствовал, что в этих блестящих штучках сидит смерть. Но пути назад не было, и Севка дрожащим пальцем ткнул наугад.

— Вот его и зарядим, — проговорил Иван Константинович. Взял патрон, оттянул затвор у браунинга. Как-то неловко дернул рукой, и второй патрон нечаянно смахнул со стола.

— Ох я, растяпа... Подними, пожалуйста.

Севка громко стукнул ослабевшими коленками о половицы и полез под стол. Патрон лежал у дальней ножки стола. Севка поднял его. Патрон был очень холодный.

Выбираться на свет не хотелось, но Севка выбрался. Осторожно положил патрон в фуражку.

— Разойдемся по углам, — деловито сказал Иван Константинович. — Это будет дистанция. Бери пистолет и вставай вон туда, к двери. Курок взведен, твое дело только прицелиться и нажать.

Севка ощутил в ладони ребристую рукоятку. «Маленький, а какой тяжелый», — снова подумал он про браунинг. И слабыми шагами отправился в угол. Там, рядом с дверью, висела шинель Ивана Константиновича.

Когда Севка повернулся, Иван Константинович уже стоял в другом углу — у спинки кровати. Лицо его было спокойным и суровым.

— Стреляй, — холодно сказал он.

Это что же? Значит, все на самом деле? И сию минуту Севка должен выстрелить из настоящего пистолета в Ивана Константиновича. По правде? И Иван Константинович закачается и упадет рядом со своей железной солдатской кроватью и его уже не будет на свете?

Севка же не хотел этого! Он только маму хотел защитить! А стрелять в живого человека, да еще в такого знакомого, просто родного — это не игра в войну, когда «кых-кых, ты убит!».

— Ну, что же ты? — устало спросил Иван Константинович.

Самое время было бросить пистолет и зареветь. Но законы чести — они как стальные тиски. И Севка стал поднимать браунинг. Он не будет стрелять в Ивана Константиновича, он просто промахнется.

Нет, он выстрелит в воздух, как Лермонтов на дуэли с Мартыновым!

Севка вскинул руку над головой. И только в этот миг сообразил, что пистолет грохает очень сильно. Севка боялся выстрелов. Когда Гришун у себя в сарае стрелял из поджига, Севка старался стоять подальше и, если никто не видел, зажимал уши.

Но здесь уши не зажмешь.

Севка зажмурился и надавил спуск.

Раздался негромкий щелчок.

Севка изумленно открыл глаза. Иван Константинович быстро подошел к нему. Взял браунинг.

— Осечка, — сказал он и вздохнул. — Что поделаешь, пистолет старенький, я с ним всю войну прошел... Ну, а по правилам дуэли осечка считается за выстрел. Да это и неважно, ты все равно вверх стрелял. А теперь моя очередь... Я сменю патрон.

Он подошел к столу и передернул затвор...

«Неужели правда? — подумал Севка. — Неужели он будет в меня целиться и стрелять?»

Нет, не будет, конечно. Он так же, как Севка, выстрелит вверх.

А если нет?

Ну и пусть. В конце концов, Севка сделал все, что требовалось по закону поединка. Он не струсил. Теперь все равно...

С каким-то сонливым равнодушием Севка смотрел, как шагает Иван Константинович в свой угол. Он шагал очень медленно. Будто плыл по воздуху. И Севка тоже поплыл куда-то, а воздух стал густой, мягкий, потемнел, почернел и окутал Севку со всех сторон...

Холодная вода текла Севке на грудь через вырез матроски. Севка поднял веки и увидел белое лицо Ивана Константиновича.

— Севушка, милый мой, я же пошутил! Я же не хотел...

Значит, он, Севка, грохнулся у двери в обморок? Ужас какой... Какой чудовищный позор!

Севка локтями оттолкнулся от подушки.

— Это не от страха! Это потому, что я не поел, у меня так и раньше бывало от голода! Я встану, стреляйте, пожалуйста!

— Да лежи ты, лежи...

— Я не боюсь!

— Да знаю я, что не боишься!.. Я же пошутил, я не вставлял патроны!

— Эх вы! — сказал Севка. — А еще майор...

— Дурак я старый, а не майор! Пороть меня надо, мерзавца... Ты как себя чувствуешь?

— Прекрасно я себя чувствую, — сурово сказал Севка, хотя мягко кружилась голова. Он откинулся на подушку. Было ясно, что дуэль окончена.

— Севушка, ты только маме не говори, ладно?

— Ладно, — вздохнул Севка. Не хватало еще, чтобы мама узнала эту историю!

— И не ухаживал я за ней вовсе, — жалобно сказал Иван Константинович. — Ну... если в кино сходим или в гости к вам зайду, что такого? Тоскливо ведь одному-то. Я своих уж сколько времени не видел... Ты все-таки дурень, Севка, честное слово... «Поженитесь»... У меня такая прекрасная жена, и Леночка тоже замечательная. Как же я их брошу?.. Ты мне веришь?

Севка верил. И удивлялся, как безмозглая Римка могла заморочить ему голову. Иван Константинович снова был свой, добрый, замечательный. Как хорошо, что эта глупая дуэль кончилась благополучно. Только... стыдно все-таки, что он свалился без памяти.

— Я от голода упал, честное слово. Я не боялся.

— Я знаю, — очень серьезно сказал Иван Константинович. — Я это отлично понимаю. Ты очень смелый человек и вел себя просто героически. И благородно... А голод кого хочешь свалит. Почему же ты не поел? Нечего?

— Нет, я забыл...

— Знаешь что? Мы сейчас откроем тушенку и пожарим с картошкой! А ты пока лежи...

Севка лежал и смотрел на Ивана Константиновича, который вспарывал ножом консервную банку.

— Если бы у вас не было жены и дочери, — сказал Севка, — и если бы я точно знал, что папа не вернется, тогда, пожалуйста, женитесь на маме... Но вдруг папа все-таки вернется?

## О чудесах, сказках и жизни всерьез

Вдруг он все-таки вернется?

У Севки была такая надежда. Не очень сильная, но была.

Сначала-то она была сильная. Год назад Севка часто говорил про это с мамой. Раз никто не видел, как папу убили или как он утонул, значит, он, может быть, спасся.

— Нет, Севушка, — печально объясняла мама. — Я писала, наводила справки. Всех, кто спасся, подобрали англичане.

— Может, не только англичане! Может, там еще был какой-нибудь корабль!

— Не было...

«Не было»! Откуда мама знает? В конце концов, раненого и оглушенного папу могли подобрать немцы. Их подводная лодка. Может быть, они забрали папу в плен, хотели, чтобы он выдал им военно-морские тайны, а он ничего не выдал и убежал из плена. И организовал партизанский отряд...

Мама, когда слышала такие разговоры, только вздыхала. И, кажется, даже сердилась.

— Ох, Севка, Севка. Опять ты со своими сказками... Ну подумай: разве папа не разыскал бы нас, если бы остался жив?

Севка думал. Папа мог и не разыскать. Не так-то это легко.

Весной сорок первого года папу перевели из Ростова в Мурманск, а мама решила пока не ехать с маленьким Севкой. Неясно, как там с квартирой, да и лето на юге для Севки полезнее. А осенью они приедут...

Кто же думал, что осенью они окажутся в Ишиме, а еще через год в этом городке на берегу реки Туры?

Из Ростова эвакуировали их спешно. В трясущейся, набитой людьми теплушке мама написала отцу, что их везут за Урал, и бросила бумажный треугольник в ящик на какой-то станции. Потом она посылала еще много писем, но ответа не было. Видимо, потому, что папа был уже не в Мурманске, а где-то в другом месте. Наконец в начале сорок третьего года пришел по почте какой-то документ, и мама долго плакала. Запомнились только слова: «Пропал без вести...»

— Это сперва так написали, — объясняла Севке мама,

когда он подрос и донимал ее своими разговорами. — А потом я опять запрашивала, и сообщили, что погиб.

Мама показала Севке серый, сложенный вчетверо лист. На нем был чернильный штамп со звездой и якорем. И напечатанные на машинке слова, что «старший помощник капитана Сергей Григорьевич Глущенко числится в списках погибших членов экипажа транспорта «Ямал», который в составе конвоя... следовал... был атакован... затонул на траверзе острова... широта... долгота...

И стояла подпись капитана третьего ранга Есина.

Капитан третьего ранга — это все равно что в сухопутной армии майор. Такой человек зря писать не будет. К тому же мама и Севка получали деньги как семья погибшего при исполнении служебных обязанностей моряка-командира.

Но все-таки... Бывают же иногда чудеса! Вдруг папа найдется сам и будет искать маму и Севку? А где? Запросы в штаб флота мама писала еще из Ишима, здешний адрес никто в Мурманске не знает.

Все это не раз обдумывал Севка по вечерам, свернувшись на своем сундуке под одеялом и маминым полушубком. Но с мамой говорил про отца все реже. Потому что она опять скажет: «Сказки все это, Севка...» И сделается печальной.

Но ведь и сказки иногда сбываются. Вернулся же отец у Юрика!

Здесь надо продолжить рассказ о Юрике. О том дне, когда Севка и Юрик стремительно и радостно подружились.

Это был такой счастливый день.

Севка прибежал домой и сразу сел читать «Доктора Айболита». Замечательная такая книга! Севка решил, что обязательно прочитает ее до вечера. А завтра после уроков опять помчится к Юрику.

Но книжка была большая, и к маминому приходу Севка не осилил и половины. А когда пришла мама, стало не до чтения.

Мама принесла полную сумку соевых пряников. Их выдали в магазине по карточкам взамен жиров. В шестикратном размере. Вместо килограмма масла шесть килограммов пряников!

Мама высыпала их на стол и сказала, что Севка может лопать сколько хочет.

Вот это был пир! Севка ел пряники с чаем и просто так. И когда делал уроки. И когда рассказывал про Юри-

ка. И когда опять читал «Айболита». Мама наконец испугалась:

— Ты ведь уже через силу жуешь. Заболеешь.

Севка засмеялся: кто же болеет от сладких замечательных пряников?

Но мама оказалась права. Ночью Севку затошнило, заболел живот. Севка стонал, крутился и один раз от сильной боли решил, что совсем пришел конец. Мама с ним намучилась.

Утром стало легче, но сильно кружилась голова, и Севка не мог подняться. И есть ничего не мог. Хорошо, что был выходной и мама не пошла на работу.

В понедельник Севка встал, но в школу и на улицу мама его не пустила. Ноги у него еще были жиденькие, а порой подкатывала тошнота. Особенно когда он смотрел на пряники.

Зато в этот день Севка дочитал «Айболита».

Во вторник утром он затолкал книгу в сумку, а после уроков (их было всего два!) побежал к дому Юрика.

Он был уверен, что Юрик так же, как в прошлый раз, прыгает на расчерченной мелом площадке. И ждет его, Севку.

Но Юрика не было. А стояла у калитки та самая бабка, хозяйка дома.

Севка очень оробел. Даже подумал: «Может, потом прийти?» Но очень уж хотелось поскорее увидеть Юрика. Севка собрался с духом, подошел и пролепетал:

— Здрасте... А Юрик дома?

Бабка не удивилась.

— Юрка-то? — неласково сказала она. — Уехали они вчерась.

— Как? — прошептал Севка. Он сразу понял, что больше Юрика не увидит.

— Так и уехали, раз отец за ними прикатил. Они и не ждали. А он как сумасшедший: поехали, скорей, скорей! Быдто на пожар. Вот и собрались в один день.

— А куда? — беспомощно спросил Севка.

— В Ленинград свой, известное дело. Им в нашей берлоге, конечно, не житье...

«У, дура», — с ненавистью подумал Севка. Но сказал другое:

— Как же теперь быть?

— А чего тебе... — сумрачно отозвалась старуха. — Так и будешь.

— А у меня книжка его, — пробормотал Севка, хотя дело было совсем не в книжке.

Старуха нехотя сказала:

— Он тут вроде адрес какой-то писал на бумажке. Если, говорит, какой парнишка придет, то отдайте, мол. Да я мусор жгла на огороде и ее, видать, тоже замела...

На миг в ее глазах мелькнула виноватость.

Севка обмер: значит, был адрес, была надежда, значит, Юрик Севку не забыл, а эта стуруха... Он сдержался. Он вежливо спросил:

— А может быть, не замели? Может быть, найдется? Поищите, пожалуйста.

— Да говорю, сожгла. Сама вот искала, чтоб написать: они у меня чугунок треснули, а деньги так и не отдали, я уж потом трещину-то увидела...

Севка повернулся и пошел. Но через несколько шагов обернулся.

— У, ведьма, — сказал он с задавленными слезами. И побежал.

Дома Севка разревелся. Он долго всхлипывал и гладил растрепанного «Айболита» — единственную память о Юрике. Но когда пришла мама, он уже успокоился, хотя все равно был печальный.

— Ты что нос повесил? Уж не хотят ли тебя оставить на второй год?

Севка ответил, что не хотят. Зато Юрик уехал навсегда.

Мама Севке посочувствовала. Но сказала, что унывать не надо. Может быть, Севка и Юрик еще встретятся в жизни, отыщут друг друга.

— Ага, «отыщут». Адреса-то нет... Может, папа тоже нас так ищет...

— Ох, Севка... Ну сколько можно про это?

— Но ведь у Юрика же папа вернулся!

— Да откуда ты взял, что он пропадал? Наверно, он просто был в другом городе, а потом приехал за семьей.

Но Севка знал, что все не так. Папа у Юрика, наверно, тоже пропал во время войны, а потом нашелся. Ведь недаром Юрик ни слова не говорил про отца. Он просто ничего еще про него не знал...

Севка так и сказал маме. А мама грустно ответила, что верить в чудеса можно, пока ходишь в детский сад. А в школьном возрасте это уже несерьезно.

Севка, однако, верил в чудеса. Во всякие. И в большие, и в маленькие. И в некоторые приметы верил (например, в белую лошадь). Мало того, Севка верил в бога.

До первого класса Севка никогда не думал о боге всерьез. Что о нем думать, если его нет? Еще в детском садике объясняли, что бога придумали в старину неграмотные люди, которые не знали, что гроза — это электричество. Но однажды зимой первоклассник Севка сидел у Романевских, и Римка вдруг сказала капризным голосом:

— Ох, опять ничего не успею выучить. Помолиться, что ли, чтоб не вызвали?

— Как помолиться? — изумился Севка.

— Очень просто. Попросить бога, чтобы спас от двойки.

— Ты ненормальная? — спросил Севка.

— Сам ты ненормальный! Не знаешь, дак помолчи! У нас в классе одна девочка все время богу молится, и у нее одни пятерка, она сама говорила.

— Наверно, она уроки учит как следует, — заметила отличница Соня.

— Не знаешь, дак не спорь! Ничего она не учит, ей бог помогает.

Соня только рукой махнула: с Римкой спорить — все равно что головой о печку. Удивительно было другое: тетя Аня, которая всегда покрикивала на Римку, чтобы та придержала язык, на этот раз промолчала.

И Севке пришлось продолжать спор одному.

Он сказал, что в бога верили только крепостные крестьяне, потому что их угнетали помещики. Они, эти крестьяне, в школах не учились. А Римка хоть и дотянула до третьего класса, а хуже, чем крепостная крестьянша... то есть крестьянка. Совсем бестолковая.

— Сам ты дубина, — ответила Римка. — Евдокия Климентьевна, что ли, тоже крепостная? А она недавно в церковь ходила.

Тогда Севка выдал самое крепкое доказательство:

— Если бог есть, зачем он разрешил немцам войну устроить? Сколько хороших людей поубивали!

— Зато они попали в небесное царство, — невозмутимо возразила Римка.

Севка даже задохнулся от злости на такую беспросветную тупость! «Небесное царство»! Легче разве было бы папе, если бы он туда попал? Он домой хотел вернуться, к Севке, к маме...

Тетя Аня то ли шутя, то ли по правде сказала:

— Коли уж такая заваруха началась на земле, война

эта проклятая, богу за всеми не усмотреть. Кому поможет, а кому и не успеет...

С тетей Аней Севка спорить не решился. Да и к чему? Пускай Римка молится, если ей охота... Кстати, двойку она все равно получила и ревела, потому что тетя Аня огрела ее самодельной калошей дяди Стаса...

Но случилось так, что через день Римка принесла чудовищную новость: прямо на Землю из мирового безвоздушного пространства летит не то комета, не то планета, не то просто кусок, отколовшийся от Солнца. В общем, какой-то громадный метеор. Грохнется он очень скоро и серединой своей как раз накроет несчастный городок Т. И всю близлежащую местность.

Севка сперва ничуточки не поверил: мало ли что Римка намелет. Но Соня сказала, что и правда говорят про какой-то метеор. Наверно, это ненаучные выдумки, но интересно, откуда они взялись?

Потом оказалось, что у тети Ани на работе тоже обсуждали эти слухи. И все знают: метеор этот или комета брякнется на Землю не позже чем через три дня.

— Врут небось, — сказала тетя Аня. — Ну а свалится на нашу голову, дак и ладно, забот меньше. Все равно жизнь собачья, опять лежит и дрыхнет после водки лодырь окаянный...

Дядя Стас посапывал: ему было наплевать на все метеоры и на сердитую тетю Аню.

А Севке было не наплевать. Он здорово перепугался. Он представил, какой это будет ужас: навалится сверху что-то огненное, расплавленное, громадное. Вот все на миг вспыхнуло — и ничего нет... Это, наверно, пострашнее войны. Тем более что война теперь далеко, в Германии, и должна скоро кончиться...

Подавленный и притихший Севка ушел от Романевских к себе.

— Ты что? С Римкой опять поругался? — поинтересовалась мама.

— Ага, — соврал Севка. Признаться в своих страхах было стыдно. Он сказал небрежно:

— Болтает всякую ерунду. Будто на Землю какая-то штука летит раскаленная...

— Ой, да все болтают, — неосторожно отозвалась мама, — даже взрослые. А с девочки что взять? Повторяет глупости...

Севка совсем упал духом. Если даже взрослые про это говорят, значит, что-то и вправду летит.

Он приткнулся у подоконника. Среди тополиных веток висела недозревшая луна. Одна щека у нее была круглее другой — раздутая, будто недавний флюс у соседки Елены Сидоровны. Луна светила непривычно тревожным розоватым светом, и в самом лунном «лице» таилась зловещая тайна. Соседка Земли явно знала что-то о скорой катастрофе.

На следующий день в школе ребята все время болтали о «комете». Впрочем, без особого страха, даже со смехом. Не понимали, глупые, какая нависла опасность.

Владик Сапожков на уроке арифметики спросил у Елены Дмитриевны, правда ли, что на Землю скоро свалится кусок от Солнца. Елена Дмитриевна сказала, что не знает точно, свалится ли что-нибудь на Землю. Но она точно знает, что, если Сапожков не будет переписывать с доски примеры, а станет болтать чепуху, двойка ему в тетрадь свалится обязательно.

Севку опять обдало страхом. Ведь Елена Дмитриевна не сказала, что кометы нет. Она только ответила, что «не знает точно».

Какие уж тут примеры! Севка отложил ручку и тоскливо посмотрел в окно. Там было хорошо, светло. Солнце заливало белую стену церкви, где находилась библиотека. Это была старинная, очень красивая церковь. Ее башни, похожие на точеные шахматные фигуры, высоко поднимались над крышами городка. Когда-то люди ходили сюда молиться богу. Специально для этого церковь и построили...

Вот такую громадную, красивую, высоченную. Ведь не безграмотные люди строили ее. Для такой работы нужны инженеры и эти... как их... ар-хи-текторы. Они-то были образованные. И все равно в бога верили? Если строили, значит, верили...

«Тогда... — подумал Севка. — Тогда... может, он и вправду есть?»

Севке нужна была защита от страха. От нависшей над всем белым светом беды. Севка не мог долго жить под тяжестью такой громадной угрозы...

Потом он этому научится. И все люди научатся. Привыкнут жить и даже смеяться и радоваться, хотя будут знать, что каждый миг может вспыхнуть огонь всеобщего уничтожения. И не из-за какой-то космической причины, а из-за собственного человеческого идиотизма, породившего термоядерную смерть.

Но в тот февральский день сорок пятого года Севка ничего этого не знал. Взрывы над Хиросимой и Нагасаки

еще не встряхнули планету, и никто не верил, что бомба может быть страшнее самого громадного огненного метеора...

Итак, Севке нужен был щит от беды, летящей из черного безвоздушного пространства. Никто из людей не мог дать такую защиту. Даже Елена Дмитриевна не могла. Даже мама. И тогда Севка подумал: «Может, попросить бога?»

В конце концов, что Севка терял? Если бога нет — значит, нет. А если он вдруг все-таки где-то есть, что ему стоит помочь Севке? Самую чуточку отодвинет с пути эту комету — и дело с концом. Это же совсем нетрудно, если заранее. Другое дело, если комета подлетит вплотную. Тогда ничего не поделаешь. Это как тяжелый грузовик: если он мчится с полной скоростью на телеграфный столб, то в метре от столба ему не свернуть. А если далеко — чуть шевельнул рулем — и мимо...

«Бог... — мысленно сказал Севка. — Ты, если есть на свете, помоги, ладно? Тебе же это совсем легко... Ну, пожалуйста! Я тебя очень-очень прошу!»

Севка поднял глаза к потолку. Какой из себя бог, он понятия не имел. Скорее всего, он старый, большой и очень умный.

Севке придумался могучий седой старик, сидящий среди облаков на каменной глыбе... нет, не на глыбе, а на каменном крыльце перед высокой башней. Башня похожа на высоченный маяк, от ее верхушки разлетаются лучи света. Вокруг башни клубятся разноцветные тучи, а между ними плавают похожие на елочные шарики планеты. Каменная лестница обвивает башню, как змея, и уходит вверх.

На старике шерстяная морская тельняшка. У него разлохмаченная ветром борода и белые густые брови. И синие глаза...

Услышав Севку, старик слегка насупился: тебя, мол, мне еще не хватало. Но потом вроде бы усмехнулся и кивнул.

Так или иначе, а на Землю ничего не грохнулось, разговоры через день стали стихать. И к Севке вернулось спокойствие.

Но ненадолго.

Прежний страх не прошел бесследно. Из-за него начали мучить Севку жуткие сны. Севке каждую ночь стал сниться город под черным небом. Красивый город, белые дома, яркое солнце, а небо абсолютно черное. В этой чер-

ноте назревала угроза. Люди ее чувствовали. Они собирались бежать, прятаться в какие-то пещеры. Севка тоже хотел бежать, но не мог, потому что куда-то подевалась мама. А на улицы вкатывались странные автомобили — медные, блестящие, похожие на громадные шахматные фигуры, которые положили на тележки с надутыми колесами. Верхом на этих фигурах сидели молчаливые человечки в черных касках и пилотских очках. Человечки были людоеды. Они чего-то ждали... А солнце в густой саже неба разгоралось, росло, хотело взорваться...

Каждый вечер Севка отчаянно боялся этого сна. И наконец догадался попросить бога: пусть отметет от него, от Севки, черное небо, страшное солнце и людоедиков.

Жуткий сон больше не приходил.

Но скоро Севке приснилось, будто он умер. Неизвестно отчего. Лежит и двинуться не может. Ничего не видит, но все слышит. Было не страшно, только очень жаль маму, которая сильно плакала.

Утром Севка задумался о жизни и смерти. Умирать не хотелось. Ни сейчас, ни потом. И Севка завел с мамой разговор: почему так по-дурацки устроено, что люди должны когда-нибудь умирать. Ну, на войне это понятно: там пули, бомбы, сражения. А если в обыкновенной жизни, то зачем?

Мама погладила Севку по голове-ежику и сказала, что ему про это думать рано. Ему еще жить да жить.

— Все равно думается, — возразил Севка.

— Ты не переживай, — сказала мама. — Вот кончится война, все займутся мирными делами, и ученые придумают лекарство, чтобы люди не умирали. Когда-нибудь наука до этого все равно дойдет.

— А когда?

— Ну... я думаю, ты доживешь.

Это обрадовало Севку. Но скоро появилась тревога: а доживет ли? Вдруг ученые провозятся еще сто лет? Это ведь не касторку придумать и не йод для смазки царапин.

«Знаешь что? — снова обратился Севка к богу. — Не мог бы ты сделать, чтобы я жил подольше? Пока не придумают бессмертное лекарство? Постарайся, пожалуйста, если тебе нетрудно. Ладно?»

Бог поразмышлял, подымил большой боцманской трубкой и кивнул. Сделать Севку бессмертным он не мог, он же не ученый, но помочь ему протянуть подольше на бе-

лом свете — почему бы и нет? До той поры, когда Севка проглотит нужные таблетки.

Так Севка договорился с богом о бессмертии.

Но почти сразу Севку встревожила другая мысль: а мама? Севка-то, может, протянет лет сто, если будет делать зарядку и хорошо питаться. А мама-то уже... ну, не то чтобы старая, но достаточно пожилая: тридцать два года. И насчет нее бог не мог дать никаких гарантий.

Севка отправился с этим вопросом непосредственно к маме.

— Мама, а у тебя какое здоровье?

— Здоровье? Да ничего... Голова иногда болит на работе, но это не так уж страшно. Ты с чего забеспокоился?

— Да так, — смущенно сказал Севка. — Ты ведь... еще не скоро умрешь?

Мама засмеялась. Она поняла Севку. Она прижала его к себе и дала честное слово, что умрет еще очень не скоро.

...Мама сдержала слово. Она умерла, когда Севка стал совсем взрослым, даже пожилым, и у него самого были дети.

Но в тот горький день, когда у мамы разорвалось сердце, Севка опять почувствовал себя маленьким. Потерявшимся в страшном городе под черным небом.

Взрослый Севка давно научил себя не плакать. Он не плакал, когда про стихи, над которыми он мучился долгими днями и ночами, говорили, что это скучная чепуха. Не плакал, когда в него стреляли. Не плакал, когда его предавали друзья. Не плакал в самолете, который, теряя управление, падал в море. Не плакал, когда ему в лицо швыряли несправедливые слова (и это было труднее всего). Он знал, что напишет другие стихи; понимал, что предатели были не друзья, а просто ошибка; надеялся, что стрелявшие промахнутся, а самолет выровняется в полете. А с несправедливостью он научился драться.

Но сейчас драться было не с кем и надеяться не на что. Мамы не будет никогда. И Севку (вернее, Всеволода Сергеевича) давили слезы. Как тяжелая рука на горле. Но он не плакал. Потому что приходили люди, о чем-то говорили, выражали сочувствие, надо было держаться. И наваливалась масса забот, с которыми связано грустное дело — похороны. Днем Севка ходил, зажав слезы в груди

и в горле, и ждал ночи. И думал, что останется один и даст слезам волю. И станет капельку легче.

Но приходила ночь, и слезы застывали. Севка лежал с твердым комом под сердцем и вспоминал. Вспоминал мамин голос, мамины руки, мамины волосы. И как она ему, уже большому, говорила: «Осторожнее переходи улицу...» И как она пела:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Потом, когда все кончилось и над глиняным холмиком поставили решетчатый обелиск, Севка понял, что все равно надо жить и заниматься обычными делами. И завтра придется идти в редакцию журнала и спорить из-за своей поэмы о мореплавателе Крузенштерне. И надо срочно перепечатывать на машинке статью. А потом отправляться в домоуправление и договариваться о ремонте квартиры.

И утром Севка стал собираться в редакцию.

Надо было побриться. Он включил электробритву, а у нее внутри вспыхнуло, дернулся и замер мотор, запахло горелым. Почему-то оказался сдвинутым переключатель напряжения.

Это разозлило Севку. Ужасно разозлило, до ярости! Он размахнулся, чтобы запустить проклятой бритвой в стекло книжного шкафа. К черту! Вдребезги!

И остановил руку.

Бритва была беспомощно-теплая. Как только что остановившееся сердце. Она, коричневато-красная, круглая, и формой походила на сердце.

Севка осторожно положил ее на диванную подушку.

В ванной он достал старенькую безопасную бритву, которую брал с собой в экспедиции и походы. Намылил перед зеркалом лицо, провел по щеке лезвием и сразу порезался.

И заплакал.

Не от боли, конечно, не от крови, а потому что вспомнил: «Осторожно, не порежься с непривычки». Это мама говорила, когда ему было шестнадцать и он только учился пользоваться папиной бритвой.

Севка заплакал сразу, громко, уронив голову на край холодной раковины. Хорошо, что никого не было дома. Он глотал розовый от крови и соленый от слез мыльный крем и колотил кулаком о ванну.

Он плакал, видимо, долго. Наконец слезы кончились и стало тихо-тихо.

«Ну, что ты, Севушка, ну перестань, маленький», — сказала мама. Севка всхлипнул.

Звенели капли.

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Но все это будет потом, в далекой взрослой жизни, о которой Севка почти не думал декабрьским вечером сорок пятого года.

Он лежал на своем сундуке и размышлял: а вдруг папа все-таки вернется? Бывают же чудеса.

Конечно, просить о таком чуде бога нельзя. Не имеет смысла.

К богу можно было обращаться за обычной, реальной помощью. Например, чтобы не очень задерживалась на собрании мама. Или чтобы не напали бандиты, когда возвращаешься из школы. Или чтобы не вызвали, когда не выучил правила. Но уж если вызовут, глупо упрашивать бога, чтобы Елена Дмитриевна или Гетушка не ставили двойку.

И насчет папы беседовать с богом было бесполезно. Если папа погиб, что может сделать бог? А если папа все-таки жив, он и так разыщет Севку и маму.

Вдруг все-таки разыщет?

Вся жизнь тогда пойдет по-другому. Они с папой будут ходить на реку, и папа научит Севку плавать. Они вместе будут читать книги про морские путешествия (даже такую толстую, как «Дети капитана Гранта»). Папа привезет Севку и маму к морю и прокатит на своем пароходе (у него обязательно будет пароход). И еще случится много замечательного, потому что папа такой же родной, как мама, и очень добрый. И красивый.

Севка не помнил папиного лица, а ни одной фотографии не сохранилось, потому что во время эвакуации у мамы украли сумочку (думали, что там деньги и хлебные карточки, а были в ней только документы и снимки). Мама рассказывала, что папа светловолосый и высокий. Севка похож на маму — такой же темный и кареглазый. «Но улыбка у тебя папина», — говорила мама.

Папину улыбку Севка чуть-чуть помнил: как весело раздвигались большие губы с трещинками и при этом на выбритом, чуть раздвоенном подбородке шевелился маленький шрам, похожий на букву «С»...

Папа приедет, стукнет в дверь, шагнет через порог —

большой, в морской фуражке, в черной шинели. Улыбнется знакомо...

И тогда Севка закричит от счастья! Так, что крик его разнесется по всей Земле. Даже над полярными островами поднимутся от этого крика птичьи стаи... Мама рассказывала, что на Севере есть такие острова, там на скалах гнездятся миллионы птиц. В далеких и холодных морях, где плавал папа...

## День рождения

Только в конце ноября на мерзлую землю стал падать настоящий густой снег. Севка сидел у окна и смотрел на эту удивительную сказку. Не так уж часто он видел первый в году снегопад. Сегодня — девятый раз в жизни. К тому же раньше он был маленький и не понимал такой красоты. А сейчас понимал и радовался.

Уже вся земля, крыши, поленницы были укрыты нетронутой белизной. Обросли мягким пухом тополиные ветки. А с пепельного неба все сыпались и сыпались хлопья.

Было воскресенье, никто никуда не спешил. Потрескивала печка. Но сквозь это потрескивание, сквозь голоса и шаги, которые слышались в доме, проступала уличная тишина. Она была там, за стеклами, висела над заснеженным городом. Она была похожа на спокойный праздник. Севка слышал ее сильнее всех звуков.

«Тихо, как во сне», — подумал Севка.

И к этой мысли сразу пристроились три слова: «Белый-белый снег».

Тихо, как во сне...
Белый-белый снег.

Это были уже почти стихи.

От ощущения тихого праздника Севке и вправду захотелось придумать стихи. Настоящие. И он стал сочинять:

«Вот зима пришла к нам в гости...» Ничего себе «в гости»! Она теперь надолго пришла. На целую зиму. Лучше вот так:

Вот зима пришла с морозом,
Тихо, как во сне...

А дальше что? Надо было приставить «белый-белый снег». И Севка пристроил:

И на землю к нам ложится
Белый-белый снег!

Ура, получилось! Он обрадовался, написал четыре строчки на краешке газеты и, смущаясь, показал маме.

Мама похвалила. А потом сказала:

— Знаешь что? По-моему, ты немного поспешил. Можно сделать стихи еще лучше.

— Как? — ревниво спросил Севка. Он считал, что и так все прекрасно.

— Вот, смотри... «Зима пришла с морозом». А сейчас разве мороз? Денек пушистый и совсем не холодный. И не очень ладно получилось: «...на землю к нам ложится». Понятно, что на землю. А вот ты придумай, куда еще. Чтобы сразу было видно. Чтобы, кто стихи услышит, сразу запомнил. А то непонятно, про какую зиму написано: в поле, в городе или в лесу?

Севка слегка насупился. Но подумал, подумал и почувствовал, что мама правду сказала. «На землю» — это непонятно. Вернее, неточно. И зима не морозная...

А какая сегодня зима?

Севка опять устроился у окна. Вдоль стены пекарни брела по щиколотку в снегу соседка Евдокия Климентьевна. Протаптывала валенками тропинку к дровянику. Севке вдруг показалось, что своей походкой и немного сгорбленной спиной она похожа на школьную директоршу Нину Васильевну. Только Нина Васильевна еще старше, чем соседка, и совсем седая. Волосы у нее совсем белые...

...Как снег...

...Как зима...

Значит, зима — седая? Конечно. Она тихая и добрая, как старушка, которая пришла рассказать сказку...

К нам пришла зима седая,
Тихо, как во сне.
И на землю...

Нет, не на землю! На самого Севку (когда он пойдет гулять). И на всех людей, которые на улице.

И на шапки нам ложится...

Нет, не ложится. Садится, мягко опускается. Оседает, как тополиный пух в безветренный день... Да, оседает!

«Седая — оседает»! Вот здорово-то! Ура!

К нам зима пришла седая,
Тихо, как во сне.
И на шапки оседает
Белый-белый снег...

— Мама! Послушай...

Мама сказала, что теперь совсем хорошо. Просто замечательно. А может быть, Севка придумает продолжение? Севка вздохнул. Он знал, что дальше будет гораздо труднее. У него всегда так: четыре строчки сочиняются просто, а потом — будто включаются тормоза.

И все же Севка придумал продолжение. Только не в этот день, а гораздо позже. Перед зимними каникулами.

А в лесу озябли елки,
Просятся к нам в дом,
Потому что очень скоро
Праздник Новый год.

Конечно, эти строчки были не такие удачные, как первые. Но зато стихотворение стало в два раза длинней. Как настоящее. Мама даже сказала: пусть Севка прочитает его на новогоднем утреннике. Но Севка ответил, что ни в коем случае. Хватит с него! До сих пор обзывают Пусей.

И на утреннике Севка ничего не читал, а только смотрел, как выступают другие. Ребята рассказывали стихи про Деда Мороза (не свои, конечно) и пели песни про елку. И танцевали. Сначала зайчата в бумажных масках, потом снежинки.

Главной у снежинок были Инна Кузнецова. Севка впервые видел ее не в черной одежде. Но и сейчас, в белой балетной юбочке, она была строгая и красивая. Даже красивее, чем раньше.

Алька тоже танцевала среди снежинок. Без привычного лыжного костюма она казалась очень худой и маленькой. Севка жалел ее: он был уверен, что Алька мерзнет в марлевом наряде снежинки. По крайней мере, сам он поеживался в своем тоненьком матросском костюме. В классе, где стояла елка, печь не протопили: видимо, боялись пожара.

В конце утренника завхоз дядя Андрей, наряженный Дедом Морозом, всем раздал склеенные из газет кульки с печеньем и слипшимися леденцами.

И начались каникулы...

В комнате у Севки и мамы в углу на табурете стояла аккуратная елочка. Весь декабрь Севка клеил для нее игрушки, флажки и цепи. Висели на елке и несколько блестящих шариков — мама купила их на толкучке.

А на подоконнике Севка устроил еще одну елочку — совсем крошечную, из ветки. Для Кашарика, лягушонка

с Алькиной открытки, мраморного кролика, которого кто-то подарил маме (а мама Севке), старого тряпичного кота Матвея и красноармейца из папье-маше. Это были постоянные жители подоконника, Севкины друзья. Они всегда слушали Севкины сказки.

На этот раз Севка придумал для них кукольный спектакль «Доктор Айболит». Кукол он вырезал из бумаги, а ширму сделал из стульев и маминого платка.

Кроме жителей подоконника представление смотрел Гарик. Очень внимательно, даже затаив дыхание...

Дни стояли мягкие, снежные. Во дворе, у стены пекарни, ребята решили сделать горку. Начали работать Севка, Гарик, Римка и даже Соня. А из соседнего двора пришли третьеклассник Вовка Неверов и пятиклассник Сашка Мурзинцев по прозвищу Клоун. Потом подошел Гришун с большущей лопатой и здорово помог. И еще он помог возить на санях бочку с водой. На водокачку ездили несколько раз. Покрыли льдом всю гору и залили дорожку до самого гришуновского дровяника.

Так замечательно было кататься с горы в своем дворе! Гораздо лучше, чем с гор на площади за рынком, где поставили елку с лампочками и вылепили из снега Деда Мороза и всяких зверей. Там было тесно, большие мальчишки отбирали фанерки для катанья, устраивали кучу малу. А здесь все свои, никто не мешал и не толкался, только иногда боролись в шутку. А если кто озяб и обледенел, можно было погреться в блиндаже.

Блиндаж сделали внутри горки, вырыли в ней пещеру. В окошко вставили плоскую льдину, вход завесили старым мешком. Гришун принес из сарая мятую жестяную печурку и дал кучу щепок. Протянул наружу колечатую трубу. Когда печку разжигали, она принималась гудеть, как самолетный мотор, и сразу становилось тепло, хотя стенки блиндажа были снежные. Все смотрели на огонь и делались притихшие и очень добрые. Даже Римка ни с кем не спорила. А у Севки придумывались зимние сказки, будто они плывут на льдине по холодному Северному океану, чтобы отыскать затерянный где-то у самого полюса корабль. Старинный корабль с елочными игрушками, который заколдовала Снежная королева. Она бы и Севку с ребятами заколдовала, но у них в печке горячее пламя.

Как в хорошей песне, которую любит мама:

Бьется в тесной печурке огонь...

Каникулы кончились, елку убрали, это было грустно. Однако горка с блиндажом во дворе осталась, и это было хорошо.

Вообще хорошее и плохое в жизни перемешивалось все время. Мама выписала Севке «Пионерскую правду», и он со жгучим нетерпением ждал, когда придет очередной номер. Он прочитывал ее всю — от названия, над которым нарисованные девочка и мальчик в галстуках вскидывали в салюте руки, до адреса редакции. Но больше всего Севке нравились приключения в картинках: например, смешные истории про Федю Печкина.

Однако случалось, что Римка раньше Севки вытаскивала «Пионерку» из общего почтового ящика и уносила к себе. Тогда приходилось добывать газету со скандалом:

— Опять сперла, ведьма! Отдавай сейчас же!

— У, жадюга! Прочитаю и отдам!

— Я первый должен читать! Не твоя газета!

Но зловредная Римка запиралась и хихикала...

В школе тоже хватало плохого и хорошего. Хорошо, что учиться стали с первой смены. Плохо, что совсем ушла Елена Дмитриевна и Гета стала полноправной учительницей. Зато хорошо, что в школе кончились дрова и в классах стоял холод почти как на улице. Правда, приходилось сидеть в пальто и мерзли руки, но зато не надо было писать, потому что застывали чернила. Занимались только чтением и устным счетом, а после второго урока всех отпускали домой.

Дома надо было решать задачи, кучу примеров и писать по два упражнения каждый день — Гета Ивановна была щедра на домашние задания. «Покуда в школе приходится бездельничать, занимайтеся дома, а то и половина из вас в третий класс не переползет». Но вечером, когда уроки готовы, можно было пойти к Романевским, где читали удивительно интересную книжку про Тома Сойера...

В таких вот делах и заботах прошел январь и совсем близким сделался Севкин день рождения.

Мама сказала, что надо отметить Севкины именины по-настоящему.

— Как? — обрадовался Севка.

— Испечем торт, позовем гостей. Согласен?

Севка был, конечно, согласен. Насчет торта. А насчет гостей...

— Кого звать-то?

— Как «кого»? Ребят позови, с которыми играешь. Римму, Гарика, Алю Фалееву.

— Альку? — удивился Севка.

Ну, Римку и Гарика — это понятно. Все же соседи, играют вместе. Можно сказать, приятели, хотя Римка и язва. А при чем здесь Фалеева?

— Разве вы не товарищи? Вы же полгода за одной партой сидите.

Севка почему-то смутился и пожал плечами. Мало ли кто с кем сидит за одной партой. Конечно, Алька добрая, помогает ему, но это же обычные школьные дела. А нигде, кроме школы, Севка с Алькой никогда не встречались и вместе не играли.

Мама даже слегка расстроилась:

— Ну почему ты такой равнодушный? Аля так к тебе... так хорошо всегда про тебя рассказывает, а ты...

— Алька? Кому рассказывает?

— Маме своей, Раисе Петровне.

— А ты откуда знаешь?

— Мы же вместе с ней работаем. Ты не знал?

«Вот так фокус», — подумал Севка. Ничего такого он не знал. Впрочем, это было неважно. Важно было другое:

— А что мы будем делать? Ну, я и гости...

— Чай попьете, поиграете...

Севка задумался. Приглашать Альку он почему-то стеснялся. Но не пригласить — тоже нехорошо. Мама, наверно, уже договорилась про это с Раисой Петровной, Алькиной мамой. Да и вообще... Почему бы не позвать? Чем больше гостей, тем веселее...

Утром, на первом уроке, Севка помялся и неловко прошептал:

— Приходи на день рождения ко мне, ладно?

Алька не удивилась. Тихонько спросила:

— Одиннадцатого числа?

— Нет, десятого. Мы так решили, потому что воскресенье и праздник.

— Ага... Я приду...

— Ты знаешь, где я живу?

Алька чуть-чуть смутилась.

— Я найду... Я знаю.

— Кто будет болтать языком, сразу отправится за дверь, — сообщила Гета Ивановна и посмотрела на Севку и Альку.

Вообще-то десятое февраля — грустное число. День смерти Пушкина. Но в сорок шестом году это давнее собы-

тие отодвинулось и почти забылось. Потому что был всенародный праздник — выборы в Верховный Совет СССР. Во время войны выборы не устраивались, но теперь вернулась мирная жизнь, значит, все должно быть как в прежние счастливые времена.

Еще в декабре по всему городу развесили фанерные плакаты в виде громадных календарей. На них ярко алело число «10 февраля», а сверху слова: «Все на выборы!». По домам ходили специальные люди — агитаторы — и рассказывали про тех, кого будут выбирать, про кандидатов в депутаты.

В том районе, где жил Севка, была кандидатом Фомина. Екатерина Андреевна. Учительница из ближней школы-десятилетки. Наверно, очень хорошая учительница, не то что Гетушка. Плохую не сделали бы кандидатом. И лицо ее на портретах было доброе. Вот повезло ребятам в ее классе!

Рано утром Севка и мама пошли на избирательный участок. Было темно и морозно, а все равно весело. Много людей шло к участку, и где-то играл оркестр. В зале клуба железнодорожников среди знамен и плакатов стояли красные ящики с прорезями — урны. Над урнами висел портрет Сталина. Сталин был в фуражке и маршальских погонах. Он усмехался в усы и смотрел на Севку. Севка знал, что Сталин — это вождь. Самый добрый и самый мудрый. Про него на уроках пения разучивали песни, а на утренниках рассказывали стихи. А Гета недавно поведала об удивительном случае: в одном глухом городке заболел мальчик и врачи ничего не могли сделать, тогда мама этого мальчика послала товарищу Сталину телеграмму. Сталин велел прислать самое лучшее лекарство, и мальчик выздоровел.

Севке очень понравился рассказ. У него даже в горле защекотало, когда он услышал про счастливый конец. Но тут поднялся Владик Сапожков и осторожно спросил: не получится ли так, что все мамы заболевших мальчиков начнут посылать товарищу Сталину телеграммы? Тогда у него времени не останется ни на что другое, только ходи на почту и отправляй лекарства.

Гета Ивановна ужасно рассердилась. Прогнала Владика в коридор и сказала, что целую неделю будет оставлять его в школе «аж до ночи». Но потом, кажется, забыла...

Мама получила у длинного стола бюллетень. Севка раньше думал, что бюллетень — это справка, которую дают взрослым, когда они болеют. Но оказалось, что здесь это

бумага, на которой напечатана фамилия кандидата. Чтобы голосовать.

Маленьким голосовать, конечно, не разрешалось, но мама дала Севке свой бюллетень. Севка встал на цыпочки и опустил его в щель. Получилось, что он тоже проголосовал за учительницу Фомину.

Когда вернулись домой, мама стала делать именинный торт. Слоеный. Еще накануне она испекла для него сочни — такие твердые хрустящие блины из ржаной муки. Заранее была припасена банка сгущенного молока, и теперь мама принялась готовить из него крем. Севка стоял рядом и слизывал капли, которые падали с ложки на стол.

Мама смазала кремом сочни, сложила их в стопку, сверху положила фанерку и поставила чугунный утюг. На два часа.

Когда торт спрессовался, мама стала обрезать и выравнивать у него края. Севка подхватывал и жевал сладкие обрезки. Это было просто объедение. Сверху торт мама тоже облила кремом и украсила цифрами и буквами из разноцветных леденцов, которые приберегла с Нового года:

## 9 ЛЕТ

— Даже жалко разрезать такое чудо, — вздохнул Севка.

— Это тебе жалко, потому что налопался обрезков. А придут гости и вмиг это чудо уничтожат.

Гости собрались к двенадцати часам.

Первой пришла Римка. Она была серьезная и совсем не вредная. Подарила Севке две книжечки «Новые приключения солдата Швейка» — приложение к журналу «Красноармеец». Севка не читал и старых приключений, но кто такой Швейк, знал. Он заглянул в книжки и понял сразу, что в них сплошной хохот. На каждой странице. Замечательный подарок!

За Римкой появился Гарик и принес для Севки черный резиновый мячик. У Севки был свой мячик, но большой, красно-синий. А этим можно играть летом в лунки, в штандер, в лапту, в стенку-стукалку. Ай да Гарик!

И наконец пришла Алька.

Севка услышал ее голос в коридоре и как-то напружинился. Мама торопливо открыла дверь. Алька возникла на пороге — румяная от мороза, но без улыбки. Очень серьезная. Тихо поздоровалась.

— Сева, ну что же ты! Помоги Але раздеться, — сказала мама.

— Чё, она сама не умеет, что ли? — буркнул Севка и зашмыгал носом.

— Я умею, — спокойно сказала Алька. — Я тебя поздравляю. Вот тебе подарок.

Она подала Севке плоский газетный сверток и стала разматывать шарф.

Мама сделала страшные глаза: «Спасибо кто будет говорить?»

— Спасибо, — выдохнул Севка. И разозлился на себя. Что он за балбес? Ведет себя так, будто к нему Гета Ивановна пришла, а не обыкновенная Алька Фалеева!

— Ну-ка, давай!.. — он размотал на Альке шарф, вытряхнул ее из пальтишка, уволок одежду на вешалку. Ему стало просто и весело. Он вернулся, сказал Римке и Гарику:

— Это Алька Фалеева, мы на одной парте сидим. Да вы ее знаете, в одной же школе учимся.

Альку знали. И никто не удивился, что она пришла. Севкин день рожденья — кого хочет, того и зовет.

— Сейчас будем чай с тортом пить, — распорядился Севка. — Давайте садитесь.

— Так сразу? — удивилась мама. — Ладно, желание именинника — закон.

Гости начали устраиваться за столом, а Севка развернул Алькин подарок.

В свертке была тетрадь. Толстая, в глянцевой зеленовато-голубой обложке. С блестящей бумагой в линейку. Видимо, трофейная. В нее оказался вложен карандаш — темно-красный, с нерусскими буквами. Значит, тоже иностранный. А еще была там лакированная открытка с двумя веселыми обезьянами, которые играли на трубе и барабане.

Севка чуть не растаял от радости. Из-за тетрадки. Он сразу понял, для чего она пригодится. Он запишет в нее все свои стихи: и про революцию, и про зиму, и еще несколько маленьких двустиший, которые сочинил в первом классе. Это будет начало. А потом он придумает много новых стихотворений, они займут всю тетрадку. Это будут хорошие стихи, потому что писать плохие в такой тетради просто не получится...

Севка не расстался с тетрадкой даже за столом, когда пили чай. Держал ее на коленях и гладил потихоньку.

Торта досталось каждому по два больших куска, а конфет-подушечек с начинкой мама каждому насыпала полное блюдце. Так что пир получился на славу. Правда, сперва все молчали, но потом Римка стала рассказывать про книжки, которые подарила Севке: как Швейк вредил фрицам, устраивал им всякие каверзы. И все развеселились. Даже мама хохотала.

Но скоро мама сказала, что должна уйти. В два часа на избирательном участке концерт самодеятельности, она там должна петь.

— А ты, Сева, будь хозяином, не давай гостям скучать... Но и не переверните комнату вверх дном, ладно?

— Ладно. Я кукольный театр про Айболита буду показывать.

«Приключения Айболита» все посмотрели с удовольствием. Даже Гарик, хотя видел спектакль второй раз. Севка расхрабрился: рычал, как настоящий Бармалей, верещал, как обезьяна Чичи, блеял, как Тянитолкай. Даже охрип слегка...

Потом стали играть в «собачку»: перекидывали друг другу мячик, а кто-то один ловил. Играли, пока мячик не брякнулся о раму. Хорошо, что не в стекло. Тогда пошли в коридор и устроили игру в пряталки.

Однако скоро игра кончилась, потому что на Севку, который спрятался за комодом Романевских, упал со стены велосипед дяди Шуры. На звон и грохот выскочили Евдокия Климентьевна и ее внук Володя. Севка, потирая спину, сказал про свой день рожденья. Володя и Евдокия Климентьевна не стали ругаться. Поздравили Севку и помогли водрузить велосипед на место. Но когда они ушли, возникла в коридоре тетушка дяди Шуры Елена Сидоровна и стала кричать: почему хулиганят? Она была глухая, и объясняться с ней не имело смысла. Севка и гости вернулись в комнату.

Посмотрели по очереди калейдоскоп, который утром подарила Севке мама. Потом Гарик сбегал домой и приволок свои железные коробки. Из них составили поезд. Началась игра в партизан. Правда, Римка играть не стала: что она, маленькая? Больно надо ползать по полу, вскакивать и орать «ура!». Она ушла читать какую-то книжку про любовь. А Севка, Алька и Гарик стали готовиться к взрыву фашистского эшелона.

Гарику пришлось сделаться немецким машинистом. Но он сказал, что станет машинистом не по правде, а «как будто», пока надо толкать поезд. А после взрыва он тоже

станет партизаном, чтобы напасть на немцев, которые повыскакивают из горящих вагонов.

...Эшелон с железным скрежетом выполз из-под стола и стал двигаться к мосту, сделанному из стиральной доски и учебников.

— Пора, — шепотом сказал Севка и прижался животом к половицам. — Лишь бы часовые не заметили.

— Если тебя заметят, я отвлеку огонь на себя, — очень серьезно пообещала Алька.

Севка посмотрел на Альку через плечо. Она была не очень похожа на партизана. Даже меньше, чем раньше, похожа, потому что не в обычном своем лыжном костюме, а в синем платьице с белым воротничком. Но лицо у нее было решительное. Севка благодарно кивнул.

Потом он пополз к железнодорожному мосту, выждал момент и трахнул кулаками по концу дощечки, под которую был подложен кубик.

Дощечка другим концом вздыбила стиральную доску. Вагоны взлетели в воздух.

— Дзынь! Трах! Ба-бам!

— Ура! Огонь!!

— Тах! Тах! Тах!

— Ды-ды-ды-ды...

Больше всех старался Гарик. Он мстил судьбе за свою недавнюю роль немецкого машиниста. Теперь он был партизан и палил из воображаемого пулемета так, будто лента с патронами была длиной в километр...

В разгар стрельбы пришла веселая мама. И ничуть не рассердилась, увидев подорванный поезд и всю картину боя. Дождалась, когда с противником будет покончено, и усадила снова всех пить чай. С остатками торта.

Алька и Гарик ушли, когда за окнами начал синеть вечер. А когда совсем стемнело, пришли взрослые гости: Алькина мама, тетя Аня Романевская с патефоном и Иван Константинович.

Иван Константинович подарил Севке суконную пилотку и новенькую, пахнущую кожей офицерскую сумку. С разными клапанами и гнездами для карандашей, с целлулоидным планшетом для карты. Севка обнял сумку и обалдел от счастья.

— Мне ее только что в училище выдали, — объяснил Иван Константинович. — А я решил, что дослужу со старой, я к ней привык.

— А вам не попадет? — опасливо поинтересовался Севка. — Сумка-то казенная.

Иван Константинович засмеялся:

— Как-нибудь выкручусь. Все равно мне скоро уезжать. Насовсем.

Сразу все сделалось другим. Не праздничным.

— Насовсем? — прошептал Севка.

— Да, к своим, Севушка. В Пензу.

— Демобилизовали? — упавшим голосом спросил Севка.

— Нет, пока переводят туда на службу. Но, думаю, скоро совсем уволят.

Ну и хорошо. Чего расстраиваться? Иван Константинович поедет к жене и дочке, он так давно этого ждал. Радоваться надо... Севка вздохнул. Не получалось радоваться.

Взрослые сели за стол. Поставили закуски. Усадили и Севку — все-таки именно он сегодня главный. Но у Севки уже не было именинного настроения. Видимо, он слишком долго и бурно веселился сегодня. Завод праздничной пружины кончился. А тут еще Иван Константинович со своей новостью про отъезд...

Севка тихо спросил:

— Иван Константинович, можно я посижу в вашей комнате?

Тот сразу понял Севку. Кивнул:

— Посиди. Конечно...

Севка забрал с собой сумку, Алькину тетрадь и карандаш. Он решил, что самое время записать все свои стихи. Это гораздо лучше, чем сидеть и слушать взрослые разговоры.

В комнате Ивана Константиновича все было так знакомо... Койка под солдатским одеялом, покрытый газетами стол, машинка, на которой печатали договор о дуэли (ох, стыдно вспоминать). Шинель в углу. Полки из некрашеных досок, а на них военные непонятные учебники... Скоро ничего этого не будет, в комнату въедут незнакомые жильцы. А Иван Константинович окажется далеко-далеко, и, наверно, они с Севкой никогда не встретятся.

Где-то в Пензе есть счастливая девчонка, она будет говорить Ивану Константиновичу «папа».

А Севка никому говорить так не будет. Что поделаешь, война. У кого-то папы вернулись, у кого-то нет.

«Мой папа не вернулся с моря, — грустно и спокойно подумал Севка. — Наверное, он все-таки не спасся. Как спасешься, когда кругом волны? Стихия...»

«Прощай, свободная стихия... Мой папа не вернулся с моря...»

Севка достал из сумки тетрадь и карандаш.

В открытую дверь через коридор долетали веселые голоса. Потом заиграл патефон. «Рио-Рита»...

Севка притворил дверь.

Мой папа не вернулся с моря,
Он навсегда погиб в воде...

Нет, немного не так надо сказать. Надо, что он на войне был. А то получается, что просто купался...

Мой папа не вернулся с моря,
Он на войне погиб в воде.
Прощай, свободная стихия,
Ему не плавать уж нигде...

Севка перебрался со стула на койку Ивана Константиновича. Устроил тетрадку на подушке...

Мама несколько раз приоткрывала дверь, но, увидев, что Севка занят делом, не тревожила его. А когда гости разошлись и мама с Иваном Константиновичем пришли за Севкой, он спал. Скинул валенки и свернулся калачиком на одеяле, подложив под себя раскрытую тетрадку.

Иван Константинович осторожно взял Севку на руки. Тот не проснулся. Мама подняла тетрадь. На первой странице она увидела восемь строчек. Последние четыре были такие:

Но я все жду, что он вернется
И постучит тихонько в дом.
Он мне и маме улыбнется,
И мы с ним в море поплывем.

Мама вздохнула и показала стихи Ивану Константиновичу.

Тихо и почему-то виновато Иван Константинович сказал:

— Все ждет...

Но он ошибался. Севка не ждал. Уже не ждал. И стихи он написал без надежды. Просто как печальную сказку. Он этими стихами попрощался с папой. Навсегда. Не поплывет он с папой в море. В самом деле, пора понять, что таких чудес не бывает. Не маленький, девять лет уже, а не восемь. Вернее, девять будет завтра, но какое значение имеет один день...

## Бремя славы

В конце февраля подули теплые пасмурные ветры. С крыш закапало, хотя солнце укрывалось за косматыми облаками. Взрослые говорили:

— Еще не весна, это оттепель.

Но в первые дни марта облака убежали куда-то, солнце засверкало изо всех сил, и стало еще теплее. Это была уже, без сомнения, настоящая весна.

Севка шел из школы и сочинял стихи, чтобы подарить их маме к празднику «Женский день».

У заборов снег растаял,
Нам уж лень сидеть за партой,
Прилетели птичьи стаи
В мамин день Восьмого марта.

Птицы еще не прилетели: ни скворцы, ни грачи. Снег лежал еще всюду, хотя и стал ноздреватым и грязным. Только на дороге машины и лошади размесили его и смешали с грязью. Поэтому в стихах правильной была лишь одна строчка: «Лень сидеть за партой». Однако Севка подозревал, что именно она меньше всего понравится маме.

Но у поэзии свои законы, ей нужны рифмы. «Восьмое марта» и «за партой» так хорошо складывались. А лень у Севки не потому, что он такой уж лодырь, а потому что скоро весенние каникулы.

При мысли о каникулах Севка зашагал еще веселее.

По слякотной дороге, не спеша, но сохраняя строй, двигалась колонна немцев. Они ходили теперь без конвоиров. Потому что война все равно кончилась и убегать было глупо. Скоро немцев и так отпустят из плена домой. Видно, они сами это понимали, поэтому шагали бодро. Некоторые даже улыбались.

— Айн, цвай, драй, — сказал Севка без всякой злости, просто так.

Он не ждал никакого результата, но немец, который шел сбоку от колонны — толстоватый, в очках и почти новом кителе, — оглянулся и хмуро бросил:

— Без тебя знаю.

Чисто по-русски сказал.

Севка слегка оторопел. И тут же рассердился — на себя за растерянность и на немцев за нахальство.

Вояки! Теперь осмелели, улыбаются. А на фронте небось как их прижали — сразу лапы вверх.

Севка громко сказал вслед толстому:

Нас огнем «катюши» кормят,
Мы бежим, не чуя ног.
Наступали в полной форме,
Отступаем без штанов.

Это были не Севкины стихи, а старая частушка про фрицев. Очень подходящая! Толстый не оглянулся, но спина его, кажется, поежилась. Видно, слово «катюши» было ему знакомо.

Эта стычка сделала Севку сердитым. Он вспомнил, как Гетушка его опять ругала за почерк (ей ведь не скажешь, что Пушкин тоже писал корявыми буквами). Подумал, что Борька Левин совсем обнаглел, запихал в его, Севкину, сумку дохлого воробья (придется, наверно, драться). Почувствовал, как сапог натирает пятку (в валенках теперь ходить сыро, в ботинках — еще холодно, вот и приходится хлюпать в маминых сапогах).

И уроков задали целую кучу!

Севка прогремел подошвами по лестнице, заглянул в почтовый ящик. Конечно, пусто! А сегодня точно должна быть «Пионерка»!

В коридоре Севка, не раздеваясь, заколотил в дверь Романевских.

— Римка! Опять стырила газету?!

Было тихо. Севка снова шарахнул кулаком.

Дверь открылась, и Римка встала на пороге — какая-то слишком смущенная. С газетой.

— Давай сюда, — булькая от праведной злости, потребовал Севка.

— Теперь зазна́ешься, да? — сказала Римка. Она пыталась говорить насмешливо, но получался нерешительный лепет. — Теперь ты, конечно...

— Чего?

Римка неуверенно хмыкнула.

— Будто не знаешь...

— Чё не знаю? Знаю, что ты головой о комод стукнутая...

— Ты, что ли, правда... не видел свои стихи?

— Какие еще стихи?

Тогда Римка заулыбалась и поднесла к его носу газету.

Внизу страницы среди каких-то детских рисунков и стихотворных строчек Севку прямо ударили по глазам слова:

Мой папа не вернулся с моря...

Это что?
Это правда?!

Мой папа не вернулся с моря,
Он на войне погиб в воде.
Прощайте, дом родной и город,
Ему не плавать уж нигде.

Но я все жду, что он вернется
И постучит тихонько в дом.
Он мне и маме улыбнется,
И мы с ним в море поплывем.

А внизу стояло: «Сева Глущенко, 9 лет. Город Т., школа № 19, 2-й класс «А».

Не слушая Римку, Севка ушел к себе, скинул сапоги и бухнулся на кровать. Лежал, смотрел в потолок и глупо улыбался. В голове была карусель.

Как стихи попали в газету?

Что теперь будет, когда прочитают в школе? Смеяться станут? Или поздравлять? Или завидовать?

А зачем изменили строчку про стихию? Потому что не Севкина, а пушкинская? Зато самая хорошая была, а Пушкину разве жалко одной строчки? Или все-таки правильно, что изменили? А то опять скажут «Пуся»... Да все равно скажут...

Ну и пусть хоть что говорят! Зато его, Севкины, стихи напечатаны в настоящей газете! Как у настоящего поэта!

Ой, неужели это правда? Может, приснилось? Нет, вот они, стихи. Вместе со стихами и рисунками других ребят. Сверху общее название: «Наши читатели пишут и рисуют». Вот стихотворение какой-то Светы Колдобиной из Москвы, называется «Мой щенок». Вот еще: «Стихи про Победу», Лева Ткаченко, город Киев... И рисунок «Атака морской пехоты». Художник — Толя Плетнев из Новосибирска, пятиклассник. Наверно, это замечательный пятиклассник, потому что картинка такая боевая: матросы в тельняшках, с гранатами, с военно-морским флагом, среди взрывов. А немцы от них драпают.

Хорошо, что этот рисунок рядом с Севкиным стихотворением. Наверно, их специально рядом поставили, потому что про моряков...

У Севкиных стихов нет названия. Сверху три звездочки, и сразу: «Мой папа не вернулся с моря...»

Жаль, что он никогда не вернется. А то он обязательно порадовался бы вместе с Севкой...

Мама очень обрадовалась, когда увидела газету. И сразу все стало понятно:

— Стихи послала в газету Елена Дмитриевна, это несомненно. Она в феврале заходила к нам, я ей показала твою тетрадку, а она переписала... Я тебе говорила, разве ты забыл?

Севка не забыл. Он знал, что вскоре после дня рождения Елена Дмитриевна была у них дома. Она скучала по своим прежним ученикам и навещала их иногда. Севка в тот вечер катался на горке, Елена Дмитриевна беседовала с мамой. Да, и стихи Севкины читала. Кажется, даже сказала: «Надо их кому-нибудь знающему показать». Но разве Севке могло прийти в голову, что она пошлет их в «Пионерку»?

— И подумать только, как быстро напечатали! — радовалась мама. — Видимо, твои стихи пришли в самый нужный момент... Только, пожалуйста, не зазнавайся, ладно?

Да что это все об одном? «Зазнаешься», «не зазнавайся»... Он и не думает нос задирать. Он понимает, что со стихами в газете ему просто повезло и никакой он еще не поэт. Но... все-таки напечатали. Плохие стихи печатать не стали бы. Все-таки... значит, немножко поэт...

В школу Севка шел с радостью, но и с опаской: вдруг задразнят?

Сперва в классе все было как раньше: будто и не печатали Севкиного стихотворения. Но вот влетела в класс Людка Чернецова и запела ехидно:

— А Пуся опять стихи сочинил, в «Пионерской правде» напечатали! Ай да Пусенька! Ай какой умненький...

Севка замер. Стало хуже, чем если ты не выучил басню, а тебе говорят: «Глущенко, к доске».

— Чего? Какие стихи? — сразу понеслось отовсюду. — Чего врешь?

Подлая Людка достала из портфеля газету. Помахала. И улыбалась так отвратительно, крыса...

Людку обступили. Загалдели, затолкались...

Севка на своей парте начал краснеть и съеживаться. Он был один, Алька еще не пришла.

Газета оказалась у Кальмана. Он влез на парту прямо в сапогах и начал читать клоунским голосом...

Первые две строчки — клоунским голосом. Потом как-то сбился. Начал опять, но уже обыкновенно, негромко. Потом еще тише...

И вдруг все перестали шуметь. Кальман кончил, но тишина все не кончалась. Наконец Владик Сапожков проговорил:

— А я еще вчера это читал... А у меня папа тоже моряк был.

Витька Игнатюк — чернявый, худой и всегда молчаливый — пожал острыми плечами и проворчал:

— Прибежала, разоралась, будто он чего глупое написал... А он наоборот...

— Правильно! Пуся складно все сочинил и по правде, — поддержал кто-то в толпе.

— Кто еще скажет «Пуся» — будет во! — раздался авторитетный голос Сереги Тощеева. И над стриженными головами возник его кулак с чернильным якорем.

— ...Это что такое? Что за базар? Встали все как следует у своих парт!

Оказывается, уже был звонок и появилась Гета Ивановна. И Алька уже сидела рядом с Севкой.

— Вы что, глухие? Не знаете, что звонок с урока — для учителя, а звонок на урок — для вас?

— А у Глущенко стихи в «Пионерской правде», — звонко сказал Сапожков.

— Ты сейчас за дверь вылетишь вместе с Глу... Что? Какие стихи? Ты о чем?

Людка Чернецова дала ей газету.

В классе повисло молчание. Севке опять стало нехорошо.

Гета Ивановна подняла от газеты голову. Она улыбалась. Это было редкое зрелище.

— Ну, что же... — бархатно произнесла Гета Ивановна. — Это очень приятно. Да. Я тебя, Сева, поздравляю. Мы все... Это большая честь. Я надеюсь, что теперь, когда про Глущенко известно всей стране, он подтянет успеваемость. Ну, мы об этом еще поговорим. А теперь приготовьте тетради с домашним заданием

На переменке Севку похлопывали по спине, и никто не говорил «Пуся». Людка Чернецова ходила среди дев-

чонок из других классов и показывала на Севку глазами. Девчонки смотрели с почтением и шептались.

Одна Алька смотрела на него как на прежнего Севку. В начале первого урока она просто сказала:

— Ты молодец. Мне очень понравилось.

Севка был ей благодарен за такую спокойную и прочную похвалу. Он смущенно признался:

— Я это в твоей тетрадке написал. В тот день...

После уроков подошла Нина Васильевна, директор школы.

— Молодец, Сева Глущенко, хорошо написал.

И многие в коридоре слышали это. Начиналась поэтическая слава.

Домой Севка прилетел на крыльях радости и вдохновенья. Он был поэт, и такое звание обязывало его работать. Севка был уверен, что сядет за стол и напишет новые стихи — лучше всех прежних.

И он сел. И открыл тетрадь. Он хотел сочинить что-то сильное, могучее, героическое. Например, про бурю на море. Про стихию. Он даже придумал первую строчку:

Над морем двигалась гремучая гроза...

Но дальше ничего придумать не успел. Постучала Римка и ласково предложила:

— Сева, пойдем в кино. На «Кащея Бессмертного».

— Не хочу...

— Ну, пойдем, а?

— Да отстань, видел я этого «Кащея»...

— Ну и что? Разве неинтересно еще раз... Я тебе дам три рубля на билет. Взаймы...

Севка догадывался: в кино придут Римкины одноклассницы, и ей приятно покрасоваться рядом со знаменитостью.

— Не пойду... Не видишь, человек работает?

Римка заводилась всегда с пол-оборота.

— Подумаешь, «работает»! Пушкин какой!

— Ты Пушкина не трогай, — сказал Севка и подумал: не пустить ли в гостью сапогом?

— Я не Пушкина, а тебя. Или ты считаешь, что между вами никакой разницы?

— А какая разница? — Севка повернулся вместе со стулом и в упор посмотрел на Римку. Он знал, что сбить ее с толку можно только самым неожиданным доказательством. — Ну, скажи, какая? Пушкин писал стихи, и я пишу стихи. У Пушкина их печатали, и у меня печатают. Толь-

ко у Пушкина бакенбарды были, а у меня нету. Дак еще вырастут. — Он покрутил у щек пальцами.

Римка обалдело замигала. Открыла рот... и тихо притворила дверь.

Севка посидел, съежившись: он переживал собственное чудовищное нахальство. А что, если Римка завтра про эти слова разболтает в школе? Впрочем, ничего особенного, наверно, не будет. Все помнят кулак Тощеева. Но самому как-то не по себе...

Но Севка же не по правде это сказал, а назло Римке.

Севка вздохнул и вернулся к поэтическим трудам. Они двигались туго. Разница между Севкой и Пушкиным определенно ощущалась. Выжать из себя хотя бы еще строчку Севка не мог. К слову «гроза» приклеивалась какая-то дурацкая «стрекоза», а что ей делать в штормовом океане?

Севка поерзал еще пять минут и вышел в коридор.

— Римка! Ладно, айда в кино.

Да, слава — вещь приятная, но стихи у Севки перестали получаться. Севка маялся три дня, потом со смущенными вздохами сказал про это маме.

— Ты, наверное, очень спешишь, — ответила мама. — По-моему, тебе стало все равно, про что писать, лишь бы новое стихотворение получилось поскорее. А так нельзя. Хорошие стихи поэты пишут только про то, что любят.

Севка задумался. Море он любил. Только совсем его не помнил. Может быть, поэтому и не пишется?

А что еще он любит? Больше всего — маму. Но про маму писать он почему-то стесняется. Тут какой-то закон природы. Наверно, из-за этого закона люди стесняются признаваться друг другу в любви (Севка читал об этом и кино смотрел). Другое дело — стихи для мамы. Но он уже написал восьмимартовские.

Еще Севка любит весну, кино, мороженое... Пушкина!

Любит ходить с мамой вечером через мост над Турой, когда под ним проплывают самоходные баржи с огоньками.

Любит свой подоконник со сказочными жителями.

Интересные книжки...

Пускать мыльные пузыри...

И про все это писать? Тут никаких сил не хватит. Надо что-то выбирать.

Но ничего не выбиралось.

— Ты не спеши, — опять сказала мама. — Берись за стихи только тогда, когда очень захочется.

А Севке, по правде говоря, не хотелось. Весна манила на улицу. Горка с блиндажом осела и потеряла гладкость, но зато посреди двора Гришун построил новую голубятню. Севка и Гарик ему помогали — Гришун обещал им за это сделать тополиные свистки. Попозже, когда тополя набухнут соком.

Через несколько дней Гета Ивановна сказала в начале уроков:

— Ты, Глущенко, стал совсем знаменитый. Тебе уже письма приходят. — И отдала Севке четыре конверта. На каждом был написан адрес с городом, номером школы, а дальше: «2-й класс «А», Глущенко Севе». Конверты оказались распечатанными: видать, Гета полюбопытствовала. Но Севка сообразил это после. А в первый момент просто удивился:

— Это от кого?

— От твоих читателей. Когда будешь писать ответы, постарайся не царапать, как в тетрадях. А то скажут: стихи сочиняет, а писать не умеет.

Севка только усмехнулся.

Все письма были от девчонок: из Свердловска, Кирова, какой-то деревни Одинцово и Казани. И почти все одинаковые, будто их диктовала одна учительница:

«Здравствуй, незнакомый друг Сева! Пишет тебе незнакомая девочка Таня (или Валя, или Света). Я прочитала в «Пионерской правде» твои стихи. Они мне очень понравились. Я хочу с тобой переписываться. Напиши, как ты учишься и что любишь делать. Я учусь хорошо. Что еще писать, не знаю. Жду ответа, как соловей лета».

Мама сказала, что надо ответить. Севка насупился. Во-первых, писать было лень. Во-вторых, девчонки эти наверняка были глупыми и вредными вроде Людки Чернецовой. Севка написал только одной — Вере Беляевой из Кирова. Верино письмо было не похоже на другие. Она писала, что ее папа тоже погиб и что она любит собирать картинки с самолетами, а один раз сочинила сказку про медвежонка, только ее нигде не печатали. Еще она просила Севку послать ей какие-нибудь свои стихи. Севка послал: про революцию и про зиму.

Через день после уроков Гета отдала ему еще два девчоночьих письма.

Севка прочитал их в коридоре, в уголке, чтобы не мешали. И разочарованно сунул в сумку. Письма были по-

хожи на первые три. Он пошел к лестнице и услышал звонкий и твердый голос:

— Сева Глущенко. Подожди.

К нему шла Инна Кузнецова...

Прямо к нему шла Инна Кузнецова! Вот это да! Зачем?..

— Здравствуй, Сева. Это твои стихи напечатаны в «Пионерской правде»?

У Севки шевельнулась слегка горделивая мысль: раньше и не глядела на него, а теперь, смотри-ка, сама подошла. Но сразу он ощутил волнение и робость — как и раньше, когда видел Инну.

— Ага... — сказал он и потупился.

— Ты молодец. — Инна смотрела прямо и строго. — Мы в совете дружины думаем, что тебе пора вступать в пионеры. Вообще-то мы принимаем только с третьего класса, но самых активных второклассников иногда принимаем тоже. Потому что дружина у нас маленькая. Тебе сколько лет?

— Девять, — прошептал Севка, не смея верить.

— Ну, ничего... Ты согласен?

Севка глотнул пересохшим горлом. Согласен ли? Да он, как о самой громадной сказке, мечтал об этом. О том, чтобы маршировать в строю, где впереди знамя, блестящий горн и барабан. О том, чтобы лихо салютовать вожатой, когда встретишь ее в коридоре. О том, чтобы приходить на сбор в белой рубашке с красным галстуком. О том, что (это уж совсем невероятно, однако вдруг когда-нибудь случится?) ему дадут поучиться играть на горне и, может быть, сделают горнистом. Пускай хоть запасным.

— А как это... надо вступать? — сипло спросил Севка, глядя на рыжие свои сапоги.

— Сначала выучишь Торжественное обещание. Завтра я принесу, а ты перепишешь. До свиданья.

Севка глупо заулыбался и закивал. Торжественное обещание он знал с первого класса.

— Мама! Меня скоро примут в пионеры!

— Ой, ты сумасшедший! Ты меня перепугал! Ворвался...

— Мне сама Кузнецова сказала! Председатель совета дружины!.. Ой, а у меня ведь нет белой рубашки!

— Разве обязательно? Можно в матроске...

— Ну что ты, мама! Ведь надо, чтобы форма! Вдруг не примут?

— Из-за рубашки-то? Так не бывает... Ну, не волнуйся, что-нибудь придумаем. Попросим тетю Аню перешить из моей блузки.

— Правда? Ура!

— Пионеры, между прочим, не скачут по комнате в грязных сапогах. И не швыряют сумки в угол.

— Да знаю, знаю!

Он все знал: и про поведение, и про режим дня, и про учебу. И что пионеры должны быть смелые, должны помогать старшим. Честные должны быть. Да... и еще...

Как же быть?

Севка притих в углу на стуле. Неожиданная мысль озадачила его. Помимо всего прочего Севка вспомнил, что пионеры не верят в бога.

Он не на шутку растерялся.

Конечно, о Севкином боге не знал ни один человек на свете. Но сам-то Севка знал. Выходит, он будет не настоящий пионер?

Все станут думать, что настоящий, а на самом деле нет...

Севка размышлял долго. Сначала мысли суетливо прыгали, потом стали спокойные и серьезные.

Севка принял решение.

«Бог, ты не обижайся, — сказал он чуточку виновато. — Я не буду больше в тебя верить. Ты ведь сам видишь, что нельзя... Ты только постарайся, чтобы я дожил до бессмертных таблеток, ладно? А больше я тебя ни о чем просить не буду и верить не буду, потому что вступаю в пионеры. Вот и все, бог. Прощай».

Старик на крыльце башни-маяка, видимо, не рассердился. Вздохнул только и пожал плечами: что, мол, поделаешь, нельзя так нельзя.

До самого вечера Севке было грустно. Он успел привыкнуть к старому богу в тельняшке, а с теми, к кому привыкаешь, расставаться всегда печально. К тому же Севка подозревал, что и бог будет скучать без него. Как дед без внука. Но договор был твердым, и Севка ни разу не поколебался...

А наутро, перед уроками, в Севкин класс пришла Инна.

— Глущенко! Вот тебе Торжественное обещание. Можешь не переписывать, это я сама специально для тебя переписала. Учи. Сбор будет девятого мая. Но к работе мы будем привлекать тебя раньше.

— Ага... — сказал Севка и неловко закивал.

Инна, прямая и строгая, пошла к двери. Севка взволнованно разглядывал листок с круглым ровным почерком.

Алька сбоку посмотрела на Севку и без улыбки спросила. Вернее, просто сказала:

— Она тебе нравится...

— М-м? — ненатурально удивился Севка, и щеки у него стали теплыми. И тогда он сердито сказал:

— А вот ничуточки.

## Алька

Кузнецова ему нравилась раньше. А теперь уже не очень. То есть он по-прежнему знал, что она красивая, но думал об этом спокойно. Севкина любовь перегорела и угасла. Да и вообще любовь — это чушь собачья, выдумки взрослых. Даже непонятно, как серьезный человек Пушкин клюнул на такой крючок и писал стихи о сердечных страданиях. Севка на эту тему никогда ничего писать не будет.

Другое дело — настоящая мужская дружба. Мужская не потому, что обязательно между мужчинами, а потому, что крепкая и верная, как на фронте. Холодная и строгая отличница для такой дружбы не годилась.

А вот Алька вроде бы годилась.

Первый раз Севка так подумал еще в свой день рожденья, когда играли в партизан и Алька сказала: «Если тебя заметят, я отвлеку огонь на себя». Тогда он почти сразу об этом забыл. Но потом иногда вспоминал, и както тепло делалось в груди, хорошо так, будто под майку сунули свежую, только что из духовки булочку.

Алька была такая же, как раньше, но Севка порой смотрел на нее по-иному. И несколько раз даже подумал, что хорошо бы как-нибудь спасти Альку, если она гденибудь провалится под лед, или заступиться за нее перед обидчиками.

Но получилось наоборот. Вовка Нохрин и Петька Муромцев из второго «Б» привязались к Севке на улице. Петька по кличке Глиста сунул ему за шиворот сосульку, а Нохрин сдернул и пнул Севкину шапку — она улетела в канаву с грязным раскисшим снегом. Севка подобрал шапку и назвал Глисту Глистой, а Нохрина не совсем хорошим словом. Тогда они обрадовались, подскочили, пнули Севку и сказали:

— А ну, беги отсюда!

Бежать — это хуже всего. Лучше уж провалиться на месте. Севка прижался спиной к белой стене библиотеки и приготовился отмахиваться и отпинываться.

Тут-то и подошла Алька.

Она легонько пихнула плечом Муромцева, ладошкой отодвинула Нохрина и сказала обычным своим тихим голосом:

— Двое на одного, да? Как дам сейчас. Ну-ка, брысь...

И они пошли. Оглянулись, правда, и Глиста противно сказал:

— Хы! Жених и невеста...

Но это было так глупо, что ни Севка, ни Алька даже не смутились. Уж кто-кто, а они-то ни капельки не «жених и невеста». Севка поправил на плече сумку и деловито сказал Альке:

— Чего ты вмешалась. Я бы и сам отмахался. Боюсь я, что ли, всяких Глистов...

— Вдвоем-то все же лучше, — разъяснила Алька. И взяла Севку за рукав: — Повернись-ка. Весь извозился.

И она принялась хлопать его по ватнику, счищать со спины известку. Севка мигал от каждого хлопка и от неловкости, что не он спас Альку, а она его. Но при этом опять подумал, что друг из Альки получился бы хороший.

Однако этого мало для настоящей дружбы. Надо, чтобы и Алька про Севку думала так же, а про ее мысли он ничего не знал. Она была такой, как раньше: тихой, заботливой и незаметной. И, когда Севка стал знаменитым, она к нему не лезла с разговорами и не примазывалась.

И Севка нисколько не врал, когда сказал, что Инна ему не нравится «ничуточки». И Алька сразу поверила. Она спокойно кивнула и сказала:

— Доставай «Родную речь», сейчас будет чтение.

«Родная речь» на чтении не понадобилась. Гета Ивановна стала рассказывать, что такое былины и кто такие богатыри. Оказалось, что богатырь — это «такой сильный воин, который ходит одетый в железную кольчугу со щитом и ездит верхом на лошади».

Севка еле слышно хмыкнул и посмотрел на Альку. Алька тоже взглянула на него и чуть-чуть улыбнулась. Но вообще-то она была сегодня слишком уж задумчивая. Больше, чем всегда. Эта мысль на миг кольнула Севку легкой тревогой, но тут же он отвлекся. Гета Ивановна

повесила на доску картонный лист с наклеенной картиной. На картине был могучий бородатый дядька в островерхом шлеме, с красным щитом и тяжелым копьем. Он сидел на косматом и толстоногом белом битюге.

Битюг хотя и был нарисованный, а не настоящий, но все равно — белая лошадь. В разных концах класса послышались легкие хлопки, и прошелестело: «...горе не мое...»

Севка машинально сложил в замочек пальцы. Опять взглянул на Альку. И снова они встретились глазами. Она все заметила. А сама пальцы не скрестила. Конечно, разве это защита от белой лошади? Вот если бы передать кому-нибудь горе... Но Алька не решится. Не потому, что боязливая, а постесняется.

Севка вздохнул и разжал «замочек». Протянул Альке ладошку:

— Передавай...

У нее приоткрылся рот, а глаза сделались какими-то беспомощными. Потом сдвинулись светлые бровки, и Алька сказала со снисходительным упреком:

— Что ты. На друга разве передают?

...И сразу Севка услышал запах клейких тополиных листьев. И близко увидел синие Юркины глаза. Прогромыхала телега, которую тащила белая кляча. Ударило теплом майское солнце, и прозвучал Юркин голос: «Что ты. На друга разве передают?»

И все стало ясно до конца. И Севка, переглотнув, опустил глаза и сказал одними губами:

— Тогда давай все горе пополам...

И догадался, что она тоже сказала еле слышно:

— Давай.

Они сцепили под партой мизинцы левых рук и резко дернули их. В этот очень короткий миг Севка почувствовал, какая у Альки теплая рука. Даже горячая...

— ...А Глущенко пускай перестанет болтать языком с соседкой и слушает учительницу! Ну-ка повтори, что я сейчас сказала!

Нет, не удастся Гете испортить Севкину радость! Он весело отчеканил:

— Богатырь — это старинный воин.

— Полным ответом!

— Богатырь, — сказал Севка, — это старинный воин, который воюет с Соловьем-разбойником, ходит в кольчуге и сидит на богатырской лошадé.

В классе хихикнули. Гета хлопнула о стол.

— Это я давно говорила! А еще что? Зовут как?

— Лошадь?

— Сам ты лошадь. Богатырей!

— А! Илья Муромец, Алеша Попович и Никита Горыныч... Ой, нет, Добрыня. А Горыныч — это змей. Змей Добрыныч...

— Сядь, — при общем веселье снисходительно произнесла Гета Ивановна. — Стихи сочиняешь, а на уроках слушать таланта не хватает...

Смеясь в душе, Севка опустился на скамью. Алькины глаза тоже смеялись. Кажется, она одна поняла, что Севка дразнил Гету. Как Иван-царевич Змея Горыныча.

Когда кончился урок и Гета разрешила одеваться, Алька сразу встала и пошла к вешалке. Севка хотел пойти с ней. Но оказалось, что Владька Сапожков, который сидел сзади, привязал его за лямку к спинке парты. Марлевой тесемкой. Он и раньше иногда так шутил, и Севка не сердился. Владька был веселый, маленький и безобидный. Но сейчас, ругаясь и обрывая тесемку, Севка пообещал:

— Обожди, Сапог, на улице получишь.

Сапожков испуганно заморгал, но Севка тут же забыл про него. Он побежал за Алькой.

Среди толкотни и гвалта у вешалки Алька стояла не двигаясь. Держала за рукав свое висящее на крючке пальтишко и прислонялась к нему щекой. На секунду Севке даже показалось, что она плачет. Но нет, она просто так стояла. Усталая какая-то.

— Ты чего? — встревожился Севка.

— Да не знаю я, — виновато сказала Алька. — Голова что-то кружится.

Их толкали, задевали плечами, и Севка растопырил локти, чтобы защитить Альку. И постарался ее успокоить:

— Это ничего, что кружится, это не опасно. У меня тоже бывало, с голоду. Ты сегодня ела?

— Ела, конечно... Это не с голоду. Она еще болит почему-то.

Севка вдруг вспомнил, какие горячие были недавно Алькины пальцы. И торопливо взял ее руку. Рука обжигала.

— Да ты вся горишь, — озабоченно сказал он, как говорила мама, когда Севка валился с простудой.

Он сдернул Алькино, а заодно и свое пальто, вывел послушную Альку в вестибюль, кинул одежду и сумку к стене. Страдая от смущения, тревоги и непонятной нежности, тронул Алькин лоб. Он тоже был горячий.

— Ну вот, — снова сказал Севка маминым голосом. — Наверно, выскакивала на улицу раздетая...

— Нет, что ты... — слабо отозвалась она.

— Давай-ка...

Не боясь ничьих дразнилок, он помог Альке натянуть пальтишко и застегнуться. Взял ее портфель.

— Я тебя доведу до дому.

— Да зачем? Я же не падаю, — нерешительно заговорила Алька.

— Всякое бывает, — сумрачно отозвался Севка. — Если голова кружится, можешь и брякнуться. Со мной случалось...

Они вышли на яркую от солнца улицу. Их обгоняли веселые второклассники и третьеклассники. И воробьи в тополях и на дороге веселились, как школьники.

Алька опять заспорила:

— Тебе же совсем в другую сторону...

— Подумаешь, — сказал Севка.

И они пошли рядом. Неторопливо, но и не очень тихо. На свежем воздухе Алька повеселела, но портфель ей Севка все же не отдал. Свою сумку Севка нес на ремне через плечо, портфель держал в левой руке, а правая была свободна. Севка подумал, потом сердитым толчком прогнал от себя нерешительность и взял за руку Альку. А как иначе? Не под ручку же ее вести. И совсем не держать тоже нельзя: вдруг все-таки закачается.

Алькины пальцы были по-прежнему горячие, и Севка строго сказал:

— Как придешь, сразу градусник поставь. Мама у тебя дома?

Это был глупый вопрос. Алькина и Севкина мамы работали в одной конторе и приходили не раньше семи вечера.

Алька сказала:

— Бабушка дома.

— Вот пусть и поставит градусник.

— Она знает. Она умеет меня лечить...

— Вот и пускай лечит, как следует, — наставительно сказал Севка, чтобы не оборвался разговор.

Но он все равно оборвался. И, когда пошли молча, к Севке опять подкралось непонятное чувство: смесь тревоги и ласковости. И какой-то щемящей гордости, будто он выносил с поля боя раненого товарища. Но никакого поля не было, а были просохшие дощатые тротуары и пласты ноздреватого, перемешанного с грязными крошками снега вдоль дороги. И блестящая от луж дорога, по которой везла телегу с мешками пожилая лошадь (не белая, а рыжая).

Севка рассердился на себя за то, что слишком расчувствовался. Но как-то не слишком рассердился: не всерьез, а для порядка. В эту минуту Алька сказала:

— У тебя рука такая... хорошая. Холодящая...

— Потому что у тебя горячая.

— Наверно...

Алька жила в трех кварталах от школы, в кирпичном двухэтажном доме.

— Дойдешь теперь? — спросил Севка около высокого каменного крыльца.

— Конечно, — чуть улыбнулась Алька.

Назавтра Алька не пришла.

Случалось и прежде, что она болела и пропускала уроки. Но тогда Севка не испытывал беспокойства. Только неудобство испытывал: нужно было макать ручку в чернильницу на задней парте. И хорошо, если чернильница была Владика Сапожкова. А если отвратительной Людки Чернецовой, тогда приходилось туго.

Но сегодня Севка огорчился не из-за чернил. Скучно было одному на парте, неуютно. И что же это получается? Просто злая судьба какая-то: лишь появится друг и — трах! — исчезает куда-то.

Ну, конечно, Алька надолго не исчезнет, но все равно обидно. И даже тревожно.

Нельзя сказать, что на всех четырех уроках Севка только и думал об Альке. Но если и забывал, отвлекался, червячок беспокойства все равно шевелился в нем и мешал быть веселым. Даже несколько новых писем, которые после уроков отдала Гета Ивановна, не обрадовали его. Тем более что Гета при этом не забыла сказать гадость:

— Когда будешь отвечать, следи за почерком, а то ведь стыд. Спросят: кто его учил писать?

Севка молча взял конверты и треугольники. Больно ему надо отвечать на такие глупости.

А что все-таки с Алькой? Может, сходить к ней домой? Но Севка ни разу у нее не был, неловко. И где там Алькина квартира в большом доме? А спрашивать почему-то стыдно...

Вечером, когда пришла мама, Севка вздохнул и небрежно сказал:

— Фалеева что-то в школе не появилась. Видать, заболела...

— Заболела, — сразу откликнулась мама. — Раиса Петровна сегодня с работы отпросилась: говорит, что у Али очень высокая температура и какая-то сыпь. Хорошо, если обыкновенная корь, а если сыпной тиф?

«Ну вот, — подумал Севка, — теперь это надолго...» И вдруг стало горько-горько, даже колючки в горле зашевелились. Севка сел на подоконник, вцепился в ручку на раме и щекой прислонился к холодному стеклу.

Было еще светло, мокрые ветки тополей от закатных лучей золотились, а стена пекарни была оранжевой. Дым из тонкой трубы торчком поднимался в сиреневое небо — он был похож на хвост великанского черного кота, спрыгнувшего с далекого облака... Но все это не нужно было Севке! Не до сказок ему!

Мама остановилась рядом.

— Ну, что ты расстроился... — осторожно сказала она.

— Ни капельки, — хмуро отозвался Севка.

— Она поправится, — сказала мама — Или ты боишься, что заразился? Не бойся, корью ты уже болел, а сыпняк... он же передается только... с этими, с насекомыми... Слава богу, у тебя их нет.

Ни о какой заразе Севка и не думал. Однако мама тут же нагрела воды и вымыла его в корыте едким жидким мылом, потому что кто знает: вдруг случайное «насекомое» перепрыгнуло на Севку в классе.

Однако волновалась мама зря. Оказалось, что у Альки не тиф. И не корь. У нее была скарлатина. Севка узнал об этом от мамы на следующий день. Мама сказала, что Альку увезли в больницу и Раиса Петровна очень расстроена, потому что состояние у дочери тяжелое.

— Как тяжелое? — сумрачно спросил Севка.

— Плохое, — вздохнула мама. — Температура высокая, горло запухло. Она даже бредит иногда. И с ногами что-то. Мама ее говорит, что синие стали и кожа блестит, как стеклянная.

Севка подавленно молчал. Мама сказала:

— Ты скарлатиной совсем легко переболел, хоть и крохой был. А с ней вот как получилось...

Севка понял: мама его успокаивает. Ты, мол, уже перенес когда-то эту болезнь, и теперь она тебе не страшна. Но Севка и не думал про себя. Вернее, думал: какой он все-таки свинья. Вчера и сегодня он страдал оттого, что нет Альки. Ему без нее было тревожно, плохо. А дело-то не в этом. Дело в том, что ей очень плохо. Севку эта мысль проколола стремительно и болезненно. Он даже зажмурился и переглотнул.

Но чем он мог помочь Альке?

Севка взял «Пушкинский календарь» и забрался на мамину кровать. Он раскрыл нарочно самые печальные страницы — про дуэль и смерть Пушкина. Потому что ни о чем веселом думать не хотелось.

Так и заснул — одетый, с головой на раскрытой книге.

Наутро в школе все узнали, что во втором «А» не будет уроков. Ни в этот день, ни в другие дни до самых весенних каникул. Потому что Фалеева заболела скарлатиной и в классе назначен карантин. Другие классы завидовали, а второй «А» ликовал. Правда, Гета Ивановна задала на дом целую кучу примеров и упражнений и долго грозила всякими ужасами тем, кто не решит хотя бы одну задачку. Но никто не пугался — впереди были две недели свободы!

Севка рассеянно смотрел на общее веселье. Он не злился на ребят, он их понимал. Если бы из-за кого-то другого случился карантин, не из-за Альки, он бы тоже радовался.

Впрочем, и теперь Севка не очень огорчался, что отменили уроки. Все равно без Альки в школе было скучно.

Дома Севка от нечего делать полдня клеил вареной картошкой бумажный домик для Кашарика. Домик получился кособокий и хлипкий, Севка потерял к нему интерес, кликнул Гарика, и они пошли во двор.

Во дворе сверкали отраженным синим небом и солнцем просторные лужи. Целые океаны. Гарик притащил свои хвалебные коробки. Некоторые были проржавевшие и быстро потонули, зато из других получились прекрасные тяжелые броненосцы. Севка с Гариком разделили их на две эскадры и устроили морской бой.

Броненосцы хитрыми маневрами старались обойти друг друга, потом сталкивались в грохочущих таранах, иногда черпали воду и героически шли ко дну под ударами бе-

реговой артиллерии. Артиллерия била по ним обломками кирпичей. От самых тяжелых снарядов столбы воды поднимались выше головы. И падала вода не только на броненосцы, но и на Севку, и на Гарьку. И скоро оба они были хоть выжимай. Но никто нисколечко не озяб, наоборот, жарко сделалось. И весело.

Даже в самой горячке боя Севка не забывал про Альку. Но теперь ему казалось, что Альке наверняка стало легче. Потому что ничего плохого не могло случиться в такой солнечный день, когда такие теплые пушистые облака и когда уже совсем настоящая весна.

Впрочем, Гарька напомнил, что плохое случиться все-таки может. Его определенно выдерут, если он не высушит пальто и штаны до прихода матери. Севка подумал, что и его мама не похвалит за мокрую одежду. Пришлось вытаскивать на берег броненосцы и топать домой.

Печка была еле тепленькая, и развешанная у нее одежда высохнуть не успела. Поэтому Севка не удивился, когда мама пришла и посмотрела на него хмуро. Но дело было не в промокших штанах и ватнике. Мама тихо и както осторожно сказала:

— Вот так, Севушка... Совсем плохо твоей подружке.

Севка даже не обратил внимания на нелепое слово «подружка». Приутихшие днем страх и тревога опять выросли. Зажали Севку, накрыли с головой, будто упало на него холодное одеяло. Севка передернулся, как от озноба.

— Почему плохо? — сдавленно спросил он.

Мама виновато развела руками.

— Такая вот болезнь... Ох, Севка, а почему ты в матросский костюм вырядился? А-а, промочил все на улице! Ну что это такое? Тоже захотел в больницу? Почему ты не можешь играть, как нормальные дети? Вот подожди, я займусь твоим воспитанием! Что за человек, не может спокойно пройти мимо лужи...

Она еще что-то говорила, а к Севке подкрадывалась догадка. Он сник, сел на табурет у печки, потом поднялся, подошел на ослабевших ногах к маме. Шепотом спросил:

— Значит, она по правде может умереть?

— Ну что ты, Севка... — ненастоящим каким-то голосом сказала мама. — Зачем ты так сразу... Может быть, все еще пройдет.

И она отвела глаза.

Севка снова сел на табурет. И больше ничего не спрашивал и вообще не говорил. Что говорить, если мама отводит глаза...

Оранжевая кирпичная стена за окном потускнела, стала размытой и серой, а вечер сделался как густые синие чернила. Мама щелкнула выключателем, и за окнами совсем почернело.

Глухой это был вечер. Безнадежный и пустой какой-то, хотя лампочка светила полным накалом, дрова в печке весело стреляли, а кастрюля на плите уютно булькала.

— Севушка, ну что ты совсем скис, — жалобно сказала мама.

Он потоптался перед ней, потом попросил:

— Давай сходим к ней домой, а? К Альке... К ее маме. Может, теперь уже... получше ей...

Мама растерянно мигнула. Почему-то нерешительно оглянулась на дверь, на окна.

— Ну что ты, Севушка... Неудобно это. Раисе Петровне и бабушке не до нас, им и так тяжело...

— Мы же только спросим...

— Н-нет... Нет, Сева, не надо. Подождем до завтра. Я все узнаю на работе.

И она опять стала смотреть не на Севку, а по сторонам как-то.

Севка понял. Дело не в том, что неудобно. Просто мама боится. Боится, что... у ж е. Что Альки нет уже на свете? Да?

Севка тихо задохнулся. Стиснул себя за локти и так напружинил плечи, что старая матроска затрещала на спине. Отошел от мамы. Она беспомощно сказала ему вслед:

— Мы же все равно ничем не можем помочь ей...

Никто не может помочь. Может, в Москву написать товарищу Сталину? Но Владька Сапожков правильно говорил: откуда у Сталина время заниматься всеми больными? А если даже он и займется, велит прислать лекарство, сколько пройдет времени...

Севка долго молчал, сидя за столом и подперев кулаками щеки. Потом сказал негромко и решительно:

— Я спать буду.

— Так рано?

— Да. Мне хочется.

— А ты не заболел? — конечно, испугалась мама.

— Нет. Просто хочу спать.

Он не хотел спать. Он хотел остаться один — укрыться с головой и оказаться в темноте и тишине.

Полной тишины все равно не получилось. Сквозь одея-

ло и старое мамино пальто, которое Севка натянул на голову, доносилось потрескивание дров и даже бубнящий Римкин голос из-за стенки — она опять долбила правила. На первом этаже — через пол, сундук и подушку — тоже слышались голоса — грозный тети Даши и жалобный Гарькин. Видимо, Гарьке доставалось за мокрую одежду. «Могут и выпороть», — мельком подумал Севка, но тут же перестал слушать все звуки. Он остался один, чтобы поговорить с богом.

Севка понимал, что это нечестно. Он же пообещал богу, что верить в него больше не будет и просить никогда ни о чем не станет. Но сейчас не было выхода. И главное, времени не было. Алька могла умереть в любую секунду, и тогда проси не проси...

Севка так и сказал:

«Я знаю, что это нехорошо, но ты меня прости, ладно? Потому что надо же ей помочь. Помоги ей, если не поздно, очень тебя прошу. Очень-очень... Ну, пожалуйста! Сделай, чтоб она поправилась...»

Седой могучий старик сидел, как и раньше, на ступенях у своей башни. Синий дым из его трубки уходил к разноцветным облакам, в разрывах которых кружились у громадного флюгера звезды и шарики-планеты. Старик задумчиво, даже немного сердито смотрел мимо Севки, и непонятно было, слушает он или нет.

«Я тебя последний раз беспокою, честное слово, — сказал ему Севка. — Больше никогда-никогда не буду...»

Ему показалось, что старик шевельнул бровями и чуть усмехнулся.

«Правда! — отчаянно сказал Севка. — Только помоги ей выздороветь. Больше мне от тебя ничего не надо!.. Ну... — Севка помедлил и словно шагнул через глубокую страшную яму... — Ну... если хочешь, не надо мне никакого бессмертия. Никаких бессмертных лекарств не надо. Только пускай Алька не умирает, пока маленькая, ладно?»

Старик быстро глянул на Севку из-под кустистых бровей, и непонятный был у него взгляд: то ли с недоверием, то ли с усмешкой.

«Я самую полную правду говорю, — поклялся Севка. — Ничего мне от тебя не надо. Только Алька... Пускай она...»

Старик опять глянул на Севку.

«Ты думаешь: в пионеры собрался, а богу молится, — с тоской сказал Севка. — Но я же последний раз. Я знаю, что тебя нет, но что мне делать-то? Ну... Если иначе нель-

зя, пускай... Пускай не принимают в пионеры. Только пусть поправится Алька!»

Старик несколько секунд сидел неподвижно. Потом выколотил о ступень трубку, медленно встал. Не глядя больше на Севку, он стал подниматься по лестнице. Большой, сутулый, усталый какой-то. Куда он пошел? Может быть, на верхнюю площадку башни колдовать среди звезд и облаков, чтобы болезнь оставила Альку? Или просто Севка надоел ему своим бормотанием?

«Ну, пожалуйста...» — беспомощно сказал ему вслед Севка.

Он, кажется, это громко сказал. Потому что к сундуку тут же подошла мама.

— Ты что, Севушка? Ты не спишь?

Он притворился, что спит. Стал дышать ровно и тихо. Мама постояла и отошла. Потом она подходила еще несколько раз, но Севка снова притворился спящим. Притворялся так долго, что в самом деле уснул. Ему приснилось, что Алька выздоровела и веселая, нетерпеливая прибежала в школу. За открытыми окнами класса шумело листьями полное солнечное лето, Алька была в новенькой вишневой матроске, а тоненькие белобрысые косы у нее растрепались...

Вдруг Алька стала строгой и спросила у Севки:

— С тобой никто не сидел, пока я болела?

— Что ты! — сказал Севка. — Я бы никого не пустил!

Алька улыбалась...

Но это был сон, а наяву все оказалось не так. День Севка промаялся дома и во дворе, где было пусто и пасмурно — то снег, то дождик. А вечером узнал от мамы, что Альке пока ничуть не лучше.

— Но и не хуже? — с остатками надежды спросил он.

— Да, конечно, — сказала мама. И Севка понял, что Альке не хуже, потому что хуже быть просто не может.

Еще мама сказала, что днем Раиса Петровна два раза ходила в больницу и, наверно, будет дежурить там ночью...

Севка больше не обращался к богу. Накануне он сказал ему все, что хотел, а канючить и повторять одно и то же бесполезно.

Утром Севка проснулся поздно. Мама, не разбудив его, ушла на работу. Севка позавтракал холодными макаронами, полистал «Доктора Айболита», но само слово «доктор» напоминало о больнице, и он отложил книгу. Хотел

раскрасить бумажную избушку, взял картонку с акварельками, и в эту секунду на него навалилось ощущение тяжелой, только что случившейся беды.

Всхлипывая, давясь тоской и страхом, Севка натянул ватник и шапку, сунул ноги в сапоги и побежал к маме на работу.

Контора Заготживсырье находилась далеко: за рынком и площадью с водокачкой. Бежать было тяжело. Твердые ссохшиеся сапоги болтались на ногах и жесткими краями голенищ царапали сквозь чулки ноги. К тому же эти сапоги были дырявые, Севка бежал по лужам, и ноги скоро промокли. Ветер кидал навстречу, как плевки, клочья мокрого снега. Это кружила на улицах сырая мартовская метель, сквозь которую пробивалось неяркое желтое солнце.

Сильно закололо в боках. Севка пошел, отплевываясь от снега и вытирая мокрым рукавом лицо.

Потом опять побежал...

Он бывал и раньше у мамы на работе, знал, где ее искать. В деревянном доме конторы пахло едкой известковой пылью, чернилами и ветхим картоном. Севка, топоча сапогами, взбежал на второй этаж. Мама работала в комнате номер три, слева от лестницы. Но сейчас... сейчас он увидел маму сразу. В коридоре. Она стояла у бачка с водой (такого же, как в школе) вместе с Раисой Петровной. Они рядом стояли. Вплотную друг к другу. Раиса Петровна положила голову на мамино плечо, а мама ей что-то говорила...

Грохнув последний раз сапогами, Севка остановился. Мама услышала его всхлипывающий вздох. Посмотрела...

Нет, она смотрела не так, как смотрят, если го́ре. Она вдруг улыбнулась. Качнула за плечи Раису Петровну и сказала:

— Раечка, смотри, вот он. Прибежал наш рыцарь...

Севка не сразу поверил счастью.

— Что? — громко спросил он у мамы.

Мама улыбалась. Раиса Петровна тоже улыбнулась, хотя лицо ее было мокрое.

— Ну что?! — отчаянно спросил у них Севка.

— Ничего, ничего, Севушка. Получше ей, — сказала мама. — Теперь, говорят, не опасно...

В конце коридора было широкое окно, за ним вперемешку с солнцем неслась, будто взмахивая крыльями, сумасшедшая от радости весенняя вьюга.

## Вот такая разная весна

Как награда за недавние страхи и тоску, пришли к Севке счастливые дни каникул. Безоблачные. Очень теплые, хоть в одной рубашке бегай на дворе (только мама не разрешает). Севкина оттаявшая душа рвалась к радостям. Он с утра убегал во двор, где добрый и безотказный Гарик всех ребят оделял своими «броненосцами» и закипали морские бои. Оказывается, в тот день, когда был самый первый бой, Гарьку ругали вовсе не за одежду, а за то, что не выхлопал половик. А лупить вовсе и не собирались. Поэтому Гарька сейчас не боялся сражений. А если уж очень промокал, Севка вел его к себе и сушил у печки.

Иногда вместо морской войны играли в сухопутную. За большой поленницей устраивали крепость и лепили гранаты из мокрого снега, который еще грудами лежал в тех углах двора, где было много тени. Снежные снаряды посвистывали в воздухе, ударялись о забор и прилипали к доскам серыми бугорками. От них тянулись вниз темные полоски влаги, и забор становился полосатым. У Севки придумались строчки:

От весны сверкает город,
Солнце съело тучи.
Полосатятся заборы
От снежков летучих.

Севку немножко беспокоило: есть ли такое слово — «полосатятся»? Но скоро он перестал об этом думать. Стихи сочинились легко и так же легко забылись. Даже в тетрадку Севка их не записал, не до того было. Он радовался вольной весенней жизни.

Альке становилось все лучше, мама сообщала об этом каждый вечер. А в воскресенье она сказала:

— Можно сходить к Але в больницу.

— Как? — удивился Севка. — Это же заразная больница, в нее не пускают.

— А мы постоим под окнами. Согласен?

Севка почему-то смутился, засопел и кивнул.

Оказалось, что больница совсем недалеко. Она была в доме, где раньше располагался детский сад. Тот самый, куда в давние времена ходил Севка.

Алькина палата была на втором этаже.

— Вон то окошко, — сказала мама. Она уже все знала.

В окошке виден был большой круглоголовый мальчишка. Мама сложила у рта ладошки и крикнула:

— Женя, позови Алю Фалееву!

Мальчишка кивнул, исчез, и очень скоро в окне появился другой мальчик. Тощий, тоже остриженный наголо, с большими ушами. Он улыбался. Потом он встал на подоконник, открыл форточку и высунул свою большеухую голову.

Мама нетерпеливо посмотрела на Севку:

— Ну, что же ты? Поздоровайся с Алей.

Севка обалдело заморгал. Но тут же увидел: улыбается мальчишка знакомо, по-Алькиному.

Севка опять смутился, зацарапал каблуком доску тротуара, потом сипло сказал:

— Здорово, Фалеева...

— Ох, Севка, Севка... — вздохнула мама и крикнула: — Аль, закрой форточку, простудишься!

— Не... здесь тепло.

— Закрой, закрой!

— А у нас из-за тебя карантин был, — сообщил Севка. Надо же было что-то сказать.

— Я знаю! — весело откликнулась Алька.

— Аля, закрой форточку!.. Что тебе принести?

— Книжку какую-нибудь! — обрадовалась Алька.

— Я принесу! — крикнул Севка.

Появилась девушка в белом халате, сняла Альку с подоконника, захлопнула форточку, погрозила маме и Севке пальцем. Алька прилипла носом к стеклу.

— Я принесу книжку! — опять крикнул Севка.

Алька закивала.

Севка и мама пошли, оборачиваясь и махая руками. И скоро Альку не стало видно, потому что в стекле отражалось очень синее небо и солнечный блеск.

— Какую же книжку ты ей отнесешь? — спросила мама.

— «Доктора Айболита», — решительно сказал Севка.

— Свою любимую? Тебе не жалко? Ее ведь не вернут из больницы.

— Пусть, — вздохнул Севка. Было, конечно, жаль, но что делать. Кроме того, Севка надеялся, что Алька прочитает, а потом бросит ему книжку в форточку.

На следующий день он пришел к больнице один. В окошке никого не было. Севка затоптался на тротуаре. Кричать он не решался. Кинуть снежком? А если не рассчитаешь и стекло высадишь? Вот скандал будет! И Альке влетит...

Пока он топтался, Алька сама появилась в окошке. Севка обрадованно замахал «Доктором Айболитом». Алька закивала, открыла форточку, спустила на длинной бечевке клеенчатую хозяйственную сумку. У них там в больнице, видать, все было продумано.

«Айболит» уехал в сумке наверх.

— Когда прочитаешь, спусти обратно!

— Конечно!

— Ладно, закрывай форточку, а то попадет!

— Ага... А ты еще придешь?

— Завтра!.. Тебя когда выпустят?

— К Первому мая!

До Первого мая было еще больше месяца. Севка вздохнул про себя и бодро сказал:

— Ничего. Это скоро.

Чтобы немножко поболтать с Алькой или просто помахать ей рукой, Севка стал прибегать каждый день.

Впрочем, дней в каникулах оказалось не так уж много, и пролетели они стремительно. И в самый последний из них Севка спохватился: «Батюшки, а уроки?!» Те самые упражнения и примеры, которые Гета Ивановна задала на дом из-за карантина.

Нет, Севка не стал надеяться на чудо: Гета, мол, забудет и не спросит. Севка проявил силу воли. С утра сел за стол и к середине дня сделал все задания. Примеры и задачки оказались нетрудные. С упражнениями было хуже — длиннющие такие. И нельзя сказать, что Севка очень следил за почерком, когда их дописывал. Но зато он сделал все, что задали. И с облегчением запихал учебники и тетради в сумку. Впереди было еще полдня свободы...

А потом пришло первое апреля.

Считается, что это очень веселый день. Можно всех обманывать, устраивать всякие хитрости. Идешь, например, по улице и говоришь прохожему: «Дяденька, у вас шинель сзади в краске». Дяденька начинает вертеться, будто котенок, который ловит свой хвост. А потом все понимает, но не сердится, только смеется и грозит пальцем. А еще можно придвинуть к дверям Романевских табуретку с пустым ведром, поколотить в стенку и заорать:

— Римка, ты что?! Заснула?! У тебя на кухне картошка подгорела!

— Ой, мамочки!

Дверь — трах, ведро — дзинь, бах! Римка: «А-а-а-а!»

Но омрачается этот день тем, что после веселых каникул надо топать в школу. И как назло — понедельник, до выходного целая вечность.

Погода была согласна с хмурым Севкой. Сеял дождик. Он съедал у заборов остатки снега и рябил в лужах воду. Лужи были серые, совсем не такие, как на каникулах. Мокрые сердитые воробьи не галдели и прятались под карнизами. У них словно тоже кончились каникулы.

Но... все-таки пахло весной. И все-таки до лета оставалось меньше двух месяцев. К тому же в кинотеатре имени 25-летия комсомола шел «Золотой ключик» и мама обещала дать три рубля на билет. Все это слегка утешало Севку. А в школе стало совсем весело. Там бегали, хохотали, спорили и старались обманом отправить друг друга в учительскую: тебя, мол, директор вызывает. На эту хитрость попался только доверчивый Владик Сапожков...

Когда сели за парты, к Севке опять подкралась печаль. Потому что рядом не было Альки. Но тут Гета Ивановна сказала, чтобы дежурные собрали у всех тетрадки по русскому языку, велела всем решать примеры, а сама села проверять, как написаны домашние упражнения.

Когда кто-нибудь начинал шептаться, она поднимала голову и говорила:

— Опять болтовня!.. У Светухиной вместо четырех упражнений одно, а она языком болтает! Будешь писать после уроков! А у Иванникова где задание? Тоже посидишь... Я вам не Елена Дмитриевна. Ей вы на шею садились, потому что очень добрая, а на мне много не покатаетесь...

Севка не болтал: не с кем было. И даже не оборачивался, чтобы обмакнуть ручку, потому что сам принес пузырек с чернилами. Он спокойно решал и ничего не боялся, поскольку все задания у него были сделаны. И он удивился, когда услышал:

— А это что такое?.. Глущенко!

— Что? — опасливо спросил Севка и встал.

— Вот это! — Гета Ивановна ткнула длинным ногтем в страницу. — Это что, буквы? Это бессовестные каракули? Елена Дмитриевна твое царапанье терпела, я тоже долго терпела, а теперь — хватит! Иди сюда!

С нехорошим холодком в животе Севка подошел к столу. И беспомощно затоптался перед Гетой.

Гета Ивановна торжественно поднесла к Севкиному носу тетрадь и медленно разорвала ее.

— Вот так! Перепишешь все! От корочки до корочки!

Севка обалдел от ужаса. Всю тетрадку? Все, что он писал целый месяц! Там же еще с февраля упражнения!

— Вы, наверно, сошли с ума, — сказал он тоненьким голосом.

Тут же Севка сообразил, какие ужасные слова он произнес. И понял, что сию минуту обрушатся на него страшные громы и молнии. Он сжался.

Но грома не было.

— А-а... — почти ласково пропела Гета Ивановна. — Я сошла с ума... Я, конечно, слишком глупая, чтобы учить такого знаменитого гения. Нет, вы поглядите на него! Ему письма пишут со всего Советского Союза, он у нас лучше всех!.. А я вот возьму да напишу этим ребятам, какой ты на самом деле! Вот хотя бы этому Юре Кошелькову из Ленинграда, пускай он знает, какой тут у нас поэт...

Она достала из классного журнала белый конверт, и на нем — внизу, где обратный адрес — Севка сразу увидел ровные крупные буквы: «Юре Кошелькову». И тут же все сделалось неважным. Все, кроме письма. Потому что буква «Ю» была знакомая-знакомая. С длинной перекладинкой, пересекающей палочку и колечко.

Севка, замерев от счастья, потянулся к конверту. Но Гета Ивановна живо отдернула письмо.

— Нет, голубчик! Хватит с тебя писем. Получишь, когда все перепишешь и вести себя научишься. А пока оно у меня полежит. И другие тоже.

Севке не нужны были другие! Только это!

— Отдайте! Это от Юрика! — отчаянно сказал он.

— Ну-ка помолчи! Он еще голос свой будет тут повышать!..

— Отдайте! Это же от Юрика!

— А хоть от Пушкина! Если будешь орать, я его вообще... — Она встала и взяла письмо так, будто хотела разорвать. Как тетрадку!

Севка прыгнул и вцепился ей в локоть.

— Не надо!

Она стряхнула Севку.

— Ах ты негодяй!

Но он опять прыгнул и вцепился. Гета Ивановна за шиворот выволокла его в коридор и потащила к дверям учительской. Но Севке было уже все равно. Пусть его хоть убивают, лишь бы отдали письмо Юрика!

— Отдавайте! — со слезами кричал он. — Отдавайте немедленно! Это мое! Это от Юрика! Не имеете права! Отдайте сейчас же!

Гета Ивановна рывком втащила его в учительскую, и он мельком увидел растерянное лицо Нины Васильевны. Гета Ивановна толкнула Севку на середину комнаты.

— Полюбуйтесь! Закатил истерику! Говорит, что я дура!

Севка тут же повернулся к ней.

— Отдайте письмо!

Он попытался схватить конверт, но Гетушка оттолкнула Севкины руки и выскочила за дверь. Дверь захлопнулась, она была с замком. Севка заколотил по ней кулаками, загудела фанерная перегородка. Страх, что письмо исчезнет, был сильнее всего. И еще была ненависть.

— Отдайте! Отдайте! — рыдал он. — Вы в самом деле дура! Я маме скажу! Отдайте письмо!!

Нина Васильевна схватила его за плечи, оттащила. Он упал на пол.

— Пусть отдаст! Отдайте! Это же от Юрика!!

Неужели они не понимают, что это от Юрика?! Почему они такие?

Нина Васильевна подтащила его к дивану, попыталась усадить. Он упал лицом на клеенчатый валик. Его опять усадили. В учительской кроме Нины Васильевны были теперь еще какие-то люди.

— Ну, по... жалуйста! — дергаясь от рыданий, кричал Севка. — Ну, пожалуйста! От... дай.. те!..

— Да вот, вот твое письмо...

И конверт оказался у него в руках. Севка прижал его к промокшей от слез рубашке.

— Успокойся, Глущенко... Ну, тише, тише...

Однако Севка не мог успокоиться. Рыдания встряхивали его, как взрывы. Ему дали воды в стакане, но вода выплеснулась на колени и на диван.

И только через много-много минут слезы стали отступать. Но еще долго Севка вздрагивал от всхлипов. Из учительской ушли все, кроме Нины Васильевны. Та опять дала Севке воды, и он сделал два глотка.

— Вот видишь, до чего ты себя довел, — сказала Нина Васильевна.

Он довел? Это его довели! Севка всхлипнул сильнее прежнего.

— Ну ладно, ладно, перестань, — торопливо заговорила Нина Васильевна. — Посиди вон там и успокойся.

Она взяла его за плечи, увела в угол, к вешалке, усадила там на стул. А сама вышла. И кажется, заперла дверь.

Севка повсхлипывал еще минут десять, потом совсем затих. И в школе было тихо. Уже отшумела перемена, и шел второй урок. А может быть, и третий.

Севка не понимал, зачем его сюда посадили. В наказание или просто так? И что будет дальше? Но эти мысли проскакивали, не оставляя никакой тревоги. Севка ничего не боялся и никуда не спешил. Главное было у него в руках — его сокровище, письмо Юрика. Севка сначала прижимал конверт к животу, а потом затолкал под рубашку. Распечатывать и читать сейчас он не хотел. Вернее, просто об этом не думал. Самое важное, что Юрик нашелся...

А она хотела порвать письмо!

Севка опять шумно всхлипнул. Погладил письмо под рубашкой. Сел на стуле боком и привалился щекой к спинке.

Забрякал звонок, зашумела еще одна перемена. Севка напружинился. Сейчас придут сюда учительницы, будут разглядывать его и, может быть, ругать. Гета уж точно будет. А что, если спрятаться за пальто на вешалке?

Открылась дверь, и вместе с Ниной Васильевной вошла... мама.

Мама несла Севкин ватник, шапку и сумку.

— Одевайся, — сухо сказала она.

Севка, глядя в пол, засуетился, запутался в рукавах. Мама, не говоря ни слова, помогла ему. Потом подтолкнула к двери. У порога напомнила:

— Что надо сказать, когда уходишь?

— До свиданья, — пробормотал Севка.

На улице и следа не осталось от утренней пасмурности. Ни одного облачка. День сиял, было тепло, как летом, и улица была разноцветная. Севка глубоко и прерывисто вздохнул, будто вырвался из жуткого плена.

Однако мама тут же поубавила его радость. Она проговорила ледяным голосом:

— Видимо, ты просто сошел с ума.

— Не сошел... — слабо огрызнулся Севка.

— Нет, сошел.. Только сумасшедший может сказать учительнице такие слова.

— Какие?

— Ты что, не помнишь?

— Не помню, — искренне сказал Севка.

— По-твоему, можно говорить учительнице, что она дура?

Севка знал, что нельзя. Но злые слезы опять подкатили к горлу.

— А тетрадку рвать можно?! А письмо...

— Ну, тише, тише, тише... Кстати, что за письмо? Раньше ты на эти письма внимания не обращал, а тут устроил такой бой...

— Ну, от Юрика же!

Неужели и мама ничего не понимает?

— От какого Юрика?.. Постой, это от мальчика, который тебе книжку оставил?

Наконец-то!

— Вот именно... — всхлипнул Севка.

— Но почему же ты ничего никому не объяснил?

Севка даже остановился.

— Я?! Не объяснил?! Да я только про это и твердил изо всех сил! А они... А она... порвать...

— Хватит, успокойся... Перестань. Ведь письмо-то теперь у тебя.

Да, это верно, письмо у него. И, оттеснив едкую обиду, к Севке вернулась радость...

Когда пришли домой, мама умыла Севку, велела зачем-то выпить крепкого и очень сладкого чая. И спросила:

— Ну, а что он пишет, Юрик твой?

И Севка наконец распечатал письмо.

В последний момент он испугался: а вдруг это все же не тот Юрик? Или вдруг письмо не такое, какое ждет Севка. Может, Юрик просто пишет: ты, мол, книжку не принес тогда, поэтому вышли теперь по почте...

...Нет, письмо было самое такое, о каком Севка мечтал!

Крупными твердыми буквами далекий друг Юрик писал ему:

«Сева, здравствуй!

Я прочитал стихи в газете и сразу понял, что это ты, Я тогда очень жалел, что мы больше не увиделись. Мама говорила, что ты напишешь письмо, только письма все нет и нет. Я понял, что бабка не дала тебе адрес. Она была такая вредная и всегда ругалась. Но теперь ты напишешь, ладно? Я тебе тоже еще напишу. А потом мы все равно увидимся обязательно. Я недавно был на берегу Финского залива. Это часть настоящего Балтийского моря. Напиши мне обязательно. Твои стихи очень хорошие.

Твой друг Юрик».

Письмо занимало целую страницу и еще немного на

другой стороне. А ниже подписи цветными карандашами была нарисована картинка: синее море, пароход с черными трубами и дымом и со звездой на борту, желтый берег, а на берегу мальчишка в красной матроске. Он стоял спиной к пароходу, лицом к Севке. И улыбался, подняв тонкую руку...

Мама тоже прочитала письмо и внимательно посмотрела на картинку.

— Видишь, какой хороший у тебя товарищ... — Она погладила Севку по колючей голове. Сейчас она была уже не сердитая и не строгая. Рассказала, что за ней на работу пришла школьная уборщица тетя Лиза: вас директор вызывает, ваш сын там школу разносит...

— «Разносит», — горько хмыкнул Севка.

— Придется тебе завтра как следует извиниться перед Гетой Ивановной, — сказала мама. — Если не хочешь, чтобы тебя исключили из школы...

Извиняться — это хуже всего. Это такая му́ка — краснеть и давить из себя: «Простите, я больше не буду...» Но Севка понимал, что никуда не денешься.

Ладно, в конце концов это будет лишь завтра. А сегодня он целый день будет перечитывать письмо, разглядывать картинку и сочинять длинный-длинный ответ.

Мама велела Севке сидеть дома и ушла на работу. Он забрался на мамину кровать, разгладил письмо на подушке. Прилег на него щекой... и тут же уснул. И спал, вздрагивая во сне, пока не пришла мама.

Утром Севка и мама пошли в школу вместе. В шумном вестибюле Севка затравленно поглядывал на ребят. Но те пробегали мимо, веселые и равнодушные. Потом он увидел Гету Ивановну. Она шагнула из учительской — в своем «мундирном» платье с эполетами и с указкой-шпагой в руке. Прямая, твердая, как ручка от метлы, ненавистная.

— Иди, — тихо и сурово сказала мама. И подтолкнула Севку.

Он скрутил в себе отчаянный стыд и пошел. Пускай уж сразу...

— Гета Ивановна, — тонко и громко проговорил он, задрав голову. — Простите меня.

— Что-что?.. А, это Глущенко явился! Что ты сказал?

— Простите, я больше не буду, — сбивчиво и тихо повторил Севка и опустил голову.

Гетушка хмыкнула и посмотрела мимо Севки. И увидела маму.

— Здравствуйте! А вы что пришли? Вы не волнуйтесь, мы сами с этим героем разберемся, идите на работу.

Севка украдкой, из-за плеча, глянул на маму. Она вздохнула и стала спускаться по лестнице.

И остался Севка опять один, без всякой защиты.

— И-интересное дело, — слегка нараспев произнесла Гета Ивановна. — Обругал ты меня при всем классе, а извиняешься в уголочке, в коридорчике. Нет уж, ты это делай на уроке при всех ребятах... Иди в класс!

Севка пошел. Разделся. Сел. Владик Сапожков сочувственно спросил с задней парты:

— Досталось, да?

Севка шевельнул плечом. Серега Тощеев сказал издалека:

— Гетушка хоть кого доведет...

— А я скажу, что ты обзываешься! — злорадно сообщила Людка Чернецова.

— А я тебе косы выдеру и пришью... — серьезно пообещал Тощеев, тут же уточнив, к какому именно месту пришьет Людкины косы. И Севке стало немного легче.

Но в это время протренькал колокольчик и появилась Гета.

— Садитесь все... И ты, Иванников, сядь, не торчи... Ну, Глущенко, что ты хочешь нам сказать?

Севка поднялся и молчал, переглатывая новую порцию стыда.

— Ну-ка, выйди к доске.

Севка пошел, цепляясь ботинками за шероховатые половицы.

— Ну-ка, встань здесь и посмотри всем в глаза.

Севка встал, но в глаза, конечно, никому не смотрел.

— Дак что же ты собираешься сказать? — с некоторой торжественностью спросила Гета Ивановна.

Ладно, пусть. Все равно сейчас пытка кончится. И все равно есть на свете Юрик, эту радость у Севки никто не отберет. Севка зажмурился и, будто прыгая в крапиву, выпалил:

— Извините, я больше не буду!

— Что ты не будешь?

— Плохо себя вести, — механически сказал Севка.

— И не будешь больше называть свою учительницу дурой?

— Не буду, — пообещал Севка. И в глубине души у него шевельнулась смешинка. Очень тайная.

— Ну и на том спасибо, — скромно и с печалью ото-

звалась Гета. Потом щелкнула замком портфеля. — А это возьми.

Севка поднял глаза. Гета протягивала порванную тетрадь.

— К тому понедельнику все перепишешь, как было сказано.

Что это? В самом деле? Она не забыла?

Целую тетрадь переписать! За шесть дней!

Холодное отчаяние накрыло Севку с головой.

— Не буду я ничего писать, — устало сказал он.

— Ты что?! Опять?! Будешь! Я своих слов назад не беру.

— А я беру, — сказал Севка. Ему было уже все равно.

— Что ты берешь?

— Свои слова. Извинения, вот что! — крикнул Севка. — Не хочу я перед вами извиняться!

...Потом его опять вели в учительскую и там что-то говорили и кричали. И опять Севка долго сидел в углу у вешалки, закостенев от тихой тоски. Он понимал, что теперь в его жизни все хорошее кончилось навечно. И пусть кончилось...

Пришла мама. Вздыхая и покачивая седой головой, Нина Васильевна сказала, что ей очень жаль, но поведение Севы Глущенко стало совершенно ужасное. Такое ужасное, что учительница отказывается с ним заниматься. И, ничего не поделаешь, Сева Глущенко заслужил суровое наказание. Придется его исключить из школы. На неделю...

## Последняя сказка

Мама не ругала Севку. Нисколько не ругала. По дороге из школы она молчала, но не сердито, а как-то задумчиво. А дома сказала:

— Ну вот, достукался... Будешь теперь заниматься сам. Каждый день будешь решать и писать то, что я задам. А то запустишь учебу и останешься на второй год.

— Ну и пускай останусь, — буркнул Севка. — Зато Гетушки там не будет.

Мама не стала спорить. Отметила для Севки в задачнике два столбика примеров, а в учебнике по русскому упражнение и ушла в свое Заготживсырье.

Уроки Севка сделал быстро. Даже удивительно быстро. И... затосковал. Непонятно отчего. Раньше, когда слу-

чалось одному сидеть дома, Севка и не думал скучать. Даже радовался: можно заняться чем пожелаешь. Хочешь — книжку читай, хочешь — стихи сочиняй или сказки придумывай, хочешь — строй самолет из стульев или кукольный театр устраивай... Но сейчас ничего не хотелось. И тишина в доме была не такой, как прежде, и комната не такая, как всегда. И день за окном светил как-то непривычно. И Севка понял наконец, почему это. Потому что сам он был не такой. Он был исключенный.

В прошлом полугодии у них в классе на целых две недели исключили Борьку Левина — за то, что прогуливал уроки, дрался и шарил по карманам в чужих пальто. Севка тогда смеялся про себя: что за наказание! Две недели свободы подарили человеку.

Но, оказывается, несладко от такой свободы.

Нет, Севка не стал раскисать. Все-таки он был не нытик, не клякса какая-нибудь. Тем более что исключили его несправедливо, не виноват он ни в чем, а виновата одна лишь зловредная Гета. И не будет он ни капельки переживать и мучиться. А будет он писать Юрику ответ на письмо, вот!

Севка аккуратно вынул из тетрадки со стихами двойной чистый лист и опять сел к столу. И написал очень-очень аккуратно: «Здравствуй, Юрик».

...А что писать дальше?

Два дня назад Севка написал бы, что собирается вступать в пионеры. Про весну бы, про морские бои во дворе и про скворечник — его повесил на шесте над забором Гришун, и там уже поселилось певучее скворчиное семейство.

А теперь что писать? «Здравствуй, Юрик, меня сегодня исключили из школы...»

Нет, можно, конечно, и про это. Можно рассказать Юрику про все, что случилось. Юрик обязательно поймет. Он тоже возненавидит Гетушку, а Севку сдержанно, по-дружески пожалеет...

Но писать про вчерашний и сегодняшний случай было тошно. Опять все переживать заново...

А если не про это, а только про весну? Но весна — это было сейчас не главное. При чем тут весна, когда на душе черным-черно?

...Захлопали двери в коридоре, послышалось песенное мурлыканье:

Клен кудрявый,
Клен зеленый, лист резной...
Здравствуй, парень... трам-там-там...

Это вернулась из школы Римка.

Через полминуты она стукнула в Севкину дверь.

— Чего тебе? — сумрачно отозвался он.

— Сев... А правда, что тебя из школы исключили?

— Иди к черту, дура! — гаркнул Севка.

Римка хихикнула и пошла к себе.

Клен кудрявый...

Севка беспомощно посмотрел на дверь. Зачем заорал на Римку? Может, лучше было бы впустить ее и рассказать все по-хорошему. Римка в общем-то не злая и не такая уж глупая. Наверно, посочувствовала бы. А теперь всем разболтает... Хотя и так, наверно, все знают...

Ну и пусть! А чего ему стыдиться? Он по чужим карманам не лазал, стекла не бил, с уроков не бегал...

Севка решительно встал. Письмо он потом напишет. Может быть, не просто письмо, а стихи сочинит — про то, как он когда-нибудь приедет в Ленинград и они с Юриком обязательно встретятся. На берегу Финского залива...

Севка вышел во двор. Лужи обмелели, земля местами просохла. Было совсем тепло, Севка распахнул ватник и подумал, что можно ходить уже не в шапке, а в пилотке, которую подарил Иван Константинович. (Как он теперь живет, что с ним? В конце февраля было одно письмо, что доехал благополучно, встретился с женой и дочкой, а больше — ни гугу... А в его комнату въехал внук Евдокии Климентьевны Володя с женой, потому что у них скоро будет ребенок.)

У кирпичной стены пекарни на сухой и утрамбованной полоске земли играли в чику Гришун, Петька Дрын из соседнего двора и незнакомый мальчишка. Севка подошел и стал смотреть.

— Чё зыришь, — неласково сказал длинный Петька Дрын. — Хошь играть, играй... Или мотай отсюда.

— Денег нет, — вздохнул Севка.

— Ну и... — начал Петька, но Гришун сказал:

— Пускай глядит. Не кино ведь, билеты не берут. — Потом спросил у Севки: — Хочешь пятак в долг?

Севка помотал головой:

— Не... Я все равно проиграю... — И самокритично добавил: — У меня меткость еще не развитая.

— Сам ты весь неразвитый, — заметил Дрын.

Севка снисходительно промолчал. Уж кто-кто, а Дрын бы не вякал. Он по два года сидел в каждом классе и к тринадцати годам еле дотянул до четвертого.

Третий мальчишка — верткий, чернявый, с длинными грязными пальцами, — не говоря ни слова, метал биток и аккуратно обыгрывал и Дрына, и Гришуна. Когда у тех кончились пятаки, он молча ссыпал мелочь в карман длинноватого пиджака и, не оглядываясь, пошел со двора.

— Фиговая жизнь, — задумчиво подвел итог Гришун. И тоже побрел куда-то.

Севка догнал его.

— Гришун... А помнишь, ты говорил, что, когда весна будет, свисток мне сделаешь из тополя.

— Не. Не помню... Да ладно, сделаю. Там работы — раз чихнуть. Только ветку добудь свежую.

— Я добуду.

Гришун шел к себе в стайку — сарайчик, в котором лежали дрова, хранилось разное барахло и стоял верстак. Севка не отставал, а Гришун не прогонял.

В стайке Гришун деловито оглядел стенку с развешанным инструментом и сообщил:

— Надо мамке полку для кухни сколотить, а то ругается: некуда кувшины ставить.

— А ты почему не в училище? — осторожно спросил Севка и подумал: «Может, тоже исключили?»

— Мы сейчас на заводе вкалываем, а нынче отгул.

— Прогул? — удивился Севка.

— От-гул. В воскресенье работали, а сегодня вместо него гуляем...

Гришун потянул с поленницы доску. Севка посмотрел на него и сказал неожиданно:

— А меня из школы исключили. На целую неделю...

— Ух ты! — удивился Гришун. Даже доску оставил. — Правда, что ли?

— Ага.

Гришун подумал, сел на верстак, приподнял за локти и посадил рядом с собой Севку. Спросил с интересом и сочувствием:

— За что тебя так? Ты же еще маленький.

— А вот так... — Севка вздохнул и покачал ботинками. И начал рассказывать. Гришун слушал со спокойным вниманием, иногда покачивал головой: понятное, мол, дело. И Севка рассказал все, как было. Даже не стал скрывать, что долго плакал в учительской.

Когда он кончил, Гришун задумчиво проговорил:

— Вот ведь какая она... — и добавил про Гетушку такие слова, что у Севки полыхнули уши. Но все равно Севка был доволен.

Гришун сказал:

— А свисток я сделаю. Только ветку надо найти подходящую...

После разговора с Гришуном у Севки на душе полегчало. Вечером он до самого сна читал «Пушкинский календарь» и думал, сколько несправедливости испытал в жизни Пушкин. В ссылки его отправляли, травили повсякому и убили наконец. А ведь он был великий поэт, а не какой-то Севка Глущенко.

Спать Севка лег усталый и успокоенный.

Но наутро Севка опять почувствовал, какой он неприкаянный. Он скрыл от мамы тоску и беспомощную тревогу, но когда мама ушла на работу, надел ватник и пилотку, взял сумку и пошел из дома. Будто в школу...

И так он стал делать каждое утро.

Близко к школе Севка не подходил — увидят и шум поднимется: «Эй, глядите, Глущенко приплелся! Исключенный Пуся пришел!»

Иногда Севка прятался в Летнем саду под рассохшейся деревянной эстрадой и печально играл там, будто он Том Сойер, заблудившийся в темной пещере. Но долго в сумраке и застоявшемся холоде не поиграешь. И чаще всего Севка просто бродил по улицам и смотрел на весну.

Весне дела не было до Севкиной беды. Она хозяйничала в городе. Снег остался только в темных углах, а у заборов проклевывались травинки и похожие на сморщенную капусту пучки лопухов. Несколько раз Севка даже видел коричневых бабочек.

Севка старался уходить подальше от дома — на те улицы, где его не могли увидеть знакомые. И шагать старался не лениво, а озабоченно: я, мол, не болтаюсь просто так, а иду по своим делам.

Но, если поблизости не было прохожих, Севка устало замедлял шаги. Иногда отдыхал на лавочке у чьих-нибудь ворот, а бывало, что садился на корточки и рассматривал гибкие травяные стрелки. Это были первые разведчики будущего лета. Лето все равно придет. Придет, несмотря ни на что на свете. Несмотря на Севкины несчастья. Мысли об этом слегка утешали Севку. Он трогал мизинцем щекочущие кончики травинок и при этом почему-то вспоминал Альку.

Все эти дни Севка не навещал Альку. Даже близко не подходил к больнице. Потому что думал: вдруг Алька от

своей мамы знает, что его исключили? Вдруг начнет громко расспрашивать из окна, как это случилось? Хотя нет, расспрашивать не станет, она понятливая. Но все равно стыдно будет: не потому, что он в чем-то виноват, а потому, что такой вот... несчастный какой-то, прибитый...

Иногда, шагая по просохшим деревянным тротуарам, Севка начинал сочинять письмо Юрику. То в стихах, то обыкновенное. Но мысли убегали, первые же строчки разваливались и забывались. И скоро Севка окончательно понял, что эти пустые несчастливые дни — не время для письма.

В середине дня Севка приходил домой — как все школьники. Прибегала на обед мама, торопливо кормила Севку. Про школу она не говорила и не упрекала его. Только была какая-то невеселая.

Кажется, мама догадывалась о Севкиных прогулках. Один раз она сказала с печальной усмешкой:

— Загорел-то как под весенним солнышком. Небось целыми днями на улице...

— Не целыми, — буркнул Севка. — Я уроки делаю.

Он в самом деле подолгу сидел за учебниками и тетрадками. Писал и решал гораздо больше, чем задавала мама. И это было совсем не трудно. И на душе легче делалось: все-таки не совсем разжалованный из учеников — хотя и дома, но занимается...

С Гариком Севка не играл, к Романевским не заходил. Во дворе Севка виделся только с Гришуном. Гришун сам нашел нужную ветку и сделал Севке громкий тополиный свисток. На следующее утро Севка развлекался свистком в Летнем саду. Свистеть он научился по-всякому: протяжно и с перерывами, ровно и переливчато. А потом Севка сделал открытие: когда мелко дрожит кончик языка (будто говоришь букву «Р»), получается милицейская трель. Как у постового на углу улиц Республики и Первомайской.

Севка решил испытать свисток: напугать кого-нибудь. Раздвинул в заборе доски и выглянул из сада на улицу. Севке «повезло». По другой стороне шагал не кто-нибудь, а железнодорожный милиционер — в черной шинели с серебряными пуговицами, в кубанке с малиновым верхом и с казацкой шашкой на ремне. Севка не удержался. Зажмурился от собственного нахальства и дунул: «Тр-р-р-р...»

Милиционер остановился и смешно заоглядывался. Севка отпрыгнул от забора, с колотящимся сердцем продрался в лазейку под эстрадой и притих. Было весело, но

еще больше было жутко. Если поймают и отведут в школу, тогда уж исключат не на неделю, а насовсем. С милицией шуточки добром не кончаются.

Но никто не стал Севку разыскивать. Он понемногу успокоился, озяб и выбрался на солнышко. Ватник и штаны были в мусоре, оба чулка на коленях продрались. Так и придется ходить. Альки рядом нет, зашить некому... А ведь были когда-то хорошие времена: сядешь за парту, а рядышком Алька, и в классе не Гетушка, а нисколько не сердитая замечательная Елена Дмитриевна. Давно это было. А сейчас...

Но как бы плохо ни было сейчас, а Севка вдруг понял, что соскучился по школе. Не по Гетушке, конечно (чтоб она совсем провалилась куда-нибудь), а по классу, где пахнет чернилами и дымком от печки. По тренькающему колокольчику тети Лизы. По Владику Сапожкову, по Сереге Тощееву, даже по вредной Людке Чернецовой... Даже по тишине во время письменных заданий, когда только скрипят и царапают шероховатую бумагу перья и надо с замиранием стараться, чтобы получались буквы, а не каракули...

И Севка не выдержал.

Воровато вертя головой, он пробрался в школьный двор, залез на кирпичный выступ, что тянулся в полутора метрах от земли и отделял подвал от главного этажа. Царапая пуговицами кирпичи, Севка двинулся к окнам своего класса.

Подоконники были на уровне носа. Севка раскинул руки, встал на цыпочки и, чтобы не слететь с карниза, прижался к стене грудью, коленками и растопыренными ладошками. Зацепился подбородком за нижний край оконной ниши.

Он увидел головы и плечи ребят, увидел Гету Ивановну. Ребята, кажется, что-то списывали с доски. Гета, как всегда, похожая на преображенского офицера, ходила между рядами.

Севка провел глазами по косичкам одноклассниц и стриженым макушкам одноклассников. Там, где стояла Севкина и Алькина парта, голов, конечно, не было. А дальше — Владик Сапожков и Людка Чернецова. Людка писала, сердито сжав губы, а Владик чему-то улыбался. Севка тоже тихонько улыбнулся. Оттого, что он видит ребят, в нем шевельнулась ласковая и грустная радость.

...А вон Серега Тощеев. Он вовсе не пишет, а что-то мастерит из листка. Наверно, голубя. Хочет пустить его

под потолок. Вот Гетушка завопит: «Кто?! Оставлю после уроков!» Но Серега не очень-то боится Гетушку.

Тощеев то ли ощутил Севкин взгляд, то ли просто решил поглядеть в окно. Повернулся... и встретился с Севкой глазами. Севку от затылка до пяток прошило игольчатым страхом. Сейчас Тощеев радостно заорет: «Гуща в окошко глядит!» И что поднимется в классе!

Серега не заорал. Он просто смотрел. Его глаза будто жалели Севку.

«Не шуми, ладно?» — молча и отчаянно попросил Севка. И Тощеев понял. Он опустил ресницы. И, будто ничего не было, стал опять мастерить голубя. Для будущей радости Гетушке!

А Севка наконец почувствовал, какая здесь холодная стена. Солнце никогда не согревало ее, и кирпичная кладка будто впитала в себя всю стужу недавней зимы. Стена даже сквозь ватник холодила грудь, а ладони и коленки совсем заледенели. Севка зябко передернулся, попрощался глазами с классом и прыгнул вниз.

Он упал на четвереньки, разбрызгав грязь и воду из мелких лужиц. Поднялся, вытер о ватник ладони, повернулся... и увидел Нину Васильевну.

Он ее не сразу узнал. Он привык видеть директоршу в строгом синем платье, а сейчас это была старушка в сером шерстяном платке и потертом пальтишке.

Сперва они смотрели друг на друга молча. Потом Севка стыдливо сказал:

— Здрасте...

— Здравствуй, — вздохнула Нина Васильевна. — Здравствуй... И что же ты здесь делаешь, Глущенко Сева?

Севка опустил голову. Переступил в лужице грязными ботинками... Но он был не из тех, кто долго стоит с опущенной головой, если не виноват. Он посмотрел на Нину Васильевну и негромко сказал:

— Я смотрел. Я ведь не заходил в школу, я отсюда смотрел. И никому не мешал.

— Вот видишь... — с укоризной начала Нина Васильевна и вдруг замолчала. И Севка вдруг понял ее, будто между ними протянулся тонкий проводок, чтобы слышать мысли. Нина Васильевна хотела сказать: «Вот видишь, Глущенко, к чему привело твое нехорошее поведение». И подумала: «А зачем? Все равно он не будет считать себя виноватым. Он поймет, что я говорю это просто так: потому что я директор, а он второклассник...»

И она спросила:

— Соскучился по школе?

Севка подумал.

— По ребятам соскучился, — уклончиво сказал он.

Нина Васильевна, совсем как обычная бабушка, покивала и повздыхала. Наклонилась, заглянула Севке в лицо.

— Вот что... Сева. Пойдем-ка со мной в класс. Извинишься перед Гетой Ивановной, и будем считать, что кончилось твое исключение.

Все жилки в Севке радостно рванулись и запели: в класс!

Но...

— Нет, — сказал Севка.

Нет. И не потому, что надо извиняться. Это Севка как-нибудь перетерпел бы. Он сказал «нет», потому что иначе все опять станет неправдой: Гета решит, что он почувствовал себя виноватым. А ребята скажут: «Директорша поймала Пусю во дворе и привела извиняться».

— Нет, — опять сказал Севка и даже замотал головой и зажмурился.

— Ну, что же ты такой... упрямый? Так и будешь болтаться по улицам, пока не кончится твой срок?

Севка опять поднял глаза.

— Я не болтаюсь. Я уроки учу каждый день. Сам...

Она опять вздохнула и вдруг сказала то, что, наверно, не должен говорить директор:

— Не знаю, как мне вас помирить... А давай переведем тебя во второй «Б». Согласен? К Ирине Петровне. И бог с ней, с Гетой Ивановной... А? Прямо сейчас и пойдем.

Во втором «Б» Севка знал почти всех ребят. Классы-то рядышком. Нормальные были ребята. А Ирина Петровна в тысячу, нет, в миллион раз лучше Гетушки. Хоть и кричит иногда, но не сердито нисколько. И с ребятами даже в хороводе иногда поет.

Но тогда как же...

— А как же Алька? — растерянно спросил он.

— Какая Алька?

— Ну... Фалеева. Мы с ней рядом сидим.

— А, это та девочка, которая сейчас в больнице? Вы с ней дружите?

Севка потупился и кивнул.

Нина Васильевна озабоченно сморщила лоб.

— Но ведь она столько пропустила из-за болезни. И еще пропустит. Я боюсь, не останется ли она на второй год.

— Она же не виновата!

— Я понимаю, Сева. Но знаний-то у нее все равно не будет.

— Будут! — испуганно пообещал Севка. — Она догонит, она старательная...

— Ну хорошо, хорошо... А с тобой-то что делать?

Севка тихонько пожал плечами. Что с ним делать? Сегодня пятница, а во вторник он пойдет в школу. Осталось потерпеть два дня, потому что воскресенье не считается.

— Можно, я пойду домой? — спросил Севка.

— Что ж... Ступай... Ох, а забрызгался-то как. И чумазый. И дырки вон...

— Я почищусь дома. И зашью, — пообещал Севка. — До свиданья.

И он пошел со школьного двора.

В школе еле слышно забренчал звонок, и это значило, что сейчас на улицу выскочат ребята. Но Севка не бросился бежать или прятаться. Что-то произошло с ним. Он теперь не стыдился и не боялся. Ему даже хотелось: пускай повстречаются одноклассники. Не будут они дразниться. Тощеев недавно вон как по-хорошему взглянул.

Но в эти минуты Севку ждало еще одно испытание — внезапное и тяжкое.

Он был уже на улице и остановился у парадного школьного крыльца, когда распахнулись двери и стали выходить ребята. Именно выходить, а не выскакивать. Это были четвероклассники. Они сразу становились по трое. Длинный, очень серьезный мальчишка в танкистском шлеме вынес на плече свернутое знамя и встал впереди. На остром наконечнике неудержимо засияло солнце. Рядом со знаменосцем встали трубач с помятой, но сверкающей трубой и барабанщица. У барабана были праздничнокрасные бока и блестящие обручи.

Севка задохнулся от безнадежной зависти и тоски.

Да, было время, когда он верил, что скоро станет таким же. Будет повязывать треугольный сатиновый галстук (вон как они алеют своими узелками из-под воротников!). Будет, замирая от счастья, шагать в строю под громкий рокот барабана и бодрые выкрики горна.

Не будет... После того, что случилось, кто его примет?

А ребята все выходили и строились. Наверно, пойдут на сбор в клуб железнодорожников. А может быть, даже на экскурсию в пехотное училище.

Севка не уходил. Смотрел. Понимал, что лучше уйти, не терзать себя, но стоял. Появилась вожатая Света. А следом за Светой вышла о н а... Все такая же строгая, красивая. В коротком аккуратном пальтишке, новых блестящих ботиках и синей вязаной шапочке. Галстук у нее был повязан поверх пальто.

Она прошла совсем рядом и заметила Севку. Он не шевельнулся, но сжался внутри. И она сказала то, что должна была сказать:

— А, это Глущенко... Эх ты, а еще собирался в пионеры.

Из последних сил Севка сделал спокойное лицо и стал смотреть поверх голов.

Загудел барабан, отрывисто засигналила труба, и шеренги, прогибая доски тротуара, двинулись от школы.

И Севка двинулся. Но не за ребятами, а в другую сторону...

Задавленный тоской, глотая застывшие комки слез, он побрел наугад и оказался в проулке позади библиотеки. Это был проход между высоким деревянным забором и глухой стеной какого-то длинного склада. Здесь редко кто появлялся. Неподалеку были удобные проходы с тротуарами, а этот пересекал пустырь, на котором сейчас от края до края разлилась лужа.

Севка постоял на берегу. Посмотрел на отраженные облака — желтые и пушистые, на радужные нефтяные разводы. Идти обратно не хотелось. К стене склада лепилась полоска просохшей земли, там была тропинка. Севка двинулся туда и наткнулся на три доски, сбитые крепкими перекладинами. Это был приплывший откуда-то мосток.

Севка с большим усилием спихнул доски на воду. Подобрал в прошлогоднем бурьяне длинную гнилую рейку. Встал на доски.

Плот опасно качался. Эта опасность приятно погладила Севку щекочущей ладошкой. Слезы уже не давили. Впереди было хотя и маленькое, но все-таки приключение.

Севка вышел на середину плота, постоял, проверяя

равновесие. Оттолкнулся рейкой. Плот медленно пошел. Он раздвигал редкие верхушки торчащего из-под воды бурьяна. Вода разбегалась от досок солнечными зигзагами. Доски покачивались. И Севка впервые в жизни ощутил волнующую радость движения по воде. Чувство Плавания...

Кончилось плавание не совсем хорошо. Лужа была глубокая, рейка уходила в воду больше, чем на полметра. А в одном месте совсем не достала дна — угодила в яму. Севка потерял равновесие и, чтобы не свалиться, соскочил в воду.

В яму он не попал, воды оказалось по колено. И была она не такой уж холодной — видимо, апрельское солнце прогрело это «море» до дна. Крушение случилось недалеко от края лужи, к которому плыл Севка. Он выбрался на берег, потом вздохнул, вернулся в воду и выволок на землю свой «корабль».

Трехметровые доски перегородили тропинку. Одним концом плотик уперся в стену склада, а другой конец остался в воде.

Севка подумал, снял ватник, расстелил на досках у стены. Сел на него. Разулся. Вытряхнул из ботинок воду, расстелил на солнышке мокрые чулки. Привалился спиной к бугристой штукатурке и закрыл глаза.

Стало спокойно. Штукатурка была нагретая. Лучи солнца были теплые. Совсем как летом они припекали сквозь рубашку плечи и грудь, ласковыми ладошками гладили ноги. И тихо было так, что чувствовался даже шелест крыльев бабочки, которая залетела в этот прогретый безветренный переулок.

Севка испытывал, видимо, то чувство, которое заменяет радость жизни очень старым и утомленным людям: можно тихонько радоваться солнцу и никуда не спешить.

Севка не спешил. Куда торопиться? Ничего хорошего в будущем его все равно не ждало.

В пионеры не примут.

Гета не оставит в покое.

Алька выйдет из больницы еще очень не скоро. И, наверно, останется на второй год. Нина Васильевна не стала бы зря говорить. А в другом классе Алька сядет с другим мальчишкой и подружится с ним. Потому что мальчишка этот не будет свиньей, как Севка, и сразу поймет, какая Алька хорошая... А он, конечно, свинья, целых пять дней не подходил к больнице.

Была, правда, у Севки последняя радость: Юрик. Но Юрик так далеко, а письмо написать Севка до сих пор не собрался. И стихи для Юрика сочинить не сумел...

И вообще он никогда не сможет сочинить никаких настоящих стихов и никогда не сделается поэтом и писателем. Одно только более или менее хорошее стихотворение придумал — про папу, — да и то самая лучшая строчка не его, а Пушкина. А другие стихи — совсем чушь. Если бы не было лень шевелиться, можно было бы прямо сейчас вырвать из тетрадки все листки и сделать из них кораблики. Легко и бездумно Севка пустил бы их на воду.

Но двигаться не хотелось. Севка не шевельнулся, а только открыл глаза.

Небо над ним было очень синим, а маленькие кудрявые облака веселыми и быстрыми. Что им до Севки и его горестей! Они бежали к солнцу. Башня библиотеки — светло-желтая от солнца и голубоватая от теней, легкая, кружевная — словно плыла навстречу облакам, надвигаясь на Севку. Глядя на эту вырастающую из-за серого забора церковь, Севка опять подумал о своем боге. Может быть, все беды из-за того, что бог рассердился за тот последний разговор? Ведь Севка сказал тогда: «Ну и пускай не принимают в пионеры...» Но эта мысль скользнула и ушла, не взволновав Севку. Понимал Севка, что бог не стал бы ему мстить. Что он, такой мелочный, что ли? Не стал бы он придираться к словам несчастного второклассника, который плачет в подушку. А кроме того, Севка знал — не только сейчас, но всегда знал в глубине души, — что этот седой старик на крыльце заоблачной башни — сказка. Одна из тех сказок, что придумывал Севка, чтобы жизнь была интереснее и радостнее.

А теперь сказка кончилась.

Какие тут сказки, когда ни Змеи Горынычи, ни Бабы Яги, ни страшные сны и опасливые мысли, а настоящие злые люди принесли Севке настоящую беду.

...Когда Севка стал большой, он много думал, почему зло часто бывает сильнее, чем добро. Почему нахальные, жадные и нахрапистые люди побеждают хороших и великодушных. Почему умные и добрые иногда боятся злобных, безграмотных, безжалостных и тупых? Ведь и Нина Васильевна почему-то боялась Гету. Севка понял до конца это после, но смутно чувствовал и в тот горький день.

Когда Севка вырос, он научился отвечать на такие вопросы. Научился даже давать отпор тем, кто делает зло.

Не всегда получалось, но он старался. Отвечал иногда словами, иногда делом, а если надо, то и проще — по зубам. Но все это было потом, а пока он сидел и думал: «Почему же так?»

Почему Нина Васильевна не возьмется сама учить второй «А» и не велит, чтобы Гета убиралась работать сторожем дровяного склада или продавщицей в рыночном киоске — там ори и ругайся сколько хочешь.

Почему вожатая Света не подойдет и не скажет: «Сева Глущенко, мы во всем разобрались и считаем, что ты все же должен стать пионером».

Почему не придет поскорее май и не выйдет из больницы Алька и не скажет тихо, но решительно: «Не буду я оставаться на второй год. Ни за что на свете...»

Если бы все это случилось, это было бы лучше всяких сказок.

Севка не знал, что со временем так все и случится. Кроме одного: Гета уйдет не в сторожа и не в продавцы, а в инспекторы гороно. Она слегка располнеет, заведет шляпу, не станет больше говорить «пóльта» и «на лошадé» и научится мило улыбаться. Но это неважно. Главное, что она уже не будет учить ребят...

Ничего этого Севка не знал. Он сидел, вытянув ноги, прижимаясь к штукатурке, и глядел на башню и облака.

Потом опять закрыл глаза. Смотреть не хотелось, шевелиться тоже. Хорошо, что сидеть так придется долго: чулки и ботинки высохнут нескоро...

Когда послышались шаги на тропинке, Севка глаз не открыл. Только подтянул ноги, чтобы дать человеку пройти. Пусть проходит и ни о чем Севку не спрашивает. Севка никому не мешает, пусть его не трогают.

Но человек не прошел. Он сделал последний шаг — тяжелый и твердый — и остановился над Севкой.

— Мальчик, где школа номер девятнадцать? — негромко и как-то даже робко спросил мужчина. — Я тут совсем заблудился...

Севка и сейчас не открыл глаз, только махнул вдоль переулка рукой.

— А ты не из этой школы?

— Из этой, — сказал Севка. Ему было все равно.

— А может быть, ты знаешь одного мальчика... из второго класса?..

Севка ощутил некоторый интерес. Правда, не настолько сильный, чтобы шевелиться. Но спросил все же:

— Из «А» или из «Б»?

— Кажется, из «А»... Да, из «А». Его зовут Сева Глущенко.

Севка насторожился, но тут же опять ослаб. Пусть. Одной бедой больше или меньше — какая разница. Он сразу понял, в чем дело: это железнодорожный милиционер, которого Севка подразнил свистком. Значит, заметил, запомнил, расспросил ребят, узнал имя...

Не шевельнув головой, Севка поднял веки и скосил глаза на ноги мужчины.

Милиционеры ходят в сапогах, а Севка увидел начищенные ботинки. Забрызганные, но все равно блестящие. Солнце горело на них желтыми искрами. Над ботинками нависали края черных суконных брюк с очень острыми складками.

По лезвиям складок Севкины глаза сами плавно заскользили вверх и зацепились за край черной шинели. С этого края, как с трамплина, они прыгнули выше и увидели опущенную руку в черной перчатке. Тугая, по-нежи-вому скрюченная перчатка прижимала к шинели знакомый до буковки номер «Пионерской правды».

Севкины глаза опять метнулись — вверх и наискосок. И по ним ударили медной вспышкой две пуговицы с якорями. Это был не только блеск. Это был как бы двойной удар колокола, которым на кораблях отбивают склянки: ди-донн...

И еще две пуговицы. Колокол — уже не корабельный, а громадный — ахнул над головой:

— Бам-бах!

И еще — во все небо:

— Тах! Тамм!

Над двойным рядом пуговиц, над черным воротником и белым шелковым шарфом Севка увидел лицо с бритым, чуть раздвоенным подбородком. Лицо расплывалось, но четко-четко был виден маленький шрам, похожий на букву «С»...

Высоко-высоко над собой видел это Севка...

Он сидел еще очень долго. Миллионы отчаянных мгновений, которые слились в неслыханно долгую секунду. Потом тысячи пружин рванули Севкино тело вверх. Он ударился лицом о шинель и сразу утонул в ее спасительной, колючей, пахнувшей сукном черноте.

...И над полярными островами, над зубьями изъеденных снежным ветром скал тучи и тучи птиц поднялись от неистового Севкиного крика.

1982 г.

# КОВЕР-САМОЛЕТ

*Повесть*

*Моему маленькому барабанщику Павлику*

Иногда среди ночи я просыпаюсь от прилива радости. Я смотрю на темный потолок и стараюсь вспомнить: что же было?

Ну конечно! Только что рядом со мной смеялся Виталька. Не тот худой высокий дядька Виталий Андреевич, который недавно приезжал ко мне в гости, а настоящий Виталька — белобрысый, давно не стриженный мальчишка в голубой майке, с облезшей от загара кожей на плечах и расцарапанными острыми локтями.

Мы только что, свесив ноги с ковра, летели вдвоем над знакомыми улицами. Теплый ветер будто мохнатыми мягкими крыльями бил нас по ногам, а в спину горячо светило утреннее солнце. Внизу проплывали темно-зеленые груды тополей, коричневые железные крыши и серебристый купол городского цирка. Навстречу нам, возвышаясь посреди редких желтых облаков, двигалась белая колокольня, похожая на крепостную башню. В сквозных оконных проемах верхнего яруса темнели уцелевшие с давних времен колокола. Выпуклую крышу устилали ржавые

железные квадратики. Кое-где они отстали и топорщились, будто крыша взъерошилась от ветра.

Мы с Виталькой сидели, обняв друг друга за плечи, и хохотали. Смешно было, как взъерошилась крыша. Смешно было, какие маленькие, игрушечные внизу на реке баржи и катера. Смешно, как у Витальки с ноги слетел старый брезентовый полуботинок. Он был стоптанный, с протертой на месте большого пальца дыркой, и мы не стали его догонять. Башмак упал на цирковой купол и поехал с него, словно санки с горы. Потом прыгнул с карниза, как с трамплина, и нырнул в тополиную гущу.

— Бросай второй! — крикнул я, потому что зачем он, один башмак.

Но Виталька помотал головой. Он достал из кармана катушку ниток и привязал к полуботинку.

— На буксир!

Мы круто снизились к реке, будто с горы съехали, и полетели над самой водой. Так низко, что ноги окунулись и вокруг них вздыбились фонтаны с брызгами и пеной. Виталька отпустил полуботинок, и он запрыгал позади нас, как на буксире. Вот потеха!

— Как на подводных крыльях! — закричал я и от хохота повалился на спину, махая мокрыми ногами.

Нитка оборвалась, и башмак поплыл сам по себе. Потом его выудит вместо пескаря какой-нибудь незадачливый рыбак. Вот смешно будет!

Мы пролетели под старым деревянным мостом, который поскрипывал от тяжести грузовиков, и стали подниматься к заросшему откосу, где белели старинные стены и башни...

...Воспоминание тускнеет, уходит, но радость не кончается. Я лежу и улыбаюсь в темноте. Потому что все равно это было. Пусть не сейчас, но было!

Понимаете, было!

## Глава первая

Детство я провел в северном городке на берегу большой реки. Городок был деревянный, с дощатыми тротуарами вдоль тесовых заборов, с хитрыми узорами на древних, покосившихся воротах. За воротами скрывались просторные дворы. Они зарастали мягкой травой и одуванчиками, а по краям — непролазным репейником и крапи-

вой. Во дворах стояли сараи и возвышались длинные поленницы сосновых и березовых дров. От поленниц пахло лесной чащей и грибами.

Здесь было такое раздолье для игр! Даже для футбола хватало места, если только никто не развешивал на веревках белье.

Конечно, были в городе и новые кварталы — крупноблочные пятиэтажные дома, будто сложенные из цветных кубиков. Встречались старинные кирпичные здания — с колоннами и узорными балконами. Но главным образом на улицах стояли одноэтажные и двухэтажные деревянные дома. Были они, впрочем, совсем не деревенские — большие, с окнами двухметровой высоты.

Улицы выходили к речному обрыву. На обрыве поднимался каменный монастырь, построенный по приказу царя Петра. Это был не просто монастырь, а крепость — с высокими стенами, с башнями, у которых темнели узкие прорези бойниц.

Над стенами и башнями, над церковными куполами возносилась белая колокольня с черными круглыми часами. Часы были громадные — метра три в диаметре. Жаль только, что они стояли.

Остановились они давным-давно, в девятнадцатом году, когда был бой между красными и белыми. Говорят, что на верхнем ярусе колокольни засел белогвардейский пулеметчик и держал под обстрелом полгорода. Никак его не могли выбить. Наконец из-за Каменного мыса выполз буксирный пароход, переделанный в канонерскую лодку «Мировая революция». С «Мировой революции» по колокольне шарахнула трехдюймовка.

Что там стало с пулеметчиком, никто не знает. А часы остановились, прощально позвенев колоколами. Их потом и не пытались чинить. Деревянные перекрытия и лестницы обгорели и рухнули. Попробуй доберись до часов. А если и доберешься, то как разгадать хитрость механизма? Его вручную точил и ковал из меди еще при Екатерине Второй какой-то мастер-самоучка. Чертежей-то он не оставил.

Да и до часов ли было? В тридцатых годах кто-то хотел вообще взорвать и разобрать на кирпичики весь монастырь, как взорвали несколько церквей. До этого, правда, не дошло, но и о ремонте никто не думал: были дела поважнее — строили судоверфь и новый порт. Потом началась война, а после войны хватало других забот.

Вот так и получилось, что целых сорок лет на боль-

шущем циферблате, который висел над городом, как черная луна, стрелки показывали без пяти минут час.

Но даже и с такими часами колокольня была красива и знаменита. Особенно любили ее капитаны. Все теплоходы, которые шли вниз по реке, держали от Каменного мыса курс на колокольню. Она была на всех лоцманских картах.

Теплоходы проходили часто. Я и Виталька засыпали и просыпались под их протяжные, немного печальные гудки.

Мы с Виталькой жили вместе. По крайней мере, летом. С тех пор как подружились. А подружились мы целую вечность назад — за два года до случая с ковром. Мне тогда не было и восьми лет, а Витальки годы едва подтягивали к девяти. Он спас меня тогда. Это целая история, которая началась печально, а кончилась хорошо.

Когда меня еще не было на свете, мой отец воевал с фашистами. Он вернулся живой, но с пробитыми легкими. Сначала болезнь его не очень мучила. Он стал работать учителем физики, женился. Затем родился я. Годы шли спокойно. А потом вдруг болезнь открылась, и врачи ничего не смогли сделать.

Почти три года мы с мамой прожили вдвоем. А когда я кончал первый класс, у нас дома появился дядя Сева. Всеволод Сергеевич. С пятилетней Ленкой. Он работал в управлении речного порта и носил фуражку с якорем.

Но ни эта фуражка, ни сам он мне не понравились. Все не понравилось. Даже то, что говорил он почти как папа — глуховато и с прикашливанием.

У него было худое лицо с бородкой, две прямые морщины над густыми бровями и большие коричневые глаза. Если не придираться, то вполне нормальное лицо, даже симпатичное. И глаза не сердитые, а наоборот. Он смотрел этими глазами на маму, как Данила-мастер на Каменный цветок. А на меня смотрел как-то виновато.

Ну и пусть! Мог бы и вообще не смотреть!

Не думайте, что я скандалил или дулся открыто. По утрам я говорил ему «здравствуйте», а вечером — «спокойной ночи». Я даже стал звать его не «Всеволод Сергеевич», а «дядя Сева». По маминой просьбе. Но когда дядя Сева пытался тронуть меня за плечо или погладить по голове, я шарахался, как от крапивы. Ничего не мог поделать с собой. Да, по правде говоря, и не хотел.

А тут еще Ленка! Сразу прилепилась к маме. Будто бы

век была ее дочерью! И говорить стала «мама». Я каждый раз вздрагивал, будто мне за шиворот падал таракан. Мама однажды взяла меня за локти, поставила перед собой и тихо сказала:

— Олежка, Олежка... Она же маленькая. А свою маму она и не помнит. Разве ты не понимаешь, как плохо без мамы?

Я понимал. Это я прекрасно понимал! Еще бы! В детском саду, даже в старшей группе, если мама задерживалась и вовремя не приходила за мной, я готов был удариться в слезы. А если мама вечером уходила в кино, я с головой, как в холодную воду, погружался в печаль.

Поэтому я проглотил комок и кивнул. Но хоть сто раз кивни, а ничего не поделаешь, если не проходит обида.

Ленку я не обижал. Иногда приходил даже в детский сад за ней. А один раз показал, как делают из бумаги двухтрубные пароходики. Но когда Ленка взяла без спросу моего фарфорового котенка и нечаянно грохнула о половицы, я не выдержал. Молча давясь слезами, я собрал осколки в газету (может, потом склею) и достал из-под дивана заброшенный школьный ранец.

Кроме осколков котенка я уложил в ранец свитер, книжку «Снежная королева», бутылку с водой, полбуханки хлеба, нарезанную ломтиками колбасу, спички и папину медаль «За победу» на черно-оранжевой ленточке. Потом вытащил из шкафа школьную форму: штаны с аккуратной заплаткой на левом колене, гимнастерку с пуговками, похожими на военные, только без звездочек, и ремень с латунной пряжкой. На пряжке — веточки, книга и буква «Ш». Форма эта, неуклюжая и тяжелая, как доспехи рыцаря, осточертела мне за долгие месяцы школьной жизни. Но что делать? Без теплой одежды в дальней дороге пропадешь.

— Ты в школу пойдешь? — подавленно спросила Ленка.

— Дура, — мстительно сказал я. — Кто это ходит в школу, когда каникулы?

Я вытер глаза, щелкнул пряжкой и сунул ноги в мамины резиновые сапоги. Сапоги были велики. Я отогнул голенища, и получились отвороты, как у охотников или мушкетеров. В правое голенище я сунул свой узкий тонкий кинжал, сделанный из ножовки для металла. У него была рукоятка, обмотанная изолентой, и перекладинка из медной проволоки. В левое голенище я опустил детскую лопатку.

А еще взял самодельное ружье с тугой резинкой. Оно

стреляло скобками из алюминиевой проволоки. С десяти шагов такая скобка пробивала навылет плотный лист бумаги. Если попадешь зверю в глаз — тому сразу капут.

Не сказав больше Ленке ни слова, я ушел из родного дома. Ушел, грохоча сапогами и прощаясь с детством.

Я решил пойти за реку, в дальние леса. Там среди корней старого дерева я вырою землянку. Буду спать на подстилке из пахучей лесной травы, охотиться на зайцев, а по вечерам сидеть у маленького уютного костра, беседовать с верной собакой и читать ей сказку про Снежную королеву.

Целый квартал я шагал довольно бодро. Потом решительность моя пропала.

В глубине души я прекрасно понимал, что едва ли сумею выкопать настоящую землянку, годную не только для летней жизни, но и для зимовки. Чувствовал, что одному у ночного костра будет жутко. А кроме того, мне ужасно жаль было убивать симпатичных добрых зайцев, про которых я знал целую кучу сказок.

Но больше всего (чего уж скрывать-то!) мне жаль было покидать маму.

Верная собака Джулька (не моя, а общая, уличная) предательски бросила меня, как только я скормил ей последний ломтик колбасы. Я растерянно остановился на перекрестке. Как же быть, в самом деле?

Я был бы просто счастлив, если бы сейчас меня увидели мама и дядя Сева: они как раз должны были возвращаться из кино. Мама крепко взяла бы меня за руку, привела демой, отругала как следует и, может быть, поставила бы даже в угол за умывальник. Ну и пусть! Я оказался бы схваченным, но не побежденным. А прийти домой сам я не мог. Такой позор, такое поражение!

Но мамы и дяди Севы не было. Может быть, лечь в канаву рядом с тротуаром и умереть от горя? Однако умирать здесь было неудобно. Во-первых, меня увидели бы прохожие, во-вторых, несмотря на вечернее время, стояла жара, и я совсем измучился в походном снаряжении. Попробуйте лежать, дожидаясь смерти, когда такая духота! Долго пролежите?

Ничего не оставалось, как продолжать путь. И я побрел.

А когда я прошел еще полквартала, судьба послала мне навстречу Витальку. Он неторопливо шел по кромке тротуара и толкал перед собой обруч от бочки. Недалеко от меня он остановился и крутнул обруч вокруг оси. Тот

завертелся на месте, превратившись в прозрачный шар. Виталька засмеялся, хлопнул «шар» по макушке и остановил вращение. Поднял глаза и увидел меня.

— Э, Олега! Ты куда?

Мы были знакомы, но никогда не дружили. Просто иногда играли в одной компании. Я даже не знал, где он живет.

Но случилось так, что именно он встретился на моем горьком пути.

— В лагерь? — спросил он.

Я чувствовал, что, если начну говорить, разревусь. И покачал головой. Виталька перестал смеяться. Уже другим голосом поинтересовался:

— В лес?

Я кивнул. Виталька стал серьезным. Зачем-то надел через плечо обруч, осмотрел меня от сапог до ранца, торчавшего над плечами, и тихо спросил:

— Насовсем?

Я даже не удивился, как он догадался. Главное было удержать слезы. Я снова кивнул.

Виталька обошел меня вокруг, осторожно потрогал ранец. Затем снова встал передо мной. Я впервые увидел близко его глаза. Витальки́ны.

Он был мудрый человек, даже в те годы. Он сказал:

— Чего тебе в лесу делать одному? Айда ко мне.

Если бы я не боялся говорить, я заспорил бы. Ну чего я пойду к нему, к почти незнакомому? Ему, наверно влетит. Скажут: что за бродягу привел с улицы?

Но разговаривать я не мог, а молча стоять было глупо. И я, понурившись, зашагал рядом с Виталькой.

Он привел меня в старый дом. Из прихожей по скрипучей лесенке мы поднялись в невысокую комнатку. Там была лежанка на чурбанах, косоногий стол и старинное кресло с завитками и вылезшей из сиденья пружиной. А на стенах какие-то картинки — я тогда их не разглядел.

Виталька стащил с меня ранец и сказал:

— Гляди-ка, ты весь мокрый. Вылезай из своей шкуры и айда умываться.

Я с облегчением выбрался из походных доспехов. Виталька дал мне вместо сапог свои старые тапочки и повел меня вниз, к умывальнику.

Умывальник оказался в точности такой же, как у нас: голубой, эмалированный, с длинным болтиком вместо крана. Надавишь болтик снизу — и в руки бьет струйка.

Такой знакомый, просто родной был умывальник, что я поспешил уткнуть лицо в ладошки с водой.

Когда умылся, стало легче.

«Может, все еще наладится в жизни?» — подумал я.

Виталька, видно, почуял, что я ожил. Он припечатал свою мокрую ладонь к моей спине в круглом вырезе майки и бодро сказал:

— Топаем!

Мы «протопали» в комнату с хрустальной люстрой. Люстра горела, хотя вечер за окнами был совсем светлый. Только это стеклянное сверкание я и заметил в первый момент.

— Тетя Валя, это Олег. Ты нас покорми. Ладно? — сказал Виталька.

И я увидел тетю Валю.

— Здрасьте... — испуганно пискнул я.

Тетя Валя смотрела на нас поверх очков. Она была высокая, горбоносая, в синем платье с воротничком, стоячим, как у офицерского кителя. Волосы у нее были гладкие, собранные сзади в тугой валик. Таких дам, худых и строгих, я видел в английском фильме про мальчишку по имени Давид Копперфилд, когда мы ходили с мамой в клуб речников. А в жизни мне такая тетенька ни разу не встречалась.

В ответ на мое «здрасьте» она кивнула, а Витальке сказала:

— Покормить? Гм... А руки мыли?

Виталька вытянул вперед растопыренные ладошки и повертел ими. А я не решился. Тогда он взял мои руки и тоже протянул тете Вале.

— Ничего не поделаешь, — сказала она. — Ступайте на кухню.

Потом мы ели сосиски с горячей картошкой и пили холодное молоко. Я помнил мамины уроки, как держать себя в гостях, и сидел прямо, локти на стол не ставил, старался аккуратно орудовать ножом и вилкой.

А Виталька болтал ногами и шумно втягивал в себя молоко.

— Ты поучился бы у мальчика вести себя за столом, — заметила тетя Валя.

— Он просто стесняется, потому что первый раз, — бесстрашно возразил Виталька. (Увы, будущее показало, что он был прав.)

— Ты издалека? — обратилась ко мне тетя Валя.

— Да ты что! — торопливо вмешался Виталька. — Он

с нашей улицы, из дома номер четырнадцать, где собака Джулька. Знаешь?

Я ожидал, что тетя Валя возмутится: с чего это она должна помнить всяких Джулек? Но она кивнула.

— Он у нас переночует, — как-то очень уж обыкновенно сказал Виталька.

Тетя Валя слегка подняла брови.

«Сейчас начнется», — с замиранием подумал я и приготовился к расспросам. Тетя Валя глянула на Витальку, опустила брови и сказала:

— Унеси наверх вторую подушку.

...Мы улеглись на Витальки́ном топчане. Было тесновато, но ничего...

— Рассказывай, — велел Виталька.

Я не стал притворяться и спрашивать: «А чего рассказывать?» От разговора все равно не уйдешь. Только как объяснить про все, я не знал.

— Насовсем ушел из дома? — прошептал Виталька.

Я вздохнул.

— Отлупили! — понимающе спросил он.

— Да ты что! Меня никто никогда пальчиком даже не тронул!

— Без битья обижают?

Я опять проглотил комок.

— Да не обижают. Из-за Ленки. Ну, не из-за Ленки, а вообще. Из-за котенка...

Я все-таки начал рассказывать. Сперва просто так, а потом, конечно, разревелся. Виталька не успокаивал, только переспрашивал иногда, если я замолкал. Выслушал все и мудро сказал:

— Ну ладно. Это бывает...

«Да, бывает! — подумал я. — А как же там, дома?» — и отбросил одеяло.

— Ты куда?

— Домой я. Мама ищет, наверно...

Виталька натянул на меня одеяло.

— Мама знает. Тетя Валя сходила и сказала. Завтра пойдешь.

Я почувствовал, что измучился до полусмерти. Благодарно уткнулся носом в острое Витальки́но плечо и тут же уснул.

Рано-рано я проснулся, оставил спящего Витальку, осторожно спустился в прихожую и отодвинул на двери щеколду.

Ух как мчался я домой! Мама ждала меня у калитки.

Она взяла меня за плечи. Ладошки у нее были сухие и горячие.

Я глупо улыбнулся и стал смотреть на свои ноги в Витькиных тапочках.

— Олежка, — сказала мама, — давай договоримся. Не отправляйся больше в дальние экспедиции без предупреждения. Ладно?

— Угу... — сипло сказал я. И ткнулся лицом в мамину кофточку.

В тот же день я побежал к Витальке. Наверно, он ждал меня. Сидел на крыльце под узорным навесом и нетерпеливо смотрел, как я подхожу.

— За вещами пришел? — спросил он.

— Да нет. Я так... Можно?

Он заулыбался и сразу стал не старшим, а таким же, как я.

— Полезли ко мне на вышку!

...Вечером мы уговорили маму, чтобы я опять ночевал у Витальки.

— У него подзорная труба есть, мы будем на луну смотреть, — умоляюще говорил я и даже пританцовывал.

— И солдатики у нас не доделаны, — вторил Виталька.

Мама почему-то вздохнула и согласилась.

...Вещи мои так и остались у Витальки. Даже мамины сапоги. Даже папина медаль. И ружье, и кинжал. И котенок. Его склеил Андрей Николаевич, Витькин отец, когда вернулся из рейса. А потом он сколотил второй топчан — напротив Витькиного. Натянул мне на уши фуражку (такую же, как у дяди Севы) и сказал:

— Живите, люди...

## Глава вторая

Андрей Николаевич Городецкий был капитан грузового теплохода «Тобольск» и плавал по рекам от нашего города до самого моря. А иногда и по морю. Вместе с ним плавала и Витькина мама — не то поваром, не то буфетчицей. Они отправлялись в плавание на месяц и больше, потом появлялись дома на несколько дней и снова уходили в рейс. И так от весны до ледостава. Виталька и тетя Валя в это время жили вдвоем. (А потом прибавился я.)

Жили в просторном старом доме. Его еще в годы своей молодости купил тети Валин дед. Тетя Валя рассказывала, что дед вовсе не хотел связываться с покупкой, но его

назначили директором гимназии, а директору было неприлично жить в казенной квартире: в маленьком городке он считался очень важным лицом. Потом деда прогнали из директоров, потому что в доме его стали собираться польские повстанцы, сосланные царем на Север. А дом до самой революции все равно назывался «директорский». Власти считали его «опасным гнездом».

В доме было много старинных вещей. Висели фотографии в рамках — с них без улыбок смотрели на нас с Виталькой бородатые дядьки в длиннополых мундирах и тетеньки в платьях до пят. В буфете с разноцветными стеклышками блестели хрустальные рюмки и вазочки. Тетя Валя ими очень дорожила. Был шкаф с толстенными книгами и журналами, где каждое слово то с буквой «ять», то с твердым знаком на хвосте. Книги нам казались нудными, а журналы «Нива» мы с Виталькой иногда разглядывали.

Были у тети Вали и часы с кукушкой. Кукушка — большая, в настоящих перьях — каждые полчаса не выпрыгивала, а вываливалась из окошечка, повисала на тонкой пружине и хрипло орала не то «ку-ку», не то «ква-ква». От этого нечеловечьего крика мы с Виталькой иногда просыпались по ночам. А тетя Валя не просыпалась, хотя спала в комнате с часами. У нее был очень крепкий сон. Это, кстати, часто спасало нас от неприятностей.

На кухне царствовал большущий самовар с медалями, выбитыми на медном брюхе. Андрей Николаевич, когда бывал дома, любил «раскочегарить эту систему», и тогда всем делалось весело и мы до самой ночи сидели у стола, а самовар шипел, пыхтел и притворялся сердитым.

А граммофон с большущей трубой был совсем безработный. Тетя Валя даже любимые старые пластинки с Шаляпиным и Собиновым крутила на обычном проигрывателе «Рекорд». А граммофон дремал в углу на тумбочке под вязаной салфеткой. Конечно, ему было обидно! Ведь его механизм с могучей пружиной ничуть не ослабел за долгие годы.

Когда тети Вали не было дома, мы ставили граммофон на пол, отцепляли трубу, закручивали до отказа пружину и по очереди садились на оклеенный малиновым бархатом диск. Граммофон раскручивал нас. Вначале медленно, потом быстрее, быстрее...

Ух и здорово было! Комната вертелась вокруг нас, и все сливалось в разноцветные полосы! Главное, не бойся и держи равновесие, чтобы не слететь с диска. Ну а сле-

тишь — тоже не беда. Шлепнулся, посидел, пока голова не перестанет кружиться, — и вставай. Виталька, вставая, всегда деловито щупал сзади штаны: не провертел ли дырку штырек для пластинок? И говорил:

— Ну, тренировочка! Будто у летчиков-испытателей!

Сейчас бы любой мальчишка сказал: «Как у космонавтов». Но тогда космонавтов еще не знали. Мы с Виталькой познакомились за три месяца до запуска первого спутника.

Тетя Валя, по-моему, догадывалась о наших проделках с граммофоном. Она вообще о многом догадывалась и многое прощала, потому что лишь на вид была строгой.

Кстати, Витальке она приходилась не тетей, а двоюродной бабушкой. Виталькин отец был ее племянником. Он рано стал сиротой, а тетя Валя его воспитала. А потом воспитывала Витальку и заодно меня, потому что в летние месяцы я пропадал у них днем и ночью.

Впрочем, как воспитывала? Тетя Валя считала, что мальчики не должны курить, играть на деньги и говорить нехорошие слова. Вот и все.

Курить? Ну что ж, мы один раз попробовали. Я нашел в канаве нераспечатанную пачку «Памира», мы укрылись за сараем и задымили... Ой-ей-ей! Весь день я ходил потом с таким чувством, будто выпил таз мыльной воды, и все вокруг было в отвратительном желто-зеленом тумане. Витальке тоже было не лучше. С тех пор я ни разу не брался за сигареты и папиросы. Даже когда стал большим. Однажды я спросил у Витальки, тоже взрослого уже, не научился ли он курить. Он ответил, как в детстве: «Что я, чокнутый?»

На деньги мы тоже не играли. Чаще всего их у нас не было. А если были, то общие. Какой смысл выигрывать друг у друга?

Ругательные слова мы говорили. Но тетя Валя их не понимала. Мы придумывали их сами, на ходу, если что-нибудь случалось. Иногда эти слова походили на иностранные пиратские ругательства или марсианские заклинания.

В общем, тетя Валя считала нас вполне нормальными детьми. А если уж мы очень ей надоедали возней и проделками, она говорила:

— Виталий и Олег! Вы совершенно невозможные люди.

Это означало, что тетя Валя сердится всерьез. Пора, значит, притихнуть и обдумать свое поведение. А если мы все-таки не притихали, тетя Валя заявляла:

— Я выставлю вас из дома, и ночуйте на дворе, пока не станете приличными людьми.

Но ни разу в жизни она не намекнула мне, что ее дом — это вовсе не мой дом и что я не должен про это забывать. И я, по правде говоря, забывал.

Мама тревожилась и огорчалась. Ей казалось, что я убегаю из дома из-за дяди Севы и Ленки. Но теперь уже не в этом было дело. Мы с Виталькой просто не могли друг без друга. Не могли, вот и все.

Мама наконец поняла это. Но ее беспокоило и другое. Плохим аппетитом я не страдал, а обедал, завтракал и ужинал у тети Вали чаще, чем дома.

— Как она кормит вас на свою пенсию? — волновалась мама.

Мое сообщение, что кроме пенсии есть зарплата Виталькиных родителей, ее не успокоило. Я узнал потом, что мама пыталась даже предложить тете Вале деньги за мое «содержание», а тетя Валя с улыбкой, но твердо сказала:

— Оставим это.

Тетя Валя вообще была немногословна. Если жизнь текла без особых происшествий, мы знали заранее, какие фразы когда от тети Вали услышим. Утром она стучала шваброй в потолок и сообщала:

— Граждане! Солнце встало! Вставайте и вы!

Перед завтраком она обязательно спрашивала:

— Надеюсь, вы умылись, хотя бы символически?

А вечером, когда мы возвращались с улицы после многотрудного дня, она неизменно говорила:

— Боже мой! На кого вы похожи!

На кого мы были похожи? Ну, на своих мам и пап, конечно (хотя своего папу я теперь видел только на фотографиях.) Немножко — друг на друга. На всех обыкновенных мальчишек. И больше всего — на самих себя.

Виталька был повыше меня, белобрысый, вечно не стриженный — на шее волосы косичкой. Глаза у него были длинные, серо-зеленые, рот большой и толстогубый, а нос тонкий, с чуть заметной горбинкой. На горбинке сидело пять желтых веснушек. Эти глаза, губы, нос, если смотреть на них отдельно, как-то не подходили друг для друга. Но когда все вместе — как раз и получался Виталька.

Себя я почти не помню. С той поры у меня сохранилась только одна фотокарточка. Я на ней с мамой, дядей Се-

вой и Ленкой. Причесанный, лупоглазый и удивительно примерный. Виталька говорил, что совсем на себя непохожий, только оттопыренные уши похожи.

А в зеркало я почти не смотрел.

Правда, одно зеркало все время попадалось на пути: оно стояло в прихожей, там, где начиналась лестница. Мутное, пятнистое. Высокое — от пола до потолка. Когда я брал разбег, чтобы взлететь по ступенькам, в зеркале этом, как в узкой темной двери, проскакивал рядом со мной щуплый тонконогий пацаненок с облезлыми от загара плечами.

Но я ни разу толком не разглядел себя: некогда было. Я спешил наверх — в нашу каюту, наш с Виталькой штаб, нашу крепость, наше царство. В наш мезонин, который мы с Виталькой называли вышкой. Кстати, знаете, что такое мезонин? Это когда на дом как бы ставят еще один домик. Получается второй этаж, только поменьше.

Наш мезонин состоял всего из одной комнатки. Стены были обшиты некрашеными досками. Доски потрескались от старости, и в щелях жил разный мелкий народ: какие-то паучки, жуки, сверчки. Мы их не боялись и не обижали.

На стенах висело мое деревянное оружие и Виталькины картины. Не все, конечно, а самые лучшие. Мне особенно нравились «Летучий голландец» и «Восстание гладиаторов».

«Летучий голландец» — это темный таинственный фрегат с изодранными парусами. В самую большую дыру на парусе проглядывает острый уголок месяца. На корме слабо горит желтый огонек.

«Гладиаторы» были еще лучше. Они восстали прямо на арене римского цирка и теперь гнали по мраморным лестницам богачей в длиннополых одеждах.

А еще на стене висели карманные большущие часы тети Валиного деда. Это была серебряная «луковица» старинной французской фирмы. Тетя Валя дала их нам, чтобы мы научились ценить минуты. Но трогать их она не разрешала и заводила сама.

В комнате было два окна: одно на юг, другое на север. В южное окно целые дни светило веселое солнце, а в северном окошке по вечерам висела посреди светлого неба большая звезда, названия которой мы не знали.

Иногда заглядывала розовая ноздреватая луна.

Мы разглядывали луну в маленький медный телескоп, который тоже достался тете Вале от деда. Раньше, дав-

ным-давно, в такие телескопы наблюдали планеты гимназисты.

Несмотря на древний возраст, телескоп работал исправно. Луна в нем казалась громадным румяным караваем. Близким-близким. Хоть рукой трогай. И у нас замирало дыхание.

...Стоит мне прикрыть глаза, и я вспоминаю все точно-точно. Даже не вспоминаю, а будто опять оказываюсь в мезонине.

Там полумрак. Телескоп стоит на подоконнике, а мы с Виталькой сидим перед ним на корточках. В сумраке за нашими спинами шуршат и шелестят в щелях и под рисунками на стенах наши жуки и сверчки. От телескопа кисловато пахнет старой медью. Виталька дышит негромко и часто. Он смотрит в окуляр, а я рядышком — щека к щеке — жду очереди. Виталькины отросшие волосы щекочут мне висок.

Вдруг Виталька шепотом говорит:

— А вот эти... гимназисты... Неужели они тоже планеты изучали?

— Конечно.

— Это же давным-давно... Даже непонятно. Тогда даже электричества не было.

— Ну и что? А телескоп Галилей придумал. Это еще давнее... Ты, Виталька, целый час уже глядишь, ну-ка пусти...

Он поспешно убирает голову, и я придвигаю глаз к окуляру.

...Чужой, до ужаса таинственный мир рывком приближается вплотную. Выпуклая пустыня в каменных кольцах и воронках... Что там? Кто там? Узнаем ли когда-нибудь?

Мы с Виталькой твердо верим, что полеты в космос начнутся скоро. Может быть, завтра. Ведь уже несколько спутников кружат над Землей. Но тайна от этого не становится меньше.

— ...Уже целый час смотришь, — ворчит Виталька.

Я со вздохом отрываюсь от телескопа. Что это? Неужели розовато-золотой ноготок, повисший высоко над чердаками и антеннами, — та самая планета, которая была сейчас почти рядом?

Виталька сидит у окуляра. Я выбираюсь в окошко и, свесив ноги на улицу, сажусь на теплый подоконник. Рядом с телескопом. Его объектив темнеет у моего локтя, словно громадный выпуклый глаз. В глубине этого глаза золотым семечком плавает отражение луны.

Я хитро улыбаюсь и прикрываю объектив ладошкой. Телескоп сердито дергается.

— Ты чего? — спрашивает Виталька.

— Это марсианский корабль пролетел.

— Ты у меня сам сейчас полетишь, — для порядка сообщает Виталька. — На планету Земля. Хочешь?

— Не-а. Мне здесь хорошо... Смотри, Виталька, самоходка идет. Может, «Тобольск»?

За темными крышами, пихтами и тополями, на светлой излучине появляется силуэт судна с тремя цветными огоньками.

Виталька торопливо выбирается из комнаты и садится рядом со мной. Снимает с подставки телескоп и берет его как подзорную трубу. Мы часто так делаем, когда хотим поглядеть, что вокруг нового на земле. Правда, в телескопе все вверх ногами, но это даже интереснее.

С полминуты Виталька смотрит в окуляр, как адмирал Нельсон из фильма «Леди Гамильтон». Потом разочарованно говорит:

— Эх ты, «самоходка». Буксир идет. Моряк с печки бряк...

Надо бы Витальку за такие слова пихнуть в комнату, сесть на него верхом и натереть ладонями уши. Но, во-первых, неизвестно, получится ли. Во-вторых, мне слегка неловко: у меня-то мама в двух кварталах отсюда, а у него уже целый месяц в дальних краях. А я: «Тобольск» идет...»

Чтобы Виталька не заскучал, я завожу разговор:

— На Луне людей точно нет. А вот на Марсе... Если есть...

— Ну и что? — говорит Виталька.

— Если есть... Значит, мальчишки тоже есть?

— Ну... наверно... Ну конечно.

— А играют они в солдатиков?

## Глава третья

Солдатики — это была наша любимая игра. Мы ее затеяли в то лето, когда подружились. А через два года у нас в больших коробках из-под обуви накопились громадные армии — тысячи три пехотинцев, конников, артиллеристов и разведчиков. Храбрые солдаты ростом с мизинец. Мы рисовали их на картоне и вырезали маникюрными ножницами.

Вернее, рисовал Виталька. Он уже тогда был почти настоящий художник. И главное, он придумывал здорово! Столько разноцветных мундиров, шлемов с перьями, барабанов, знамен...

Зато я изготовил всю артиллерию для обеих армий. Тетя Валя отдавала нам катушки от ниток, и они сразу превращались в орудийные стволы и колеса. Стреляли пушки горохом, сухой рябиной и стеклянными шариками от бус, которые тоже отдала тетя Валя. Бусинки считались тяжелыми, особо опасными снарядами.

Когда за окном моросил дождик и улица не манила, мы устраивали на полу поле сражения. Развертывали широким фронтом конный строй драгунских и гусарских полков, рассаживали по укромным уголкам разведчиков-наблюдателей, строили в каре разноцветных пехотинцев и егерей. Ставили батареи. У каждой пушки укладывали в пирамиду ядра, натягивали на стволы боевые резинки...

Артиллерия безжалостно косила картонные войска, и приходилось для защиты возводить брустверы, ставить редуты и бастионы.

А однажды Виталька укрыл свою армию за высоченной стеной из ватмана. Стена была разрисована под кирпич и выглядела совершенно непрошибаемой крепостью.

Мои разукрашенные генералы в малиновых и голубых мундирах приуныли вместе со мной, а потом устроили военный совет, укрывшись от вражеского огня за перевернутой табуреткой (Виталькина артиллерия вела из бойниц методическую стрельбу). Через пять минут мы сказали противнику:

— Ха-ха! Нам не страшен серый волк!

Укрепили колеса на подставках — так, что стволы оказались задранными вверх, — и открыли мортирную стрельбу. Навесом! Ядра сначала летели «в небо», а потом сыпались на головы врага. За крепостной стеной началась паника. Падая в гущу солдат, снаряды отскакивали от пола и рикошетом обязательно сшибали кого-нибудь.

Главнокомандующий Виталька вступил в переговоры и обвинил нас в нарушении благородных правил ведения войны. Он придрался к тому, что наши ядра отскакивают от потолка и это делает их удары сильнее.

— Вот и хорошо! — беспощадно сказал я. — Это нам как раз и надо.

— А не имеешь права. Если по правде, то никакого твердого неба нет, значит, снаряды отскакивать не могут.

— А мы в старинную войну играем. Тогда еще люди

не знали, что твердого неба не бывает. Они, наоборот, говорили: «Небесная твердь!»

— Ну и что! На самом-то деле тверди и тогда не было, — разбил мои хитрости Виталька.

Я не знал, что сказать, и поэтому брякнул:

— Откуда ты знаешь? Может, была. Никто ведь не летал, не проверял!

Виталька поморгал. Видно, не мог придумать, что возразить. Потом нахально заявил:

— Откуда ты взял, что не летали? Может, летали!

— Ха-ха-ха! — сказал я. — На чем?

— Хе-хе-хе, — мрачно ответил Виталька, понимая, что проиграл спор. — На коврах-самолетах.

Я сочувственно посмотрел на него и вздохнул.

Если бы мы знали тогда...

Но мы ничего еще не знали, нас волновало сражение.

— Убирай стену, тогда опущу пушки, — предложил я.

— Фигушки-фиг! — изящно ответил фельдмаршал Городецкий и стремительно перестроил войска в длинные колонны с большими интервалами. Потери его сразу уменьшились. Потом он открыл крепостные ворота и вывел в атаку кирасир в панцирях из фольги.

Чтобы уберечь от разгрома левый фланг, я спешно кинулся строить редут из костяшек домино...

Вот так мы и воевали.

Пол в мезонине сколочен был из могучих плах какого-то нездешнего дерева. От времени мягкая древесина источилась и выветрилась, и сверху осталось лишь переплетение твердых жил. Ползать на четвереньках по ним было больно. Однако в боевом азарте мы не думали о себе. Меняя позиции, кидаясь от пехоты к пушкам, от фланга к флангу, мы всеми суставами грохались об пол — так, что внизу у тети Вали звенел в буфете старинный хрусталь, а на наших локтях и коленках глубоко отпечатывались красные древесные узоры.

Эти отпечатки и ссадины мы считали боевыми ранениями и даже гордились ими. А тетя Валя, разглядывая нас после очередного сражения, покачивала головой и жалостливо щурилась. Женщины всегда жалеют тех, кто пострадал в боях. Кроме того, я думаю, тетя Валя жалела свои хрупкие рюмки и графинчики. И однажды она сказала:

— Уважаемые полководцы! Я хочу спасти вас от увечий, а дом от разрушения.

Мы переглянулись. Неужели мы довели бедную тетю

Валю до такого отчаяния, что она решила нас выселить с вышки?

— В чулане у меня есть ковер, — сообщила тетя Валя. — Конечно, не очень новый, но... Если выбить из него пыль, почистить, можно постелить у вас наверху. Тогда будет гораздо меньше грохота и синяков.

Ковер? Ура! На ковре можно устраивать соревнования по классической борьбе (и по неклассической тоже). Можно просто лежать рядышком друг с другом и болтать про все на свете. Можно вытащить ковер на крышу и загорать там, не боясь расцарапать пузо о кровельные листы. Можно сделать из него чум или кибитку и жить будто кочевники!

Это взрослые думают, что ковры нужны только, чтобы вешать на стенку или класть на пол. А мы-то знали настоящую цену вещам!

Ковер, свернутый в большую трубу, стоял в самом углу чулана. Мы, конечно, бывали здесь не раз, но не обращали на него внимания: он был полузадавлен всякой рухлядью. Пока мы добрались до ковра, я успел поцарапаться о сломанную птичью клетку, а Витальке на голову упал дырявый шелковый абажур.

«Труба» выглядела внушительно. Я похлопал по плетеной изнанке ковровой материи. Она была жесткая и шероховатая.

— Тяжеленный, наверно, — вздохнул я.

— Это точно. Свалится — придавит, как мышат, — «утешил» Виталька. — Ну, взялись...

Ковер оказался поразительно легким.

— Как из пенопласта! — изумленно сказал Виталька.

Мы без труда выволокли ковер в коридор. Потом взвалили на плечи и торжественно понесли на двор. Виталька шагал впереди, и рыжий шелковый абажур качался на его голове, будто колокол.

— Выбейте пыль как следует, — сказала вслед тетя Валя.

Мы развернули ковер на траве. Он был длиной метра три, а шириной около двух. Грязно-серый. Пахло от него кладовкой, плесенью и старыми мешками.

— Жуть, — сказал Виталька и выдернул у забора могучий стебель прошлогоднего репейника. А я отыскал у крыльца палку от швабры.

Мы врезали по ковру с двух сторон, и пыль поднялась, словно дым над вулканом. Ковер пружинил и подпрыгивал, как живой. Мы чихали, хохотали, а тетя Валя с крыль-

ца уговаривала нас пылить не так сильно, иначе соседи вызовут пожарную машину.

Наконец мы выдохлись. Прочихались. Ветерок унес пыльное облако. И тогда мы разглядели узор на ковре. Ну, узор как узор. Ничего особенного. Какие-то зубчатые треугольники по краям и угловатые загогулины, а в середине — два больших квадрата, положенных друг на друга так, что получилась восьмиугольная звезда. А в этой звезде была другая, похожая на шестерню. Ковер после чистки остался серым, а рисунок был красновато-коричневый, выцветший и расплывчатый. Чуланный запах мы выбили из ковра не до конца. А ворс, там, где он не вытерся от старости, стал после наших ударов ершистым и колючим на вид.

Не все ли равно! Мы так устали! Мы посмотрели друг на друга и разом бухнулись на ковер.

Я падал, зажмурившись. Поэтому первое ощущение было особенно удивительным. Казалось, я упал не на старый ковер. На что-то другое — мягкое, шелковистое, теплое. Живое.

Я изумленно открыл глаза и сел. Мои ладони скользили по ковровой щетине, которая выглядела жесткой и кусачей. А казалось, что я глажу ласкового зверя с короткой, но пушистой шерстью. Виталька сидел на корточках и обалдело смотрел на меня.

Я ему ничего не сказал. Я лег ничком и прижался к теплому ковру голыми руками, ногами, щекой. Я купался в этой ласковости. И вдруг почувствовал, что от ковра пахнет не только плесенью и мышами. Пробивался запах чего-то незнакомого, южного, загадочного. Словно кто-то втер в ковровую ткань семена заморских трав.

Вздохнул я и открыл глаза. И увидел, что Виталька лежит, как и я. Носом ко мне.

— Вот это да, — сказал он, улыбаясь и не отрывая щеки от ковра.

Я промолчал, потому что в самом деле «вот это да».

— Наверное, его тети Валин дед из какой-нибудь Персии привез, — проговорил Виталька. — Тетя Валя говорила, что дед много путешествовал, когда молодой был.

— Наверно, его делали старые мастера, а теперь этот секрет утерян, — сказал я.

— Наверно... — сказал Виталька.

Мы медленно перевернулись на спину.

— А тетя Валя? — спросил я. — Разве она не знала, что он... такой?.. В чулан запихнула.

— Может, знала, да забыла, — откликнулся Виталька. — Она же... ну, в общем, немолодая уже. Пожилые люди про многое забывают.

— Память у нее хорошая, — заступился я.

— Ну, хорошая... А может, она и не понимала, какой это ковер. Она ведь на нем не валялась, как мы.

— Почему? — удивился я.

Виталька хмыкнул:

— А ты видел ее фотокарточку, когда она девчонкой была? Платье чуть не до пяток, кружева всякие, бант на спине, ботинки высоченные с пуговицами. Попробуй поваляйся.

Я пожалел тетю Валю, которая лишена была такого удовольствия, сладко вытянулся на ковре и опять погладил его.

— Как живой, да? А мы его, бедного, палками...

— Ничего, — утешил Виталька. — Зато чистый стал... А мы с тобой — наоборот.

Он согнул потемневшую от пыли руку и подул на нее. А я увидел на его локте красную капельку.

— Смотри, поцарапался, — сказал я.

Виталька улыбнулся и тронул каплю мизинцем. Она разломилась пополам, выпустила прозрачные крылышки и улетела в густую траву.

— Божья коровка, улети на небо... — запоздало сказал Виталька.

— А по правде они могут на небо улететь? Высоко, как самолеты? — спросил я.

— Не-а, — сказал Виталька. — Им зачем? Они же травяные жители.

— Ну а если захочет? Вдруг захочет?

— Она не захочет, — сказал Виталька. — Это ты, может, захочешь, потому что ты человек. А она же просто так, божья коровка.

Я лежал, раскинув руки. Левая ладонь оказалась в траве, и между пальцами попал высокий стебелек одуванчика. Я машинально теребил его, а сам думал вот о чем: если бы я даже был божьей коровкой, все равно попробовал бы лететь выше и выше. Конечно, там на высоте давление другое, холод, воздуха мало, но я летел бы, пока хватит дыхания.

Я представил, что вот так, лежа на спине, начинаю медленно подниматься к одинокому облаку, насквозь просвеченному июльским солнцем.

Показалось мне, что шевельнулась под ковром земля,

а все пространство слегка сдвинулось. Так бывает, когда голова на миг закружится. Стебель одуванчика, который я держал, скользнул вниз, пушистая головка проскочила между пальцами, растеряв семена. Потом я увидел, что уходит вниз рассохшаяся бочка, стоявшая неподалеку.

— Мама! — заорал я и бухнулся в траву.

Крепко бухнулся. Потому что от ковра до земли было уже метра полтора...

Даже сейчас, когда я вспоминаю тот случай, мне делается неловко. Ведь что ни говори, я испугался и бросил Витальку. И слегка утешает меня лишь то, что Виталька поступил так же: заорал и плюхнулся на землю. Только с другого края ковра.

Мы сидели в примятой траве и перепуганно таращились друг на друга.

— Ты чего? — сказал Виталька.

— Чего «ты чего»? — сказал я.

— Как это ты? — спросил он.

— Я никак. Я ничего, — ответил я, потому что понял наконец: Виталька думает, что это мои шуточки.

Ковер плавно, как большой бумажный лист, опустился между нами. Я икнул и сказал:

— Это он.

Виталька задумчиво осмотрелся, зачем-то заглянул под ковер и опять вопросительно уставился на меня. В моей голове стремительно прыгали всякие догадки и фантастические мысли: «Может, было незаметное землетрясение и нас плавно тряхнуло?.. Может, у нас обоих сон или гипноз?.. Может... Может...»

А что «может», в конце концов?!

Я опять икнул и спросил Витальку:

— Попробуем?

— Н-ну... давай... — сказал он без восторга.

Мы осторожно, как на горячую плиту, сели на ковер.

— Н-не поднимается, — сообщил Виталька.

— Значит, показалось.

— Обоим?

Я икнул третий раз и потер ушибленное место. Ничего себе «показалось».

— Ты чего-нибудь делал, когда он... это самое? — шепотом спросил Виталька.

— Ничего я не делал. Я о нем даже и не думал совсем.

— А о чем думал? — требовательно спросил Виталька.

— Сейчас... Ну, кажется, о божьей коровке. Долетит она до облака или нет.

— Значит, о полете, — обрадованно сказал Виталька.— Значит, так... Попробуем! — Он прищурился и скомандовал: — Вперед! Полетели!

Ковер не шелохнулся.

— Вперед! Старт! — повторил Виталька и даже поерзал, словно подгонял ковер.

Тот не двигался.

— Хочу подняться до крыши, — сказал Виталька почти жалобно.

И мне захотелось. Страшновато было, но все равно захотелось, чтобы ковер шевельнулся, чтобы стена дома плавно заскользила вниз и узорчатый карниз под крышей оказался у наших глаз.

И тогда... Тогда это случилось!

Нас приподняла ласковая сила, и мы увидели перед собой кромку железной крыши и старое деревянное кружево карниза: хрупкие завитушки и зубцы с круглыми отверстиями. Из одного отверстия, как из иллюминатора, озадаченно глядел на нас воробей.

В первый миг я хотел повторить старый трюк: завопить и свалиться. Виталька ухватил меня за майку.

— Стой! Высоко...

Я замер. Ковер медленно опускался.

— Вот так, — прошептал Виталька. — Нельзя же каждый раз прыгать. Привыкать надо.

Под эти слова мы приземлились.

— Если бы знать, отчего он летает, — все еще шепотом сказал Виталька. И опять потребовал: — Ну, давай! Вверх!

А я догадался... Нет, в самом деле, я, кажется, понял!

— Не надо командовать! Надо просто захотеть. Понимаешь, надо просто представить, что летишь... Подожди...

Я глянул на заросли полыни и репейника у забора и подумал, что вот сейчас приподнимемся и заскользим над самой травой к этим зарослям... И мы заскользили!

Я мысленно сделал разворот у забора и представил бреющий полет по кругу. И ковер-самолет послушался!

«Скорей», — не скомандовал, а пожелал я. Зашелестел встречный ветер, мелькнула поленница, крыльцо, сарай, опять поленница... Потом я опустился посреди двора. Сердце бухало, как барабан. Виталька сидел, вцепившись в мое плечо.

— Попробуй сам, — великодушно сказал я. — Знаешь как? Подумай, что летишь. Как будто сам летишь, вот и все.

— Ага, — торопливо сказал он. — Я... сейчас.

Нас опять мягко приподняло, ковер наискосок пересек двор, мягко взмыл над забором и пошел над улицей. Я заметил, что по дороге мчится под нами квадратная тень.

— Ты что? Увидят! — крикнул я.

Мы опять влетели во двор и плавно сели на прежнее место.

— Слушается... — с тихим восторгом сказал Виталька.

— «Слушается»! — упрекнул я. — Чего тебя на улицу понесло? Заметят же...

Виталька заулыбался и пожал плечами.

— Пускай. Все равно это сон...

Он завалился на спину и, мечтательно болтая в воздухе ногами, проговорил со сладким вздохом:

— Хороший сон. Подольше бы не просыпаться.

Я поглядел на его отросшие вихры, ухватил белобрысую прядь и довольно беспощадно дернул.

— У-ы-ы! — взревел Виталька. — Ты чего, жабомымра с повидлом?!

— Видишь, не спишь, — сказал я.

И вдруг испугался: а если это я сплю?

— Ну-ка, щипни.

Виталька отплатил мне полновесным щипком выше локтя. Я заорал не только от боли, но и от радости: не сплю!

И, обалдев от счастья, мы облапили друг друга, покатились по ковру, выколачивая из него локтями и пятками остатки пыли. Потом разом спохватились: а вдруг ему больно? Притихли. Погладили ковер-самолет, как большую собаку.

Виталька задумчиво потрогал вихор, за который я его дернул, и сказал:

— Значит, это по правде бывает? Не во сне?

## Глава четвертая

Мы постелили ковер у себя на вышке между топчанами. Затем испугались: а вдруг он больше не станет летать? Сели и попробовали подняться к потолку.

Поднялись! Ура!

Тетя Валя стучала в потолок:

— Воины! Обед остывает!

Увидев нас, она ахнула, велела набрать воды в корыто и отмывать друг друга. Мы безропотно подчинились.

За столом в этот раз мы вели себя так примерно, что тетя Валя заволновалась: может быть, мы в пыли наглотались микробов и скоропостижно заболели? Потрогала наши лбы, успокоилась и велела после обеда отправляться на рынок за картошкой. Это было самое нелюбимое дело — тащить через весь город по жаре тяжелую корзину. Однако мы с радостью ухватились за него.

Лишь бы скорее бежало время!

Лишь бы скорее пришла ночь!

Только ночью ковер-самолет можно испытать как следует. А если днем — представляете, какой шум поднимется в городе!

Конечно, мы не ждали полной темноты. В середине лета ночи у нас серебристые, словно в воздухе рассеяна алюминиевая пыль. Иногда можно даже книжку читать, особенно если буквы крупные. Однако ночью пустеют улицы и меньше риска, что нас увидят.

Мы принесли картошку. Послонялись по двору. Потом испугались: не потерял ли ковер свою волшебную силу? Побежали на вышку — проверять. Ковер добросовестно поднял нас к потолку. Мы опять слегка обалдели и на цыпочках спустились по лестнице.

Сели играть в шахматы. Не игралось.

Пошли в соседний переулок, где ребята играли в футбол. Но наши ноги нас не слушались, и через пять минут девятиклассник Клим, мой сосед, перевел нас в запасные.

Мы пошли на реку, искупались. Но и в этом не было сегодня большой радости.

Да что такое случилось с временем?! Застряло оно, что ли? Просто издевательство какое-то!

Мы улеглись в постели еще до захода солнца и этим снова напугали тетю Валю. Она опять принялась щупать наши лбы. Пришлось сочинить, что мы очень устали, играя в футбол. Тетя Валя покачала головой и ушла.

— Как же все-таки он устроен? — шепотом сказал Виталька.

Он уже тысячный раз об этом спрашивал. И я, по правде сказать, рассердился:

— Как да как! Самое главное, что летает!

Виталька не обратил внимания на мою сердитость.

— Нам всю жизнь объясняли, что сказка — это сказка. Значит, ковер-самолет — не сказка?

— Нет, сказка. Только по правде, — возразил я.

— А может, это такой аппарат? Помнишь, в книжке «Тайна желтой звезды»? У ихних жителей такие летательные аппараты были, мыслями управлялись. Мыслелеты! У них эта была изобретена... как ее.. ну, против тяжести!

— Антигравитация, — вспомнил я мудреное слово. — Ну так это же на той планете! А у нас откуда!

— Может быть, когда-то космонавты с другой звезды прилетели и позабыли. Давным-давно...

Я свесил голову с топчана и посмотрел на ковер.

Коричнево-серый узор. Края потерты. Вон даже суровые нитки изнанки просвечивают через вытершийся ворс. Обыкновенные нитки. Обыкновенный ковер...

— Знаешь, Виталька, не городи чушь. Если бы это было с другой планеты, то уж получше что-нибудь. Думаешь, там дураки? Они бы сиденья сделали, иллюминаторы, кабину...

— А может, им это не надо. Может, на той планете вообще сидений нет!

— Ну ладно. А где установка, чтобы антигравитацию делать? Из шерсти, что ли, она вырабатывается?

— Вот это и есть загадка, — хмуро сказал Виталька. — Это что-то новое для науки... А раз новое, значит, мы должны ученым сообщить. В Академию наук. Чтобы они изучили и разгадали.

Это мне и в голову не приходило! Но Виталька прав: надо писать в Академию. Иначе получится, что мы скрыли важное научное открытие.

— Только тогда уж нам коврика не видать. Заберут, — печально сказал я.

Виталька вздохнул.

— А может быть, никакой тут науки и нет? — неуверенно спросил я. — Обыкновенный сказочный ковер-самолет...

Виталька опять вздохнул.

Вздыхай не вздыхай, а выхода нет.

И все-таки выход нашелся!

— Виталька! А для науки его испытывать будут? Надо же ученым знать, как он летает?

— Конечно!

— А кто будет испытывать?

— Ну кто... Летчики-испытатели.

Я победно сказал:

— Летчики-испытатели умеют самолеты водить. А на коврах они ни разу не летали. Мы-то уже пробовали, а они нет! У них и не получится, они к разным рукояткам привыкли да к педалям!

Виталька приподнялся на локте и смотрел на меня с радостным ожиданием.

— Значит, мы должны испытывать! В конце концов, мы его открыли, значит, мы и должны! А когда как следует испытаем, тогда и расскажем!

Виталька даже подскочил.

— Точно! Мы должны сперва все его свойства изучить! И летать научимся хорошенько. Может, тогда нас и дальше его испытывать возьмут, когда изучать будут!

Эти мысли успокоили нашу совесть. Мы решили, что лето посвятим испытаниям ковра-самолета, а осенью расскажем о нем ученым.

Пока мы спорили и решали, окна слегка потемнели и тети Валина кукушка прокричала внизу одиннадцать раз.

Мы выждали еще полчаса.

Потом осторожненько натянули штаны и футболки.

Южное окно мезонина выходило на плоскую крышу задней части дома. Эта крыша стала нашей стартовой площадкой. Мы расстелили на ней ковер-самолет.

Первый старт был неудачным. Ковер сильным толчком поднялся в воздух, боком скользнул к забору и сел на упругие верхушки репейника.

Я скатился в колючки.

— Чего это он? — шепотом спросил Виталька.

— Это ты чего, — сердито сказал я. — Ты куда хотел лететь?

— Через забор, на улицу.

— А я хотел сперва круг по двору сделать! Ковер же не разорвется, чтобы сразу двоим угодить.

Сердиться было глупо, мы это быстро поняли. Просто надо было договориться, чтобы ковром управлял кто-то один.

— Давай ты, — великодушно сказал Виталька. — У тебя пока лучше выходит.

Мы опять уселись на ковре, и я представил, как медленно, плавно скользим мы вдоль забора, мимо крыльца, мимо поленницы. Идем по кругу, постепенно набирая высоту...

Ковер приподнял края, упруго поднял нас и пошел, пошел...

Мы перелетели через забор. Пересекли улицу. Поднялись до высоты печных труб и тихо полетели над огородами.

Я сидел, крепко обхватив за плечи Витальку. Мы молчали. Виталька часто дышал, и под майкой у него быстро-быстро стукало сердце. Ковер мягко прогибался под нами, и мы сидели, как в шелковистом гамаке. Я отпустил Витальки плечи и подвинулся на край: хотел посмотреть, что под нами. Кромка ковра приподнялась, стала тверже.

— Охраняет. Вот молодец, — шепотом сказал Виталька.

Осторожно-осторожно я сел на краю и спустил ноги. Равновесие не нарушилось. А край ковра совсем затвердел, еще сильнее выгнулся вверх и упруго поддерживал меня под коленками.

Виталька спустил ноги с другой стороны. Опять сказал: «Вот молодчина!» — и погладил ковер. Потом спросил:

— А если вместе сесть?

— Перевернемся.

— Давай тихонечко попробуем.

Он стал осторожно перебираться ко мне и наконец сел рядом. Ковер летел и летел, без всякого крена. Видимо, обычные законы равновесия на него не действовали.

Виталька снова уполз к середине. Встал на четвереньки, потом на колени и наконец поднялся во весь рост. Постоял, балансируя, и весело сказал мне:

— Все нормально. Вставай.

Я добрался до Витальки, ухватился за его футболку и распрямил колени (а они слегка вздрагивали).

Ковер мягко продавливался под босыми ногами, но стоять было можно — летели мы ровно, как по ниточке.

И вдруг я понял, что ковер летит сам по себе! Я давно уже не управлял им. Значит, он может сам? Значит, надо ему только показать направление?

А вдруг ковер-самолет просто заманил нас на себя и теперь унесет в тридевятое царство, за темный лесной горизонт? Я моментально решил сделать разворот! И ковер послушался. В тот же миг.

— Вот умненький, — ласково сказал я и от радости опять обхватил Витальку за плечи.

Мы пролетели рядом с темной пихтой, растущей в незнакомом дворе — так близко, что мохнатая ветка чиркнула меня по плечу. На крутой железной крыше, у печной трубы сидел кот. Он услышал шорох, увидал нас, взгор-

бился и зашипел. А внизу, у крыльца, загавкала собака. Но мы уже пролетели.

Ощущение полной безопасности радостно захлестнуло меня. Я прибавил скорость, и на этой скорости мы стали круто подниматься над городом.

Зашумел, ударил в грудь встречный воздух, откинул назад наши волосы. Мы покачнулись, но опять крепко встали, держась друг за друга. И снизу, и сверху, и по сторонам была пустота, но она не пугала. Мы сразу и крепко поверили в надежность ковра-самолета. Он был наш друг и не мог нас обмануть.

Мы летели, прошивая светлый ночной воздух. Он лежал пластами — теплыми и остывшими, вперемежку. Мы попадали то будто в нагретую вату, то в продутый осенними сквозняками коридор. А иногда случалось так, что мы двигались словно по пояс в нагретой воде, а локти и шея — в пупырышках от колючей свежести.

Внизу под нами разрастался город с россыпью светящихся квадратиков-окошек, с тонкими бусами фонарей вдоль главных улиц. Они горели, хотя ночь была совсем светлая.

С трех сторон город обнимала широкая река. В ней отражалось серебристое небо и желтоватая заря — она не гасла над северным горизонтом.

Я вдруг подумал, что с земли мы теперь кажемся не больше почтовой марки. И все-таки...

— А если увидят? — прошептал я. — Небо-то вон какое светлое.

— Кто увидит? — откликнулся Виталька. — Улицы пустые.

— Но не совсем же пустые...

— Ну и пусть видят, — беззаботно сказал Виталька. — Подумают, что это марсианская летающая тарелка.

— Четырехугольных тарелок не бывает.

— Это у нас не бывает. А на Марсе?

Мы оба засмеялись. А ковер-самолет уносил нас в светлую высоту, где, как жидкие огоньки, переливались две самые яркие звезды.

## Глава пятая

Я проснулся с улыбкой и жалостью. С улыбкой — потому что целую ночь снился чудесный сон про ковер-самолет. А с жалостью — потому что сон кончился.

Пока не забылись все подробности, надо рассказать его Витальке.

Виталька тихо посапывал, лежа носом к стене. На его заросшем затылке сидел пушистый солнечный зайчик.

Я скрутил в тугую муфту подушку, взвесил ее в руке и прицелился. А для верности левой рукой уперся в пол.

Ладонь легла на что-то шелковистое и удивительно мягкое. Я вздрогнул и уронил подушку. Она упала на шерстяной серовато-коричневый узор.

Ковер лежал на полу между нашими топчанами!

Я, замирая, сполз на него и... захотел подняться до потолка.

Поднялся.

Потом осторожно приземлился на прежнее место.

Значит, сон продолжается?

Не бывает таких снов!

Вот разлохмаченный угол на старом Витальким одеяле. Вот похожие на клочки папиросной бумаги чешуйки кожи на Витальким плече, шелушащемся от загара. Вон идет по стене маленький черный жук, и на его круглой спине блестит солнечная точка. Разве во сне увидишь все с такой точностью?

Я лег щекой на ковер и стал смотреть снизу вверх. На Витальку. Чтобы разбудить его взглядом. Но он не будился.

— Да вставай же! — заорал я. — Это не сон! Понимаешь? Это не сон!

Братцы, за что же нам такое счастье привалило?! Мы от радости были готовы обнять всю землю. Мы хотели всем людям делать только хорошее. И сами хотели быть хорошими.

Мы опять напугали тетю Валю, потому что без всякого грохота спустились по лестнице, а потом добровольно вымыли шеи и уши (с мылом!).

После завтрака мы взяли громадный жестяной бидон и отправились в керосиновую лавку. Это был подвиг, на который мы не могли решиться целую неделю.

Притащив керосин, мы побежали ко мне домой и лихо помогли маме провернуть воскресную уборку. Мама тоже слегка растерялась, а потом заявила, что дружба с Витальким действует на меня облагораживающе. Я захохотал и пихнул Витальку ниже спины. Он сел на меня вер-

хом. Со стены на нас упало жестяное корыто. Мама прогнала нас на улицу.

День только начинался. Мы знали, что это будет чудесный день. Мы не станем теперь торопить время. Вечер все равно придет, и мы опять пустимся в полет!

А до вечера мы будем купаться, гонять футбол, смотреть по телевизору мультики, пускать с крыши бумажных голубей и носиться с ребятами по заросшим травой переулкам — играть в разведчиков. Жизнь прекрасна!

Для начала мы решили сбегать на речку, окунуться. И побежали. И повстречали на углу Ветку.

Так ее звали — не Светка, а Ветка. Она, как и я, перешла в четвертый класс, только училась не со мной, а в параллельном. Девчонка как девчонка — невысокая, худая, волосы по ушам пострижены. Обыкновенные такие волосы — не темные, не светлые, прямые, как струнки. На школьных утренниках она часто выступала с танцами. Я к танцам был равнодушен и к девчонкам тоже. Но она нравилась Витальке. Он мне про это не раз говорил.

— Что в ней хорошего? — спрашивал я. — Она даже и не красивая. Курносая, и рот как у лягушки.

— Жабокряк бесхвостый! При чем здесь красота?

Ну и ладно. Мне-то что?

Ветка шагала, опустив голову и поддавая коленками большую клеенчатую сумку. Из сумки, как зеленые хвосты, торчали перья лука. Если бы я шел один, то не остановился бы. Пробормотал бы «здоро́во», а то и молча прошел бы. Мы ведь почти не знакомы были. Но Виталька быстро заглянул ей в лицо и сказал:

— Что с тобой?

Ветка остановилась, подняла голову. По щекам у нее тянулись следы от слезинок.

— Что с тобой, Ветка? — опять спросил Виталька, будто у хорошей знакомой, хотя она, может, его и не помнила.

Ну и правильно. Раз у человека следы от слез, не все ли равно — знакомый он или нет? Два года назад мы с Виталькой тоже почти не знали друг друга, а он спас меня.

Ветка поглядела на нас, узнала и шепотом сказала:

— Велосипед отобрали.

— Кто?! — сказали мы.

— Да там один... Разиков.

— Из какого класса? — деловито спросил я.

Ветка чуточку улыбнулась большим своим, слегка лягушачьим ртом:

— Что вы... Он большой. Старый. Иван Иваныч...

— Что за Иван Иваныч? — грозно спросил Виталька.

— Ну... человек такой. Раньше он пожарниками командовал, а теперь на пенсии. Ко всем придирается...

Что же это на свете делается? У одних людей счастье, а у других какой-то Иван Иванович Разиков отбирает велосипед! Где же справедливость?

— Почему он отобрал?

— Да я по краешку тротуара проехала, потому что на дороге яма. А он как заорет: «Хулиганка! Правила нарушаешь! А еще девочка! — Схватил за багажник и говорит: — Не отдам, веди родителей!»

— Вот и веди, — сказал я. — Разве они не заступятся?

— Может быть, заступятся, а от мамы все равно попадет. Она не велела на базар на велосипеде ездить.

— А ну, пойдем, — сурово сказал Виталька. — Какое он имеет право!

Ветка послушно повернулась, и мы пошли отстаивать справедливость. Ветка посредине, а мы по краям.

Луковые хвосты щелкали меня по ноге. Я покосился на сумку. Полная и вроде тяжелая.

— Ну-ка, дай сюда.

Ветка удивилась, но отдала. Ого-го! Я перегнулся на один бок. Как она таскает эту тяжесть? И я сразу Ветку зауважал.

Мы дошли до угла, и Ветка вдруг остановилась.

— Вон он, Разиков...

Тощий высокий дядька в старом зеленом пиджаке чинил скамейку у калитки. У него был костлявый лысый череп и хрящеватое лицо.

Мы присели за палисадником.

— Ничего ему не докажешь, — прошептал Виталька. — Помнишь, мы в разведчиков играли, он за Вовкой Рыбиным погнался?

Я помнил.

Ветка растерянно смотрела то на меня, то на Витальку.

— Ничего, — сказал он. — Придумаем. Велосипед он где спрятал?

— Во дворе у крыльца поставил... Туда не проберешься, там такой барбос на цепи...

— Ничего, — опять сказал Виталька. — Сейчас мы тебя проводим, посмотрим, где живешь. А через час машина будет у тебя.

— А как?

— Слушай, — слегка торжественно произнес Виталька. — Вот его зовут Олег Лапников. А меня — Виталий Городецкий. Если мы что-нибудь обещаем, значит, не бойся.

Ветка жила недалеко, в небольшом доме с палисадником, на улице Челюскинцев. Мы дотащили ей сумку и побежали к себе.

Я сразу понял, что задумал Виталька.

— Увидят, — на ходу сказал я.

— Мы незаметно пролетим, под самыми заборами. А потом только разик взлетим, спикируем, схватим велик — и айда!

— А барбос? Он как прыгнет да как схватит!

Виталька перешел с бега на быстрый шаг.

— Боишься? — спросил он.

— Мозги у тебя из гороха, — обиделся я. — Кто боится? Просто все обдумать надо.

— Мы из веревки лассо сделаем. На руль накинем и подтянем. Пускай барбос прыгает.

— Гавкать будет.

— Пускай гавкает.

— Хозяин прибежит.

— Ну и что?

— Что «ну и что»? Крик подымет! А потом жаловаться побежит.

— Кому? — злорадно спросил Виталька. — И что он скажет? «Прилетели два хулигана, схватили велосипед...» — «На чем прилетели?» — «На ковре-самолете!» Ему скажут: «Иди, дядя, в больницу, проверься!»

Я засмеялся. В самом деле, кто поверит?

У нас на вышке среди разного имущества хранился бельевой шнур. Мы вытащили его из-под лежака и сделали на конце петлю. Потом вынесли на крышу ковер и расстелили.

— Я поведу. Я знаю как, — прошептал Виталька.

— Давай.

Мы спланировали во двор, перемахнули через забор в соседний огород и повисли за кустами смородины. Огляделись. Никого поблизости не увидели. Мы заскользили в тени, снова «перепрыгнули» через изгородь. Потом заметили, что в соседнем переулке тоже никого нет, и понеслись по нему вдоль длинного забора, у самой земли, так, что трава шелестела под ковром.

И опять — дворы, огороды, тень заборов и шорох кустов.

Кое-где на грядах возились хозяйки, но они не смотрели по сторонам. Один раз какой-то трехлетний мальчишка радостно завопил:

— Мама, смотри!

Мы, конечно, не стали ждать, когда мама посмотрит.

Двор Ивана Ивановича Разикова был обширный. Дом стоял посреди двора. От крыльца до калитки тянулась проволока, на нее была надета цепь, а на цепи сидел грязно-серый пес громадных размеров и свирепого вида.

Мы скользнули в дальний угол и притаились в тени сарая.

Разикова не было видно. У крыльца стоял голубой мальчишечий велосипед-подросток. Виталька приготовил веревку.

— Поехали!

Мы взмыли на высоту и повисли рядом с крышей, над велосипедом. Тень ковра упала на пса. Он поднял голову, присел, молча прыгнул почти на метр, шлепнулся и зашелся булькающим лаем.

— Тявкай, тявкай, — хладнокровно сказал Виталька.

Он опустил веревочную петлю к рулю и дернул. Петля затянулась на изогнутой рукоятке. Пес бесился.

Виталька стал подтягивать велосипед. Я вдруг испугался, что ковер не удержит лишнюю тяжесть, но он удержал. Даже не шелохнулся.

От калитки, махая молотком, бежал Иван Иваныч.

— Помоги, — сказал Виталька.

Я тоже вцепился в веревку. Мы медленно полетели над двором. Велосипед, вертясь на веревке, двигался в метре от земли.

Разиков хотел ухватить его за колесо, но промахнулся. Только тогда он понял, что происходит невероятное.

— Ай! — громко сказал он и сел, раскинув тощие ноги в шлепанцах.

Мы подтянули велосипед и уложили его на ковер. Иван Иваныч вдруг задребезжал мелким смехом и погрозил нам пальцем. А потом бросил в нас молоток.

Молоток упал обратно и стукнул его по ноге.

Иван Иваныч Разиков тихонько завыл, держась за шлепанец. Так мы его и оставили. Нырнули в соседний двор и прежней дорогой помчались к дому.

Едва мы опустились на своем дворе, как на крыльцо вышла тетя Валя.

— Мальчики! Что вы делаете с ковром?

— Решили его почистить, — торопливо соврал Виталька и зашлепал по ковру ладошками.

— А откуда велосипед?

— Это одной девочки, она просила починить.

— Это прекрасно, — заметила тетя Валя. — Но зачем грязный велосипед укладывать на ковер? Особенно если вы его чистите...

Мы убрали ковер-самолет на вышку. Затем для вида повозились у велосипеда и вывели его за калитку. Виталька сел в седло, а я на раму. Через три минуты мы были на улице Челюскинцев.

— Вет-ка-а!

Она открыла окно и выпрыгнула в палисадник.

— Ой...

Глаза у нее сделались счастливые. Блестящие такие, зеленые глаза. И заулыбалась она так хорошо. Почему это я решил, что у нее лягушачий рот? Нисколечко.

— Как это вы сделали? — тихонько спросила она.

Виталька вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами: «Как хочешь».

— Никому не скажешь? — спросил он у Ветки. — Это такая тайна...

Если бы Ветка начала обещать изо всех сил и давать всякие клятвы, мы бы что-нибудь наврали. Но она просто сказала:

— Что вы! Я не болтливая.

— Ладно, — решил Виталька. — Пойдем.

И стало нас трое.

## Глава шестая

Когда я начал писать эту историю, меня так и подмывало что-нибудь сочинить. Рассказать, например, что однажды мы с Виталькой поссорились и ковер перестал нас понимать. Можно было даже придумать, что, поссорившись, мы разрезали ковер пополам — каждый для себя. И он, разумеется, не стал летать. И мы поняли, что из-за глупой ссоры погубили сказку своего детства. И конечно, помирились, но было уже поздно...

Это был бы поучительный конец.

Но это была бы неправда.

Мы с Виталькой никогда не ругались. Ну, в крайнем случае поспорим немного, обзовем друг друга жабохвостами или еще как-нибудь. Разве это ссора?

И с Веткой мы ни разу не ссорились.

Она оказалась отличной девчонкой. С виду такая тихая, даже испуганная немного, а на самом деле ничуть не боязливая, и характер твердый.

...В тот день мы показали ей ковер-самолет, а в полночь прилетели за ней.

— Ой, я так волнуюсь, — шепотом сказала она, когда выбралась из окна.

— Не пугайся, — успокоил Виталька. — Мы сперва не будем высоко летать, а потом привыкнешь.

Она махнула рукой.

— Я не про это. Вдруг мама проснется...

Мы засмеялись: не полета боится, а мамы.

Она посмотрела на нас по очереди, поворачивая по-птичьи голову на тонкой шее, и тоже засмеялась...

Мы взлетели от Веткиного палисадника прямо в ясное небо. Высоко! И опять мчался мимо нас шелестящий воздух то теплый-теплый, то колючий от свежести. И опять разворачивался внизу город, опоясанный светлой рекой. Черные кораблики мигали красными и зелеными огоньками. На телевизионной вышке горели большие рубиновые огни. А в домах, где еще не спали, и на улицах — огни неяркие, желтые.

Мы остановили полет. Воздух перестал шуметь и трепать наши рубашки. Ласковый и мягкий, он окутывал нас и согревал. И было тихо-тихо.

Мы взяли Ветку за горячие ладошки, и она встала рядом с нами

— Какая красивая земля, — сказала она. — И небо. Небо даже лучше...

За рекой, над темным туманом лесного горизонта, светила желтая зорька. Над ней повисло прозрачное облако, а чуть в стороне от него — еле видный, похожий на серебряную нитку месяц. А выше, где небо было синевато-серым, полыхали две белые звезды.

Мы медленно-медленно поплыли вверх.

— А я учила для праздника танец «Звездочка», — вдруг шепотом сказала Ветка. — Знаете, почему я вспомнила? Потому что эти звезды увидела.

— А ты станцуй, — серьезно сказал Виталька. — Если «Звездочка», значит, это танец для неба.

Она не стала по-девчоночьи отнекиваться и стесняться. Только сказала:

— Как же без музыки?

— А ты вспомни, — посоветовал я, — и представь, будто играет.

— Я-то представлю... А вы?

— Мы тоже.

— А... вы это по правде? Смеяться не будете?

— Ты что! — сказал Виталька.

Мы отодвинулись на край ковра-самолета. Ветка встала на другом краю. Он сразу же заботливо приподнялся.

Конечно, ей было страшно с непривычки на такой высоте. Пока мы держали ее за руки — еще ничего, а сейчас она одна оказалась среди пустоты. Огоньки да небо... Но она была храбрая девчонка. И может быть, она в самом деле представила себя звездой. Или ей подумалось, что это сон, а во сне страх высоты иногда пропадает.

Сначала Ветка постояла, обняв себя за плечи, а потом вскинула руки и закружилась. Я не знаю, хорошо ли она танцевала. И музыки никакой я представить не мог. Ветка была в желтом платьице, и казалось, что громадная светлая бабочка трепещет над кромкой ковра-самолета...

Ну, бабочка так бабочка. Все равно я на всю жизнь запомнил, как в негаснущем небе летней ночи, высоко-высоко над уснувшей землей, танцует девчонка...

Слегка запыхавшись, она села рядом с нами.

— Ты молодец, — сказал Виталька.

И я тоже сказал, что Ветка молодец. И было заметно, что она обрадовалась. Она отдышалась и весело заговорила:

— Если я буду большая и сделаюсь балериной, всем буду рассказывать, что танцевала «Звездочку» в настоящем небе... Ой! — Она испуганно посмотрела на меня и на Витальку. — Не буду, честное пионерское. Я только на минутку забыла, что это тайна.

— Рассказывай, — разрешил Виталька. — Тогда уже будет можно... А ты правда будешь балериной?

Ветка шевельнула остреньким плечом.

— Я понимаю: про это почти все девчонки мечтают. Только это ведь очень трудно. Это на сцене кажется, что легко и красиво, а на самом деле такая работа... Каждый день... Я не знаю, получится ли...

— Получится! — сказал Виталька.

Мы летали каждую ночь. Иногда с Веткой, иногда одни. Ветка все-таки боялась, что дома узнают про ее ночные приключения. Отец у нее был спокойный и добрый, а мамаша — сердитая. Даже не верилось, что Ветка — дочь этой крикливой краснолицей тети.

Мы понимали, что Ветке может крепко влететь, и поэтому не каждый раз брали ее в полеты.

Не думайте, что мы просто катались над городом, на высоте. Мы испытывали ковер-самолет. Во-первых, на быстроту. Мы ложились ничком, крепко хватались за передний край ковра и наращивали скорость. Скорей, скорей, скорей! Встречный воздух становился обжигающим и холодным. Он пытался содрать с нас одежду, а самих нас оторвать от ковра и сбросить на землю. Виталька называл такую быстроту «ухоотрывательная скорость».

Долго с такой скоростью мы лететь не могли — захлебывались ветром и уставали. Начинали болеть уши.

Один раз мы предприняли высотный полет. Натянули свитера, лыжные брюки, зимние шапки и рванули с крыши прямо в зенит.

Сначала было все как раньше. Но мы уходили выше и выше. Мы не боялись, потому что верили в полную надежность ковра-самолета, но все же сердце стучало у меня чаще и чаще. Может быть, потому, что воздух становился реже?

Не знаю, высоко ли мы поднялись. Ведь приборов у нас не было. Город с высоты выглядел почти как и в прежних полетах, только огни телевышки ушли далеко вниз и смешались с другими огоньками. Горизонт сделался совсем расплывчатым и начал выгибаться вверх, словно край громадной чаши. Над этим туманным краем невозмутимо висел тонкий месяц, такой же, как всегда.

Стало трудно дышать, и воздух сделался холодным, даже зимой запахло. Ледяной холод стал просачиваться сквозь свитера. Несколько минут мы еще упрямо летели вверх, потом Виталька выдохнул:

— Хватит... Ковру-то что! Он, наверно, и до Луны долетит, а мы...

— Если бы высотные скафандры достать... Тогда хоть в космос... — пробормотал я и стукнул зубами.

— Где их взять...

Высотный скафандр — не маскарадный костюм. Из картона не склеишь. Мы это понимали.

Ну что же, ковер был не виноват. Мы сами не могли дальше подниматься. Даже у летчиков есть свой потолок.

И мы круто пошли вниз: в теплый воздух, к ласковым деревьям, к огонькам в домах, к доброй земле, без которой мы не могли жить...

...Несколько раз мы встречали в небе восходы.

Горизонт был размытым и сливался с небом, по краям которого лежали слоистые облака. Они сначала были светло-серыми и сизыми, а потом делались разноцветными — золотистыми, оранжевыми, бордовыми. А некоторые, наоборот, темнели и становились густо-лиловыми. Потом из-за самого нижнего облачного слоя вырастала малиновая горбушка солнца. Она быстро светлела, делалась ослепительной и выбрасывала в середину неба прямые белые лучи. И незаметные облака в зените сразу наливались солнечным светом.

И к нам прилетали лучи.

— Ура! — кричали мы, а потом Виталька вскакивал и начинал петь.

Он сам тут же придумывал песню:

Мы летаем над городом,
и никто нас не достанет!
Потому что мы летаем выше всех!
Да здравствует солнце,
потому что мы его увидели
самыми первыми!
Мы летучие бродяги,
потому что умеем догонять ветер!
У нас уже солнце,
а в городе еще темно!
А здесь уже утро!

Город и в самом деле еще спал в предрассветных сумерках. Лучи не касались крыш, и даже высокая колокольня была в тени.

А у нас было солнце!

Виталька, оранжевый от лучей и загара, стоял на краю ковра, махал руками и пел свою песню.

Один раз я подумал, что Виталька похож на веселого петуха, который раньше всех встречает песней рассвет. Я это не с насмешкой подумал, а с радостью. У Витальки горели от солнца волосы.

Виталька — Золотой петушок...

Тетя Валя изумлялась:

— Сколько можно спать? Я не могу вас добудиться!

Еще бы! Мы засыпали на рассвете.

Если даже мы летали недолго и укладывались пораньше, то все равно не могли сразу уснуть. В каждой жилке у нас звенела радость полета. Каждая клеточка кожи, обдутая теплым ветром, была словно прошита электриче-

ством. Закроешь глаза — и начинает опять поворачиваться перед тобой громадная земля с огоньками, рекой и темными лесами по краям. Зашуршит сверчок — и кажется, что тихонько смеется Ветка...

Во время завтрака мы чуть не падали головами в тарелки, и тетя Валя опять пугалась:

— Что с вами происходит?

Один раз Виталька мотнул головой, чтобы стряхнуть с волос крупинки гречневой каши, и строго спросил:

— Тетя Валя, а что бы ты сказала, если бы у нас появился ковер-самолет?

Я обмер.

Тетя Валя усмехнулась:

— Я сказала бы: не забывайте чистить его. Вы ужасные неряхи...

— Нет, я серьезно, — сказал Виталька, не обращая внимания на мои пинки под столом. — Ты сильно испугалась бы?

Тетя Валя внимательно посмотрела на Витальку и задумчиво сказала:

— Я не испугалась бы. В детстве у многих бывает свой ковер-самолет. У тех, кто сумеет найти...

— А у тебя был?

Тетя Валя засмеялась, нажала Витальке на нос указательным пальцем и вышла из комнаты. Виталька повернулся ко мне:

— Ну вот. А ты лягаешься.

— Все-таки не стоит ей пока говорить, — сказал я. — Это она сейчас так рассуждает, пока не знает. А увидит нас в полете и перепугается.

— Это я и сам понимаю. — согласился Виталька.

Сначала мы боялись улетать от города, но дальние леса манили нас. И один раз мы решились. Пролетели над рекой (в ней проплыло наше черное отражение), скользнули над лугами низкого берега и пошли над верхушками совершенно темного, молчаливого леса. Внизу было непроглядно и тихо, но казалось, что кто-то большой спит и еле слышно дышит под ветвями. Самые старые сосны и ели поднимались над лесом, как башни заколдованного города. Среди этих башен плыла слева от нас желтая половинка луны.

Один раз под нами прошумел крыльями филин.

Наконец мы разглядели внизу свободное от деревьев

место и опустились на траву. Темные стволы и кустарники обступили нас. Виталька включил фонарик и смело шагнул в неизведанное. Он тут же ойкнул и опять заскочил на ковер. Обиженно сказал:

— Стоило лететь из дома! Крапивы и на дворе хватает.

Откуда здесь крапива? Это не лесное растение, оно жмется ближе к домам.

Мы поводили фонариками и разглядели среди деревьев странную круглую постройку. Перелетели ближе. Это была полуразрушенная эстрада над прогнившей танцевальной площадкой. Видимо, недалеко был дачный поселок, а мы попали в уголок заброшенного лесного парка.

— Вот тебе и джунгли, — разочарованно сказал я.

Мы перелезли через перила. Площадка была устроена не на возвышении, как обычно, а прямо на земле. Сквозь гнилые доски проросла трава. А в одном месте поднимался на тонком стебельке маленький пунцовый цветок — пять зубчатых лепестков с темными крапинками. Это была, наверно, дикая гвоздика, а мы такие цветы называли «часики». Ходили слухи, что можно по ним узнавать время, но как — никто не знал.

«Часики» нас обрадовали. Нам казалось, что это не простой цветок, а загадочный аленький цветочек из сказки. Правда, никакого чуда не случилось. Мы просто вернулись в город и бросили цветок в форточку Ветке. Пусть удивится...

— Путешествовать надо днем, — сказал Виталька. — Ночью все равно ничего не видать.

— Точно, — согласился я. — И можно к черту на рога залететь, а не то что в крапиву.

Мы стали думать, как быть.

Проще всего, конечно, улететь к лесу до восхода, пока город спит. А как встанет солнце — отправляться в путешествие по лесам. Там уж никто не увидит, а если и увидит — не поверит своим глазам.

Но попробуйте исчезнуть до завтрака. Тетя Валя постучит в потолок, а нас нет. Ого!

Виталька придумал. Он сказал, что можно летать и днем. Надо только выбирать переулки, где меньше людей, и лететь над самой землей, по верхушкам травы. Если кто окажется близко, надо плюхнуться на траву — будто

просто сидим на ковре. А если спросят, можно сказать: понесли в химчистку и решили отдохнуть по дороге.

А может, и не спросят.

Ведь никто нас не заметил, когда мы летали выручать Веткин велосипед.

Мы решили рискнуть и попробовать. После завтрака стартовали с нашей крыши, махнули через забор и полетели по Якорному переулку. Ниже палисадников, над самыми одуванчиками, растущими вдоль тротуаров.

Несколько раз и правда приходилось «отсиживаться» на траве. Прохожие не обращали на нас внимания. Ну в самом деле, что особенного? Сидят у калитки двое мальчишек на старом ковре. Наверное, мать велела вытащить на улицу и почистить, а они балуются...

Потом переулок совсем опустел, мы осмелели и полетели к перекрестку прямо над дорогой.

Тишину резануло милицейским свистком. От неожиданности мы остановились. Откуда он взялся, этот милиционер?

— Нарушаем? — не совсем уверенно сказал он.

Мы сперва втянули головы в плечи. Но милиционер был молодой и, кажется, не очень строгий. Виталька довольно нахально спросил:

— Как это нарушаем? Мы по правой стороне двигались.

— А права у вас есть?

— Какие права? Это же не автомобиль!

— А что это? — язвительно спросил милиционер. — Телега? Тогда где лошадь?

— А если автомобиль, тогда где колеса? — сказал Виталька.

Мы висели в полуметре от земли. Милиционер заглянул под ковер, выпрямился и заморгал. Тихо спросил:

— Как это вы, парни? А?

— На воздушной подушке, — нашелся Виталька.

— И еще эта — антигравитация. Которая против тяжести, — добавил я.

— Разве изобрели уже? — с уважением спросил милиционер. — Я думал, это пока фантастика... Вы из Дома пионеров?

— Ага, из кружка юных техников, — бойко сказал Виталька. — Пробную модель испытываем.

— Ну... вы осторожнее... На проезжей-то части не болтайтесь зря.

— Ладно, не будем! — весело крикнули мы и устреми-

лись к дому. А милиционер остался на углу, полный уважения к современной науке.

— Нет, уж лучше на высоте летать, — сказал Витальк а. — Если повыше забраться, может, и не заметят. Взрослые вообще редко в небо глядят, у них на земле забот полно.

— А ребята? — сказал я.

— Ну и что... Ну, подумаешь, летает что-то квадратное... Может, змея запустили!

— Без хвоста?

— Ну, сделаем хвост! Долго, что ли?

Это была мысль!

Мы разодрали на полосы старый мешок и соорудили хвост, как у правдашнего воздушного змея, только громадный: метров пятнадцать длиной. Пришили его к углам ковра толстыми нитками.

Было страшновато: вдруг ковер-самолет обидится на уколы толстой иголки или мы его нечаянно повредим. Поэтому шили, взлетев над полом. Мы думали, что, если ковру не понравится наша выдумка, он сразу приземлится. Но ковер перенес операцию не дрогнув.

Я оставил Витальку на крыше, а сам взлетел и поднимался, пока Виталька не сделался крошечным, как солдатик из картона. Из-за лесов шел теплый плотный ветер. Он подхватил хвост из мешковины, развернул его и заполоскал.

Я впервые оказался на такой высоте под солнечным небом. Громадная зеленая земля распахивалась на тысячи километров. Она была яркая и веселая. Мне все-все хотелось рассмотреть. Но Виталька-лилипутик скакал на нашей крошечной крыше и махал руками: спускайся скорей!

Пришлось спускаться.

— Здóрово! — крикнул он. — Как настоящий змей! Только зачем ты уселся на край? Разве на змеях кто-нибудь сидит?

Мы решили позвать Ветку и отправиться в первый большой полет при свете дня.

Но Ветка прикатила сама. Она позвякала у калитки велосипедным звонком и крикнула:

— Видели, какой змей летает?!

Мы расхохотались. «Змей»! Вот потеха! Значит, правда похоже.

— Вы чего? — удивилась Ветка.

— Это не змей! — радовались мы. — Не змей! Понятно?

— Как это не змей? Смотрите сами. Да не туда смотрите! Вот там!

Мы озадаченно повернулись.

На фоне кучевых облаков парил пестрый прямоугольник с тонким раздвоенным хвостом.

## Глава седьмая

Бумажный змей в небе — вещь обычная. Многие ребята у нас этим делом увлекались. Поэтому Виталька и я не удивились. А Ветка сказала:

— Здорово, да? Красивый какой...

Змей и правда был красивый. Большой, с красными и желтыми узорами. И держался в небе он ровно, без рывков. Почти неподвижно.

Ну и что? Мы, если бы захотели, не хуже могли сделать.

Но Ветка сказала опять:

— Давайте посмотрим, кто запустил.

— Зачем? — слегка ревниво спросил Виталька.

— Ну... интересно же.

— Чего интересного? Не все ли равно кто...

Но у меня мелькнула тревожная мысль:

— Слушайте, а если он видел, как я взлетал? Он же сидит и в небо смотрит.

Виталька растерянно посмотрел на меня.

— Верно... А что делать?.. Ну и пусть! Если видел, то подумал, будто это тоже змей. А может, и не видел: он в другую сторону смотрит.

— Вот и надо разведать: видел или не видел, подумал или не подумал!

Разведать — это дело. Это похоже на приключение. И Виталька сразу согласился.

— Бежим! — обрадовалась Ветка и прыгнула к своему велосипеду.

— Хитрая, — сказал Виталька. — Сама на колесах, а мы — бежим? Пошли лучше на вышку, у нас телескоп. Лезь сюда.

Ветка по лестнице забралась на крышу, а потом через окно мы влезли в нашу «каюту».

В телескоп казалось, что змей рядышком — прямо за окном. Даже подтеки акварели и капельки клея были видны. Даже узелки на уздечке из суровых ниток...

— Правда ведь красивый? — сказала Ветка. — Дай, я тоже посмотрю.

Потом стал смотреть Виталька. Он разглядывал змея недолго. Шевельнул трубу и плавно повел ее в сторону и вниз. Я понял, что он скользит объективом по нитке.

Труба остановилась, шевельнулась, замерла. Виталька смотрел несколько секунд, потом почему-то заулыбался и, улыбаясь, сказал:

— Вот он... Незнакомый какой-то. Ага?

Я глянул в окуляр.

Конечно, я помнил, что в телескопе все наоборот, но в первый миг все-таки вздрогнул: на перевернутой крыше стоял вниз головой и смотрел в опрокинутое небо желтоволосый мальчишка. Мне показалось, что сейчас он ухнет в голубую пропасть. Но перевернутый мальчик стоял прочно, словно его старенькие полукеды примагнитились к тесовому скату.

Он шевелил пальцами и локтями, перебирая нитку, и, кажется, что-то шептал. На нем была ярко-зеленая расстегнутая рубашка-распашонка. Ветер прижимал ее к спине мальчишки, а свободные края полоскались в потоках воздуха.

Мальчик был похож на зеленый флажок или маленькое деревце под ветром. А ростом он казался вроде нас.

Телескоп наш был хотя и старенький, но сильный. Он выхватил незнакомого мальчишку из километровой дали и придвинул к нам почти вплотную. Я смог разглядеть даже родинку на мочке уха и царапину на щеке. Только глаз его я не видел, потому что он стоял к нам боком и чуть затылком.

И вдруг он оглянулся. Наверное, его окликнули. Он улыбнулся и что-то ответил. Мне показалось, что у него очень славное лицо, но как следует разглядеть я не мог, потому что все, что мы видели, было опрокинуто. А мне отчаянно захотелось разглядеть!

Раз нельзя перевернуть изображение, я решил перевернуться сам. Оперся о Виталькино плечо, прыгнул на подоконник и повис над телескопом вниз головой.

Голова перетянула. Я не удержался и загремел на пол вместе с телескопом. Брякнулся о доски лбом. Так, что в глазах целый салют вспыхнул.

Мотая головой, я сел на полу.

— Ой... — тихо сказала Ветка.

Я молча взял медную трубу и приложил к шишке на лбу. Но Виталька отобрал у меня телескоп. Сказал, что от шишек не помирают. Он опять установил наш прибор на подоконнике и стал наблюдать сам.

— Смотрите-ка! — сказал он (хотя мы, конечно, не могли смотреть). — Он нитку к антенне привязал, а сам спускается...

— Значит, обедать пошел, — подала голос Ветка. — Он в это время всегда обедает.

Я забыл про шишку. Виталька оторвался от телескопа.

— Откуда ты знаешь? — спросили мы хором.

— А... — начала Ветка и покраснела так, что мы тут же отвернулись. — А я... — сказала она. — Ну... я один раз... шла и видела... Он с крыши самолеты пускал. А его позвали.

Мы с Виталькой переглянулись. «Один раз»! А сама говорит: «Всегда в это время обедает»...

Можно было припереть Ветку к стене двумя-тремя вопросами. Но мы опять посмотрели друг на друга: «Зачем?» И, хотя стало нам грустновато, мы не подали вида. Виталька лишь спросил:

— А как его звать?

— Саня... или Саша. Ну я не знаю! — опять спохватилась она. — Я же только чуть-чуть слышала.

Виталька тряхнул заросшей головой и весело взглянул на меня:

— А давайте узнаем! Давайте все вместе познакомимся с этим человеком! Сперва удивим, а потом познакомимся!

Ветка, конечно, познакомиться очень хотела. Я тоже. Мне с первого взгляда этот мальчишка понравился. Но зачем его удивлять? И как?

— Пока он дома сидит, давайте слетаем к змею и записку к хвосту привяжем, — объяснил Виталька.

— Давайте, — обрадовалась Ветка.

— А вдруг он увидит? — сказал я.

— «Вдруг-вдруг»! — досадливо сказал Виталька. — Если бояться, то всю жизнь в темноте просидим.

Я пожал плечами. Я ведь просто так спросил. В конце концов, пускай видит. От хорошего человека чего прятаться?

На половинке тетрадного листа мы нацарапали вот что:

*Мы хотим с тобой*
*познакомиться.*
*Как тебя зовут?*
*Напиши на змее.*

*Летучие Бродяги*

Из этой записки и нитки мы сделали бантик — вроде тех, какими играют с кошками.

Ветку мы попросили следить за крышей в телескоп, а сами выбрались из окна, улеглись на ковре и рванули в солнечное небо. К змею.

Мы совсем забыли, что ковер-самолет тоже должен изображать бумажного змея. Если бы кто-то разглядел нас в небе, то страшно изумился бы: змеи не летают с такой бешеной скоростью. Но мы спешили, мы думали только об одном: лишь бы незнакомый мальчишка раньше времени не увидел нас.

С высоты мы не могли отыскать глазами его крышу и не знали, там он или нет. Да и некогда было разглядывать землю. Мы подлетели к змею. Большой, красно-желтый, горящий на солнце, он почти неподвижно стоял в воздухе и лишь слегка шевелил хвостом. Виталька ухватил мочальный конец с грузиком из камешка, проволочным крючком прицепил к нему записку. Змей дернулся, возмущенно вырвал хвост и опять замер в потоках ветра. А мы понеслись вниз.

— Все в порядке! — крикнула из-за телескопа Ветка. — Он не появлялся!

Мы стали ждать.

Мальчик в зеленой рубашке выбрался на крышу минут через двадцать. И спокойно уселся рядом с шестом антенны, к которому была привязана нитка змея. Мы даже рассердились: неужели он не видит записку! Ведь клочок бумаги горел как белая искра на хвосте у змея.

— Ага! — обрадованно сказал Виталька.

Он как раз наблюдал в телескоп. Я тут же отжал его в сторону и приник к окуляру.

Мальчик стоял и торопливо сматывал нитку.

— Змей спускается, спускается! — заволновалась Ветка и оттерла меня от телескопа. — Ой, спустился... Большой какой... Ой, он записку отвязывает...

— Перестань ойкать и рассказывай толком, — велел Виталька.

— Он читает... Ой, он удивился! Смотрит кругом, будто нас ищет... Ой, опять читает. Опять смотрит... А теперь с крыши слезает вместе со змеем...

— А вдруг он испугался? — встревоженно сказал Виталька.

— Вот еще! — слегка обиженно откликнулась Ветка.

И я был с ней согласен. Я лишь мельком видел этого мальчишку, но сразу понял, что он ни капельки не боязливый. И мне все больше хотелось с ним познакомиться.

Он был такой же, как мы...

— Посмотрим, — сказал Виталька.

И мы стали смотреть. Ждать.

Ждали полчаса.

Змей поднялся опять. Он взлетел ровно и быстро, словно у него был двигатель. Мы снова стукнулись головами у окуляра.

На желто-красных узорах змея чернели крупные буквы:

САША ВЕТРЯКОВ.

— А теперь что? — нетерпеливо спросила Ветка. — Опять, что ли, записку к хвосту привязывать?

Виталька задумался:

— Нельзя два раза одно и то же... Давайте ему ночью письмо оставим.

— У, это долго, — заспорил я, и Ветка посмотрела на меня с благодарностью.

Но Виталька сказал:

— До завтра подождать — это недолго. Зато интересно будет.

Мы сочинили такое послание:

*Если хочешь познакомиться, приходи в двенадцать часов дня на угол Якорного и Первомайской.*

*Летучие Бродяги*

Ночью мы с Виталькой отправились в полет и отыскали дом, где жил хозяин змея. Наше письмо было привя-

зано к старой лыжной палке. Палка с шелестом ушла вниз и воткнулась в деревянную крышу рядом с антенной.

Мы были уверены, что мальчик придет. А он не пришел. И мы расстроились. Особенно Ветка. Мы брели к дому и хмуро молчали.

Вдруг Ветка обрадованно сказала:

— Какие мы бестолковые! А вдруг он сегодня на крышу даже и не лазил и палку не видел? Не каждый же день он змея запускает!

Правильно! Как мы не подумали?

Мы разом глянули в небо, чтобы убедиться, что нет никакого змея.

Змей был. Только не такой, как вчера. Белый, с черными точками.

Мы бросились к телескопу.

На просвеченной солнцем бумаге змея чернели слова:

Я ХОЧУ, НО НЕ МОГУ.

Мы переглянулись.

— Раз не может, идем сами, — сказал Виталька.

Дом стоял на улице Лесосплавщиков. Обыкновенный старый дом со ставнями, покосившимися воротами и овальной жестянкой старинного страхового общества на этих воротах. А над домом трепетал зеленый флажок — это дежурил на крыше маленький хозяин змея. Он нас не видел, потому что стоял к нам спиной и смотрел на змея.

Мы встали шеренгой на краю дороги. Мы с Виталькой по бокам, а Ветка посредине. Вопросительно глянули друг на друга: дальше что? Ветка почему-то отвернулась и засмеялась. Тогда Виталька отчетливо сказал:

— Саша Ветряков!

Тот сразу повернулся, и рубашка взлетела у него за спиной, как зеленые крылья.

Он улыбнулся. Сперва чуть-чуть, потом сильней, потом еще сильней. И стало сразу видно, что хороший он человек.

— Это вы? — сказал он и шагнул к самому краю. И отпустил нитку.

Змей, кувыркаясь, пошел к земле.

— Это мы, — серьезно сказал Виталька. — А зачем змея-то бросил?

— Пускай, — сказал Саша Ветряков. — Теперь все равно, раз вы пришли... Это вы — Летучие Бродяги?

По хлипкой приставной лестнице, стоявшей у крыльца, мы забрались к нему на крышу. Саша сказал, что ему на землю нельзя.

— Почему нельзя, Саня? — спросила Ветка, забравшись наверх.

Она сразу повела себя с ним как со знакомым. И звать его стала Саней, а не Сашей. Наверно, ей казалось, что это имя ему больше подходит.

Он за весельем постарался скрыть смущение. Сморщил переносицу и беззаботно объяснил:

— Такая жизнь получилась... Я у бабушки полиэтиленовую пленку изрезал, думал — она ненужная, а она для теплицы. Бабушка даже и не ругалась, а мама говорит: будешь три дня дома сидеть и с крыльца — ни шагу. Вот я на крыше и живу. На крыльце какая жизнь?

Ветка осторожно глянула во двор и отодвинулась от края.

— А нам не попадет от твоей мамы и бабушки? Скажут: чего забрались на чужую крышу?

— Во-первых, не скажут. А во-вторых, их нет, они на два дня к другой бабушке в деревню уехали.

— А тебя одного оставили? — спросила Ветка.

— А чего? Я привык. Я в Ленинграде часто один жил.

— А если один, то чего сидишь взаперти? Никто же не видит, — опять заговорил Виталька.

Саня посмотрел на нас нерешительно, будто боялся: вдруг засмеемся?

— Ну, понимаете... Раз уж так вышло... Понимаете, я как будто слово дал...

— Понятно, — торопливо сказал Виталька. — Это я так просто спросил... А на крыше, оказывается, тоже жить можно.

На крыше было неплохо. Нас обдувал теплый ветер, и крепко жарило солнце. На крутом скате, у печной трубы, устроена была скамеечка. От крыши пахло прогретым деревом, от кирпичной трубы — известкой и сажей, но сильнее всего были запахи мокрого песка и теплой полыни — они прилетали с ветром от речного берега.

Саня сидел между мной и Веткой и по очереди поглядывал на нас. Наверное, не знал, как начать разговор.

— Почему мы тебя раньше не видели? — спросил я. — Мы на здешних улицах всех знаем. Ты из Ленинграда приехал?

Саня Ветряков кивнул.

Он приехал из Ленинграда. Он там с родителями жил, пока они учились в институте. В этом году они кончили учиться и приехали работать на нашу судоверфь. Но отец у Сани, едва начав работать, опять уехал: его послали на соревнования. Он был мастер спорта, мотогонщик.

— Он и в Ленинграде больше ездил, чем учился, — весело сказал Саня. — Мама говорит, что он диплом писал в седле мотоцикла...

Так мы сидели и болтали, но в нас росло удивление. Виталька наконец нагнулся вперед и глянул на меня озадаченно и нетерпеливо. Я его понял.

— Слушай, Ветерок, — сказал я. — А почему ты даже не спрашиваешь, как мы записку к змею прицепили?

Я не знаю, как у меня вырвалось это имя. Про себя-то я его Ветерком сразу назвал, когда первый раз увидел. Потому что весь он трепетал в потоках ветра, летучий был и тонкий, и круглое имя Саша ему не подходило. Но назвать его придуманным именем вслух я не решался. Это само собой получилось.

У Ветерка были чуть приподнятые брови, словно он все время немного удивлялся и спрашивал: а вы со мной не шутите? А теперь он распахнул глаза и удивился изо всех сил.

— Почему... ты так сказал?

Я от неожиданности засмущался, как девчонка, и что-то забормотал. Саня улыбнулся и признался:

— Меня в школе звали Ветряк.

— Какой же ты «ветряк»? — сказал Виталька. — Ветряк — это вот! — Он встал и замахал руками, изображая мельницу. — Олег лучше придумал.

С тех пор мы с Виталькой всегда звали его Ветерком.

— А про записку я сразу догадался, — сказал Ветерок. — У вас такая управляемая модель есть, да? Со специальным приспособлением. Да?

Мы втроем переглянулись и закусили губы, чтобы не расхохотаться. И Виталька торопливо согласился:

— Ну да. Управляемая.

— Мы тебе скоро покажем, — пообещала Ветка.

— Я тоже модели делал, — сказал Ветерок и вздохнул. — Только с крыши их пускать плохо, они не возвращаются. А змей возвращается... А иногда на больших змеях люди летают, я в кино видел. Вы видели?

— Мы еще и не такое видели... — гордо начал я, но за-

молчал под недовольным взглядом Витальки. Он решил, что я хвастаюсь.

Ветерок оторвал от крыши плоскую щепку, подбросил и смотрел, как ее крутит ветер. Потом осторожно сказал:

— Я думаю... Если построить большую модель... Ну, совсем большую, метров пять длиной! Наверно, можно взлететь на ней, как на самолете?

— Тогда это и будет самолет, а не модель, — сказал я.

— Самолет построить трудно. А модель можно, даже большую... А потом приделать сиденье и ручку управления...

Он слегка прищурился, глядя перед собой, поджал ноги, поставил пятки на скамейку и на высоко поднятые коленки положил сжатые кулаки — словно взялся за рогатый штурвал самолета...

Все было понятно. Потому что каждый из нас тоже о чем-то мечтал, тоже хотел кем-то быть. Ветка — балериной, Виталька — художником. Я — только моряком или в крайнем случае морским десантником.

А Ветерок хотел водить самолеты.

Я подумал, что каждый из моих друзей старается, чтобы мечта сбылась. Ветка занимается в кружке и разучивает танцы. Виталька рисует картины. Ветерок строит модели. Только я бездельничаю и даже толком не знаю, как готовятся в моряки. Все откладываю на потом. Нет, пора! Завтра же начну делать зарядку и учить морские узлы.

От беспокойных мыслей меня отвлек Ветерок. Он стал рассказывать, как в прошлом году записался в кружок юных летчиков в районном Доме пионеров.

— Говорили, что там все настоящее... Ну, там правда настоящие костюмы для высотных полетов. И кабина в комнате сделана, как в настоящем самолете. Но только это все на земле. А летать никому не дают, даже старшим.

— Ребятам не разрешают управлять самолетами, — сказал Виталька.

— А почему?! — вскинулся Ветерок. — Разве это нельзя? Помните кино «Последний дюйм»?

Еще бы! Мы его три раза смотрели. Это фильм про мальчишку вроде нас. Он был сыном летчика и сам вел самолет, потому что отец его оказался ранен, когда дрался в море с акулами. Но это — кино...

— Я его тоже три раза смотрел, — признался Ветерок. — И еще могу сто раз...

— А давайте! — предложила Ветка. — Сегодня вечером.

Он в Зеленом театре идет, этот фильм. У меня мама сегодня как раз во вторую смену работает, я свободная.

— На вечерний сеанс не пустят, — сказал я.

Ветка с сожалением глянула на меня и крутнула пальцем у виска.

— Там же кино без потолка. А кругом березы. За ветками нас не увидят.

— Мне все равно нельзя, — грустно сказал Ветерок.

— Тебе можно, — решительно сказала Ветка. — Тебе что говорили? Не ступать с крыльца на землю. Ты и не ступишь, не бойся!

## Глава восьмая

Сначала он не верил. Ну а кто поверил бы?

Даже когда мы принесли свернутый в трубку ковер и расстелили среди одуванчиков, которыми порос двор, Ветерок улыбался понимающе и чуть виновато. Он словно говорил: «Я вижу, что вы шутите, вы хотите меня развеселить. Но зачем уж так сильно стараться? Даже ковер притащили...»

— Садись, — сказал Виталька.

Ветерок неловко улыбнулся, шагнул с крыльца на ковер и сел.

— Не пугайся, — предупредил я.

Мы поднялись на полметра и пошли бреющим полетом, поднимая за собой вихрь из семян одуванчиков. Ветерок не крикнул, не бросился с ковра. Только ресницы у него распахнулись широко-широко, и он крепко взял меня за локоть.

Это был замечательный день. Это был праздник в честь того, что у нас появился новый друг. Праздничными казались трава, солнце, пухлые облака и шумливые кусты рябины у забора. И все на свете. В нас кипела радость. Мы летали над широким двором, выписывали сложные фигуры, несколько раз взмывали с крыши в высоту, прошитую горячими лучами. Ковер-самолет неутомимо носил на себе нас четверых.

Лишь одно слегка огорчало нас: у Ветерка не получалось управление ковром-самолетом. У Ветки это тоже не получалось, но она и не горевала нисколечко, а Ветерок расстраивался. Он снова и снова пытался заставить лететь ковер как надо, но тот или скользил куда-то вбок, под забор, или просто едва приподнимался и падал.

— Ничего, — утешали мы с Виталькой Ветерка. — Привыкнешь и научишься.

— Научусь.

Налетавшись, мы опять устроились на крыше и завели разговоры. Про что? Про жизнь — про самолеты и пароходы, про бумажных солдатиков и австралийских кенгуру, про марки и атомную энергию, про школу и спутники...

Потом наступил светлый вечер.

Это, наверно, красиво звучит: «светлый вечер». Но нам хотелось, чтобы он был потемнее. Нам нужно было добраться до городского сада и устроиться среди густых березовых крон позади эстрады. Оттуда мы отлично посмотрим весь фильм.

Того, что среди веток могут оказаться другие зрители, мы не боялись. Стволы берез были прямые и гладкие, с земли по ним не заберешься.

— Пора лететь, — сказал Виталька.

Мы уселись на ковре. Ветка строго следила, чтобы Ветерок не нарушил запрета и не ступил случайно на землю. Он не нарушил: как и днем, прыгнул со ступеньки прямо на ковер.

Пришлось лететь над самой землей, выбирая тихие переулки. Хвост мы свернули и уложили на ковре, чтобы не цеплялся за траву. Несколько раз при виде прохожих мы приземлялись и делали вид, что просто играем. Прохожие пожимали плечами: что за игры на ковре посреди улицы? Наконец мы ловко взлетели на крышу трехэтажного дома, который стоял через дорогу от сада. Оттуда, выбрав момент, стремительно пронеслись над мостовой, над чугунной решеткой, кустами, клумбами и врезались в чащу березовых веток.

Мы оказались как в зеленом шалаше. Землю не было видно сквозь заросли. А вверху между листьями светлело небо. Экран закрывали от нас ветви, но мы слегка продвинулись вперед, пару веток обломили, и все получилось как надо. Начался фильм...

Опять над желтой пустыней и синим морем качался маленький самолет. Опять распахивались на экране голубые глубины моря с яркими стаями тропических рыб и злыми силуэтами акул. Опять десятилетний мальчик Дэви, надрываясь, тащил к самолету раненого отца, а беспощадная песня об одиночестве гремела над равнодушными песками.

Мальчик этот был наш товарищ. Мы всей душой были вместе с ним, каждый шаг его отдавался в нас то болью, то радостью. Мы знали наизусть каждый кадр, но снова

нас охватило счастье, когда Дэви поднял в воздух самолет...

Мы не заметили, что стало темно. Так темно, как не бывает у нас летом самой поздней ночью. И лишь когда капля, похожая на холодную виноградину, шлепнула меня по шее и покатилась за воротник, я вздрогнул.

Налетел неожиданный дождь. Он защелкал по листьям, пробил их шелестящую крышу и ударил по нашим плечам и спинам. По ковру.

Стеклянные дождевые нити вспыхнули в луче кинопроектора. В открытом кинозале поднялся шум. Экран погас.

Виталька первым почуял беду.

— Летим!

Мы вырвались из мокрых веток, косо пронеслись над улицей, едва не зацепив заборы.

— Выше надо, выше! — крикнул я, думая, что Виталька нарочно прижимается к земле.

Но нас прижимал дождь. Намокший ковер-самолет отяжелел и плюхнулся посреди какого-то двора, вымощенного гранитными плитами.

— Приехали, — с тихим отчаянием сказал я. — Что теперь делать?

— Пешком дойдем, — сказала Ветка. — Не размокнем.

Разве я размокнуть боялся? Я на дождь и внимания не обращал! Я думал про одно: что будет с ковром? А вдруг он больше не сможет летать? Но это была такая страшная мысль, что я даже побоялся сказать о ней вслух.

Ковер лежал плоско и мертво. Мы сошли с него на каменные плиты. Все, кроме Ветерка.

— Тебе нельзя, — строго сказала Ветка. — Ты же слово давал.

— Что же делать? — спросил он.

— Он же слово давал, — повторила Ветка, требовательно глядя на меня и на Витальку.

Виталька вздохнул и подставил Ветерку спину, облепленную мокрой рубашкой.

— Садись.

— Да вы что, ребята... — жалобно сказал Ветерок. — Я же...

— Садись, — повторил Виталька. — Дотащим. Ты же из-за нас влип.

— Я из-за себя.

— Садись, — сказал я.

Через минуту Ветерок ехал на Витальке, а мы с Веткой тащили на плечах свернутый в трубу ковер. Он был страш-

но тяжелым от впитавшейся воды. И все-таки не этот груз угнетал меня, а все та же мысль: «Будет ли ковер летать?»

Ветерок время от времени требовал опустить его.

— Сиди, — кряхтя, говорил Виталька.

Дождь прошел. За крышами прокатывался дальний гром. Мы молча шлепали по мокрым тротуарам, пока не подошли к Веткиному дому. Ветка вывела велосипед. Она велела Ветерку сесть на багажник и сказала, что довезет его до самого крыльца. А мы дотащим ковер до дома.

— Вы придете завтра? — торопливо спросил Ветерок.

— Придем, — пообещал я. И подумал, что, если даже ковер вышел из строя, одна радость у нас все-таки еще осталась: новый хороший друг.

## Глава девятая

Следующий день был полон переживаний. Ковер лежал на крыше под солнцем, и от него шел пар. У этого пара был запах, как у тумана в тропических лесах (так нам с Виталькой, по крайней мере, казалось). Высыхал ковер медленно, и, когда мы попытались взлететь на нем, он даже не шелохнулся.

Виталька глянул на меня тоскливыми глазами.

— Неужели все?

Я пожал плечами. По правде говоря, у меня слезы в горле скреблись. Но я мужественно сказал:

— Он такой сильный, такой волшебный. Не может быть, чтобы от дождика совсем испортился.

Приходила Ветка и жалостливо гладила влажную шкуру ковра. Несколько раз мы навещали Ветерка.

— Ну как? — спрашивал он с крыши.

— Пока не высох. Подождем, — бодро говорили мы. — Может, к вечеру высохнет.

Но и вечером ковер не хотел летать...

Зато утром нас ждала радость! Мы проснулись одновременно. Враз кинулись к окну, выбрались на крышу и сразу поняли, что ковер стал прежним — легким, шелковисто-мягким, летучим. Он лежал так, словно дожидался нас!

Мы плюхнулись на его ласковую теплую шкуру и взмыли к зениту. Было раннее утро. Во дворах радостно орали петухи.

В этот день у Ветерка вернулась мама. Она оказалась совсем не строгая, веселая.

— Бедненький! И ты все это время сидел на крыше? — воскликнула она, узнав, что Ветерок добросовестно отбывал домашний арест. — Я же просто забыла тебя отпустить! Не сердись, сынуля, я больше не буду!

Ветерок тут же отпросился у нее к нам в гости. С ночевкой!

Мы показали ему своих картонных солдат, Витальки-ны картины, наше оружие, телескоп и все другие сокровища. Мы устроили показательное сражение наших армий, которое затянулось до вечера. А поздно вечером мы похитили из дома Ветку и отправились в полет.

И нам было так же радостно, как в первый раз. Потому что мы заново открывали высоту и ночной город, блеск вечерних звезд и струящийся теплый воздух. Для Ветерка.

...Ничто не омрачало в те дни нашу радость и нашу дружбу. Почти ничто. Лишь неудачные полеты Ветерка на ковре-самолете вызывали у него досаду, и мы чувствовали себя немного виноватыми. Наш ковер его не слушался.

— Не могу я, — печально говорил Ветерок. — Как-то не верится каждый раз, что он возьмет и полетит. Вот если бы у него штурвал был...

Мы его понимали. Всю жизнь Ветерок думал о самолетах и представлял, как сжимает в ладонях ручки управления. Без этого он не мог вообразить полета.

Но не могли же мы приделать к ковру-самолету штурвал!

— Ничего, — утешал нас Ветерок. — Я еще научусь, честное слово. А пока не все ли равно, кто им управляет? Мы же летаем вместе.

— А хорошо бы куда-нибудь в дальнее путешествие... Ага? — сказал Виталька.

И мы все сказали «ага». Может быть, Ветка и Ветерок просто так сказали, а я от всей души. Дальнее путешествие — это была наша давняя мечта.

Нам часто везло в то лето. Повезло и с путешествием. Тетя Валя получила от старой подруги открытку из соседнего города. Она целый день ходила задумчивая, а потом спросила, можно ли на нас положиться? Проживем ли мы самостоятельно двое суток, пока она съездит навестить друзей юности?

— Зачем самостоятельно? — сказал я. — Мы поживем

у нас. Все будет в порядке, тетя Валя, — и выразительно посмотрел на Витальку.

Двое суток! Дальние полеты, неизвестные края!

Мы смотрели на тетю Валю такими искренними глазами, что она не заподозрила нас ни в каких темных умыслах. Я сбегал домой, а затем сообщил тете Вале, что мама просила о нас не беспокоиться. На самом деле мама и не ведала об отъезде тети Вали. Она с утра до вечера пропадала на работе в библиотеке, потому что половина ее сотрудников была в отпуске.

Следующим утром мы проводили тетю Валю на вокзал и помчались к Ветерку. Он вместе с Веткой примерял к раме велосипеда какую-то странную конструкцию — узкие решетки из деревянных реек, обтянутые полиэтиленовой пленкой.

— Это что? — удивился я.

Ветерок и Ветка слегка смутились.

— Это... вроде крыльев, — сказал Ветерок. — Если разогнаться с горки, может, он взлетит... как самолет.

Я удивленно моргал. Взлетит? Для чего эта дребезжащая «этажерка», когда есть ковер-самолет?

— Зачем... — начал я. И замолчал. Увидел, что Витальк смотрит на Ветерка и Ветку грустно и понимающе. Главным образом на Ветку. А она почему-то покраснела, стоит, отвернувшись, и мотает на палец отросший локон. Эх, Ветка, Ветка...

Я ничего не стал говорить. Потому что понял: Ветерок и Ветка нашли *свой* ковер-самолет. Вернее, мастерили его. Он получился у них неуклюжий, тяжелый, но не все ли равно? Им было хорошо вдвоем, у них появилась своя сказка.

И тут уж ничего не поделаешь.

Я все-таки сказал:

— Тетя Валя на два дня уехала. Может, слетаем в дальние леса? До вечера?

Ветерок поднял честные глаза. И было видно, что лететь он не хочет, а отказаться не решается — боится нас обидеть.

— Или давайте так, — торопливо сказал я. — Мы сперва слетаем на разведку, а в другой раз — все вместе.

Он улыбнулся благодарно и облегченно.

— Давайте! Мы пока достроим, а потом — вместе...

Нет, мы не обиделись на Ветерка и Ветку. Лишь один раз Виталька, собирая в сетку-авоську продукты для дальнего путешествия, печально сказал:

— Вот такие дела...

А я вдруг вспомнил, как на краю ковра-самолета Ветка танцевала танец «Звездочка».

— Лишь бы они руки-ноги не поломали на своем драндулете, когда будут испытывать, — озабоченно сказал я.

— Не успеют, — откликнулся Виталька. — Пока строят, мы уже прилетим.

Это был наш самый долгий и радостный полет. Путешествие над безлюдным громадным лесом. Город затерялся на горизонте, пропал за верхушками берез и елей. Теперь казалось, будто вся планета поросла косматой лесной шубой.

Мы неторопливо плыли у самых вершин деревьев. С чем это можно сравнить? Пожалуй, когда поезд идет по крутой насыпи над лесом, деревья так же проплывают под вами. Высуньтесь в окно, посмотрите: если насыпь крутая, это похоже на полет. Но не очень похоже.

Вагон вас несет с лязгом и стуком, встречный ветер отдает гарью, и нельзя остановиться, замереть над лесом. Нельзя рассмотреть ни белку в темном круге дупла, ни гнездо со смешными тонкошеими птенцами.

А мы плыли в тишине, только деревья шумели негромко и ровно. Юго-западный солнечный ветер перекатывал через нас волны теплого воздуха. Мы лежали на ковре, свесив головы, и заглядывали в лесную глубину. Она была похожа на зеленое стекло. На траве и кустарниках качались рыжие пятна солнца. Вспыхивали, как фонарики, цветы шиповника. Искрами горела смола на сосновых стволах.

Один раз мы увидели ярко-оранжевую лису. Она тоже нас увидела и пустилась удирать среди деревьев. Наверно, приняла ковер за громадную хищную птицу. Мы погнались за ней, но лиса юркнула под кучу валежника и пропала.

Иногда мы ныряли с высоты в лесной сумрак и, как индейцы, прыгали среди кустов и папоротников. Иногда устраивали привалы на лужайках, поросших земляникой, и на старых просеках, где среди высокого иван-чая и львиного зева жужжали, как тяжелые пули, шмели.

А еще нам нравилось замереть над большим деревом и осторожно потрогать самый верхний листик березы или мягкую кисточку сосны. Будто щекочешь хохолок на макушке задремавшего великана.

Маленькие лесные тайны, неторопливый полет, теплый ветер завораживали нас, и время бежало незаметно.

Часов мы не взяли, но по солнцу видели, что давным-давно перевалило за полдень...

Об этом говорили и наши желудки — они настойчиво требовали обеда.

— Давай долетим до вышки и там поедим, — предложил Виталька. — А потом потихоньку домой двинем. На первый раз хватит.

Большая, сложенная из бревен геодезическая вышка поднималась над лесом. До нее было километра два. Она была совсем не похожа на наш мезонин, но привычное слово «вышка» наталкивало нас на мысль о приюте и отдыхе.

— Давай, только скорее, — согласился я.

И мы дали ковру полную скорость. Ветер сразу перестал быть теплым. Он прижал к головам наши волосы, набился в уши, забрался мохнатыми лапами под рубашки. Засвистел по-штормовому. Стало не то чтобы холодно, а как-то неуютно. Мурашки побежали по коже.

Взять с собой одежду потеплее мы, конечно, не додумались. Пришлось убавить разгон.

— Ладно, — сказал Виталька. — Куда нам спешить? Вышка — вот она.

Мы хотели устроиться на одной из дощатых площадок и там пообедать. Но, подлетев к вышке, увидели темное лесное озеро. Оно было совсем недалеко от нас. Его обступали сосны, а воду окружало узкое кольцо песчаного берега.

Мы, разумеется, радостно завопили и спланировали на песок. Кубарем покатились на него с ковра. Песок был сухой и теплый. В нем перемешались сухие сосновые иглы и похожие на маленьких ежиков шишки, но это нас не пугало. Дно озера оказалось твердым и ровным, а темная прозрачная вода была прогрета насквозь.

Мы искупались, сжевали половину наших запасов, зарылись в песок и подремали. Потом еще искупались и снова немного пообедали. Затем выкупались еще разок.

— Пожалуй, пора... — нерешительно сказал Виталька.

— Угу, — сказал я. — Только еще разик окунемся...

Наконец мы на мокрое тело натянули одежду и взлетели повыше, чтобы ветер и солнце обсушили нас.

— Смотри! — крикнул Виталька.

Недалеко от озера, посреди большой поляны, стоял дом. Один-одинешенек среди лесного моря.

— Разведаем? — спросил Виталька.

Мы осторожно снизились почти до самой крыши. Она была темная, горбатая. На прогнивших досках зеленел бархатный мох.

Сразу было видно, что давно здесь никто не живет: вокруг осевшего крыльца стояла высокая непомятая трава.

До сих пор мы встречались с маленькими лесными загадками. А брошенный дом — это загадка серьезная. Может быть, здесь настоящая тайна.

Разве могли мы улететь, не узнав этой тайны?

## Глава десятая

Дом был не похож на деревенскую избу. У него были широкие окна, точеные перильца у крыльца, двери с деревянными украшениями. Они были приоткрыты, эти двери. И мы осторожно шагнули через порог.

В дощатых сенях было пусто, лишь на рассохшейся кадушке сидела коричневая бабочка. Когда мы вошли, она вылетела в солнечную щель. Мы шагнули в кухню. Здесь разевала темную пасть русская печь, выложенная поверху зелеными изразцами. В углу валялись некрашеные табуретки. На широком столе сидел серый зверек. Мы не успели его разглядеть — он стрелой вылетел в разбитое окно. На столе осталась шелуха каких-то семечек.

Мы на цыпочках обошли комнаты. Их было две. Половицы мягко прогибались под ногами. На них желтели под солнцем остатки краски. В комнатах сохранилась кое-какая мебель: ржавая кровать, облезлые стулья, книжный шкаф с побитыми стеклами. Шкаф был на полметра отодвинут от стены, будто его пытались унести из дома, а потом бросили.

Я хотел заглянуть за шкаф, но в это время за окнами прокатился железный гул. Нервы у нас были слегка натянуты, и мы вздрогнули. Гул донесся опять, и в окнах потемнело. В углах на паутине погасли золотые точки.

Мы выскочили на крыльцо. Из-за деревьев накатывала синяя туча. Она проглотила солнце, и только узкие прямые лучи его вылетали из-за облачного гребня. Гребень золотился. Он был косматый и быстро двигался.

— Ковер! — крикнул я.

Мы стремительно скатали ковер-самолет и втащили в дом. И правильно сделали. По верхушкам травы, по крыльцу и стеклам защелкали крупнокалиберные капли, а за-

тем ударил ливень. Он грянул о крышу, и в доме загудело, как в барабане. Потом сквозь темноту ливня пробилась розовая вспышка и грохнуло так, что мы схватились за уши и тихо присели у стены.

— Вот это попались, — прошептал Виталька.

— Может, скоро кончится? — неуверенно сказал я. И присел еще ниже, потому что грохнуло сильнее прежнего.

Было неуютно и зябко. В разбитые окна летели колючие брызги, а в двери прорывался сырой ветер. Закрыть двери было нельзя: они давно осели на петлях и заклинились. Да и жутковато было отрываться от стены и подходить к дверям, за которыми такая буря.

Гроза бесновалась долго. Нам казалось, что сто часов прошло. Можно было подумать, что не одна гроза, а все на свете грозы собрались над старым домом, чтобы залить дождями, ослепить, оглушить двух мальчишек...

Наконец раскаты стали глуше, а шум дождя ровнее.

— Уходит, — облегченно вздохнул Виталька.

Но напрасно он обрадовался. Дождь стал монотонным, спокойным и не хотел кончаться.

— Вот черт, — уныло сказал Виталька. — А если он на несколько дней зарядит?

Что тогда будет, можно и не говорить. Пешком нам и за неделю не добраться до дома. Да и где дорога? Бедная мама, бедная тетя Валя, которые будут искать нас и мучиться от страшных предположений! И бедные мы, конечно! Потому что влетит нам, как никогда еще в жизни не влетало. И бедный ковер-самолет, который у нас наверняка отберут...

— А может, и не зарядит на несколько дней. Он, по-моему, не затяжной, голос у него не такой, — более бодрым тоном сказал Виталька. — Чего раньше времени страдать?

Я не хотел при нем раскисать и заметил, что сами мечтали о приключениях, вот и заработали.

— В конце концов, нам повезло, что дом нашли, — сказал Виталька. — Если бы нас в лесу прижало, что тогда?

В самом деле! Старый неуютный дом сразу показался мне добрым. Я с благодарностью посмотрел на облезший потолок, за которым слышался плеск дождя.

— Можно и заночевать, — предложил я. — Домой и завтра успеем. Хлеб еще есть...

За окнами темнело. В углах что-то стонало и поскрипывало. Делалось страшновато. И продрогли мы. Но все-таки мы были вдвоем, и с нами — наш ковер-самолет.

Мы расстелили его напротив шкафа у стены, легли на одну половину, а другой накрылись. С головой. Ковер окутал нас шелковистой теплотой, мы прижались друг к другу. Правда, в ноги поддувало, но это — пустяк. Все равно было хорошо. И даже шум дождя, который отдавался в пустом доме, был теперь нестрашным и уютным.

Интересный дом. Кто в нем жил? Лесники, или охотники, или геологи? Или просто человек, который любил тишину и одиночество?

Почему люди ушли? И давно ли? Непонятно. Может, год назад, а может, давным-давно, когда нас на свете не было...

Мы с Виталькой немного пошептались об этом и заснули.

Я не знаю, почему проснулся. Виталька тепло дышал мне в щеку. Дождь кончился, и за окном, над черными деревьями, быстро летели клочковатые облака. Иногда из них мячиком выпрыгивала яркая луна, и в комнате делалось светло.

Стояла странная тишина. Неполная. Сквозь нее пробивалось тиканье — ровное и звонкое.

Я толкнул Витальку. Он поворчал, почмокал губами и проснулся.

— Слушай, — велел я.

Тик-так, тик-так... — доносилось откуда-то из-за шкафа.

Капли? Сверчок? Нет...

Мне стало страшно. Не знаю почему, но здорово страшно. Витальке, кажется, тоже. Но еще страшнее — лежать и не знать, что там: или тихие шаги, или чье-то сердце стукает...

Виталька медленно откинул ковер. Встал. Я тоже встал. Пробежали мурашки — ночной воздух был сырой и зябкий.

Мы крепко взялись за руки и на цыпочках двинулись к шкафу. Луна выкатилась опять и добросовестно светила в окно. А половицы, как и полагается в таинственном доме, поскрипывали. Мы заглянули за шкаф.

Там была еще одна дверь.

Дверь в третью комнату, которую мы раньше не заметили.

Тикало в той комнате.

Мы вместе, плечом к плечу, протиснулись в дверь. Комната была маленькая, с одним окном. Окно было темным,

потому что луна светила с другой стороны. Виталька включил фонарик. Желтый круг пополз по стене, и в этом круге мы увидели ходики.

Это они бросали в тишину свое тик-так. Ровно качался маятник.

Мы прижались друг к другу. Если бы мы увидели привидение или разбойника, то и тогда испугались бы не больше.

Ходики шли!

Дом был пуст, давно заброшен, а они тикали так же мирно и обыкновенно, как у нас на кухне!

Кто здесь живет? Что за невидимка подтягивает гирю? Кто подвесил к гире для дополнительного веса большой старинный ключ? (У нас дома тоже была подвешена к такой гире добавочная тяжесть — сломанные плоскогубцы. Старые ходики часто в этом нуждаются.)

Днем, наверно, мы так не испугались бы. Но сейчас эти живые часы в заброшенном доме показались нам жуткой загадкой. Мы тихо отступили от них и прижались плечами друг к другу, а лопатками к стене у окна. Виталька продолжал держать часы в светлом круге фонарика. Он словно боялся, что если выпустит их из света, может случиться что-то страшное.

— А может, кто-нибудь до нас приходил сегодня? — спросил я жалобным шепотом. — Пришел и пустил их, а?

У Витальки досадливо шевельнулось плечо: он отвергал мое предположение. В самом деле, никаких следов не было ни в доме, ни в траве у крыльца.

— А может... — начал я опять, сам не зная, что скажу...

Виталька толкнул меня локтем.

В тиканье часов пробились другие звуки: легкое постукивание по половицам, словно кто-то на легких каблуках подходил к нашей комнате.

Это были тихие, но уверенные шаги.

Виталька выключил фонарик. Мы перестали дышать и сели на корточки.

Мои глаза еще не привыкли к сумраку, но все-таки я различал проем открытой двери, карнизы, белый циферблат ходиков, большие щели на стене. Стена была мутно-серой. И вот на этом сером фоне возник силуэт пришельца.

Это был зверь.

Постукивая когтями по полу, он вошел в комнату и настороженно остановился.

Виталька включил фонарик. Не знаю, нарочно или с перепугу. Свет метнулся по комнате и упал на зверя.

Зверь был собакой. Большой рыжей собакой с висячими ушами! Собака мотнула головой, замигала от света, но не отпрыгнула, не оскалилась, не зарычала. Она молча подошла и ткнулась мне в колени мокрым носом.

Это было так неожиданно и так хорошо, что страх пропал в одну секунду. Я сразу понял, почувствовал, что это добрая собака и что она рада нам. И, ничуть не боясь, обнял ее за шею, потрепал ее длинные уши и, радуясь счастливому исходу страшного приключения, сказал ей:

— Ух ты, собака. Ух, как ты нас перепугала. Ух ты, моя хорошая.

Хвост у собаки заметался так, что по ногам у нас прошел ветер.

Виталька притиснулся вплотную и спросил у собаки:

— Ты кто? Где твой хозяин?

А она мотала хвостом, толкала мне голову под мышку, прижималась косматым боком.

А правда, где ее хозяин? Он, наверно, придет сейчас следом? Что он за человек? А вдруг он не такой добрый, как собака?

Короткий гудящий толчок заставил нас вздрогнуть. Однако ничего страшного не было: это гиря часов рывком опустилась на несколько сантиметров и теперь вместе с тяжелым ключом покачивалась у самого пола.

Но собака насторожилась. Она высвободила голову у меня из-под мышки, прислушалась. А потом сделала такое, что мы притихли от изумления.

Она подошла к часам, встала на задние лапы, передними уперлась в стену, а зубами ухватила цепочку. Тр-р-р! — гиря и ключ поехали вверх. А собака встала на четыре лапы, махнула хвостом и оглянулась на нас.

— Ух ты, умница! — сказал я.

— Нет у нее хозяина, — с облегчением сказал Виталька. — Все уехали, а она одна осталась. И сама заводит часы.

— А зачем?

— Кто же знает? Наверно, привыкла, что в доме обязательно часы идут. Наверно, ждет, что люди вернутся и думает, что часы — это очень важно. Может, она их и при людях заводила, а сейчас не хочет бросать...

Жаль мне стало эту собаку и захотелось сделать ей что-то хорошее, приласкать, помочь чем-то.

— Иди сюда, собака, — позвал я. — Тебя бросили, да?

Она опять подошла и положила мне голову на колени. К морде у нее прилипли шерсть и мелкие перышки.

— Слопала кого-то, — сказал Виталька.

Мне совсем не хотелось думать, что такая хорошая собака может кого-то слопать. Но Виталька опять заговорил:

— Конечно. Что ей делать? Раз бросили, надо самой кормиться, вот она и охотится.

Бросили! Такую собаку оставили! Что это за люди?!

— Разве можно бросать собак? — возмущенно сказал я. — Она здесь, наверно, не один год живет и все ждет...

— Откуда мы знаем, что здесь было? — рассудительно откликнулся Виталька. — Может быть, никто не виноват...

Но я не хотел думать, что никто не виноват. Как это? Собака брошена, живет одна и ждет, ждет, ждет. И заводит часы, чтобы дом не был совсем мертвым. Она бережет этот дом для людей, которые про нее забыли. А люди ни при чем?

— Какая она худая, — прошептал Виталька, поглаживая собачью спину.

Мы скормили собаке почти все наши запасы. Она ела жадно и виновато оглядывалась на нас. Извинялась, что не может удержаться.

Потом мы притащили в маленькую комнату ковер. Она казалась нам теперь самой уютной. По-домашнему тикали часы, ходила рядом с нами собака — хозяйка этого дома, и все страхи развеялись.

Мы завернулись в ковер, а собака легла у нас в ногах и стала ровно дышать.

— Хороший пес, — сказал я громким шепотом.

В ответ собака постучала хвостом.

— Рада, что люди пришли, — сказал Виталька.

— Завтра возьмем с собой? — спросил я.

— Конечно.

Мы еще немного поговорили о собаке, о старом доме, о тех, кто здесь жил. Почему ушли люди? Почему осталась собака? Кого ждала? Мы потом еще не раз будем придумывать про это всякие истории. А правду так и не узнаем.

Я проснулся от горячего солнца. Оно било вдоль промытых дождем стекол и рикошетом залетало в комнату. У Витальки на ресницах загорались золотые точки. Виталька поморгал и улыбнулся. Откинул край ковра и сел. Сразу стало зябко. Я тоже сел и обнял себя за плечи.

Тикали часы. Они показывали половину шестого, но мы не знали, конечно, точно ли они идут. Собака спала у нас в ногах. Ее рыжая шерсть местами слиплась в сосульки и казалась грязно-бурой. Сквозь шкуру проступали ребра.

— Голодная, наверно, — пожалел ее Виталька.

Собака открыла глаза и посмотрела на нас. У нее была грустная и добрая морда. И очень умная.

— Собака, хочешь с нами? — сказал Виталька. — Тетя Валя не прогонит, не бойся.

Собака медленно поднялась и шевельнула хвостом.

— Хочет! — обрадовался Виталька. — Пойдем!

Мы вынесли ковер из дома. Собака вышла за нами. Высокая трава еще не высохла и хватала нас за ноги, будто холодными пальцами. Чтобы ковер не промок, мы развернули его на просохших досках крыльца. Сели.

— Иди, собака, — позвал я.

Она послушно села рядом с нами. Я осторожно обнял ее за шею.

Мы взлетели очень тихо и плавно, чтобы не пугать собаку. И она не испугалась. Сидела совсем спокойно, поглядывая с высоты. Но когда мы отлетели метров на сто, она забеспокоилась. Освободила из-под моей руки голову, завертела ею, встревоженно глядя то на меня, то на Витальку.

— Не бойся, — ласково сказал я.

Но собака и не боялась. Она просилась назад. Она поползла к самому краю ковра, заскулила и негромко гавкнула.

— Не хочет, — сказал Виталька.

— Нельзя ее одну оставлять! — сердито сказал я.

— Это ее дом. Раз не хочет бросать, что поделаешь? Она все равно сюда уйдет.

Делать нечего, мы опустились недалеко от дома. Собака сошла с ковра и оглянулась: звала нас с собой.

— Мы не можем, — сказал Виталька. — Ты не можешь, и мы не можем. Понимаешь?

Собака смотрела печально. Понимала.

— Мы тебя навестим, — пообещал я.

## Глава одиннадцатая

По западному краю неба опять проходила гроза. Громоздила горы черных и лиловых облаков. В их толще загорались ветвистые молнии, а потом, с большим опозда-

нием, к нам подкатывал ворчливый, уставший по дороге гром.

Оттого что светило солнце, тучи казались особенно мрачными, а молнии — тусклыми, чуть заметными. Это выглядело зловеще. Но мы не боялись грозы. Дул восточный ветер и отодвигал ее за горизонт, подальше от нашего пути.

Потом гроза у горизонта пролилась дождем и стала рассеиваться. Загорелась большая радуга. Она, как ворота великанского дворца, упиралась двумя концами в леса, и зеленая лесная шкура просвечивала сквозь ее разноцветную толщу.

— Летим к ней! — крикнул Виталька.

— Летим! — крикнул я и задрожал от радости и от страха, что не успеем.

Мы успели! Мы влетели в радугу!

Я слышал от взрослых, что к радуге приблизиться нельзя — она будет убегать, а потом рассыплется, растает, как мираж. Не верьте! Подойдите к шумному фонтану — там в брызгах висит множество маленьких радуг. В них можно погрузить руки. Радуги затанцуют на ваших ладонях. Почему же нельзя коснуться большой радуги?

Конечно, если бежать по земле, трудно успеть. А мы летели, и нам помогал попутный ветер.

Когда мы подлетали к радуге, нам показалось, что с неба рухнул на лес разноцветный водопад — прозрачный и бесшумный. Потом все вокруг: вся земля, и облака, и мы сами — сделалось лиловым, синим, голубым, и рядом с нами засверкали огоньки — тоже голубые и синие. Они вспыхивали, как стеклянная пыль, и чуть заметно покалывали кожу.

Потом все сделалось ласковее, теплее, и на нас накатила зеленая волна. В ней тоже трепетали огоньки — ярко-зеленые. Словно дрожали под ветром и солнцем листики крошечных деревьев, омытые дождем.

А затем листики превратились в солнышки. Эти солнышки горели на ворсинках ковра, на незаметных волосках нашей кожи и просто в воздухе. Виталька сидел напротив меня и смеялся. Его рубашка из голубой превратилась в светло-зеленую, а в волосах его были перемешаны огненные точки.

Желтый воздух стал гуще, набрал красноту, и нас будто жаром обдало — мы пролетели сквозь оранжевый туман. И сразу словно зазвучала музыка — таким праздниче-

но-красным стал весь белый свет. Веселым, пересыпанным малиновыми огоньками.

Мы прошли разноцветную радугу насквозь и влетели под ее светящуюся арку.

Но радуга звала нас обратно.

Мы снова окунулись в нее и, ныряя в цветных волнах, пошли по дуге — по всей длине радуги. А она была громадная, и путешествие получилось длинным-длинным. Мы купались в ласковой радуге, как в реке, а она словно взмахивала перед нами цветными крыльями. И у каждого цвета было свое тепло и даже свой запах. Мне казалось, что желтый воздух пахнет свежими сосновыми щепками, оранжевый — мандаринами, зеленый — мокрой травой...

Сейчас в это трудно поверить, но тогда я ничуть не удивился. Я был уверен, что так и должно быть. В те годы каждой клеточкой тела, каждым незаметным волоском я ощущал жизнь земли и воздуха — их дыхание, свет, шорохи и тепло. Я мог плечом почувствовать мелькнувшую тень пролетевшей птицы, мог на ощупь выбрать в разнотравье нужный стебелек, знал, как пахнут разные ветры, и, просыпаясь, по стуку капель сразу определял — теплый или холодный идет дождик. Если я брел по ручью, то легко мог сосчитать, сколько прохладных и теплых струек, похожих на стеклянные шнуры, вьется у моих ног. Я умел на целую секунду удерживать в ладони солнечный зайчик, а когда он проскальзывал между пальцами и садился мне на костяшки, я кожей чувствовал его пушистое шевеление.

Я мог с закрытыми глазами узнать, какие в небе облака.

И Виталька все это мог тоже...

Мы помахали радуге руками и взяли курс к дому. Летели низко, обходя темные вершины старых елей. Гладили по макушкам светлые березы, заглядывали в птичьи гнезда. Звали к себе поближе разных лесных пичуг, а они почему-то пугались, глупые.

Только большой дятел на сухой сосне нас не испугался. Он покосился черным глазом-бусиной и так тюкнул по стволу, что целый пласт коры отлетел и ухнул в лесную глубину. А Виталька потом уверял, что от этого удара у дятла съехал набекрень красный колпачок.

Мы летели медленно, а время быстро. И уже вечером приблизился от горизонта к нам город.

Недалеко от реки, среди мелких берез, мы увидели круглую поляну с ромашками. Они росли не очень часто —

каждая по отдельности — и от этого казались особенно крупными и удивительно чистыми.

— Давай нарвем, — сказал Виталька. — Тетя Валя знаешь как любит цветы...

Я повел ковер над самой травой — искал место, где можно опуститься и не помять ни одного цветка. И нашел уже, но Виталька испуганно сказал:

— Не надо, намокнет!

В самом деле, трава блестела, а на ромашках, как на блюдцах, лежали капли. Наверно, недавно здесь пролился случайный солнечный дождик.

— Держись в воздухе, — сказал я Витальке. И он повис на ковре-самолете в метре от земли, а я прыгнул в сырую путаницу листьев и стеблей. Кеды быстро промокли. Но зато большой букет пахнул теплым дождем, лесом и радугой.

Когда мы летели к дому, я держал охапку ромашек у груди, поэтому футболка у меня спереди тоже промокла, и к ней прилипли мелкие листики.

С поляны мы взлетели на большую высоту, распустили для маскировки «змеевый хвост» и пошли над городом. Было время заката. Нас еще освещало солнце, а город уже лежал в тени. Мы спикировали в эту тень и стремительно опустились, почти упали к себе на крышу.

В доме было тихо, только в щелях скреблись сверчки и другая мелочь. Мы спустились в комнаты, достали старинную прозрачную вазу и посреди стола поставили букет.

— Лишь бы не завял до завтра, а то... — начал Виталька и странно замолчал.

— Ты чего?

Он икнул и показал на угол. Там стоял чемодан тети Вали.

— Значит, она... ик... вернулась сегодня утром.

— Где же она? — глупо спросил я.

— Где! — плаксиво сказал Виталька. — Бегает по всему городу, нас ищет. Где еще? Вон она идет.

Я увидел в окно тетю Валю. Она медленно шла по двору от калитки.

Мы ринулись на вышку, сорвали с себя кеды и нырнули под одеяла. Каблуки тети Вали застучали на ступенях. Следы моих мокрых кед безошибочно указали ей, что путешественники вернулись.

Через полминуты мы, замерев, лежали носами к стен-

ке, а тетя Валя стояла в середине свободного пространства и обращалась к нашим спинам и затылкам с необычно длинной и крайне суровой речью.

Она говорила, что мы невозможные люди, жестокие мальчишки. Что мы думаем только о собственных радостях и никогда не помним, что у взрослых людей бывает больное сердце. Хорошо еще, что Валентина Сергеевна (моя мама) не успела ничего узнать, потому что и она, и дядя Сева с утра до вечера на работе (я облегченно передохнул); зато она, тетя Валя, постарела на десять лет, но дело не в ней, а в том, что мы растем бессердечными эгоистами. И самое скверное, что никакие слова на нас, оказывается, не действуют. Остается единственный способ воспитания: взять две крепкие хворостины — для каждого персональную — и выдрать нас по всем правилам, неторопливо и обстоятельно.

Однако сделать это она, к сожалению, не может. Драть меня она не имеет права, так как я не родственник ей, хотя она об этом часто забывает (здесь тетя Валя слегка сбилась и подозрительно шмыгнула носом). А драть одного Виталия — несправедливо, потому что мы наверняка виноваты одинаково. И ей, тете Вале, остается одно: уйти и оставить нас наедине с нашей совестью (если мы знаем, что это такое, и если эта совесть у нас хоть чуточку сохранилась).

Видимо, что-то сохранилось, потому что меня грызли жалость и раскаяние. Я готов был даже признать тетю Валю полноправной родственницей со всеми вытекающими последствиями. Но тетя Валя шумно высморкалась, укоризненно помолчала и спустилась к себе. Там она увидела букет и растаяла.

— Негодники, — размягченно сказала она. — Вот негодники...

Мы, стараясь не шлепать босыми ступнями, пробрались вниз и остановились на пороге. Тетя Валя подняла лицо от букета. Посмотрела на нас через плечо. Наверно, мы были очень виноватые, маленькие и печальные.

— Преступники, — сказала тетя Валя. — Где вы бродяжничали? Я приехала в пять утра и сразу поняла, что вы не ночевали. Пыталась узнать у Саши и Веты, а они или молчат, или бормочут непонятное... Я чуть не умерла.

— Мы же не знали, что ты раньше времени приедешь, — пробормотал Виталька.

Тетя Валя повернулась к нам, прочно села на стул, выпрямилась и потребовала:

— Идите сюда, отвратительные мальчишки, и рассказывайте про все, что успели натворить. Подробно и честно.

Она уже ни капельки не сердилась. Она радовалась, что мы не пропали. Мы подошли, и она ухватила нас за руки, будто боялась, что мы опять исчезнем. Мы вздохнули, посмотрели друг на друга и рассказали про ковер-самолет.

— Ведь ты сама его нам дала, — прошептал в заключение Виталька.

А я добавил:

— Он совсем безопасный...

Не знаю точно, поверила ли тетя Валя. Наверно, поверила. Она не удивилась и не стала просить, чтобы мы показали, как летаем. Она сжала наши руки и сказала:

— Ковер-самолет — это сказка. А сказки существуют для радости. Разве можно делать так, чтобы сказка доставляла кому-нибудь огорчение?

И мы тут же пообещали, что никогда больше не доставим тете Вале огорчений. Ни с ковром-самолетом, ни без него.

Она почему-то улыбнулась и покачала головой. Посмотрела на нас, на ромашки, снова на нас. И сказала, что следовало бы нас проучить как следует, но что поделаешь — не выбрасывать же подарки, которые она привезла нам.

И она вручила Витальке медовые краски, а мне губную гармошку. Потом нам обоим — туристический компас со светящимся циферблатом. Мы сдержанно подвывали от восторга.

Кроме этих подарков тетя Валя привезла Витальке рубашку. Это была косоворотка с шелковым пояском и с вышитым узором на вороте и на подоле. Материя была светло-желтая, шелковистая и переливалась, как атлас.

Тетя Валя потребовала, чтобы Виталька тут же примерил обнову.

Рубашка оказалась велика и висела на Витальке довольно балахонисто. Он стал похож на девочку в платьице. Об этом я ему честно сообщил, когда тетя Валя вышла за очками.

Виталька отмахнулся:

— Пусть! Лишь бы она не сердилась.

И он сказал тете Вале, что рубашка ему в самый раз и очень нравится и он просто счастлив от такого подарка.

— В самом деле? — обрадовалась тетя Валя. — Вот и прекрасно. А то мне казалась, что она широковата и длинновата. Очень хорошо, что тебе нравится. Завтра наденешь, когда пойдем в цирк.

— В цирк?! — хором сказали мы.

И тетя Валя сообщила, что еще неделю назад купила билеты — хотела сделать нам сюрприз.

Виталька кинулся ее обнимать. Я обниматься постеснялся и, чтобы выразить радость, влепил ему между лопаток «леща».

Виталька кошкой прыгнул на меня и сел верхом. Зазвенела люстра. Кукушка с перепугу прокричала пятнадцать раз. Тетя Валя схватилась за голову.

— Прекратите сию секунду! Вы сумасшедшие дикари, а не дети! Я вас выставлю из дома, и будете ночевать на дворе, пока не станете приличными людьми!

## Глава двенадцатая

— Ты в самом деле собираешься в цирк? — спросила мама непонятным голосом.

— Д-да... А что? — сказал я.

— Посмотри на свои колени.

Я посмотрел краем глаза и коротко вздохнул.

— Вот именно, — сказала мама и добавила, что ляжет костьми у дверей, но не выпустит меня больше из дома с такими ногами. Тем более в цирк, где масса людей — в том числе знакомых.

Когда мама говорила таким тоном, я знал, что лучше не спорить.

Через минуту я стоял в большом тазу, по щиколотку в горячей воде, и протяжно стонал. Мочалкой, сплетенной из капроновой лески, мама обрабатывала мне коленки. Надо сказать, что работа ей досталась немалая. Попробуйте отодрать спрессованные наслоения: уличную пыль, ржавчину с Виталькиной крыши, землю с лесных полян, въевшиеся в кожу песчинки и зеленый сок растений, который пропитал и спаял все слои.

Мама быстро устала и начала сердиться. А тут еще этот таз! Он вел себя просто подло. Дно у него было слегка выпуклое, и он вертелся подо мной. Когда мама давила на левую коленку, таз поворачивался влево, когда на правую — он сразу начинал обратное вращение.

— Не вертись! — сказала мама.

— Это не я, это таз...

— Ты мне поговори! — пригрозила мама и так дернула мочалкой, что я взвыл, будто кошка с прижатым хвостом.

И жалобно спросил:

— Можно, я лучше сам?

— «Сам!» — сказала мама. — Если бы ты мог что-нибудь делать сам, я была бы счастливейшим человеком.

Но, совсем измучившись, она отдала мне мочалку и ушла из кухни.

Коленки горели, будто я только что ползал по раскаленным железным листам. Надо было дать им отдых. А пока коленки отдыхают, я решил попробовать: сколько оборотов сделает вместе со мной таз, если я крутнусь как следует?

Я ухватился за край стола и крутнулся...

Таз успел сделать всего пол-оборота, а потом выскользнул из-под меня и, как марсианская летающая тарелка, ушел по косой линии в угол. Там он с медным грохотом грянулся об умывальник, выплеснув на стенки воду. Я, в свою очередь, тоже грохнулся, крепко треснувшись о половицы.

Я здорово перепугался. В первую же секунду я представил, как влетит сейчас в кухню мама и какой мне будет нагоняй. Вместо цирка. И я заревел от страха и боли.

Первым вбежал дядя Сева.

Он подхватил меня, прижал к суконному кителю и громким шепотом сказал:

— Олеженька! Ты что, малыш?

Раньше он так никогда не говорил. А может, и говорил, да слова отскакивали от меня, как горошины от потолка.

Но сейчас, перепуганному, мокрому и ревущему, мне было не до гордости и обид. Тем более что тут же появилась мама с грозными словами:

— Я так и знала!

— Подожди, подожди, — сказал дядя Сева. — Что ты знала? Человек ударился, даже до слез. Понимать надо.

Мама несколько секунд изумленно смотрела, как я повис на дяде Севе, облапив его за плечи — будто единственного защитника и спасителя. Потом, уже с притворной сердитостью, произнесла:

— «Понимать надо!» Интересно только, почему меня никто не хочет понимать?

Она принялась затирать воду, заявив при этом, что окончательно убедилась, какие нелепые и беспомощные люди все мужчины. И самое удивительное, что, сделав какую-нибудь глупость, они тут же спешат друг другу на выручку! И тогда уж к ним не подступись!

А я понимал, что она рада. Она устала видеть мою молчаливую войну с дядей Севой. И я, оказывается, сам устал от этой войны.

Сквозь мокрые ресницы я нерешительно посмотрел дяде Севе в лицо, и он чуть-чуть улыбнулся мне. И я тоже улыбнулся.

Он унес меня в комнату. Сел на диван, а меня посадил на колени.

— Сильно стукнулся? — негромко спросил он.

— Не... не очень, — прошептал я.

— Прошло уже?

— Ага...

Большая пуговица с якорем давила мне сквозь майку на ребро, но я не шевелился. Пускай давит! Все равно мне хорошо.

Ленка таращилась на нас так удивленно, что мне захотелось показать ей язык. Но я поступил благородно и умно: не показал. Медленно поднял голову и снова глянул в лицо дяде Севе. И мы опять улыбнулись.

Пришла мама и принялась гладить мой праздничный костюм. Потом проверила мои колени. Оказалось, что с них уже соскоблено все, кроме болячек и ссадин, которые никуда не денешь.

— Одевайся, герой.

От костюма пахло горячим утюгом и праздником. Он был голубой и легонький, как шелковый игрушечный парашютик для запуска из рогатки. С золотистыми пуговками, похожими на новые копейки, с погончиками и пряжками, со звездочкой, вышитой на нагрудном кармане. Такие костюмчики для нашего брата, похожие на юнармейскую форму, в то время только входили в моду, и мама весной привезла его из Ленинграда вместе с белыми гольфами и синей испанкой. Кроме этого мама выдала мне новые скрипучие сандалии. Они пружинили и просто заставляли куда-нибудь бежать. Шелковая кисточка испанки щекотала мне левую бровь. Я весело поглядел из-под нее на маму, дядю Севу, Ленку, крутнулся на пятке, помахал всем с порога и, счастливый, отправился к Витальке. Двое встречных мальчишек обозвали меня стилягой, но и это не испортило мне настроения.

Я думал о дяде Севе и понимал, что теперь у меня в жизни появилась еще одна радость.

А кроме того — цирк! Это тоже здорово!

Однако жизнь устроена сложно: не успеешь порадоваться — и нате: какая-нибудь неприятность.

Когда мы пришли к цирку и, потоптавшись в очереди, добрались до входа, контролер — седой старичок — не пустил нас. Повертел билеты, посмотрел на них с двух сторон и сказал тете Вале:

— У вас, гражданочка, билеты на завтрашнее представление, не на сегодня.

— Как же так? — строго и обиженно спросила тетя Валя. — Где это написано?

— Вот здесь и написано. Видите, штампик...

Тетя Валя принялась теребить кружевные манжеты.

— Я не понимаю... Значит, это кассир... Я же просила.

Старичок сочувственно вздохнул:

— Бывает... Только сейчас билетов уже нет и касса не работает.

— Безобразие, — сказала тетя Валя и виновато посмотрела на нас.

Мы повесили носы.

Сзади напирал народ и слышались голоса:

— Что там? Тетенька, не загораживай, всем проходить надо!

— Что значит «всем надо»? — вдруг рассердился старичок. — Все и успеете. Им тоже надо.

Он посмотрел на нас и предложил:

— Я, конечно, могу пропустить. Понимаю, ребятишки... Только ведь стоять придется, места заняты. Им-то ничего, а вам, гражданочка, при вашем возрасте...

— Нет, благодарю вас, — весьма сухо отозвалась тетя Валя. — Мы подождем до завтра. Идемте, дети...

Мы выбрались из циркового сквера и совсем невесело побрели к дому.

— Ничего страшного, — неуверенно сказала тетя Валя. — Зато завтра нас ждет представление.

Завтра! А сегодня что? Все было так хорошо, и вдруг — бац!

Виталька шел, глядя под ноги, уныло наматывал на палец свой шелковый поясок и сердито его дергал.

Мне-то было не так грустно. Я вспоминал про дядю Севу и думал, что сегодня дома у меня будет хороший

вечер. У своей калитки я сказал, что пойду ночевать домой.

Но и дома ждало меня огорчение: мама и дядя Сева пригласили старую соседку тетю Любу, чтобы Ленка не боялась одна сидеть дома, а сами ушли в кино.

Тут я подумал, что Витальке грустно в одиночестве. Решил взять книжку «Снежная королева» и побежать к нему. Сядем на лежаке и будем читать вслух. Это была моя любимая сказка, и Витальке она тоже нравилась, но вместе, вслух мы ни разу ее не читали. Наверно, будет интересно.

Я стал искать книгу на полке. Ее не было!

— Ленка! — грозно сказал я. — Ты брала «Снежную королеву»?

Она заморгала:

— Брала...

— Куда девала?

— Девочке дала почитать.

У меня дыхание перехватило от такой наглости. Девочке! Мою! «Снежную королеву»!

Когда дыхание перестало перехватываться, я прищурился и спросил:

— Я твоих кукол даю играть мальчикам?

Ленка заморгала сильнее и, видимо, приготовилась пустить слезу.

— А мама... говорила, что книжки общие.

Если бы это вчера еще было, я бы сказал ей про «общие» книжки. Но сегодня, когда мы с дядей Севой... В общем, я только предупредил:

— Если вздумает порвать или потерять...

— Она не вздумает, — поспешно пообещала Ленка.

Я, ворча для порядка, достал «Тома Сойера». Тоже подходящая книжка для вечернего чтения.

— Нашим скажи: я у Витальки, — предупредил я Ленку, обалдевшую от моего великодушия.

Даже став большим, я часто удивляюсь, как много меняют в жизни пустяковые случаи. Не попадись нам тогда в руки «Том Сойер», ничего бы, наверно, не случилось.

Все сначала шло как надо. Мы уселись на топчан, включили настольную лампочку, раскрыли на середине читанную много раз книжку...

— «В жизни каждого нормального мальчика наступает момент, когда ему хочется найти клад...» — прочитал я. И удивленно посмотрел на Витальку. — А он на меня. Мы

были нормальными мальчиками. Почему же до сих пор нам в голову не приходила эта мысль?

Наверно, потому, что не было ковра-самолета. А на ковре можно добраться до таких мест, где и в самом деле вдруг зарыт какой-нибудь клад!

— А где? — спросил я.

— Старый дом, — задумчиво сказал Виталька.

Правда! Старый дом, как и в «Томе Сойере», — самое подходящее место! Может, его таинственные хозяева, уходя, оставили в погребе золото и оружие? А собака охраняет. Но нас-то собака знает!

Беда только, что далеко. А поисками хорошо бы заняться прямо сегодня, раз уж не попали в цирк.

И вдруг Виталька приключенческим шепотом сказал:

— Колокольня...

Вот это да! Как мы раньше не подумали! Как мы, летая над городом, вообще ни разу не догадались заглянуть на колокольню? Туда, где никого не было целых сорок лет!

На радостях мы с Виталькой обнялись, забарахтались и бухнулись с топчана. Хорошо, что на ковер.

Но, хлопнувшись, я засомневался:

— Клады под полом прячут. А нам в нижнюю часть не добраться, только наверх сможем. А наверху что?

— А наверху — часы. А может, скелет того пулеметчика...

Я поежился и спросил, на кой шут нам скелет.

— Мало ли на кой... Возьмем череп, вставим свечку, чтоб глаза горели, потом повесим у окошка Иван Иваныча Разикова. Знаешь, как он... развеселится!

Я представил себе «веселье» Ивана Ивановича. И все-таки встречаться со скелетом, да еще в сумерках, в таинственной башне почему-то не очень хотелось.

— Да нет никакого там скелета, — успокоил Виталька. — Если и был, то рассыпался, а кости вниз попадали... А пулемет, наверно, остался. Пулеметы ведь крепко устанавливают... Там, наверно, и патроны остались. Найдем — притащим сюда, и, если кто полезет, мы — «ды-ды-ды-ды»!

— Кто полезет? А если и полезут, попробуй «дыдыкни» хоть одним патрончиком! Тебя знаешь сразу куда «ды-ды»?

— Да я так просто... Он все равно сломан, наверно. А играть-то можно!

Конечно, настоящий пулемет для игры, пускай даже сломанный, — это вам не хуже любого клада! Не то что скелет...

Тут и спорить нечего!

И мы стали готовиться к поискам и приключениям.

Что нужно искателям клада? Мы вытащили из-под лежаков моток веревки, фонарики, ящик с нашим оружием.

Переодеться нам, конечно, и в голову не пришло. Я только снял испанку, чтобы не сбило ветром, а Витальке сдернул поясок, чтобы не зацепился за что-нибудь. В новенькие белые гольфы я засунул оружие — как десантники суют его за голенища сапог. Слева — длинноствольный пластмассовый револьвер, справа — свой длинный нож из лезвия слесарной пилки.

Револьвер Виталька заставил меня убрать: заявил, что это игрушка, а мы на серьезное дело идем. Зато про нож сказал, что это хорошо.

Я и сам знал, что хорошо. Оплетенная изолентой рукоятка мужественно торчала у колена, а тонкое лезвие плотно прилегало к ноге и приятно холодило кожу. Это ощущение придавало силу и уверенность. Если даже скелет...

Мы стартовали с крыши незадолго до полуночи, когда тетя Валя уже крепко спала.

Стоял конец июля, и самые светлые ночи лета были позади. Но все же настоящей темноты пока не наступало. Небо оставалось голубовато-серым, и только самые крупные звезды пробивались сквозь серебрящийся воздух. На востоке ртутным блеском отливали узкие облака, а среди них застряла тускло-розовая луна.

Мы шли на малой высоте — чуть выше проводов, обходя черные пихты и тонкие антенны телевизоров. Потом Витальке надоел бреющий полет, и он поднял ковер метров на сто. Заиграли под нами стаи огоньков среди темных крыш и деревьев, распахнулся на краю города светлый изгиб реки с черными, будто нарисованными, суденышками. Цветные огоньки на судах, казалось, живут отдельно, как случайно слетевшие туда звезды.

А колокольня на фоне ясной воды и неба темнела, словно башня таинственного замка. В полукруглых проемах верхнего яруса четко рисовались уцелевшие колокола. Издалека они были похожи на колокольчики для удочек.

— Красиво, да? — сказал Виталька.

Я кивнул. Но тут же стало не до красоты: мы влетели в полосу холодного воздуха и моментально продрогли. Пришлось опять снижаться до крыш.

Наконец под нами мелькнула крытая железом стена монастыря, проплыла слева острая верхушка угловой баш-

ни с флюгером и вплотную придвинулась к нам колокольня. Словно великан шагнул навстречу.

Мы повисли у стены колокольни метрах в десяти от земли. Весь день эта стена впитывала солнечные лучи, и теперь от нее веяло теплом, как от остывающей печки. Пахло нагретыми кирпичами, известкой, а с земли — полынью.

Мы стали медленно подниматься к верхнему ярусу. Стена заскользила вниз. Я приложил к ней ладошку, и кожу обожгло стремительным шероховатым движением. На руке осталась известковая пыль. Я хотел привычно вытереть ее о штаны, однако вспомнил вовремя про новый костюм и просто почистил одну ладошку о другую.

— Ты чего аплодируешь? — спросил Виталька. — Мы еще ничего не нашли.

— Найдем, — сказал я.

Мне и вправду верилось, что в такой старинной, таинственной башне обязательно есть что-то интересное. Лишь бы не скелет, конечно...

Сверху надвинулся громадный циферблат часов, и мы остановились прямо в центре — у оси, на которую насажены были могучие стрелки. Минутная была почти с меня ростом. От стрелок знакомо пахло медью — так же, как от нашего телескопа. А от железного циферблата — ржавчиной.

— Вот это будильничек! — уважительным шепотом произнес Виталька.

Я кивнул и поднял ковер к верхнему краю циферблата.

Обе стрелки смотрели вверх. Минутная чуть-чуть не дошла до двенадцати, а часовая остановилась на единице. Снаряд с канонерки ударил около часа дня.

Я потрогал узорный наконечник минутной стрелки. Он был холодный. Медь, видимо, остывает быстрее железа.

— Ну, цифрищи! — все тем же шепотом сказал Виталька.

Медные римские цифры были размером с большую книгу. Я хотел их тоже потрогать, но ковер плавно пошел вверх: Виталька повел его на колокольный ярус.

Мы остановились у арки, перегороженной перилами из метровых точеных столбиков и толстой балки. Высоко над перилами висел темный колокол, под которым запросто могли бы спрятаться я, Виталька, Ветка и Ветерок.

Арка только издали казалась обычным полукруглым окном с колокольчиком. На самом деле она была как высоченные ворота. Мне вдруг подумалось, что, если крик-

нуть, голос разнесется под сводами, ударится о колокол и эхо пойдет над городом. От такой мысли сделалось почему-то жутковато.

Но пока я размышлял об этом, Виталька смело перебрался с ковра на перила и сел на них верхом.

— Давай, — сказал он. — Я держу ковер.

Я тоже перебрался на балку. Она оказалась шершавая и колючая — того и гляди, заработаешь занозу. Мы подтянули ковер, сложили пополам и повесили на перила.

— Ну вот, приехали, — сказал Виталька.

Он задрал свой вышитый подол, повозился и вытащил из кармана фонарик. Щелк...

— Смотри-ка, здесь пол!

У меня фонарик висел на шее, на шнурке. Я добавил света.

В самом деле, под нами был дощатый пол.

Но какой!

Он был в черных пробоинах — видимо, от осколков. А в середине площадки темнел провал, в котором торчали обугленные балки.

Взрослые говорили, что снаряд чиркнул о боковую стенку арки и взорвался среди колоколов. Два маленьких колокола выбросило на монастырский двор, а большой — тот, что висел под куполом, — сорвался и ухнул вниз, пробив перекрытия. Остальные жалобно погудели и остались висеть.

Я опасливо обшарил фонариком все углы, убедился, что скелета не видать, и приободрился.

— Здорово шарахнуло, — сказал я.

— Наверно, пулеметчика взрывной волной сбросило. И пулемет заодно, — огорченно откликнулся Виталька.

— Можно клад поискать, — неуверенно предложил я, хотя не представлял, где здесь может оказаться клад.

— Сперва разведаем, — решил Виталька.

Он храбро спустил ноги с перил и прыгнул на доски. Они чуть-чуть задрожали, но не провалились. Я тоже прыгнул.

Мы скатали ковер, уложили на пол у стены. Еще раз осмотрелись.

Здесь, на верхней площадке, искать было нечего. Самое интересное — это колокола. Но в колоколах клады не прячут, а разглядеть их мы всегда успеем.

Я на четвереньках подобрался к черному провалу и посветил вниз. Там было темно и пусто.

Я чувствовал себя неловко оттого, что Виталька все

время первый, а я вроде побаиваюсь. И храбро потребовал:

— Давай веревку. Спущусь.

Но Виталька ответил, что глупо лезть в такую дыру, когда рядом нормальный спуск.

В самом деле, у стены был небольшой квадратный люк с лесенкой. Я все-таки опередил Витальку и торопливо спустил ноги на ступеньку.

Взрыв лесенку пощадил, и она даже не шаталась подо мной. Фонарик выхватил из тьмы половицы, и я смело прыгнул, хотя в животе у меня что-то ухнуло! Еще бы! Рядом чернел такой же провал, как на верхней площадке.

Виталька торопливо спустился за мной.

Здесь было все не так, как наверху. Глухо и таинственно. Только одно окошечко неясно светилось в толстенной стене. Отовсюду торчали треснувшие, поломанные и обугленные балки. Лучи наших фонариков заметались по этим балкам, кирпичным стенам, половицам, ступенькам. И вдруг...

Я не помню, кто из нас крикнул первый. Может быть, оба разом:

— Вот это да! Часы!

Точнее, это был механизм часов. Нагромождение зубчатых колес из темной, местами позеленевшей меди. Одни колеса — размером с таз, другие — с тарелку, третьи — с блюдце...

— Смотри-ка, а они целые, только остановились, — сказал Виталька.

Сказал так, как говорят про большого доброго зверя: «Смотри-ка, он живой, только спит...»

— Наверно, тряхнуло взрывом, и что-нибудь отскочило, — заметил я.

— А что?

Мы внимательно и осторожно, как задремавшего слона, разглядывали старую медную машину.

Я неправильно сказал вначале: «Нагромождение колес». Это лишь в первый момент показалось, а на самом деле нагромождения не было. Была в механизме стройность и красота: зубчик к зубчику, валик к валику — все на месте, все точно.

Кажется, часы не пострадали от взрыва.

Дело вот в чем. На многих башнях циферблаты часов смотрят на четыре стороны. А на нашей колокольне был один циферблат — с запада. В давние времена монастырь построили к востоку от города и часы повернули к городу

лицом: чтобы каждый мог их видеть. И чтобы на судах, идущих вверх по течению домой с дальнего моря, тоже издалека видели часы... Ну, а раз циферблат один, то и механизм стоял не посреди башни, а в стене — в глубокой нише. И тяжелый колокол, когда летел вниз, пробивая этажи, не затронул ни одну шестеренку.

— Давай залезем, — прошептал Виталька. — Поглядим хорошенько.

И стал пробираться к механизму.

Я — за ним.

Темный провал, как назло, в этом месте подходил к самой нише, и добраться туда можно было только по наклонной балке — пыльной и слегка обугленной.

Витальке-то что! У него штаны черные — сажу не заметишь. Он подобрал подол рубашки, сел на балку, будто на гимнастического коня, и, упираясь руками, добрался до ниши.

Я же — в новом голубом костюме — сесть не мог. А тут еще эти белые гольфы, черт бы их побрал. А что делать?

Замирая от ужаса, я встал на балку. Она была широкая и не качалась, но все равно... Сам не помню, как я прошел над жуткой черной дырой. Я знал, что эта глубина — до нижнего этажа колокольни. Метров сорок! Хорошо, когда под тобой ковер-самолет, а когда просто так, то ноги слабеют.

Чуть живой, прыгнул я рядом с Виталькой. Он смотрел на меня с уважением. Я сразу возгордился: хоть и с перепугу, но все равно совершил геройство. А чтобы Виталька не подумал, будто хвастаюсь, я обыкновенным голосом спросил:

— Ну и что здесь интересного?

Мы очутились словно внутри великанских часов-ходиков. Медные шестерни и рычаги окружали нас, а прямо перед нами оказались два зубчатых вала. Через них перекинуты были могучие цепи. Они уходили вниз — сквозь отверстия в кирпичной кладке.

— Как брашпили у папы на «Тобольске», — прошептал Виталька.

И я тоже вспомнил якорные барабаны с цепями — они стояли на носу теплохода.

— А здесь они зачем?

— Как зачем! Гири!

— Одна цепь для гири. А другая?

— Другая, наверно, тоже для гири. Одна гиря для

стрелок, другая для колоколов. Как в тети Валиных часах для кукушки. Забыл, что ли?

Тьфу, какой я недогадливый...

Я представил, как в глубине башни дремлют на цепях могучие чугунные болванки — каждая по сто пудов. А если надоест им так просто висеть и они потянут цепь посильнее? Мне стало жутковато и весело.

— Виталька! — страшным шепотом сказал я. — А вдруг эти часики ка-ак тикнут! А эти колесики ка-ак перемелют нас на пельмени...

— Не тикнут, — хладнокровно откликнулся Виталька.— Смотри, балка маятник держит.

Балка, по которой мы сюда забрались, острым обломанным концом влезла, оказывается, в нижнюю часть механизма. Она зацепила и наклонно держала железный брус. Под балкой, на конце бруса, виднелся медный диск, похожий на тарелку из духового оркестра. Маятник!

— Вот почему они остановились... — задумчиво сказал Виталька.

И мы разом глянули друг на друга.

Потому что разом пришла в наши головы мысль: если убрать балку...

— А как? — спросил я.

— Отпилить ножовкой.

— Где ножовка?

— Где! Дома, конечно!

— Значит, лететь еще раз?

Виталька пожал плечами. В самом деле, что мы, рассыплемся, если слетаем за ножовкой? Зато завтра утром проснутся люди — а над городом идут часы!

Виталька опять оседлал балку и, как лягушка, допрыгал до пола. Потом снял веревку — она висела у него через плечо. Кинул мне конец.

— Обвяжись, а то вдруг загремишь...

Я послушался. Чего зря акробатничать?

Мы выбрались на верхний ярус и через арку, прямо с площадки, стартовали к дому.

Добрались мы быстро, потому что не любовались луной и огнями. В доме стояла тишина, тетя Валя спала. Осторожно, чтобы не загреметь, Виталька выволок ящик с инструментами, достал пилу.

— Тупая... Ну ничего. А который час?

Мы посмотрели на часы тети Валиного дедушки. Было половина первого.

— Ого! — сказал Виталька. Снял часы с гвоздика и опустил в карман, а цепочку пристегнул к поясу.

— Зачем они нам?

— На тех часах сколько? — бросил Виталька.

— На тех? Без пяти час... Или без трех...

— Ну вот! По этим сверим и без трех минут пустим. Только надо успеть. А если не успеем, как стрелки будем переводить? Ты знаешь?

Я не знал. Вручную, конечно, такие махины не повернешь, в механизме мы не разбирались.

— Жмем! — скомандовал Виталька.

Обратный полет был стремительным, и нас крепко прохватило ветром. Зато колокольня теперь показалась привычной и уютной.

Мы опять пробрались к механизму. Надо было спешить, и, забыв об аккуратности, мы бесстрашно собирали на коленки и локти старую сажу, паутину, известку, кирпичную пыль и медную зелень — слои, по которым было бы можно потом прочитать все наши приключения.

Виталька сказал, чтобы я держал его за рубаху, и взял ножовку.

Пила и правда была тупая, а дерево казалось твердым. Виталька быстро взмок и стал говорить сердито и сипло. Я сменил его.

Дерево зажимало ножовку, приходилось дергать, и несколько раз я со злости сказал слова, от которых тетя Валя грохнулась бы в обморок. Виталька сочувственно сопел надо мной и время от времени напоминал:

— Шесть минут осталось... Три... Две минуты.

А я что? Разве я не работал? Я уже хотел сказать Витальке, чтобы он отправлялся в ту самую дыру, которая мрачно темнела под нами. В этот миг балка хрустнула! Тяжесть маятника надавила на почти отпиленный конец. Он отломился и с шумом полетел вниз, а там грохнул о плиты первого этажа. Гул пошел по башне.

Я отшатнулся, чтобы не загреметь вслед за обрубком.

И тут что-то звонко стукнуло над нашими головами. И еще раз!

Дзынь-бух! Дзынь-бух!

И пошло!

Это маятник ушел в сторону и медным крючком зацепил колесико, похожее на подсолнух с острыми лепестками. А «подсолнух» повернул другую шестерню.

— Ура... Тикают... — шепотом сказал Виталька.

— Ура! — гаркнул я.

— Ура!! — заорали мы оба.

Мне очень хотелось написать, что, испуганные нашим криком, взлетели стаи птиц, но правда есть правда: никто не взлетел. Птицы почему-то здесь не селились. Только эхо пошло по башне. Ну и пусть! Мы сами были как птицы! Как летучие волшебники! Мы оживили старые часы, и они весело грохали медными колесами, словно говорили спасибо.

— Почти точно пошли, — сказал Виталька, вытянув часы из кармана. — Смотри, без пяти час.

Без пяти час! Середина ночи!

— Давай-ка домой, Виталька. Тетя Валя если проснется да узнает... будет нам «без пяти».

— Давай, — весело согласился он. — Мы свое дело сделали.

Он хотел перебраться на балку и удивился:

— Эй, а ты чего меня держишь?

— Я?

— А кто? — Он хотел повернуться и не смог.

Я заглянул ему за спину.

Виталькина длинная рубашка попала в шестерни. Два зубчатых колеса, медленно поворачиваясь, «заглатывали» ее вышитый подол.

— Рубаха... — слабым шепотом сказал я.

Виталька оглянулся через плечо и понял. Дернулся.

Попробуй вырвись!

А колеса вращались, и не так уж медленно. Они все глубже затягивали острыми зубцами материю. Еще две-три минуты — и подберутся к самому Витальке.

— Ну сделай что-нибудь! — отчаянно сказал Виталька и опять дернулся. — Рубашка-то новая!

Он еще о рубашке думал!

Я перепугался по-настоящему. И впервые в жизни почувствовал, как от страха крупно дрожат ноги. Сильно-сильно, будто под полом работает большой мотор.

Нельзя труситьl Чтобы унять эту дрожь, я сердито переступил и почувствовал, как у правого колена шевельнулась рукоятка ножа. Как я мог забыть про него!

Выхватив кинжал, я одним махом отсек кусок Витальки-ного подола.

— Ты что, псих? — жалобно взвыл он.

— Сам ты псих! Смотри!

Виталька посмотрел, как лоскуток уходит под острые зубцы, и вытер локтем вспотевший лоб.

— Да... Откусили часики... Ну ладно, зато идут.

— Летим, — сказал я.

В это время где-то среди колоколов бухнул и раскатился поразительно громкий удар. Мы даже присели. Я выпустил нож, и он улетел вниз.

— Бьют, — радостно и торжественно сказал Виталька. — Ай да мы!

Дома наша радость поубавилась. Мы подсчитали потери и прикинули возможные неприятности.

Ссадины — это не в счет, заживут. А вот нож было жалко. Но и это не самое главное. Поглядев на себя, я крепко задумался. Стало ясно, что, если я срочно не займусь хорошей стиркой, завтра мне будет цирк... Костюм у меня чудом уцелел, но белые гольфы... Боже мой!

— Давай добывать горячую воду и таз, — отчаянно сказал я.

— Это что, это ерунда, — откликнулся Виталька. — А с рубахой как быть? Полподола отрубил...

— Елки-палки, — сочувственно сказал я.

Сзади на рубашке был выхвачен кусок, будто за Виталькой охотилась акула. Все-таки Виталька был крепкий человек. Он сначала помог мне согреть на плитке воду, а потом уж отдался своему горю.

— Может, зашить как-нибудь? — спрашивал он и сам безнадежно отвечал: — Фиг зашьешь.

— А если складку сзади сделать? — предложил я, бултыхая в тазу. — Знаешь, как у гимнастерок?

— Ага, складку! — язвительно откликнулся он. — Какой складкой закроешь такую дырищу? Не мог уж поменьше кусок оттяпать!

— Поменьше не мог, — уверенно объяснил я, выплескивая в окно воду. — Еще чуть-чуть, и тебя бы перемололо.

— Завтра тетя Валя меня и так перемелет не хуже часов, — обреченно сказал Виталька.

— Ну уж... Завтра утром что-нибудь придумаем.

Виталька вздохнул и развесил рубашку на спинке стула — так, чтобы не видно было отрезанного края.

Над городом разнесся удар часов: половина второго.

## Глава тринадцатая

Утром ничего мы не придумали. Проспали. Тетя Валя не достучалась в потолок и пришла наверх.

От ее голоса и шагов мы проснулись. Сразу все вспомнили. Виталька с размаху прыгнул в штаны, бодро крикнул «доброе утро» и постарался загородить стул с рубашкой.

— Доброе утро... Что же это вы так спите опять? — с легким подозрением спросила тетя Валя.

— Зачитались вчера. Про Тома Сойера, — торопливо сказал я.

Тетя Валя покачала головой. Это значило, что мальчикам не следует засиживаться за книжкой до ночной поры, даже если это очень интересная книжка, но что она, тетя Валя, ничего по этому поводу говорить не станет, так как надеется, что мы сами осознаем неправильность своего поведения и больше так поступать не будем.

— Умываться и завтракать, — сказала она.

— Есть умываться и завтракать! — чересчур усердно гаркнул Виталька.

Тетя Валя прижала кончики пальцев к вискам и заспешила вниз.

Виталька и я в это утро старались быть послушными и воспитанными. Но излишнее усердие к добру не приводит: Виталька, торопясь к завтраку, забыл вынуть из кармана часы. Карманы у него были протертые и ветхие. А часы тяжелые. Когда мы вышли к завтраку, они окончательно продавили карман и скользнули вниз. Повисли на пристегнутой к ремешку цепочке. Цепочка была длинная, а штаны короткие, и часы заболтались ниже колена.

— Виталик! — удивилась тетя Валя. — Зачем ты носишь с собой дедушкины часы? Да еще таким странным образом! Это хотя и старая, но ценная вещь.

Виталька путано забормотал, что это «просто так, на минуточку...». Вообще-то он был хитроумный человек, но врать тете Вале не умел и не любил.

Я понял, что надо спешить на помощь.

— Мы, тетя Валя, хотели их сверить с теми, что на колокольне! Знаете, ночью мы сидим и вдруг слышим — часы бьют. Стояли, стояли и вдруг пошли! Интересно, да?

— Интересно... — озадаченно согласилась тетя Валя. — Однако я не понимаю...

В это время через открытые окна долетел до нас коло-

кольный бой. Раз! Два! Три!.. Десять! (Ничего себе, поспали мы сегодня!)

— Удивительно, — сказала тетя Валя. — Я и не обратила внимания. Значит, городские часы отремонтированы...

— Мы хотели сбегать и проверить, — пробормотал Виталька. — Из окна-то не видно.

У тети Вали была, однако, привычка докапываться до самой сути.

— Зачем же вам видеть часы? Можно установить время по бою.

Виталька растерянно заморгал.

— А ведь бывает, что бой отстает, — вывернулся я. — Или наоборот. Как ваша кукушка. Время — еще без пяти минут, а она уже выпрыгивает.

Тетя Валя любила умные объяснения.

— Ну-ну, — сказала она. — Только сначала позавтракайте, а потом ступайте. И берегите часы.

На улице Виталька загрустил:

— Что с рубашкой-то делать?

Я не знал. Спросил нерешительно:

— Может, не очень заругает?

— При чем тут «заругает»? Выспрашивать начнет, что да как получилось! И узнает, где мы ночью были. По-моему, она и так уже про что-то догадалась.

— А если сказать, что просто зацепился и порвал?

— А кусок-то где? Его пришить можно было бы.

— Ну, потерялся. Ночью ведь...

— Вот именно! «А где же вы, голубчики, ночью гуляли?»

Я тоже загрустил. Виталька мрачно хмыкнул:

— «Порвал»! Видно ведь, что ножом отхвачено... Все равно докопается, я ей еще ни разу соврать не мог толком. А тебе, думаешь, она поверила про часы? Ха-ха...

— Давай, Виталька, признаемся, — сказал я.

Он покрутил головой и вздохнул:

— А ковер?

— Что ковер? Думаешь, отберет?

— Мы ведь обещали, что больше не будем с ковром приключений устраивать... Она не отберет, она добрая, сам знаешь. Только скажет, чтобы без ее присмотра никуда не летали. Потому что боится за нас. Или честное слово возьмет, что будем только во дворе летать. Вот тогда и покатайся!

Да, будущее нам казалось не очень радостным... Но день был солнечный, до вечера оставалась масса времени, и мы

решили, что совсем падать духом пока не надо. А решив так, побежали к Ветерку. Ведь после нашего путешествия и приключений в старом доме мы его и Ветку еще не видели.

Ветерок и Ветка сидели на крыльце и чинили велосипед. Рама и переднее колесо были порядком покорежены.

— Все-таки испытывали, — укоризненно сказал я.

Ветка и Ветерок нам обрадовались. И наперебой рассказывали, что их летучий велосипед удачно стартовал с бугра, но потом клюнул носом и врезался в куст рябины. Ветерок после этого целый день хромал, а Ветка ходила с поцарапанным носом. Но это не беда, потому что они поняли, в чем ошибка. Они сделали крылья, но забыли про стабилизатор. В следующий раз не забудут.

Мы тоже рассказали о своих приключениях. Ветерок и Ветка огорчились, что их не было с нами, особенно на колокольне. Почему мы их не позвали?

— Дело было срочное, ночное, — объяснил Виталька. — Ничего, еще полетаем вместе... если все хорошо будет.

— Почему если? — встревожилась Ветка.

Виталька печально рассказал про рубашку.

Мы стали думать вчетвером, как помочь горю. Придумал Ветерок:

— А зачем тебе ее навыпуск носить! Спрячь подол в штаны, под ремень, даже лучше будет! В цирк сходишь и уберешь подальше. А потом видно будет.

Виталька поскреб ногтем переносицу и задумчиво сказал:

— Идея...

Но эта идея пришлась не по вкусу тете Вале. Когда мы собрались в цирк, она воскликнула:

— Виталик! Что за вид! На подоле такая прекрасная вышивка. Она сделана по народным мотивам.

— Ну их, эти мотивы, — отмахнулся Виталька. — Мне без них лучше.

— Ты просто ничего не понимаешь. Это очень красиво. Ты не видел себя со стороны.

Виталька попытался спорить, но тетя Валя сказала:

— Виталий, ты совершенно невозможный человек.

Виталька торопливо вытащил из-под ремня рубаху, опустил голову и заложил за спину ладони — чтобы прикрыть обглоданный подол. Он сделался похож на виноватую девочку. Мне стало жаль его.

— Я буду маскировать сзади, — прошептал я.

— Маскируй.

Мы двинулись в цирк, и тетя Валя по дороге несколько раз удивлялась, почему я не хочу идти рядом, а плетусь позади Витальки.

Все обошлось. Мы устроились на своих местах в четвертом ряду, Виталька прижался поясницей к спинке сиденья и понемногу успокоился.

Про представление рассказывать я не буду, это не относится к нашим приключениям. Скажу только, что в этот сезон выступал у нас Карандаш и было здорово. Мы с Виталькой так нахохотались, что забыли про опасность.

Но когда наступил антракт — вспомнили.

Тетя Валя сообщила, что останется на месте, а мы, если нам хочется, можем пойти в буфет за мороженым.

Нам хотелось. Виталька взял деньги и, пятясь, как французский придворный перед королевой, выбрался из ряда на лестницу. Я — за ним. После этого мы «стройной колонной» — я в затылок Витальке — направились в буфет.

В буфете была порядочная давка и очередь. Нас плотно стиснули со всех сторон, и можно было не бояться, что кто-то заметит обрезанный подол. Минут через десять мы пробились к продавцу, взяли три эскимо — по полторы штуки на каждого — и выбрались из толпы. Помятые и взъерошенные.

В дальнем уголке мы уселись на корточки под шкафчиком с пожарным краном и не торопясь уплели все три порции.

Когда мы с сожалением облизывали голые палочки, кто-то незаметно подошел и встал сбоку от нас. Мы услышали вкрадчивый голос.

— Юноши, позвольте побеспокоить вас вопросом...

Рядом стоял темный крючконосый парень в узких сиреневых брючках, апельсиновых носках и цветной широченной рубахе с пальмами и мартышками — последний крик тогдашней моды, тоска и зависть всех пижонов.

Мы не любили стиляг. Мы поднялись. Виталька вздернул подол и независимо сунул руки в карманы. Я, за неимением карманов, по-наполеоновски сложил руки на груди, отставил ногу в скрипучей сандалии и спросил:

— А чего надо?

— Фу, какие невоспитанные дети, — добродушно сказал парень. И сразу посерьезнел. — Хорошо. Значит, шутки в сторону. Имею до вас деловой разговор. Хотите знать какой?

Мы хотели. Но не подали вида. Крючконосый снисходительно улыбнулся:

— Встречных вопросов нет? Тогда у меня вопрос. Пока единственный...

Он поочередно посверлил нас глазами и отчетливо произнес:

— Сеньоры, как вы проникли на колокольню?

Я до сих пор с гордостью вспоминаю, что мы с Виталькой не дрогнули, не моргнули. Но — ой-ей-ей! — как у меня все захолодело внутри! Виталька потом говорил, что у него тоже.

— Молчите? — сказал Крючконосый. — Хвалю. Сдержанность — качество мужчин. Однако, чтобы не осложнять отношения, призываю вас к полной откровенности. А чтобы не было неясностей, позвольте предъявить вам эту «квитанцию».

И он вытащил кусок Виталькѝной рубахи.

Тот самый кусок! Помятый, со следами медной зелени, с вышивкой...

Мы смотрели на этот кусок, будто на дневнѝк с записью: «Поведение — два!»

Крючконосый усмехнулся, перегнулся через Витальку, приподнял край рубахи и приложил к вырезу лоскут.

— Все в точку, — сказал он. — Так что же? Будем говорить?

Виталька переглотнул и сипловато, но храбро произнес:

— А почему мы с вами обязаны говорить?

— А! — сказал Крючконосый. — Я забыл объяснить! Разговор-то у нас не простой. Служебный.

Он выхватил из кармана красное удостоверение и, не открывая, помахал им перед нашими носами.

Мы подавленно молчали. И вдруг прямо над нами загрохотал звонок. Мы вздрогнули.

— Ах, нервы-нервы, — сказал Крючконосый. — Наш беспокойный, суетливый век... Вы одни пришли в цирк?

— С тетей... — пробормотал Виталька.

— С тетей Валей, — сказал я.

— Не будем заставлять волноваться тетю, — решил Крючконосый. — Она ни в чем не повинна. Топайте к тете, а завтра увидимся. Здесь, у цирка, на скамейке слева от входа. В девять утра. Ясно?

— Ясно, — мрачно сказал Виталька.

Крючконосый тонко улыбнулся.

— Вот и хорошо. Сообразительный народ. Никому ни слова. Запомнили? И обратите внимание: как вас зовут

и где живете, я не спрашиваю. Почему? Потому что доверяю. Ну а если не придете... Сами понимаете, у нас не столица, человека отыскать не трудно. Поняли?

Мы поняли. Поэтому второе отделение с дрессировщицей Бугримовой и ее львами не доставило нам особой радости. И самое скверное было то, что при тете Вале мы не могли обсудить свалившуюся на нас беду. Сиди, молчи и мучайся...

По дороге домой мы тоже молчали. Тетя Валя заволновалась: здоровы ли мы. Я, не подумав, отговорился, что болят животы: наверно, от мороженого. Тетя Валя встревожилась еще пуще и сказала, что дома сделает грелки, если мы не боимся.

Виталька был погружен в размышления и забыл, что разговаривает с тетей Валей, а не со мной. Он рассеянно откликнулся:

— Чего бояться? Грелка — не клизма.

Тетя Валя охнула и заявила, что с Виталием творятся невообразимые вещи. Он стал невозможным человеком. Он позволяет себе такие выражения! Очевидно, приближается тот жуткий переходный возраст, которого страшатся все педагоги, и ей, тете Вале, придется пересмотреть свои воспитательные принципы.

Виталька торопливо сказал, что не надо пересматривать, что он просит прощения, а про клизму брякнул случайно.

Дома мы отказались от ужина и поскорее легли в постель, заявив, что сон — лучшее лекарство.

Но было нам не до сна.

— Летали, летали и долетались... — сумрачно произнес Виталька. — Милиция — это не тетя Валя. Не отвертишься.

— А чего мы такого сделали? Нельзя, что ли, часы запустить? Это наоборот — польза для всех.

— Отберут ковер — тогда будет «польза»...

— А какое имеют право? Это наш ковер! Тетя Валя нам подарила, вот и все!

— Ну и что же, что подарила? А летать мы имеем право? До шестнадцати лет даже на мотоцикле нельзя, не то что по воздуху...

— А мы не скажем про ковер.

— А что скажем? Как забрались?

— Как-нибудь... Снизу. Может, в башне лестницы сохранились. А если нет, тогда без лестниц, с веревками. Это взрослым трудно, а мы легкие...

— А до лестницы как добрались? Дверь-то заперта.

— Ну... ключ нашли.

— Ага, «нашли»! Сразу спросят, где он, этот ключ.

— Скажем: потеряли.

— «Нашли, потеряли»... Думаешь, они дураки? Спросят, какой ключ был.

— Ну и пусть. Придумаем. Большой такой... Или...

— «Большой»! «Или»! Какой там замок на двери, знаешь? Не знаешь. Я тоже не знаю. Мы у двери-то и не были ни разу. Может, вообще замка нет, а просто дверь заколочена...

Виталька приподнялся на локте и решительно сказал:

— Надо лететь. Посмотрим, что там с дверью. — И грустно добавил: — Если врать, так уж надо, чтоб на правду походило.

Но мы не улетели. Тетя Валя долго не ложилась, ходила внизу, гремела посудой. Мы ждали, ждали и... разом заснули.

## Глава четырнадцатая

Хочешь не хочешь, а утром пришлось идти на свидание с Крючконосым.

Виталька шел и ворчал, что милиции, наверно, нечего делать, раз она занимается старой колокольней. Лучше бы ловили жуликов, которые недавно обокрали промтоварный магазин и два киоска на рынке. Весь город про это говорит, а милиционеры, видать, и не почешутся...

Часы на колокольне ударили девять раз, но теперь эти звуки нас не радовали.

— Интересно, а как милиция до механизма добралась? — спросил я.

— Может, никто и не добирался..

— А лоскуток?

Виталька сердито сказал:

— Что лоскуток? Наверно, проскочил шестерню, а потом спланировал через все дыры до самого низа... Не мог уж зацепиться где-нибудь...

Крючконосый ждал нас на скамейке. Рядом с ним был еще один парень. Тоже с длинным носом, но не с загнутым, а с прямым и очень тонким, будто его долго с двух сторон давили ладонями. Казалось, что этот нос просвечивает на солнце. Волосы у парня были белобрысые, редкие, и сквозь них виднелась розовая кожа.

— Опаздываете, граждане, — упрекнул Крючконосый.—

Нехорошо... Ну, время — деньги, терять его не будем. Садитесь и рассказывайте все начистоту. Откровенность — благородное качество.

И тогда Виталька сделал неожиданное. Он встал перед Крючконосым и храбро сказал:

— Если вы из милиции, то, пожалуйста, покажите еще раз ваше удостоверение.

Крючконосый растерянно мигнул. Его приятель вдруг порозовел, а тонкий нос его покрылся мелкими капельками.

— Ты это... кончай, — негромко потребовал Белобрысый.

А Крючконосый вдруг добродушно засмеялся:

— Опытный народ... Молодцы! Только мы не из милиции. Мы из городского музея. Знаете? Я — младший научный сотрудник, а Федя — слесарь и монтер. Технический специалист широкого профиля.

Специалист почему-то вздохнул и стер с носа капли. У нас отлегло от сердца. Музей — это все же не милиция.

— Меня, между прочим, Эдиком звать, — сообщил Крючконосый. — А вас?

Мы назвались.

— Дело-то вот какое, — объяснил Эдик. — Наш музей задумал отремонтировать колокольню и пустить часы. Сами понимаете — городская достопримечательность. А как внутрь попасть, никто не знает. Замок там старинный, ценный, ломать жалко. А ключ потерян... Пока думали-гадали, часы пошли! Думаем, кто их починил? Что за герой нашелся? И вдруг вчера смотрю — этот юноша в рубашке, от которой лоскуток.

— Если вы ни разу на колокольне не были, откуда у вас лоскуток? — перебил Виталька.

Эдик опять засмеялся, даже головой замотал.

— Ну, ты даешь! Прямо следователь по особо сложным делам! Кто сказал, что мы не были? Вот он побывал! — И Эдик посмотрел на молчаливого Федю. — Когда часы пошли, он по наружной стене до верха добрался. Федя у нас верхолаз и разрядник по альпинизму.

Не похож был хлипкий белобрысый Федя на разрядника по альпинизму, ну да кто его знает...

— А теперь, сеньоры, давайте к делу, — сказал Эдик. Обнял нас за плечи и посадил рядом с собой. — Ключ принесли?

— Какой ключ? — глупо спросил я.

— Тьфу ты! — слегка рассердился Эдик. — От колокольни, конечно. Или вы пальцем замок отпирали?

— Ключом, — торопливо сказал Виталька и посмотрел на меня. — Мы его в кладовке у тети Вали нашли. У нее там всяких старых вещей просто уйма.

— Ключик-то придется отдать, — сообщил Эдик. — Сами понимаете, колокольня — это филиал музея, мы за нее отвечаем. А если там лазать будут да шеи себе сломают... Ну ладно, вы не обижайтесь, главное не в этом. Ключ для пользы дела нужен. Во-первых, ремонт. Во-вторых, часы-то заводить надо. Сколько они еще протянут? Цепь кончится, поднимать гири некому. Так?

Это верно. Насчет цепей и гирь мы не подумали.

— Обидно, если часы остановятся... — задумчиво сказал Эдик.

А верхолаз Федя неожиданно добавил:

— Я это... больше не полезу. Чуть не загремел. И это... начальство ругается.

— Мы понимаем, — откликнулся Виталька. — Но ключа у нас нет. Потеряли.

Я испугался, что он запутается, и торопливо вмешался:

— Если по правде говорить, то даже не потеряли... Понимаете, там страшно было, в башне. Мы чуть не сорвались. И темно... Ну и... вдруг скелет пулеметчика где-нибудь... Мы часы пустили, а потом, когда внизу оказались, решили, что больше лазить никуда не будем. И ключ выбросили.

— Куда выбросили?

Виталька опередил меня:

— На улицу, в траву куда-то.

— А может, найдете?

Виталька пожал плечами.

— Темно было. Ну, может, найдем. Хотя вряд ли...

— Вы постарайтесь, братцы, — почти жалобно попросил Эдик. — Сами понимаете, работа. Поищите не в службу, а в дружбу. Идет?

— Поищем, — сказал Виталька.

Я бросил на него сердитый взгляд.

— Если найдете, несите завтра сюда же, — сказал Эдик. — В это же время. Договорились?

Мы сказали, что договорились, и отправились домой.

— Здорово ты придумал про ключ, — с уважением сказал Виталька. — Правдоподобно. Я так врать никогда не научусь. Ты, наверно, писателем будешь.

Я ответил, что, во-первых, писатели не врут, а только

фантазируют, а во-вторых, он, Виталька, дырявый мешок с опилками. Зачем сунулся? Надо было сказать, что бросили ключ в реку — тогда и дело с концом.

— А вдруг найдем ключ? — сказал Виталька.

Я даже остановился.

— Где? Если его не было!

— Ну, какой-нибудь ключ. Вдруг подойдет к замку?

— Зачем?

— А часы? Все люди уже говорят: хорошо, что отремонтировали. Если остановятся, хорошо будет?

Верно. Про часы я не подумал. Но где взять ключ?

— Сначала надо замок посмотреть, — объяснил Виталька. — По скважине можно определить, какой примерно ключ нужен.

— Правильно!

Дорога до монастыря была не близкая, через весь город. Мы попробовали проехать на автобусе, но денег не было, и кондукторша турнула нас. Тогда мы выбрали самый короткий путь — берегом реки. Кое-где под сердитые вопли хозяек пришлось пересечь огороды, зато добрались быстро.

Мощеный монастырский двор был прогрет солнцем и пуст. Между камней торчали высокие травинки, и на них качались коричневые бабочки. Среди облупленных куполов заколоченного собора лениво летали два голубя.

Широкая тень от колокольни лежала на булыжниках, и мы, укрываясь от солнца, пошли по этой тени, как по дороге. Прямо к двери.

Никого кругом не было. Мы раньше слышали, что в длинном монастырском здании расположены какие-то мастерские, но сейчас и оно выглядело пустым.

И все же оказалось, что мы не одни. Из-за угла дома вышла и направилась прямо к нам крупная собака. Серая и лохматая. Мы замерли. Кто знает, что у пса на уме?

Собака подошла, пристально посмотрела на нас, обнюхала Витальки ны кеды и мои новые сандалии, потом зевнула и махнула хвостом. Отошла в сторонку.

— Вот умница. Понимает хороших людей, — сказал Виталька.

— А интересно, как там наша собака в лесном доме? — вспомнил я.

— Я тоже про нее часто думаю, — отозвался Виталька. — Жалко ее...

Мы подошли к двери. Она оказалась сколоченной из крепких плах, а подвешена на могучих чугунных петлях. Замок тоже был могучий. Не висячий, а врезной. Железная шестиугольная пластина с накладными узорами из меди, а посредине — скважина. Размером с мой мизинец.

— Ничего себе, какой ключик тут нужен, — со вздохом сказал Виталька.

Он пошарил в кармане, отыскал серебряную бумажку от эскимо, которое вчера мы ели в цирке, приложил к скважине и притер пальцем. На фольге остался отпечаток.

— Так легче будет ключ подбирать, — объяснил он.

— «Подбирать»! — хмыкнул я. — А где?

Снова подошла собака, села рядом и добродушно смотрела на нас. Будто интересовалась разговором.

Виталька открыл рот, чтобы сказать что-то. И в это время ударили часы! Бомм-бах! Бомм-бах! Десять раз...

Мы стояли и смотрели на циферблат, задрав головы. И собака смотрела. Часы... Собака... Ключ...

— Виталька! А помнишь часы в том доме?

— Ну...

— Что висело вместе с гирей?

Виталька поморгал, поскреб переносицу, будто хотел отскоблить веснушки, и радостно заорал:

— Ключ!

Нам опять повезло: тети Вали не было дома. Виталька написал на бумажной салфетке: «Тетя Валя, мы будем гулять до вечера, а пообедаем у Олега».

— Думаешь, поверит? — спросил я.

— А что делать? — И Виталька решительно надел записку на копье старинного чугунного рыцаря (под этим рыцарем тетя Валя хранила письма и разные квитанции).

Мы спешили, но на этот раз у нас хватило ума одеться поплотнее, чтобы не просвистело ветром при большой скорости.

— Лишь бы опять дождик не случился, — пробормотал я, влезая в старую школьную гимнастерку.

— Не случится, — уверенно откликнулся Виталька. — День хороший, и все хорошо будет. Ключ достанем, собаку навестим...

Не знаю, почему мы решили, что ключ из лесного дома подойдет к замку на дверях колокольни. В глубине души я понимал, что надежды нет. Или почти нет. Но вся эта история становилась похожа на таинственную сказку, а

кто откажется от сказки? К тому же, если есть ковер-самолет, почему не может быть других чудес?

И все же я бы подумал еще, лететь или не лететь, если бы не собака. Жаль ее, и нехорошо как-то, словно бросили...

Мы взяли для собаки три сырые котлеты из холодильника, свежую горбушку и пять кусков сахара.

Потом развернули ковер на крыше.

— Может, хвост прицепим? — предложил я. — Среди бела дня летим...

— Некогда, — сказал Виталька. — Лучше пойдем на бреющем по огородам, а потом — под обрыв.

Так мы и сделали. Пронеслись по переулкам вдоль заборов, потом — над грядками и плетнями, затем нырнули в тень речного обрыва, а оттуда — под мост. А из-под моста выскочили и, шелестя по верхушкам трав, помчались к лесной опушке.

Наверняка кое-кто нас заметил и оторопело глядел вслед, но мы уже знали, что это не опасно.

У леса мы поднялись над верхушками деревьев и взяли знакомый курс на геодезическую вышку.

Мы очень торопились, и встречный воздух буквально ревел вокруг нас. Чтобы уменьшить сопротивление, мы легли вдоль ковра и прижались к нему. Ветер прижимал к Витькиной голове берет, а с меня пытался сдернуть школьную фуражку, но я опустил ремешок на подбородок.

И вот интересное ощущение: холодит тебя летящий навстречу воздух, а солнце горячит спины сквозь сукно, и поэтому все равно жарко...

Мы летели без остановок, напрямую, и путь оказался совсем не таким длинным, как в прошлый раз. Часа через полтора мы проскочили темное озеро и увидели крышу старого дома.

Мы опустились у крыльца. Дверь, как и раньше, была приоткрыта. Мы вошли. Не было у меня такой робости, как в прошлый раз, но легкое замирание я все-таки чувствовал. Солнце квадратами лежало на пыльном полу. Пол скрипел под нами. Мы остановились и прислушались. Кроме нашего дыхания — ни звука.

Виталька вдруг сказал:

— Часы стоят.

Мы бросились в маленькую комнату.

Часы и правда стояли. Цепь с гирей и ключом опусти-

лась до самого пола. А на полу под часами лежала рыжая собака. Она уткнула морду в протянутые лапы. По ее загривку ползла желтая гусеница.

— Заснула, — прошептал Виталька. Потом чмокнул губами и сказал: — Эй, собака! Вставай. Мы пришли...

Собака не встала и не пошла к нам. Даже не шевельнулась. Тогда мы подошли сами. И сразу увидели, что не спит она. Глаза у нее были открытые и неподвижные.

— Бедная, — сказал Виталька. Сел на корточки и без всякой боязни погладил мертвого пса.

Я тоже провел ладошкой по рыжей свалявшейся шерсти и щелчком сбросил гусеницу. Собака была очень худая, и сквозь шкуру чувствовались твердые ребра.

И все же она умерла не от голода. Ведь жила же она раньше столько времени одна. Умерла она от одиночества или от старости. А может быть, от того и от другого. Наверно, знала, что умирает, а уйти не хотела, потому что ждала кого-то. И часы не хотела бросать.

Я встал и взялся за цепь, чтобы подтянуть гирю. Пускай тикают на память о собаке.

— Не надо, — сказал Виталька.

— Почему?

— Ну... ведь они не наши часы. А ее...

Да, он правильно сказал. Не должны мы их трогать. Даже не имеем права. А наши часы — там, над городом. Они не должны стоять.

Я опять сел на корточки и отцепил от гири тяжелый ключ. И подумал: ведь ключ висел для дополнительного веса, без него часы не смогли бы идти.

Я сказал об этом Витальке. Но он отмахнулся:

— Подумаешь! Камень бы подвесили. А теперь уж все равно... А что делать с собакой? Не бросать же так.

— Лопату надо, — сказал я.

Лопату мы нашли в кухне за печью. Она оказалась ржавая и тупая, но точить было нечем.

За домом, под кустом шиповника, мы стали рыть яму. Корни мешали, и земля была не очень мягкая. Но мы ни разу не пожаловались друг другу и по очереди молча ковыряли лопатой чернозем и глину.

Когда край ямы стал выше колен, Виталька сипло сказал:

— Хватит, наверно...

Мы нашли у дома несколько лопухов и застелили яму. Потом принесли и уложили собаку.

Надо было зарывать. Но я не хотел, чтобы глиняные крошки падали на открытые глаза собаки и запутывались в рыжей шерсти. А лопухов больше не было.

Я стащил через голову гимнастерку. Все равно она была старая — та, в которой я два года назад собирался «бежать в леса».

— Берись за ворот. Рванем, — сказал я Витальке.

Мы дернули, ворот разорвался до подола, и гимнастерка распахнулась, как пиджак. Мы укрыли ею собаку. Правда, хвост и лапы остались торчать из-под сукна, но тут уж ничего не поделаешь. Потом мы завалили яму.

— Где-то я видел фанерку... — сказал Виталька.

Он сходил в дом и принес фанерный прямоугольник, похожий на крышку от посылочного ящика. Потом достал карандашный огрызок — как все художники, Виталька всегда ходил с карандашом, на всякий случай.

Он почесал огрызком свою переносицу с пятью веснушками, посмотрел куда-то сквозь меня, наклонился над фанеркой и написал:

*«Здесь похоронена собака».*

Он подумал и переправил маленькую букву *«с»* на большую.

— Раз у нее имени нет, пускай это будет как имя. Правильно?

Я кивнул.

Виталька писал дальше. Прямыми крупными буквами. И вот что получилось:

*«Здесь похоронена Собака. Она жила в этом доме. Все ушли, а она жила. Она заводила часы».*

Виталька поставил точку и очень серьезно посмотрел на меня.

— Что еще написать?

— Ничего больше не надо.

Мы вытащили из трухлявой двери два гвоздя (они еле держались), нашли под крыльцом половинку кирпича. Этой половинкой мы прибили фанерку с надписью к черенку лопаты. Прибивали долго: фанера была крепкая, ржавые гвозди гнулись. Мы оба поотшибали кирпичом пальцы, посдирали кожу с костяшек — больно было до слез. Но все-таки мы приколотили фанеру. А лопату глубоко воткнули в насыпь и вокруг утрамбовали кулаками землю.

## Глава пятнадцатая

На обратном пути я невесело задумался и не сразу заметил, что летим мы не очень быстро. А когда заметил, хотел разогнать ковер-самолет. Но он слушался неохотно: видимо, Виталька прочно управлял им.

— Скорее, — сказал я. — Зря теряем время...

— Ты же раздетый. Тебя ветром просквозит.

— Не просквозит, воздух теплый. Давай...

— Ага, «давай»! — ворчливо откликнулся он. — Ты и так уже сипишь от простуды.

Но я сипло говорил не от простуды. У меня от слез в горле скребло. Витальку я не стеснялся и честно объяснил:

— Это потому, что зареветь хочется.

— Ну и пореви, — понимающе сказал Виталька.

У меня глаза уже были мокрые, но я сдержался и даже улыбнулся:

— Не буду. Ковер намокнет.

Я знал, что Виталька тоже улыбнулся, хотя и не видел его лица. Он сидел впереди, свесив ноги, а я лежал за ним и затылком упирался в его спину. Спина была худая, и даже сквозь толстый свитер я чувствовал острые Витальки ны позвонки. Густой лесной воздух обтекал меня, как река, и только по его движению можно было ощутить скорость. Белые июльские облака были надо мной неподвижны. Солнце зажигало у меня на мокрых ресницах радужные круги, и я часто моргал, чтобы не мешали смотреть на облака. Но скоро ветер высушил ресницы.

— Жалко собаку, да? — не обернувшись, сказал Виталька.

— Ага, — прошептал я.

Если разобраться, то велика ли беда? Ну, умерла собака. Старая, почти незнакомая. Чего тут горевать? Плакать можно, когда настоящее горе. А такое горе у меня было: когда в больнице сказали про отца...

Я тряхнул головой: улетайте прочь все горькие мысли!

— Не дергайся, — сказал Виталька. — Ты мне затылком всю поясницу раздолбил.

— Бедная поясница, — вздохнул я и сел по-турецки. Положил перед собой ключ, который до этого не выпускал из ладоней.

Ключ был сантиметров двадцать длиной. Шестигранный, как у толстого карандаша, стержень, кольцо с зави-

тушками и бородка со сквозным узором. И рыжие, как веснушки, пятна ржавчины.

Тяжелый ключ. Недаром его рядом с гирей повесили...

У измученной собаки, наверно, не хватило сил в последний раз подтянуть эту тяжесть — гирю и ключ. Собака легла под часами и не поднялась... А часы молчали. И сейчас молчат в совершенно пустом и никому не нужном доме.

Это плохо, если дом никому не нужен. Пока он был нужен собаке, это все-таки был дом, а сейчас неизвестно что...

И плохо, когда часы не идут, хотя могут идти...

Опять! Чтобы разогнать тоскливые мысли, я стукнул себя ключом по ноге. Виталька опять оглянулся.

— Дай-ка, я его в карман суну. А то уронишь.

— У тебя карманы всю жизнь продырявленные, — сумрачно сказал я. Расстегнул пряжку и надел ключ на поясок. — Так надежнее.

— Ой, какие мы балбесы! — воскликнул Виталька. — Мы же не проверили!

Он вытащил серебряную бумажку с оттиском скважины.

Мы приложили конец ключа к отпечатку.

— Вроде бы подходит, а? — удивленным шепотом сказал Виталька.

— Ну и что? Это он снаружи подходит. А думаешь, внутри повернется?

Ключ повернулся.

Самое удивительное, что повернулся без натуги и скрежета. Мягко и бесшумно, будто замок недавно смазывали.

Мы с Виталькой переглянулись — не обрадованно, а скорее с испугом. Потом взялись за медное кольцо на двери и потянули. Дверь отошла тяжело, но без задержки и скрипа.

Перед нами словно вздохнул проснувшийся великан — дверь была как темная пасть, и оттуда качнулся нам навстречу сумрачный влажный воздух.

Мы постояли на пороге. Потом я шепотом спросил:

— Ну, идем?

Виталька кивнул, оглянулся, погрозил кулаком Ветке и шагнул в полумрак. Я — за ним.

Ветка осталась в засаде, в лопухах и репейниках у монастырского дома.

Нам нужна была засада. Охрана. Потому что многое было непонятным и начинало казаться опасным. И вот из-за чего...

Накануне мы прилетели домой рано, без приключений. Тетя Валя даже не начинала еще волноваться. Казалось бы, надо радоваться. Но Виталька ходил сумрачный. И сказал наконец:

— Не нравится мне это...

— Что?

— Да эти, из музея. Чего этот Федя все время бледнел и заикался? И не похож он на альпиниста.

Я обеспокоенно задумался. И правда не похож.

— У тебя пятнадчик есть? Для телефона, — сказал Виталька. (Не забывайте: деньги были не те, что потом, и в автомат требовалось опускать пятнадцать копеек.)

У меня, к счастью, нашлась в нагрудном карманчике монетка — сдача от вчерашнего эскимо.

Виталька, ничего не объясняя, повел меня на перекресток, там стояла телефонная будка. Он нажал кнопку спецвызова, набрал 09 и спокойно попросил:

— Пожалуйста, телефон городского музея... Спасибо.

Я всегда завидовал, как он умеет разговарить по телефону. Сам я сразу робел и начинал сбиваться.

Виталька опустил монетку и завертел диск. Я начал догадываться.

— Думаешь, там еще работают? Уже восемь часов.

— Это музей, а не контора, — сказал Виталька.

И оказался прав: телефон ответил.

— Здравствуйте, — сказал Виталька голосом отличника-активиста. — С вами говорят из кружка юных краеведов. Скажите, пожалуйста, нельзя ли позвать к телефону младшего научного сотрудника... Простите, я не знаю фамилии, его зовут Эдик.

Виталька отодвинул от щеки трубку — так, чтобы и я услышал ответ. В трубке задребезжал далекий голос, и мне сразу представился седой старичок в черной академической шапочке.

— Простите, молодой человек, но вы, очевидно, ошиблись. Сотрудника с таким именем у нас нет...

— Извините, он такой темноволосый, — заторопился Виталька. — И нос у него такой... с горбинкой...

— Нет-нет, — продребезжал телефон. — Вы заблуждаетесь. А из какой вы школы?

— Из десятой, — наобум брякнул Виталька и повесил трубку. Повернулся ко мне.

— А еще завидовал, что я вру хорошо, — поддел я. — У тебя не хуже получается.

— Есть у кого учиться, — нашелся он. И спросил: — Ну, что?

— Что?

— Не из музея эти... сыщики.

— Значит, все-таки из милиции, — уныло сказал я.

Виталька пожал плечами.

— Не знаю... Не похоже. Ключ им давать не надо. Надо сперва самим посмотреть, подходит ли. А если подходит, разведать, что там...

— Сейчас? — спросил я.

Мы виновато посмотрели друг на друга. Мы крепко устали после полета. Близился вечер, и сумерки старой колокольни нам не казались уютными. Кроме того, меня ждали дома дядя Сева и мама: я их не видел целых два дня!

— Завтра утром, — решил Виталька. — Пораньше, пока эти Эдики и Феди не пришли.

Рано утром я свистнул с улицы Витальке, и он выбрался ко мне через крышу. Я побренчал в кармане мелочью.

— Давай на автобус! Быстрей доберемся!

Виталька почесал переносицу. Предложил:

— Сначала забежим за Веткой.

— Зачем?

— На всякий случай. Чтобы на страже была.

— Тогда лучше Ветерок.

— Он без спросу не пойдет, а мать его не пустит, пока не заставит позавтракать. Да еще нас кормить начнут. Провозимся...

Это он правильно сказал.

Мы побежали к Ветке. Забрались в палисадник и глянули в окно. Ветка в синем купальнике делала зарядку. Это была не простая зарядка. Держась за спинку кровати, Ветка вставала на цыпочки и выполняла всякие балетные упражнения. Солнечные зайчики прыгали по Веткиным плечам и вспыхивали на никелированной кроватной спинке.

Виталька вздохнул и залюбовался. Я, по правде говоря, тоже загляделся: хорошо у нее получалось. Но я вспомнил о деле первым. Сердито пихнул Витальку локтем и стукнул костяшками пальцев по стеклу.

Ветка оглянулась, застеснялась, потом, видно, слегка рассердилась на нас. Подошла и распахнула окошко.

— Вам чего?

— Дело, — сказал Виталька.

— А Саня где?

— Саня, наверно, еще дрыхнет, — объяснил Виталька.— А ты собирайся. Дело нешуточное, нам часовой нужен.

Ветка пожала плечами, но в одну секунду накинула платье и выпрыгнула к нам.

— Что за часовой? Что за дело?

— Мы и сами толком не знаем, — серьезно объяснил Виталька. — Ты, главное, сиди и карауль. Если надо, мы крикнем, что делать.

Ветка молодец. Она не стала приставать с расспросами, а сказала:

— Айда!

Мы побежали к автобусной остановке.

На улицах было пусто, свежо и солнечно. Ветер запутывал нам волосы и трепал короткое Веткино платьице, похожее на пеструю мальчишечью рубашку. У меня на поясе прыгал тяжелый ключ и колотил по бедру. Мы спешили навстречу приключениям.

Шагнув через порог колокольни, мы прикрыли за собой дверь: чтобы незаметно было, что она не заперта.

Огляделись.

В кирпичной толще на разной высоте были пробиты узкие оконца — как бойницы. Солнце ярко било в них, разрубая сумрак широкими плоскими лезвиями.

Пол был выложен гранитными плитами. В центре площадки плиты были треснувшие и сильно продавленные: на это место грохнулся колокол. Мы посмотрели вверх: пробитый потолок, поломанные балки. У стены — сложенная из кирпича лестница, ведет к люку.

— Полезли? — спросил Виталька.

— Ага.

Мы забрались на второй этаж.

Здесь, как и на первом этаже, светились оконца-щели. И так же пахло известкой, камнем и влажными кирпичами. Но не было такой тишины. Раздавался ритмичный стук, разбавленный тонким дребезжанием.

— Часы стучат, — прошептал Виталька. — Ой, Олега, смотри...

Я оглянулся. За спиной у нас была большая и глубо-

кая ниша. В ней виднелось зубчатое колесо с метровым рычагом. Точнее, не колесо, а зубчатый барабан, который надет был на торчащую из стены ось. По обеим сторонам барабана протянулись мощные цепи. Это они тихо дребезжали от работы механизма.

Цепей было три. Они спускались из круглых отверстий в сводчатом потолке ниши и уходили в такие же отверстия в кирпичном полу. Только одна цепь не уходила — на ней висела ржавая граненая гиря размером с большой молочный бидон.

— Смотри, — шепотом сказал Виталька, — движется...

Гиря тихо-тихо, но все же заметно для глаз ползла вниз. До кирпичного пола ей оставалось полметра. Видимо, это был конец ее пути. Скоро гиря стукнется о кирпич, и часы замрут.

Наверно, еще никогда гиря не касалась кирпича, иначе там остался бы след от такой тяжести. А следа не было.

Виталька хотел что-то сказать, но в этот миг вверху ударили часы: бомм-бах! Половина восьмого... Из пустой круглой дыры в своде ниши выползла наполовину и тихо закачалась еще одна гиря.

Я сразу понял, что она — от часовых колоколов. В тети Валиных часах так же опускалась и покачивалась гиря, когда просыпалась кукушка.

— Не больше чем на два часа хватит, — сказал я.

Виталька решительно посмотрел на меня.

— Гири поднимают этой штукой. — Он кивнул на рычаг и барабан.

Я и сам догадался. Но как эта штука действует?

А Виталька уже понял как.

— Берись. Тяни ее на зубцы.

Мы не без труда откачнули в сторону одну цепь и надели на шипы барабана. Потом взялись за рукоятку на конце рычага.

— Поехали...

Это было похоже, будто мы из колодца вытягиваем воротом тяжелую бадью. Только вместо бадьи — гиря, и ползет она не снизу — к нам, а от нас — вверх.

Башня заполнилась рокотом и лязгом. С цепи посыпались чешуйки ржавчины. Ее конец заскользил с барабана вниз, и стало слышно, как цепь со звоном укладывается на каменном полу подвала.

Гиря уползла в дыру на потолке.

— Ура... — выдохнул Виталька.

Чтобы вертеть рычаг, нам приходилось то вставать на

цыпочки, то приседать до пола. Работка была нелегкая. Я машинально считал обороты и на десятом сказал:

— Фу... Отдохнем. А долго нам еще крутить?

Виталька прищуренно посмотрел на барабан.

— Если его вокруг измерить, около метра получится. Ага? А до часов сколько?

— Метров тридцать... Значит, еще двадцать раз надо крутнуть.

Ну что ж, мы вертели. Отдыхали и опять вертели. Подняли сначала гирю для стрелок, потом гирю для боя.

Выпрямились. Вытерли коричневыми от ржавчины ладонями мокрые лбы. Улыбнулись. Нам казалось, что часы теперь стучат по-иному — празднично и благодарно.

И вдруг в это медное стучанье вмешался другой звук. Кто-то скреб железом о железо. Внизу.

Мы не сразу поняли, что там такое. Но лязганье продолжалось, и скоро стало ясно: кто-то ковыряет в замке ключом. Не нашим ключом. Наш-то висел у меня на поясе.

Мы замерли на четвереньках у края подвала.

Дверь наконец приоткрылась, впустив солнечный свет. И в этом свете мы узнали наших знакомых: крючконосого Эдика и белобрысого Федю-верхолаза.

— Не заперто, — зло сказал Эдик. — Тебе что, лень было ключ повернуть, идиот?

— Заткнись, — хмуро отозвался Федя. — Я поворачивал два раза, чуть пуп не сорвал. Кто-то был...

— Пацаны, — полушепотом сказал Эдик. И глянул наверх.

Я посмотрел на Витальку. Что делать? Может, сразу сказать, что мы здесь? Теперь все равно не уйдешь...

Но Виталька смотрел не на меня. Куда-то мне за спину. И прижимал палец к губам.

Я оглянулся. И увидел то, что мы не заметили сразу, потому что заняты были часами. В другой стене тоже была ниша. А в ней друг на друге стояли фанерные ящики и лежали зашитые в мешковину тугие тюки.

Мы умели понимать друг друга без слов.

«Ясно, кто они такие?» — глазами спросил Виталька.

Я вспомнил разговоры про ограбленные магазины. Мне стало зябко и даже слегка затошнило. Я мигнул: «Ясно».

А те двое стояли и смотрели вверх.

## Глава шестнадцатая

Да, они стояли и смотрели вверх...

Надо признать: в сложных обстоятельствах Виталька вел себя умнее и храбрее, чем я. Оказалось, что и в этот раз мы думаем о разном.

Я думал, как бы унести ноги.

А Виталька — совсем о другом.

Он вдруг встал на краю провала и беззаботно, будто своим приятелям, крикнул:

— Здрасьте! А мы уже здесь!

Крючконосый Эдик вздрогнул, зыркнул по сторонам, потом запоздало заулыбался. А Федя заморгал и сказал:

— Вы там это... чего?

— Часы заводили! — весело объяснял Виталька. — Ух и умаялись! Жалко, что вы поздно пришли...

Он дернул меня за воротник, чтобы я поднялся с четвереньек. Пришлось встать.

— Ага! — с натянутой улыбкой воскликнул Эдик. — Ранние птички! Раньше нас прилетели! Ну, спускайтесь, поговорим.

— А зачем? — дерзко сказал Виталька. — У вас ведь ключ-то есть. Чего вы нам мозги пудрили?

Эдик вздохнул и опять деревянно посмеялся:

— Ну, вы лихой народ. Все замечаете, как разведчики. Ключ мы нашли. Сегодня утром в музейном подвале рылись — и повезло.

Виталька подбородком показал на Федю:

— А он чем вчера дверь запирал? Пальцем?

Эдик перестал смеяться. Негромко, но уже с угрозой он потребовал:

— Спускайтесь. Тогда и поговорим.

— Успеем, — дурашливо ответил Виталька. — Тут еще надо порядок навести: кто-то ваши ящики рассыпал.

— Кто рассыпал?! — заорал Федя и бросился к каменным ступеням.

Виталька дернул меня за локоть, и мы по шаткой деревянной лесенке взлетели на третий этаж.

Там Виталька опять подтащил меня к провалу.

Я чуть не плакал — не столько от страха, сколько от Виталькиной глупости.

— Зачем ты сказал про ящики? Теперь они нас не выпустят.

Виталька сердито и весело глянул на меня.

— А зачем нам выпускаться? Надо, чтобы их не выпустить! А то утекут, и не найдешь!

— А как... — начал я.

Но Виталька заглянул в дыру и довольно издевательски произнес:

— Напугались, бедненькие? Да не трогали, не трогали мы ваши товары. Пусть их милиция трогает.

Эдик и Федя яростно смотрели на нас. У Феди на прозрачном носу опять блестели капельки. У Эдика шевелились скулы.

— Гады, — хрипловато сказал Федя. — Настучать хотите? Я вам это сейчас... кишки на шею намотаю.

Мы не стали ждать, когда они доберутся до наших кишок, и снова бросились к лестнице. Здесь она была разбита. Сохранились только отдельные балки и верхние ступеньки. Виталька подпрыгнул, вцепился в перекладину и крикнул:

— Подсади!

Я ухватил его за ноги и изо всех сил толкнул вверх. Виталька подтянулся, сел на ступень и протянул мне руки:

— Давай!

Ух, как бухало у меня сердце! Мне показалось, что Эдик и Федя сию секунду ухватят меня за щиколотки. Отчаянно дрыгая ногами, я кое-как забрался к Витальке. Потом мы ухватились за кромку люка и оказались на четвертом этаже.

— Берись! — приказал Виталька и, нагнувшись над люком, ухватился за обугленный брус, на котором держались хлипкие ступени.

Я понял! Мы дружно расшатали балку, и она рухнула, чуть не придавив Эдика и Федю, которые лезли за нами.

— Ну, детки, это вам будет стоить дорого, — пообещал Эдик.

— Сколько? — бесстрашно спросил Виталька.

— Столько, сколько заработали... Слушайте, парни, спускайтесь сами, а то хуже будет.

— Зачем это нам спускаться? — спросил Виталька. — Мы высоту любим.

— Вы с этой высоты сейчас... Ни в одной мастерской не склеят...

— Сперва поймайте!

Эдик и Федя стали прислонять к стене балку, чтобы по ней добраться до нас.

— Так-так, — сказал Виталька. — Работайте. Привыкайте. Там, куда вас посадят, все равно придется работать.

Федя коротко всхлипнул и поглядел на нас так, что у меня зубы застучали.

— Не трусь, — сказал Виталька.

— Вовсе не трушу, — из последних сил сказал я. А на самом деле трусил так, как никогда в жизни.

Я не мог понять, чего хочет Виталька. Зачем он дразнит этих бандитов? Куда мы денемся? Может, он забыл, что у нас нет с собой ковра-самолета?

Эти мысли прыгали у меня в голове без всякого порядка. Да и какая разница теперь? Вниз все равно не пробьешься. Сейчас — только вверх и вверх, чтобы не попасть в лапы к разъяренным жуликам.

Сопя и ругаясь, Эдик и Федя стали карабкаться к нам по балке.

— Молодцы, — сказал Виталька. — Физкультура полезна всем. Эдик, не наступи Феде на нос, а то он станет совсем прозрачный.

— Давай толкнем балку, — торопливо предложил я.

— Успеется, — сказал Виталька шепотом. — Надо, чтобы им потом спускаться было трудно. Айда наверх!

Мы стали забираться на пятый ярус. Здесь лестницы совсем не было. По правде говоря, я не помню, как мы лезли. По каким-то брусьям, кирпичным выступам и доскам, от которых отскакивали обугленные щепки. Виталька сначала подталкивал меня, а потом оказался впереди и выволок меня в люк за шиворот.

Над нами, на шестом этаже, гулко стучал механизм часов. Туда вели крепкие ступени, только самый низ лестницы был разломан и не доставал до пола.

Мы забрались на лестницу:

— Держи меня крепче, — велел Виталька и лег животом на ступень. А ногами крепко ударил в пол. Разрушенные доски и балки закачались, затрещали. Виталька ударил еще раз. Остатки пола крякнули и стали проседать — видимо, они едва держались. Потом раздался треск, и старое дерево посыпалось вниз.

Оттуда послышались вопли и слова, которые трудно передать.

— Хорошо, — с чувством произнес Виталька.

— Что хорошего-то? — чуть не плача, сказал я. — А мы как спустимся?

— Как-нибудь спустимся. Нам пока наверх надо. Пошли!

Мы без остановки проскочили этаж с механизмом и выбрались на площадку с колоколами.

Солнце и синий воздух кругом! И облака, и зеленая земля, и река! Неужели внизу копошатся какие-то бандиты? Неужели здесь, при ярком радостном свете, с нами может случиться что-то плохое?

Виталька торопливо расстегнул на мне ремешок и сдернул ключ. Потом подскочил к перилам и перегнулся через них.

— Ветка-а!

Верно, ведь там была Ветка! А я и забыл с перепугу!

Я видел с высоты, как замелькало на монастырском дворе пестрое Веткино платьице. Она выскочила из лопухов и остановилась, задрав голову.

— Слушай! — громко и отчетливо прокричал Виталька. — Лови ключ! Запри дверь! Обязательно запри дверь! И беги в милицию! В колокольне жулики!

Ключ, посвистывая, ушел вниз и звонко запрыгал на камнях. Ветка схватила его.

Внизу под нами раздалась ругань, загремели доски. Видно, преследователи остались целы и, услышав про милицию, торопились вниз, к двери.

— Запирай скорей! — заорал Виталька. — Не спрашивай ничего, запирай!

Мы оба перегнулись вниз до отказа, но трудно было понять, справилась ли Ветка с дверью.

Внизу что-то грохотало и сыпалось, а что делает Ветка, мы даже не видели — она была скрыта дверной нишей. Кажется, сто лет прошло! И наконец она выскочила на солнце, замахала ключом:

— Го-то-во!

— Беги в милицию! — крикнул Виталька.

— А вы?!

— Мы продержимся! К нам они не доберутся!

Я не знаю, что там думала Ветка и какие переживания отражались у нее на лице — с высоты не разглядишь. Но она без лишних слов рванула с места и помчалась к монастырским воротам. До нас пулеметным стуком долетело щелканье ее подошв.

Внизу раздались гулкие удары. Это Эдик и Федя лупили по двери.

Мы легли на пол и заглянули в провал. После яркого солнца ничего нельзя было разглядеть в темной глубине. Но удары не смолкали, и слышались голоса:

— Открывайте! Гады! Хуже будет!

Я усмехнулся. Страх ушел, и я был уверен, что хуже не будет. Что они сделают? Сюда не доберутся, потому

что мы поломали перекрытия. А если бы и добрались, разве посмели бы нас тронуть? Им тогда еще больше достанется! А сбежать им некуда: такую дверь только из пушки можно разбить. Виталька здорово все рассчитал!

Я весело поглядел на него. Виталька улыбался. Его веснушки на переносице сияли, как начищенная медь. Правда, на той же переносице была ссадина, на щеках сажа, а на рубашке — дыры, сквозь которые проглядывало поцарапанное пузо.

— Хорош! — сказал я.

— Ты тоже ничего, — радостно сообщил он. — Тетя Валя нам даст!

Я сел на краю провала, бесстрашно опустил в него ноги и засвистел песенку мальчика Дэви из фильма «Последний дюйм»:

В далекой северной стране,
Где долгий зимний день,
В холодной плещется волне
Ма-
лень-
кий
тю-
лень!

— Свистите? — громко донеслось снизу. — Ну, обождите, паразиты!

Мне снова стало нехорошо от страха. А Виталька деловито заметил:

— Кажись, опять сюда собираются...

Он подошел к перилам, ухватился за балясину и пошатал ее. Балясина была, видно, гнилая. Она поддалась и затрещала.

— Помоги, — сказал Виталька.

Я торопливо помог, и мы выдернули из гнезд точеный столб, который был мне по плечо. Потом выдернули еще два. А больше не смогли.

Виталька взвесил балясину в руках и задумчиво произнес:

— Ничего дубинушка.

Снизу донеслись приглушенные голоса и сопение. Мы опять заглянули в провал. На четвертом этаже Федя и Эдик мастерили из упавших балок лестницу.

Эдик поднял лицо. На него упал из бойницы луч, и мне стало совсем не по себе. Страшное было лицо, что и говорить.

— Ну, детки, вам не жить. Салатик будем делать, —

хрипло сказал он. И я увидел у него длинный тонкий нож. Мой нож! Тот, что я уронил в провал ночью.

Виталька впервые взглянул на меня с открытой тревогой. Дело было скверное. Видно, жулики дошли до такого отчаяния, что им на все теперь наплевать.

Самое было время зареветь во весь голос от страха. До сих пор горжусь, что не заревел. И Виталька тоже. Он вскочил, схватил балясину и, как торпеду, пустил ее в жуликов.

«Торпеда» не зацепила Эдика и Федю. Она отскочила от балки и с грохотом полетела вниз.

Они даже не посмотрели на нас. Молча продолжали карабкаться. Я взял вторую балясину.

— Подожди. Экономь снаряды, — серьезно сказал Виталька.

Мы сделали ошибку. Надо было спуститься на пятый этаж и отбиваться от врагов, пока они ползут по балкам и едва держатся. А мы остались на верхнем ярусе. Мы ждали, что вот-вот, как в хорошем фильме, ворвется на монастырский двор синий милицейский фургон.

Но там было пусто и тихо. Лишь на окрестных улицах мелькали крошечные фигурки пешеходов. Не докричишься, не позовешь на помощь...

Сколько прошло времени? Совершенно не представляю. Наверно, немного, потому что с тех пор, как в башне появились наши враги, ни разу не били часы. Но нам казалось, что мы здесь целый день.

Эдик и Федя выбрались на пятый этаж, и мы потеряли их из виду под грудой рухнувших брусьев и половиц. Только было слышно, как они шепотом ругаются.

Этот шепот наводил на меня ужас.

Наконец белобрысая Федина голова показалась над краем люка. Я метнул в нее свою «торпеду». Федя завопил и пропал, внизу что-то загремело.

— Хорошая будет шишка! — восторженно заметил Виталька.

Но тут же нам стало не до веселья: сквозь доски яростно протолкался в люк Эдик. Исцарапанный, оборванный, злой до беспамятства. С моим ножом в кулаке.

Теперь между нами был только один этаж и крепкая лестница — такую не разломаешь.

Виталька встал над люком, расставив ноги, и поднял свою балясину. Тонко сказал:

— Попробуй сунься, бандюга...

Я оглянулся в поисках оружия. Палку бы или камень... Ничего нет! А внизу по-прежнему пусто!

А если закричать изо всех сил, может, услышат?

Но, несмотря на опасность, кричать я почему-то не мог. Не мог заставить себя заорать над всем городом «помогите»!

А если ударить в колокол? Я вскочил на перила и хотел дотянуться до колокола, который висел в арочном проеме. Это был самый большой из тех, что сохранились. Громадный! И звон у него, конечно, могучий...

Но как дотянешься? В проушину чугунного языка была вплетена толстая веревка, но от нее остался лишь гнилой обрывок. А до обрывка — метра два пустоты.

Я балансировал на перилах, держась за кирпичный выступ. И вдруг кирпич шевельнулся у меня под пальцами. Видно, выступ сорок лет назад расшатало взрывом.

Я испугался, что потеряю равновесие, и прыгнул на пол. Кирпич свалился к моим ногам и распался на три куска.

Я схватил обломок!

Размахнулся и пустил его в край колокола! Изо всех сил! Дон-н!..

И еще раз!

Дон-н!..

Уши заложило. Я видел, что Виталька что-то говорит мне, но не понимал. Удары прозвучали так, что казалось, будто колокол упал и накрыл меня своим гудящим куполом. Я присел, помотал головой, нащупал на полу третий кусок...

Дон-н-н!..

Нужны были еще камни! Я опять прыгнул на перила и, срывая ногти, стал выламывать кирпич. Тот не поддавался. Пальцы сорвались, и я чуть-чуть не полетел с колокольни. Мучительным напряжением мускулов я восстановил равновесие и выровнялся. С отчаянием посмотрел вниз...

Снизу поднимался к нам ковер-самолет. А на ковре бесстрашно стоял Санька-Ветерок, и его зеленая рубашка трепетала на ветру.

— Виталька! Ковер! — заорал я, не слыша себя.

Ковер-самолет с Ветерком повис на уровне перил.

Виталька оглянулся и просиял. Потом швырнул в люк свое оружие, почему-то захохотал и кинулся к нам.

Мы стремительно спустились вдоль колокольни к самой земле, пронеслись над булыжниками двора, перемахнули через стену, скользнули под обрыв и там приземлились на уступе, укрытом со всех сторон высокой полынью и бурьяном.

У меня в ушах еще не утих гул, и я не сразу понял, что говорит Ветерок. Он говорил возбужденно и быстро:

— ...на стекло наступила и хромает... И говорит: «Беги в милицию!» А я подумал: вдруг эти вас там схватят? И скорей за ковром!

— Значит, у тебя получилось! — радостно сказал Виталька.

Ветерок заулыбался.

— Я и не думал, получится или нет. Надо же было выручать. Я через крышу к вам на вышку забрался, вытащил, расстелил и как крикну: «Вперед!» И будто сам полетел, без ковра даже... А потом смотрю — он подо мной.

— Кто-нибудь видел? — спросил Виталька.

Ветерок покачал головой.

— Я же не прямо. Я сперва к реке и вдоль обрыва. Я же понимаю.

— Что ты понимаешь! — сказал Виталька. — Ничего ты не понимаешь! Какой ты замечательный человек, ты нисколечко не понимаешь!

Он облапил Ветерка за плечи и, радостно хохоча, повалил на ковер. Я тоже захохотал и повалился на них, и получилась куча мала. И так мы вопили от счастья и барахтались, пока не съехали с ковра в бурьян. Тогда мы успокоились и притихли. И вспомнили, что у Ветки порезана нога.

— Сильно порезана? — спросил Виталька.

— Не очень, — сказал Ветерок. — Просто бегать быстро не может... Что это? Вон там, наверху. Слышите?

Наверху нарастали гудки и сирены. К башне мчались автомобили.

## Глава семнадцатая

Мы так и не узнали точно, что стало с Эдиком и Федей. По городу расползались фантастические слухи. Кто-то говорил даже, что на колокольне свила гнездо целая банда, у которой хранились громадные запасы золота и оружия. Многие утверждали, что была перестрелка между бандитами и милиционерами. Бабки шептали, что боль-

шой колокол ударил сам собой, чтобы люди наконец вспомнили про грехи, а заодно изловили воров на колокольне.

Виталька, Ветка, Ветерок и я слушали эти сказки и украдкой хохотали. Правда, порой нам делалось страшновато: вдруг узнают про ковер-самолет? Но никто не узнал.

Хорошо, что тетя Валя и мама не любили слухов и сплетен. А то бы они быстренько догадались, что на колокольне без нас не обошлось.

А Эдика и Федю нам было даже чуточку жаль. Мы представляли, как они в милиции рассказывают про двух мальчишек, забравшихся к самым колоколам и пропавших неизвестно куда. А им никто не верит! Обидно, когда говоришь правду, а тебе не верят.

Прошло несколько дней, и слухи стали утихать, город постепенно забывал таинственную историю. А часы шли...

После приключений на колокольне мы долгое время не летали: пошли дожди. Сначала это были теплые дождики — от них поднимался пар над булыжными мостовыми, а по лужам весело прыгали всплески, похожие на маленькие стеклянные короны. Потом дожди стали монотонными, лужи потемнели, и на них стали появляться пузыри — словно всплывали со дна электрические лампочки. Это означало, что ненастье затягивается.

Мы не очень скучали. Снова развернули в боевой порядок свои картонные армии и устраивали такие бои, что тети Валина люстра бренчала всеми подвесками. Несмотря на ковер.

Прибегали мокрые веселые Ветерок и Ветка и тоже включались в наши сражения.

Потом Ветерок притащил книгу «Три мушкетера». Книга была новая, корочки ее негромко хрустели и пахли клеем и коленкором. На них блестел позолоченный узор и темнели скрещенные шпаги. А внутри книги таились такие приключения, что мы по нескольку часов не могли оторваться. Усядемся в кружок на ковре, будто кочевники на кошме, и читаем по очереди, позабыв про все на свете. Однажды после такого чтения попробовал я быстро встать — и бухнулся на пол: ноги затекли, а я и не заметил.

По вечерам Виталька рисовал картину из мушкетерской жизни. На картине были темные дома с желтыми окошками, большая луна, горбатый мостик и всадники в шляпах с летящими по ветру перьями. Лошади у Виталь-

ки не очень получались — они были похожи на больших собак. А все остальное выходило здорово.

Я выстругивал из досок тонкие мушкетерские шпаги и приделывал к рукояткам щитки из консервных банок.

А ковер-самолет мирно дремал на полу между нашими топчанами — будто простой ковер.

К середине августа дожди стихли, но тепло не наступало. Было солнечно и ветрено. С севера бежали небольшие темные облака с золотистыми косматыми краями. Это было красиво, но в такое холодное небо лететь не хотелось.

Лишь в самом конце месяца вернулось лето — с безветренным теплом, с плывущими по воздуху пушистыми семенами и паутинками, с запахом перезревших трав. Эти дни совпали с первыми школьными заботами.

Тридцать первого августа у нас в школе было собрание. Нас построили во дворе по классам, и завуч Вера Северьяновна сказала с крыльца речь. Она сообщила, что в этом году мы должны особенно хорошо учиться. Так она говорила в начале каждого учебного года. Всем было непонятно, почему всякий наступающий учебный год она объявляет особенным и почему в прошлом году можно было учиться хуже, чем сейчас. Однако никто Веру Северьяновну об этом не спрашивал. Опасались.

Нельзя сказать, что Вера Северьяновна была очень сердитая. Но она все время казалась недовольной. Большая, грузная, с белой прической (не седой, а просто белой), в пуховой шали на плечах, она двигалась по коридорам, как большая снежная баба, и ловила нарушителей. Любого школьника она считала нарушителем. Ей казалось, что если человек еще ничего не натворил, то все равно натворит, а если пока не получил двойку, то обязательно получит. Нарушителей она ставила на всю перемену у стенки, а «особо опасных» уводила в кабинет, уныло ругала там и вызывала родителей.

Зато с учителями нам повезло. Начальных классов тогда было не три, а четыре, и меня по-прежнему учила Мария Васильевна. Она с первого класса с нами возилась, и, по-моему, добрее ее не было на свете учительницы. А у Витальки были теперь разные учителя, и самая главная из них — классная руководительница. Молодая, веселая, похожая на вожатую из пионерского лагеря. Она преподавала историю и рисование. Виталька с первого дня в нее просто влюбился. Из-за этого у нас и получилась

неприятность. Но это потом. А первые дни сентября были счастливыми.

Уроки кончались быстро, на дом задавали немного, на дворе по-прежнему стояло лето. Правда, светлые ночи кончились, и к девяти часам вечера уже становилось темно. Однако это были уютные добрые сумерки. Потом над крышами всплывала круглая луна.

Мы летали в зеленых от луны воздушных слоях, и летучие семена, похожие на пушистых насекомых, щекотали нам лица.

Мама знала про ковер-самолет. Не знаю, как она проведала о наших приключениях, но однажды спросила:

— На чем это вы летаете?

Пришлось признаться и показать ковер-самолет. Мама вздохнула и покачала головой. Я стал ее успокаивать и говорить, что это ни капельки не опасно. А мама сказала:

— Меня не опасности огорчают, а то, что ты стал такой... неоткровенный. Не мог мне рассказать... Не хотел, да?

— Ну... я думал, что тетя Валя тебе говорила, — попробовал я выкрутиться.

— Тетя Валя... — усмехнулась мама. — Вот и грустно, что про своего сына я все от других узнаю.

— Мам, я больше не буду, — сказал я уже не для выкручивания, а искренне.

— Ладно уж... Только шеи себе не сломайте, летуны.

Подошел дядя Сева и заметил, что в детстве летают многие, а шеи никто не ломает. Пусть мама не тревожится...

Теперь мы не очень прятали ковер-самолет. Многие про него уже знали. По крайней мере, мальчишки. Они приходили к нам, даже незнакомые, оглядывались и шепотом просили покатать. Они клялись молчать всю жизнь. И правда, ни один не нарушил клятву.

Иногда мы по вечерам устраивали катания с речного обрыва. Сажали на ковер человек семь и бросались на нем с берега. Ковер со свистом шел вниз, шелестя по верхушкам зарослей. Лунный искрящийся воздух летел навстречу. Друзья вопили от страха и восторга. Пересыпанная зелеными бликами река стремительно двигалась на нас...

Над самой водой мы выравнивали полет, разворачивались и садились на песчаной прибрежной полосе.

Вверх столько пассажиров ковер-самолет не тянул. Они карабкались на откос по заросшим тропинкам, но никто

не обижался. Это было похоже на катание со снежных гор. Только вместо зимы обнимал нас теплый вечер, полный густой зелени, лунных облаков и смеха товарищей.

А через несколько дней случилась беда. Виталька сломал ногу. Не из-за ковра-самолета, совсем по-дурацки. Ступня у него попала в широкую щель деревянного тротуара.

Витальку ступню заделали в гипс на три недели. Это не мешало летать, но в школу он ходить не мог. Два дня Виталька не горевал, но потом сообразил, что в субботу урок рисования, и очень расстроился. Он вспомнил, что обещал показать учительнице свои картины.

Он так ворчал и капризничал, что я не выдержал:

— Ты как маленький! Не можешь потерпеть!

— Да, не могу! Я по ней соскучился! — дерзко сказал Виталька.

Я проникся уважением к его чувствам и пошел к своему соседу, девятикласснику Климу. Клим был лихой наездник-велосипедист и целыми днями не слезал с седла. Я объяснил ему, что Веткин велосипед после очередного летательного испытания чинится, а Витальку надо увезти в школу и после уроков привезти обратно. Клим отговорился тем, что у его велосипеда слабые шины и не вынесут перегрузки. Я напомнил, что свою одноклассницу Галку он возит на раме, не боясь перегрузок. Клим без всякого смущения объяснил, что Галку он не возит, а носит на крыльях любви. Он разговаривал со мной как с маленьким, и я разозлился. Я заметил, что такую тетю, как Галка, не выдержат никакие крылья. Это слегка обострило наши с Климом отношения, и я торопливо вернулся к Витальке.

Мы думали-думали и решили рискнуть.

Рано утром я отвез Витальку к школе и высадил прямо в окно его класса на втором этаже. А после уроков забрал его и умчал домой.

Утром нас никто не видел, но днем мы улетали под радостные и завистливые крики множества зрителей.

А в понедельник на первом уроке Мария Васильевна спросила:

— Олег, давно уже про тебя всякие сказки рассказывают. Это правда? Ты в самом деле на чем-то летаешь? Как это?

— Обыкновенный ковер-самолет, — сказал я. — Ничего

особенного. Мы с Городецким сперва тоже удивлялись, а потом привыкли.

— Кто бы мог подумать! — сказала Мария Васильевна.

Она удивилась, но не очень. За три года мы удивляли ее разными штуками столько раз, что она ко всему привыкла.

— Вы мне покажете ваш ковер-самолет? — спросила она.

— Пожалуйста! Даже покатать можем.

Класс развеселился.

— Тихо, дети, тихо, — сказала Мария Васильевна. Потому что чудеса чудесами, а дисциплина прежде всего.

После этого разговора я стал думать, что все обошлось. И ошибся.

Был уже почти вечер. Я у себя во дворе ждал, когда прибегут Ветерок и Ветка, чтобы идти к Витальке. А пока их не было, я воевал с крапивой. Это были гвардейцы кардинала Ришелье. Мы дрались честно, на равных: у меня была новенькая деревянная шпага, у «гвардейцев» — ядовитые жала и кусачие листья, похожие на зеленые ладони. Руки и ноги у меня были красными от жгучих укусов, а клинок зелен от вражеской «крови».

Сквозь плотный строй врагов я прорубился к кардинальскому капитану — самому высокому кусту с седой от старости верхушкой.

— Эй, вояка! Шагай сюда! — услышал я.

В калитке стояли Клим и Галка.

— Чего надо?

— Нам ничего, — ехидно сказал Клим. — А вот завучу надо чего-то. Велела тебя доставить живого или мертвого. И сию минуту.

Видно было, что он не врет.

От ожидания неприятностей мне стало грустно и тревожно. Конечно, я не подал вида. Воткнул клинок в землю и храбро зашагал к калитке. Даже заметил вскользь, что уроки кончились и завуч могла бы человека не беспокоить, когда он занят своими делами.

Галка посмотрела на меня сочувственно. А Клим хмыкнул:

— Ничего. Подождет твой сенокос.

Он посадил Галку на раму, мне велел сесть на багажник, и мы покатили к школе.

Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я нервничал.

— Сиди, не брыкайся, — сказал Клим. — Что она, съест тебя, что ли?

Съест не съест, а хорошего я тоже не ждал. Но не убегать же в самом деле.

Клим и Галка доставили меня в школьный вестибюль. Клим сказал:

— Ну, шагай. Знаешь небось, где ее кабинет.

Разумеется, я знал. Приходилось бывать. Не по своей воле, конечно.

На лестнице я почувствовал себя неуютно. И не только потому, что боялся неприятностей. В школу я всегда приходил в форме — упакованный в серое сукно от шеи до ботинок, а сейчас меня «взяли» прямо на улице, будто перенесли сюда на машине времени из каникул. Растрепанный, исцарапанный, в шелушащихся пятнах загара, я совершенно не подходил школе — ее строгим стенам, плакатам, портретам Гоголя и Пушкина и большим «Правилам для учащихся» в такой же, как у портретов, раме. О ненавистной жесткой гимнастерке и кусачих штанах до пят я сейчас вспоминал, как о надежной броне. Будто эта броня могла защитить меня от колючих глаз Веры Северьяновны, от ее гнева и вообще от всяких бед.

Увы; от всей формы на мне был только черный лаковый ремень с латунной пряжкой, а за ремнем легкомысленно торчал деревянный кинжал. Разве такой кинжал — защита от бед? И я чувствовал себя так, будто меня в летней моей одежонке выставили в нетопленые зимние сени.

С нехорошим холодком в животе я постучал в дверь кабинета. Голос Веры Северьяновны сказал «войдите», и я — что делать! — вошел. Пробормотал:

— Здрасьте...

Вера Северьяновна сидела за громадным своим столом. Она отражалась в настольном стекле, как айсберг в квадратной полынье. Сбоку у стола сидел незнакомый мужчина — в очках и с бородкой. Он смотрел на меня нормально, по-доброму. А Вера Северьяновна — как на виноватого.

— Подойди, — сказала Вера Северьяновна.

Я дошел до середины комнаты, а дальше как-то не получилось.

— Ну вот. Этот самый, — сказала Вера Северьяновна мужчине и снова стала смотреть на меня. Словно хотела сказать: «Полюбуйтесь, что за красавец».

Я почувствовал себя совсем незащищенным. Незаметно

передвинул на животе рукоятку кинжала, чтобы закрыть дырку на футболке, спрятал под мышки перемазанные землей ладони, но спрятать ободранные и зеленые от травяного сока локти было некуда. Еще мне хотелось втянуть в себя, как шасси, пыльные изжаленные ноги, но это тоже было невозможно. Я только беспомощно переступал кедами.

— Встань как следует. Перестань танцевать и опусти руки, — потребовала Вера Северьяновна.

Я вздохнул и встал как следует.

— Вот что, Лапников, — сказала Вера Северьяновна.— О твоем поведении мы побеседуем позже. А пока расскажи, как вы это устраиваете. Все эти ваши полеты.

Я слегка пожал плечами. Что я мог рассказать?

— Просто летаем...

Вера Северьяновна рассердилась:

— Не дергай плечами! И отвечай, когда спрашивают. Василий Матвеевич специально пришел из института, чтобы разобраться в ваших фокусах. И будь уверен, разберется. Василий Матвеевич — кандидат физических наук.

«Физик, — подумал я. — Теперь будет допытываться, как мы убираем силу тяготения, и все такое...»

— Ты долго будешь молчать? — сурово спросила Вера Северьяновна.

Физик посмотрел на меня, на нее и вдруг сказал:

— Можно, мы побеседуем с глазу на глаз?

Завуч обиделась и возмутилась. Я сразу это понял, потому что она покраснела и стала дергать шаль на груди. Но сердитых слов она физику не сказала — это ведь не со мной разговаривать. Она даже улыбнулась:

— Хотите поговорить по-мужски? Ну что ж...

И она вышла из кабинета.

— Иди-ка сюда, Олежка, — тихо сказал Василий Матвеевич. И я вдруг увидел, что он очень похож на дядю Севу. Он поставил меня между колен, потрогал кончиками пальцев рукоятку кинжала, увидел дырку на майке, чуть-чуть усмехнулся и поднял глаза.

— Ты расскажи по порядку, как и что. И ничего не бойся.

Я рассказал. Как нашли ковер, как летали. Только про историю с колокольней не стал говорить: это для науки не важно.

Физик не перебивал. А когда я кончил, он спросил:

— Значит, вы никак не командуете? Никаких слов ковру не говорите? Захотели — и полетели?

Я кивнул.

Физик почему-то улыбнулся. И задал странный вопрос:

— А ковер-то новый?

— Нет. На вид совсем старый... Но еще крепкий.

Физик вдруг засмеялся, крепко сжал мои локти, а потом взъерошил мне волосы. А мне было совсем невесело.

— Вы теперь заберете ковер? — прошептал я и понял, что могу разреветься.

Все еще смеясь, он покачал головой:

— Не бойся.

Я поверил и перестал бояться.

Появилась Вера Северьяновна.

— Ну, товарищи мужчины? Я уже могу присутствовать?

Физик вежливо сказал, что присутствовать она может: мы уже все выяснили.

— Вот как! — удивилась завуч. — Так быстро?

— Да. Видите ли, Вера Северьяновна, физика не занимается такими проблемами.

— Да? Странно... А какая же наука занимается?

Физик улыбнулся и развел руками.

— Боюсь, что никакая. Может быть, поэзия? Но это, по-моему, не наука... Что касается науки, то она такие явления не берется объяснять. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь особой загадки и нет. В детстве многие летают. Кто на коврах-самолетах, кто просто так...

— И... что же теперь будет? — слегка испуганно спросила Вера Северьяновна. А потом посмотрела на меня так, что я опять ушел на середину кабинета.

Физик проводил меня взглядом.

— Ничего не будет. Детство, к сожалению, быстро проходит.

— Да, но... пока оно пройдет, вы представляете, что они успеют натворить? К тому же, Василий Матвеевич, я не понимаю главного: как они летают?

— Ну как... Видимо, силой воображения.

— Что значит «силой воображения»? — с досадой произнесла Вера Северьяновна. — Воображение у всякого есть, а ведь никто в небеса не прыгает. Я вот точно знаю: сколько ни воображай, а полететь все равно не смогу.

— Охотно верю, — вежливо сказал физик.

Вера Северьяновна долгим взглядом посмотрела на него, потом на меня, потом в окно. Постучала пальцами по столу. И опять взглянула на меня — уже обычным своим взглядом: как на виноватого.

— Ты можешь идти, Лапников. Завтра придешь с мамой.

Вот тебе и на!

— А чего я сделал? — по привычке сказал я.

— Не рассуждай, пожалуйста! — раздраженно прикрикнула Вера Северьяновна. — Сказано: привести мать, вот и все. Приведешь, а там разберемся, что ты сделал.

И тут я рассердился. Не заметно, не громко, а так, про себя. И понял, что больше не боюсь. Потому что зачем она зря кричит? Разве я стекла бил, или стенки царапал, или курил на переменках, или двойками зарос? Ничего подобного. Подумаешь, летал с Виталькой на ковре-самолете! Это наш ковер, а не ее.

Надоела мне вся эта история, и захотелось ее закончить поскорее. Ясными глазами глянул я на Веру Северьяновну, почесал левым кедом правую щиколотку и независимо сказал:

— Мама завтра занята. Если хотите, я ее сегодня позову.

Физик чуть-чуть улыбнулся мне.

— Зови сегодня! — сердито откликнулась Вера Северьяновна.

— Хоть сейчас?

— Можешь сейчас.

— Вот и хорошо, — сказал я. Поправил за ремнем деревянный кинжал и ушел из кабинета.

Дома я сообщил маме, что ее вызывает завуч, но я ни в чем не виноват, а все дело в ковре-самолете.

— Так я и знала, — сказала мама.

Она оставила на кухне свои дела, ушла к себе в комнату и через минуту появилась в платье, которое надевала, чтобы в гости идти или в театр. Красивая и строгая.

Мама мельком глянула на меня и сказала:

— Хотя бы рубашку переодел. На чучело похож.

Но я торопливо объяснил, что все равно уже был сейчас в школе в таком «чучельном» виде и что дело не в рубашке, а в том, что нам с Виталькой хотят запретить летать. Мама только рукой махнула. И мы пошли.

Мы пошли рядом — красивая решительная мама и ее непутевый сын в полинялой футболке, жеваных шортиках, с деревянным кинжалом за ремнем.

Я видел, что мама слегка сердилась, но я не понимал: на меня или на кого-то другого.

Когда мы появились в кабинете завуча, физика там уже не было.

— Садитесь, — сказала Вера Северьяновна маме.

Мама села, а я так и остался у двери. Но теперь я не чувствовал себя беззащитным. Потому что мама тут и вообще... Я стоял и ждал. А мама сидела и тоже ждала.

— Я хочу поговорить о вашем сыне, — начала Вера Северьяновна, — должна сказать, что он меня беспокоит.

— Да? — сдержанно сказала мама и внимательно посмотрела на меня.

— Да. Насколько я помню, в прошлом учебном году он был ударником. Боюсь, что в этом году он им не будет.

— Но ведь год только начался, — заметила мама.

— Плохо он у него начался! — не выдержала Вера Северьяновна. — До чего додумались с Городецким! По воздуху летают!

— Так ведь дети же... — осторожно сказала мама.

— Вот именно что дети! Пусть сперва окончат школу, а потом летают. Мы и на земле-то с ними едва справляемся, а что будет, если все дети по воздуху носиться станут?

— Все не станут, — вмешался я. — Не у каждого же есть ковер-самолет...

Вера Северьяновна глянула на меня так, будто лишь сейчас заметила.

— Выйди, Лапников, в коридор, — скучным голосом сказала она.

Вот так фокус! О моем ковре-самолете речь идет, а я — выйди! Я растерянно посмотрел на маму.

— Иди, Олег, — строго сказала мама.

Я шагнул в коридор, обиделся и встал у окна. Из-за двери доносились голоса: тихий — мамы и громкий — Веры Северьяновны. Но разобрать слова я не старался. Больно надо подслушивать!

Потом голоса умолкли, и мама вышла из кабинета.

— Пошли, — тихо сказала она.

И мы пошли рядом. По коридору, по лестнице, по школьному двору.

На улице мама положила мне руку на плечо и непонятно как-то сказала:

— Ну что, Олежка...

Я поднял глаза.

— Что?

Мама помолчала еще и серьезно спросила:

— Значит, никак вы не можете не летать?

— Не можем, конечно, — торопливо сказал я. — Ну как же, мама, не летать, если ковер-самолет...

Мама сказала:

— Ну и летайте.

И мы летали. И в этом теплом сентябре, и на будущий год, когда снова пришло лето, и еще через год...

Потом стали мы летать реже. Старше стали, и появились у нас другие интересные дела. Виталька в восьмом классе начал влюбляться каждый месяц и парил в небесах без всякого ковра-самолета. А я увлекся писанием стихов и все время ходил огорченный, потому что городская газета не хотела эти стихи печатать.

Ковер опять перекочевал в чулан, а в мезонине тетя Валя стала хранить сломанную мебель.

Мы кончили школу и незаметно стали взрослыми. Не все получилось так, как мы мечтали. Ветка стала не балериной, а детским врачом. Она очень хороший врач, живет в Ленинграде, и ее знают все ребятишки в районе. Ветерок добился, чего хотел: стал штурманом полярной авиации. У него есть сын Алешка, трехлетний карапуз. Здоровый, толстый и пока ничуть не похожий на Ветерка-мальчишку.

У меня врачи в приемной комиссии морского училища послушали сердце и посоветовали подумать о сухопутной профессии. Я стал писать книжки для детей и теперь, по правде говоря, очень рад, что выбрал такую работу.

Виталька, то есть Виталий Андреевич, живет в Подмосковье и работает учителем рисования. Ведет уроки, ходит с ребятами в походы, учит их рисовать радуги, закаты, месяц над озерами, рощи, синие реки — всю красоту земную.

Но не только этим он занят. Недавно Виталий прислал мне толстый журнал «Искусство», и там на вклейках напечатаны картины молодых художников, которые получили премии на всесоюзной выставке. Есть там картина художника В. Городецкого «Воспоминание о детстве».

Над зеленой землей с разноцветными крышами и грудами деревьев, под светлыми утренними облаками плывет ковер-самолет. На нем двое мальчишек. Один сидит на краю, свесив загорелые ноги (одна нога босая, с другой сандалия тоже вот-вот свалится). Мальчишка запрокинул лицо, смеется и смотрит на облака. Под облаками горит на солнце пестрый прямоугольник воздушного змея. Дру-

гой мальчишка лежит на животе, подняв пятки, и глядит вниз. Там, внизу, у крылечка, желтого от свежих досок, стоит девчонка. С высоты она кажется совсем маленькой. Да и на самом деле небольшая.

Девчонка не смотрит на ковер-самолет. Она глядит на крышу, где мальчик в бьющейся на ветру зеленой рубашке тянет нитку змея. На картине буйное лето. Такое, что кажется, будто пахнет лебедой, полынью, речным песком и нагретыми досками заборов.

Я смотрел на картину, и было мне радостно и грустно.

Радостно — потому что картина радостная.

Грустно — потому что словно распахнулось на миг окошко в детство — в ту страну, куда нет возврата.

И еще я почувствовал зависть к Витальке. Он так здорово рассказал в картине про сказку нашего детства! А я? Чем я отблагодарю ковер-самолет? И я решил написать про него книжку. Вот эту, которую вы прочитали.

Но чтобы написать эту книжку, мне надо было съездить в родной городок. Все вспомнить.

А я боялся ехать. Мне казалось, что город окажется не таким, каким запомнился. Дома будут низкими и старыми, улицы — узкими, река — неширокой и мутной.

Но я ошибся. Город был прежним. Деревянные дома стояли как высокие терема и сверкали большими окнами. Дворы остались просторными и зелеными. Там, как и раньше, словно праздничные флаги, хлопало по ветру белье и шумно играли мальчишки. Меньше стало деревянных тротуаров, больше многоэтажных домов, а на реке гудели новые белые теплоходы. Но так же пахло с берега сырым песком, просмоленными лодками и мокрыми бревнами. Такие же высокие травы стояли вдоль заборов в переулках.

Дом, в котором я жил с мамой, дядей Севой и Ленкой, снесли, и на его месте строился девятиэтажный корпус. А тети Валин дом был цел. И тетя Валя жила там, как в давние годы. Она стала вся седая, но характер ее ничуть не изменился. Мы полдня просидели с тетей Валей, вспоминали те дни, когда я и Виталька жили в мезонине. Я несколько раз собирался спросить, где ковер-самолет, но не решился. Мне начинало казаться, что это была просто сказка.

Тетя Валя достала Витальки детские рисунки, наших бумажных солдатиков и даже пушку, сделанную из катушек от ниток. Пушка была в исправности, даже с резинкой. Хоть сейчас стреляй.

— Какие ужасные сражения вы устраивали! — воскли-

нула тетя Валя. — Весь дом качался. Все-таки вы были настоящие сорванцы.

— Мы были невозможные люди, — со смехом сказал я. — Нас надо было выставить во двор и не пускать в дом, пока не научимся вести себя прилично.

— А что вы делали с граммофоном! И наверно, думали, что я не знаю...

Я вздохнул. Граммофон, укрытый вязаной салфеткой, стоял на прежнем месте. И часы с кукушкой висели где положено. Кукушка обезголосела, но каждые полчаса добросовестно вываливалась из своего окошка и разевала клюв...

От тети Вали я пошел бродить по улицам. В квартале от нашего дома я заглянул на широкий двор. Там, в траве, у дровяных сараев играли ребята. Они устроили не то цирковое представление, не то соревнования по вольной борьбе.

Кажется, все-таки соревнования. Пара за парой выходили на лужайку, и начиналась схватка. Борцы старательно сопели, падали, поднимались, опрокидывали друг друга, а зрители, сидя на поленницах и в траве, галдели и свистели, как все болельщики на свете. Я подошел. В первую минуту меня не заметили, а потом громкоголосый мальчишка с сердитой темной челкой на лбу оглянулся и спросил:

— Вам кого?

Я не стал ничего придумывать и притворяться. Сказал, что раньше жил в этих местах, а теперь хожу и вспоминаю детство.

— Можно посмотреть, как вы играете?

Мальчишка пожал плечами, а потом согласился:

— А чего ж! Смотрите!

Я шагнул ближе. И увидел, что они борются не на траве.

Ребята боролись на ковре. И я сразу узнал его.

Нет, я ничего не сказал в первый момент. Я просто смотрел на знакомые узоры, по которым катались два девяти-десятилетних борца: круглоголовый рыжий мальчик с веселыми глазами и его соперник — щуплый и большеглазый, с редкими конопушками на скулах, в синей майке-безрукавке.

«Знают они или не знают, какой это ковер?» — думал я, и меня слегка знобило от волнения.

Они не знали. Они катались по ковру, переплетаясь коричневыми в белых царапинах руками и ногами, коло-

тили по нему пятками, утыкались в него носами и даже не догадывались, какое чудо под ними!

А ковер спокойно лежал, дожидаясь, когда кто-нибудь откроет его тайну. А может быть, уже и не ждал?

...Рыжий мальчишка прижал своего худенького соперника к ковру лопатками и вскочил. Зрители захлопали, но жидковато. Девочка с растрепанной косой сердито сказала:

— Конечно! У них весовые категории разные.

— А я виноват? — сказал рыжий мальчик и заморгал.

Его противник молча поднялся и тихо отошел в сторону. Девочка внимательно смотрела ему вслед.

— Ребята, — сказал я. — Послушайте... Откуда у вас этот ковер?

Мальчишка с сердитой челкой подозрительно глянул на меня:

— А что?

— Да так. Интересно.

— Тетенька одна отдала, — объяснил рыжий победитель. — Вот ему. — Он кивнул на проигравшего мальчика. — Мы цирк устраивали у него во дворе, а она рядом живет, вот и подарила... Это хороший ковер. На вид старый, а зато мягкий такой...

— Я знаю, — сказал я и понял, что делаю решительный шаг. — Когда-то это был мой ковер. Наш с товарищем... Это был ковер-самолет.

Они сдержанно засмеялись. Они приняли мои слова за неудачную шутку взрослого человека, который заигрывает с ребятами.

— Не верите, — проговорил я и понял, что ничего не смогу доказать. — Ну ладно... А мы на нем летали.

— А вы сейчас попробуйте, — насмешливо сказал мальчик с челкой.

«А что!» — подумал я. Но тут же понял, что не решусь. Я представил, как большой, взрослый, в отглаженном костюме, сижу посреди двора на старом ковре, а кругом язвительно хохочут мальчишки.

Неловко улыбнувшись, я сказал:

— У меня не выйдет. Я уже большой.

— А как на нем летают? — вдруг требовательно спросила девочка с растрепанной косой.

— Очень просто. Надо представить, что летишь, и он полетит...

— Ура! Я представил! — дурашливо заорал мальчишка с челкой и животом бухнулся на ковер.

— И я! Ура! Мы тоже представили, — закричали остальные, и на ковре тут же выросла куча мала. Даже девочка с косой кинулась в свалку.

Только худенький мальчик в синей майке остался в стороне. Он сидел на деревянной колоде, обняв коленки и упершись в них подбородком. На миг мы встретились взглядами, но он тут же отвел глаза.

— Эй, кончайте! Мне шею отдавили! Отпустите ногу! — раздавалось из кучи.

Потом кто-то самый находчивый крикнул:

— Сейчас мультики по первой программе! В шестнадцать двадцать!

Куча рассеялась. Бывшие борцы и болельщики кинулись по домам, к телевизорам. На меня они даже не оглянулись, только девочка на бегу крикнула:

— До свиданья!

Мне стало грустно. Я поглядел им вслед, а потом опять повернулся к ковру. И увидел, что я не один.

Мальчик в синей майке не убежал со всеми. Он стоял у края ковра, тоненький и побледневший так, что его конопушки казались темными зернышками.

— Скажите... — начал он, и голос у него был какой-то виноватый и в то же время требовательный. — Скажите, пожалуйста... Вы пошутили? Да?

Я переглотнул от волнения и тихо сказал:

— Нет. Я не пошутил.

— Но так не бывает, — проговорил он негромко, но почти сердито. И глаза у него потемнели.

— Бывает, — сказал я, не отводя глаз.

Мы помолчали. Во дворе нарастала непонятная тишина.

— Не бывает... и все-таки бывает? Да? — спросил он шепотом.

— Да, — сказал я.

— И надо... просто представить, что летишь? — спросил он почти беззвучно.

Было тихо-тихо кругом, только еле слышный звон доносился из травы. Может быть, это звенели солнечные лучи или само лето.

Не отрывая от меня глаз, мальчик медленно встал на ковер коленями. Потом сел. Отвернулся от меня, зачем-то погладил ковер.. Потом плавно вытянул над ним ладонь.

Ковер приподнялся, замер на секунду в полуметре от земли и тихо заскользил над верхушками травы.

Мальчик негромко вскрикнул, скатился на землю, вскочил и со всех ног бросился ко мне. Он обхватил меня, прижался всем телом, и я почувствовал, как прыгает под майкой его сердце: словно упругий мячик, с разгона влетевший в тесный угол и заметавшийся между стенок.

Он отчаянно смотрел на меня, запрокинув лицо, и в темной глубине мальчишкиных глаз перемешались испуг и восторг.

— Не бойся, — сказал я. — Поверь мне, это не страшно.

Он улыбнулся, словно говоря: «Я понимаю. Но я еще не привык».

— Смотри, он ждет тебя, — сказал я мальчику.

Ковер и правда ждал, опустившись на траву.

Мальчик вздохнул и толчком оторвался от меня.

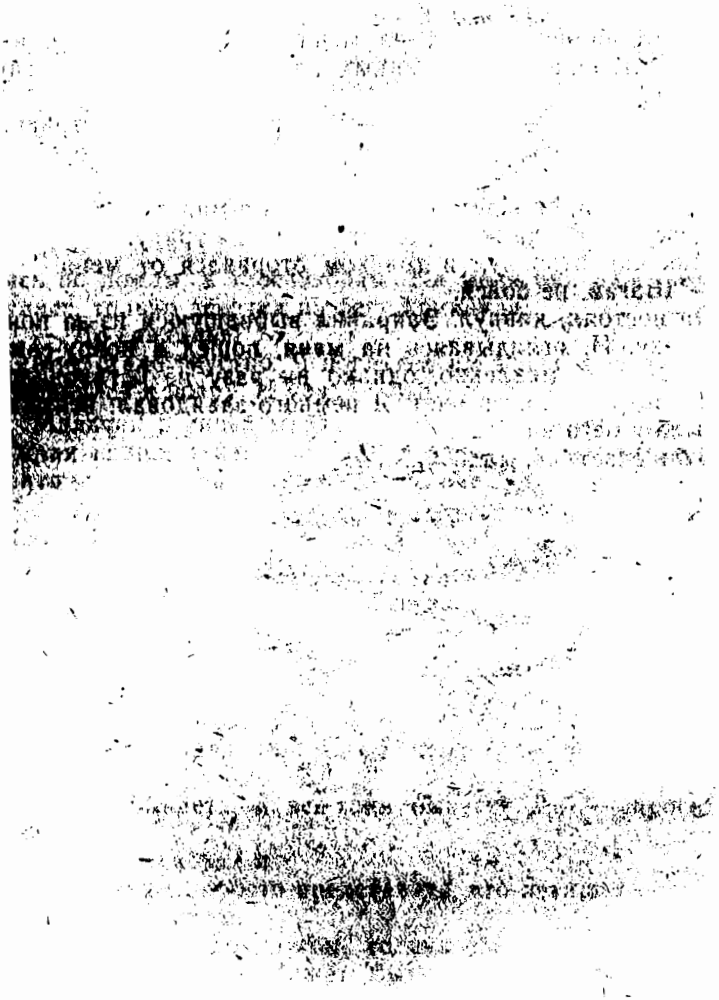
— Шагай, не бойся.

Он постоял, кивнул. Заправил выбившуюся из-за пояска майку. И, оглядываясь на меня, пошел к ковру-самолету. Он шел медленно, однако ни разу не остановился.

Я смотрел, как он идет. Я немного завидовал: вся сказка была у него впереди.

Будь счастлив, мальчик.

1976 г.



# КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА

*Повесть*

## Глава 1

Мама разбудила Кирилла в три часа ночи.

В это время он вел «Капитана Гранта» мимо желтого утеса, с которого палила из всех орудий могучая береговая крепость. Перед ее амбразурами вспухали белые дымы, а вокруг судна вырастали фонтаны от ядер.

Ядро грохнулось о рубку и разлетелось на зеленые и красные осколки.

— Это арбуз! — весело завопил Митька-Маус. — Арбузами стреляют! — Он высунул из-за рубки кудлатую голову.

— Уберешь ты свою несносную башку? — крикнул Дед.

«А почему не слышно выстрелов?» — подумал Кирилл и услыхал:

— Кирюша, встань. Встань, помоги, пожалуйста. Может быть, у тебя он скорее уснет...

Еще не расставшись с веселым сном, Кирилл уже слышал, как за стеной вопит Антошка. «Ну, дает», — подумал Кирилл. Потряс головой, взглянул на маму и опустил с кровати ноги.

Мама виновато сказала:

— Не могу успокоить. Может быть, укачаешь его своим хитрым способом?

Кирилл снова тряхнул головой, разгоняя остатки разорванного сна: они, будто обрывки тумана, плавали вокруг. И Дед с Митькой словно все еще были здесь.

Антошка после нескольких секунд перерыва завопил с новой силой. Кирилл откинул одеяло и побрел в соседнюю комнату. Спеленутый Антошка лежал в своей решетчатой кровати и орал вдохновенно и старательно. Что-что, а реветь этот человек умел и любил. Маленькое красное лицо его было сморщено, глаза крепко зажмурены, а беззубый рот открыт до отказа.

Нельзя сказать, что в такие минуты Кирилл ощущал нежную любовь к братцу. Но ни досады, ни злости он не чувствовал. Не то что два месяца назад. Тогда у Кирилла при Антошкином реве просто зубы стискивались. От беспомощности и отчаяния он сам готов был зареветь.

Однажды, когда мама ушла на рынок, а месячный Антошка проснулся и никак-никак не хотел успокаиваться, не затихал ни на руках, ни в кроватке, Кирилл замычал и швырнул ему в лицо скомканную пеленку. Антошка на секунду притих, а потом закричал еще громче. И такая обида почудилась Кириллу в этом крике, что он тут же назвал себя последним гадом, вделал себе кулаком по уху, опять схватил Антошку и начал у него, бестолкового и отчаянно ревущего, шепотом просить прощения. А потом, не зная уже, что придумать, запел изо всех сил:

Дайте в руки мне гармонь —
Золотые планки...

И Антошка постепенно умолк. Успокоился кроха. А Кирилл, ласково и осторожно прижимая братишку, носил и носил его по комнате и все пел. В тот день было сделано открытие: лучше всего Антошка успокаивается под песни старшего брата. Мамины песни — тоже ничего, но действуют они когда как. А стоит запеть Кириллу — и горластый братец притихает. Ведь, казалось бы, совсем несмышленыш, а что-то чувствует, знает голос Кирилла. Он и песни стал различать, когда сделался постарше: одни просто слушал, под другие начинал дремать. А после большого рева успокоить и заставить уснуть его можно только одной песней. Совсем не похожей на колыбельную...

— Ну, чего трубишь? — сказал Кирилл. — Давай иди сюда. У, рева... Кто обидел Антошку? Что-нибудь страшное

приснилось? Что в школу повели? Не бойся, еще не скоро... Мама, помоги его взять...

Антошка выдал новый вопль. Кирилл прижал его к груди, покачал, шагая из угла в угол, и запел про опаленные солнцем спящие курганы и про туманы, которые ходят чередой.

Антошкин крик стал потише, и в нем послышались вопросительные интонации. А к концу песни братец совсем затих. Но не спал, таращил глаза. Тогда Кирилл решительно спел музыкальное вступление и начал главную песню с последнего куплета:

Раскатилось и грохнуло
Над лесами горящими,
Только это, товарищи,
Не стрельба и не гром...

На третьем куплете Антошка засопел, словно убедившись, что ничего не страшно с братом, у которого есть такая суровая и непримиримая песня.

Кирилл с мамой уложили его в кроватку. Он спал так, будто и не плакал отчаянно десять минут назад. Улыбался какому-то своему крошечному сну. Светлые волосенки смешно топорщились. Сейчас он был милый, самый дорогой на свете Антошка...

Мама тронула губами макушку Кирилла.

— Спасибо, Кирик. Ложись, спи. Я еще посижу чуточку и тоже...

Но Кирилл вдруг понял, что не хочет спать.

— Мама, я такой голодный почему-то. Я чего-нибудь пожую?.. Ты не ходи, я сам.

На кухне он отрезал кусок от батона, отыскал в холодильнике банку с зеленым горошком. Насыпал горох на хлеб и вернулся в мамину комнату. Мама сидела у Антошкиной кровати.

— Ты чего не ложишься? — спросил Кирилл.

— Подожду немного. Вдруг он опять проснется.

— Я ему проснусь! — сказал Кирилл. Забрался с ногами на мамину постель и стал жевать, подбирая с одеяла упавшие горошины. Мама смотрела на него с непонятной улыбкой: то ли печальной, то ли, наоборот, счастливой.

— Ой и худой же ты стал! И коричневый. Как индийский йог.

Кирилл сказал с набитым ртом:

— Непохоже. У индусов волосы черные, а у меня...

Мама села рядом и запустила ему в волосы теплые тонкие пальцы.

— А у тебя косматые. Когда пострижешься?

— Лучше ты сама подровняй, а то в парикмахерской оболванят, как репку. У них со школой тайный сговор... Буду опять лопухастыми ушами махать.

Мама засмеялась:

— Ну, сколько лет подряд можно вбивать себе в голову эту чепуху? У тебя нормальные уши, даже симпатичные.

— У слонов тоже симпатичные...

Мама обняла Кирилла за плечи, качнула туда-сюда (он опять просыпал несколько горошин) и вздохнула:

— Ох, в самом деле, до чего же костлявый...

— Зато закаленный, — заметил Кирилл.

— Тьфу, тьфу, тьфу, — торопливо сказала мама. — Не говори зря.

Она была немного суеверна. Видимо, все мамы немножко суеверны, когда дело касается сыновей.

— Ничего не «тьфу», — возразил Кирилл. — Ты летом переживала, а я даже ни разу не чихнул.

Все лето Кирилл проходил в майке, шортах и босиком. Только если шел в кино или библиотеку, надевал рубашку и сандалеты. Но это случалось не чаще одного раза в неделю. Дед сказал в конце весны, что в парусном деле нужны закаленные люди, и Кирилл закалялся добросовестно.

Мама сначала боялась. Говорила, что во всем надо знать меру, иначе можно и посреди теплого лета схватить воспаление легких. Вспоминала, как болел Кирилл в начале пятого класса. Кроме того, она утверждала, что ходить всюду босиком неприлично. На это Кирилл ответил однажды, что половина людей на земле всю жизнь ходит босиком.

— Где это?

— В Индии, в Африке, на островах всяких... Если посчитать, знаешь сколько наберется!

— Но это же в тропиках!

— А здесь чем не тропики?

Лето выдалось сухое и жаркое. Ветер иногда приносил тонкий дым, который пощипывал глаза. Солнце делалось неярким и круглым — без лучей. Это горели где-то леса и торф.

В те дни, когда не было дымки, солнце палило, как в Аравийской пустыне. К середине июня с плеч у Кирилла слезли три слоя сгоревшей кожи, и наконец загар стал

прочным, как броня. Волосы выгорели добела. Самому Кириллу иногда казалось, что у него даже кости прокалены солнцем...

Мама наконец махнула рукой. У нее хватало забот с Антошкой, который родился в конце мая.

— Дед говорит, что я похож на негатив, — сказал Кирилл. — Волосы бесцветные, шкура темная. Хоть печатай наоборот.

— Почему вы зовете его Дедом? — спросила мама. — Дед да Дед, только и слышишь. Неужели он не обижается? Ему же двадцать четыре года.

— А чего ему обижаться? Он привык. Это из-за Митьки.

— Из-за какого Митьки?

— Ну, помнишь, прибегал такой курчавый? Это его внук.

— Какой внук? Бог с тобой...

Кирилл засмеялся:

— Да правда внук, только двоюродный. У Деда племянница есть, а она его старше. Так ведь бывает. А Митька — ее сын. Вот и посчитай.

— В самом деле, — сказала мама. — Забавно... Ну, если точно говорить, это называется «внучатый племянник».

— Ну а он тогда «дедистый дядя». Или «дедовый». Все равно — Дед.

— А я думала, это его братишка. Они так похожи...

— Только с виду. Митька знаешь какой сахар! И привидений боится. Вечером дома ни за что один не сидит. Дед с ним замучился.

— Почему же он с ним мучается? Где у этого Митьки родители? Они живы?

— Конечно. Только они геологи, в экспедиции ездят.

— Бедный ребенок... Все время ездят?

— Не все время, но часто...

Мама вздохнула.

— Вот и папа наш тоже ездит...

— Еще пять дней, — утешил Кирилл. — Протянем.

— Протянем, — согласилась мама. — Ты у меня герой... А в школе как? Все в порядке?

— Вроде... Я вчера самостоятельную по математике знаешь как расщелкал! Даже сам удивился!.. А ты чего это среди ночи про школу вспомнила?

— Ты сам вспомнил. Все проезжался насчет школы.

— Это я так. У меня переходный возраст, я над всем и-ро-ни-зи-рую...

Мама взлохматила ему волосы:

— Ну, беги спать.

— Угу...

Кирилл пошел к себе и завалился в постель, надеясь увидеть продолжение сна. Но ничего не увидел. А проснулся уже утром от шумных голосов: неожиданно вернулся из Риги отец.

Отец весело рассказывал, как пустился на хитрость: позвонил на завод, попросил прислать телеграмму, что срочно нужен на производстве. Потому что в самом деле на заводе масса дел, а совещание занудное и организовано бестолково: не столько говорят о деле, сколько осматривают достопримечательности...

Кирилл выскочил в большую комнату и облапил отца за круглый живот.

— Папа! Сбежал, да? Вот молодец!

Отец ухватил Кирилла под мышки, приподнял.

— Эх, не подкинуть уже. Больно длинен... Я тебе подарок привез.

Подарок был что надо! Алая майка с крутобокими маленькими каравеллами и галеонами, разбежавшимися по плечам, спине и коротеньким рукавам. На груди у майки была напечатана старинная карта полушарий с пальмами, китами, индейцами и средневековыми городами. Хоть вешай на стену и любуйся.

— Ух ты! — восхищенно сказал Кирилл. — Урок истории и географии! Вот бы в школу в такой заявиться!

Но в школу идти надо было в форме. Несмотря на жару. В других школах было не так строго: разрешалось ходить без курток, но там, где учился Кирилл, появилась новая директорша и завела железный порядок. Она была высокая, полная, с громким голосом и суровым нравом, хотя порой хотела казаться добродушной. С первого дня она получила от старшеклассников прозвище Мать-генеральша...

До школы Кирилл нес куртку под мышкой. Хотя шла вторая неделя учебного года, стояло еще полное лето. Лишь клены кое-где пожелтели, но они желтеют уже в августе. В квартале от школы Кирилл догнал длинного Климова и хлопнул его курткой по спине.

— Привет, — сказал Климов. — Не дерись, будь воспитанным ребенком хотя бы перед лицом учителей.

— Кого?

— Вон Вера Сергеевна идет.

— Она же спиной к нам, а не лицом, — рассудил Кирилл. — Давай догоним.

Они с двух сторон обогнали невысокую седоватую математичку и разом сказали:

— Здрасьте, Вера Сергеевна!

— Здравствуйте... А, Векшин и Климов!

— Дайте, я ваш портфель понесу, — сказал Климов.

— Буду весьма благодарна.

— Ого, весу-то... Наверно, наши тетрадочки?

— Ваши... Но лично вашей тетради, Климов, я не нашла и крайне этим озадачена. Вы не сдали работу?

— Увы, — сказал длинный Климов.

— Почему же? Я не верю, что вы не сумели решить.

— Я и не пытался, Вера Сергеевна, — вздохнул Климов. — Совершенно не о том были мысли.

— Если не секрет, о чем же они были?

— Не секрет, но трудно объяснить... Кажется, о смысле жизни.

— Ну и... отыскали смысл?

— Увы, — опять сказал Климов. — И от огорченья подумал: пускай уж лучше двойка.

— Жаль, — сказала Вера Сергеевна.

— Ничего, я до конца четверти исправлю.

— Жаль, что не доискались до смысла жизни. А ставить двойку я вам не собираюсь. Даже не имею права.

— Почему? — искренне удивился Климов.

— По ряду причин. Самая простая та, что эта работа была внеплановая, сверх программы, я ее дала вам для проверки. Так что ставить двойки я не могу... Хорошие оценки — другое дело. Вот, например, как пятерка Векшина...

— Ой, правда?! — возликовал Кирилл.

— Разумеется. А почему вы удивляетесь?

— Можно подумать, у меня каждый день пятерки по математике, — засмеялся Кирилл.

— Это зависит от вас... У вас хорошие аналитические способности, но не всегда хватает дисциплины в работе... А вот Климов меня весьма огорчил.

— Я не способен к математике, — сказал Климов.

— Вы же в прошлом году участвовали в районной математической олимпиаде!

— Да. А сейчас я эту науку разлюбил.

— Тем более я не могу ставить вам двойку. Потому что не сумела воспитать в вас прочную любовь к своему предмету, — усмехнулась Вера Сергеевна. — Здесь двойку заслужила скорее я.

— Это вы шутите, — сумрачно сказал Климов.

— Не совсем... А вы, в свою очередь, не совсем серьезны.

— Почему же...

— Потому что нельзя разлюбить науку, которую вы еще не знаете. Ваши некоторые успехи в прошлом году настроили вас бодро, а, столкнувшись со сложностями, вы разочаровались...

— Ну, да... Но это лишь одна из причин.

— Возможно. Боюсь только, что не самая малая... Я вспоминаю своего старого преподавателя французского языка. Это было, естественно, во времена, которые кажутся вам доисторическими. Так вот, я ему как-то сказала, что терпеть не могу «этот ужасный французский». Он засмеялся: «Голубушка, вы сначала выучите его, а потом решайте. Чтобы любить или ненавидеть какой-либо предмет, надо его знать...» Потом, когда я читала в подлиннике Стендаля, я уже не испытывала ненависти к французскому...

— Стендаль — это хорошо, — сказал Климов. — Но диссертации по математике никто не читает как романы.

— Разумеется. Но математика помогает постигать жизнь не менее, чем это делает искусство... А жизнь у вас, Климов, к счастью, впереди.

— Вера Сергеевна, — с чувством сказал Климов. — Следующую работу я обязательно сдам.

— Вы меня очень обяжете. Тем более что это будет уже плановая контрольная.

— Я не ради оценки. Я и на олимпиаду пойду, так и быть.

— «Так и быть» не надо. Раз вы разочаровались в математике...

— Я не ради математики. Я ради вас, — брякнул Климов.

Вера Сергеевна подняла брови.

— Да? Стоит ли?.. Впрочем, для начала можно и так... Ну, мы пришли, дайте портфель. Спасибо.

Когда Вера Сергеевна исчезла в дверях, Кирилл засмеялся:

— Ты чуть в любви ей не объяснился.

— Шутки шутками, а она отличная тетка.

— Давно знаю, — сказал Кирилл.

— Давно или сегодня, когда про пятерку узнал? — добродушно подцепил его Климов.

— Не в отметках дело, сам говорил... А ты, правда, почему не сдал работу?

— Правда — мысли были не о том.

— А о чем? Неужели «о смысле»?

— Ага... И о Маргарите Сенокосовой, из седьмого «А».

— Ну, ты даешь, — только и сказал Кирилл.

— Тебе не понять. Судя по всему, в тебя еще не попадали стрелы амура.

— Упаси господи, — засмеялся Кирилл. — И без того забот хватает.

## Глава 2

Вернуть в класс успели почти всех. Не хватало человек семи, но это не имело значения: виновники были на месте.

Седьмой «В» сдержанно возмущался. Возмущаться громко не решались, потому что в дверях, сложив руки на груди, стояла директор.

— Пятница — тяжелый день, — сказал Климов, устраиваясь на задней парте.

Ева Петровна хлопнула о стол томом «Графа Монте-Кристо», который отобрала на предпоследнем уроке у рыжего круглолицего Витьки Быкова по прозвищу Кубышкин.

— Книга-то не моя, — сказал Кубышкин, и все привычно засмеялись. Считалось, что Кубышкин говорит только смешное.

— Тихо! Все сели по местам! Прекратить разговоры!.. Анна Викторовна, вы сами скажете?

— Говорите вы, — величественно разрешила директор.

Ева Петровна скорбно кивнула и оглядела притихшие ряды.

— Конечно, — произнесла она, — я ни дня больше не останусь у вас руководителем. Но прежде чем уйти, я должна разобраться в этом позорнейшем происшествии. Это мой долг.

Девчонки торопливо зашушукались. Они считали своей обязанностью уговаривать Еву Петровну не бросать их, когда она в очередной раз заявляла об отставке.

Сейчас, однако, Ева Петровна не стала слушать жалобных уверений в любви и преданности. Она еще раз подвергла испытанию на прочность несчастного «Графа» и потребовала:

— Встаньте, кто был задержан в гардеробной преподавателей.

Четверо встали. Куда деваться-то? Все равно портфели отобраны.

— Та-ак... — сказала Ева Петровна. Она покивала, взялась двумя руками за худой подбородок и обвела стоявших укоризненно-проницательным взглядом. Трое опустили глаза.

— Ну так что, Векшин, — произнесла Ева Петровна почти доброжелательно. — Может быть, признаться сразу? Пока есть время исправить ошибку...

— В чем признаться? — спросил Кирилл и подумал, что у Евы Петровны глаза странного цвета: как пыльная трава.

— Ты не знаешь, в чем?

— Не знаю, — честно сказал Кирилл.

— Ну, хорошо... Что вы делали в учительской раздевалке?

Кирилл улыбнулся. Чуть-чуть. Даже досада его сразу прошла. В самом деле смешно: признаваться в том, что все знают.

— Мы прятались от завуча Нины Васильевны, — сказал он.

Элька Мякишева и Нинка Родина вопросительно хихикнули и посмотрели на классную руководительницу. Она, однако, на них не взглянула. И сухо поинтересовалась:

— Зачем же прятались?

— Она загоняла нас в хор.

Анна Викторовна колыхнулась у дверей.

— Что значит «загоняла»? Ты соображаешь, что говоришь?

Кирилл опять ощутил едкую досаду.

— Соображаю, — сказал он. — Она стояла у выхода с учителем пения, хватала всех и отбирала дневники, если кто записан в хоре и не хочет идти.

— И вы решили обмануть завуча и учителя, — словно подводя итог, произнесла Ева Петровна.

Кирилл пожал плечами.

— Странно, что ты не хочешь ходить на занятия, — мягко сказала Ева Петровна. — Почему? Ты же любишь петь.

— Я не люблю, когда меня заставляют. Хор — это не уроки. Это добровольное дело.

Анна Викторовна опять колыхнулась у двери.

— Добровольное для тех, у кого сознательная дисциплина. А для тех, кто не дорос до нее, мы применяем добровольно-обязательный метод.

— Как у кошки с воробьем, — сказал с задней парты Климов.

— Что-что? — Анна Викторовна устремила в глубину класса настороженный взгляд. — Ну-ка объясни.

Климов охотно объяснил:

— Кошка поймала воробья и говорит: «С чем тебя есть? С уксусом или сметаной? Выбирай добровольно...»

— Ну-ка поднимись, юморист, — потребовала Анна Викторовна.

Климов поднялся, и все засмеялись. Если он вставал, всегда возникало веселье: такая мачта вырастала над партой.

— Как его фамилия? — обратилась директорша к Еве Петровне.

— Климов, — сказала та. И в голосе ее слышалось: «Это всем известный Климов, который может лишь паясничать и ни на что серьезное не способен».

— Завтра ко мне с отцом, — распорядилась Анна Викторовна.

Класс притих. Отец Климова в прошлом году разбился в автомобиле. Климов слегка побледнел, но ответил прежним тоном:

— Никак невозможно. Отца нет.

— В таком случае с матерью, — не дрогнув, потребовала Анна Викторовна.

— Тоже невозможно. Она в командировке.

— С кем же ты живешь?

— С бабушкой, — вздохнул Климов.

— Вот и прекрасно...

— А бабушке восемьдесят два года, — поспешно предупредил Климов. — Она уже не боится директоров.

— И ты, видимо, тоже? — язвительно поинтересовалась Анна Викторовна.

Климов сокрушенно покивал:

— Мама говорит: я весь в бабушку.

— «Неуд» по поведению за всю неделю, — распорядилась директор. — Ева Петровна, не забудьте.

Та покачала головой и укоризненно посмотрела на Климова: «Вот видишь, достукался. Жаль, но сам виноват».

Раздался звонок с шестого урока. Анна Викторовна досадливо поморщилась.

— Ева Петровна, у меня совещание. Разберитесь сами. Особенно с этим... — Она посмотрела на Кирилла. — Как его фамилия?

— Векшин... И знаете, Анна Викторовна, он все годы был вполне нормальным учеником. Не могу понять, когда у него это началось...

— Наверно, когда начал сооружать свою прическу, — заметила директорша. — Ишь, отрастил, ушей не видать! Чтобы сегодня же остриг свои космы!

— Не космы, а волосы, — негромко сказал Кирилл. — Все так носят. У других еще длиннее...

— Будем рассуждать? Ева Петровна, завтра в школу с такой прической не пускать!.. А впрочем... — Она словно спохватилась. — Там, где он скоро окажется, его остригут как надо.

С этими словами Анна Викторовна покинула класс.

Все шумно встали и сели.

— Коробов, Самойлов, Сушко, Векшин! Я вам садиться не разрешала!

— Ноги, что ли, железные? — пробурчал Валерка Самойлов.

— Ноги?! — неожиданно воскликнула Ева Петровна. — А мои нервы? Они железные? На что я потратила два года?! Такой позор! Пятно на всю школу!

Ребята запереглядывались. Бегство с репетиций хора было делом обычным. Какое тут пятно?

— А что случилось, Ева Петровна? — преданным голосом спросила Элька Мякишева.

Ева Петровна медленно обвела глазами класс.

— Что случилось? То, что в учительском гардеробе, где укрывались наши «любители свободы», у студентки-практикантки исчез кошелек со стипендией.

Девчонки охнули.

Интересно, что Кирилл ничего не почувствовал: ни обиды, ни страха, ни растерянности. В первую секунду просто подумал: «Вот так история!» Потом ему стало смешно. Он сказал со смехом:

— Вот это да! Значит, мы воры?

— Ты напрасно веселишься. И напрасно говоришь во множественном числе. Имей в виду: ты единственный, кто не стал показывать дежурному учителю свои карманы.

Вся обида и вся злость снова прихлынули к Кириллу.

— Какое он имеет право обыскивать? Еще портфель отобрал!

— Александр Викентьевич не отбирал, а потребовал отдать.

— А я не отдал! Тогда он вырвал! Да еще в карманы полез!

— Ты считаешь, что только вам позволено лазить по чужим карманам? — в упор спросила Ева Петровна.

Кирилл сжал зубы. Сперва захотелось завопить от бе-

шенства. А потом по привычке защекотало в горле. «Зеленый павиан Джимми, — торопливо подумал Кирилл. — Где ты, миленький? Помоги».

В это время Валерка Самойлов громко сказал:

— Да ничего он не брал. И мы не брали! Зачем зря-то...

— Про вас я пока не говорю. Сейчас разговор о Векшине. Кстати, залезть в карман можно незаметно...

Кирилл мысленно улыбнулся зеленому павиану: «Спасибо, что помог». Еще сипловато, но уже твердо он сказал:

— Я, пожалуй, сяду. Не обязательно стоять, чтобы слушать оскорбления.

— Сядь, — скучным голосом ответила Ева Петровна. — Школьные правила не для тебя. Но сидя или стоя, а отвечать за свои дела придется.

Кирилл сел и стал смотреть в окно.

— Он сидит, а мы стоим, — высказался в пространство Серега Коробов.

— Что ж, садитесь и вы... Позор! Были гордостью школы, лучший тимуровский отряд, правофланговый! Должны помогать людям, а вы... Девушка первый раз пришла на практику, и сразу ей такой сюрприз! Вы знаете, что такое для студентки стипендия? Она должна целый месяц жить на эти сорок рублей!.. Если бы вы видели, как она плакала в учительской...

«А правда, неужели нашелся такой гад и украл? — подумал Кирилл. — А может быть, сама потеряла?»

Он хотел уже высказать эту мысль, но сдержался. Получится, будто он оправдывается.

И вдруг заговорил маленький Кубышкин:

— А Сан Викентич как успел узнать, что кошелек украли? Он же внизу дежурил, а не в учительской.

В классе опять на всякий случай засмеялись.

— Он ничего и не знал! — сердито разъяснила Ева Петровна. — Он просто задержал нарушителей, которые были там, где им не положено быть. И оказалось, что не зря. Через несколько минут стало известно про кошелек.

— Если не знал, зачем полез с обыском? — хмуро спросил Кирилл.

— Не полез, а попросил показать карманы. Потому что были уже грустные случаи, когда пропадали деньги и вещи. И никто не может терпеть, чтобы этот позор продолжался!

— Пусть отдаст портфель, — упрямо сказал Кирилл. — Никто не имеет права отбирать чужие вещи.

— Я и не отбирала. Разбирайся с Александром Викентьевичем. Найди после собрания и разговаривай.

— Он отобрал, а я должен за ним ходить?

Ева Петровна утомленно села за стол.

— Это старый трюк, — печально сказала она. — За наглым поведением прятать свою вину.

«Вину...» — повторил про себя Кирилл. И до него наконец дошло. Дошло полностью, что все это всерьез. Абсолютно всерьез.

Он взялся за парту, встать хотел, но не встал, а только в упор глянул на Еву Петровну.

— Значит, вы в самом деле думаете, что я вор?

Она отвела глаза. Но сказала:

— Ты сам заставляешь думать так. Твое поведение... Существует логика. Понимаешь, ло-ги-ка. Законы здравых рассуждений. Суди сам: кроме вас, там никого не было. Карманы показывать ты не стал. Значит, испугался?

— Не испугался, а противно.

— Ах, противно... Другие могут, а у тебя тонкое воспитание.

В классе опять кто-то захихикал. Но Валерка Самойлов сказал:

— Я бы тоже не дал, но растерялся.

— Помолчи!

— Пусть отдадут портфель, — бесцветным голосом повторил Кирилл.

— Ты как попугай! Я сказала: объясняйся с Александром Викентьевичем. Без объяснений он все равно не пустит тебя на свои уроки.

— Пусть, — сказал Кирилл. Александр Викентьевич преподавал семиклассникам черчение, которое Кирилл всем сердцем невзлюбил с первого дня.

— Не имеет права не пускать, — сказал Климов. — У нас всеобуч.

— Права-то вы знаете, а вот обязанности...

И Ева Петровна принялась подробно объяснять про обязанности школьников, которые неразрывно связаны с правами. Получалось, что обязанностей две: хорошо учиться и беспрекословно слушаться старших. Права были те же самые: учиться и слушаться.

У Евы Петровны было худое лицо, морщинистое, но не старое. На лице странным образом смешивались утомленная разочарованность и энергия. Так было всегда. Ева Петровна словно давала понять: «Я знаю, как мало меня ценят, как неблагодарны дети, но свой долг я буду вы-

полнять до конца, изо всех сил и без жалоб». И она выполняла. Классным руководителем она стала, когда ребята перешли в пятый. До этого, в четвертом классе, сменилось три руководителя. Тринадцать мальчишек и двадцать четыре девчонки представляли собой, по словам завуча Нины Васильевны, «развинченную толпу». Ева Петровна заявила, что не потерпит анархии и если уж она берется за дело, то создаст из этой толпы здоровый пионерский коллектив.

За год она добилась, что отряд стал считаться передовым. Сама составляла планы тимуровского шефства над окрестными пенсионерами, руководила репетициями смотров строя и песни, ревностно следила, чтобы все выполняли нормы сбора макулатуры. Нерадивых обсуждали на собраниях. Ева Петровна говорила, что все вопросы должны обсуждаться коллективом и от коллектива ничего нельзя скрывать.

Фамилия у Евы Петровны была Красовская, поэтому, когда класс еще не был передовым, ей придумали прозвище Евица-красавица. Потом прозвище забылось, но время от времени отдельные несознательные и нетипичные личности, вроде Климова, вспоминали его. Вот и сейчас Кирилл слышал, как длинный Климов сзади почти беззвучно напевает на мотив хора из «Евгения Онегина»:

Евица-красавица, душенька-подруженька,
Отпусти нас, милая, ты домой, голодненьких...

Есть в самом деле хотелось, сидели без обеда. Столовая в первые дни учебного года не работала, а в буфете была такая толкучка, что лучше и не соваться. Кирилл, правда, попробовал на предпоследней перемене, но раздумал и отдал двадцать копеек Петьке Чиркову, который признался, что вот-вот помрет от голода...

— А зачем сидим? — вдруг спросил Климов.

— Ждем, — сообщила Ева Петровна. — Ждем, когда кто-нибудь из этих четверых признается или расскажет, как было дело.

— А если не признается?

— Тогда... очевидно, придется вызывать милицию.

— Так давайте вызывать, — предложил Кирилл.

— Правильно, — поддержал Кубышкин. — А то кушать хочется.

— Тебе полезно похудеть, — сказала Ева Петровна и опять заговорила о пятне, которое легло на тимуровский правофланговый отряд и школу. Потом подняла Женьку

Черепанову и велела высказать свое мнение. Женька была бессменная председательница совета отряда. Она встала и начала говорить, что те, кто совершил этот безобразный поступок, опозорили класс и должны признаться, если они еще хоть капельку дорожат званием пионера. А если Кирилл Векшин ни в чем не виноват, то ему надо вести себя не так, а воспитанно...

Кирилл смотрел на Черепанову без всякой злости. Женька говорила те самые слова, которые принято говорить на собраниях, когда кого-нибудь обсуждают.

Женька была красивая, и Кирилл смотрел на нее с удовольствием. Он не испытывал к Черепановой никаких чувств, но глядеть на нее было приятно: как на красивую открытку или статуэтку. Почти все девчонки за лето вымахали в высоту, стали больше мальчишек (Кубышкин презрительно сказал: «Во, лошади. Теперь им на танцах десятиклассников подавай»), а Женька осталась прежней. Она была невысокая, стройненькая, с мальчишечьей русой прической и длинными серыми глазами.

— ...А Векшин вообще всех нас удивляет. Это кошмар какой-то, — закончила Черепанова свою речь и бросила на Кирилла очень осуждающий взгляд.

— Дура, — полушепотом сказал Кирилл.

— Сам, — так же ответила Женька.

Кирилл перестал слушать и повернулся к окну.

По другой стороне улицы брела послушная вереница детсадовских малышей в пестрых маечках и трусиках, в белых панамках. Впереди шла одна воспитательница, позади другая. Ребятишки — наверное, младшая группа. Трехлетние пацанята.

Кирилл подумал, что он будет в десятом классе, когда Антошка станет вот таким. И, как всегда при мысли об Антошке, толкнулась в нем упругая теплая радость.

Что бы ни случилось, какие бы горести ни подкараулили Кирилла, все равно есть у него братишка. Круглощекий, улыбчивый, славный Антошка...

Конечно, бывает всякое: иногда почитать хочется, а он вопит, надо бежать к Деду, готовить паруса, а ты отправляешься в молочную кухню за Антошкиным обедом... Но, боже мой, как все-таки здорово, что он есть на свете — настоящий родной братик! Как он смотрит на Кирилла, как слушает песни...

А между прочим, на кухню и сегодня надо бежать. И скоро... Кирилл встал и взглянул на большие часы за окном — они висели на столбе у сквера.

— Что, Векшин? Ты все-таки решил признаться? — спросила Ева Петровна почти благосклонно.

— В чем?

— Что значит «в чем»? В том... что я сказала. «Пусть встанет тот, кто виноват».

— Извините, я не слышал, — холодно сказал Кирилл.

— А, ну конечно! Слова классного руководителя для тебя пустой звук. Тогда с какой стати ты поднялся?

— Чтобы на часы взглянуть, вон там, на улице.

— Смотреть на часы бесполезно, — сообщила Ева Петровна уже не Кириллу, а классу. — Сидеть будем, пока не выясним.

— Я сидеть не буду, — спокойно сказал Кирилл. Он и в самом деле был сейчас спокоен. Только глубоко внутри дрожала тугими струнками сдержанная злость. Уже не обида, а просто злость.

— Бу-удешь, голубчик...

— Не буду. Мне в молочную кухню надо идти за питанием для брата. Его в четыре часа кормить полагается.

— Ты опять лжешь, — утомленно произнесла Ева Петровна. — Если бы ты ходил в эту кухню, мама дала бы тебе записку, и тебя бы никто не стал задерживать на репетициях. А ты прятался, чтобы не ходить на хор.

— Потому что дело не в кухне. На хор я бы и так не пошел.

— Из ложного принципа и глупого упрямства.

— Мне надо идти, — сказал Кирилл. — Серега, выпусти.

Серега Коробов выбрался из-за парты, освобождая проход. Класс наблюдал за Кириллом с молчаливым интересом. Кирилл пошел к двери.

— Какой нахальный! — громким шепотом сказала Элька Мякишева.

Ева Петровна встала у порога.

— Имей в виду, Векшин, если ты попытаешься уйти, я сообщу директору... что для тебя, оказывается, не писаны никакие школьные правила.

Кирилл остановился перед ней.

— Они для Антошки не писаны, — сказал он с ощущением полной и радостной правоты. — Разве есть правила, чтобы трехмесячного малыша морить голодом? Он, пожалуй, покажет правила... Разрешите, пожалуйста, пройти.

Ева Петровна хотела что-то сказать, открыла рот... и посторонилась.

Когда Кирилл был уже в коридоре, он услышал:

— За портфелем пусть явится отец.

Кирилл обернулся.

— Он бы и так пришел, если надо. Зачем портфель? Как выкуп, что ли?

— Вот именно! Для гарантии. Если я не дозвонюсь.

«Звони, звони», — сумрачно подумал Кирилл. Дома телефон не работал второй день: ремонтировали кабель, а на работе у отца недавно сменили номер...

Внизу, у самого выхода, Кирилл встретил Зою Алексеевну, которая учила его в младших классах. Он улыбнулся и приготовился сказать: «Здрасте, Зоя Алексеевна». И вдруг увидел, что она смотрит на него странно. Без обычной улыбки.

— Кирюша... Что с тобой случилось?

Она смотрела так, словно у нее что-то сильно болело. Или не у нее? Кирилл вдруг отчетливо вспомнил, как в третьем классе, в весеннем походе, она с таким же лицом бинтовала Петьке Чиркову разбитый локоть.

— Что, Зоя Алексеевна? — спросил он, уже догадываясь и все-таки не веря.

— Мне Анна Викторовна рассказала... Кирюша, неужели это правда?

Кирилл быстро глянул ей в доброе, почти старушечье лицо и сразу опустил глаза. Переглотнул. Оказывается, спокойствие в нем было очень хрупкое. Как тонюсенькая стеклянная стенка. Сейчас лопнет эта стенка — и вся горечь, вся обида, накопившаяся в классе, рванется слезами. Как вода из разбитого аквариума.

«Зеленый павиан Джимми...»

Он поднял опять глаза, не побоялся, хотя они были уже мокрыми. Пускай! Зоя Алексеевна видала и не такое.

А она... Она, видимо, поняла этот взгляд совсем не так.

— Кирюша! Как же ты мог? Ты хотя бы признался? Если это первый раз, тебя простят.

Это было уже слишком, и зеленый Джимми не мог тут помочь. Кирилл закусил губу.

— Я признáюсь, — сказал он с трудом. — Сейчас... Вот в чем... Зоя Алексеевна, мы вам все на свете доверяли. Мы вас так любили...

Она закивала, глядя на Кирилла добрыми глазами.

— И я вас... — произнес он сипло. — Лучше вас никого для меня в школе не было.

Она все кивала и, видимо, чего-то ждала. Но Кирилл молчал.

— Вот видишь, — проговорила Зоя Алексеевна. — Вот видишь, Кирюша. А теперь...

— А теперь вы меня предали, — тихо сказал Кирилл.

И побежал к двери.

## Глава 3

Про зеленого павиана Кирилл узнал от Деда. А с Дедом он познакомился зимой. Кирилл точно помнил, когда это случилось: двенадцатого февраля в пятьдесят пять минут второго. Если бы всерьез отвечать на вопрос Евы Петровны, «когда это началось», можно было бы твердо назвать дату и час.

Падал мягкий снег, который щекочет лицо и тает на губах, оставляя запах лыжни и зимнего леса. Зима шла к концу, но было похоже на Новый год.

Кирилл сидел в сквере напротив булочной и ждал, когда кончится перерыв. Раньше магазин работал по воскресеньям без перерыва, а сегодня — пожалуйста: закрыто на обед! Ждать надо целых пятнадцать минут.

Кирилл не двигался. Ему пришло в голову провести опыт: узнать, сильно ли заснежит человека, если он просидит неподвижно четверть часа. Может быть, поверх шапки вырастет снежная папаха: на коленях — белые подушки, а на плечах пышный воротник? И прохожие будут думать, что вот сидит мальчишка, завороженный снежной королевой...

Но просидеть так все пятнадцать минут Кириллу не удалось. Неожиданно он услышал сухой звук — будто наступили на пустой спичечный коробок. Осторожно, чтобы не стряхнуть снег, Кирилл повернул голову.

Курчавый парень лет двадцати надел на объектив «Зенита» крышку, сдул с аппарата снежинки и неторопливо застегнул футляр. Потом встретился с Кириллом глазами и улыбнулся.

Он не понравился Кириллу. Близко сидящие темные глаза были какими-то чересчур острыми, пестрая поролоновая куртка — крикливо модной, а улыбка показалась высокомерной. К тому же Кирилл не любил тех, кто ходит зимой с открытой головой, считал это пижонством. А фотограф был без шапки, и снег запутывался в его черной кудрявой шевелюре.

— Зачем вы меня сфотографировали? — спросил Кирилл негромко, но довольно придирчивым тоном.

Курчавый фотограф еще раз улыбнулся и объяснил:

— Ты хорошо вписываешься в пейзаж. Кругом снег, и ты тоже заснеженный. Завороженный, будто в сказке.

Это показалось Кириллу совсем обидным: парень словно без спросу прочитал его мысли. Кирилл сказал:

— Значит, я деталь пейзажа... Вроде пенька или коряги...

— Да вовсе нет! — энергично запротестовал фотограф.— Пенек, он — мертвый. А человек оживляет пейзаж, смысл придает.

С этими словами парень подтащил к скамейке большую, нагруженную чем-то тяжелым сумку, смахнул снег и сел рядом с Кириллом. Не вплотную, но достаточно близко. Снежная сказка кончилась. Это еще больше раздосадовало Кирилла.

— А зачем вам моя фотография? — хмуро спросил он.

— Ну, мало ли... В альбом вклею. Может быть, на стену повешу. Буду смотреть.

— А что тут такого интересного? Смотреть...

— Каждый человек интересен, — серьезно сказал фотограф, — потому что каждый — представитель человечества.

«Представитель человечества» — это звучало солидно. Будь Кирилл помладше, он бы начал таять от удовольствия. И спросил бы: «Значит, я тоже представитель?» Но сейчас он на эту удочку не клюнул. Он сказал:

— Разве все представители человечества интересные? Бывают дураки всякие, бывают жулики и бандиты. И просто... нахальные.

— Такие, кто без спросу фотографирует, — серьезно откликнулся курчавый незнакомец. — Ну, я же не знал, что ты так... болезненно отнесешься. Что же теперь мне делать? Пленку засветить?

— Ладно, не надо, — небрежно сказал Кирилл и посмотрел на большие часы у входа в сквер. Было без двух минут два. Кирилл глянул на соседа. Вблизи тот выглядел старше и казался немного утомленным. Он достал сигарету, похлопал по карману, повернулся к Кириллу.

— Спичек нет случайно?

Кириллу это опять не понравилось.

— Не курю, — ответил он. — Понимаете, бросил недавно. Печень, склероз, и все такое...

Парень хмыкнул себе под нос. Объяснил:

— Я ведь сказал «случайно». Может, на сдачу дали...

Кирилл опять посмотрел на часы. Было ровно два, но магазин не открывался.

— «На сдачу», — буркнул Кирилл. — Где дадут сдачу, если закрыто?

Фотограф кивнул:

— Я тоже жду...

За стеклянной дверью магазина замаячила белая фигура, и дверь приоткрылась. Парень встал, сунул смятую сигарету в карман, подхватил свою громадную сумку с двумя длинными ручками и, перегнувшись на один бок, зашагал к булочной. Он заметно прихрамывал.

Кирилл подождал несколько секунд и пошел следом.

В магазине он сунул в авоську два батона и половинку украинского каравая, прихватил пирожок с повидлом, чтобы пожевать на ходу. Он почти забыл о курчавом незнакомце, но, когда вышел на улицу, увидел его снова.

В одной руке парень тащил полиэтиленовый пакет с батонами, в другой сумку, которая весила, наверно, килограммов двадцать. «Что в ней такое?» — машинально подумал Кирилл. Парень словно услышал его. Посмотрел и улыбнулся опять. Теперь это была другая улыбка: немного настороженная и виноватая какая-то. Парень словно просил: «Ты не смейся, пожалуйста, что я так неуклюже ковыляю со своей тяжестью...»

Кирилл не успел сразу отвести взгляд. А когда отвел, уходить было уже неловко. «Вот так всегда с тобой...» — обругал он себя. Подошел и сказал, глядя в землю:

— Дайте одну ручку... Вам далеко?

Парня звали Геннадием. Жил он в Заовражке — старом районе, где все улицы были похожи на деревенские. Весной там пышно цвела над косыми заборами черемуха, летом дороги зарастали мелкой травой, а зимой лежали вдоль улиц длинные сугробы и над заснеженными крышами стояли прямые столбы дыма.

От многоэтажных кварталов, где жил Кирилл, до Заовражка полчаса ходьбы. А если на автобусе — тоже полчаса, потому что автобус идет окружным путем, через большой мост. Этот мост построен над оврагом, в котором течет неглубокая речка Туринка. Недалеко от моста Туринка сливается с другой речкой, у которой громкое название — Ока...

Сначала Кирилл решил, что поможет нести сумку только до автобусной остановки. Потом пробурчал: «Да ладно, я не тороплюсь» — и поехал. И оказался наконец на улице

Осипенко, у дома номер четырнадцать, перед калиткой со старинным железным кольцом.

— Вот и приехали. Заходи, — пригласил Геннадий.

Дом был большой, с застекленной верандой, выходившей во двор. Кирилл увидел старое, но уютное крыльцо. Однако Геннадий не пошел к этому крыльцу. Они с Кириллом потащили сумку дальше — к низкому бревенчатому сараю. Геннадий ногой толкнул дверь — и навстречу пахнуло теплым воздухом.

После улицы Кириллу показалось, что внутри жарко. Под потолком горела сильная лампа. В углу бодро гудела жестяная трехногая печурка. У длинного верстака несколько мальчишек возились с какими-то просверленными планками. А посреди сарая стояла на подставках из досок тяжелая черная шлюпка.

«Шестивесельный ял, — машинально определил Кирилл. — Как он сюда попал?»

У стены Кирилл увидел свежеоструганную мачту. Она была не шлюпочная. Двусоставная, со стеньгой и решетчатой марсовой площадкой, она была копией мачты с крупного парусника.

Над верстаком висел чертеж, сделанный на голубой миллиметровке: та же шлюпка, но с кормовой надстройкой, узорчатой приставкой на носу — князвигедом, с бушпритом, большой грот-мачтой, маленькой бизанью, с треугольниками носовых парусов.

«Ясно...» — подумал Кирилл, и сердце стукнуло. Ясно было еще не все, но главное он уже понял.

Пятеро мальчишек обступили Геннадия.

— Ура, Дед краску притащил! Живем!

— И хлебушка! Чай поставим!

— Дед, а лак тоже привез?

Геннадий, охотно откликаясь на странное имя «Дед», сообщил:

— Все привез... Гостя привез. Он мне помогал сумку тащить. Не то что некоторые лодыри.

Раздался негодующий вопль. Оказывается, пока Дед, никого не предупредив и не позвав на помощь (сам виноват), ездил за краской, «лодыри» провернули массу работы: выточили кофель-планки, подогнали к бортам руслени, а Митька в это время доблестно шпаклевал коварные щели у ахтеркницы.

— Сдаюсь, сдаюсь, — сказал Дед. — Вы герои. Знакомьтесь с гостем, его зовут Кирилл.

Высокий веснушчатый паренек с серьезными глазами

первый протянул руку и сказал, что его зовут Алик. Смуглого, похожего на кавказца мальчишку звали Валеркой, рослого белобрысого паренька лет четырнадцати — Саней. А еще было два Юры — Кнопов и Сергиенко. Они так и представились: по имени и фамилии. Видимо, чтобы Кирилл их отличил друг от друга. Отличить на первый взгляд было трудновато: оба коренастые, рыжеватые, улыбчивые и деловитые. Похожие, как братья. Кирилл сразу понял, что они крепкие друзья между собой.

В это время из шлюпки выбрался пацаненок лет семи или восьми, курчавый, как Дед Геннадий. В большом не по росту вязаном жилете, к которому прилипли опилки и стружки, в мятых коротеньких штанах и продранных на коленях колготках. Вся одежда мальчишки была густо уляпана коричневой краской. Нос, уши и щеки тоже были перемазаны.

Дед сказал:

— Эту беспризорную личность зовут Митька.

Митька серьезно протянул ладошку, но увидел, что она в краске, и вместо ладони подставил локоть. Все засмеялись, потому что локоть тоже был вымазан.

Только Кирилл не засмеялся. Он подержался за острый локоток мальчишки и поймал себя на мысли, что ему очень хочется набрать воздуху и дунуть на курчавую Митькину голову, чтобы застрявшие в волосах стружки разлетелись, как желтые бабочки.

Митька продолжал серьезно смотреть на Кирилла и неожиданно спросил:

— Ты видел привидения?

— Что? — растерялся Кирилл. Но потом среагировал:— Конечно. У нас дома их два. Одно совсем ручное — белое и пушистое, вроде кошки. За холодильником живет.

— Врешь, — разочарованно сказал Митька.

— Не вру. У него скоро детеныши будут, могу одного принести.

— А ты еще придешь?

Кирилл опустил глаза. Он знал, что придет. Он понял, что это судьба. Но, конечно, он не решился сразу спросить: «А можно мне с вами?»

На полу, под верстаком, сложены были кучкой деревянные, просверленные в трех местах кружочки величиной с блюдце для варенья. Один откатился и лежал у самых ног Кирилла. Кирилл поднял его. И сказал, слегка смущаясь:

— А чего это у вас юферсы по полу раскиданы? Разве лишние?

На него посмотрели сначала удивленно, а потом с улыбкой и пониманием. В сухопутном городе, где речки Ока и Туринка в самом глубоком месте были мальчишкам по пояс, едва ли нашлось бы десять человек, знающих, что деревянный блок для набивки стоячего такелажа называется «юферс».

Вечером Кирилл сказал отцу:

— Папа, я познакомился с твоим знакомым...

— Кто же это?

— Геннадий Кошкарев. Он у вас на заводе фотолабораторией заведует. Он говорит, что знает тебя. Ты ведь его тоже знаешь?

— Ну как же... Знакомы, — отозвался отец. Без особого, впрочем, восторга.

— А что? — встревожился Кирилл. — У вас, что ли, это... служебные трения, да?

Отец усмехнулся:

— Да нет, пожалуй... Характер у него тяжеловатый.

— Почему? — удивился Кирилл.

— Кто же знает? У каждого свой характер... Может, из-за несчастья. Он киносъемкой увлекался, хотел после школы на кинооператора учиться, да попал под машину, ногу ему повредило. Говорят, почти год в больнице пролежал, а хромота все равно осталась... Впрочем, я это понаслышке знаю...

— Разве с хромотой нельзя быть оператором?

— Может, и нельзя. Оператор — профессия подвижная. А может быть, можно, да не сумел. Наверно, были причины... А снимает он хорошо. Талантливо.

— Сегодня меня на улице снял. Так и познакомились... Папа, он с ребятами парусник строит, под старину. Из шлюпки переделывает... Он меня в команду берет...

Отец оживился:

— Кошкарев судно строит? Вот не подумал бы! Я считал, что он весь в кинофотозаботах. Ай да Тамерлан!

— Почему Тамерлан?

— Так его иногда именуют. Помнишь, был хромой завоеватель — «Гроза Вселенной»?

— Помню. А Гена-то почему «гроза»?

— Он редактор «Комсомольского прожектора». И не приведи господь попасть под объектив с чем-нибудь та-

ким... отрицательным. Недавно выпуск сделал про захламленность в цехах. Потом партком заседал...

— Ему попало? — встревожился Кирилл.

— Если бы ему... — с хмурой усмешкой сказал отец.

— Ну... значит, он справедливый выпуск сделал? — как можно деликатнее спросил Кирилл.

Отец вздохнул:

— Может, и справедливый... со своей точки зрения. Только ведь захламленность не от хорошей жизни была, есть масса причин... А впрочем, дело уже прошлое. Как говорится, все к лучшему.

— Ты на него злишься? — прямо спросил Кирилл.

Отец засмеялся.

— Мало ли на кого разозлишься в горячке... Ты что, уже влюбился в него?

Кирилл ответил уклончиво:

— Я в «Капитана Гранта» влюбился. Так парусник называется.

Отец серьезно сказал:

— Ты не сомневайся, Кошкарев — парень честный. Только вспыльчивый чересчур, сердитый.

...Кириллу Дед вовсе не казался вспыльчивым и сердитым. Даже если ребята вместо дела устраивали возню, Дед не ругался и не покрикивал, а только укоризненно смотрел и брался за работу сам. Словно говорил: «Ну вы как хотите, а я считаю, что мы собрались не дурака валять». Иногда это помогало.

После работы, когда все расходились, Кирилл, бывало, оставался с Дедом. Они гасили печку, чтобы не случилось ночью пожара, подбирали с пола забытые инструменты. Потом садились на скамью перед недостроенным корпусом парусника и молчали. Кирилл мысленно дорисовывал корабль: узорную кормовую надстройку, белую рубку с точеными перильцами, поднявшиеся мачты, ванты, паруса... Гафельный кеч «Капитан Грант» обещал быть красивым, как хорошая песня. Может быть, это неточное сравнение, но другого Кирилл не мог придумать. И когда Кирилл представлял, как вырастает корабль, он словно сочинял эту песню. У Деда, видимо, были похожие мысли. Однажды он сказал:

— Еще зима, снег кругом, а ведь все равно будет лето. И поплывем... Вот закрою глаза — и сразу вижу, как паруса отражаются в синей воде...

Кирилл придвинулся к Деду и кивнул.

— А ты немногословен, мой юный друг, — сказал Дед. — В первый день ты мне показался как-то... ну...

Кирилл улыбнулся:

— Нахальнее, да?

Дед виновато развел руками. Кирилл сказал:

— Сам не знаю, что на меня тогда нашло... Вообще-то я довольно тихий и примерный, — добавил он с еле заметной насмешкой.

— Это в школе так говорят?

— Везде... Я до третьего класса вообще мало говорил, я заикался.

— Сейчас незаметно...

— Прошло... Я петь полюбил, тогда это и кончилось. Меня учительница Зоя Алексеевна к пению приучила.

— И сейчас поешь?

— В школьном хоре. Только мне там не нравится. Туда многих без всякого согласия посылают, это плохо. Зачем, если не хочется петь?

— Но тебе-то хочется?

Кирилл мотнул головой.

— Нет, мне там тоже не нравится. Руководитель новый появился, крикливый какой-то... И песенки все детские... Я бы ушел...

— А почему не уйдешь? Спорить не хочешь?

Дед спросил это без насмешки — серьезно и по-хорошему. Кирилл почувствовал, как защипало в глазах, и хмуро признался:

— У меня какое-то свойство дурацкое. Сам не знаю почему... Вот увижу что-нибудь несправедливое, начну спорить — и вдруг слезы.

Дед понимающе кивнул:

— Это бывает иногда...

— У меня не иногда, а каждый раз... Сейчас даже больше, чем раньше, — сердито сказал Кирилл и переглотнул. — Ты никому не говори... Может, я больной?

Дед засмеялся и положил свою ладонь Кириллу на затылок.

— Что ты, Кир... Твоей беде помочь совсем легко.

Кирилл удивленно поднял повлажневшие глаза.

Дед глянул в эти глаза и доверительно произнес:

— Как в горле заскребет, вспомни зеленого павиана Джимми.

— Какого павиана? — очень удивился Кирилл.

— Я же говорю: зеленого. Сразу представь себе зе-

леного павиана Джимми, и все пройдет... Это меня в детстве дядюшка научил. Здорово помогает, честное слово.

Кирилл помигал и неловко улыбнулся:

— Я... ладно, попробую. — И подумал: «Как жаль, что не знал про Джимми осенью».

Про тот случай до сих пор стыдно вспоминать. Ева Петровна оставила весь класс после уроков за то, что будто бы безобразно вели себя в столовой и разбили два стакана. Свинство какое! Ведь ей сто раз объясняли, что никто не дурачился и не бил! Кирилл кипел, кипел внутри, потом встал и приготовился сказать, что все это несправедливо и она не имеет права... А вместо слов получились всхлипы, и он разревелся, как дошкольница, у которой отобрали новый мячик.

Евица-красавица сказала:

— Векшин, ступай домой. Ты-то ни в чем не виноват, я знаю.

Кирилл схватил портфель и выскочил в коридор. Получилось, что ни за кого не заступился, а только себе заработал прощение. Выревел! Это в двенадцать-то лет... Нет, зеленый павиан — это, кажется, неплохо (глаза, между прочим, высохли). В этом что-то есть.

Но тут же Кирилл встревожился:

— А Митька? Он разве не знает про павиана?

Дед снисходительно сказал:

— Митька если ревет, то от страха или от вредности. Здесь уж Джимми бессилен.

## Глава 4

Митька был вертлявой личностью восьми с половиной лет: круглолицый, но щуплый, с черными быстрыми глазами и очень красными мокрыми губами — он их постоянно облизывал. Звали его чаще не просто Митька, а Митька-Маус. Вроде Микки-Мауса, знаменитого мышонка из мультфильмов. Но такое прозвище ему дали не за доблести, а за то, что он все время ходил с каким-нибудь хвостом. То за ним таскался обрывок веревки, то высовывалась из кармана длинная сетка-авоська, то шуршала по полу оторванная лямка штанов, то цеплял всех за ноги самодельный кнут, которым Митька-Маус любил что-нибудь сшибать: весной сосульки с карнизов, летом головки одуванчиков...

Митька-Маус чудовищно боялся привидений. Чтобы

оправдать свои страхи, он всех уверял, что привидения на самом деле есть, и рассказывал, как с ними встречался. Эти жуткие истории потихоньку записывал Алик Ветлугин: он сочинял фантастические романы и ему нужен был материал.

По вечерам Митька-Маус ни за что не соглашался оставаться один в комнате или мастерской, поднимал рев. Это доставляло Деду массу хлопот.

Была у Митьки еще одна черта, очень неудобная для Деда. Вездесущий Маус каждый день собирал на себя краски, сажу, ржавчину, пыль, мел и клей. Постоянной заботой Деда было отмывать Митьку по вечерам.

Чертыхаясь, Дед грел в баке для белья воду — зимой на плите, летом на костре посреди двора. Потом заталкивал двоюродного внука в старинное корыто, похожее на железный саркофаг, и драил несчастного Мауса суровой капроновой мочалкой. По комнате разлетались мыльные хлопья, радужные пузыри и Митькины вопли. Вопил Митька наполовину шутя, а наполовину всерьез, потому что жесткой мочалки и едучего мыла боялся лишь немного меньше, чем привидений.

— Не дергайся, подкидыш! — рычал Дед.

На «подкидыша» Митька не обижался. Он даже сам себя так иногда именовал.

Митькины родители — Генина племянница Надежда и ее муж Виктор — обитали в другой половине дома. Этот ветхий, но просторный дом остался от Гениной бабушки. Многочисленные родственники от такого наследства отказались, у них были квартиры, а у Геннадия и его племянницы своего жилья не было, и они позапрошлым летом вступили во владение старинной постройкой, в которой, безусловно, водились привидения и домовые.

Первый год жизнь в доме протекала безоблачно для всех, в том числе и для Митьки. Он лазил на захламленный чердак (днем, конечно), зимой строил во дворе крепости, летом играл с приятелями в прятки — было где. И не подозревал, какие тучи собираются над его курчавой головой.

А Митькины папа и мама тем временем закончили геологический факультет и в сентябре должны были отправиться в экспедицию.

Родители Надежды и Виктора жили далеко, мама Геннадия часто болела и возиться с двоюродным правнуком не могла. Обалдевшего от неожиданной беды Митьку устроили в интернат.

Митька прожил в интернате четыре дня и все это время безутешно горевал о доме. На пятый день он сбежал.

Отец, мать и примчавшаяся следом воспитательница три часа уговаривали Митьку покориться судьбе. Митька сперва говорил: «Не...» Потом просто молчал, мертво вцепившись в рычаг на чугунной дверце у печки-голландки. Тащить Митьку в интернат вместе с печкой воспитательница отказалась и ушла, грохнув дверью. Митькина мать затравленно вздрогнула и убежала следом. Доведенный до полного отчаяния отец отстегнул от походного планшета ремешок и сложил вдвое.

— Ну и пусть, — шепотом сказал Митька. — Все равно не поеду.

Он не вырывался и не пытался защищаться, но от крика удержаться не смог. Крик услышал со двора Геннадий. Он ворвался в комнату, взял в охапку папашу-геолога и швырнул в угол на стул. Затем сказал, что если еще раз узнает про такое дело, то заставит бездарного родителя сожрать этот ремешок вместе с защелками и кольцами.

Митькин отец посмотрел на Геннадия, на зареванного, встрепанного Митьку и едва не заревел сам. Он сообщил, что готов съесть дюжину ремней, и не таких, а флотских, вместе с пряжками, если ему скажут, что теперь делать. Менять профессию? Вернуть в институт дипломы? Повеситься? Сорвать экспедицию? Посадить Митьку в рюкзак и взять с собой? Или, может быть, благородный заступник сам готов полтора месяца нянчиться с ненаглядным двоюродным внуком?

Геннадий вышел из себя и сказал, что, черт с ними, готов. Потому что от таких родителей Митьке проку, что от вороны пенья.

Через день Надежда и Виктор уехали, а Дед сразу ощутил всю радость родительской должности: будить, кормить, отправлять в школу, приводить с продленки, проверять уроки и объясняться с учительницей по поводу грязных тетрадей, мятой формы и «вызывающего поведения».

А через неделю Митька заболел жестокой ангиной, и Дед не спал несколько ночей. Говорил потом, что боялся: вдруг уснет, а с Митькой случится что-нибудь страшное.

Ничего особенного не случилось. Несколько дней Митька не вставал, потом дело пошло на поправку.

По вечерам, чтобы Митька не скучал, Дед рассказывал ему сказку про Кота в сапогах. На новый лад. Кот фехтовал, как мушкетер, скакал на лошади и стрелял, как

ковбой, воевал с хищными пришельцами из космоса и совершенно не боялся привидений, потому что их нет и быть не может.

Многосерийную сказку Митька слушал с величайшим наслаждением, но привидений все равно боялся. И если Дед Геннадий допоздна печатал снимки или проявлял кинопленки, Митька устраивался спать в комнате-лаборатории на узком диванчике, изготовленном в середине девятнадцатого века.

Дед прощал Митьке его слабости. Если человека любишь, ему многое прощаешь. К тому же у Митьки были и хорошие качества. Он умел работать. Когда надо было законопатить и зашпаклевать щели в самых недоступных уголках шлюпки, посылали вертлявого Мауса. И если он разбивал макушку, ползая под палубой, то не пищал и не боялся йода.

Кроме того, именно Митька набрал для «Капитана Гранта» работников и матросов.

Когда Геннадий Кошкарев отыскал на берегу Андреевского озера старую шлюпку и решил, что пришла пора осуществить давнюю мечту — построить маленький, но настоящий корабль, ему обещали помощь два взрослых приятеля. С ними Дед и перевез шлюпку в город. Это было в конце прошлого лета. Осенью же один приятель начал писать кандидатскую диссертацию, а второй женился, и жена убедила его, что возиться с корабликами несолидно.

Тогда и пришел на выручку Митька. Через своих приятелей он узнал, где в округе есть люди, неравнодушные к парусам. Привел сначала деловитого Саню Матюхина, потом Алика Ветлугина и Валерку Карпова, выгнанных за случайные школьные двойки из кружка судомоделистов при домоуправлении (правда, там они строили модели катеров и понятия не имели, чем шхуна отличается от фрегата). От Алика узнали про корабль неразлучные Юрки...

И дело пошло, потому что мальчишки попались дружные, диссертации и женитьбы им не грозили, а строительство двухмачтового крейсерского парусника они считали вполне серьезной работой, не игрушками.

Только один раз Кирилл видел, как Дед всерьез рассердился на Митьку-Мауса. Это было в середине июня. «Капитан Грант», уже с надстройками и рубкой, почти готовый к спуску, стоял во дворе. Рядом лежали гротмачта и бизань-мачта с надетыми вантами. Юрки на третий раз красили черной эмалью борта. Алик и Валерка

привинчивали к белой рубке длинные иллюминаторы из оргстекла. Кирилл, Саня и Дед расстелили на траве главный парус — грот — и суровыми нитками обметывали в парусине специальные отверстия — люверсы.

Митька сидел под высокой кормой, украшенной точеным узором, и покрывал оранжевой краской спасательный круг, который Дед хитрым путем раздобыл через завком. Красил, конечно, не только круг, но и себя.

Насмешливый Валерка покосился на Митьку и громко сказал:

— Опять будет Деду вечером работа — Мауса отскребать.

Митька сообщил, что, если Валерка не умолкнет, отскребать придется их двоих. Причем Валерку больше.

— Не догонишь, — сказал Валерка. — Ты все равно к краске прилип, не отклеишься.

Митька-Маус вскочил и с грозным кличем помчался к ехидному Валерке. Тот пустился через двор. Митька запнулся за Дедовы ноги и полетел на парус. Он успел по-кошачьи извернуться в воздухе, упал не на парусину, а рядом, но правой рукой все же врезался в верхнюю часть грота. И отпечатал свою ладонь.

Вот тут-то Дед помянул всех морских и сухопутных чертей, обозвал Мауса балбесом и разгильдяем и мрачно посоветовал ему собирать чемоданчик, чтобы ехать в пионерский лагерь. В этот лагерь Митьку активно пытались сплавить родители.

Митька молчал и отчаянными глазами смотрел на черное дело своих рук. Точнее, на оранжевое дело. Потом тихонько заревел.

Сначала все ужасно опечалились: Масляную краску до конца не отскрести и не отстирать, значит, нужна заплата, да еще с двух сторон: оранжевая лапа Мауса проступила сквозь парусину.

И вдруг Кириллу пришла в голову счастливая мысль:

— Слушайте, а ведь у яхт есть знаки на парусах! Всякие эмблемы! Пускай у нас будет знак руки.

— В честь чего это? — хмуро спросил Дед. — В честь этого обормота?

Но было уже ясно, что мысль подходящая.

— Это будет означать, что мы все сделали своими руками, — разъяснил Алик Ветлугин.

Они в самом деле почти все сделали сами, если не считать дырявого старого корпуса шлюпки. Но и его пришлось приводить в порядок: менять доски обшивки, обди-

рать, олифить, шпаклевать, шкурить, красить... И паруса выкраивали сами, только сшивать на машинке помогала Митькина мама, которую ребята почтительно называли Надеждой Николаевной. А сам Митька добросовестно исколол иглой все пальцы, пришивая к парусным кромкам пеньковую веревку — ликтрос. И, вспомнив про это, все решили, что будет даже справедливо, если Митькина ладонь навеки останется на парусине. Дед проворчал, что только чудо спасло бестолкового Мауса от ссылки в лагерь «Веселые Ключи». Все понимали, что угроза была липовая, но торжественно поздравили Митьку. Потом Дед поаккуратнее прорисовал на парусине Митькину ладошку, обвел ее оранжевым кругом, а к этому кругу присоединил острые лучи. Получилась ладонь в солнышке. Так и появилась эмблема «Капитана Гранта».

В тот вечер с делами управились поздно, и Дед сказал:

— Кир, ночуй у меня. Завтра с утра опять работа.

Кирилл сбегал к автомату и позвонил домой. Мама разрешила: у Векшиных гостила бабушка, она вместе с мамой нянчилась с Антошкой, и без помощи Кирилла могли обойтись.

Остальные позавидовали: им тоже хотелось ночевать у Деда. Кроме Кирилла, все жили близко, поэтому быстренько сгоняли домой и отпросились.

Улеглись в сарае, где недавно стоял «Капитан Грант». Дед притащил кучу старых пальто и одеял. Устроили постели и думали, что будет веселая ночь с болтовней, страшными рассказами и шутками.

Но утомление сразу дало себя знать. Алик успел рассказать только одну короткую историю про сиреневых марсиан и засопел в начале второй. Остальные тоже притихли.

Кирилл не спал. Усталость ровно гудела в каждой жилке. Горели от солнца плечи, тихонько ныли исколотые пальцы, но это было не страшно и даже приятно. Пахло сухой травой, теплым деревом и краской. Тихонько посвистывал носом отмытый Митька. В полуоткрытой двери светилось закатное небо. Кирилл слышал, как во дворе возится с железным корытом Дед. Потом к нему подошла Надежда Николаевна.

— Улеглись, морские волки? — спросила она.

— Спят уже. Умотались.

— А Митя как?

Кирилл услышал, что Дед усмехнулся:

— Как всегда: носом в коленки и посапывает.

— Спасибо тебе за Митю, Гена.

— Да ну, что ты... — растерянно откликнулся Дед. Помолчал и вдруг сказал: — Это тебе спасибо, Надюша.

— Господи, мне-то за что?

— Да вот так... Лучше мне с ним. Теплее, что ли...

— Теплее. Зато хлопот сколько... Безалаберный он...

— Митька как Митька. Он боевой. Видишь, помог мне экипаж набрать.

Надежда Николаевна тихонько засмеялась:

— Мало тебе одного хулигана...

Дед, кажется, тоже засмеялся. Потом сказал немного удивленно:

— Никогда не думал, что с ребятишками свяжусь. Еще в школе комсомольское поручение давали вожатым быть у пятиклассников, так я как от чумы... Хоть режьте, говорю, а не буду. А теперь вон целое семейство.

Надежда Николаевна вздохнула и тихо (Кирилл еле расслышал) сказала:

— Своего тебе надо, Гена.

Дед промолчал и так же тихо ответил:

— Чего теперь об этом...

— Никак не пойму, что у вас получилось с Катей... Она же тебя любила.

— Жалела, — хмуро сказал Дед.

— Жалость без любви не бывает. Если и жалела, что плохого? Почему говорят, что жалость — это обязательно обидно?

— Да она себя жалела. И гордилась... Такая великодушная: за калеку вышла.

— Генка, да ты дурак! — как-то по-девчоночьи, тонким голосом воскликнула Митькина мама. — Ты же все сам придумал! Ну, что такого страшного с твоей ногой!

— Да не про ногу, а вообще... Про неудачи. Она думала, что из меня знаменитый кинематографист получится, а все не так...

— А ты не мучайся. Все у тебя еще впереди.

— А я и не мучаюсь, — сказал Дед. — Это с виду у меня жизнь сейчас растрепанная, а на душе спокойно, честное слово... Видно, сам не знаешь, где чего найдешь. Ну, вот кто поверит, что может быть такая радость: ходить в темноте между мальчишками, слушать, как дышат, укрывать получше...

— Я поверю.

— Ты сказала: своего надо. Конечно... Только знаешь, этих я бы все равно не оставил. Сперва думал: просто работники, экипаж, чтобы с кораблем управляться. А вышло, что главное не корабль, а они...

— Хорошие ребята, — согласилась Надежда Николаевна. — Славные... Только вот этот, тощенький такой, светлоголовый... Кирилл, да? Непонятный какой-то...

— А что непонятного? — настороженно спросил Дед.

— Не знаю. Диковатый, что ли... И немного беспризорный.

— Просто он стеснительный. А что касается беспризорности, то все они охламоны.

— Все — это другое дело. А у него отец на большом посту, важная фигура. Казалось бы, мальчик из такой семьи... Как-то поинтеллигентнее должен выглядеть...

Дед засмеялся:

— Ты приглядись. Дело ведь не в растрепанной голове. Он иногда таким аристократом может быть...

«Мамочки! Это я-то?» — простонал про себя Кирилл.

А Дед, помолчав, добавил:

— Нет, Кир хороший. Он мой друг.

Кирилл благодарно улыбнулся в темноте, вздохнул тихонько и начал засыпать.

До того вечера Кирилл никогда не думал, что отец у него «важная фигура». Он понимал, конечно, что у отца сложная и большая работа — главный инженер завода отвечает за все производство, — но при чем здесь важность. «Важная фигура» — это звучало как «большой чин».

Жили Векшины совсем не роскошно, в малогабаритной квартире, дорогими подарками Кирилла не баловали, если не считать велосипеда (но это было потом). Порой бывало трудновато с деньгами, особенно когда родился Антошка и мама уволилась, а расходов прибавилось.

Внешность Петра Евгеньевича Векшина тоже не отличалась солидностью и важностью. Он был невысокий, лысый, с круглым животиком, да и весь какой-то кругловатый. Когда волновался или хотел что-то доказать, начинал мелкими шажками быстро ходить по комнате, заталкивая большие пальцы за подтяжки на плечах, и оттягивал тугие резиновые полоски вверх. Словно старался приподнять себя над полом.

Кирилл не огорчался, что у отца не героический вид. Он просто не представлял, что папа мог бы выглядеть

иначе. К тому же Кирилл знал, что в молодости папа служил на границе, да еще был перворазрядником по стрельбе и лыжам. Согласитесь, что это не хуже, чем геркулесовы плечи или мушкетерские усы.

В последние годы Петр Евгеньевич спортом не занимался, но кое-какие навыки сохранил. Кирилл в этом убедился позапрошлой зимой. Он с мальчишками гонял шайбу на асфальтовой площадке перед домом, а Петр Евгеньевич шел откуда-то веселый и довольный. Поглядел, как нападающие лупят мимо ворот, и сказал с чувством:

— Эх, мазилы!

Игроки остановились, и сердца их наполнились тихим возмущением. Даже Кирилл оскорбился.

— Обзывать легко, — сказал он. — Попробовал бы сам.

— А чего ж! Давай! Могу один против команды!

Ребята засмеялись.

Тогда Кирилл обиделся и немного испугался за отца. И за себя. Теперь все будут дразнить: папа — звезда хоккея.

Отец коротко глянул на него и сказал:

— Дай-ка клюшку.

Кирилл вздохнул и дал.

— Начали, — небрежно предложил Петр Евгеньевич пятерым противникам.

Те встревоженно заорали и бросились в атаку. Они были уверены в победе. И напрасно. Петр Евгеньевич обвел нападающих, пробился, как пушечное ядро, сквозь защиту и тут же вклепал противнику первую шайбу. Потом заколотил еще три.

Кирилл таял от гордости.

— Хватит, — сказал отец. — Играете вы прилично, однако со старой гвардией связываться вам рановато... Пошли, Кирилл, обедать.

Петр Евгеньевич, видимо, по-мальчишечьи был доволен своим поступком. Он сказал Кириллу:

— Есть еще порох... Здорово я их, а?

— Здорово, — сказал Кирилл, но решил, что небольшая критика не повредит. — Только все-таки ты запыхался слегка. Зарядочку делать надо.

— Ой, надо, — согласился отец. — Понимаю. Самому тошно, брюхо растет. Разве я такой был в розовой юности?

— Не такой, — сказал Кирилл.

У него над кроватью висела в латунной рамке от эстампа большая фотография. На снимке худенький мальчишка в вельветовом костюме — короткая курточка с мол-

ниями и брючки, застегнутые под коленками, — мчался по асфальтовому спуску на самодельном самокате. Волосы у мальчишки разлетались от встречного ветра, а глаза сияли от счастья и удали. Это и был Петр Евгеньевич Векшин в возрасте одиннадцати с половиной лет.

Кирилл нашел такую фотографию в бабушкином альбоме и попросил отца увеличить ее в заводской фотолаборатории.

— Зачем тебе? — поинтересовался отец.

— Надо, — сурово сказал Кирилл. — Когда притащу двойку или запись в дневнике и ты начнешь меня воспитывать, я буду смотреть на эту фотографию и говорить: «Папа, папа, а сам ты всегда был образцом успеваемости и дисциплины?»

— Дельная мысль, — согласился отец. — Но лучше повесь мамину карточку. Дневник-то чаще всего смотрит она.

Кирилл грустно вздохнул:

— Какой смысл? Мама всю жизнь была отличницей.

Рядом с фотографией, на фанерной полочке под ящичком из оргстекла, стояла модель кораблика. Вернее, не модель, а просто самодельная игрушка: корпус из сосновой коры, мачты-лучинки, косые лоскутные паруса. Но это была дорогая для отца и для Кирилла вещь. Петр Евгеньевич построил крошечную кривобокую шхуну, когда ему было семь лет. Этот первый в его жизни кораблик чудом сохранился и потом стал семейной реликвией. А любовь к моделям у отца осталась до сих пор.

Уже третий год Петр Евгеньевич строил большую модель фрегата «Южный ветер». Фрегат с метровыми мачтами стоял на телевизоре и на первый взгляд казался вполне готовым. Но на самом деле работы оставалось еще много: нужно было сделать и укрепить сотни мелких деталей.

Кирилл не увлекался этим делом, как отец. Во-первых, терпения не хватало, а во-вторых, это все-таки модель. Вот если бы настоящий корабль построить!.. Но помогал отцу он охотно. В свободные вечера они усаживались перед фрегатом и дружно занимались оснасткой. Отец вытачивал тоненьким напильничком лапу бронзового якоря или спицу крошечного штурвала, а Кирилл особым узлом вязывал в ванты ступеньки из ниток — выбленки. Это у него здорово получалось.

Они работали и о чем-нибудь разговаривали. А иногда

пели морские песни. Папа сипловатым баском, негромко, а Кирилл сперва тоже тихонько, а потом от души...

Однажды Кирилл спросил:

— Пап, ты с детства кораблями увлекаешься, а почему на Сельмаше работаешь? Почему не стал судостроителем?

— В нашем-то городе? Бред какой... — сказал отец, разглядывая под лампой узорчатую крышку для кормового фонаря.

— Почему в нашем? Поехал бы куда-нибудь. Ты же был неженатый...

— Не мог я после школы. Мама, твоя бабушка, болела. Ну и пошел я на Сельмаш. Сперва для заработка, а потом понравилось. Люди хорошие были вокруг, расставаться не хотелось. Знаешь, повезло мне с людьми, до сих пор радуюсь...

Он надел крышку на фонарь и полюбовался работой. Потом сказал:

— Между прочим, комбайны тоже корабли. Наверно, сам видел, как они по хлебам идут. Будто по волнам. И штурвалы...

— Видел, — согласился Кирилл.

Но комбайны были все-таки сухопутными кораблями. А Кирилл думал о парусниках. Он предложил:

— Давай построим яхту. Хотя бы маленькую, на двоих.

— А что! Это идея. Вот только время выбрать...

Но яхта — не модель, время не выбиралось. Хорошо, что судьба улыбнулась Кириллу и привела его на улицу Осипенко...

На следующий вечер после разговора Деда с племянницей, который невольно подслушал Кирилл, отец попросил:

— Помоги мне бегучий такелаж на фок-мачте провести. Я понимаю, у тебя сейчас не те масштабы, но уважь престарелого отца.

Кирилл уважил. Они протягивали через крошечные блоки суровые нити и сосредоточенно сопели. Потом Кирилл спросил:

— Папа, а почему у нас нет машины?

Отец так удивился, что запутался в нитках и встал.

— А собственно... Что за бред? Ты почему это спросил?

— Ну... просто.

— Странно... — Отец сунул пальцы за подтяжки и попытался приподнять себя. — Раньше ты об этом не спрашивал. Позавидовал кому-то?

— Да просто так подумал. Можно было бы всем поехать путешествовать...

Отец заходил из угла в угол.

— В принципе это мысль. Я и сам как-то думал. Но видишь ли, машина — это деньги, а у нас все как-то... на более важные вещи. И потом, с машиной столько хлопот: гараж, запчасти, техосмотры.

Он встал за спиной у Кирилла и смущенно произнес:

— Тогда у нас вот таких вечеров, пожалуй, не будет.

— Мы бы в гараже вдвоем возились. Тоже хорошо, — тихо сказал Кирилл.

— Неужели это так важно? — спросил отец.

Чтобы он не расстроился совсем, Кирилл засмеялся:

— Да ты не думай, что я так уж о машине мечтаю. Я только вспомнил. Про тебя говорят, что ты важная фигура, а важной фигуре, по-моему, полагается иметь «Волгу».

— Ну, во-первых, у меня есть служебная. А во-вторых... кто это говорит?

— Ты не знаешь. Женщина одна... Да не о тебе и разговор-то был, а обо мне, — успокоил Кирилл. — Она сказала: «Отец — фигура, а сын — обормот».

— Ну, это другое дело, — с облегчением вздохнул отец. Но потом все-таки спросил: — А собственно, почему ты обормот?

Кирилл вскочил со стула и крутнулся перед отцом на пятке.

— Наверно, из-за такого вида. Мама тоже говорит... Потому что босой все время.

— Подумаешь, — сказал Петр Евгеньевич. — Я в твоем возрасте тоже в башмаки не залезал. Босиком приятнее.

Кирилл был вполне согласен с отцом.

Сначала постоянно бегать босиком было трудновато, но потом понравилось. Кирилл теперь не только видел землю, но еще как бы пробовал ее на ощупь: шелковистую траву, нагретый песок у озера, прохладные лужицы на асфальте, которые оставила поливальная машина, горячие чугунные ступени на старинном мостике через овраг, бархатную пыль тропинок. Если даже закрыть глаза, все равно будто все это видишь.

А потом прибавилось еще одно праздничное ощущение — ребристая твердость новеньких педалей. Отец подарил велосипед — авансом в честь еще неблизкого дня рождения.

У Кирилла и раньше был велосипед — старенький, расхлябанный «подросток». Но он совсем рассыпался в прошлом году. А отец купил оранжевый складной «Скиф» — легонький, компактный, с мягким седлом и рулем, как у гоночного мотоцикла.

Кирилл тихонько замычал от восторга.

— Это пока вместо машины, — серьезно сказал отец.— Сгодится на ближайшие годы?

Кирилл нежно сказал:

— Лошадка моя... Да он в тысячу раз лучше машины.

## Глава 5

Велосипед, как хорошая лошадь, требует ухода. Например, лошади надо время от времени менять подковы, а велосипеду заклеивать камеры. Этой работой Кирилл и занялся, вернувшись из школы в тот злополучный день, когда случилась история с кошельком. Мама ушла, а Кирилл снял с велосипеда шины...

Антошка вел себя благородно: тихо посапывал и смотрел свои младенческие сны. Но когда Кирилл поставил на место заднее колесо и подтянул конуса, Антошка, видимо, решил, что не стоит слишком баловать братца. Завозился и захныкал.

Кирилл мягко подскочил к деревянной кроватке, катнул ее туда-сюда и замурлыкал песню про серого кота. Антошка еще раз хныкнул нерешительно и опять засопел.

И в это время раздался длинный звонок.

Кирил тихо помянул черта и прыгнул в переднюю. Распахнул дверь. На пороге стояла Женька Черепанова.

Она уже переоделась после школы и была теперь этакая принцесса в желтом мини-платьице, розовых гольфах и бантиках. Подумаешь, воздушное создание...

— Трезвонишь, как на пожаре, — злым шепотом сказал Кирилл. — Ребенок в доме.

— Ой, прости, пожалуйста, я забыла.

Кирилл молча пошел в комнату. Женька двинулась за ним.

— Пыль с улицы можно бы и не таскать в комнату, — заметил Кирилл.

Черепанова стала торопливо расстегивать белые сандалетки. Потом осторожно, словно кошка на горячую железную крышу, ступила розовыми гольфами на колючую

циновку из морской травы. Сразу видно, не ходила босиком девочка.

Проснувшийся Антошка не ревел, но и спать не собирался. Пускал пузыри и беззвучно улыбался с видом полностью счастливого человека. Женька на цыпочках подошла следом за Кириллом.

— Ой, какой хорошенький...

Хорошенький Антошка деловито распинал пеленки и выдал крутую прозрачную струю. Женька неловко хихикнула.

— Салют наций, — сказал Кирилл. — В честь прибытия ее высочества Евгении Черепановой с официальным визитом... Ну-ка подвинься, пеленки буду менять.

— Может быть, тебе помочь? — нерешительно спросила она.

— Может быть, ты умеешь? — ехидно сказал Кирилл.

Он перетащил Антошку на тахту, убрал все мокрое, взял из стопки на тумбочке сухие пеленки. Антошка терпеливо переносил «переодевание».

— С чем пожаловала, мадемуазель Черепанова? — поинтересовался Кирилл. — Впрочем, ясно: донос на гетмана-злодея Петру Евгеньичу от Кочубея. То есть от Евицы-красавицы. «Товарищ Векшин, пожалуйте в школу, ваш сын ведет себя безобразно...»

— С тобой, Кирилл, в самом деле что-то неладно, — гордо произнесла Черепанова.

— Переходный возраст. Мальчик превращается в юношу.

— В грубияна ты превращаешься...

— В грубияна — это что, — печально отозвался Кирилл. — Дело хуже. Воровать начал!

После этого Женька долго молчала. Кирилл перетащил Антошку в кроватку.

Женька наконец сказала:

— А ты... почему дома? Сам говорил, что на кухню пойдешь.

— Ах какая неприятность! Мы думали, Кирилла нет, а родители на месте. Вот бы мы расписали им все его преступления!.. А мама возьми да скажи: «Посиди, Кирилл, с братиком, я сама схожу...» И все ходит где-то, хо-одит... Женьку ждать она не стала-а... А наш папа на заво-оде. У него конец кварта-ала-а...

Последние, так удачно сложившиеся фразы Кирилл протянул на мотив песенки о мишке, у которого оторвали

лапу. Дело в том, что Антошка проявил твердое намерение завопить.

Удивленная Женька примолкла, а Кирилл негромко, но со вкусом спел Антошке про Каховку. Потом «От улыбки хмурый день светлей». Затем «Старого барабанщика». Женьки он не стеснялся. Все равно ему, есть она тут или нет.

Антошка опять задремал. Женька этим воспользовалась и прошептала:

— Ты хорошо поешь...

Антошка подозрительно зашевелился.

— Иди-ка ты в другую комнату, — тихонько, но сурово предложил Кирилл. — Сиди там и жди, если хочешь, родителей. Только зря. Мама и так позвонит отцу с автомата, я ей все рассказал. А отец с работы зайдет в школу.

Женька послушно направилась к двери, но с порога обиженно сообщила:

— Если хочешь знать, я не ябедничать пришла. Просто Ева Петровна сказала: если родители не пойдут, пусть Векшин сам явится за своим портфелем.

— Уже бегу. Изо всех сил.

— Теперь-то уж ни к чему, раз твой папа зайдет...

Кирилл с сомнением посмотрел на Женьку.

— Ты думаешь, папа потащит мой портфель?

— А... не понесет?

Кирилл пожал плечами:

— У него, по-моему, свой тяжелый.

— А что ты будешь делать?

— Ничего не буду, — честно сказал Кирилл. — Пусть Александр Викентьевич делает. Он ведь отобрал.

Женька долго и недоверчиво смотрела на Кирилла. Потом открыла рот, но Кирилл показал кулак: молчи!

В траве сидел кузнечик,
Совсем как человечек, —

торопливо начал он.

Было, однако, поздно. Антошка взревел на высоких нотах, сделал паузу и начал выть не умолкая.

Теперь оставалось последнее средство. Кирилл выпрямился, опять покатал туда-сюда кроватку и решительно пропел вступление. Антошкин рев сделался в два раза тише. Кирилл начал первый куплет. Антошка еще сбавил звук и наконец совсем притих. Будто понимал суровые слова о грозе и последней дороге...

Второй куплет Кирилл пел тише и сдержанней. Антош-

ка начал засыпать под печальный, но решительный мотив. Когда песня кончилась, он посапывал, как до прихода Женьки.

Кирилл поднял глаза от кроватки и только сейчас вспомнил про Черепанову. Она стояла у косяка и странно смотрела на Кирилла. Хотела что-то спросить, но он приложил палец к губам. На цыпочках прошел мимо Женьки в другую комнату. Здесь было их с отцом государство.

Женька вошла следом и прошептала:

— Это что за песня?

Кирилл усмехнулся:

— Колыбельная для брата... Закрой дверь, а то опять разбудишь.

Женька послушалась и снова спросила:

— А все-таки... откуда эта песня? Кто сочинил?

— Много будешь знать... — буркнул Кирилл. Сел к столу и взял том Конан Дойля с рыцарским романом «Белый отряд».

Женька не стала обижаться. Опять сказала:

— Ты хорошо поешь. Зря ты не ходишь в хор.

— Вам же Ева Петровна объяснила: из ложной принципиальности и глупого упрямства.

— Ну и правильно объяснила... Все назло делаешь. Волосы зачем-то отрастил, а они тебе вовсе даже не идут.

— Ну уж это ты врешь! — Кирилл вместе со стулом повернулся к Женьке. — Волосы как раз «идут». Они мне уши закрывают. Уши-то у меня как у слона!

— Глупости какие!

Кирилл сказал с чудовищно серьезным видом:

— Совсем не глупости. У меня из-за них такая душевная драма была в третьем классе...

— Какая драма? — удивилась Женька.

— Повторяю: душевная. В театре. Я тогда первый раз в театр пошел самостоятельно, один. — Кирилл поднял к потолку глаза. — Ах, какой я был красивый! Красная рубашка в белый горошек, белый галстучек. Первые в жизни расклешенные брюки, ковбойский ремень... Весь театр на меня смотрел и ахал.

Женька тихо засмеялась, присела на уголке дивана.

— Не смешно, — печально сказал Кирилл. — Больше всех смотрела девочка. Очень красивая девочка, с черными глазами. Я потом таких красивых ни разу не видел... Ходила с мамой по фойе и все на меня поглядывала. А потом в зале на меня оглядывалась... Ну, и я тоже. Забилось мое бедное сердце.

— Ты будешь писателем, Кирилл, — сказала Женька.

— Я буду парикмахером и никогда не стану коротко стричь детей...

— Ну а что дальше?

— Дальше? Тяжело вспоминать... Ну, ладно. Кончился спектакль, они одеваются, а я кручусь рядышком, будто нарочно. И вдруг она маме говорит громким шепотом: «Посмотри, какие у мальчика громадные уши...»

Кирилл сделал траурное лицо и замолчал.

— А потом? — с улыбкой спросила Женька.

— Что «потом»... Пришел домой, сорвал галстучек и хотел отрезать уши. Но все ножи оказались тупые. Тогда я поклялся до гроба ненавидеть девчонок. А на сердце до сих пор трещина... Вот такие дела, товарищ председатель совета отряда...

Он думал, что Женька улыбнется, но она сидела с опущенной головой и машинально наматывала на палец русую прядку. Потом все же улыбнулась, но как-то не так. Слишком задумчиво. Исподлобья глянула на Кирилла и вдруг сказала:

— А какие мы смешные были тогда... Между прочим, в третьем классе я в тебя целый месяц была влюблена...

Кирилл вдруг почувствовал, что сейчас покраснеет. Однако взял себя в руки.

— Что же ты молча страдала? Счастье было так возможно... Хотя что ты во мне нашла? Я был заикой.

— Дурак ты был, — со вздохом сказала Женька. — И сейчас дурак.

«Сама», — хотел сказать Кирилл и вместо этого неожиданно спросил:

— Слушай, Черепанова, ты в самом деле думаешь, что я украл кошелек?

Она стала розовой, как ее гольфы и бантики на платье.

— Что ты глупости говоришь...

— Тогда зачем пришла? — тихо и серьезно спросил Кирилл. — Чтобы дураком назвать?

— Ну, раз Ева Петровна послала... Разве лучше, если бы кто-нибудь другой пришел? Могли столько наговорить...

— Ну и пусть. Мне все равно.

— Кирилл! — удивленно сказала она. — Ты, что ли, нисколько не боишься неприятностей с родителями?

Кирилл посмотрел на Женьку спокойно и снисходительно:

— Подумай сама, чего мне бояться, если я не виноват?

У меня, слава богу, нормальные мама и папа, а не людоеды и не пугала.

— Ева Петровна скажет...

Кирилл перебил:

— Что скажет? Если все на свете Евы Петровны будут говорить, что я жулик, родители все равно не поверят. Они-то меня с пеленок знают.

— Она скажет, что ты грубил.

— Не грубил, а спорил. Меня вором называют, а я должен соглашаться?

— А что тебе мама сказала, когда ты... ну, рассказал про это?..

— Что она сказала? — Кирилл поднял глаза к потолку. — Ну... она сказала: «Кирюша, не забудь, что на плите кипит молоко... Соску вымой кипяченой водой... Не скучайте, я скоро приду...» Она в самом деле скоро придет. Подожди.

Женька встала.

— Зачем ждать? Я пойду...

— Как вам угодно, сударыня, — сказал Кирилл и вдруг почувствовал: не хочется ему, чтобы Женька уходила. Конечно, ничего особенного, но... лучше бы еще посидела. Наверно, просто скучно одному.

И он не огорчился, когда Женька обернулась на пороге и спросила:

— А это что за корабль? На фотографии...

Над письменным столом висел большой, тридцать на сорок, снимок. «Капитан Грант» был сфотографирован с кормы. Из-под ахтерштевня вырывалась бурная струя. В гакабортном фонаре искрилось солнце. Верхушки мачт не вошли, зато нижние половины парусов — с люверсами, шнуровкой на гиках, блоками и частыми швами получились рельефными, как на стереоснимке. Полотно туго выгибалось под ветром.

Алька Ветлугин, сидя на планшире, выбирал гикашкот. Валерка был у бизани — из-за гакаборта торчала его голова. Юрок не было видно — они сидели низко. Саня стоял на палубе рубки, вцепившись в ванты, а Митька-Маус, как всегда, устроился на носу, у бушприта, над которым вздувались кливер и стаксель.

А Кирилл стоял у штурвала. Чтобы сделать снимок, Дед окликнул его с лодки, и Кирилл оглянулся. Лицо его было сердитым: рулевого не следует отвлекать на таком ходу, да еще перед поворотом...

— Это ты где? — опять спросила Женька. — Это по правде?

— А что, по-твоему? Декорация в драмкружке?

— Ну... я просто спросила. Это какой корабль?

— Крейсерский парусник типа «гафельный кеч» с бермудской бизанью и треугольным гаф-топселем, который, в отличие от рейкового топселя, крепится фаловым углом непосредственно к топу грот-стеньги, — отрапортовал Кирилл. — Все ясно?

Женька моргала.

Кирилл усмехнулся и продолжал:

— Водоизмещение одна и две десятых тонны, ход к ветру до сорока пяти градусов, район плавания неограниченный, крейсерская скорость около восьми узлов.

Насчет района плавания и скорости он подзагнул, но Женька все равно, конечно, ничего не поняла.

— Какой красивый. А кто его построил?

Кирилл вытянул руки и пошевелил пальцами. Женька округлила глаза.

— Ты?

— Мы.

— Кто «мы»?

Он усмехнулся:

— Люди.

Больше она не решилась расспрашивать. Только сказала:

— Штурвал какой интересный... Я думала, он со старинного корабля.

— А он и есть со старинного, — хладнокровно сообщил Кирилл. — Восемнадцатый век. Английская лоцманская шхуна «Сэр Найджел».

— Ой, а где вы его взяли?

— Тебе что, выдать все морские тайны?

## Глава 6

Штурвал делали втроем: Дед, Саня Матюхин и Кирилл. Дед на маленьком токарном станке вытачивал из буковых брусков фигурные спицы с рукоятками. Саня размечал и высверливал в дубовой ступице отверстия для спиц, потом навинчивал латунные накладки. Кирилл выпиливал тоненькой ножовкой дуги для обода.

Это была нелегкая работа. Приходилось пилить с большой точностью, иначе штурвал получился бы кривобоким,

как на детсадовском рисунке. Кирилл справился, не испортил ни одной заготовки.

Кончив работать пилой, он выволок чурбан со слесарными тисками во двор. Стояла уже середина июня, и не хотелось торчать в мастерской.

На дворе было солнечно и тепло. По забору ходил соседский петух Дима и одобрительно посматривал на мальчишек. Высоко над крыльцом часто махал крыльями фанерный ветряк: его недавно смастерили и прибили там неутомимые Юрки. По желтым лакированным крыльям ветряка прыгали солнечные зайчики.

Алик Ветлугин, Валерка Карпов и Юрки мазали бесцветным лаком пайолы — решетки для нижней палубы, под которыми будет лежать балласт. На «Капитане Гранте» были поставлены мачты для пробы и натянуты ванты. Митька-Маус привязывал к вантам выбленки. Привяжет одну перед собой, поднимется повыше — и опять за работу.

Под самым клотиком грот-стеньги трепетал оранжевый флаг с двумя косицами. На флаге — ладошка в солнышке. Все как на парусе, только цвета наоборот: флаг — огненный, будто заря или походный костер, а ладонь и солнце — белые, как парус...

На зеленом дворе, под мелькающим веселым ветряком и похожим на огонек флагом, жило маленькое морское братство.

Спокойный и улыбчивый получился экипаж. Может быть, это вышло само собой, а может быть, в экипаже не случайно собрались люди, которым было хорошо друг с другом. Ведь приходили и другие — зимой, весной, в начале лета. Но, поработав денек-другой, они появлялись потом все реже и наконец исчезали с горизонта. А эти остались: семеро и Дед («Волк и семеро козлят», — сказал однажды Валерка Карпов, когда Дед ходил хмурый и ворчал на всех). И наверно, уже не только любовь к судну и мечта о походах держали их вместе.

Наверно, не только это... Потому что не куда-нибудь, а в экипаж принес Алик Ветлугин свой длинный фантастический роман про звезду Лучинор — об этом романе не знали ни Алькины родители, ни его приятели-семиклассники. И не где-нибудь, а именно здесь Кирилл запел наконец не стесняясь, так же, как дома, любимые песни — старые песни, которые не разучивали в хоре и не пели в школе: «В далекий край товарищ улетает...», «Плещут холодные волны...», «Море шумит...». Он драил тогда наждачной бумагой рубку и пел, а остальные примолкли, и

только Валерка произнес шепотом, на этот раз без шутки: «Во артист...»

Потом, когда Кирилл кончил петь о парусах «Крузенштерна», Дед сказал:

— Хоть бы у тебя голос подольше не ломался, Кир.

— Я еще маленький, — откликнулся Кирилл. — Мне только в августе будет тринадцать...

— У, младенец, — сказал Валерка, которому не было и двенадцати.

Валерка все время подшучивал над другими, и это ему прощали. А Сане Матюхину прощали излишнюю солидность и то, что он иногда любил покомандовать (он был самый старший после Деда, окончил восьмой класс). Здесь понимали друг друга.

Понимали неразлучных Юрок и не обижались, что у них есть свои, им двоим только известные секреты. Понимали и Митьку-Мауса, который боялся привидений, но без страха взлетал по вантам на стеньгу, когда заедало блок у топсельфала (никого другого, более тяжелого, Дед не пускал на восьмиметровую высоту)...

Здесь, среди детей «Капитана Гранта», у Кирилла словно сняли с души ограничители.

Раньше, в школе и во дворе, в пионерском лагере и когда гостил у бабушки, он знакомился с ребятами, играл, иногда ссорился, иногда бывал у них в гостях и звал к себе, но никогда не мог подружиться по-настоящему. Сначала стеснялся заикания (хотя никто над ним не смеялся), потом боялся своей стеснительности. В четвертом классе он вроде бы сошелся с Климовым, но летом Климов уехал, а после каникул стал каким-то слишком взрослым, и Кириллу было с ним неловко.

А в экипаже все оказалось иначе.

По правде говоря, друга, без которого жить не можешь, у Кирилла и здесь пока не нашлось. Но что поделаешь? Такой друг встречается, может быть, раз в жизни, да и то не каждому. А товарищи в экипаже были надежные: поймут, помогут, выручат и защитят...

Об этом Кирилл и думал, когда возился с деталями штурвала. Он устроился на ступенях крыльца, зажал чурбак между колен, укрепил в тисках деревянную дугу и начал обрабатывать ее рашпилем. Розоватая буковая пыль сыпалась на ноги, и казалось, что сквозь загар проступает новая, еще не обожженная солнцем кожа.

Штурвал собрали на шипах, шурупах и казеиновом клее.

— Ну, как получился наш малыш? — спросил Дед и поднял маленькое рулевое колесо на вытянутых руках.

Он и в самом деле был как новорожденный малыш, этот никогда еще не работавший штурвальчик. Буковые выпуклые спицы и обод были такого же беззащитного цвета, как ручки, ножки и плечи ребенка. Прямо хоть закутывай в пеленку, чтоб не простудился.

Но штурвал недолго оставался новорожденным. Дерево покрыли светло-коричневым лаком, и рулевое колесо сделалось одного цвета с экипажем «Капитана Гранта».

Его надели на четырехгранную ось, торчащую из белой переборки рубки слева от двери.

Кирилл не выдержал.

— Можно мне? — прошептал он умоляюще. Он просто не мог ждать, пока все покрутят штурвал.

— Ну, поверти, — сказал Дед.

Кирилл виновато улыбнулся и нажал на коричневые рукоятки. Он почувствовал, как натянулись, будто живые нервы, и прижались к блокам крученые стальные штуртросы. Он нажал чуть сильнее. Штурвал повернулся неожиданно легко, но в этой легкости чувствовалась работа. Живая работа корабля. «Капитан Грант» словно проснулся, ощутил напряжение в жилах, слегка попробовал силу мускулов...

— Ходит, ходит! — закричали из-под кормы Митька-Маус и Валерка. Это означало, что у ахтерштевня шевельнулась и начала поворачиваться туда-сюда красная тяжелая пластина руля.

...Потом штурвал долго вертели все по очереди. Но наконец это надоело. Даже Митьке. И тогда Кирилл опять взял теплые выпуклые рукояти (их иногда называют шпагами)...

Потом он часто так делал: вставал к штурвалу и крутил его потихоньку. Ему нравилось ощущать, как по стальным жилам штуртросов передается в ладони послушная тяжесть руля. Он предугадывал каждый щелчок блоков, каждый короткий скрип оси. Он начинал чувствовать корабль.

Конечно, все это пока было на суше. Но каждую ночь Кириллу снилось озеро, и ветер, и округло натянутая дрожащая парусина. Он совершенно как наяву видел отход «Капитана Гранта» от причала. Ветер дует с бушприта, вдоль пирса; Дед, стоя на носу, отталкивается шестом; кливер и стаксель, хлопнув последний раз, выгибаются и

встают неподвижно. Кирилл слегка поворачивает под ветер штурвал, нос идет все быстрее, «Капитан Грант» неохотно отрывает от пирса корму. Натянулись все паруса. Накренившись, кораблик набирает ход.

— Прямо руль...

— Есть прямо руль...

Начинает журчать, потом шумно вскипает струя за кормой. Через тросы, через твердые шпаги штурвала передается рукам елё заметная и чуть щекочущая вибрация руля...

А ветер, налетая сбоку, откидывает волосы и бьет в щеку водяной пылью...

Честное слово, Кирилл все это знал и чувствовал раньше, чем испытал на самом деле!

«Капитана Гранта» увезли в Ольховку на берег Андреевского озера (Дед попросил на заводе МАЗ и автокран). В Ольховке, у самой воды, жил отставной егерь, давний приятель Дедовой семьи. Если бы не это, пожалуй, не стоило бы браться за постройку: ведь не оставишь парусник на берегу без всякого присмотра. А тут все получилось замечательно: «Капитан Грант» встал у мостков рядом с рыбачьими лодками, как раз напротив окон егерской избушки.

Деревенские ребята сбежались поглазеть на корабль, будто приплывший из романа «Робинзон Крузо». Хорошие оказались ребята. Они помогли спустить «Капитана Гранта» и пообещали охранять его не хуже егеря, если им разрешат нырять с палубы и покатают. Дед разрешил и обещал покатать. После ходовых испытаний...

Затем все было в точности как в тех снах, которые видел Кирилл. Ветер дул вдоль пирса. Поставили паруса...

— Можно мне? — жалобно сказал Кирилл. — Можно, Дед? Я знаю, как...

— Ну, давай, — сказал Дед.

...Потом наступил месяц плаваний. Экипаж постигал хитрости парусной науки. У Деда были права командира шлюпки (он раньше занимался в спортклубе ДОСААФ), но и он с такими парусами имел дело впервые. А остальные до этого плавали только на весельных лодках. Но время шло, к матросам приходило умение. Все реже «Капитан Грант» зависал носом к ветру на повороте оверштаг. Митька-Маус научился лихо выносить на ветер стаксель, помогая судну лечь на новый галс. Валерка освоил работу на бизани — маленьком кормовом парусе, который очень

важен для маневренности корабля. Стал послушен ребятам тяжелый парус — грот...

Сначала ходили вдоль берегов и не решались ставить верхние паруса. Потом осмелели и стали чертить озеро вдоль и поперек, не убирая топсель и летучий кливер даже при четырех баллах...

У штурвала стояли все по очереди. Но Кирилл стоял чаще других. Он не лез без спросу и безропотно уступал место, если кто-то просил, но при первой возможности опять хватался за рукояти рулевого колеса. А если такой возможности долго не было, он смотрел так жалобно, что Дед говорил:

— Не мучайте вы человека, пустите к рулю. Сохнет ведь...

Ребята добродушно смеялись и пускали. А потом уже и не смеялись...

«Капитан Грант» был в меру послушен и в меру капризен. Но Кирилл знал, когда и как закапризничает корабль. Он научился угадывать каждый его рывок, каждое шевеление. Знал, что можно требовать от «Капитана Гранта», а чего нельзя. Он чувствовал его, как живого.

Бывали моменты полного торжества, когда при хорошем ветре, кренясь и вздрагивая, «Капитан Грант» набирал скорость и делался послушен самому маленькому шевелению пальцев Кирилла. Тогда Кирилл сливался с парусником в одно существо. Нервы его будто врастали в штуртросы и натянутые шкоты. И словно по нему самому, а не по черной лаковой обшивке била тугая вода...

Наверно, так скрипач сливается со скрипкой, когда музыка захлестывает его целиком, когда он сам становится музыкой.

Кирилл никогда не пел, стоя за штурвалом, но внутри у него все пело...

Иногда Кирилл «испытывал нервы» у экипажа. На полном ходу он мчался к дощатому пирсу, грозя разнести его в щепки, и лишь у самого причала делал поворот. Паруса тяжело опадали, а «Капитан Грант» мягко подкатывал к мосткам округлым черным бортом с белой полосой.

Несколько раз Валерка и Алик не выдерживали и хватались за штурвал, чтобы отвернуть пораньше. Кирилл злился, а раз даже саданул Валерку локтем: что за манера лезть под руку рулевому! Валерка, к счастью, не обиделся, но Дед сказал:

— Грохнешь ты нас однажды, Кир.

— Не грохнет, — заступился Саня. — Он знает. А тренироваться на таких поворотах надо. Может быть, пригодится.

Потом в самом деле пригодилось.

## Глава 7

От Кирилла Женя Черепанова сразу же отправилась в школу, чтобы сообщить, как выполнено задание. Или, вернее, не выполнено, потому что родителей Кирилла она не застала. И хорошо, что не застала. Что она могла им сказать? И как потом смотрела бы на Кирилла?

А с Кириллом разговор получился какой-то странный... и хороший. Вроде бы сердитый, а все равно хороший. И кажется, Кирилл не обиделся на нее всерьез. Значит, понял, что она не по своей воле...

А не все ли равно ей, Женьке, понял он или нет? Очень обиделся или не очень? Он же ей совершенно безразличен. Подумаешь, Кирилл Векшин! И насчет третьего класса она наврала. Почти... Мало ли что бывает в раннем детстве!

Она про него и не думала раньше. Вернее, думала очень просто: «Этот Векшин такой скромный и покладистый». А потом, сегодня: «Этот Векшин стал такой нахальный...»

А он не тихий и не нахальный. Оказывается, он гордый.

Ну, что же, она тоже гордая...

Женя знала, что Еву Петровну следует искать в биологическом кабинете, и поднялась на второй этаж. Школа теперь немного напоминала детский сад. Пестрая, скинувшая форму малышня из продленки мельтешила в коридоре. С лестничной площадки ее успокаивала трубным голосом старший воспитатель Тамара Гавриловна. Но в закутке, где находилась дверь кабинета, было тихо.

Женя поежилась перед дверью. Биологический кабинет она не любила, хотя в нем всегда было светло и зелено. Не любила за многочисленные черепа, которые скалились с витрин. Звериные и человечьи. Особенно неприятной была витрина с шеренгой черепов, которые показывали происхождение человека: череп обезьяны, питекантропа, синантропа и так далее — до современного. И хотя черепа были гипсовые, добродушные и с неизменными самокрутками в желтых зубах (как самокрутки попадали в наглухо завинченную витрину, было многолетней школьной тайной), Женька все равно старалась на них не смотреть.

А через верхнее стекло высокого шкафа улыбался скелет. Он будто говорил Женьке Черепановой: «Они гипсовые, но я-то настоящий. Гы-ы...» Он как бы намекал на ее отдаленное будущее...

Женя проскочила кабинет и оказалась перед закрытой дверью лаборантской комнаты. Ева Петровна обычно сидела там. Женька хотела постучать и в этот момент услышала голоса: один незнакомый мужской, другой — Евы Петровны.

Мужчина говорил быстро и почти весело. А может быть, нервно. В голосе у Евы Петровны звучала вежливо замаскированная досада.

— ...Я уже поняла. Вы и директору сказали то же самое.

— И могу повторить, — так же весело откликнулся мужчина.

— Не надо, — сказала Ева Петровна. — Мне все понятно. Но я на вашем месте смотрела бы на вещи не так. Гораздо проще. И случись это с моим сыном, я бы ему...

— Я вас понял, — перебил мужчина. — Хотя, честно говоря, мне это странно слышать от учителя. Я ни разу в жизни сына пальцем не трогал. И, уверен, впредь никогда не трону. Подло это. Если я Кирилла ударю, мы же потом всю жизнь будем глаза прятать друг от друга.

«Отец Кирилла!» — поняла Женька. Можно было, пожалуй, уходить, но она словно приклеилась к месту.

— Вы все же меня не так поняли! — заявила Ева Петровна.

— Неужели? Очень хорошо, если не так. А как я должен был понять?

— Я хотела сказать... ну, одним словом, если ученик виноват, родители вместе со школой должны воздействовать...

— Да, но в чем все-таки виноват? Не могу же я всерьез принять этот бред насчет кошелька! Простите... Виноват, что не дал себя обыскать? Мне жаль тех ребят, которые дали... Виноват в том, что не хочет петь из-под палки?

— Мы готовим хор к районному фестивалю, а ваш сын совершенно не думает о чести школы!

Женька услышала шаги, словно человек быстро ходил из угла в угол.

— О чести? — спросил он. — О чести... А вам не кажется, что честь начинается с любви?

— Простите... с чего? — пролепетала Ева Петровна, а Женькины щеки почему-то стали теплыми.

— С любви, уважаемая Ева Петровна. Не пугайтесь, объясню. Человек болеет за честь того, что ему дорого, что он любит. Я вот на своем заводе с ученика начинал, там меня человеком сделали, там у меня друзья, и я за честь завода — руками, ногами и зубами... А есть у нас на заводе случайные люди: им бы отработать смену — и домой. Работают неплохо, ну а дальше какой с них спрос?

— Так что же получается? Вы хотите сказать, что ваш сын — случайный человек в школе? Он здесь с первого класса...

Отец Кирилла вздохнул и, видимо, сел — скрипнул стул.

— Случайных детей в школе быть не может, Ева Петровна... Другое дело некоторые взрослые. Встречаются такие, что все у них на окрике. Не набрал макулатуры — запись в дневник, не пришел на сбор — двойка, пробежал по коридору — хвать за воротник... Вот сейчас по школе шел, а какая-то дама, весьма почтенная, кричит на первоклашек так, что окна, простите, вот-вот лопнут... Ну, зачем она пошла в учителя?

— Я знаю, о ком вы говорите... Кстати, она очень неплохой учитель, с опытом. Но случаются и у педагогов срывы. Одно дело — красивые слова, а другое — ежедневная работа. И когда кругом тысяча человек, бывает порой не до тонкой педагогики. Приходится проявлять прямую и жесткую требовательность. И долг родителей внушить детям, что обижаться на нее не следует.

— А они и не обижаются на требовательность... Возьмите Веру Сергеевну. Такая учительница, что требовательнее не бывает. А ребята на нее чуть не молятся. Почему?

— Ребятам всегда нравится, если учитель говорит им «вы»...

— Она не только говорит им «вы». Она к ним относится «на вы», — вздохнул отец Кирилла. — И требовательность ее не в том, чтобы мальчик не перечил ей, а чтобы он учился... Когда Кирилл лежал с воспалением, Вера Сергеевна несколько раз приходила к нам, давала задания, следила, чтобы не отстал. А казалось бы, что ей какой-то Векшин? Один из сотен, даже не из ее класса...

— Так... — медленно сказала Ева Петровна. — Ну что же, я принимаю ваш упрек. Я действительно не собралась тогда навестить Кирилла...

— Да нет здесь упрека. Разве об этом речь...

— Не все обладают опытом и талантом Веры Сергеевны.

— Дело не только в опыте. Помните молодого исто-

рика, Дмитрия Ивановича? Год всего и поработал, а ребята за ним по пятам ходили. На вокзал толпой отправились, когда он в армию уезжал... Опыт опытом, а еще и душа...

— Ну что же... Остается сделать вывод, что мы здесь, за редкими исключениями, работаем без души. Почему бы вам не избавить сына от этой «бездушной атмосферы» и не перевести в другую школу?

Отец Кирилла с усмешкой ответил:

— Вы так сказали, будто меня к стенке пригвоздили. Видимо, при таких словах многие родители восклицают: «Нет, мы совсем так не думаем, мы совсем не хотели...» Я извиняться не буду. И Кирилла переводить в другую школу не стану. Я ему особой жизни не хочу. Его переведешь, а здесь-то все равно ничего не изменится, в этой школе.

— Кстати, одной из лучших в районе...

— Ну что ж... Одной из лучших. Первое место займете на фестивале — станете еще лучше. Никто ведь не спросит, сколько человек в хоре пели с радостью, а сколько под угрозой двойки.

— Я вижу, мы с вами не нашли пока общего языка, — со сдержанной печалью произнесла Ева Петровна. — Жаль. Всего доброго.

— До свидания.

Женя отпрыгнула от двери и сделала вид, что сию минуту вошла в кабинет. Из лаборантской вышел невысокий кругловатый мужчина, совершенно непохожий на худого, тонколицего Кирилла. Он рассеянно кивнул пробормотавшей «здрасьте» Женьке и скрылся за дверью. Появилась Ева Петровна. Лицо у нее было такое, словно она узнала, что ее класс уступил седьмому «А» первенство по сбору металлолома.

— Ева Петровна, я...

— Не надо. Я уже поговорила. Возьми в лаборантской портфель Векшина и отнеси ему домой.

Ева Петровна села за стол и, глядя мимо Жени, стала похлопывать ладонью по лакированной крышке.

— Ты слышала, что я сказала про портфель?

Женя влетела в лаборантскую. Обшарпанный портфель Кирилла стоял на подоконнике и ехидно поблескивал замком. Женя взяла его и опять вышла в кабинет. Встретилась глазами с Евой Петровной. Та отвела взгляд и неожиданно произнесла:

— По крайней мере, ясно теперь, откуда у Векшина такие замашки...

— Какие? — неосторожно спросила Женька.

— Ступай, — резко сказала Ева Петровна. Потом добавила помягче: — Маме я позвоню, что ты задержалась из-за меня.

...Женя шла из школы, сердито помахивая портфелем. Она даже не думала, что обтрепанный мальчишечий портфель совсем не подходит к ее модному платьицу. Она была недовольна классной руководительницей. Если та поругалась с отцом Кирилла, при чем здесь она, Женя? Зачем на нее покрикивать?

На улице Мичурина Женя увидела мальчишку-велосипедиста. Он мчался, низко пригнувшись к рулю, и светлые волосы отлетали назад. Женя не сразу узнала Кирилла — он был уже без школьной формы. Узнала, когда Кирилл лихо, с шумом затормозил в двух шагах от нее.

— Женька, — сказал он, тяжело дыша. — Слушай. Есть дело...

Она широко открыла глаза и чуть не заулыбалась. Ей так понравилось, что Кирилл назвал ее по имени. Пускай Женька, а не Женя, но все-таки не Черепанова.

— А я вот... портфель тебе... Ева...

— Да плевать на портфель! Слушай...

У него было побледневшее лицо с мелкими капельками на переносице.

Тогда, дома, Кирилл не сказал Женьке всей правды про разговор с мамой. Конечно, в разговоре были слова и о молоке, и о соске, но это уже потом. А сначала Кирилл разревелся. Разревелся сразу же, как только мама удивленно спросила:

— Кирюша, ты почему без портфеля?

Стеклянная стенка лопнула наконец, и ничего уже нельзя было сделать. Кирилл прислонился лбом к косяку.

Он минут десять не мог успокоиться. Начнет рассказывать, а слезы прорываются опять. Мама даже перепугалась. И когда наконец Кирилл взял себя в руки и кое-как объяснил, что случилось в школе, мама сказала:

— Посиди-ка дома, я сама на кухню схожу. А заодно позвоню отцу.

Кирилл понял, что мама за него просто-напросто боится. Думает, что он опять поедет на велосипеде и, такой нервный, раздерганный, где-нибудь угодит под машину. Мама не знала, что у велосипеда проколота камера.

— Да схожу я. Пешком схожу, — сказал он и неожиданно опять всхлипнул.

— Ну, хватит, хватит, — встревоженно сказала мама. — Большой уже, семиклассник...

Кирилл сердито шмыгнул носом. Семиклассником он себя пока не чувствовал. Двух недель еще не проучился в седьмом и даже на тетрадках писал иногда по привычке: 6 «В».

— Не блестяще начинается учебный год, — заметила мама, укладывая в сумку звякающие молочные бутылочки.

Кирилл сразу вскинулся:

— Я, по-твоему, виноват, да?

— Не шуми, — сказала мама. — Антошку разбудишь... Не забудь, пожалуйста, выключить плиту, там молоко. Если будешь давать соску, ополосни хорошенько кипяченой водой.

...Она вернулась почти сразу после ухода Женьки. Убаюканный Антошка все еще спал, хотя пора было просыпаться и требовать есть.

— Какой дисциплинированный. Не то что старший братец, — сказала мама, но не сердито, а так, между прочим.

Кирилл глянул выжидательно. Потом спросил:

— А папа... Ты ему позвонила?

— Позвонила.

— А он что?

— Он сказал: «О боже, только этого мне не хватало в первый день». И кажется, поехал с работы разбираться в твоих грехах.

— Нет у меня никаких грехов, — сумрачно сказал Кирилл.

— У каждого человека есть грехи, — наставительно произнесла мама.

— А у меня нет. Я даже молоко снял с плиты вовремя... Мам, можно я покатаюсь теперь? Мне надо проверить колесо.

— А уроки? — привычно спросила мама.

— У нас завтра два труда. Их даже не будет, потому что учитель болеет. Потом зоология и немецкий. По немецкому я еще вчера сделал.

— А зоологию?

— Учебник-то в портфеле... — тихо сказал Кирилл. — Да ладно, я завтра в школе у кого-нибудь прочитаю.

...Через несколько минут он тащил вниз по лестнице велосипед. «Скиф» тихо позванивал: как хорошо, что на улице все еще лето!

Кирилл опять был босиком, в шортах и майке. Шорты — старенькие, с каплями масляной краски и заплаткой у кармана, а майка — новая. Отцовский подарок...

От подъезда разбегались через газоны узкие асфальтовые ленты. Кирилл покатил по правой — мимо гаражей и котельной.

В промежутке между котельной и последним гаражом на бетонных плитах, оставшихся от строительства, собралась компания Дыбы.

Дыба возлежал на плите, как турецкий паша на диване. Голову положил на живот покорному малолетнему ординарцу Вовке Стеклову. «Подданные» расположились по сторонам. На пузе Дыба держал транзисторный телевизор, совсем маленький. Кирилл таких никогда не видел. На экранчике что-то мелькало, слышалась музыка. Это было любопытно, и Кирилл, проезжая, загляделся. А заглядевшись, угодил в угольную кучу: сначала колесом, потом коленями и левым локтем.

Компания услышала звон. Парни оглянулись и заржали. Дыба лениво приподнял голову. Увидел Кирилла и сказал подданным:

— Цыц.

Потом он передал побледневшему от ответственности Вовке Стеклову телевизор и спустился к Кириллу.

— Привет, Кирюха. Крепко вделался?

«Чего это он такой заботливый?» — подумал Кирилл. И небрежно сказал:

— Чепуха. Слегка колупнулся.

— Майку не испортил? Ну и лады... Модерновая маечка... Из загранки?

Кирилл решил было наплести, что майку привез из Гибралтара знакомый штурман, однако сдержался. Шутить с Дыбой не хотелось. Это была личность лет шестнадцати, с ковбойско-уголовными замашками и сомнительной репутацией. Кирилл знал, что за его компанией водятся кое-какие темные дела. Да и все это знали. Впрочем, в своем дворе Дыба вел себя спокойно, никого из ребят не задевал и даже при случае мог заступиться...

— Из Риги, — ответил Кирилл и крутнул переднее колесо, проверяя, нет ли «восьмерки».

Дыба деликатно пощупал майку.

— Современная вещица. Продашь?

Кирилл удивленно поднял глаза.

— Ты, Дыба, спятил? — сдержанно сказал он. — Мне

отец подарил. Он говорит, чуть не час в очереди стоял, там они тоже нарасхват.

Дыба не рассердился. Даже улыбнулся. У него было странное пятиугольное лицо: от узкого лба оно расходилось к широким щекам, а внизу был тупой треугольный подбородок. При улыбке такое лицо казалось добродушным.

— Я же не за так, — объяснил Дыба. — Я же понимаю. Она стоит небось трояк, а я семь рубликов дам. Годится?

— Не годится. Она мне самому нравится.

Подошла компания: трое полузнакомых парней, чуть постарше Кирилла, и Вовка с телевизором. На экране лихо бренчали три гитариста в сомбреро, но на них никто не смотрел. Смотрели на Кирилла и Дыбу, слушали их разговор: Дыбины слова почтительно, а Кирилла — со сдержанным осуждением.

— Я понимаю, что она тебе нравится, — терпеливо сказал Дыба. — А мне тоже нравится. Потому и цену даю. Хочешь девять рэ?

— Да ну тебя... Мне дома-то что скажут, — буркнул Кирилл и поставил ногу на педаль. Но велосипед придерживали за багажник.

— Ты обожди. Может, подумаешь? — все еще улыбаясь, произнес Дыба.

— Дома скажи, что купался, а майку украли, — предложил глазастый парнишка, по кличке Совушка.

— Кто же сейчас купается? — усмехнулся Кирилл.

— Я вчера купался! — торопливо заговорил Вовка Стеклов. — Вода совсем...

— Цыц, — опять приказал Дыба. — Ну, как, Кирюха? Соглашайся. Тебе что, деньги лишние?

— А зачем они мне? — спросил Кирилл.

Компания вежливо засмеялась. Видимо, приняла вопрос за удачную шутку.

— Да на тебя эта майка и не налезет, — сказал Кирилл.

Компания заржала. На этот раз смех был совсем другой, и Кирилл понял, что его считают дураком. В самом деле, мог бы догадаться, что майка нужна Дыбе не для себя, а для какой-нибудь махинации. Для «оборота».

— Нет, Дыба, — решительно сказал Кирилл. — Я подарки не продаю... Ну-ка отцепитесь там, я поехал.

— Да ты постой, — с досадой проговорил Дыба. — Давай обсудим. Хочешь, я еще рубль добавлю? Вот гляди:

три трояка и новый целковый. Олимпийский! За него двух бумажных не жалко! Мечта коллекционера.

Он протянул растопыренную ладонь с деньгами. Два его приятеля — Димка Обух и Козочка — стукнулись лбами, стараясь поближе разглядеть блестящий рубль.

— Где взял, Дыба? — завистливо спросил Обух.

— Где надо... Не лапай. Долг получил. Чирок наконец отдал. Я из него, паразита, целый месяц долги выколачивал. Важны не деньги, а принцип.

— Какой Чирок? — удивленно спросил Кирилл.

— Не знаешь, что ли? Он вроде в вашей школе учится. Плюгавенький такой.

— Петька Чирков?

Дыба пожал плечами.

— Этот самый Петька, наверно. Проспорил еще в июле, а потом все от меня бегал... Ну как, сторгуемся?

— Нет, Дыба, не сторгуемся, — сказал Кирилл. — Хоть ты мне олимпийские сто рублей давай золотой монетой.

— Ну и вали, — разочарованно проговорил Дыба. — Надумаешь — приходи...

Кирилл выехал мимо котельной в тихий Стрельцовский переулок, уцелевший среди нового микрорайона. В конце переулка стояла водопроводная колонка, и Кирилл хотел смыть угольную пыль, пока не въелась в кожу.

Он крутил педали и думал о странном случае с Чирком. Что общего у Чирка с Дыбой?

Петька Чирков был тихий, похожий на четвероклассника мальчишка с длинными белесыми ресницами. «Благополучный троечник», — говорила Ева Петровна. Такой он был незаметный, что про него даже забывали иногда на перекличках. Идут на экскурсию, проверяют, все ли собрались, и говорят, что все, а потом: «Ой, Чиркова нет...» Его не обижали ребята, не ругали учителя. Его никуда не выбирали. К тому же раньше была у Чиркова какая-то болезнь: в пятом классе он полгода провел в санатории.

Где Чирок мог столкнуться с «королем» Дыбой? Что он ему проспорил?? За что отдал рубль? И... где он этот рубль взял? Он же сегодня просил у Кирилла двадцатчик, говорил, что нет ни копейки!

Кирилл даже тормознул при неожиданной мысли. А потом промчался без остановки мимо колонки.

Сегодня, когда Кирилл с мальчишками проходил мимо гардероба, Чирок их окликнул:

— Не ходите к двери, там Нинушка певцов караулит. Лучше спрячьтесь, она сейчас сюда пойдет.

Сам-то он не боялся завуча: в хоре не пел. Он сидел на корточках рядом с дверью в учительскую раздевалку и шнуровал ботинок.

Благодарные беглецы проскочили мимо Чирка в тесную комнатушку с вешалками. Там висели два или три плаща. Кирилл еще подумал: «Кто в такую жару ходит в плащах?» Больше ничего подумать не успел. Распахнулась дверь, появился пожилой сердитый чертежник Александр Викентьевич, и началась заваруха...

«Ловко сработано, — с нарастающей злостью думал Кирилл и так жал на педали, что рубчатая резина врезалась в босые ступни. — Заманил в раздевалку, чтобы след от себя отвести, и смылся. И сидел потом тихонько на собрании как ни в чем не бывало! Кто подумает на такого скромного мальчика?»

А может быть, не Чирок? Ведь не в раздевалке его видели, а только рядом. Тогда рубль откуда? Ну, мало ли откуда! Вдруг он специально приберег, чтобы расплатиться с Дыбой?

Но тут Кирилл вспомнил, как Чирок сказал: «Понимаешь, позавтракать не успел, а денег ни копейки» — и с виноватой улыбкой вывернул карманы у больших, не по росту брюк. Помахал ими, как крылышками. А куртки на Чирке не было: несмотря на запрет, он пришел в школу в рубашке. Видно, знал, что на него все равно не обратят внимания.

Нет, не похоже, чтобы у Чирка был спрятан тяжелый металлический рубль.

— Ладно, Чирок, — сквозь зубы сказал Кирилл и свернул на улицу Мичурина.

Заплатит Кириллу Чирок за все его слезы...

Кирилл убавил скорость и начал торопливо соображать. Во-первых, надо узнать, где Чирок живет. Кирилл у него ни разу не был. Во-вторых, нужно будет приехать к Чирку, взять его за шиворот и заставить признаться! Куда он денется? В-третьих, придется притащить Чирка в школу, пусть отдаст деньги и расскажет всем, как было. Интересно, как Ева Петровна будет после этого смотреть на Кирилла? А впрочем, наверно, и не покраснеет. Небось еще скажет: «Ты, Векшин, сам виноват, потому что вел себя вызывающе». Ну и наплевать! Главное, что победит справедливость.

Но одному Кириллу с Чирком, пожалуй, не справиться. По крайней мере, в школу не утащить. Надо помощников. Лучше всего тех, кого вместе с Кириллом задержали в раз-

девалке. У них к Чирку тоже счет имеется, и, может быть, побольше, чем у Кирилла. Потому что не у всех такие родители, как у Векшина. Серегу Коробова папаша сперва огреет чем-нибудь, а потом пойдет в школу разбираться (а когда вернется, еще всыплет).

Но Серега — парень не очень решительный. Димка Сушко — тот с разными знакомствами на стороне, у него, кажется, контакт с Дыбой. Не будет он трогать Чирка, если дело хоть как-то Дыбы касается. Валерка Самойлов — это да! Но он, наверно, умотал во Дворец спорта к своим фехтовальщикам...

Все же Кирилл решил заскочить к Валерке. И, едва проехав полквартала, увидел Черепанову. Женька шла и махала его, Кирилла, портфелем.

«А что? — подумал Кирилл. — Ну и пускай, что девчонка. Зато начальство. Это даже ее обязанность — разбирать такие дела. А драться Чирок все равно не станет...»

В этом будет справедливость: сперва Черепанова приходила, чтобы наябедничать родителям, а теперь пусть увидит, что Кирилл не виноват. И сама пусть объяснит своей милой Еве Петровне...

Женька выслушала злой рассказ Кирилла, уронила портфель и взялась растопыренными ладошками за щеки. Длинные глаза ее сделались почти круглыми, рот тоже стал похож на букву «О».

— О-ой, какой ужас... Кто бы мог подумать...

Она так моментально поверила Кириллу, что он сказал:

— Ты подожди, надо еще проверить.

— Конечно, надо! Но я уверена, что это он, раз ты говоришь.

— Ты знаешь, где он живет?

— Н-нет. Не помню. Но у мамы есть список с адресами, она же член родительского комитета.

— Узнай — и сразу ко мне. Я пока портфель отвезу.

— Нет, давай вместе зайдем к нам. А то меня мама не выпустит. Скажет: режим, занятия... Давай, а? — Она жалобно взглянула на Кирилла.

— Придумала! Я так и буду таскаться с портфелем?

— Оставим у меня, потом заберешь. Пошли!

— Да не пойду я, — смущенно сказал Кирилл и шевельнул пальцами босых ног. — Вид у меня совсем не для гостей.

— Ну что за глупости! Ты же не девочка, чтобы наряжаться. И ты не в гости, а по делу... Пойдем, а то меня не пустят.

— А велосипед куда?

— Поставишь под окно. Мы же на первом этаже, а окна в садик выходят. Пошли!

Женькина мама посмотрела на Кирилла слегка удивленно, однако в ответ на его робкое «здравствуйте» милостиво качнула прической.

— Здравствуй, проходи. Тебя, кажется, Кириллом, зовут? Да, я помню. Ты в прошлом году так удачно пел на концерте....

Кирилл затоптался на мягком ковре и зыркнул на Женьку: «Не копайся».

Женька ускользнула в другую комнату, а мама подозрительно глянула вслед. И опять обратилась к Кириллу:

— Проходи и садись. Не стесняйся.

— Мы на минуточку, — пробормотал Кирилл.

— Никаких минуточек, — решительно сказала старшая Черепанова. — Сначала чай... Женя! — она взглянула на вернувшуюся дочь. — Почему вы только на минуточку? У тебя распорядок, и ты дала мне слово...

— У нас общественная работа, — поспешно сказала Женька. — Мы едем к одному мальчику, надо выяснить... одно обстоятельство...

Женькина мама снова покачала высокой бронзовой прической — на этот раз недовольно.

— Ох, эта работа... Я уже говорила Еве Петровне: нельзя иметь столько нагрузок. Если бы Женечка не была третий год председателем, я давно перевела бы ее в английскую спецшколу. Но куда денешься, если говорят про долг перед коллективом.

Женька слегка покраснела и умоляюще посмотрела на Кирилла. Она-то сразу поняла, сколько теперь у Кирилла возможностей позлословить. Кирилл великодушно отвел глаза.

Женькина мама заявила, что никакая работа не пострадает, если дети выпьют чаю. И потребовала, чтобы Кирилл вымыл руки и сел к столу. Руки он вымыл очень торопливо, а за стол сел с облегчением: можно было спрятать под скатерть пыльные ступни и черные от угольной крошки колени.

Вишневая скатерть была с тяжелой бахромой. Бахрома щекотала ноги, и Кирилл старался не двигаться, пока Женькина мама расстилала клеенку и расставляла чашки. Он лишь водил глазами, оглядывая комнату.

Бахрома была не только у скатерти. Она почему-то везде виднелась: у ковра над диваном, на малиновых портьерах, на темно-розовом платке, наброшенном на торшер. Даже на рукавах и подоле халата Женькиной мамы. Халат был черно-красный с индейским узором.

Женькина мама принесла чайники, варенье и вафли, И началось мучение. Надо было глотать чай, интеллигентно орудовать тонкой ложечкой и терпеливо отвечать на вопросы.

Первый вопрос был, где работает папа.

«Можно бы и помнить, если ты член родительского комитета», — подумал Кирилл и вежливо сообщил, что папа работал на Сельмаше в сборочном цехе, а недавно перешел на другую должность... Куда и кем, не стал уточнять.

— А мама?

— Мама — портниха. Бригадир. Сейчас пока не работает, у меня брат маленький.

— И ты, наверно, помогаешь маме?

— Помогаю, — со старательно-скромной улыбкой ответил Кирилл и мысленно проклял всех Черепановых до седьмого колена.

Женькина мама благосклонно улыбнулась. У нее было красивое лицо, но что-то в нем казалось ненастоящим.

Кирилл видел Женькину маму и раньше, но это бывало в классе, и там, издалека, лицо ее выглядело очень молодым. А сейчас Кирилл вспомнил старинное блюдо, он его любил разглядывать, когда гостил у бабушки в Тюмени. Там на фаянсе был нарисован синий дворец, олени и лебеди. Издали блюдо как новенькое, а когда подойдешь вплотную, на блестящей поверхности видна сетка мельчайших трещин. Так же и лицо старшей Черепановой: сквозь тонкий крем и подрисовку проглядывали морщинки и утомление. Вернее, даже не утомление, а какое-то недовольство.

— А как у вас в этом году с самодеятельностью?

«Ну что тебе от меня надо?» — тоскливо подумал Кирилл, и в это время в прихожей спасительно затрезвонил телефон. Женькина мама выплыла из комнаты.

Женька смотрела понимающе и виновато.

— Давай сматываться, — полушепотом потребовал Кирилл. — Узнала адрес?

— Северная улица, дом шесть. Номера квартиры нет почему-то.

— Какие на Северной квартиры! Там домишки. Пошли.

— Нельзя, пока мама не отпустит.

— Чтоб вас...

От огорчения Кирилл до пальцев погрузил в варенье вафлю и начал торопливо жевать. Потом еще раз оглядел, увидел большое зеркало, а в зеркале себя.

Да, не похож он был на благовоспитанного гостя. Сбившаяся майка, растрепанные волосы, следы угольной пыли на узком толстогубом лице, облупленная переносица, варенье на подбородке. Черт его дернул сюда прийти...

За дверью слышался приглушенный и, видимо, взволнованный голос старшей Черепановой. Потом звякнула на рычагах трубка, и Женькина мама возникла в комнате. У нее был какой-то замороженный взгляд.

— Странно, — сказала она, глядя мимо Кирилла. — Евгения, что за дикая история у вас в школе? Какой-то кошелек... И Ева Петровна подозревает, что здесь замешан Векшин... Неужели это возможно, Кирилл?

Лучше всего было прыгнуть в седло прямо из окна и потом навсегда забыть об этом доме.

Кирилл не двинулся, только сжал тонкую ложечку так, что она слегка согнулась. Уши у него начали пылать (хорошо, что под волосами не видно). Щекочущая бахрома, обильно украшавшая комнату, вдруг показалась ядовитой, как мохнатая оторочка жгучих медуз, с которыми Кирилл познакомился прошлым летом на Черном море.

— Да что ты, мама! — с отчаянием воскликнула Женька. — Ну при чем здесь он? Ева Петровна ничего не знает!

— Как ты можешь так говорить про свою учительницу!

— Потому что она не знает! А мы знаем! Мы как раз сейчас должны выяснить!

Кирилл встал.

— Спасибо за чай, — сказал он. — До свидания. Черепанова, я подожду тебя на улице. Если пойдешь...

Уводя из-под окна велосипед, он услышал громкие голоса: отчаянно-слезливый Женькин и деревянно-справедливый ее мамы. Слов было не разобрать, они перепутывались друг с другом. Потом до Кирилла донеслась фраза:

— По крайней мере, надень спортивный костюм, чтобы не очень отличаться от своего... босоногого кавалера.

Через минуту из подъезда выскочила Женька в синем тренировочном костюме. Она рывком выволокла за собой девчоночий велосипед-«подросток». На Кирилла она не смотрела, была красная, с мокрыми глазами.

«А жизнь у нее не сладкая», — вдруг подумал Кирилл. И хмуро спросил:

— Ты ездить-то умеешь?

Женька сердито тряхнула волосами:

— Ты думаешь, я совсем такая... комнатное растение?

— Поехали, — сказал Кирилл.

## Глава 8

Северная улица лежит за стадионом, недалеко от оврага. Овраг в этом месте неглубокий, берега его пологие. Зимой они исчерчены лыжными трассами, а летом и осенью по склонам вьются среди зелени тропинки. Внизу журчит речка Туринка, похожая на обычный ручей...

Кирилл и Женька ехали рядом по узкой дороге между оврагом и решетчатым забором стадиона. Было тихо и тепло. Навстречу летели паутинки и семена, похожие на шелковистых пауков.

За решеткой стадиона, как разноцветные бабочки, мелькали майки футболистов. Настоящая коричневая бабочка попалась навстречу, изменила полет и зачем-то погналась за Женькой, но тут же отстала.

«Поздняя, запоздалая», — мельком подумал Кирилл про бабочку. И внимательно посмотрел на Женьку. Может быть, бабочка приняла ее голову за цветок? Нет, не похоже.

Женька в эту секунду тоже посмотрела на Кирилла, встретилась с ним глазами и смутилась.

— Ты на мою маму не обижайся, ладно? — попросила она.

— Чего мне обижаться... — холодно сказал Кирилл.

— Понимаешь, она так привыкла: если учительница сказала, никаких не может быть ошибок.

— Ты, по-моему, тоже к этому привыкла, — сказал Кирилл и вильнул колесом, объезжая разбитую бутылку.

— Да нет, ты не думай...

— Я об этом и не думаю, — перебил Кирилл. — Я думаю о Чирке.

— Какой негодяй, верно? — подхватила Женька. — И сидел тихонечко, будто ни при чем!

Кирилл поморщился. Женькина слишком старательная поддержка была неприятна и почему-то его тревожила.

— Подожди радоваться, еще не выяснили. У тебя все быстро: сперва — я негодяй, потом — Чирок...

— Да я про тебя никогда не говорила!

— Зато думала.

— Да не думала ничуть! Честное пионерское!

— Ну, хоть за это спасибо, — буркнул Кирилл и с недовольством спросил себя: «Зачем я с ней так?»

В это время кончился стадион, потянулись домики с огородами, а потом дорога свернула налево. Это и была улица Северная.

— Дом шесть, — сказала Женька. — Кажется, вон тот, с палисадником... Ой, а там не Чирков?

У калитки возился с большим велосипедом мальчишка в подвернутых джинсах и клетчатой рубашке. Приподняв плечом раму, он прокручивал заднее колесо.

— Точно — Чирок! — обрадовался Кирилл. — Везет нам.

— А что мы сперва ему скажем?

— Видно будет. Поехали скорее.

В это время Чирок поставил велосипед, лихо толкнулся двумя ногами и прыгнул в седло.

«Здорово», — отметил про себя Кирилл. И услыхал грозный Женькин окрик:

— Чирков! А ну стой! Хуже будет!

«Вот дура!» — подумал Кирилл и крикнул:

— С ума сошла! Он же нас обставит на своих колесах!

В том, что Чирок ударится в бега, Кирилл почему-то ни капельки не сомневался. И точно: Чирок оглянулся, наклонился к рулю и налег на педали. Сразу взял скорость.

— Подожди! — безнадежно крикнул Кирилл.

Чирок свернул на дорожку между огородами.

— Жмем, — сказал Кирилл и мельком посмотрел на Женьку.

Женька не отставала. В ней, видно, разгорелся ковбойский азарт погони. С прикушенной нижней губой, с прищуренными глазами она была похожа на решительного красивого мальчишку.

«Молодец», — успел сказать взглядом Кирилл и опять прицельно глянул на Чирка. Тот мчался метров за тридцать впереди. Видимо, у него была хорошая машина. Другой, побольше Чирка, пожалуй, ушел бы от погони, но маленький Чирок с трудом доставал педали, елозил на седле и полной скорости выжать не мог.

Однако и так летели они все трое, будто на гонках. Росший вдоль плетней репейник хлестко лупил по ногам и колесам — спицы отзывались звенящим треском.

Кирилл больше не кричал. Ясно было, что Чирок здорово напуган и не остановится, пока есть силы. Он вырвался на лужайку и с резким креном повернул направо.

Кирилл и Женька тоже повернули так лихо, что занесло задние колеса.

Переулок вел к оврагу. Чирок, не сбавляя скорости, несся к откосу. «Значит, есть спуск, — подумал Кирилл. — В тупик ты бы не поехал... Ладно, видали мы и спуски на откосах. Не уйдешь, красавчик...»

На самом краю берега Чирок сделал рывок влево и скрылся из глаз. Но не сразу, а плавно. Значит, съехал. И в самом деле: по зеленому склону наискосок тянулась к ручью тропинка. Чирок мчался по ней без тормозов. Что ни говори, а ездил он отлично.

Кирилл кинулся следом и услышал, что Женька не отстает. Лишь бы не грохнулась! Оглянуться Кирилл не мог, но каждый миг боялся услышать сзади дребезжащий звон падения. Нет, Женька держалась. И они мчались так, что летящая навстречу трава сливалась в зеленые полосы.

Это было похоже на кино про погоню!

Чирок съехал и без остановки проскочил узкий, в две доски, мостик через Туринку. За мостиком тропинка поворачивала вправо, вдоль ручья.

Кирилл пустился на риск. Он не знал, какая здесь глубина, какое дно, и все же рванул направо руль и по склону ринулся к воде напрямик.

Велосипед врезался в воду — она крыльями разлетелась из-под колес, потом забурлила у колен, дошла почти до седла... Разгон был сильный. «Скиф» хотя и потерял скорость, но пересек почти всю Туринку. Лишь в метре от берега переднее колесо увязло, и Кирилл соскочил. Он выволок велосипед на сушу и бросил поперек тропинки, в нескольких шагах от подлетевшего Чирка. Тот отчаянно затормозил. Следом за ним примчалась Женька, которая удачно проскочила мостик.

— Приехали? — спросила Женька у Чирка. — Или еще погоняемся?

Чирок быстро оглянулся на нее. Потом посмотрел на Кирилла. Зло и безнадежно. Он часто мигал, и длинные белые ресницы его растерянно метались.

— Ну, чего надо? — сказал он сердито. Но в этой сердитости звенела слезинка. Он понимал уже, «чего надо», Кирилл это видел.

Женька положила велосипед, обошла Чирка и встала рядом с Кириллом. Чирок коротко глянул назад: свободна ли дорога?

— Не надо, Чирок, — сказал Кирилл спокойно и даже

устало. Он так запыхался, что злости уже не чувствовал. — Куда ты убежишь? За границу, что ли?

Тогда Чирок выпустил руль, скрестил руки, взял себя за острые плечи. Оттолкнул боком велосипед. Старенький «ПВЗ» со звоном опрокинулся. Теперь в траве лежали все три велосипеда. У «ПВЗ» тихо крутилось переднее колесо, и лучистый зайчик прыгал со спицы на спицу.

Чирок стоял прямо, глаз не опускал, только пальцы, охватившие плечи, слегка шевелились, словно нажимали кнопки.

— А ну, говори, где кошелек, — велела Женька.

«Сейчас спросит: «Какой кошелек?» — подумал Кирилл. И Чирок правда хотел что-то спросить. Даже рот приоткрыл. Но вдруг сжал губы, а его светлые ресницы как бы ощетинились. Он бросил негромко, но резко:

— Докажите.

— Докажем, — сказал Кирилл.

— Как?

— Сходим к студентке, спросим, какие деньги были в кошельке. Олимпийские рубли не так уж часто встречаются. Она его наверняка запомнила.

У Чирка дрогнул острый подбородок.

— Какие рубли?

— Не рубли, а рубль! Который ты этому хулигану отдал! Дыбе! — крикнула Женька. — Чего еще отпираешься? Ну давай, давай, скажи, что это не тот рубль, что он твой был.

— Мой! — отчаянно сказал Чирок.

— А у меня двадцатчик просил для буфета, — сказал Кирилл.

Чирок слегка усмехнулся:

— Ну, просил. Если бы я рубль разменял, как бы я его Дыбе отдал?

«Вывернулся», — подумал Кирилл. И спросил:

— А где ты его взял?

Чирок опять замигал.

— Думай, думай скорее, — ехидно поднажала Женька. — Скажи, что он у тебя давно. Жалко было тратить такой красивый, блестящий...

— Ну и что? Ну и...

— Ну и врешь, — перебил Кирилл. — Ты бы давно его Дыбе отдал. Ты его боишься.

Чирок вдруг посмотрел на него прямо и грустно. И тихо спросил:

— А ты не боишься?

Кирилл слегка растерялся. Он не задумывался, боится ли Дыбы. Сталкиваться как врагам им не приходилось. Но в общем-то Кирилл понимал, что зря дразнить Дыбу не стоит. Если приходилось разговаривать, как сегодня, например, то Кирилл держался без почтительности, но и без нахальства: палку не перегибал. Значит, если честно говорить, побаивался.

Но тут Кирилл разозлился. На себя и на Чирка.

— Я перед тобой, Чирок, хвастаться храбростью не буду. Мало ли чего я боюсь. Я из-за этого, между прочим, подлостей не делал и перед всякими гадами не унижался.

Его перебила Женька:

— Разговор не про Векшина, а про тебя, Чирков. Вопрос — откуда рубль? Может, ты его после уроков на улице нашел? Не успел бы: тебя Дыба у самой школы ждал. Придумывай поумнее.

— А чего придумывать? Мать дала.

— Для Дыбы дала, а на буфет пожалела... — сказал Кирилл.

— Она же не знала, что для Дыбы. Она и думала, что на буфет.

— Глупо, Чирков, — сказала Женька. — Сейчас пойдем и спросим у матери. Пойдем?

— Пойдем, — хмуро ответил Чирков, но не сдвинулся с места.

— Ну, так пойдем, — повторила Женька. — Бери велосипед.

— Отстань, — сказал Чирок и отвернулся.

Они помолчали.

— Сдавайся, Петенька, — сказал Кирилл.

Чирок опустил голову, но Кирилл успел заметить на его щеке злую слезинку. Потом Чирок мотнул головой — так сильно, что слезинка сорвалась и сверкнула на лету искоркой. Он исподлобья глянул на Кирилла, потом тяжело поднял велосипед.

— Ладно, пошли. Чего стоите?

— Куда? — слегка растерялся Кирилл.

Чирок криво усмехнулся:

— Куда... Я не знаю. В школу или в милицию?

— Значит, признаешься? — со сдержанным торжеством спросила Женька.

— Если не признаюсь, вы же к матери пойдете...

— Конечно, — сказала Женька и посмотрела на Кирилла. Спросила взглядом: «Здорово мы его раскусили?»

Кирилл отвел глаза и сердито сказал:

— В школу...

Они пошли гуськом: впереди Чирок, потом Кирилл, а за ними Женька. Чирок не оглядывался. Кирилл видел его стриженый белобрысый затылок, тонкую шею с родинкой, похожей на коричневую горошину, острые, не очень чистые локти, худую спину под старенькой, выгоревшей рубашкой в коричневую и зеленую клетку...

Все трое молчали и шли вдоль ручья к старинному чугунному мостику, построенному через Туринку еще в прошлом веке. От него поднималась лестница, которая выводила на улицу Грибоедова. А в конце той улицы — новые кварталы и школа.

Кирилл вдруг подумал, что Петька Чирок, наверно, считает в уме, сколько кварталов осталось ему до встречи с директоршей, до мучительного разговора, до позора.

Был раньше просто Петька Чирков, Чирок. Незаметный, никому в классе не интересный, но все-таки обыкновенный мальчишка. Одноклассник. И можно было вести себя с ним как с одноклассником. А сейчас все сделалось странным каким-то, ненастоящим. Петька был преступник, а Кирилл с Женькой — его конвоиры. И даже удивительно было, что кругом все по-прежнему: зеленеет обыкновенная трава, катится к вечеру теплое солнце, бормочет речка...

Кирилл тряхнул головой: что сделано, то сделано. Он, Кирилл, ни в чем не виноват.

— А где кошелек? — спросил он у Петькиной спины.

Чирок сбил шаг и через секунду ответил:

— Выбросил.

— Зачем? — удивилась Женька.

— А зачем он мне? — сказал Чирок, не оборачиваясь.

— А деньги? — спросил Кирилл.

Чирок пошел медленнее.

— Я с деньгами выбросил, — сказал он.

— Совсем заврался! — возмутилась Женька.

— Подожди ты, — с досадой оборвал ее Кирилл, а Чирку сказал: — Ну-ка, стой...

Он догнал Петьку, и они остановились рядом.

— Врешь или правда? — спросил Кирилл.

Чирок вскинул на него мокрые синие глаза.

— Зачем мне врать... если все равно признался?

— А почему выкинул? — почти крикнул Кирилл.

— Потому что... мне они для чего? Мне только рубль надо было. Я кошелек хотел обратно положить, когда рубль взял, а за дверью затопали... Ну, я сунул под ру-

башку и вышел потихоньку. Думал, потом положу. А тут вы прибежали, и началось...

— Куда бросил-то? — вмешалась Женька. — Может быть, найти можно?

Чирок махнул рукой.

— Вон там, с моста. В водоворот.

Кирилл свистнул. Под мостом было самое бурливое и глубокое место, с камнями и ямами.

— Дурак ты, Чирков, честное слово, — растерянно сказала Женька. — Кругом дурак... Чего ты с этим Дыбой связался?

— Я, что ли, нарочно связался?

— А как это вышло? — спросил Кирилл.

— Теперь не все ли равно?

— Нет, не все равно, — сказал Кирилл.

— Ну, я шел, а они в подъезде стояли. Говорят: «Иди сюда, не бойся, что-то интересное покажем». Я не хотел, а с ними Кочнев из седьмого «А». Тоже говорит: «Не бойся». Ну, я подошел, а там еще какой-то парень. Тюля его зовут. Дыба говорит: «Спорим, что Тюля бритву сжует». Я ничего даже не ответил, а этот Тюля в рот лезвие бритвочки сунул и давай жевать. На мелкие кусочки. Потом выплюнул. А Дыба мне говорит: «Гони рубль, раз проспорил». Я говорю, что даже не спорил, а они прижали в угол... А рубля у меня все равно нет. Дыба говорит: «Потом принесешь...» Ну и с тех пор все меня ловит...

— Неужели из-за этого воровать надо! — возмущенно сказала Женька. — Уж рубль-то мог бы где-нибудь достать, если хотел расплатиться.

— А он сколько уже этих рублей с меня стряхнул! Говорит, плати проценты, раз вовремя не отдал.

— И ты каждый раз отдавал? — поморщившись, спросил Кирилл.

Чирок тихо проговорил:

— А ты бы не отдал? Они знаешь как издеваются... Затащат за гаражи, рот зажмут... — Он посмотрел на Женьку и опустил глаза. Шепотом сказал Кириллу: — При ней даже рассказывать нельзя. А если бьют, потом даже синяков нет. Ничего не докажешь.

— А почему никому не сказал? — спросил Кирилл.

— Кому?

— Ну... дома.

— А дома кто? Мать да бабка. Драться они, что ли, с Дыбой пойдут? Матери вообще нервничать нельзя...

— Как всегда, — себе под нос проворчала Женька. —

«Маме нельзя расстраиваться, у нее больное сердце...» А о чем думал, когда в карман лез?

— Думал, что не поймают! — зло сказал Чирок. — Ну, пошли, чего стоим.

— Подожди, — попросил Кирилл. Зачем надо подождать, он сам не знал. Мысли перепутались. И вырастала едкая досада на самого себя. Как он сказал: «Сдавайся, Петенька». Со скрытым торжеством и снисходительностью. Подумаешь, Шерлок Холмс какой, отыскал опасного бандита! Этот несчастный Чирок даже выкручиваться не умеет. Другой мог бы наплести кучу историй и отпереться намертво. Разве олимпийский рубль — доказательство?

— Одного я не пойму, — вдруг заговорила Женька. — Стащить кошелек — это... это... ну, это ясно что. А зачем потом в воду кидать? Просто ненормальность какая-то.

— Походи с чужим кошельком за пазухой — поймешь, — сумрачно сказал Чирок.

Кирилл не знал, поняла ли Женька, а он понял, как жег Чирка спрятанный под майку кошелек. Как Чирку казалось, что все провожают его подозрительными взглядами. Как хотелось поскорее исчезнуть из школы и навсегда избавиться от своего страха. Чтобы казалось, будто ничего не было! Концы в воду!

— Говорил, маму нельзя расстраивать, а сам еще прибавил расстройства, — назидательно сказала Женька. — Ей теперь расплачиваться придется.

— Сам расплачусь, — неожиданно ответил Чирок.

— Как это? — удивилась она.

— Велосипед продам. У меня его давно просят. Как раз за сорок рублей.

— А в кошельке сорок было? — спросил Кирилл.

— Наверно. Я же не смотрел, рубль взял — и все. Ева говорила — сорок. Стипендия...

— Ты думаешь, за твой велосипед сорок рублей дадут? — с сомнением спросила Женька.

Чирок кивнул:

— Дадут. Он с виду потрепанный, а ход знаешь какой!

«Знаем, — подумал Кирилл. — Едва догнали». И вдруг почувствовал, что все опять не так. Странно. Но уже подругому странно: ведь Чирок — вор, и они его поймали, но вот идет между ними нормальный разговор. Словно Чирок не с конвоирами разговаривает, а с приятелями делится заботой. А может, с ним раньше вообще никто не разговаривал как с товарищем?

— Зачем ты от нас убегал? — спросил Кирилл.

Чирок пожал плечами.

— Ну... я почему-то догадался.

— А чего бежать-то? Куда денешься?

— Я просто от дома. Чтобы не при маме...

— Все равно узнает, — с неловкостью сказал Кирилл. Словно он был виноват в бедах, которые скоро обрушатся на Чирка. И он почувствовал благодарность Женьке, когда она спросила:

— А что, у мамы правда больное сердце?

Чирок по очереди взглянул на нее и на Кирилла. И стал смотреть на свои стоптанные сандалии.

— Да нет, — проговорил он. — Сердце обыкновенное. Просто ей сейчас нельзя нервничать, у нее ребенок будет...

Со странной смесью жалости, злости и облегчения Кирилл тряхнул плечами, словно сбросил что-то. Твердо глянул на Женьку, предупреждая, чтобы не спорила. Потом сказал Чирку:

— Продай велосипед, а деньги отошли этой студентке. По почте или как хочешь. Как адрес узнать, сам придумай. В общем, это твое дело.

— Ну... и что? — недоверчиво спросил Чирок.

— Ну и все, — жестко сказал Кирилл. — И живи. Никто, кроме нас, ничего не знает и знать не будет.

Тут Кирилл впервые увидел, что означает выражение «просветлело лицо». Ничего на лице Чирка вроде бы не изменилось, и все же оно стало совсем другим. Словно чище и даже красивее. И глаза у него сделались как у маленького мальчика, которому пообещали чудо.

— И вы по правде... никому?

— Никому. Зачем нам, чтобы ты мучился? — ответил Кирилл. — Ты и так хлебнул. Если совесть есть, сам поймешь.

— Я... — сказал Чирок. — Я... ладно.

— Но дома-то спросят, зачем продал велосипед, — подала здравую мысль Женька.

Чирок торопливо замотал головой.

— Ничего не узнают. Тот парень, который просит продать, далеко живет. А дома скажу, что велосипед угнали. Все время угоняют. У Дыбиных парней сколько угонов на счету... А мама даже рада будет: она боится, что я на велике шею сломаю.

И Чирок первый раз улыбнулся — виновато, нерешительно, с просьбой не лишать его чуда. Но вдруг помрачнел. Сказал Кириллу:

— А тебя опять начнут трясти, будто ты виноват.

— Что? — удивился Кирилл. И проговорил искренне: — Ну, вот это меня волнует, как прошлогодний снег.

— Все равно никто не верит, — с удовольствием разъяснила Женька. — И папа его не поверил. — Она увидела удивленное лицо Кирилла и сообщила: — Ты не знаешь, а я слышала, как твой папа с Евой Петровной разговаривал. Он сказал, что это бред.

Кирилл улыбнулся:

— Это у него любимое выражение.

Потом он осторожно взял Чирка за острый локоть, подержал.

— Ладно, Петька, живи спокойно, — сказал Кирилл. Он это без насмешки сказал, и Чирок поднял на него тревожные еще, но уже благодарные глаза. — Живи спокойно, — повторил Кирилл и подумал: «Если сможешь». — Мы никому не скажем, мы обещаем. А ты делай все сам. С деньгами, и вообще. Ну, ты же понимаешь...

— Я сделаю, — шепотом сказал Чирок и глаз не опустил. — Честное слово.

Потом он заморгал и отвернулся, и Кирилл его пощадил, не стал смотреть. Ведь у Чирка не было зеленого павиана Джимми.

— Поехали! — сказал Кирилл Женьке и с ходу взял скорость, чтобы проскочить брод. Хотя совсем рядом был мост.

Поднявшись на улицу Грибоедова, Кирилл и Женька пошли пешком. Женька неуверенно поглядывала на Кирилла. Наконец спросила:

— Ты считаешь, что это правильно?

— Да, — сказал Кирилл. — Считаю. А ты нет?

— Я... не знаю. Получается, что мы с ним заодно.

— Почему заодно? Он деньги отдаст... А тащить его к Еве или к директору на допрос я не обязан. А тебе что, хотелось?

— Ну, что ты... — прошептала Женька. — Но я думала, что надо.

— Не надо... Не могу я, Женька, — вдруг признался Кирилл. — Он идет такой понурый... Будто по правде преступник. Еще бы руки за спину заложил — и совсем.

— Руки он не мог, он велосипед вел, — тихо сказала Женька.

И Кириллу показалось, что она все поняла.

— Может быть, так и надо, — раздумчиво сказала Женька. — И Чиркову лучше, и всем. А то такое пятно на отряде...

— Вот вторая Евица-красавица, — усмехнулся Кирилл. — Вам бы универсальный пятновыводитель купить в химчистке.

— А что, разве я неправильно говорю?

— На чем пятно, ты сказала? — переспросил Кирилл.

— На всем отряде.

Кирилл посмотрел на нее сбоку и медленно, отчетливо сказал:

— Нет никакого отряда. Неужели ты не понимаешь?

Нет, она не понимала. Она очень удивилась:

— А что... есть?

— А ничего. Просто тридцать семь человек и Ева Петровна Красовская. Отряд — это когда все за одного. А у нас? Одного избивают, а остальные по углам сидят.

— Зря ты так, — примирительно сказала Женька.

— Нет, не зря. Почему никто не заступился? Ну, за меня и за других, на кого зря наклепали, — ладно... А за Чирка, когда его Дыба мучил?

— Не знали же...

— А почему не знали?

— Но он же не говорил.

— А почему не говорил?

— Ну... я откуда знаю?

— Знаешь. Потому что бесполезно было.

— Почему?

— А потому что боимся. Потому что шпана сильнее нас... хоть мы и гордость школы, правофланговый тимуровский отряд. Ура-ура! Зато у нас на смотре строя и песни первое место! За шефство над старушками благодарность. За вечер немецкого языка — премия...

— Ну чего ты, Кирилл... — жалобно сказала Женька. — Разве это плохо?

— А помнишь, весной Кубышкин с синяками пришел? Его парни на хоккейной площадке излупили, просто так, ни за что. Кто-нибудь сказал, что надо заступиться? Хоть что-нибудь сделали? Одни охали, другие смеялись...

— Ты тоже смеялся.

— Нет, — сказал Кирилл. — Тогда я уже не смеялся. Но я тогда еще боялся многого...

— А... сейчас? — осторожно спросила Женька.

— А сейчас все равно... — усмехнулся он.

— Что все равно? — удивилась Женька.

— Все равно, боюсь или нет, — спокойно объяснил Кирилл. — Так, как Чирок, я бояться все равно не буду. Потому что он один, а у меня друзья есть.

— Да? — быстро спросила она и опустила глаза.

— Да... — сказал Кирилл, не поняв ее. И повторил: — А Чирок один.

— И поэтому ты его пожалел?

То ли насмешка, то ли пренебрежение почувствовалось в Женькином вопросе. А может быть, Кириллу это показалось. Но ответил он сердито:

— А кто придумал, что человека нельзя пожалеть? Если один раз человек не выдержал, разве его нельзя простить?

— Ну почему? Можно...

— И дело не только в Чирке. Еще мать у него...

— Я понимаю.

— Ничего ты, Женька, не понимаешь, — сказал Кирилл. — Потому что у тебя нет брата.

— Я же не виновата, что нет, — ответила она почти шепотом.

— Да ты не обижайся.

— Я не обижаюсь, — сказала она обрадованно. Они посмотрели друг на друга и разом улыбнулись.

— Про Чирка — никому, — предупредил Кирилл.

Женька торопливо кивнула несколько раз. Потом спросила:

— А твоему Антошке сколько месяцев?

— Три с половиной.

— Славный такой... И так песни слушает... Кирилл, а откуда та песня? Ну, которая колыбельная... Она же не колыбельная в самом деле.

— Так, просто песня... — небрежно сказал Кирилл. И сразу вспомнил тот котел из ветра и волн, и вырастающую на глазах гранитную стену с дурацкой надписью: «Ура, Маша, я твой!», и Митьку-Мауса, сжавшегося у бушприта...

## Глава 9

— Боимся, братцы? — спросил Саня Матюхин. Тихо спросил, без обычной взрословатой нотки.

— Будто ты не боишься, — заметил Валерка.

— Есть маленько, — согласился Саня.

— Я тоже... маленько, — со вздохом сказал Митька-Маус.

Остальные промолчали.

...Когда в тросах стоячего такелажа начинает ровно и

тонко свистеть ветер, это значит — сила его достигла шести баллов. На мачтах спортивных гаваней поднимают черные шары: сигнал, что парусным шлюпками и яхтам не следует соваться на открытую воду. Конечно, случается парусникам ходить и при таком ветре, и покрепче, но дело это связано с риском. Все тут зависит от умения экипажа и надежности судна.

Сейчас ветер не свистел, а выл, тросы гудели, а по озеру шли рядами пенные валы.

Когда твое судно укрыто за надежным мысом и прочно стоит на двух якорях, а сам ты смотришь на взбесившееся озеро с гранитного валуна, который неподвижно пролежал на берегу миллион лет и пролежит еще столько же, волны и ветер кажутся нестрашными. Даже интересно смотреть. Интересно, если знаешь, что тебе не надо выходить под парусом вот туда, на середину, где нет ничего, кроме свиста и дыбом встающей воды...

Впрочем, можно было и не выходить. Но ветер, плотный и душный, приносил с другого берега запах гари, а над зубчатой кромкой леса вставал желтоватым длинным облаком дым. Лес горел, и огонь, видимо, шел к озеру широкой полосой. Он мог перерезать дороги. А на той стороне, на крошечном выступе берега, среди сосен и валунов, стояла желтая палатка.

Палатку не было видно отсюда, но ребята знали, что она там. Куда ей деться?

Утром, когда еще не свистело так по-сумасшедшему, а дул нормальный ветер в три балла, «Капитан Грант» шел курсом крутой бакштаг вдоль южного берега. Здорово шел. Были поставлены все паруса, даже летучий кливер. Бурлила за кормой струя, трепетал под гафелем оранжевый флаг, а Митька-Маус сидел на носу и пел страшным голосом пиратскую песню: «Дрожите, лиссабонские купцы...»

Июльское солнце было ясное, вода синяя, почти как на море, а леса стояли спокойные и не чуяли беды.

Хорошо начинался первый долгий поход «Капитана Гранта». И только одно было плохо: несколько дней назад поссорились неразлучные Юрки. Что у них случилось, никто не знал. Ссорились они сдержанно: говорили друг другу «спасибо» и «пожалуйста», если делали что-то вместе, но друг на друга не смотрели. И, если не было общего дела, тут же расходились.

Когда люди ругаются, обвиняют друг друга, можно во

всем разобраться и помирить их. А если вот так, молча и спокойно?

Накануне похода Дед не выдержал:

— Да что у вас стряслось?! — заорал он. — Лучше бы уж разодрались! Всю душу измотали!

Юрка Сергиенко надул губы, ссутулился и отошел в сторону. Юрка Кнопов угрюмо глянул на Деда и шепотом спросил:

— Как это мы будем драться?

— Не возьму в поход, — в сердцах сказал Дед.

— Разве мы что-нибудь не так делаем? — по-прежнему шепотом спросил Юрка Кнопов. Он и тут по привычке сказал не «я», а «мы».

Дед плюнул. А чуть позже сказал Кириллу:

— Черт с ними. Может, в походе все наладится.

Кирилл кивнул.

Сейчас, когда шли вдоль берега, Юрки работали на подветренных шкотах стакселя и кливера. Хорошо работали — паруса, налитые ветром, стояли не шевелясь и не вздрагивая, хотя ветер был не очень ровный. Сидели Юрки рядом, но, как и прежде, было между ними молчание.

Кирилл стоял у штурвала, смотрел на них и думал, что так ссорятся, видимо, очень крепкие друзья. Продолжают любить друг друга, мучаются, а чего-то простить друг другу не могут... Но все равно они счастливые. Все люди счастливые, у кого есть такая дружба. Ведь не навсегда же Юрки поссорились! Не может быть, чтобы навсегда...

Справа была открытая вода, слева — близкий берег. С берега долетел звонкий крик:

— Папа, смотри, старинный корабль!

Кирилл глянул налево и увидел среди сосен желтую палатку. Она не была еще натянута как надо. У палатки стояли пятеро и смотрели на парусник. Молодые мужчина и женщина и трое ребятишек: мальчик ростом с Митьку, девочка чуть поменьше и карапуз примерно полутора лет.

Крикнул, кажется, мальчишка — забавный такой пацаненок в длинной, как платьице, тельняшке, подпоясанной флотским ремнем. Видимо, он был моряк душой и телом и при появлении белопарусного чуда загорелся радостью и восхищением.

Все пятеро замахали «Капитану Гранту», а экипаж помахал им в ответ. Мужчина схватил с валуна кинокамеру и, не подворачивая брюк, прыгнул в воду, пошел навстречу паруснику, чтобы снять поближе.

Митька гордо встал на носу и скрестил руки. На поясе

у него красовался надутый круг из красной резины, а от круга, словно длинный хвост, тянулся к мачте страховочный трос. Митьку, однако, это не смущало.

— Адмирал Нельсон, — сказал Дед Митьке, а у туристов громко спросил: — Собираетесь ночевать здесь?

Мужчина, не отрываясь от камеры, кивнул, а мальчишка крикнул:

— Ага! За нами завтра дядя Юра приедет!

— С костром поосторожнее, — предупредил Дед. У него было удостоверение общественного инспектора лесной охраны.

— Все будет в порядке, кэп! — откликнулся мужчина. — Огонек мы у самой воды разведем ненадолго!

«Капитан Грант», кренясь и оставляя бурунный след, прошел мимо желтой палатки и ее обитателей. И скоро про нее забыли.

Маршрут путешественников был извилистый и длинный: с заходом в Камышиную бухту, со стоянкой у Плоского острова, где водились великолепные раки. Раков наловили, но варить не стали: Митька их пожалел и выпустил. Тогда хотели сварить на обед Митьку, но передумали и приготовили кашу с консервами...

В середине дня ветер зашел к югу и разгулялся так, что Митьку на носовой палубе стало захлестывать пеной. Убрали топсель и летучий кливер. А еще через полчаса засвистело совсем по-штормовому. Пришлось убрать грот и бизань и полным курсом уходить под стакселем и кливером за Березовый мыс (где не росло ни одной березы, а стояли редкие сосны и неровной щеткой поднимался хвойный молодняк).

За высоким горбатым мысом было спокойно, хотя наверху шумел и раскачивал сосны ветер. «Капитан Грант» чиркнул килем по дну, и Дед скомандовал убрать последние паруса. Потом ребята забросили на берег два якоря и выбрались на сушу сами.

Земля была твердой и надежной. Пахло теплой хвоей. На лужайках блестели искорками слюды гранитные валуны. Трава между ними была маленькая, словно прижатая к земле, густо пересыпанная сухими сосновыми иголками. На ней темнели угольные проплешины — следы старых костров.

— На сегодня все. Отходились, — сообщил Дед.

Ну что ж, все так все. Можно искупаться в прогретой бухточке с песчаным дном, поваляться на солнышке, потом покидать мячик, а ближе к вечеру заняться устройством

ночлега. Они неторопливо натянут старенькую Дедову палатку, разожгут у воды осторожный маленький костер, сварят ужин. Дед возьмет обшарпанную гитару и споет несколько туристских песенок. Это такие песни, что животы болят от смеха. Дед поет их меланхолическим голосом, с очень серьезным лицом, и потому они кажутся еще смешнее.

Потом Алик расскажет продолжение своего фантастического романа...

Один за другим ребята поднялись на бугор. Здесь опять набросился на них ветер. У Кирилла рванул назад волосы, у Алика сбросил с головы старую мичманку, и она покатилась назад к воде...

И только сейчас заметили, что ветер с едким дымком. И увидели над южным берегом тяжелые клубы...

— Скотство какое, — с бессильной досадой сказал Дед. — Опять сколько погорит...

Сделать они, конечно, ничего не могли, если бы даже оказались на том берегу. Что такое крошечный экипаж «Капитана Гранта» перед километровым фронтом огня? Тут нужен был пожарный десант или саперы. Но леса горели часто, и десантники успевали не везде.

— Выжжет все до самой воды, — тихо сказал Алик. — Хорошо, если там людей нет.

— Запрет же объявлен, — напомнил Дед. — В лес никому нельзя.

И вот тогда кто-то (уже и не вспомнить кто) растерянно сказал:

— А палатка?

А палатка?! Ярко-желтая, как громадный подсолнух, палатка с пятью веселыми обитателями... «Собираетесь ночевать здесь?» — «За нами завтра дядя Юра приедет!»

Завтра! А если сегодня, если очень скоро огонь захватит лес, который подходит к самой воде?

— Их, наверно, осводовские спасатели снимут, — нерешительно сказал Алик.

— Сразу видно, что ты фантастику сочиняешь, — огрызнулся Валерка. — Какие здесь спасатели?

Дед молчал.

А Кирил подумал, как хорошо на солнечном, твердом бугре. И еще подумал, что «Капитан Грант» почему-то рыскает вправо, когда всходит на крутую волну...

— В крайнем случае в воде отсидятся, — проговорил

Юрка Сергиенко, а Юрка Кнопов бросил на него короткий удивленный взгляд. И Кириллу показалось, что в этом взгляде был упрек одного Юрки другому: «Неужели ты еще и трус?»

«Он не трус, — мысленно заступился Кирилл за Сергиенко. — Он же хотел нас успокоить. Он просто не подумал, как отсиживаться в воде, когда волна, когда огонь с берега отжимает на глубину и когда один из пяти не то что плавать, а ходить-то не умеет толком, а двое других тоже еще малыши...»

— А может, огонь еще остановится, — сказал Алик.

— Может быть, — непонятно откликнулся Дед, ни на кого не глядя.

Все могло быть. Мог подоспеть десант и остановить огонь. Но мог не подоспеть и не остановить. Мог подойти спасательный катер, но мог и не подойти. Могла пробиться на берег машина... Все это было неточно. А точно было одно: на том берегу огонь и люди, а на этом — парусник «Капитан Грант». «Папа, смотри, старинный корабль!»

Тогда-то Саня и сказал:

— Боимся, братцы?

...Им приходилось плавать почти при таком же ветре, но недолго и в надежной близости от ольховского берега. А сейчас путь лежал через озеро, да еще не напрямик, а зигзагами. Дед молчал, тиская пальцами худой щетинистый подбородок.

«Он тоже боится, — подумал Кирилл. — Он не за себя боится... А я? Я... неужели только за себя?»

Нет, не только. За Антошку: если что случится, тот останется без брата. За маму, за отца. За Митьку, за Юрок, за всех... Он медленно посмотрел на Деда, а Дед на него. Они молча спрашивали друг друга, что делать.

А что было делать? Кирилл глянул с бугра на парусник, там на кормовом флагштоке слабо колыхался оранжевый флаг «Капитана Гранта». На ходу флаг поднимают под гафель гротмачты. Если сейчас отсидеться за мысом, потом как поднимать этот флаг? «Зря, что ли, его шили?» — чуть не сказал Кирилл. Но не сказал, только переглотнул. Какое он имеет право так говорить? Он что, храбрее всех? У него коленки дребезжат при мысли о выходе из-за мыса.

«Почему же он все-таки рыскает на волне? Хорошо хоть, что всегда в одну сторону».

— Какие мы дружные, — вдруг проговорил Валерка Карпов. — Даже боимся все вместе.

Он был маленький, похожий на вороненка. Не насмешливый, а сердитый.

И тогда Саня Матюхин заговорил снова:

— Давайте бояться на ходу. А то пока здесь сидим, те голубчики могут поджариться...

Кириллу показалось, что все вздохнули с облегчением. И он спросил:

— А как пойдем? Ветер в лоб.

— Сперва на Каменный остров, а потом будем вырезаться на Совиный мыс. Еще короткий галс — и на месте.

«Легко сказать», — подумал Кирилл, а Дед подал голос:

— У Каменного острова гряда. Забыли? А дальше — отмели, остров не обойти.

— Есть проход, — сказал Саня. — Вот здесь... — Он нагнулся, отыскал в траве плоский камень, подобрал несколько сухих шишек. Раскидал их цепочкой.

— Вот остров, а вот первый камень. Тут еще бетонный блок. Можно проскочить, если рассчитать.

— Поворот оверштаг прямо в проходе? — спросил Алик. — Если зависнем, левым бортом нас хряпнет о камни.

«Если не зависнем, тоже может хряпнуть, — подумал Кирилл. — Волной снесет...»

— Может, хряпнет, а может, и нет, — сказал Саня.

Юрки посмотрели на него и, не глядя друг на друга, стали спускаться к «Капитану Гранту».

— А если сперва вдоль нашего берега идти, а потом вырезаться на Совиный? — предложил Валерка.

— До завтра проколупаемся, — ответил Саня.

А Дед наконец сказал:

— Не имею права, ребята... Не имею права выходить с вами в такой свистодуй...

— Не на прогулку же! — громко удивился Алик. — Там же люди! Как это не имеешь?

А Саня спокойно предложил:

— Мы тебя свяжем и скажем, что пошли без разрешения.

— Болтун, — грустно сказал Дед. Посмотрел на Кирилла и тихо спросил: — Поведешь?

— Я? — испугался Кирилл.

— Мне при такой качке не устоять, нога разболелась. Да и рулевой из тебя лучше, чем из меня. Чего уж там...

Вот тогда Кириллу стало по-настоящему страшно. Холодно даже. Будто ветер повеял осенью. Кирилл нагнулся

и начал зябко растирать ноги от щиколоток до колен. Он тер, тер и на Деда не смотрел. А Дед еще тише сказал:

— Надо, Кир...

Кирилл выпрямился. Страх не отпустил его, но стало спокойнее. Что делать, раз надо? Кирилл кивнул и, скользя кедами по сухим иголкам, стал спускаться к стоянке. Он даже не понял, что обманывает себя: не понял пока, что решение принял не кто-то другой, а он сам.

Дед громко крикнул с бугра:

— Проверьте спасательные жилеты! А на Митьку наденьте второй круг!

На карте страны нет Андреевского озера совсем, а на карте области оно кажется маленькой синей запятой. Но от этого не легче тому, кто идет по озеру в штормовой ветер. В длину озеро около семнадцати километров, а в ширину очень разное — от километра до пяти. Оно разлито среди отрогов старых гор, здесь много островков, заливчиков. В заливчиках удобные стоянки. Но какой смысл думать о стоянках, если путь лежит через открытую воду, где пенистые гребни и нестихающий свист?

Как ни крути, а «Капитан Грант» — шлюпка. Хотя и перестроенная, укрытая с носа палубой, но все равно шлюпка. Случалось, что на шлюпках переплывали океаны. Но случалось и другое (гораздо чаще): шлюпки переворачивало ветром послабее, чем нынешний, и в заливах поменьше Андреевского озера...

Все это знал нахмуренный и молчаливый экипаж «Капитана Гранта», когда выводил свой корабль из-за мыса.

Верхние паруса поднимать не стали. Поставили кливер, стаксель, бизань. Уже на ходу Алик и Саня подняли тяжелый грот. Вздернули под гафель флаг.

Оконечность мыса с одинокой сосной ушла за корму, ветер навалился на парусину, в левый борт ударил гребень. Следующий вал приподнял парусник и почти положил направо.

— Экипаж — на откren, — негромко и быстро сказал Дед.

И началось...

Если бы верхушка грот-мачты оставляла в небе след, это была бы извилистая линия, которая в учебнике геометрии называется «синусоида». То выпрямляясь и чуть кренясь налево, то валясь на правый борт, «Капитан Грант» шел при боковом ветре к Каменному острову, и

клотик мачты выписывал зубцы длиной в шесть или семь метров.

Кирилл стоял, цепляясь босыми ступнями за решетчатый настил. Когда парусник валился вправо и казалось, что это уже все, Кирилл машинально переносил тяжесть на левую ногу, словно так можно было выпрямить «Капитана Гранта». Помедлив, судно выпрямлялось. А потом опять...

Кирилл понимал, что, если во время большого крена резко усилится ветер, парусник может не встать. И он стискивал штурвал, ожидая шквала и готовясь немедленно привести судно бушпритом к ветру...

Но шквалов не было. Ветер — душный, плотный, горький от дыма — дул очень сильно, однако без порывов. И валы, бурля верхушками, катились ровно. И в конце концов (неизвестно только, скоро или не очень скоро) Кирилл понял, что корабль держится и экипаж тоже держится. Такая погода была по плечу «Капитану Гранту». Он резво бежал, оставляя на склонах волн кипящий след, и не пытался уйти с курса.

Кирилл ослабил мускулы, медленно разжал пальцы и переложил ладони на обод штурвала. С удивлением посмотрел на коричневые рукоятки. Там не было никаких следов, а Кириллу казалось, что останутся светлые пятнышки, будто на загорелой руке после того, как ее стискивали пальцами. Ведь он так отчаянно сжимал штурвал...

Кирилл тряхнул головой и быстро оглянулся. До этого он видел только то, что впереди: воду, далекий Каменный остров, два треугольных паруса и Митьку, который сидел на носу, вцепившись в кнехты и отплевываясь от брызг.

Сейчас Кирилл увидел всех. Валерка работал сзади, на бизань-шкоте. Лицо у Валерки было беззаботное и даже веселое. Саня и Алик сидели на левом планшире, удерживая вдвоем жесткий капроновый гика-шкот. Они что-то быстро говорили друг другу. Юрки, тоже у левого борта, держали, как всегда, шкоты передних парусов. Они были рядом, но даже сейчас, при такой качке, старались не коснуться друг друга плечами. Неужели не устали ссориться?

Ближе всех был Дед. Он стоял позади Кирилла, навалившись локтем на левый планшир. Почти рядом. Он улыбнулся Кириллу. Кирилл тоже улыбнулся и, проверяя управление, шевельнул туда-сюда штурвал. Кораблик мгновенно отозвался, чуть-чуть вильнув на курсе. Его

штуртросы по-прежнему были как живые нервы. Он опять стал частью Кирилла.

Озеро уже не казалось грозным. Угадывая взлеты и размахи судна, Кирилл с удовольствием смотрел на волны. Неяркое, задымленное солнце сделало их удивительными: окрасило в зеленовато-желтый цвет. Даже пена стала желтоватой. Она срывалась с гребней и длинными полосами ложилась по ветру на склоны водяных валов. Брызги ударяли Кирилла в левую щеку.

— «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», — весело сказал Кирилл.

Дед ответил:

— Славно бежим. Теперь главное — поворот у камней. Да... Ведь еще поворот! Радоваться рано.

Кирилл глянул влево. Там в полусотне метров уже тянулась гряда — неровная цепь камней. Над ней, отчаянно споря с потоками ветра, метались озерные чайки. Волны свободно переваливались через камни, но для парусника путь сквозь гряду был закрыт. Пройти между камней могла лишь легкая лодочка, да и то по тихой воде.

Оставался проход у самого острова. Кирилл один раз был там — в спокойную погоду. А при таком ветре попробуй чуть-чуть ошибиться... Помогут ли тогда самодельные спасательные жилеты из брезента и пенопласта?

Остров, который недавно казался далеким, теперь вырастал, будто его выталкивал из воды сказочный великан. Это был даже не остров, а торчащие из озера гранитные зубцы — голые и отвесные. Иногда здесь лазили отчаянные туристы, но надолго никто не задерживался: ни веточки для костра, ни ровной площадки для палатки.

Сейчас никого не было видно. Только белая надпись напоминала о людях. Ее вывел на отвесной стенке в пяти метрах над водой какой-то обалдевший от счастья влюбленный. Большущие, масляной краской написанные буквы: «Ура, Маша, я твой!»

Буквы были видны уже отчетливо и делались все крупнее.

Кириллу опять стало не по себе. Но это был уже не тот страх, что прежде. Сейчас Кирилл боялся за всех один. И потому во много раз сильнее. Но в то же время это был задавленный, скрученный страх. Страх с прикушенной до боли губой. Потому что бояться было нельзя. Попробуй дрогни на повороте!

А дым над берегом стал плотнее, хотя пламени не было видно.

Кирилл опять перенес ладони с обода на рукояти.

— Ребята! — сказал он тонким и громким голосом. — На повороте не кидайтесь к штурвалу! Может показаться, что врезаемся... А иначе нельзя, надо вплотную!

— Все будет хорошо, — сказал Дед. — Спокойно, Кир.

Кирилл посмотрел на Митьку. Если «Капитан Грант» врежется носом в гранит, Митька может покалечиться. Но убрать его нельзя: никто не мог так виртуозно, как маленький Маус, вынести на ветер стаксель при повороте оверштаг.

— Ты не бойся, Мить, — сказал Кирилл. — Ты держись.

— Ага, — серьезно откликнулся Митька. — Если очень забоюсь, я зажмурюсь.

— Жмурься, — разрешил Дед. — Только не прозевай команду.

До гранитного отвеса оставалось полсотни метров. Каменные зубцы словно кричали навстречу Кириллу: «Ура, Маша, я твой!» Все громче и громче. Сейчас эти слова казались нелепо-насмешливыми. Остров словно издевался: «Ну-ну, подойди...»

Лишь теперь Кирилл почувствовал каждой жилкой, какой все-таки быстрый ход у «Капитана Гранта». Взлетая на упругой волне, кораблик при боковом ветре делал чуть ли не десять узлов. Обычно это может лишь хорошая яхта или большая парусная шхуна. Если полуторатонный деревянный парусник грохнется о Каменный остров со скоростью бегущего человека, это будет уже не парусник, а дрова.

До поворота оставалось около десяти секунд, и Кирилл ощутил, что опасность чувствуют все.

— Бизань... — сказал он, и Валерка тут же подтянул шкот; слегка увеличилось давление на корму.

Клокотание кормовой струи было громче шума волн и ветра...

Восемь или семь секунд осталось до поворота. Слева у самого борта проносились назад камни, Кирилл прерывисто втянул в себя воздух. И в это время Дед негромко сказал:

— Юрки, помиритесь.

Нельзя уже было оглядываться, но Кирилл все же быстро посмотрел назад. Сергиенко и Кнопов, зажавши в левых ладонях шкоты, правые резко стиснули в рукопожатии. И еле заметно улыбнулись друг другу.

«Давно бы так», — мельком подумал Кирилл и тут же понял, что пора. Зубцы торчали почти прямо над ним.

— К повороту! — скомандовал он.

Ответное: «Есть к повороту!» — смешалось в скороговорку — это разом откликнулись шесть матросов.

Гранит надвигался, как летящий на всех парах бронированный крейсер.

Ну, еще чуточку, еще сантиметр...

— Поворот!

Без рывка, мягко, но очень быстро закрутил он влево штурвал. До отказа... Все же на долю секунды Кирилл опоздал: бушприт чиркнул по граниту и сбил камешек. Однако нос уже катился влево, паруса ослабли, и «Капитан Грант», потеряв скорость, закачался на встречной волне. Справа — остров, слева, совсем недалеко, — ребристый камень, заливаемый шипучими волнами.

Бушприт двигался все медленнее. Если нос не перевалит через ветер, парусник пойдет кормой на бетонный блок, торчащий из-под воды (раньше там стояла мачта высоковольтной линии). Или грохнется правым бортом о скалу.

Ну, скорей же, скорей поворачивай!

Наконец ветер прямо в лицо.

— Стаксель на ветер!

Митька и без команды знал, что делать. Тоненький, верткий, он, цепляясь ногами за кнехт, почти вывалился за борт, растянул навстречу потокам воздуха нижний угол стакселя. Треугольный парус хлопнул и надулся, толкая судно назад и влево. «Капитан Грант» помедлил и словно бы с неохотным вздохом перешел линию ветра.

— Под ветер...

Паруса натянулись, и судно легло на правый галс. Кирилл поставил руль прямо. Но скорости еще не было, нос продолжал катиться влево, и острый камень быстро приближался к скуле парусника. Все видели, что он врежется в обшивку раньше, чем «Капитан Грант» скользнет вперед.

— Вправо руль... — умоляющим шепотом сказал Дед.

Кирилл сердито дернул плечом. Ему и самому до боли в пальцах не терпелось крутнуть штурвал. Но он понимал, что, не имея хода, «Капитан Грант» совсем остановится, если кинется носом к ветру. И тогда уж точно окажется кормой на камнях.

Кирилл ждал волну. И она пришла, пришла вовремя — большая, в желтых полосах пены. Приподняла парусник, и он, верный своей привычке, сам рыскнул вправо. Чуть-чуть. Лишь настолько, чтобы увести выпуклый борт от

проклятого камня. Камень прошел рядом, едва не чиркнув по обшивке похожим на пилу краем.

— В двух сантиметрах, — сказал Алик.

Скорость нарастала, и Кирилл взял круче к ветру, уходя от гряды.

Опасность осталась позади. Позади остался эпизод из жизни экипажа маленького парусника на озере, которого нет на больших картах и о котором ничего не знают моряки, ведущие свои корабли по морям и океанам...

На Совиный мыс вырезались долго. У штурвала стоял Дед. Кирилл сидел у планшира, беззаботно глядя на волны и шевеля уставшими пальцами.

Когда прошли мыс и сделали еще один поворот, увидели белый катер. Ныряя в волнах, он шел от того места, где недавно стояла палатка. Кирил успел разглядеть на корме маленькую тельняшку.

— Ну и ладно, меньше забот, — сказал Дед. — Зато спать будем спокойно.

И все молча с ним согласились.

— Уваливаем под ветер, — скомандовал Дед.

И они прекрасным, самым лучшим для парусника курсом — в полный бакштаг — понеслись к своей прежней стоянке, в тихую бухточку за Березовым мысом.

На южном берегу начали бухать взрывы: люди спешили остановить огонь...

Когда подходили к берегу, ветер ослабел и скоро совсем утих. С другой стороны, с северо-запада, неожиданно надвинулась лиловая туча. Грохнуло.

Грозу пережидали в тесной рубке, прижимаясь друг к другу и вспоминая недавнее штормовое плавание.

— Кир, у тебя нервы или канаты? — спросил Дед. — Я думал, что уже крышка, когда нас на камень волокло.

— Это у меня-то канаты... — усмехнулся Кирилл. — До сих пор мурашки по спине...

— Подумаешь, мурашки, — сказал Саня. — Будь у нас ордена, Кир точно бы заслужил.

— Орден мурашки первой степени, — ввернул Валерка.

— Я, между прочим, серьезно, — сказал Саня.

— Если серьезно, тогда не мне орден надо, а Митьке, — заметил Кирилл. — Он больше всех рисковал... Митька, ты жмурился?

— Не-а... У меня от испуга глаза растопырились.

В это время грохнуло изо всех сил.

— А молния в мачту не стукнет? — спросил Митька.

— Зачем ей в мачту стукать? На мысу вон сколько сосен, — успокоил Дед.

Митька подумал и сказал, что в сосну тоже не надо. А то опять лес загорится.

— После такого дождя ничего не загорится, — возразил Алик.

Дождь лупил тугими струями по фанерной палубе, и в рубке гудело.

Потом туча ушла за озеро и уволокла за собой ливень — словно на помощь пожарному десанту.

Все выбрались из рубки. Юрки первые прыгнули с борта и, взявшись за руки, побрели по мелководью к берегу. Вечерний воздух был свежий, послегрозовой. Гарь исчезла. Над дальним лесом еще курились дымки, но были они уже слабые и нестрашные.

Звонко тенькала пичуга...

Потом был вечер, такой, как хотели, — спокойный и хороший. Растянули палатку, сварили картошку, посидели у огонька. Дед спел песни про беспутного папу-туриста и про бабушку, вступившую в секцию альпинистов. Алик рассказал о стычке марсиан с жителями Сиреневой галактики...

Когда заря спряталась за деревья северного берега, а за Совиным мысом заиграла огоньками деревня Павлово, все решили, что пора спать. Дед, Алик и Юрки ушли на судно, а Кирилл, Митька, Саня и Валерка улеглись в палатке. Завернулись в одеяла, а под голову положили спасательные жилеты. Пол у маленькой палатки качался, как палуба во время недавнего плавания, — так показалось Кириллу, когда он засыпал. Ну и пусть качается...

Проснулся Кирилл среди ночи. Он подумал сначала, что мама будит его, чтобы успокоить Антошку. А оказалось, Митька. Он осторожно толкал Кирилла в спину, шептал в самое ухо:

— Кир... Кир...

— Ты что, Маус?

— Кир, давай выйдем, а?

— Куда? Зачем?

— Ну выйдем...

Кирилл понял наконец: Митьке очень надо выйти из палатки, но он боится один. Ох ты, горюшко...

— Ладно, пошли, — пробормотал Кирилл.

Они выбрались из сонного тепла, и свежий воздух показался Кириллу зябким. Митька тоже стал ежиться и под-

жимать то одну, то другую ногу. Кирилл взял его за теплое плечо. По влажной траве они пошли к ближним кустикам. У самых кустов Митька освободил плечо, нерешительно оглянулся на Кирилла, сделал еще два шага в чащу и торопливо зажурчал там. Кирилл снисходительно усмехнулся и, чтобы Митьке не было страшно, стал тихонько насвистывать: «Капитан, капитан, улыбнитесь...»

Через несколько секунд Митька подбежал.

— Никто тебя там не укусил? — сурово спросил Кирилл. — И когда твои глупые страхи кончатся?

Митька вздохнул, ухватил Кирилла обеими ладонями повыше локтя, подумал и сказал:

— Скоро, наверно...

Они пошли рядышком к палатке. Но шагов через пять Митька вдруг остановился и прошептал:

— Смотри, как в книжке...

— Что? — не понял Кирилл.

— Ну, все... вокруг. У меня книжка есть со сказками, и там такая картинка.

Небо было сиреневым, с еле заметными звездочками. Верхушки сосенок в этом небе казались черными, будто нарисованными пушистой кисточкой, которую макнули в тушь. Сильно опрокинутая половинка луны висела над верхушками: заберись на сосну — дотянешься...

Вполне-вполне могло случиться, что в этой темной чаще, под таким хитровато-молчаливым месяцем вдруг проснется, шумно переступит громадными куриными ногами и заскрипит замшелая избушка с неярким перекрещенным окном...

Однако Митьке говорить про избушку не стоило. Кирилл сказал:

— Это же хорошая сказка. В ней всякие добрые чудеса. Ты не бойся.

— А я не боюсь... если с тобой, — заверил Митька-Маус и плечом прижался к руке Кирилла.

— Холодно?

— Не-а... Пойдем посмотрим на наш корабль.

Кирилл вдруг заметил, что в самом деле уже не холодно. И спать совсем не хотелось.

Они вышли на склон. За редкими соснами лежала бухта. Вода отражала небо — светлая, как запотевшее зеркало. «Капитан Грант» казался таким же черным, как деревья. На палубе рубки видны были два силуэта, и даже сюда, на склон, доносился громкий шепот. Это Юрки отводили душу после долгой молчаливой ссоры.

Кирилл с Митькой спустились на кромку берега и вошли по щиколотку в теплую, будто подогретую на плитке воду.

— Эй вы, чего не спите? — окликнул Кирилл.

— Мы на вахте, — объяснил Юрка Кнопов.

Из рубки донесся сердитый голос Деда. Дед хотел знать, скоро ли кончится топанье по палубе, шастанье по берегу, громкое шептанье, переклички и все прочее, что мешает спать порядочным людям.

— Не хочется спать! — громко объяснил Митька. — Мы гуляем. Давай еще посидим у костра! Иди к нам!

Дед сказал, что он сейчас придет, но сидеть после этого Митьке будет очень неудобно и спать придется на животе.

— Нет, правда! — настаивал Митька. — Давайте еще посидим!

— Будешь ты спать, обормот?

— А ты мне споешь колыбельную?

Дед выбрался из рубки и, плюхая по воде, побрел к берегу. На ходу он обещал Митьке такие ужасы, что вся средневековая инквизиция побледнела бы от восхищения и зависти.

Кончилось, однако, тем, что опять развели костер, вскипятили чайник, выпили по две кружки земляничного навара и уговорили Деда взять гитару.

— Колыбельную тебе? — спросил он у Митьки.

— Лучше про туристов, — сказал Валерка. — Смешную.

— Понятно, — отозвался Дед и стал смотреть в огонь.

Он довольно долго так смотрел. Потом тронул струны, и они загудели в незнакомом сдержанном марше. Дед запел без всякой улыбки, глуховато и даже сумрачно:

Помиритесь, кто ссорился,
Позабудьте про мелочи,
Рюкзаки бросьте в сторону —
Нам они не нужны.
Доскажите про главное,
Кто сказать не успел еще.
Нам дорогой оставлено
Полчаса тишины...

Стало тихо, лишь угли потрескивали. Кирилл напряженно ждал: в песне было что-то знакомое и беспокойное. Будто это не только песня.

От грозы черно-синие,
Злыми ливнями полные,
Над утихшими травами
Поднялись облака.

Кровеносными жилами
Набухают в них молнии,
Но гроза не придвинулась
К нам вплотную пока...

Дали дымом завешены —
Их багровый пожар настиг,
Но раскаты и выстрелы
Здесь еще не слышны.
До грозы, до нашествия,
До атаки, до ярости
Нам дорогой оставлено
Пять минут тишины.

Потом Кириллу не раз придется петь эти слова, и всегда у него будут холодеть руки и щеки. Но в первый раз, у костра, нервный холод обжег его так, что остановилось дыхание.

До атаки, до ярости,
До пронзительной ясности,
И, быть может, до выстрела,
До удара в висок —
Пять минут на прощание,
Пять минут на отчаянье,
Пять минут на решение,
Пять секунд на бросок...

Лица были оранжевыми от огня, а огонь был как флаг «Капитана Гранта» на штормовом ветру.

Митька приткнулся к Кириллу и положил ему на колени кудлатую голову. Замер.

Дед резче ударил по струнам и закончил последний куплет:

Раскатилось и грохнуло
Над лесами горящими,
Только это, товарищи,
Не стрельба и не гром —
Над высокими травами
Встали в рост барабанщики,
Это значит — не все еще,
Это значит — пройдем.

И опять тихо сделалось. Даже неяркий желтый месяц опустился к самой земле и слушал тишину, похожую на эхо песни.

— Вот это колыбельная! — шепотом сказал Юрка Кнопов.

— Откуда она? — спросил Саня.

— Издалека, — сказал Дед. — Я слышал ее в комсомольском лагере под Петрозаводском, давно еще. Но и там не знали, кто ее сочинил.

«Это почти про нас, — подумал Кирилл. — Как мы сегодня... Не совсем про нас, но похоже...»

Дед сидел, задумавшись и поглаживая гитару, как добрую собаку. «Он больше всех боялся сегодня, — подумал Кирилл. — Во-первых, за весь экипаж, во-вторых, за своего Митьку, который был впереди... Митька заслужил такую колыбельную...»

— А почему... — начал Кирилл и замолчал. Он хотел спросить, почему Дед не пел эту песню раньше. Не спросил, понял. Надо было иметь право на такую песню.

Теперь они имели это право.

— Давай еще раз, — попросил Кирилл.

— Что ж, давай, — просто и охотно сказал Дед.

Кирилл сел с ним рядом. Он не чувствовал ни капельки смущения, никакой нерешительности, он хотел петь. Он сейчас словно целиком состоял из этой песни. Два голоса — глуховатый и ясный — слились в первой фразе:

Помиритесь, кто ссорился...

Юрки, сидевшие рядом, еще плотнее придвинулись друг к другу.

## Глава 10

— Так... Просто песня, — сказал Кирилл Женьке, когда они шли от оврага после встречи с Чирком. — А почему ты спрашиваешь?

— Она незнакомая какая-то. И хорошая... Ты ее поешь хорошо.

Вот сейчас Кирилл почему-то смутился, хотя Женька не первый раз хвалила его пение. И от смущения заговорил сердито:

— Ты смотри не вздумай болтнуть про Чирка.

— Не вздумаю, — рассеянно сказала Женька. — А ты не притворяйся суровым, ты не такой.

— А какой? — растерянно спросил Кирилл.

— Ну... я не знаю.

— Не знаешь, а влюбилась в третьем классе, — пробормотал Кирилл. Он хотел быть язвительным, но, кажется, покраснел.

— В третьем классе все было проще, — серьезно проговорила Женька. — В третьем классе ты пел песни про Чебурашку, а не такие, как эта... колыбельная.

— Это песня про то, как люди боятся, — вдруг сказал

Кирилл. — Знаешь, бывает так: ветер, огонь, гроза. Люди боятся, но идут.

— Куда?

— «Куда»... — усмехнулся Кирилл. — Куда надо. Ясно, что не кошельки таскать!

— Ну вот, — огорченно сказала Женька. — Сам заступился за Чиркова, а теперь...

— А я не про него...

— А про кого?

— Вообще...

— Странный ты, Кирилл.

— Почему?

— Не знаю... Ты похож на Тиля Уленшпигеля.

— Перегрелась ты на солнышке, — сказал Кирилл и представил себя со стороны, как в зеркале.

— Нет, в самом деле. Такой же худой, и волосы... И... какой-то отчаянный. У тебя тоже пепел стучит в сердце?

— Да ну тебя, — пробормотал Кирилл и от большого смущения брякнул: — Ничего у меня не стучит. Урчит только — в животе от голода. — Тут же он понял, что сморозил глупость, и торопливо проговорил: — По-моему, это ты отчаянная. Так носишься на велосипеде. Я даже не думал, что ты так можешь.

— Что ты! — обрадованно сказала Женька. — Это я с перепугу. Знаешь, как я перетрусила, когда в овраг скатывались!

— Ну вот, — сказал Кирилл. — Значит, эта песня и про тебя...: Ну, пока...

Они стояли на углу улиц Грибоедова и Мичурина, и надо было расходиться.

— До свидания, — сказала Женька и, глядя Кириллу в глаза, протянула узкую ладошку с плотно сжатыми пальцами.

Кирилл осторожно взял эти пальцы и вдруг спросил:

— А на кого я был похож в третьем классе?

— На себя самого, — без улыбки ответила Женька. — Ну, до завтра.

Они разошлись, немного встревоженные странным своим разговором, но в общем-то почти беззаботные и уверенные, что сегодняшний день больше не принесет никаких сложностей. Они еще не знали, что школьные заботы не кончились.

Когда Женя вернулась домой, мама сказала:

— Наконец-то! А у нас Ева Петровна...

А Кирилл медленно ехал по обочине и увидел Зою

Алексеевну, которая с тяжелой сумкой шла по краю тротуара.

Зоя Алексеевна тоже увидела Кирилла. Они сошлись почти вплотную. Разойтись просто так было невозможно. Кирилл это чувствовал. Поздороваться? Но он уже здоровался с Зоей Алексеевной перед сегодняшним горьким разговором. Что было делать? Кирилл сделал то, что сделал бы и раньше, до сегодняшнего дня. Сошел с велосипеда, оттянул зажим багажника и сказал:

— Ставьте сумку, Зоя Алексеевна. Я довезу.

Только не было у него улыбки.

Зоя Алексеевна молча опустила сумку на багажник. Они пошли рядом. Кирилл вел велосипед за руль. Шли и молчали. Но долго молчать было нельзя. Зоя Алексеевна негромко проговорила:

— Жестокие слова ты сегодня сказал мне...

Кирилл чуть заметно шевельнул плечом. Это можно было не заметить. А можно было заметить и понять так: «Что сказал, то сказал. И не жалею».

Зоя Алексеевна кивнула:

— Понимаю. Не раскаиваешься.

Не поднимая головы, Кирилл сказал почти шепотом:

— Нет.

— Ты считаешь, что я предала тебя. Почему? Потому что поверила, будто ты виноват?

— Да.

— Что ж... Наверно, ты прав по-своему.

Кирилл вскинул глаза и встретился с ней взглядом.

Все так же тихо, но не опуская взгляда, он проговорил:

— Я, Зоя Алексеевна, по-всякому прав.

Она улыбнулась коротко и грустно и вдруг спросила:

— Ты не мог бы сейчас зайти ко мне?

— Зачем?

— Чтобы закончить наш разговор.

Он спросил слегка удивленно:

— Разве нужен еще разговор?

— Нужен... Если не тебе, то мне нужен.

Кирилл опять стал смотреть вниз.

— Хорошо, — сказал он. — Только для чего? Все равно вы мне не верите.

— Да верю! — неожиданно громким голосом воскликнула она. Кирилл даже вздрогнул. — Верю я тебе, Кирюша. Я сразу же поняла, что ошиблась. Я десять раз готова попросить извинения. Но я хочу, чтобы ты понял... Горько мне от твоих слов... Я тебя очень прошу — зайдем.

...Зоя Алексеевна жила в глубине заросшего двора, в старом двухэтажном доме, на первом этаже. Раньше, давным-давно, Кирилл не раз бывал здесь. В подъезде почему-то всегда пахло жареной рыбой. И сейчас Кирилл опять ощутил этот запах. На миг он почувствовал себя третьеклассником, прибежавшим сюда разучивать к Первомайскому празднику песню о красном командире.

Велосипед поставили под вешалкой, и Кирилл по мягким домашним половикам вошел в комнату. В знакомую комнату с письменным столом и книгами, с пианино под вязаной накидкой, с узким диваном. С большого фотопортрета строго смотрел пожилой человек в форме железнодорожника — давно умерший муж Зои Алексеевны. Он и раньше так же смотрел со стены, когда Зоя Алексеевна уходила готовить чай, а мальчишки на диване затевали тихую возню...

— Садись, Кирюша, я чайник поставлю.

— Спасибо, мне не надо.

— Кирилл...

— Правда, я не хочу. Я уже пил у Черепановой.

— У Жени? Вы дружите?

— Да нет, я сегодня первый раз к ней зашел. Случайно.

— Она хорошая девочка...

Кирил улыбнулся. Они посмотрели друг на друга и поняли, что надо вернуться к главному разговору.

— Садись... Вот сюда, на диван. А я в кресло... Так вот, милый мой, храбрый, непреклонный Кирилл, ты был, конечно, прав, когда на меня обиделся. Но все-таки прав не «по-всякому». Ты еще мальчик... Не обижайся, быть мальчиком прекрасно. Только вы, мальчики, обо всем судите слишком решительно. Вы просто еще не знаете, что люди меняются... хотя сами меняетесь каждый день...

Кирилл слушал, опустив голову, и помусоленным пальцем оттирал с колена остатки угольной пыли, которую не смыла даже вода Туринки. Он нерешительно возразил:

— Характер все равно остается...

— И характер меняется, и взгляды... Да посмотри на себя. Разве ты был таким? Ты был молчаливый, застенчивый и... не обижайся уж... боязливый даже. Чуть чего — в слезы. А теперь...

— Но я же не стал гадом! Ой, простите...

— Ничего. Конечно, ты не стал. Но бывают и горькие примеры... Вот посмотри.

Из ящика письменного стола она достала пачку фотографий. Нашла и протянула нужный снимок.

Был сфотографирован класс. Наверно, третий. Видимо, снимок был старый: мальчишки в пиджаках без погончиков, стрижки совсем короткие — чубчики да ежики. И Зоя Алексеевна, сидящая среди ребят, выглядела гораздо моложе.

— Это двенадцать лет назад... Взгляни на этого мальчика...

Рядом с Зоей Алексеевной сидел мальчишка с широким улыбчивым ртом и большущими темными глазами.

— Все его любили, — сказала Зоя Алексеевна. — Проказник был, но добрая душа. За мной по пятам ходил, хотя я и сердилась иногда на его проделки... Получили они квартиру в другом районе, а он с классом расставаться ни в какую не захотел. Так до конца учебного года бабушка и возила его через весь город. Пока не перешел в четвертый... А в восьмом он украл из библиотеки магнитофон. Потом, через два года, целой группой они напали на пенсионера, ограбили и так избили, что он умер. И стал мальчик Миша убийцей. Кто виноват? Наверно, разные люди. И сам он, этот выросший мальчик... И я виновата. А как сделать, чтобы все оставались хорошими?

Зоя Алексеевна осторожно взяла у Кирилла снимок.

— И это, Кирюша, не единственный случай, — тихо сказала она. — А теперь взгляни сюда. Узнаешь?

Кирилл взглянул и засмеялся от неожиданности. Еще бы не узнать! Это был их третий «В» в майском походе... Конечно, прогулка через ближний лесок в пригородный совхоз только называлась походом, но тогда казалось, что маршрут серьезный и даже слегка опасный. Приходилось пробираться через ручей по хлипким жердочкам. Потом через колючий ельник, непроходимый, как тайга. Были и происшествия: тяжелый рюкзак перетянул Валерку Самойлова и опрокинул в яму, а там, несмотря на летнюю погоду, лежал еще грязный снег. Пришлось останавливаться и разводить костер. Их первый пионерский костер. И кстати говоря, последний...

Сфотографировал их папа Олега Райского, он вместе с Зоей Алексеевной командовал походом. Обещал каждому сделать по карточке, да, видимо, не собрался. Хорошо, что хотя бы Зое Алексеевне сделал. В конце концов класс-то почти весь остался вместе, а Зоя Алексеевна с ними через три дня распрощалась.

Снимок был сделан во время короткого привала, на

лугу, у изгороди из толстых березовых жердей. Девчонки преданно расселись вокруг Зои Алексеевны, а мальчишки — где попало. Многие забрались на жерди, а кое-кто даже повис на них вниз головой. А Кирилл с длинным Климовым (он и тогда был длинный) стояли на верхней жерди, как на буме, и сражались стеблями прошлогоднего репейника...

— Видишь, Кирилл, все хорошие... Но ведь хочешь не хочешь, а кто-то из них, по всей вероятности, виноват. Кроме ребят из вашего класса, никого у раздевалки не было, когда кошелек пропал... Ты меня упрекнул в предательстве. Но тот, кто украл, тоже предал. Меня, ребят... Ну, пусть не эти ребята, а из другого класса, но все равно предали. Учителей, товарищей...

Кирилл не ответил. Он отыскал глазами Чирка. Петька сидел верхом на большом, видимо чужом, рюкзаке и рассматривал забинтованный локоть: он незадолго до привала споткнулся и ободрал руку.

Чирок был в белой пилотке, парусиновом костюмчике с якорем на нагрудном кармашке — самый маленький из всех, словно первоклассник, которого взяли в поход по знакомству. И как настоящий первоклассник — без пионерского галстука. Один из всех.

— Зоя Алексеевна, а почему Чиркова тогда в пионеры не приняли? — спросил Кирилл.

— Не приняли? — Она пригляделась к фотографии. — Да, в самом деле, я вспоминаю. Кажется, в те дни ему не повезло с оценками. Видимо, так. Поведение-то у него всегда было приличное... — Она вдруг встревожилась: — Но сейчас-то он пионер?

Кирилл кивнул:

— Да, в галстуке ходит.

Зоя Алексеевна улыбнулась:

— А характер? Все такой же или побойчее?

— Все такой же, — усмехнулся Кирилл. — Воды не замутит. На него даже Александр Викентьевич никогда не кричит.

— Почему «даже»? Разве Александр Викентьевич такой сердитый?

Кирилл пожал плечами.

— Если рассказывать, получится, что я жалуюсь. Придите на урок, послушайте... Но, наверно, при вас он будет поспокойнее.

— Он, видимо, просто требовательный.

Кирилл мотнул головой.

— У нас математичка Вера Сергеевна знаете какая требовательная! Но про нее никто ничего плохого не скажет. А чертежник просто злой.

— Ох, Кирюша, Кирюша. Неужели ты думаешь, что кто-то из учителей желает вам зла? Ева Петровна или Александр Викентьевич? Неужели ты так думаешь?

«А в самом деле, — подумал Кирилл, — зачем им хотеть для нас зла?»

— Я не знаю... — растерянно сказал он.

— Вот видишь!

— Нет, я скажу... сейчас... — медленно проговорил Кирилл. — Я просто об этом не думал. А сейчас подумал... Они, конечно, не хотят нам плохого, если не злятся... Но хорошего тоже не хотят, им просто все равно. Им надо, чтобы было спокойно. Чтобы ученики не получали двоек и всегда слушались.

— А что в этом плохого?

— Да не могу я всегда слушаться! — крикнул Кирилл. — Ну глупо же это! В кино с классом не пошел — запись в дневнике: от коллектива отрывается. Петь не хочешь — отдавай портфель! Даже если кошелек не брал — все равно слушайся, признавайся! Делай что говорят! А если ерунду говорят?.. Уроки готовить заставляют — это понятно. Но нельзя же все на свете из-под палки! Человек должен сам выбирать...

— Но сначала надо научиться выбирать правильно. Вот вас и учат. Сейчас ты возмущаешься, а потом поймешь, что Ева Петровна хотела добра.

«А что есть добро? — спросил отец Карлос и подпер дряблую щеку верхним концом нагрудного распятия...» — вспомнил Кирилл.

— А что такое добро? Оно разное, — сказал он.

— Разное, но всегда доброе, — наставительно проговорила Зоя Алексеевна.

Кирилл сказал:

— Я одну книжку вспомнил, фантастику. Летом читал. Там средневековый монах попал в наше время. Он был инквизитор... Ну, приключения разные, не в этом дело... Ему стали говорить, что он злодей, людей сжигал, а он заплакал. Говорит, что сам из-за этого страдал, жалко было. Но он думал, что огнем спасет их душу от греха. Верил, что делает добро...

Зоя Алексеевна удивленно и пристально посмотрела на Кирилла.

— Да, в третьем классе вы так не рассуждали...

Кирилл усмехнулся:

— Маленькие были. Если обидно — заплачем, вот и все.

— Нет, не в этом дело. Вы были добрее... По крайней мере, никто бы не сравнил учителя с инквизитором.

— Да я разве сравниваю? — удивился Кирилл. — Я только считаю, что Ева Петровна не думает про добро. Ей главное — чтобы все выглядело правильно. Чтобы отряд был правофланговый. Чтобы говорить: «Вот какой у меня хороший класс». А что все это напоказ, неважно...

— Кирилл! Ева Петровна работает в школе семнадцать лет!

— И всегда так, как сейчас? — тихо спросил Кирилл. — Это же с ума сойти...

Зоя Алексеевна, кажется, немного рассердилась. Она встала.

— Очень легко судить всех так решительно. Ты забываешь, что у каждого взрослого очень сложная жизнь.

Кирилл тоже встал.

— Ну да. Зато нас, невзрослых, можно судить, как хочешь. Вот вы сказали про того, кто украл: «Он всех предал». А вы же не знаете... Может, он от беды какой-нибудь. От отчаяния. Вы думаете, у взрослых жизнь сложная, а у ребят простая?

Он вдруг увидел, что Зоя Алексеевна смотрит на него растерянно, почти испуганно.

— Кирилл... Ты что-то знаешь?

— Ничего я не знаю, — пробормотал он и отвернулся. Надо же так по-дурацки проболтаться!

— Кирилл... Может быть, ты расскажешь? Если надо, я обещаю молчать.

Кирилл сердито мотнул головой.

— Нет... Может быть, не сейчас. Он, может быть, Зоя Алексеевна, потом вам сам расскажет.

— Но ведь, наверно, надо что-то сделать? Помочь? И этому... человеку. И Оле...

— Какой Оле?

— Студентке.

— Им помогут, — сказал Кирилл.

## Глава 11

Кирилл уехал от Зои Алексеевны с противной смесью стыда и тревоги. Стыдно было за свои слова: «Им помогут». Он думал, что это прозвучит мужественно и твердо,

а прозвучало глупо и напыщенно. Кирилл сразу это понял. Даже покраснел.

Хорошо хоть, что Зоя Алексеевна сделала вид, будто не заметила его глупость. Она ни о чем не стала больше расспрашивать. Опять взяла старую фотографию.

— Между прочим, Оленька Федосеева, у которой сегодня украли деньги, тоже училась у меня. Вот она.

Кирилл увидел круглолицую девчушку в белом передничке.

— Славная девочка, — сказала Зоя Алексеевна. — Всегда помогала мне тетради носить домой. Она неподалеку живет, наискосок, в трехэтажном доме. С мамой вдвоем.

— А в какой квартире? — самым небрежным тоном спросил Кирилл и тут же понял, как фальшива эта небрежность.

Но Зоя Алексеевна опять будто ничего не заметила.

— В девятой, — просто сказала она и хотела убрать снимок.

— Дайте, пожалуйста, я еще посмотрю, — попросил Кирилл.

Теперь он смотрел не на Олю, а на того незнакомого Мишу, который вырос и стал преступником.

У мальчишки смешно торчал растрепанный чубчик и блестели веселые точки в глазах. Симпатичный десятилетний Миша был немного похож на Митьку-Мауса...

И с этой минуты ощущение опасности не оставляло Кирилла. Он ехал домой, а лицо незнакомого Мишки все маячило перед ним.

Почему он стал бандитом? Он же был обыкновенным мальчишкой. Как Митька-Маус. Значит, и Митька может? Значит, все могут?

И Антошка?

Все люди были такими, как Антошка. У них смешно топорщились на темени волоски. Никто из них не хотел зла. Они бездумно улыбались солнечным зайчикам и ловили губами угол пеленки, если он пощекочет щеку. Они все такие сначала. А потом делаются разными.

Если человек хороший, это понятно. А почему некоторые становятся гадами? Вроде Дыбы? Почему?

Может быть, потому, что сначала боятся других гадов? А боятся потому, что одни? Как Чирок?

Кирилл гордо и небрежно бросил Зое Алексеевне: «Им помогут...» Но кто поможет Чирку? Они с Женькой благородно похлопали его по плечу и опять оставили одного. И Чирок небось мечется со своим стареньким «ПВЗ», ду-

мает, как бы продать, чтобы мать не узнала. И снова должен врать и выкручиваться...

А если покупатель окажется таким же подонком, как Дыба? Деньги не отдаст, начнет угрожать? И вновь будет Антошка метаться между страхом и отчаянием, между ложью и желанием вырваться из паутины... То есть Чирок, а не Антошка. Антошке это еще не грозит. Пока. А потом?

Чирок тоже был такой крохой, а сейчас попал в беду. Если отдать его этой беде, через тринадцать лет она придет и за Антошкой.

В самом деле, так может случиться! И получается, что сегодня Кирилл оставил в беде брата.

Но дело не только в этом. Дело просто в Петьке Чиркове. Кирилл вспомнил, как просветлело Петькино лицо, когда он понял, что его простили. А его простили и бросили.

А это предательство. Это все равно как если бы бросили тех, на мысу, когда двигался лесной пожар...

Кирилл затормозил на углу улиц Мичурина и Космонавтов. Надо было решать. Два человека есть на свете, которые сразу поймут и, наверно, скажут, что делать. Отец и Дед. Но отец придет сегодня поздно.

Кирилл взглянул на часы, украшавшие старинное здание библиотеки. Было без пяти минут шесть. Наверно, Дед уже пришел, он кончает работу в пять.

...Из дома доносились визги и вопли.

— Ой-я-я! — орал Митька. — Мучитель! Уйду в интерна-а-ат! Людоед! Мамочка-а!

Митьку-Мауса мыли. В окно вслед за воплями вылетали красивые пузыри. Слышался голос Деда:

— В музей тебя, а не в интернат. В кунсткамеру. Уникальный экземпляр, загадка естествознания. Как ты ухитряешься собирать на себя все, что есть вокруг?

— Не все! — возмущенно голосил Митька. — Убери, она щиплется! Ой, мама!

— Где ты ухитрился отыскать смолу?

— Это гудрон! Ты мне все волосы выдрал!

Кирилл засмеялся и прислонил велосипед к перилам крыльца. Все было знакомо в этом зеленом дворе. Лениво шевелил крыльями желтый ветряк, топтался на краю бочки добродушный петух Дима, доцветали одуванчики. На заборе улыбался нарисованный белой эмалью Митька-Маус — с хвостом и мышиными усами. Это Валерка Карпов нарисовал еще в начале июня.

Кирил вошел в дом. Дед закутывал в простыню оттертого, взъерошенного Митьку.

— Привет! — бодро сказал Маус Кириллу из-под белого балахона.

Дед оглянулся и обрадованно кивнул. Утащил Митьку на диван и пожаловался Кириллу:

— Опять, как в прошлом году, у этого типа глотка запухшая. Мороженого стрескал три порции подряд. Родители уезжают, а он снова с ангиной.

— Чушь это, — строптиво сказал Митька.

— Я тебе дам — чушь! Из постели не смей носа показывать! Понял?

— Понял, — согласился Митька. — Я читать буду. — И спросил у Кирилла: — А ты не скоро уйдешь?

— Дед, — сказал Кирилл, — тут одно дело такое... Долгий разговор.

Разговор оказался не таким уж долгим, Дед все понимал с двух слов.

— Дыба — это кто? Местный «король»? — спросил он.

Кирилл пожал плечами.

— Скорее, не «король», а так, мелкий «барончик».

— У Чирка отца нет?

— Н-не знаю... Ну да, нет. Он говорил, что мать да бабка.

— Наверно, небогато живут, — заметил Дед.

— Наверно...

— Новый велосипед ему уже не купят...

Кирилл внимательно посмотрел на Деда. Дед спросил:

— Девушку эту, студентку, как зовут?

— Оля... Федосеева.

— И адрес помнишь?

Кирилл кивнул.

— Самый простой способ, чтобы поставить точку на всей истории, — пойти к этой Оле и все объяснить, — сказал Дед. — Если она человек хороший, то поймет. Попросит, чтобы в школе не поднимали шума.

— Чирок, по-моему, не пойдет, побоится, — засомневался Кирилл. — Да и денег у него еще нет.

— Ему лучше и не ходить, — сказал Дед. — Мы же не знаем, что за девушка. А вдруг она вцепится и поволокет парнишку в школу? Может, у нее такой педагогический принцип: не прощать и не жалеть. Другим в назидание.

— А кто пойдет? — удивился Кирилл.

— Ты. Расскажи все, а фамилию мальчишки не называй.

— Я?!

— Страшно?

Кирилл подумал.

— Нет, не страшно, — сказал он. — Но... Понимаешь, вдруг она подумает, что я сам виноват и выкручиваюсь. Плету историю, чтобы себя оправдать... Ведь на меня и так в школе...

— Да, пожалуй... — сказал Дед. — Но без риска не проживешь.

— А деньги? — спохватился Кирилл. — Денег-то все равно нет. Их же надо отдавать! Она тоже одна с матерью живет. Тоже, наверно, не миллионеры.

— Я это помню, — кивнул Дед. — Но деньги пока можно взять... те, что у нас на ремонт отложены. Там полсотни.

— Правильно! — обрадовался Кирилл. — А Чирок продаст свой драндулет и вернет.

— Вернет... когда подрастет и заработает, — хмуро сказал Дед.

Кирилл даже приподнялся на стуле.

— Да ты что... Это же общие деньги, ребята по рублю копили. А ремонт?

— Что-нибудь придумаем, до весны далеко.

— Но тогда надо экипаж собирать, чтобы все решили...

Дед сердито захромал из угла в угол.

— Только время потеряем. Неужели думаешь, ребята заспорят? Мы же, Кир, человека хотим спасти. Тогда, в походе, не деньгами рисковали, а головушками...

Кирилл нерешительно сказал:

— Что-то не так... Он все-таки виноват, а мы теперь для него все на блюдечке. Это разве правильно?

Дед язвительно посмотрел на него.

— С точки зрения вашей Евы Петровны, это наверняка неправильно. Только если ты жалеешь человека, то жалей до конца, а не отмеряй свою доброту, как на весах. Это раз. Теперь два: такому пацану заниматься продажей — это опять влипнуть в историю. Мать тогда все узнает, а ты сам говорил, что ей сейчас опасно.

— Для малыша опасно, — тихо сказал Кирилл.

— Значит, не о чем спорить... Я знаю, чего ты боишься: что Чирок привыкнет за чужие спины прятаться, а сам за себя отвечать не научится. Так?

Кирилл кивнул:

— Так, наверно...

— А может быть, наоборот, — задумчиво проговорил Дед. — Может быть, поймет, что есть люди, которые при-

ходят на выручку. Тогда и сам покрепче станет... Кстати говоря, главный-то вопрос не о нем.

— А о ком?

— О Дыбе. Почему такие паразиты плодятся и почему их боятся? Не думал?

— Думал, — сказал Кирилл. — Но это вопрос отдельный.

— Не такой уж он отдельный, — возразил Дед. — С Чирком он вполне связанный. Может, собрать экипаж и всем вместе побеседовать с Дыбой?

— Я уже прикидывал, — сказал Кирилл. — Это вообще-то можно. Только ведь Дыба не одного Чирка щиплет. И не один такой Дыба на свете. А из-за всех подряд экипаж собирать не будешь. Вот если бы у каждого хорошего человека был свой экипаж, тогда бы все Дыбы повывелись от безработицы.

— Да, — согласился Дед. — Тогда бы они вымерли... Ну, ладно, решим пока первую часть вопроса. Бери деньги и шагай.

Кирилл жалобно посмотрел на Деда.

— Давай вместе...

— Зачем?

— Ну... вдруг я не так скажу. Не умею я со взрослыми. Да и вид у меня подозрительный.

Дед засмеялся:

— Кир, не будь хитрее, чем ты есть.

— Нет, в самом деле. Я не боюсь, но...

Дед глянул на Митьку, который лежал, закутавшись в одеяло и уткнувшись в книгу. То ли правда читал, то ли слушал разговор.

— Этого юношу я куда дену? Родителей нет дома, один он не останется.

Митька дипломатично промолчал.

— Может, останешься, Мить? — нерешительно спросил Кирилл.

— Пожалуйста, — с отчаянным мужеством сказал Митька. — Я боюсь, что ли?

Кирилл и Дед переглянулись.

— Свалились вы все на мою голову, — сокрушенно сказал Дед. — Ладно, давай адрес и сиди с этим любителем привидений.

...Сначала Кирилл не очень волновался. Но прошел час, а Деда не было. Конечно, разговор мог затянуться. Кирилл это понимал. Но он помнил, что в семь часов обе-

щал быть дома. Во-первых, мама уже волнуется, во-вторых, будет нагоняй.

Митька на своем диване шуршал страницами и вздыхал. Кирилл ушел в другую комнату, где была у Деда фотолаборатория. Включил увеличитель. В него была вставлена пленка с летними кадрами. Кирилл начал протягивать негатив за негативом и наконец увидел групповой портрет — весь экипаж. Снимок сделали на берегу, автоспуском: привинтили аппарат к пеньку, а сами, обнявшись за плечи, встали у воды. За ними поднимал свои мачты «Капитан Грант»...

И хотя это был негатив — черные лица, темнозубые улыбки, Кирилл сразу узнал каждого и словно опять оказался с ребятами. Даже будто голоса их услышал.

Да, это люди, с которыми не страшны никакие Дыбы. Жаль только, что не могут друзья быть всегда рядом, они живут и учатся здесь, в Заовражке, а он в центре...

Если не кончится теплю, завтра весь экипаж соберется у Деда, а в воскресенье можно поехать в Ольховку, пройтись под парусами. Лишь бы не было штиля...

Задумавшись, Кирилл отвел глаза от кадра.

На половицы затемненной комнаты падал от двери яркий прямоугольник света. Кирилл стал смотреть, как блестят отполированные подошвами сучки. Потом в прямоугольник влезла длинноногая тень. Кирилл оглянулся. В двери, приподняв плечи и обхватив себя за тощие бока, стоял Митька-Маус.

— Ты что, Митька? Ты не бойся, я сейчас приду.

— Я не боюсь, я так...

Митька поддернул трусики и прошлепал к столу.

— Не спится, — со взрослым вздохом сказал он. — Дед придумал чепуху: в такую рань укладываться.

— Ты же простуженный. Лежал бы и читал.

— Ха, «Незнайка на Луне»! Я эту книжку уже десять раз читал. А ты негативы смотришь?

— Ага. Вспоминаю, — сказал Кирилл.

Митька неожиданно засопел и забрался к нему на колени. Вроде бы для того, чтобы лучше разглядеть кадр. Но смотреть не стал и вдруг неуклюже прижался к Кириллу.

Он был с мягкими после ванны волосами, непривычно маленький и тихий. От него пахло ромашковым мылом и еще почему-то свежим холстом, как от новой парусины, когда ее расстилают на солнце.

Кирилл перестал шевелиться.

— Ты что, Мить? — осторожно спросил он.

Митька горячими ладошками взял его за шею, заставил нагнуть голову и щекочущим шепотом сказал в ухо:

— Кир, давай мы подружимся. Я давно хочу.

Кирилл растерялся.

— Ну... давай. А мы разве... Мы же и так...

— Нет, не так, — решительно зашептал Митька. — Давай крепко и навеки. Чтобы говорить все тайны друг другу. И всегда-всегда будем заступаться друг за друга. Давай, а?

Услышав насчет «заступаться», Кирилл подавил улыбку. Но тут же забыл об этом. В следующий миг поднялась в нем щемящая ласковость к малышу, к нескладному фантазеру Митьке-Маусу, боящемуся привидений, к отчаянному баковому матросу, которому не страшен бешеный ветер. К товарищу по штормовым плаваниям, которого нельзя обидеть и обмануть.

Он легонько сдавил тоненькое, как у птицы, Митькино плечо, глотнул, мысленно окликнул на всякий случай зеленого Джимми и сказал:

— Давай, Митя.

Потом подхватил его и понес на диван. И, чтобы Митька не подумал, что «давай» сказано просто так, Кирилл спросил:

— А у тебя есть тайны? Расскажешь?

Митька улегся на спину, натянул до нижней губы одеяло и серьезно сообщил:

— Есть одна. Я за сараем клад зарыл. Такой сундучок, а в нем старинные монетки, я их еще в детском садике начал собирать. Это не для богатства клад, а для интереса.

— Для интереса даже лучше, — сказал Кирилл.

— А у тебя? — требовательно спросил Митька.

— Что у меня?

— У тебя тайна есть?

Придуманную тайну рассказывать было нельзя. Митька мог догадаться, что это не по правде. И нечестно это было бы.

Кирилл сказал, глядя в Митькины внимательные глаза:

— У меня есть... Сегодня появилась. Мне одна девочка очень нравится.

Митька серьезно опустил ресницы, будто кивнул: он понимал важность тайны. Потом опять посмотрел на Кирилла — с неожиданной тревогой.

— А ты со мной не раздружишься из-за нее?

— Ну что ты, Мить...

— А можно, я к тебе когда-нибудь приеду?

— Конечно, приезжай.

— Я на велосипеде. Мне Алька старый «Орленок» отдал, Дед обещал починить. Обещал, что сегодня, а сам не идет.

За стеной еле слышно пикнуло радио.

— Девять часов, — нервно сказал Кирилл. — Где он ходит? У меня дома, наверно, уже паника, я в семь часов хотел приехать... Ох и шум будет!

— Налупят? — сочувственно спросил Митька.

— Да при чем здесь «налупят»! Меня ни разу не лупили. Просто мама с ума сходит...

Митька горько вздохнул:

— Так и бывает: сперва за тебя волнуются, а потом тебе же и всыплют.

— Бывает? — с мрачноватым юмором переспросил Кирилл. — Ты меня утешил...

— Первый раз не больно лупят, а только для испуга, — с глубоким знанием дела успокоил Митька.

Кирилл погладил на Митьке одеяло и тревожно задумался.

Наконец звякнула во дворе калитка. Митька приподнялся, Кирилл встал.

Появился немного всклокоченный от поспешной ходьбы Дед.

Кирилл торопливо шагнул к нему.

— Ну что?

— Да все в порядке, — торопливо сказал Дед. — Все в самом полном порядке. Очень милая девушка, все она поняла.

Кирилл шумно вздохнул и как-то ослабел, будто после тяжелой работы. Но через несколько секунд сердито спросил:

— Если сразу все поняла, где тебя носило два часа?

— Не «носило», а «сидело». У ее мамы день рождения, полон дом людей. Меня сразу за стол упихали, думали, что я тоже гость...

— А ну, дыхни, — строго сказал из своего угла Митька.

— Я вот тебе дыхну... Кос-как объяснил этой Оле, что по делу пришел. Зову из-за стола, а все кричат: «Молодой человек, объясняться будете потом!» Она, бедная, краснеет... Ну, потом ей все рассказал. Она скажет завтра в школе, что кошелек завалился за подкладку в плаще, вот и все.

Кирилл ощутил смутное беспокойство: в придуманной

истории с подкладкой почудилось что-то неправильное. Но сейчас было не до мелочей.

— Деньги-то отдал?

— Да, самое главное! — воскликнул Дед. — Кто придумал про сорок рублей? В кошельке было всего четыре рубля: металлический и три бумажки. На остальные она матери подарок купила, кофточку какую-то...

Кирилл растерянно заморгал.

— Вот это да... А чего же тогда говорили: стипендия, стипендия... И почему она ревела в учительской?

— Ну и что? Она же почти девочка, — как-то очень мягко сказал Дед. — Кошелек было жаль, ей мама его подарила. А самое главное — от обиды... Пришла ребятишек учить, вся душа наружу, а они ей вон какой сюрпризик... Про стипендию она и правда говорила: о том, что получила ее утром. Просто объясняла все по порядку. Видно, никто не понял... Хотя бы подумали: разве кошелек с такими деньгами оставляют в наружном кармане плаща?

— Ясно... — досадливо сказал Кирилл. — А четыре-то рубля отдал?

— Да не взяла она. Покраснела — и ни в какую... Славная такая девушка.

— Все понятно, — сказал Кирилл.

— Что понятно?

— Почему ты не торопился.

— Иди ты знаешь куда...

— Я не иду, я лечу. У меня тяжелое предчувствие: кажется, меня сегодня первый раз в жизни выдерут.

— По-твоему, я совсем идиот? — обиделся Дед. — Я же позвонил вам домой с автомата. Сказал, что ты у меня.

— Да у нас телефон не работает!

— Представь себе, уже работает!

— Уф... — облегченно произнес Кирилл. — Это дает надежду на спасенье. Ну, все равно я помчался. До завтра!

Он выскочил на темный двор, схватил руль. И тут его остановило будто крепким толчком.

Кирилл торопливо вернулся в комнату. Митька-Маус полусидел в постели, упираясь в подушку локтями. Встревоженно и с обидой смотрел на дверь.

Мельком глянув на удивленного Деда, Кирилл подошел к Митьке и сел на краешек дивана. Взял Мауса за похожие на лучинки запястья.

— Ну вот, Мить, я поехал. Спокойной ночи... — Потом понизил голос и сказал: — Ну, ты смотри, мы договорились: про наши тайны — никому.

Митька заулыбался и быстро закивал.

И, уже проносясь в сумерках по переулкам и спускам, Кирилл словно все еще видел перед собой Митькино лицо со счастливой улыбкой.

## Глава 12

Сентябрь, даже очень теплый, — все-таки не настоящее лето. Днем жарко, а после заката воздух становится зябким. Чтобы не продрогнуть, Кирилл изо всех сил нажимал на педали.

Он был уже на середине мостика, когда внизу у камней замелькал фонарик. Кирилл разглядел на берегу мальчишку. Тот суетливо прыгал, натягивая брюки. Фонарик у него в руке дергался и мигал.

Что-то знакомое, птичье было в мальчишке, и, доехав до конца мостика, Кирилл уже понял.

— Чирок! Петька! Это ты?

Фонарик замер.

Кирилл резко повернул и съехал к воде.

— Ты что здесь делаешь, Петька?

Чирок секунду постоял растерянно, потом положил на траву включенный фонарик и начал заталкивать под брюки подол рубашки. Его лицо, освещенное снизу, казалось странным и очень несчастным. Маленькое острое лицо с ушедшими глубоко в тень глазами. Смотрел Чирок не на Кирилла, а в сторону.

— Ты что... — начал опять Кирилл и замолчал, начиная догадываться. Петькина рубашка прилипла к мокрому телу, волосы тоже были мокрыми.

— Кошелек искал... — даже не спросил, а просто сказал Кирилл.

Петька зябко вздрогнул и проговорил:

— Я подумал: он, может быть, в камнях застрял.

— Ты ненормальный, да? Вода как лед!

— Да не холодно, — сказал Петька и стукнул зубами. Это было для Кирилла как удар тока.

Все, что произошло сегодня, отодвинулось и стало неважным. Остался только страх за бестолкового Петьку. Если Чирка немедленно не закутать, не согреть, не выгнать из него озноб, дело кончится бедой. Два года назад Кирилл почти месяц провалялся после такого вот купания, когда вылавливал в ручье упавший насос от велосипеда. Тоже говорил тогда: «Не холодно...»

Закутать Петьку было не во что.

— Псих, честное слово, — сердито и жалобно сказал Кирилл. — А ну, пошли наверх! Бегом!

Чирок послушался.

— Толкай велосипед, — велел Кирилл.

Петька молча подчинился. Сухая глина сыпалась из-под ног, дышать было тяжело. Два раза Кирилл коленями брякнулся на острые земляные комки. Но все это было неважно: главное, чтобы Петька разогрелся.

Шумно дыша, они выбрались наверх.

— Садись в седло, — приказал Кирилл. — Ну, садись, говорят! Повезешь меня.

Петька понял. Кирилл разглядел его виноватую улыбку.

— Я тебя не увезу.

— Увезешь как миленький, — сказал Кирилл и сел на багажник.

Петька, тяжело вихляя рулем, повез его по переулку, Кирилл толкнулся ногами, скорость увеличилась.

— Да жми ты! — прикрикнул Кирилл.

Петька послушно жал. Когда подъехали к дому, он дышал, как пароход времен Марка Твена.

— Дома кто? — спросил Кирилл.

— Никого. Бабушка в деревне, мама... она у знакомых...

— Пошли...

В Петькиной комнате была очень яркая лампа. Она вспыхнула, как кинопрожектор. Кирилл зажмурился и лишь через полминуты смог осмотреться. Комната была низенькая и тесная. С узким диваном, с письменным столиком, приткнувшимся между окон. Подоконники были заставлены аквариумами. В этих стеклянных ящиках метались разбуженные светом рыбки, похожие на разноцветные перья и осенние листики. На стенах приколоты были цветные вырезки из журналов — тоже с разноцветными рыбами, а еще с батисферами и аквалангистами.

Все это Кирилл заметил машинально. Сейчас было не до рыб. Петька стоял посреди комнаты и смотрел на Кирилла виновато и растерянно.

— Ванна есть? — спросил Кирилл и тут же мысленно обругал себя за глупость.

— Какая у нас ванна... — сказал Петька.

«Надо было сразу его к себе тащить, — подумал Кирилл. — Хотя кто знает: может, горячей воды опять нет...»

— Ладно, раздевайся, — сердито сказал он.

— Зачем? — боязливо спросил Петька.

— Балда. Чтобы не помереть.

Петька, стеснительно поеживаясь, потянул через голову рубашку, выбрался из промокших сзади брюк. Из кармана выпал и тяжело стукнулся о пол фонарик.

— Иди трусы переодень, — велел Кирилл. — Мокрые же. Да шевелись, моя радость..

Он заставил Чирка постелить постель, притащить два одеяла и суровое полотенце. Он делал то, что однажды мама делала с ним, промокшим под холодным ливнем. Уложил Петьку на диван вниз лицом и начал тереть полотенцем его тощую спину так, что позвонки застучали друг о друга, будто костяшки на счетах.

— Ой-ей! — жалобно сказал Петька.

— Вот тебе и «ой-ей». Не будешь в воду соваться. Неужели думал, что в самом деле кошелек найдешь?

— Думал... ой... А что делать? Тот парень сказал, чтоб от мамы записка была, что разрешает велосипед продать...

— Не надо ничего продавать, — объяснил Кирилл. — Не было в кошельке никакой стипендии. Четыре рубля было. Все уже уладилось, не мучайся ты больше...

Петька дернул плечами и взглянул на Кирилла.

— Правда?

Ух и глаза были у него! Синие, как Тихий океан. Неужели человек с такими глазами может стать подонком вроде Дыбы?

— Не дрыгайся, — ответил Кирилл. — Все правда.

Петька лег щекой на согнутый локоть и вдруг проговорил, не обращая уже внимания на скребучее полотенце:

— А я не из-за велосипеда... Я все равно бы... Хотел, чтобы скорее ничего не было.

— Ничего уже и нет, — строго сказал Кирилл.

Он загнал Петьку под одеяло, закутал. Потом в кухне на маленькой газовой плите согрел чайник и налил в бутылку горячую воду, заткнул бутылку пробкой из туго скрученной газеты и сунул Петьке в ноги. После этого заставил выпить кружку горячего чая.

Петька все выполнял безропотно, только вдруг посмотрел на Кирилла из-за кружки и тихо спросил:

— Векшин, а чего ты со мной возишься?

— Ну вот, — растерянно сказал Кирилл. — Не твое дело. Хочу и вожусь.

Не мог же он объяснить Петьке, что чем больше возится, тем сильнее растет в нем непонятное чувство: будто Петька ему не чужой.

— Хочу и вожусь, — повторил он. — Давай сюда кружку и накрывайся как следует.

Петька укрылся по самый нос. Потом заговорил. Губы у него были под одеялом, и слова звучали глуховато:

— Кирилл... Я тогда не сказал при Черепановой... Я знаешь почему от вас побежал? У нас тогда один человек был дома, я не хотел, чтобы при нем... Ну, это наш друг хороший... Понимаешь, Кирилл, они с мамой пожениться хотят, значит, он у меня как отец будет. А если узнает, что я вор, зачем ему такой сын...

Он повернул голову набок и стал смотреть в стену.

Кирилл осторожно положил руку на одеяло.

— ...Петька. Я же говорю: забудь ты об этом кошельке...

Петька, не оборачиваясь, сказал:

— Никогда я об этом не забуду... Кирилл, я бы еще в классе, наверно, признался, если бы не этот человек... который... ну... отец...

Потом помолчал и шепотом добавил:

— Нет, не признался бы... Я трус.

— Просто ты был один, — сказал Кирилл.

Уже совсем тихо Петька проговорил:

— Если бы тебя по правде обвинили... Ну, если бы все этому поверили... Тогда я признался бы. Не веришь?

— Петька, — сказал Кирилл. — Я к тебе утром перед школой зайду. А сейчас побегу, меня дома потеряли.

Петька резко повернулся к нему.

— Завтра? А зачем? А... правда придешь?

— Ага, — как можно беззаботнее откликнулся Кирилл. — А сейчас ты лежи, не вздумай вскакивать.

— Ладно, — обрадованно согласился Петька. — А ты в самом деле придешь?

— В самом деле... Петька, чем ты рыб кормишь? Я хотел аквариум устроить, а все рыбы передохли.

Это он наврал. Просто чтобы успокоить Чирка.

— Я тебе расскажу! — Петька даже подскочил.

— Завтра, — перебил Кирилл. — А сейчас не вздумай вставать.

— Ага.

— Честное пионерское, что не встанешь?

Петька отвел глаза, поскучнел и не ответил.

— Ты чего? — встревожился Кирилл.

— Не хочу я больше врать, — сумрачно сказал Петька. — Я же не пионер... Я же не вступал. Просто, когда приехал в санаторий, сказал, что дома галстук забыл, там

ведь не проверяли, пионер или нет. А когда вернулся, сказал, что в санатории приняли, там дружина была, как в школе.

— Теперь уже все равно. Два года галстук носишь, — нерешительно сказал Кирилл.

— Нет, не все равно... Я же не давал обещания... Вообще-то давал. Я в пионерскую комнату пришел, когда никого не было, за знамя взялся и шепотом рассказал обещание... Но это ведь не считается?

— Если всерьез давал, то, по-моему, считается, — сказал Кирилл. — Ну лежи, Петька. До завтра...

Прежде чем идти домой, Кирилл позвонил из автомата.

— Мама? Это я... Ну, я понимаю... Мама, ну такие дела были! Бывают же уважительные причины. Мам, ты сперва послушай! Даже преступникам последнее слово дают... Ну ладно, ну хорошо, я согласен, хоть кочергой... Я специально у Деда попрошу... А его-то за что? Он хороший!.. Нет, мамочка, не надо, без велосипеда я помру... Антошка уже спит?.. Как это не мое дело! Как укачивать — так мое, а спросить нельзя, да?.. Ладно, еду. Да, да, немедленно!..

Дома Кирилл узнал, что он — лишенное совести и благородства чудовище, у которого одна цель: довести до погибели родителей. И самое ужасное, что, сведя в могилу отца и мать, он оставит сиротой не только себя, но и ни в чем не виноватого младшего брата.

— Мама, но Дед же позвонил!

— После того как он позвонил, ты болтался еще больше часа! Как я не сошла с ума?.. Девочка приходила, принесла портфель, сидела, ждала. Зачем-то ты ей был нужен. Так и не дождалась!

— Женька?!

Надо же! А Кирилл и забыл, что портфель у нее остался. Молодец, притащила!

— Не Женька, а Женя... Где тебя носило?

— Я спасал утопающего, — брякнул Кирилл, потому что выхода не было.

— Что? — прошептала мама и опустилась на табурет.

— Да, — сказал Кирилл. — Почти... Можно, я чего-нибудь поем? А то упаду, и меня уже никто не спасет.

Мама его простила и накормила. А что ей оставалось делать? Правда, она сказала, что скоро придет отец (которого тоже где-то носит нелегкая) и тогда Кириллу придется отвечать по всей строгости.

Отец пришел изрядно вымотанный, но в хорошем настроении.

— Дитя мое, — сказал он, — когда кончишь набивать живот, изложи в деталях события дня... Что это получается? Не успел отец прилететь, как его уже тянут в школу. Посреди рабочего дня! Бред какой-то!

— Изложу, — согласился Кирилл.

Они пошли в комнату, на диван, и Кирилл начал рассказ: про хор, про кошелек, про Еву Петровну...

Лицо у Петра Евгеньевича делалось серьезней и серьезней.

— Слушай-ка, — вдруг перебил он. — А может быть, Ева Петровна сказала мне правду?

— Что? — прошептал Кирил. Потом крикнул: — Какую правду?! Ты о чем!

— Что с тобой? — удивился Петр Евгеньевич. — Я же только спросил. Она говорила, что лучше перевести тебя в другую школу. Я и подумал...

— А я подумал, что ты про кошелек...

Отец помолчал, погладил лысину и печально сказал:

— Ну и дурак...

Кирилл с облегчением рассмеялся.

— Рассказывай дальше, — велел отец.

Кирилл рассказал про Чирка, про Дыбу, про то, как Петька пытался найти кошелек.

— Вот и все...

Отец хмыкнул, вскочил и зашагал по диагонали.

— Ты думаешь, я неправильно сделал? — сердито спросил Кирилл.

— Что?

— Ну с Чирком. Что решил молчать... и вообще...

— Не знаю... Теперь это уже не имеет значения. Теперь ты должен делать, что решил.

— Я и делаю...

— Да, Ева Петровна тебя не одобрила бы... Кстати, твое сегодняшнее поведение она считает вызывающим, ужасающим, подрывающим основы педагогики...

— А ты как считаешь? — с любопытством спросил Кирилл. Привалившись к спинке дивана и подтянув к подбородку колени, он следил за отцом.

Петр Евгеньевич почти забегал.

Кирилл снисходительно вздохнул:

— Трудное у тебя, папа, положение. Согласиться с Евой Петровной тебе совесть не позволяет. А сказать, что прав твой сын, непедагогично. Да?

Отец подскочил и ухватился за подтяжки.

— Не городи чепуху, любезный! «Педагогично, непедагогично!» Я прекрасно знаю, что отбирать портфели и обшаривать карманы — это бред. И нельзя с бухты-барахты называть человека вором! Но согласись, что и ты держал себя не лучшим образом! Еву Петровну возмутил больше всего твой тон.

— Когда не к чему придираться, придираются к тону, — объяснил Кирилл. — Стоит открыть рот, как уже говорят, что грубишь... Начинаешь доказывать, что нет никакой грубости, а тебе сразу: «Ах, ты еще и споришь!»

— Ну, это бывает иногда, но все-таки...

— Папа, — перебил Кирилл, — тебе сколько было лет, когда у тебя первый раз отобрали портфель и послали тебя за родителями?

— Что?.. Да, было... Девять лет. В третьем классе.

— И что ты делал?

Петр Евгеньевич отпустил подтяжки, и они щелкнули его по плечам.

— Что я делал... Плакал, кажется.

— И я раньше плакал, — сказал Кирилл и встал. — Видишь, папа, в чем дело: я плакал и был хороший. А сейчас я научился не плакать... если даже хочется.. Но я не виноват, это виновата зеленая обезьяна.

Петр Евгеньевич изумленно уставился на сына.

— Какая... обезьяна? Это ты про Еву Петровну?

Кирилл с хохотом рухнул на диван.

— Ой, мамочки!.. При чем здесь Ева Петровна! Это шутка такая... Ой, слышала бы она!

Нахохотавшись, он вскочил, подошел к отцу сзади и повис у него на плечах.

— Смотри, я скоро с тебя ростом буду.

— Рост линейной величины сам по себе не есть признак роста качества. Проще говоря, велика Федора... — ответствовал Петр Евгеньевич. — Кстати, почему ты уходишь от серьезного разговора?

— Разве я ухожу? — удивился Кирилл. — Я как раз хотел...

— Да? А что хотел-то?

— Хотел спросить: как ты думаешь, почему наша Ева Петровна т а к а я?

— Какая «такая»? В общем-то обыкновенная. Ты слишком сурово на нее смотришь.

— Ага! Ты еще скажи: «Какое ты имеешь право обсуждать взрослого человека?» А как жить, чтобы не об-

суждать? Все равно обсуждается — не вслух, так в голове. Мозги-то не выключишь.

— Видишь ли, Кир... Обсуждать и судить — разные вещи. Чтобы судить, надо понимать. Ты пробовал понять эту Еву Петровну — устающую каждый день в школе, издерганную семейными хлопотами? Возможно, не очень здоровую. И тем не менее работающую с полной отдачей. Ради вас.

— Ради нас? А нас она спросила, надо ли нам это?

— Подожди. Я сегодня с ней беседовал и вижу: она искренне убеждена, что поступает правильно, она отдает своей работе массу сил. А то, что она не всегда вас понимает, ну что ж...

— Вот видишь! Она не понимает, а мы должны, да?!

— Дорогой мой Кирилл, — медленно сказал отец, а Кириллу вдруг вспомнилась Зоя Алексеевна. — Человеческие отношения — это ведь не рынок, где торговля и обмен товарами: ты мне дал столько, я тебе за это столько... Нельзя так мерить — ты проявил столько понимания, и я тебе отмерю равную дозу. И с добротой так нельзя. И тем более с обидами. Чем лучше человек, тем добрее он к другим и тем больше понимает других людей. Потому, что он такой, а не потому, что ждет платы за доброту... Кир, ты сейчас не спорь, ты просто подумай.

— Ладно, — вздохнул Кирилл.

Отец обнял его за плечи.

— Ты пока дерешься со злом по-мушкетерски. А нельзя ведь все в жизни решать как в бою на шпагах. Человеческое понимание — это, если хочешь, тоже оружие в борьбе за справедливость... Если ты постараешься поглубже взглянуть на Еву Петровну, может быть, и она станет добрее.

— Ага... Папа... — сказал Кирилл. — Дело-то не во мне. Дело в Чирке. Поймет ли Ева Петровна его?

— Ну... не все решается сразу и просто, — проговорил Петр Евгеньевич. — Утро всегда мудренее. Засиделись мы...

— Ага... Папа! Но ведь не с каждым можно так, «с пониманием». У меня еще серьезный вопрос.

— Ну, давай.

— Ты, когда служил на границе, изучал всякие приемы? Самбо там, каратэ и всякое такое?

— Ну... да. Нас учили.

— А почему ты мне никогда не показывал?

— Да потому, что это не игрушки... Тебе зачем?

— А если привяжется вот такой Дыба.

Отец грустно и внимательно посмотрел на Кирилла.

— От того, что ты выучишь каратэ, Дыбы не исчезнут. Они тоже выучат приемы и приспособятся.

— Я понимаю, — согласился Кирилл. — Но я же не вообще, а если... вдруг он полезет.

— Ладно, кое-что покажу, — сказал отец. — Не все, конечно. Есть приемы, которые показывать я просто не имею права... Да и позабыл, по правде говоря.

— Сейчас покажешь?

— Надеюсь, тебе не грозит немедленное нападение?

— Немедленное не грозит...

— Ну и прекрасно. Тем более что ты, по-моему, еще не брался за уроки. Ты об этом думаешь?

— Не-а, — честно сказал Кирилл. И отправился спать.

Он устал ужасно. Он словно тащил на плечах весь прошедший день — громадный, тяжелый, печальный и радостный.

Но все-таки у Кирилла хватило сил зайти посмотреть на Антошку.

— Тише, — сказала мама. — Он только уснул.

Она уложила Антошку, впервые не спеленав ему руки. Антошка спал, закинув к голове крошечные сжатые кулачки. Его реденькие светлые брови были сурово сведены. Что ему снилось, что его, кроху, тревожило?

## Глава 13

Каждое утро Кирилл просыпался с тревогой: не кончилось ли ночью лето? Он понимал, что осень вот-вот возьмет свое, но все-таки думал: «Пусть еще немножко будет тепло. Хотя бы денек...»

Лето продолжалось. Субботний день начинался с ясным небом и теплым солнцем. Больших забот он не обещал. Уроков труда нет, значит, в школу надо идти лишь к половине одиннадцатого. Потом немецкий и биология. После школы одно только дело — слетать в молочную кухню. Потом — на велосипед и к Деду: договариваться о завтрашнем плавании.

— Мама, отпустишь? А то мы давно всей командой не собирались.

Он знал, что мама отпустит. Тем более что у отца выходной, есть кому повозиться с Антошкой.

Мама сказала:

— Ты бы почистил ботинки, мореплаватель. И форму

заодно. Взрослый парень, а следить за собой не научишься. Выглядишь как разбойник.

Кирилл возразил:

— Нет, я симпатично выгляжу. Мне вчера сказали, что я на Тиля Уленшпигеля похож. Тебе не кажется?

Мама сказала, что Кирилл похож на косматое пугало, и спросила, куда он отправляется так рано, если нет первых уроков.

— Я к одному мальчику зайду, к Петьке Чиркову...

Короткий путь на улицу Грибоедова лежал мимо гаражей. И там, на бетонных плитах, опять в окружении свиты возлежал Дыба.

«Когда он учится? — подумал Кирилл. — Он же всем рассказывал, что в техникум поступил...»

Дыба тоже увидел Кирилла и неторопливо встал. Кирилл не замедлил и не ускорил шагов, хотя, по правде говоря, стало слегка неуютно. Дыба пошел навстречу. Он двигался небрежной походкой мексиканского танцора, упираясь растопыренными пальцами в бедра. На его пятиугольной физиономии была добродушная, даже дружелюбная ухмылка.

— Привет, Кирюха. Не бойся.

— Похоже, что я боюсь? — спросил Кирилл, и проснувшаяся злость пригасила страх.

— Ты человек смелый, — великодушно согласился Дыба и оглянулся на компанию. Димка Обух, Козочка и двое незнакомых парней лет четырнадцати выжидательно смотрели на предводителя и с нехорошими улыбками — на Кирилла.

— Как насчет маечки? Не надумал?

— Не надумал, — ответил Кирилл, ощущая холодок в груди. — Лучше отдай эти деньги Чирку. Сколько рублей ты с него натряс?

У Дыбы на секунду приоткрылся рот. Улыбка сошла. Но он тут же сделал вид, что ничуть не удивлен. Укоризненно покачал головой. Спросил:

— Ты дурак? Это выступление как понимать? Случайность или на принцип пошел?

— Не случайность, — сказал Кирилл.

— Ясно, — с пониманием проговорил Дыба, и в голосе его даже проскользнуло уважение. — Кодлу заимел?

Кирилл коротко засмеялся:

— А говоришь, что я дурак! Сам ты дурак. Ты думаешь, что тебя всю жизнь будут бояться?

Дыба зевнул, наклонил голову, осмотрел Кирилла от

ботинок до макушки. Изобразил на лице жалость и сочувствие.

— Хороший ты пацан, — медленно сказал он. — Никогда тебя не трогали, обрати внимание. Но будешь выступать, смотри — маме с папой жаловаться бесполезно. Не помогут.

— Если надо, то помогут, — сказал Кирилл. — Но и без них есть кому с тобой поговорить.

Дыба вдруг резко вскинул руку и затем с улыбочкой пригладил волосы. Это был старый-старый трюк: взять противника на испуг.

Кирилл не дрогнул. По правде говоря, он просто не успел среагировать, но это оказалось к лучшему. Он спокойно стоял и смотрел, как Дыба с глупым видом гладит голову.

— А если бы я был нервный? Мог бы ведь испугаться и врезать, — сказал Кирилл, удивляясь собственному нахальству. — У меня, конечно, весовая категория в два раза меньше, ты вон какой. Но с испугу-то я мог...

Дыба опять заулыбался и... вдруг протянул руку. Это был истинно королевский жест — сдержанный, но исполненный великодушия.

— Кирилл, ты мне нравишься, я таких уважаю. Между нами ничего не было. Давай жить, чтобы друг другу не мешать.

Кирилл посмотрел на его широкую пятерню, украшенную дешевым перстнем. Потом на его лицо.

— Не забудь насчет Чирка, — сказал он. — Будь здоров.

Он обошел Дыбу и двинулся к проходу в переулок.

— Стой, — негромко произнес Дыба.

Кирилл оглянулся. Лицо Дыбы сейчас было совсем не такое, как несколько секунд назад. Ухмылочка стала кривой и болезненной, будто Дыба неосторожно коснулся языком больного зуба. А глаза смотрели стеклянно, как у куклы. «Наверно, нарочно тренирует такой взгляд», — подумал Кирилл.

— Ну, чего? — спросил он.

Дыба, вильнув поясницей, сделал к нему шаг.

— Я два раза в любви не объясняюсь, — сказал он и сплюнул. — Поимей в виду, крошка: не всегда на улице светло и не везде кругом окна.

Кирилл кивнул:

— Поимею. А ты насчет Чирка все же подумай.

Дыба хмыкнул, повернулся и зашагал прочь, не взгля-

нув больше на Кирилла. Через несколько шагов обернулся и крикнул своей компании:

— В час двадцать у «Экрана». Вовку прихватите, пускай привыкает головастик.

Кирилл пошел своей дорогой. Он понимал, что оглядываться нельзя, хотя могли догнать, ударить сзади. Могли бросить кирпичом. Все могли. И Кирилл шел, ощущая мелкое противное дрожание в мускулах. Но не оглянулся. Оглянуться — значит проиграть. А пока была ничья...

Минут через двадцать он был в доме у Чирка. Постучал в обитую клеенкой дверь. Долго не открывали. В сенях пахло квашеной капустой — видимо, от кадушки в углу. Гудела большая зеленая муха. Это гудение вызывало непонятную досаду и беспокойство. И, когда за дверью послышались шаги, Кирилл уже почти знал, что случилось что-то нехорошее.

Открыла дверь низенькая женщина в косынке и очень просторном халате. У нее было усталое и озабоченное лицо. Она не удивилась, увидев Кирилла.

— Здрасте. А Чи... Петя дома? — сбивчиво спросил Кирилл.

Она кивнула. Потом сказала усталым полушепотом:

— Проходи... Заболел Петенька.

«Так и есть», — с тоской подумал Кирилл и вопросительно посмотрел на Петькину маму: «Может, к нему нельзя?»

— Проходи, ничего, — повторила она. — Жар у него. А все спрашивает, не пришел ли мальчик. Ты это?

— Я, — сказал Кирилл и пошел вслед за ней в комнату,

Чирок лежал, укрытый по самый подбородок, — так, как вчера укрыл его Кирилл. Лицо у него было темно-розовое, с капельками на лбу. На широкой подушке это лицо, худое, остроносое, казалось совсем маленьким, как у младенца. А глаза были большие. Чирок словно обнял Кирилла этими больными глазищами, облизнул губы и сказал очень тихо:

— А я все думал... придешь или нет...

— Чего зря думать? Я же сказал вчера, — пробормотал Кирилл.

Чирок медленно вздохнул, и его тощенькая грудь приподнялась и опустилась над одеялом. Он не отводил от Кирилла свои очень потемневшие глаза.

— Садись рядом... на табуретку.

— Только недолго, Петенька, — попросила мама. — Тебе поспать надо, а мальчику, наверно, в школу.

Чирок опустил ресницы: «Ладно». Мама вышла.

— Свалился все-таки, — сказал Кирилл со смесью досады, жалости и неловкости.

— Ага, — виновато прошептал Чирок. — Маме не говори про мое ныряние. Она думает, что я случайно простыл... Я все равно недолго пролежу.

Кирилл посмотрел на его горящий лоб, на слипшиеся прядки волос и промолчал.

Чирок тоже молчал.

— А что болит? — спросил наконец Кирилл.

Чирок слабо улыбнулся:

— Да ничего. Дышать немного тяжело. И ночью всякая ерунда снилась. Давит будто...

Кирилл сказал:

— Сейчас Дыбу видел. Я ему говорю, чтобы деньги тебе отдал, а он, бандюга, пугает.

— Не отдаст он...

— Наверно, не отдаст. Ну, черт с ними, с деньгами, пусть подавится, лишь бы никого больше не трогал.

— Он будет... — прошептал Чирок.

— Там посмотрим, — хмуро произнес Кирилл.

Заглянула в комнату Петькина мама.

— Я пойду, — торопливо сказал Кирилл. — Ты пока спи, тебе надо. Я зайду.

— Когда?

— После школы зайду. Ты поправляйся.

Чирок опустил ресницы. Потом вытянул из-под одеяла руку. Кирил взял его за пальцы и чуть не обжегся.

— Ох и раскалился-ты...

Чирок опять разлепил губы:

— Правда придешь?

— Я же сказал.

— А... почему?

Кирилл понял. Это был такой же вопрос, как вчера: «А чего ты со мной возишься?»

— Потому что мне хочется, — сказал он сердито. — Лежи и спи.

В коридоре ждала Кирилла Петькина мама.

— Беда за бедой, — пожаловалась она. — Бабушка пишет, что захворала, еле ходит, а тут вот с Петей такое. Ведь полгода с легкими пролежал. А если опять начнется?

Кирилл не знал, что сказать. Уверять, что Чирок скоро

поправится? Глупо. Мать все равно видит, что заболел он крепко.

— Вы только не расстраивайтесь очень, — пробормотал он. — Вам же нельзя.

Она лишь рукой махнула. И вдруг посмотрела на Кирилла внимательно и ласково.

— Я и не знала, что у Петеньки в классе товарищи есть. Он все больше с маленькими играл или один... Тебя как зовут-то?

— Кирилл.

— Как дедушку его, моего свекра... Ты мне, Кирюша, не поможешь?

— А что? Давайте! — встрепенулся Кирилл.

— Боюсь я его оставлять-то. Зайди по пути в поликлинику, вызови врача. Тут недалеко.

Кирилл торопливо кивнул.

В регистратуре поликлиники была очередь, и Кирилл из-за этого чуть не опоздал на биологию. Он влетел в класс после всех, мельком глянул на Женьку, встретил ее странный, растерянный взгляд и улыбнулся: «Ничего, все в порядке». Хотя какое уж там ничего, когда Чирок так заболел. Кирилл чувствовал, что даже завтрашнее плавание радует его меньше, чем утром...

Вошла Ева Петровна. Кивнула, чтобы садились. На ее лице, как обычно, лежала печать забот и решимость эти заботы преодолеть. Но губы ее были сжаты сейчас особенно плотно. Это означало, что, помимо обычных неприятностей, есть неприятности внеплановые.

Ева Петровна оглядела класс.

— Сушко, перестань возиться и сядь прямо. Надоело. Климов, хоть на пять минут избавь нас от своих иронических улыбок... Кстати, где Чирков? Он не приходил?.. Что же, этого можно было ожидать.

— Почему? — услужливо спросила Элька Мякишева, и, прежде чем Ева Петровна заговорила, Кирилл почувствовал: «Знает!»

Ева Петровна уперлась ладонями в стол.

— А потому, — сказала она негромко, печально и внушительно, — что именно Чирков повинен в краже кошелька у практикантки Ольги Николаевны Федосеевой.

«А-ах», — сказали девчонки, а кто-то из ребят свистнул. Кирилл сжался. «Откуда? Откуда она знает? Неужели

студентка сказала? Но Дед ей даже имени Чирка не назвал!»

Ева Петровна продолжала:

— Да, это так. И я не вправе скрывать этот факт от членов отряда. Есть люди, которые рады были бы это скрыть, но я не могу. Тем более что отряду грозит утрата почетного звания.

— Из-за одного шибздика! — громко сказал Роман Водовозов, приятель Димки Сушко.

«Шкура...» — подумал Кирилл.

— Как узнали-то? — спросил Кубышкин, и у кого-то сработал рефлекс — хихикнули.

Только сейчас Кирилл догадался посмотреть на Женьку.

Женька сидела с белым лицом и плакала.

— Вы же... обещали! — громко сказала она. — Вы же... нечестно!

Ева Петровна медленно повела на нее взглядом.

— Что я обещала, Женя? Скрывать от класса вину Чиркова? Поддержать вашу с Векшиным игру в благородство? Это не благородство, а обыкновенное укрывательство жулика.

«Вот и все, Женя-Женечка», — подумал Кирилл и громко спросил:

— Что, Черепанова, не выдержала, поделилась?

Женька вдруг заплакала, как плачут младенцы — морщась и вздрагивая нижней губой. И пошла, потом побежала из кабинета.

А тридцать четыре человека сидели и молчали, ничего еще не зная и не понимая.

«Ну почему, почему, почему? — забилась в Кирилле мысль. — Почему все к худшему? Хочешь добра, мечешься, стараешься — и все не так!..» Но мысль эта простучала в нем пулеметной очередью, и после нее Кирилл ощутил злое спокойствие. В конце концов, что страшного случилось? С кем?

Чирок? Но ему в школе ничего уже не грозит: своим нырянием в ледяной ручей он искупил все, в чем был виноват. Болезнь взяла его под надежную защиту.

Женька? Но до вчерашнего дня Кирилл жил, не думая о ней. Что ж, проживет и дальше.

— Если председатель совета отряда устраивает истерики, что ждать от класса... — проговорила Ева Петровна, глядя поверх голов. Кажется, она была все-таки немного смущена.

Класс молчал. Ева Петровна спросила:

— Кто сходит к Чиркову и выяснит, почему он не явился на занятия? Что с ним случилось?

Кирилл встал.

— С ним случилась простуда, — отчетливо сказал он, разглядывая улыбающуюся рожу скелета за стеклом.

— Очень удачно, — недоверчиво произнесла Ева Петровна. — Это правда, надеюсь?

Кирилл посмотрел в ее табачные глаза.

«Я должен ее понимать... — Он вспомнил разговор с отцом. — Я должен... О чем она думает сейчас? Разве я могу понять? Почему она опять с нами, как с виноватыми?.. Ох, папа, ты прости меня, но зачем она так спросила: «Это правда, надеюсь?»

— Нет, конечно, — ответил он. — Я никогда не говорю правду. Вчера я врал, что не брал кошелек, сегодня придумал про Чиркова.

— Вчера ты сам был виноват. Вел себя настолько чудовищно... Если бы не твое вчерашнее поведение, я могла бы, пожалуй, извиниться перед тобой...

— Не надо, я переживу, — сказал Кирилл.

Ева Петровна кивнула:

— Я тоже думаю, что переживешь. Кроме того, твоя попытка скрыть вину Чиркова делает тебя фактически его сообщником.

— Каким сообщником? — удивился Кирилл.

— Обыкновенным! Сообщником в краже кошелька.

— В котором не было никакой стипендии, а было всего четыре рубля, — сказал Кирилл. — Ох и нажились мы...

Опять кто-то тихо присвистнул. А длинный Климов спросил:

— Откуда ты знаешь?

— От хозяйки кошелька, — сказал, не оборачиваясь, Кирилл.

Тишина пропала. Теперь кабинет биологии был полон перешептываний, негромких вопросов и возгласов.

— Это не имеет никакого значения! — воскликнула Ева Петровна. — Кража остается кражей! Сорок рублей или четыре — что это меняет для нас?

— Для Чиркова меняет, — сказал Кирилл. — Если бы он знал, что в кошельке нет стипендии, он не нырял бы за ним в холодную воду. И сегодня я не вызывал бы ему врача.

— Куда нырял? — громко спросил Димка Сушко и гоготнул.

— Пускай Кирилл все объяснит, — потребовал Валерка Самойлов. — Ничего не понять.

Кирилл повернулся к нему.

— Вот именно, что не понять. А чтобы понять, надо разбираться. А разбираться разве охота?

Ева Петровна посмотрела на часы.

— Разбираться будем после уроков на классном часе, а сейчас займемся биологией. Кстати, пусть Векшин идет к доске и с той же энергией, с какой он защищал Чиркова, расскажет домашнее задание.

— Не пойду я к доске, потому что не учил.

— Векшин — два, — сообщила Ева Петровна и открыла классный журнал.

— Правильно, — сказал Кирилл. — Сперва отобрать портфель с учебниками, а потом — два. А как я должен был учить?

Ева Петровна придержала занесенную ручку.

— Во-первых, я портфель не отбирала. Во-вторых, Черепанова отнесла его тебе домой.

— Слишком поздно отнесла, у меня уже другие дела были, — скучным голосом сказал Кирилл.

— Очевидно, более важные, чем уроки...

— Достаточно важные, — сказал Кирилл.

Урок он мог ответить, он помнил тему. Но он понимал также, что двойку ему ставить нельзя, не по правилам. Кроме того, отвечать у доски, будто ничего не случилось, было тошно.

— Если ты, Векшин, считаешь, что оценка несправедлива, можешь обратиться к завучу, — сообщила Ева Петровна. — А пока попрошу дневник.

— Пожалуйста, — сказал Кирилл и отнес дневник к столу. Двойка сейчас его не волновала. Он по-прежнему ощущал холодную спокойную злость.

Ева Петровна вывела оценку и, подумав секунду, начертала на полях:

«Демонстративно отказался отвечать урок пререкался с учителем».

— После слова «урок» нужна запятая, — сказал Кирилл.

Ева Петровна поставила запятую и утомленно произнесла:

— А теперь пусть Векшин покинет кабинет. Я понимаю, что нарушаю закон о всеобуче, про который вчера

напоминал Климов, но вести урок при Векшине я сейчас не могу. Пусть Векшин жалуется хоть в министерство.

— Не буду, — сказал Кирилл. — Пусть министерство работает спокойно.

Он собрал портфель и с облегчением ушел из кабинета. Встал в коридоре у окна.

В голове была путаница. Все опять шло наперекосяк. Где-то он был прав, а где-то поддался досаде и сам полез на скандал... Где, в чем? Как вообще разрубить этот клубок, замотавшийся со вчерашнего дня?

Во дворе на спортивной площадке третьеклассники гоняли мяч. Между столбами баскетбольных щитов стояли вратари: с одной стороны — мальчишка в желтой майке и громадной кепке, с другой — девчонка с растрепанными косами, в зеленом тренировочном костюме. Над пестрой кипящей толпой невозмутимо возвышался веселый молодой физрук Георгий Константинович.

Разноцветные команды сгрудились у мяча, и наконец получилась вдохновенно орущая куча. Вратари не выдержали и бросились в свалку. Георгий Константинович начал обрадованно дуть в судейский свисток.

Кирилл улыбнулся: когда-нибудь и Антошка будет так же гонять мяч...

Послышались тяжелые шаги. По коридору, чуть колышась, двигалась директорша Анна Викторовна. Кирилл вздохнул и приготовился к продолжению неприятностей.

— Здрасьте, — обреченно сказал он, когда Анна Викторовна приблизилась.

Она кивнула и остановилась.

— Если не ошибаюсь, опять Векшин...

«Опять», — сердито усмехнулся про себя Кирилл и промолчал.

— Почему не на уроке?

— Выставили, — сказал Кирилл.

— Похвальная откровенность. А за что?

Кирилл вынул дневник, открыл сегодняшнюю страницу и молча протянул Анне Викторовне.

Она взяла, прочитала. И вдруг спросила просто, совсем не по-директорски:

— А что случилось-то?

— Портфель вчера отобрали, а там учебник был. Я выучить не успел.

Она вздохнула.

— Если постараться, можно было бы найти выход?

— Можно, — равнодушно сказал Кирилл. — Но зачем отбирать портфели?

— То есть это дело принципа?

Кирилл пожал плечами.

Она для чего-то повертела дневник в руках и отдала Кириллу. Солидно, хотя и негромко произнесла:

— Ненужный, совсем ненужный конфликт. Зачем этот накал, Векшин?

— Какой накал?

Анна Викторовна помолчала.

— Хорошо, — вдруг сказала она. — Пожалуй, я попрошу Еву Петровну ликвидировать эту двойку. А ты потом выучишь и ответишь.

Кирилл удивился. Но, удивившись, он остался спокойным.

— Ответить я могу и сейчас. Разве в двойке дело?

— А в чем же?

— Вообще... во всем.

— Как же понять это «вообще»?

— Это трудно сказать словами, — проговорил Кирилл, глядя на третьеклассников во дворе. — Ну, это хор, портфели... все остальное... Когда обвиняют, не разобравшись... Когда взрослый обязательно прав, а ученик обязательно виноват...

— Ты не прав, Векшин, — сказала Анна Викторовна.

— Ну вот, видите...

Она вдруг засмеялась:

— Да нет, ты в данном случае не прав. Учителя тоже ошибаются, кто же с этим спорит.

— Когда ошибаемся мы, попадает нам, — сказал Кирилл. — Когда ошибаются учителя, все равно попадает нам.

— А ты посоветуй, как жить без таких ошибок, — предложила Анна Викторовна. — Ты можешь?

Кирилл посмотрел на нее и не понял: шутит она или всерьез?

— Не могу, — сказал он. — Да и бесполезно.

— Почему бесполезно?

— Во-первых, вы не послушаете... А во-вторых, что советовать? Если и посоветую Александру Викентьевичу быть добрее, он же все равно не станет.

— Добрее... Он настойчив, он добивается от вас знаний и дисциплины. Где-то даже против вашей воли. А вам кажется, что он суров. Вы как маленькие дети, которые

обижаются на медсестру со шприцем... А ты слышал такие стихи: «Добро должно быть с кулаками...»?

— Слышал, — сказал Кирилл. — Но здесь же школа, а не секция бокса.

Анна Викторовна задумчиво смотрела с высоты могучего роста на неостриженную голову Кирилла. Он опять отвернулся и стал глядеть во двор. «Сейчас скажет: почему не острига?» — подумал он.

Анна Викторовна сказала:

— Ступай на урок. Я предупрежу Еву Петровну.

— Ой, пожалуйста, не надо! — взмолился Кирилл.

Она почему-то шумно вздохнула.

— Ну, как знаешь, Векшин... Только не думай, что все учителя ужасно несправедливые люди.

— Я и не думаю, — искренне сказал Кирилл.

— Кстати... как это вы меня зовете? Мадам Генеральша?

— Мать-генеральша, — без выражения сказал Кирилл. — Но это не мы, а старшеклассники. Да они не со зла...

— Надеюсь, — отозвалась Анна Викторовна и тяжело двинулась по коридору.

А когда она скрылась, перед Кириллом оказалась заплаканная Женька.

Женька торопливо сказала:

— Кирилл, ты думай что хочешь. Ну, презирай меня, ругай, пожалуйста. Но только дай мне сказать, ладно? Только послушай.

— Ну, говори, — усмехнулся Кирилл. — Да не суетись... — Ему было даже любопытно: как все-таки Женька выдала Чирка?

У Женьки опять по-младенчески задрожала нижняя губа.

— Ты не представляешь, что было... Я прихожу, а они сидят, меня ждут. С мамой. Они уже созвонились... И началось! Думаешь, я сразу сказала? А они то кричат, то уговаривают: «Ты знаешь, ты обязана, ты не имеешь права молчать!» Я говорю, что слово дала, а они в крик: «Ты думаешь, мы глупее тебя? Ты думаешь, мы хотим ему зла?!» Кирилл, разве в самом деле они хотят зла?

— Нет, что ты, — сказал Кирилл.

— Я сама не помню, как было... Миллион слов, целая лавина... И еще обещали все время: «Ни один лишний человек не узнает. Мы должны ему помочь, а ты не даешь...» Потом пришел папа, и все опять... Мама за

сердце взялась: «Если я умру, то из-за тебя!..» Кирилл, я испугалась. Кирилл, я бы молчала, если бы перед врагами... но разве они враги?

— Нет, что ты... — опять сказал Кирилл, глядя мимо Женьки. И подумал: «А в самом деле... Разве это легко вынести?»

Женька не отводила от него мокрых, виноватых глаз.

— Кирил, прости, а? — тихонько попросила она. Так по-детски. Он даже поежился от неожиданной жалости. Но что он мог сказать?

— Кирилл, ты же сам говорил, что можно простить, если человек не выдержал один раз... Ты же простил Чирка...

«А в самом деле...» — снова подумал Кирилл. Эта мысль принесла ему капельку облегчения.

Он не чувствовал сейчас к Женьке ничего, кроме жалости. Только жалость. Но разве этого так уж мало?

— Ладно, Женька, — сказал он, глядя на ее сандалетки из тонких лаковых ремешков.

— Нет, правда... — прошептала она.

Что с ней было делать? Кирилл положил себе на ладонь ее маленькую, мокрую от слез руку, накрыл другой ладонью.

— Ладно, Женька. Я понимаю... Ну, только не вздумай снова реветь.

## Глава 14

На перемене Климов, Кубышкин и еще несколько мальчишек обступили Кирилла. Подошли и девчонки, но Климов сообщил им, что разговор не для дамских ушей. Девчонки сказали, что Климов нахал и грубиян. Однако ушли.

Кирилл торопливо рассказал про вчерашние дела. Олег Райский поддернул на носу очки, неинтеллигентно чертыхнулся и сказал, что положение скверное.

— Да ничего ему не будет, — возразил Кубышкин. — Студентка-то его простила.

— Не в этом дело. Насколько я помню, у него начинался туберкулезный процесс. Может случиться рецидив...

— Слова-то какие умные, — хмыкнул Ромка Водовозов.

— Для дураков любые слова — умные, — отрезал Райский и ушел к своей парте.

Затарахтел звонок.

— Кир, — вдруг сказал длинный Климов. — А ты правда был не такой. Силу почуял?

«Давно почуял», — подумал Кирилл. Он помнил, что за ним «Капитан Грант». И тот штормовой день. И «Колыбельная». Это и была сила.

— Угу, — ответил он.

— Тогда держись... — непонятно сказал Климов

Собрание началось с напряженной тишины. Кроме нескольких человек, никто не знал толком, что случилось с Чирковым. Все ждали.

— Начнем, — решительно произнесла Ева Петровна. — На собрании один вопрос. Векшин бросил всем нам упрек, что мы не хотим разбираться. Пусть он все расскажет, а отряд разберется.

— Какой отряд? — спросил Кирилл и вспомнил прозрачные капельки на лбу у Чиркова.

— Что? Ты о чем? Да что с тобой, Векшин? Ты хочешь сказать, что здесь нет отряда?

— В отрядах не бывает собраний, — хмуро сказал Кирилл. — В отрядах бывают сборы.

— Ах вот что! Прекрасно. Если это так важно, можете считать, что у нас сбор.

— Спасибо, — тихо сказал сзади Климов.

— А на сборах командуют ребята, — негромко, но упрямо продолжал Кирилл.

— Великолепно! Пусть Черепанова командует. Она, кажется, еще председатель совета отряда. Ну, что же ты, Черепанова?

Женька нерешительно взглянула на Кирилла и попросила:

— Кирилл, расскажи...

— Расскажу, — отозвался Кирилл и вышел к доске. — Расскажу. Теперь все равно... В общем, есть такой Дыба. Амбал лет шестнадцати. У него компания. Жулье всякое и шпана. Те, кто с ним знаком, сами знают... — Кирилл посмотрел на Димку Сушко.

— А че ты на меня-то? — спросил Димка.

— Издевались они над Чирком, — объяснил Кирилл и ощутил подозрительное щекотанье в горле. Этого еще не хватало! Сейчас-то с чего? Он переглотнул и стал смотреть в окно. Повторил: — Издевались. Деньги выколачивали. Ему надо было Дыбе рубль отдать, а у него не было. А его бы избили. Ну и полез в карман. Хотел рубль выудить,

а кошелек положить на место не успел. Потом с перепугу в речку его выкинул, даже не посмотрел, сколько в нем денег. Только рубль взял металлический... Вот и вся история.

Долго было тихо, потом Кубышкин спросил:

— А откуда ты узнал?

— Дыба хвастался рублем. Я догадался. Да Чирок и не отпирался...

— Он сознался, а ты решил скрыть от нас его вину, — подвела итог Ева Петровна. — Интересно почему? Разве товарищи не имеют права все это знать?

— Да не было у него товарищей, — устало сказал Кирилл. — Никто же не заступился за него перед Дыбой. А как обсуждать — сразу товарищи... Вот и сейчас! Никто даже не спросил, сильно ли он заболел.

— Та-ак, — с ноткой удивления произнесла Ева Петровна. — Оставим пока Чиркова. Меня интересует позиция Векшина. Векшин, кажется, хочет сказать, что в отряде нет дружбы, нет коллектива. Так я поняла?

Кирилл кивнул:

— Так. Но я не про это...

— Нет, подожди. Давай разберемся. Какое ты имеешь право делать такие заявления? Какое ты имеешь право чернить отряд, который должен тебе скоро давать рекомендацию в комсомол?..

— Раньше характеристикой пугали, теперь — что в комсомол не примут, — отозвался Кирилл. — Да рано мне в комсомол — только-только тринадцать исполнилось.

— Но ведешь ты себя самоуверенней взрослого!

По интонациям Евы Петровны класс безошибочно угадал, что предстоит долгая речь, и все завозились, поудобнее устраиваясь за столами.

Ромка Водовозов уныло сказал:

— Ну вот. Хуже, чем на продленке...

Ева Петровна сложила на груди руки и оглядела класс.

— Мне начинает казаться, что Векшин был прав: действительно, всем все равно. Райский потихоньку играет в шахматы, председатель совета отряда безмолвствует...

— Потому что Векшин все сказал! — неожиданно выпалила Женька и покраснела.

— И тебе нечего ему возразить? — сухо поинтересовалась Ева Петровна.

— Нечего, — негромко, но храбро сказала Женька.

Кирилл посмотрел на нее и тихо улыбнулся.

Ева Петровна раздраженно зашагала в проходе между столами.

— Можно, конечно, дружить с человеком... с любым. Но зачем при этом плясать под его дудку?

— Я не пляшу. Просто я с ним согласна.

Ева Петровна повернулась к Женьке спиной.

— Может быть, и остальные согласны с Векшиным?.. Райский, убери шахматы! Ты с Векшиным согласен?

Олег встал и поправил очки.

— Векшин, по-моему, не сказал ничего нового. Но в принципе он в чем-то прав...

— В чем именно?

— В том, что наше объединение носит формальный характер...

Раздался смех.

— Не смешно! — вдруг резко сказал Райский. — Могу проще. Пока на нас орут, мы делаем, что велят. А без няньки и кнута ни на что не способны.

— Спасибо, Олег, — скорбно произнесла Ева Петровна. — Вот так и открывается сущность человека.

Райский сел и уткнулся в портативные шахматы.

— Кто хочет высказаться? — спросила Ева Петровна, демонстративно отвернувшись от Райского. Неужели вам нечего сказать Векшину?

Высказаться захотела Элька Мякишева.

— Бессовестный ты, Векшин! Так говоришь про всех! У нас такая работа за прошлый год! Мы триста писем получили со всей страны, если хочешь знать, потому что у нас работа. У нас друзья во всех республиках, и вообще... Мы с болгарскими пионерами переписываемся!

— А Чирок? — сказал Кирилл.

— Что — Чирок?

— Ему что до твоей работы и переписки? Где был отряд, когда Чирка избивали?

— А где был ты? — спросила Ева Петровна. — Ты взял на себя роль судьи. А разве ты уже не в отряде?

Но Кирилл заранее знал, что она это спросит.

— Нет, я тоже виноват, — сказал он. — Но я хоть не оправдываюсь и не кричу, что у нас везде друзья. Друзья во всех республиках, а между собой подружиться не умеем... Или боимся?

— Чего? — спросил Димка Сушко. — Тебя, что ли?

— Дубина ты, — сказал Кирилл. — Не меня, а того, что придется по правде друг за друга отвечать. Защищать друг друга. Не словами, а делом.

— Кулаками, ты хочешь сказать? — холодно спросила Ева Петровна.

— Да, — сказал Кирилл. — Если надо, кулаками.

— И ты всерьез полагаешь, что лучший в школе тимуровский отряд должен опозорить себя драками?

— Ты что, Векшин! — подал голос длинный Климов. — Разве Тимур так делал? Он вызывал Квакина на совет дружины и говорил: «Нехорошо, Миша...»

— И Квакин плакал от стыда, — сказал Кубышкин, но никто сейчас не засмеялся, была нехорошая тишина.

Ева Петровна встала.

— Что ж, — сказала она, глядя не на ребят, а в окно. — Вы затронули важную тему. Давайте говорить серьезно и откровенно.

— А маму не вызовут? — спросил Кубышкин.

— Нет... Впрочем, у тебя уже вызвали... Так вот, друзья. Должна сказать вам, что Аркадий Петрович Гайдар, которого мы все любим, был сложной личностью, и не все в его жизни так гладко, как иногда кажется. И в его творчестве. Тимур — тоже фигура непростая. Он не сразу нашел дорогу к сердцам читателей. Да, представьте себе! Многие критики и педагоги сначала встретили его в штыки!

— Разве они — читатели? — спросил Валерка Самойлов.

— Не перебивай, Самойлов, — миролюбиво попросила Ева Петровна. — То, что я говорю, не всегда говорят детям... Впрочем, вы уже не дети, — спохватилась она. — Так вот, встретили Тимура в штыки. Многим была не по вкусу партизанская вольница в его команде. В самом деле: бесконтрольный ребячий коллектив, ни одного взрослого рядом...

— Во жили люди, — вздохнул кто-то за Кириллом.

Ева Петровна снисходительно улыбнулась.

— Я продолжаю. И должна заметить, что в упреках критиков была доля истины. Не все, что делал Тимур, можно одобрить безоговорочно. В конце концов, что хорошего в ночных драках или угоне мотоцикла? Но тимуровское движение оправдало себя, жизнь взяла для него из повести Гайдара не все, а самое полезное...

— Не жизнь, а классные дамы! — отчетливо произнес Климов.

— Что-о? Ты где находишься, в концов концов?!

— На сборе, — поспешно сказал Климов. — На сборе, Ева Петровна, а не на классном часе.

— И ты полагаешь, что на сборе можно говорить все, что вздумается?

— А разве нет?

— И оскорблять учителей?

— Так я же не про вас, — примирительно сказал Климов. — Я вообще. Вы, наверно, еще сами пионеркой были, когда Гайдар Тимура написал. Или студенткой.

— Хам ты, Климов, — печально произнесла Ева Петровна, которая родилась через три года после выхода книги о Тимуре.

Климов вздохнул:

— Вот и поговорили серьезно и откровенно.

— И все решили, — вставил Кубышкин.

— Нет, не все! — резко возразила Ева Петровна. — Вернее — ничего. Не разобрались с Векшиным. Не выяснили, что происходит с отрядом. Не решили, как быть с Чирковым!

— Может быть, лучше как быть с Дыбой? — спросил Кирилл.

— Этот Дыба, как ты выражаешься, не из нашей школы. У него есть своя администрация, дорогой мой. Есть милиция, в конце концов. Комиссия по делам несовершеннолетних.

— Конечно, есть, — сказал Кирилл. — А Дыба тоже есть. Интересно, да? Они есть, и он есть. Никуда не девается. И никуда не денется, пока мы его боимся.

— Потому что у них шайка, — сказали из угла.

— Ну, я и говорю, — усмехнулся Кирилл. — Их же целая шайка. Целая тысяча, да? А нас, бедненьких, жалкая кучка. Что мы можем? На сборах про подвиги говорить. А человека от шайки защитить — кишка тонка у отряда. У правофлангового...

— Ты что же, всех своих товарищей считаешь трусами? Ты отдаешь отчет своим словам?

— Не знаю... — тихо сказал Кирилл. — При чем здесь слова? Опять слова, слова... А пока мы их говорим, Дыба гривенники шкуляет у пацанов в «Экране». Не верите? Можно пойти посмотреть.

— Посмотреть? — спросил Климов.

— Ну да, посмотреть, — откликнулся Кирилл, ощущая горькое бесстрашие. — Посмотрим, потом побеседуем: «Нехорошо, Дыба, не делай так больше». И он перевоспитается.

В классе засмеялись.

— Ну, так кто со мной? — спросил Кирилл, сам удивляясь такой простой мысли. — Кто? Сеанс в час двадцать.

На билеты наскребем. Полюбуемся на Дыбу, заодно кино посмотрим... Ну?

— А какое кино? — спросил Кубышкин.

— Откуда я знаю.

— Ну, все равно, — сказал Кубышкин и поднялся. Класс грохнул. Веснушчатое лицо Кубышкина сделалось пунцовым. Но он пошел к доске и встал рядом с Кириллом.

— Это что за демонстрация! — крикнула Ева Петровна.

И непонятно было, кому крикнула: тем, кто гогочет, или Кубышкину.

Кирилл и Кубышкин переглянулись.

Смех продолжался.

— Пре-кра-тить! — скомандовала Ева Петровна.

— Разве на пионерском сборе нельзя смеяться? — спросил Климов. Выбрался из-за стола и, шагая, как циркуль, пошел к Кириллу. Спросил: — Гривенник дашь на билет?

— Дам.

Веселье усилилось.

— Смех — лучшая маскировка, — заметил Климов.

— Маскировка для чего?! — крикнула Элька Мякишева.

— Для чего угодно, — сказал Климов. — Для трусости, для подлости... У тебя — еще и для тупости.

— Пре-кра-тить! — опять потребовала Ева Петровна. — Это что за самодеятельность! Я запрещаю вам идти сегодня в кинотеатр!

— Это запрещать нельзя, — серьезно объяснил Кубышкин. — Мы ведь не с уроков уходим. Кино — это наше дело, личное, в «свободное от занятий время».

— Они патруль хотят организовать, — язвительно сообщил Димка Сушко.

— Ага, — сказал Климов. — А что? Бывали у нас и раньше патрули: то зеленые, то голубые...

— А сейчас будет фиолетовый, как фингал под глазом, — пообещал Димка.

— Попробуй только вякнуть своему Дыбе, — сказал Кирилл.

— Векшин, Климов, Быков, в понедельник в школу с родителями, если сегодня посмеете отправиться в кино, — заявила Ева Петровна. — О вашем поведении я сообщу директору.

Климов незаметно вздохнул. Потом сказал:

— Не густо нас...

— Мне все ясно. Черепанова, закрывай сбор, — сказала Ева Петровна.

Женька встала.

— Сбор окончен, — сообщила она и посмотрела на Кирилла. — Подождите, ребята, я с вами.

Вот тут класс притих. Даже Ева Петровна молча смотрела, как Женька идет к доске. Потом тихо и почти обессиленно Ева Петровна произнесла:

— Я сию же минуту... прямо сейчас... позвоню маме.

— Знаю, — грустно отозвалась Женька. Она с тревогой посмотрела на Кирилла, и он улыбнулся ей глазами.

— Черепанова! Ты же девочка, в конце концов! — воскликнула Ева Петровна.

— А что делать, если в классе всего три мальчика?

Валерка Самойлов, сердито ворча, заворочался за столом. Выбрался сам и выволок тяжелый портфель.

— У Черепановой каждую субботу какое-нибудь мероприятие... — Он пошел к доске.

— Тебя за уши не тянут, — сказала Женька.

— Не твое дело, — буркнул Самойлов.

Ева Петровна присела у стола и теперь смотрела на группу у доски спокойно. На лице ее словно было написано: «Ну-ну, интересно, что вы еще выкинете...» Но когда громко защелкнул коробочку с шахматами и поднялся Райский, спокойствие ее опять исчезло.

— И ты туда же? Ну уж от тебя-то, Олег, я не ожидала!

— А собственно, почему? — поинтересовался Райский.

— Ты знаешь почему... Кстати, у тебя сегодня турнир во Дворце пионеров. Ты что, не думаешь о чести школы?

— Мне кажется, именно о ней я и думаю, — вежливо сказал Райский.

Ева Петровна поднялась и вышла.

Когда шли к кинотеатру, Климов сказал:

— Если придется стыкнуться, держитесь цепью, локоть к локтю. Иначе расколотят поодиночке. А ты, Женька, не суйся.

— Видно будет, — сумрачно сказала Женька.

— Может, и нету там никакого Дыбы, — со скрытой надеждой заметил Кубышкин.

— Он говорил, что будет, — сказал Кирилл.

Валерка Самойлов тоже вздохнул, но по-иному: ему было жаль времени.

Олег Райский обнадежил Кубышкина:

— Если сегодня не будет, в следующий раз встретим. — И он деловито поправил очки.

— Сними ты их, — сказал Климов.

— Я тогда ничего не увижу, — растерянно возразил Райский. — Будет затруднительно...

— Собьют, — сказал Климов.

Райский неловко улыбнулся:

— Ну что ж... Дома у меня где-то есть запасные.

## Глава 15

Поход в кино кончился мирно, хотя мог бы кончиться боем.

В кинотеатре действительно отирался Дыба с компанией, и компания не теряла времени: в уголке у туалета прижала перепуганного мальчишку лет одиннадцати. Юный Вовка Стеклов уже тянул пальцы к его карману. Мальчишка что-то объяснял жалобным полушепотом.

— О чем здесь разговор? — небрежно поинтересовался Климов и, зевнув, сунул руки в карманы. Кирилл и остальные поступили так же. Кроме Женьки, которая за неимением карманов заложила руки за спину.

— Это что за шмакодявки? — удивился приятель Дыбы Совушка и захлопал веками.

Но Дыба моментально оценил обстановку. Кирилл и его группа стояли тесным полукругом и смотрели вполне решительно. Дыба широко улыбнулся.

— Общественность на страже, — объяснил он компании. — Не будем шуметь в культурном месте. Мы пошутили с мальчиком, ты, мальчик, иди...

Мальчишка моментально исчез.

— Не шутил бы ты так, Дыба, — сказал Кирилл. — Не надо.

— Нехорошо... — вежливо поддержал Климов и тоже улыбнулся. Он был гораздо уже Дыбы в плечах, но повыше.

— Вроде мы незнакомы, — заметил Дыба и медленно осмотрел Климова от ботинок до макушки. — Вроде мы дорогу друг другу не переходили.

Климов зевнул.

— Вроде... — сказал он. — Вот и не переходи. Как кого зацепишь, считай, что перешел.

— И?.. — спросил Дыба, уперев пальцы в бедра.

— Будет тогда «И», — сказал Климов и перестал улыбаться. — «И» с точкой. Знаешь, такая точка и палочка.

Дыба посмотрел на Кирилла.

— Я все понял, — сказал он. — Ты, Кирюха, не забыл утренний разговор?

— А ты? — спросил Кирилл.

— Я тебе вроде говорил: «Будем друзьями...»

— Насчет друзей — это успеется, — сказал Кирилл, разглядывая пятиугольную Дыбину физиономию. — А как насчет Чирка? Сколько ты ему должен?

— Жаль мне тебя, — сказал Дыба.

— А себя?

— Позвольте пройти, — почти ласково попросил Дыба и пошел из закутка в фойе. За ним компания: Совушка, Димка Обух, Козочка, унылый тип по кличке Банан и Вовка Стеклов.

— Шесть на шесть, — сказал Валерка Самойлов. — Могли бы и стыкнуться.

— У нас одна девочка, — заметил Райский.

— Ничего, с тем хлюпиком она бы справилась, — решил Кубышкин.

— А ты — сразу с тремя, — огрызнулась Женька. — Да ну вас... У меня внутри все трясется с перепугу.

— Ну и зря, — сказал Климов. — В кино они не стали бы драться. И вообще этот народ не нападает, когда силы равные. Они любят работать наверняка.

— А чего мы, собственно, добились? — задумчиво спросил Райский.

— Ну все-таки... — нерешительно откликнулся Кирилл. — Парнишку выручили. И Дыба узнал, что не все его боятся.

— Да, — сказал Климов. — Только теперь нам чаще надо ходить вместе и реже по одному... Особенно тебе, Кирилл.

— Я пришел к выводу, — грустно сказал Райский, — что одних запасных очков мне будет мало...

Они посмотрели румынский детектив «Шкатулка с секретом» и разошлись, договорившись, кто за кем бежит и кто кому звонит, если надо будет собраться срочно. Потому что мало ли какую штуку могут выкинуть Дыба и его дружки.

— К Чирку-то заскочишь? — спросил у Кирилла Климов.

Кирилл кивнул. Он все время помнил о Петьке. Надо забежать и хотя бы у матери спросить, что сказал врач, если к самому Петьке не пустят. Не отправили бы Чирка в больницу... Эта тревожная мысль постоянно царапалась внутри и даже портила радость от первой маленькой победы над шайкой Дыбы.

Но прежде чем ехать к Петьке, нужно было привезти из молочной кухни Антошкин обед.

Дома Кирилл торопливо скинул форму, натянул свой летний наряд и не стал даже обедать. Лишь бы скорее!

На кухне, к счастью, не было очереди. Кирил получил молочное питание, зажал сумку на багажнике и покатил к дому.

Он выбрал короткий путь — по узкому переулку, поднимавшемуся от площади Жуковского на улицу Мичурина. Это был даже не переулок, а просто дорога между деревянными заборами — кусочек почти деревенской старины, сохранившейся среди больших улиц. Впрочем, не такой уж старины — рядом с дорогой, вдоль канавы, тянулась полоска вполне современного асфальта.

Подъем был крутой. Кирилл соскочил с седла и пошел по теплому асфальтовому тротуару, держа велосипед за руль. Было безлюдно, цвели в канаве маленькие ромашки, и совсем по-летнему гудел в траве у забора шмель.

До верха было далеко еще, когда, раздвинув доски в заборе, навстречу Кириллу вышли Дыба и незнакомый парень.

Парень был ростом с Кирилла, но пошире.

Они встали на дороге.

...В колыбельной песне для Антошки были слова про пять минут на решение и пять секунд на бросок. Сейчас пяти минут не было. Пяти секунд — тоже. Была, пожалуй, секунда, чтобы рывком развернуть «Скиф» и прыгнуть в седло. Но в эту секунду Кирилл успел понять и решить многое. Он почувствовал, что, если теперь спасется бегством, всегда потом придется бегать и прятаться. Ведь не будешь всю жизнь ходить вшестером. И получится, что они с Дыбой одинаковы: если сильный, то король, а если слабее — поджимай хвост.

И к тому же в «Колыбельной» ни словечка нет о дороге назад.

Кирилл шагнул вперед.

Дыба заухмылялся.

— Гордый, — сказал он. — Поначалу все гордые...

Его приятель растянул бледные губы. Это, видимо, то-

же была улыбка, но какая-то бесцветная. Кирилл увидел темные щербатые зубы. Еще он заметил, что у парня слезятся глаза, а лицо словно припорошено серой пылью. «Насквозь, дурак, прокурен, — машинально подумал Кирилл. — Дыхание, наверное, еле-еле...»

— Поставь машину, поговорим, — небрежно предложил Дыба. — Драпануть все равно не успеешь.

— Успел бы, если бы хотел, — сказал Кирилл и дернул руль, на который Дыба положил лапу. — Не цапай, я потом не отчищу.

Он прислонил велосипед к забору и прислонился сам — рядом с задним колесом.

— Ну, чего надо?

Они стояли в метре от него. Дыбин приятель смотрел равнодушно, а Дыба все ухмылялся. Он хотел казаться обрадованным, но в ухмылке проскальзывало разочарование: пойманный Кирилл вел себя не по правилам.

Дыба перестал улыбаться и спросил:

— Тебя, цыпленочек, когда-нибудь били? По-настоящему?

— Это по-бандитски, значит? Как вы Чирка? — прищурившись, произнес Кирилл.

Дыба снисходительно разъяснил:

— Не, Чирка мы любя, для воспитания. Чтобы слушался. А как по-настоящему, сейчас узнаешь.

Кирилл быстро глянул по сторонам: нет ли прохожих? Было пусто. Он торопливо сказал:

— Если тронете, сволочи, будете через час визжать и слезами умываться.

Дыба опять заухмылялся:

— У-у, где мы будем через час! Тю-тю...

— Далеко не утютюкаете. Не сегодня, так потом..

— Потом — это потом. А сейчас — это сейчас, — рассудительно заметил Дыба и деловито сказал: — Тюля, давай...

Прокуренный Тюля вынул довольно грязный платок и зачем-то начал наматывать на пальцы. Не спеша и аккуратно, будто к работе готовился.

Кирилл ощутил внутри противную дрожь. «Ну-ка, не вздрагивай. Знал, на что идешь», — приказал он себе. А Дыбе и Тюле сказал:

— На психику давите? У меня нервы в порядке.

Он дернул на сумке застежку-молнию и выхватил бутылку с молоком. Двухсотграммовую бутылочку с деле-

ниями на белом боку, с пушистой ватной пробкой. Жаль Антошкиного обеда, но выхода нет.

— Расшибу о башку, кто первый сунется, — пообещал он и решительно сцепил зубы.

Дыба сделал скучное лицо и нехотя проговорил:

— Да ну его, Тюля, чокнутого. Пошли, а то вон кто-то сюда прется...

Кирилл попался на удочку. Посмотрел в сторону, и в тот же миг бутылочка, выбитая из руки, разлетелась на асфальте. Дыба довольно заржал.

И тогда, неожиданно даже для себя, Кирилл влепил ему хлесткую оплеуху.

«Глупо, — тут же понял он. — Этим его не свалишь». Однако Дыба стоял, изумленно приоткрыв рот, и Кирилл развернулся к Тюле. «Ногой его...» Но Тюля увернулся и встретил Кирилла прямым ударом в лицо. Будто граната взорвалась!

Кирилл отлетел на забор. Красные тяжелые капли начали часто падать на майку. Он не ощутил сильной боли, только голова отяжелела. И страха не было. Но майку вдруг стало жалко до слез: отец так радовался, когда подарил ее... Кирилл вытер ладонью слезы, локтем кровь с нижней губы и прыгнул к Тюле. Сумел закрыться от кулака и ткнуть костяшками в Тюлины губы. Но вмешался Дыба: тяжелым толчком швырнул Кирилла в молочную лужу с осколками.

Как на горячие гвозди..

Кирилл не смог подняться сразу. Но они не спешили, они дали ему встать. Он встал и посмотрел себе под ноги. По ногам из порезов бежали тонкие алые струйки и смешивались на асфальте с молоком. С локтя тоже капало. И с подбородка.

— Хватит на первый раз? — спросил Дыба и сплюнул. — Или еще? Айда, Тюля...

— Боишься, гадина? — тихо сказал Кирилл и посмотрел на Дыбу исподлобья. — А ну, стой.

Он четко знал, что сейчас сделает. Головой ударит Дыбу в поддых, а когда тот согнется, он толкнет его на молчаливого палача Тюлю. Потом рванет с велосипеда тяжелый насос и врежет тому и другому по ненавистным рожам! Наотмашь! За все... За Чирка, за свою боль, за эту бело-розовую лужу на асфальте. За всех, над кем они издевались! За всех, кого они еще могут обидеть! За Антошку!

Он пригнулся и бросился на Дыбу, но от умелого удара

под ребра опять отлетел к забору и упал в траву у своего «Скифа».

Тюля подскочил и воровато, но сильно ударил ему два раза ботинком в бок. Кирилл приподнялся на локте и хотел вцепиться ему в ногу, но не сумел. Он почти не мог дышать.

И сквозь гудящую боль он вдруг услышал далекий тонкий голос:

— Кир, держись! Кир, я сейчас!

У Тюли оказалась кошачья реакция: он взлетел на забор и упал с другой стороны. Дыба не был так ловок. Он суетливо зацарапал ногтями по доскам, стараясь нащупать ту, которая отодвигалась. И не мог.

А сверху летел на велосипеде Митька-Маус. Он не тормозил на спуске. Наоборот, он так вертел педали, что коленки его мелькали на солнце, будто зайчики на желтых лопастях ветряка. Он вцепился в руль одной рукой, а в другой он, как палицу, поднял схваченный где-то кривой тяжелый сук. И, как черный грозный вымпел, металась у него над плечом оторвавшаяся лямка...

— Кир, я здесь!

Дыба так и не нашел доску. Он торопливо зашагал вниз, потом не выдержал и побежал неуклюжей рысью. Видимо, ему, как и Тюле, в голову не пришло, что горластый пацаненок мчится сюда один. Они же не знали, что вчера Кирилл и Митька договорились всегда заступаться друг за друга.

Кирилл опять встал, глотнул воздух. «Не уйдет, — подумал он про Дыбу. — Мы на колесах...»

Он шагнул к велосипеду, однако от колючей неожиданной боли в ребрах согнулся и прислонился к забору. Боль словно пришила его к доскам. Но через несколько секунд Кирилл сжал ее в себе. Он опять начал медленно выпрямляться.

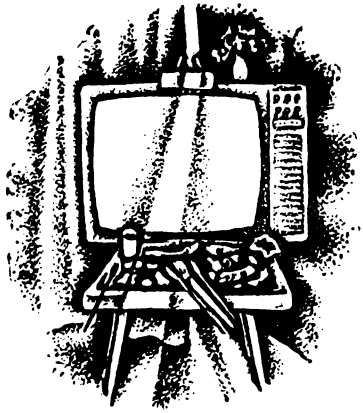
А Митька был уже совсем рядом и все кричал:

— Кир, держись! Кир, я сейчас!

1978 г.

# ЖУРАВЛЕНОК И МОЛНИИ

*Роман для детей и взрослых*



*Моей жене Ирине*

## Вступление

# Журавленок

Накануне было пасмурно и зябко. Но вечером прорезался под тучами ясный закат и потеплело. Утро наступило сверкающее. Глянешь на улицу — и сразу понятно: день будет солнечный и жаркий.

Вера Вячеславовна распахнула все окна и пошла выгонять из кровати засоню Иринку. Но Иринка, оказывается, не спала. Она стояла босиком перед зеркалом и задумчиво показывала себе язык. Увидев маму в зеркале, Иринка повернулась на пятке и сказала:

— Помню, помню, помню: «Сегодня суббота, большой аврал, никаких отлыниваний, никаких срочных дел...» Только не корми меня с утра яичницей, я от нее теряю работоспособность.

Вера Вячеславовна засмеялась. Она заметила, что нельзя потерять, чего нет, и погнала Иринку умываться.

В квартире было просторно и тихо. Щелкали старые часы.

— А где папа?

— Раным-рано ушел в мастерскую, у него сегодня худсовет... Поджарить колбасу с горошком?

После завтрака Иринка лихо двигала стулья, хлопала во дворе половики, протирала подоконники и карнизы. В своем черном купальнике она носилась из комнаты в комнату и была похожа на ласточку. Это удивляло Веру Вячеславовну. Не то, что дочь похожа на ласточку, а то, что в ней прорезалось с утра такое трудолюбие.

Впрочем, Иринка успевала и дурачиться. Обмотала себя шлангом гудящего пылесоса и закричала:

— Мама! Смотри, я воюю с кровожадным драконом! Он обвил меня своей длинной шеей!

— Перестань терзать пылесос! Чисти ковер или увидишь настоящего дракона. Я сама в него превращусь.

— Нет, — возразила Иринка. — Ни в кого ты не превратишься, ты меня любишь. В крайнем случае скажешь: «Человеку, перешедшему в пятый класс, пора избавляться от детсадовских привычек...»

— Я вот тебя веником...

Иринка захохотала, и они с «драконом» накинулись на ковер...

Но к полудню Иринка сразу как-то выключилась. То ли устала, то ли ей надоело. Она притихла, ушла в свою комнату и вдруг появилась в новых белых сандалетках и белом платьице с синими горошинами — самом нарядном и любимом. Чинно села у стола.

— Ты уже собралась? — удивилась Вера Вячеславовна.

— Куда? — насторожилась Иринка.

— Что значит «куда»? Мы же договорились вчера, что ты унесешь Юлии Яковлевне книгу и возьмешь у нее мой зонт. Она ждет тебя ровно в час...

— Ой... Я совсем забыла. Может, потом?

— Потом она едет на дачу, ты же знаешь. И... в чем дело? Если ты собралась не к ней, то куда, скажи на милость?

— Да совершенно никуда...

— А к чему такой наряд?

— Разве нельзя одеться по-человечески?

— Гм... А все-таки?

Иринка уставилась на часы и небрежно сказала:

— Так... Мальчик один придет.

— Да? Любопытно, — произнесла Вера Вячеславовна

и стала перебирать в серванте бокалы, стараясь показать, что не так уж ей любопытно. Потом все-таки спросила:

— А что за мальчик? Из вашего класса?

Она тут же подумала, что вопрос этот смешной. Стала бы Иринка наряжаться ради одноклассников!

— Не из нашего... — откликнулась дочь. Помедлила и объяснила: — Мы вчера познакомились. В парке...

«Любопытно», — чуть снова не сказала Вера Вячеславовна, однако поняла, что это выдаст ее растерянность. И спросила скучноватым голосом:

— Разве ты была вчера в парке? В такую-то погоду...

— А что погода? Прохладно, вот и все, а дождя не было... Я хотела в тире пострелять, а тир закрыт был, я тогда пошла на аттракционы. Там такую новую штуку устроили: старинные автомобильчики по ухабам носятся... Так здорово!

— Не сомневаюсь, — откликнулась Вера Вячеславовна, у которой всегда бешено кружилась голова от одного вида каруселей и качелей. — А при чем здесь мальчик?

— Как при чем? В автомобильчик надо по двое садиться, все парами идут, а я одна. И он один... Тетка там такая сердитая, покрикивает: «Ну, скоро вы? Занимайте места!» Он на меня посмотрел и говорит: «Пошли?» Я говорю: «Пошли». Ну и поехали... А это долгое катанье. Минут пять мотает вверх и вниз. Мы сидим и молчим. Потом он спрашивает: «Хочешь резинку? Мятную...» Я говорю: «Да нет, меня же не укачивает». А он: «Ну и что? Это не против укачивания, а просто так. Только у меня одна, давай пополам». Вытащил, порвал пополам вместе с фантиком. Ну, неудобно же отказываться... Сидим жуем. Не молчать же все время, я и спросила: «Ты из какой школы?» Он говорит: «Ни из какой еще, мы недавно приехали. А ты из какой?» Я сказала, что из четвертой. Он спросил: «Тебя как зовут?» Я говорю: «Ира. А тебя?» — «Юра...» Вот и все...

— Ну, наверно, не все, — осторожно заметила Вера Вячеславовна. — Был, наверно, еще разговор какой-то... Ты же пригласила его в гости.

— А, ну конечно! Мы потом еще по парку ходили, я ему все показывала, и мы про марки разговаривали. У него, оказывается, куча марок со зверями и рыбами. Вот мы и договорились, что он сегодня принесет и покажет... В двенадцать часов.

— И про Юлию Яковлевну ты, конечно, не вспомнила...

— Мам, ну к ней же целый час ехать! А он придет...

— Кто же виноват? — строго спросила Вера Вячеславовна, и, конечно, строгости у нее хватило лишь на этот вопрос. — Ну, ладно, придет — подождет. Что особенного?

— А если не дождется? — жалобно спросила Иринка.

Вера Вячеславовна засмеялась:

— Я обещаю тебе, что живым его не выпущу. А ты поторопись.

Вера Вячеславовна заметила, что нетерпеливо поглядывает на часы. Рассказ Иринки о новом знакомом слегка обеспокоил ее. Ей представился высокий длинноволосый мальчишка в растрепанных снизу джинсах, полосатом свитере и почему-то непрерывно надувающий губами пузыри из жевательной резинки. Нет, не хулиган, конечно (с хулиганом Иринка не стала бы и разговаривать), но самоуверенный и с ленивыми размагниченными движениями. Это сейчас так модно! А Иринка готова подражать всем на свете...

Гость оказался точным: ровно в двенадцать деликатно тренькнул звонок. Вера Вячеславовна, пожалуй, чересчур торопливо открыла дверь.

— Здравствуйте. Ира здесь живет?

Вера Вячеславовна улыбнулась. Улыбнулась про себя, но ласково и радостно. В дверях стоял Иринкин ровесник — стройненький, легкий, аккуратный. Даже растрепанные, видимо, от быстрой ходьбы, волосы и распахнутый воротник не нарушали этой аккуратности. Он смотрел снизу вверх на рослую хозяйку квартиры с легкой застенчивостью, но доверчиво — будто чувствовал заранее, что ему обрадуются.

Вера Вячеславовна улыбнулась уже открыто. Мальчик был как тонкий солнечный колосок. Солнце, казалось, не хотело расставаться с ним даже на затененной лестничной площадке, задержало на мальчике свой свет. Наверно, так казалось из-за рубашки — она была цвета золотистой пшеницы. На ней искорками блестели латунные пуговки.

Славная была рубашечка: подогнанная у талии, с погончиками, с пристроченной над кармашком шелковой черной ленточкой, на которой были вышиты крошечные золотые буквы «Windrose». И любуясь мальчиком, Вера Вячеславовна поймала себя в то же время на практической мысли, что несколько лет назад не удержалась бы и спросила: «Где тебе мама купила такую?» Но теперь это ни

к чему. Витюшка теперь носит не такие рубашки, и погоны у него потяжелее...

Вера Вячеславовна спохватилась, что несколько секунд молча разглядывает гостя.

— Да-да! Заходи, пожалуйста. Я послала Иринку по неотложному делу, но она скоро придет. Она очень просила подождать...

— Ладно, — весело сказал мальчик.

Он легко ступил бело-коричневыми кроссовками на половик в прихожей, быстро огляделся, пристроил на полке с обувью желтую клеенчатую папку, которую до сих пор небрежно держал за уголок. Потом высоко поджал ногу и потянул шнурок.

— Нет-нет, не разувайся, — поспешно сказала Вера Вячеславовна. — У нас кавардак, уборка, я еще полы не застелила.

Она пропустила мальчика вперед, он шагнул в солнечную комнату и, конечно, сразу остановился. Так же, как все, кто первый раз видел «Путь в неведомое». Картина висела почти напротив двери, невысоко от пола, и походила на узкое окно, окруженное коричневыми лаковыми карнизами. На картине был стиснутый бесконечно высокими скалами пролив. Среди скал металась птичья стая, а по зеленоватой воде уходил корабль с темными, наполовину убранными парусами. Вода была гладкая, но от кормы бежал, расширяясь, зеркастый след, и в нем извивалось отражение светлого кормового фонарика.

Сверху, из-за скал, вырывался плоский луч, а впереди — по свету на камнях и бликам на воде — угадывалась солнечная щель, выход из каменного коридора...

Те, кто входил в эту комнату впервые, всегда останавливались. Но смотрели на картину по-разному. Одним хватало несколько секунд, кое-кто стоял долго и разглядывал внимательно, а иные тут же начинали расспросы. Мальчик замер и тихонько сказал:

— Ой...

И смотрел не отрываясь, пока Вера Вячеславовна не окликнула:

— Садись сюда, в кресло... Чем бы пока тебя занять?

Мальчик очнулся.

— Не надо меня занимать, — проговорил он почти испуганно. — Я просто так посижу. Посмотрю...

Он присел на краешек старого громадного кресла, повел глазами по стенам. На стенах были и другие картины:

«Осень в старом городе», «Утренний берег», «Дождь на Театральной площади»... А еще были часы с маятником, похожим на круглый рыцарский щит, с медным солнцем и месяцем, которые тихо двигались вокруг эмалевого циферблата (когда-то часы висели еще у Иринкиной прабабушки; теперь они отставали за час на десять минут, но гость, разумеется, этого не знал).

— Ладно, посиди, — сказала Вера Вячеславовна. — А я пока повешу это сооружение.

«Сооружением» был плоский глиняный горшок с плетями ползучих растений, только вчера купленный в цветочном магазине. Горшок назывался «кашпо» и подвешивался на стену. Для этого к нему прикреплялась длиннющая медная цепь. Чтобы горшок повис на нужной высоте, гвоздь следовало вколотить у самого потолка.

Вера Вячеславовна надела очки и нацеленным взглядом стала отыскивать под потолком нужную точку.

Тогда мальчик сказал то, что она, по правде говоря, и ожидала:

— Давайте я помогу.

— Помоги. А то мне при моих размерах опасно прыгать по столам...

Они подтянули к стене полированный обеденный стол, мальчик опять хотел сбросить кроссовки, но Вера Вячеславовна сказала, что не надо, и постелила на стол газету. Мальчик вспрыгнул на него, ухватил молоток и гвоздь, вопросительно оглянулся.

— Стенка мягкая, деревянная, — объяснила Вера Вячеславовна. — Только вбить надо повыше, где кромка обоев. Дотянешься?

Он потянулся вверх изо всех сил, приставил гвоздь.

— Так хорошо?

— Очень хорошо. Вобьешь?

— Главное, с первого раза попасть по шляпке, а не по пальцам, — весело объяснил мальчик. Стукнул и попал по гвоздю. И бойко заработал молотком.

Стенка оказалась не такой уж мягкой, гвоздь шел с трудом. Колотить, стоя на цыпочках, было тяжело.

— Отдохни.

— Да нет... Ничего...

Вера Вячеславовна с непонятным беспокойством смотрела, как машет молотком тонкая рука, вздрагивают на воротнике колечки каштановых волос, ходят под рубашкой крылышки-лопатки. Мускулы на худых мальчишкиных но-

гах натянулись под загорелой кожей, как резиновые шнуры. На коленном сгибе проклюнулась и задрожала синяя жилка.

«Как у Витюшки», — с внезапной тревогой подумала Вера Вячеславовна и отчетливо вспомнила, как однажды девятилетний Витюх тянулся со стула к верхней полке стеллажа: он доставал словарь для своего юного дядюшки Пети, студента-медика. Легкомысленный Петька подкрался и легонько щелкнул племянника по такой вот жилке. Витюшка молча и мгновенно сложился, как карманный ножик на пружинке. И комочком полетел со стула. Петька со смехом подхватил его. Витюшка сперва рассердился и почти всерьез замолотил бестолкового дядюшку пятками и кулаками. Но тот захохотал и показал язык. Тогда Витек вырвался и схватил диванную подушку. И они с Петькой начали носиться по комнатам, сшибая стулья. И Вера Вячеславовна всерьез разозлилась на них, потому что своим гвалтом они разбудили годовалую Иринку, и та принялась ровно и басовито реветь...

Вера Вячеславовна вдруг подумала, что чаще вспоминает Витьку не длинным старшеклассником и не широкоплечим сержантом, каким он недавно приезжал в отпуск, а таким вот мальчишкой. Последние годы бежали почему-то удивительно быстро, и к большому Виктору она просто не успела привыкнуть. Конечно, она каждый день помнила и тревожилась о взрослом сыне в погонах с золотистыми буквами СА и широкой фуражке с черным околышем. Но о маленьком Витьке — исцарапанном и коричневом от солнца, озорном и ласковом, о веселом мушкетере в треснувших и замотанных синей изолентой очках — она вспоминала и печалилась так, будто он не вырос, а уехал на три смены в лагерь «Горная речка». И это несмотря даже на то, что подрастала и была всегда рядом Иринка...

Стук молотка прервался, и мальчик облегченно опустил руки.

— Все...

— Вот молодец. Отдохни, и повесим эту штуку.

— Я не устал.

Он ловко зацепил за гвоздь медную петельку, выровнял на цепи горшок, расправил зеленые плети растения и крутнулся на пятке (вместе с ним крутнулся газетный лист). Потом он одним движением заправил свою аккуратную рубашечку под ремешок на бежевых шортах, тоже очень ладно сшитых, простроченных по всем швам коричневой

ниткой. Чуть напружинившись, мальчик приготовился прыгнуть на пол.

Вера Вячеславовна едва удержалась, чтобы не протянуть навстречу руки. Но такая помощь, конечно, была не нужна мальчику. Он легко скакнул на паркет, выпрямился и глянул весело и полувопросительно: «Кажется, я справился. Может быть, что-то еще сделать?» Тогда она все же протянула руки и положила пальцы на его плечи.

— А теперь давай познакомимся по-настоящему. Меня зовут Вера Вячеславовна. А тебя, кажется, Юра?

— Да... Юра, — сказал он с легкой заминкой. Потом улыбнулся и, словно решив ответить откровенностью на ее сдержанную ласку, признался: — Вообще-то меня так почти никто не зовет. Разве что папа. Да и то он — или Юрик, или... — он с шутливой сердитостью свел брови. — Ю-рий... А чаще всего меня зовут Журка.

Он, кажется, ждал тут же вопроса: откуда такое имя? А Вера Вячеславовна вспомнила, как он, развязывая шнурок, по-птичьи стоял на одной ноге.

— Журка-журавленок... — не то спросила, не то просто сказала она.

— Ну... не знаю. Это из-за фамилии. У меня фамилия Журавин... Я сам себя так прозвал случайно.

— Удачно прозвал... А как это получилось?

Он смешно сморщил переносицу.

— А... такой случай, прошлой весной еще. Нас в пионеры принимали, сразу весь класс, ну и столько забот было, репетиции всякие, форму специальную шили, концерт готовили, и все переволновались, конечно... Наконец собрались в зале — и ребята, и родители, и там у одной девочки бабушка пришла, активная такая. Про все расспрашивала, всем восхищалась. Мы построились, а она давай нараспев: «Ах вы мои красавчики, ах вы журавлики...» Я с краю стоял, мне нужно было первому Торжественное обещание давать. Я и так дрожал, а тут в голове что-то совсем переключилось. Когда скомандовали, шагнул вперед и начал: «Я, Жура Юравин...» Все как грохнули... — Он вздохнул и покачал головой.

— Ну, ничего, это бывает, — сказала Вера Вячеславовна.

— Да, ничего, конечно... Потом все было как надо. А Журка ко мне так и приклеилось... Теперь даже мама так зовёт.

— Тогда и я буду так тебя звать... Давай, Журка, передвинем стол. Вот сюда... Прекрасно. Ты теперь посиди немножко, а я опущу в суп макароны...

Когда Вера Вячеславовна вернулась в комнату, Журка не сидел. Он стоял перед картиной, нагнувшись и упершись ладонями в колени.

— Ты слишком близко рассматриваешь. Надо отойти подальше.

— Я знаю, я издалека уже смотрел... А сейчас я разглядываю, как это сделано. Просто чудо такое: пятнышки краски намазаны, а издали взглянешь — и как живое.

— Нравится? — обрадовалась Вера Вячеславовна. — Это Иринкиного папы работы. Он у нас художник.

— Я догадался, — откликнулся Журка и опять оглядел стены. А потом, почуяв скрытый вопрос Иринкиной мамы, сказал: — А мой папа шофер.

«Надо же! — удивилась Вера Вячеславовна и тут же насмешливо одернула себя: — А ты думала, что он обязательно сын доктора наук или артиста оперы? Ну и представления о людях у тебя! Как в девятнадцатом веке...»

— Папа водитель первого класса, он всегда на самых тяжелых грузовиках ездит, — объяснил Журка. — Для него чем больше машина, тем лучше... К нему в кабину заберешься — и будто на второй этаж...

— А мама твоя кем работает?

— Мама... — Журка мельком улыбнулся. — Она, пожалуй, художница... Только не по картинам, а по костюмам. Она училась на модельера, потом ей там что-то не понравилось, и она стала работать машинисткой. Только она все равно все время шьет, ей нравится придумывать всякие костюмы. Она для молодежного театра у нас в Картинске столько всего нашила...

— Вот оно что!.. То-то я любуюсь твоей рубашечкой: она как по заказу. Мамина работа?

— Конечно. Она для меня все сама шьет, даже школьную форму. Или, в крайнем случае, магазинную подгоняет как надо.

Вера Вячеславовна вздохнула:

— Лет семь назад я бы обязательно упросила твою маму сшить рубашку для нашего Вити. А теперь он выше меня... Сейчас покажу, какой у Иринки брат.

Она принесла блестящую фотографию, с которой смотрел тонколицый симпатичный парень в больших очках и

солдатской фуражке. Журка с минуту внимательно разглядывал снимок. Потом сказал доверительно и немного жалобно:

— Хороший брат... А у меня никого нет. Тоже хочется, чтобы кто-нибудь был: хоть большой, хоть маленький...

— Ну, может быть, еще будет, — осторожно утешила Вера Вячеславовна.

Журка шевельнул плечом и опять коротко сморщил переносицу.

— Мама говорит: «Вы, мужчины, лодыри, а мне одной такие хлопоты на старости лет...»

Вера Вячеславовна засмеялась:

— Да сколько же маме лет?

— Тридцать два...

— Господи, да это самая молодость! Мне бы, старухе, такие годы...

— Что вы! Вы совсем молодая, — как истинный джентльмен, заспорил Журка. Смутился и чуть порозовел.

— Ладно уж, не утешай, — усмехнулась Вера Вячеславовна. — Лучше расскажи, как вы познакомились с Иринкой.

Журка охотно поведал о встрече в парке, и его рассказ был очень похож на рассказ Иринки. Только, вспомнив про резинку, Журка признался:

— Я сначала боялся угощать. Она старая, засохшая была...

— Между прочим, Иринка терпеть не может никакую жвачку, даже самую свежую и сладкую, — улыбнулась Вера Вячеславовна.

Журка немного удивился, а потом признался с насмешливым вздохом:

— Между прочим, я тоже. Меня еще весной кто-то угостил, она и завалялась в кармане. А вчера я из-за холода влез в джинсы и нашел ее... — Он подумал и вдруг проговорил: — Вот ведь какая случайность. Если бы не было резинки, мы, может, и не познакомились бы.

— Это хорошая случайность, — сказала Вера Вячеславовна. — Да и вообще здесь много счастливых совпадений. Хотя бы то, что вам обоим пришла мысль пойти в парк. Погода-то была не для прогулок.

— А я всякую погоду люблю, — откликнулся Журка. — И незнакомые места люблю. Парк от нашего дома недалеко, вот я и пошел обследовать окрестности.

— Значит, вы совсем недавно в наш город приехали?

— Три дня назад. Ира первая, с кем я тут как следует познакомился.

— Будем надеяться, что это неплохое начало, — слегка торжественно сказала Вера Вячеславовна. — Только знаешь что, Журка... Она не выносит, как зубную боль, когда ее зовут Ирой.

— Да? А вчера сама так назвалась.

— Это от смущения... Все ее зовут Иринкой, а отец Ришкой.

— Я запомню, — просто сказал Журка.

И в это время нетерпеливо затарахтел звонок.

— Легка на помине! — воскликнула Вера Вячеславовна.

Слегка запыхавшаяся Иринка влетела и замерла. Секунду смотрела на Журку, будто не узнавая. Потом сказала с еле заметной кокетливой ноткой:

— О! Ты уже здесь.

Повернулась к матери и с изящным реверансом протянула ей зонтик. Потом словно что-то стряхнула с себя и стала обыкновенной Иринкой. Весело спросила у Журки:

— Давно пришел?

— Пришел точно, как вы договорились, — ответила за Журку Вера Вячеславовна и легонько притянула его к себе. — И мы уже успели познакомиться. Кстати, Иринушка, этого товарища зовут не Юра, а Журка. Подходящее имя, правда?

Иринка удивленно шевельнула бровями.

— Вообще-то это не имя, а прозвище, — смутившись, объяснил Журка.

Иринка серьезно спросила:

— А ты не обижаешься на прозвища?

— На это нет, — сказал он так же серьезно. — Меня первый раз так Ромка назвал...

— Кто же этот Ромка? — спросила Вера Вячеславовна.

— Это друг мой... был... — сказал Журка чуть потускневшим голосом. И тут же встрепенулся: — Ой, я ведь марки принес!

Веру Вячеславовну кольнуло беспокойство: почему «был»? Неужели у этого ясного и доверчивого мальчугана такой непрочный характер? Уехал в другой город — и, значит, оставшийся на старом месте друг уже не друг?

Но почти сразу тревога прошла. Журка притащил папку, они с Иринкой рассыпали по столу марки, о чем-то дурашливо заспорили, сортируя марочные грудки и показывая друг другу штемпели. Будто знали друг друга с первого класса...

Стоя у кухонной плиты, Вера Вячеславовна слышала, как Журка убеждает ее дочь:

— Да забирай все! Я эту природу все равно не собираю! Я только корабли, старинное оружие и всякие приборы: глобусы, секстаны, подзорные трубы. И еще маяки... Если у тебя появятся, ты ведь мне тоже...

Потом Иринка крикнула из комнаты:

— Мама! Знаешь, что мы надумали? В «Салюте» идут «Приключения Робин Гуда», мы хотим сходить на два тридцать!

— Прекрасная идея! Главное, очень свежая... Ты смотрела это кино два раза.

— Я тоже! — сообщил Журка. — Ну и что? Можно еще.

— А дома у тебя не подымут тревогу, куда девался ненаглядный сын?

— Не-е! Я отпросился до шести часов... А у меня есть рубль, как раз на два двухсерийных билета.

Вера Вячеславовна сказала, что, если поискать, рубль найдется и для Иринки. Тогда хватит и на кино и на мороженое. Но для того чтобы мороженым они не объедались, она сначала покормит их обедом. Таковы ее железные условия.

— Раз условия, делать нечего, — сказал в комнате Журка (и Вера Вячеславовна отчетливо представила, как он опять забавно сморщил переносицу). Но вообще-то я могу не есть целый день.

— Охотно верю. Только сегодня этот номер не пройдет...

Через полчаса она стояла у открытого окна и смотрела сквозь надутую солнечным ветерком прозрачную штору на улицу. С третьего этажа было видно далеко. Иринка и Журка шагали в конце квартала. Они топали, слегка дурачась: взялись за руки и этими сомкнутыми руками взмахивали до отказа взад и вперед — в такт шагам. Потом остановились на углу. Иринка знала, что мама смотрит вслед, и помахала рукой. А Журка... Вере Вячеславовне очень захотелось, чтобы махнул и он. И Журка сделал это. Не так решительно, как Иринка, но поднял руку и качнул в воздухе ладошкой. Вера Вячеславовна помахала в ответ, хотя они не могли ее видеть издалека сквозь надутый пузырем тюль. И тут в передней опять позвонили.

Это пришел отец Иринки. Он быстро взглянул на Веру

Вячеславовну, излишне внимательно посмотрел по сторонам и оживленно сказал:

— Встретил Ришку с незнакомым отроком. Очень милая пара, направляются в кино. Кто этот симпатичный кавалер??

— Вчера познакомились... Ну, как твой худсовет?

— Как нельзя лучше, приняли всю работу... А мальчуган славный! Догадалась, на кого он похож?

Вера Вячеславовна слегка нахмурилась. То, что Журка чем-то похож на Витюшку, было ее собственным открытием. Не хотелось, чтобы кто-то еще говорил об этом. Даже Игорь.

Но Игорь Дмитриевич, споткнувшись, шагнул в комнату и возбужденно повторил:

— Похож! Сейчас увидишь сама...

Он взял со стеллажа альбом «Портреты Третьяковской галереи», торопливо залистал.

— Вот...

Это был «Портрет сына» художника Тропинина.

— В самом деле, — согласилась Вера Вячеславовна. — Что-то есть. Разлет бровей, волосы...

— Да вообще похож! Ты вглядись!

— Может быть, — ощутив прилив досады и словно защищая Журку, сказала она. — Странно только, что это сходство так взволновало тебя... Деньги получил?

— Да-да... Все в порядке.

— И наверно, уже успел отметить с Иннокентием...

— Да что ты, Вера... Он звал, конечно, но я ни в какую, ты же знаешь мою твердокаменность.

— Покурить, однако, уже успел. Вот она, твоя твердокаменность.

— Всего полсигареты, честное слово... Могу я сделать себе маленький подарок? Все-таки удачный день — спихнул такой громоздкий заказ... Вера...

— Обедать будешь? — устало спросила она.

— Разумеется! — бодро воскликнул Игорь Дмитриевич. — Мы же там почти не ели. Куснули чуть-чуть салатику в буфете...

Вера Вячеславовна пошла на кухню. Он, вздохнув, двинулся за ней.

— Не сердись. Подумаешь, раз в неделю подымил... Пообедаю, а потом сразу сяду за эскизы.

— Потом тебе лучше сходить в поликлинику, — сказала Вера Вячеславовна. — Заходила медсестра, тобой опять

интересуется кардиолог... Куда с немытыми руками? Иди в ванную... Дитя малое, честное слово...

А Иринка и Журка в это время шагали к троллейбусной остановке.

— Может, пешком пойдем? — предложила Иринка.

— Нет, лучше на троллейбусе.

— Тут ведь недалеко, и время есть...

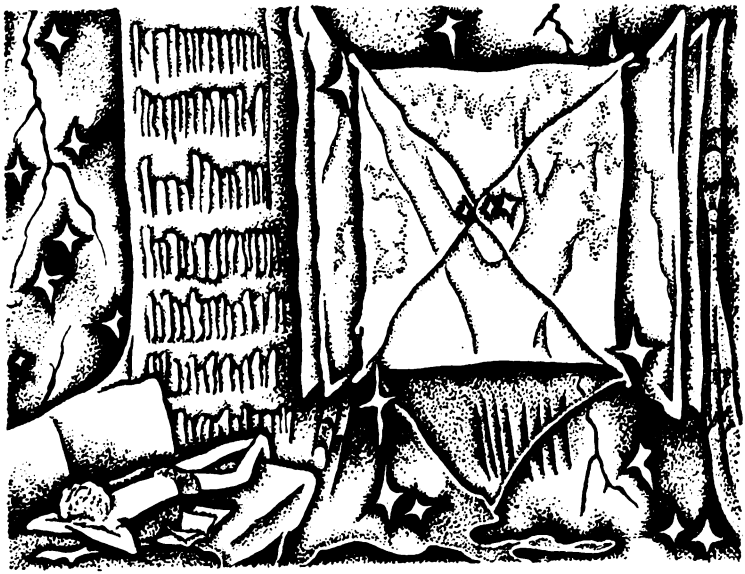
Журка засмеялся:

— Да не в этом дело. Просто я почти не ездил на троллейбусах. У нас в Картинске их нет. Автобусы только.

— Ну и что? Одно и то же... Ладно, давай, если хочешь.

Журка чуть виновато сказал:

— Ты привыкла, а мне интересно.



Часть первая

# Игра и не игра

## Наследство

Журке все было интересно. Жить интересно. Хотя, казалось бы, жизнь его была самая-самая обыкновенная.

Почти все свои одиннадцать лет он прожил на краю Картинска, в двухэтажном деревянном доме, где они с мамой и отцом занимали одну комнату. (Правда, комната была большая, разгороженная шкафом на две половины, с высоким потолком и большими окнами на солнечную сторону.) Город был маленький. В нем лишь недавно стали строить многоэтажные дома, да и то в центре и на южной окраине. А в Журкины окна была видна улица с растущими вдоль заборов лопухами, деревянные домики и огороды.

Огороды спускались к ручью, который назывался Каменка. За ручьем тянулась травянистая насыпь с рельсами. По рельсам то и дело стучали коричневые товарняки и зеленые пассажирские поезда. А два раза в сутки проска-

кивал красный московский экспресс. Пассажирские поезда особенно нравились Журке: по вечерам прямо из комнаты видны были за деревьями бегущие цепочки светлых вагонных окон...

В общем, он жил на тихой улице с громким названием Московская, бегал по ней в школу, смотрел фильмы в ближайшем кинотеатре «Мир» и дальнем кинотеатре «Спутник», летом бултыхался в самодельной ребячьей купалке недалеко от железнодорожного моста через Каменку, зимой катался на санках с пологого берега, читал книжки про приключения, про дальние города и страны, смотрел телепередачи «Клуб кинопутешествий» и знал, что живет замечательно.

Он знал, что все ручьи текут в реки, а реки — в моря и океаны. И когда он опускал руки в струи грязноватой от мазута Каменки, то понимал, что соединяет себя с водами Атлантики и южных морей.

Когда он взбегал с Ромкой на крутую насыпь и прижимался щекой к теплым вздрагивающим рельсам, эти рельсы, как провода, подключали его к гудящей жизни всей Земли. Ведь они убегали, нигде не прерываясь, в самые далекие края.

Когда Журка сидел на подоконнике и рассматривал в бледном летнем небе звезды, он знал: тысячи разных людей смотрят сейчас на те же звезды, как и он. Эти взгляды соединяли Журку со многими пока незнакомыми людьми.

Хороших людей было гораздо больше, чем плохих (хотя плохие тоже попадались — куда от этого денешься). И хороших дней в жизни было во много раз больше, чем горьких и неудачных. Конечно, случалось всякое: и двойки с грозными записями в дневнике; и отвратительные ангины, когда распухает не только горло, а даже язык; и боль от расшибленных колен и разбитого носа; и томительная беспомощная тревога, если вдруг поссорятся мама и папа; и ночные страхи; и тот безобразный случай в походе... Но все это были именно случаи. Как редкие тучки среди ясного лета.

Вот на такое лето и была похожа его, Журкина, жизнь. Наверно, потому, что он умел находить кусочки радости во всем. Даже когда волочились над крышами лохмотья осенних унылых облаков, Журка сравнивал их с разорванными бурей парусами и вспоминал, что дома не дочитана «Одиссея капитана Блада». Даже когда приходилось ронять слезы после маминых слов, что ей «не нужен такой

двоечник, разгильдяй и лодырь, за которого приходится краснеть перед всеми родителями из четвертого «В», он знал, что вечером все равно мама подойдет, сядет на краешек постели и они помирятся. И сквозь плач радовался этому.

И лишь когда пришло письмо о Ромке, все хорошее вокруг словно вздрогнуло и рассыпалось.

Журка плакал тогда не очень. Потому что, плачь не плачь, что теперь сделаешь? Но не было в этих задавленных слезах и намека на какую-то будущую радость.

Потом оказалось, что и такая черная горечь — не навсегда. Прошла она, а в оставшейся печали будто появились светлые зайчики. Ведь Ромка, несмотря ни на что, все-таки был. Целых два года он был у Журки, а прошлая жизнь, если ее не забывать, всегда остается с человеком. И друзья, которые были, остаются навсегда.

Ромка часто снился ему. Журка ждал этих снов, чтобы снова по-настоящему увидеться с Ромкой. Потому что наяву он вдруг стал забывать его лицо. Голос помнил, руки с облезшим на левом мизинце ногтем, похожую на черную горошину родинку на заросшей пушистыми светлыми волосами шее... А лицо будто уплывало. Словно Ромка уходил все дальше и дальше. А во сне он был прежний...

Журка быстро и охотно засыпал под шум недалеких поездов. Этот шум не мешал ему. Он все время напоминал, что есть дальние дороги, они протянулись по всей планете, и Журке тоже придется ездить по ним.

Впрочем, Журка ездил. Один раз с мамой в Москву, потом с мамой и папой в Феодосию, в дом отдыха. Случались и другие путешествия: в лагерь «Веселая смена», в областной город к дедушке — маминому папе. Но это были эпизоды. Они лишь на время прерывали привычную жизнь на родной Московской улице. А Журка знал, чувствовал, что когда-нибудь эта жизнь изменится совсем, и дороги унесут его из тихого Картинска надолго. Все изменится...

Изменилось раньше, чем он думал. Неожиданно.

Умер дедушка.

Это случилось, когда Журка был в лагере. Родители решили не волновать Журку, ничего ему не сказали. Съездили на похороны, оформили, какие полагалось, документы, устроили поминки. Короче говоря, сделали все печальные

дела, которые выпадают на долю родственников, когда человек умирает.

К тому времени как Журка вернулся, мама уже не плакала, хотя и была печальнее, чем всегда. Комната оказалась полупустой, а папа увязывал и упаковывал вещи. Решено было переехать в областной центр. После деда осталась небольшая, но приличная квартира, на которую, по словам отца, кто-то «хотел наложить лапу, но это дело у них не выгорело». А еще в разговорах звучало слово «завещание», и это удивляло Журку. Он думал, что завещания писались только в прежние времена — про всякие там клады и дворянские состояния. Это было слово из романа «Граф Монте-Кристо». И вдруг — не в романе, а на самом деле. Впрочем, о завещании говорили мимоходом. Да и какое там наследство мог оставить одинокий, очень небогато живший дед?

Журка обиделся на родителей за то, что не сказали вовремя о дедушкиной смерти. Разве он такой ребенок, чтобы скрывать от него беды и горести? Но, если говорить по правде, печалился Журка не очень сильно. Дедушку он знал мало, видел редко и, кажется, никогда о нем не скучал.

Хотя, конечно, дедушка был очень хороший. И он совсем не походил на обычного дедушку. Просто пожилой мужчина, очень высокий, с залысинами над худым лицом, с мелкой седоватой щетинкой на щеках, которые были прорезаны длинными морщинами. Он прихрамывал, но ходил без палки и держался прямо. Носил он большие круглые очки, хотя и без них видел неплохо. Журке почему-то казалось, что очки эти насмешливо поблескивают, когда дед смотрит на папу и маму. А если дед имел дело с Журкой, очки он снимал: и когда разговаривал, и, уж конечно, когда вскидывал Журку себе на плечи.

Он был крепкий, и руки у него были сильные (правда, и ласковые тоже). Еще в прошлом году, когда мама с Журкой встретили его на вокзале, он легко подкинул десятилетнего внука, посадил на себя и, почти не хромая, понес по улице. Журка немного стеснялся встречных ребят — не маленький уже, — но не просился на землю, только весело ойкал: от смущения и оттого, что щетинистые дедовы щеки покалывают ему голые ноги.

Дед рассказывал Журке про разные интересные вещи: про раскопки старинных курганов, про то, как устроены латы древних рыцарей и чем в испанском бое с быками матадоры отличаются от пикадоров и бандерильеров. Он

научил Журку, как определять, молодой месяц в небе или старый, и как разглядеть в Большой Медведице незаметную восьмую звезду. А еще — запоминать названия парусов на больших кораблях и привязывать перья к стрелам для лука...

Иногда дед вспоминал, как в юности служил цирковым униформистом и плавал матросом по Каспию или как в детстве сделал с друзьями громадного змея, привязал к бечеве тележку, и змей тащил его, будто взнузданный конь, через луг. Пока бечева не оборвалась...

Один раз Журка попросил:

— Расскажи, как ты воевал.

Дед неохотно сказал:

— Да чего там воевал!.. Месяц был на позициях, а потом ногу искалечило, и отправили в тыл. И стал чиновником.

Но Журка знал, что чиновники водились только при царе, а месяц на позициях дед провел не зря: среди медалей «За трудовое отличие», и «Ветеран труда» были у него еще «За отвагу» и «За победу над Германией»...

В общем, славный был дедушка Юрий Григорьевич Савельев. Только встречался с ним Журка лишь на короткое время и редко — не чаще одного раза в году. Дважды Журка с мамой ездил к нему в «большой город», а иногда дед приезжал сам. Но приезжал, видимо, без большой охоты. Журка догадывался, что отец и дедушка недолюбливают друг друга. Кажется, деду не нравилось, что мама вышла замуж за папу. Но он зря был недоволен: ведь если бы мама и папа не встретились и не поженились, тогда, чего доброго, не появился бы на свет и Журка.

Прошлогодний приезд деда был последним. Этим летом Журка после лагеря собирался поехать к нему с мамой. А получилось вот как...

Было грустно, а в то же время от ожидания больших перемен в Журке звенели радостные струнки.

Перед отъездом Журка неторопливо попрощался с Картинском. Навестил приятелей (их немного осталось в городе в летнюю пору), обошел все улицы, где когда-то гуляли с Ромкой, заскочил в пустую школу, побродил по берегу Каменки, поплескался в купалке, а потом поднялся на насыпь и положил на рельсы пятак. Прогремел длинный состав с разноцветными контейнерами, и Журка поднял раскатанный латунный кружок. Звонкий и горячий. Положил его в кармашек на тонкой рубашке...

А поздно вечером все Журавины были уже на новом месте.

Утром отец отправился узнавать насчет контейнера с багажом, а Журка и мама поехали на кладбище.

Кладбище оказалось большим и каким-то слишком открытым, с чахлыми деревцами, замершими под ярким, равнодушным солнцем. Совсем непохожим на то, что в Картинске. Дедушкина могила была недалеко от бетонной стены, по которой прыгали воробьи. Журка увидел длинный бугор, заваленный бурыми увядшими цветами и венками с полинялыми лентами. Мама стала откидывать их, и тогда открылась рыжая глинистая земля, через которую пробивались травинки — как весной, хотя появился этот холм в середине лета.

Журка стоял, забыв положить на могилу астры, которые дала ему мама.

Над бугром поднимался решетчатый обелиск, похожий на модель буровой вышки. Он был покрыт какой-то нелепо веселой голубой краской. Сверху алела острая звездочка, а посредине била в глаза очень черная табличка с белыми буквами дедушкиного имени и с числами: когда родился и когда умер. Журка машинально сосчитал, что прожил дедушка шестьдесят один год, четыре месяца и четыре дня...

Мама встала рядом с Журкой и сказала тихонько:

— Мы с папой отдали дедушкину фотографию переснять на эмаль. Будет такой круглый медальон. Когда сделают, привинтим сюда, на памятник...

Журка помолчал и спросил:

— Он на этой фотографии в очках?

— Да... А что, сынок?

— Так...

Журка отчетливо вспомнил, как дед снимал очки, когда наклонялся над ним. И понял — неожиданно, только сейчас понял, — что дедушкины глаза очень похожи были на Ромкины. Казалось бы, чего похожего? У Ромки — распахнутые, золотисто-карие, с чистыми голубоватыми белками, у деда — водянистые, с красными прожилками, с набрякшими веками и морщинками вокруг. Но смотрели они одинаково: с добротой и постоянным ожиданием чего-то хорошего...

И когда Журка вспомнил это, резко перехватило горло.

Он переглотнул, тихо положил цветы и щекой прижался к маминому рукаву.

По глинистому холмику пролетела тень. Это подошли первые облака близкого ненастья.

Когда возвращались домой, облака загустели и закрыли небо. Солнце било последним лучом в золотистую щель с лохматыми краями. Этот луч высвечивал кирпичный трехэтажный дом, в котором была дедушкина квартира. Журке вспомнилась открытка с картиной какого-то очень давнего художника: там среди темных деревьев, под круглыми сизыми облаками светилась красная мельница с громадным колесом. И сейчас было очень похоже (если забыть про колесо).

Дом построили давно. Еще, наверное, до революции. Он был по-старинному красив со своими карнизами, треугольными выступами под крышей и полукруглыми окнами на узком фасаде. Журка замечал эту красоту и раньше, а сейчас при свете одинокого луча она выступила особенно ясно. Журке стало грустно и хорошо.

Красный дом, как замок, поднимался над крышами других домов — двухэтажных и одноэтажных. В большом шумном городе здесь, недалеко от парка, сохранились тихие старые кварталы, и было как в Картинске. Оказалось, что есть даже речка, похожая на Каменку.

Но с речкой, где горбатился узорчатый железный мостик, с окрестными улицами и старым парком Журка познакомился позднее. А в первый день хватило хлопот дома: надо было устраиваться.

Квартира находилась на третьем этаже. В ней было две комнаты: одна большая и одна крошечная — как раз для Журки. А еще маленькая кухня и даже отдельная ванная. Не то что в Картинске, где одна ванна была на четыре семьи... Последний раз Журка был у дедушки три года назад и уже тогда заметил, что в комнатах очень мало вещей. Стол, два стула, узкий диван — вот и все. Мама сказала, что дед не терпел ничего лишнего. Он жил один. Бабушка — мамина мама — умерла очень давно. Дед женился было еще раз, но неудачно. Когда вторая жена ушла, а дочь окончила школу и уехала учиться, Юрий Григорьевич распродал мебель, купил кубометр досок и сколотил из них стеллажи от пола до потолка. Полки он заполнял книгами, которые покупал где только мог.

Зарплата у деда была средненькая. Он долгие годы работал проектировщиком в каком-то управлении (что это за должность и что за управление, Журка понятия не

имел). Год назад пришло время пенсии — тоже небольшой. Но книг дед собрал множество.

В Журкиной комнатке между стенкой и окном стоял узкий стеллаж. Полок семь или восемь. Мама сказала:

— Эти книги дедушка оставил тебе.

— Как это мне? — удивился Журка. — А почему не всем?.. А те, другие?

— Те как раз нам всем. А эти именно тебе. Специально... Дедушка их очень любил.

Журка растерянно оглядел полки...

В соседней комнате стояли Пушкин и Джек Лондон, Купер и Катаев, «Легенда об Уленшпигеле» и «Алиса в стране чудес». А здесь? Он видел облезшие кожаные корешки без надписей, края разлохмаченных обложек. Некоторые книжки были совсем без корочек.

Мама вышла, а Журка потянул с полки книгу. Наугад. Откинул тонкий самодельный переплет... Тихо вздохнул и сел на жидкий надувной матрац, на котором спал прошлой ночью.

На грубой серой бумаге было отпечатано:

ЖУРНАЛЪ
перваго путешествія
Россіянъ
во кругъ Земнаго шара,
Сочиненный
подъ Высочайшимъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
покровительствомъ
Россійско-Американской компаніи
главнымъ комиссіонеромъ
Московскимъ Купцомъ Ѳедоромъ Шемелинымъ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
въ Медицинской типографіи
1816

...Сначала Журка медленно листал, потом встряхнулся, обвел глазами полки. Вскочил, выдернул сразу несколько книг. Оказалось, что это два тома «Путешествий» капитана Головнина, изданные в 1819 году, и сразу три «Робинзона». Один был совсем старинный — 1789 года — и назывался почему-то «Новый Робинзон». Второй носил название «Робинзон-младший». На титульном листе стоял 1853 год, и Журка вспомнил, что, кажется, в этом году произошло

Синопское сражение. Третий Робинзон оказался самым молодым — тридцатых годов нашего века. Зато он был самый толстый, и Журка с восторженной дрожью увидел, что там не только всем известные приключения на необитаемом острове. Там еще и вторая часть — дальнейшие путешествия Робинзона. Журка даже и не знал, что есть на свете такая книга...

За открытым окном захлопал листьями, резко зашумел тополь. Влетели в комнату холодные брызги. Упали на желтые страницы «Прелюбопытнейшихъ Повъствованій о Кораблекрушеніяхъ, Зимованіяхъ и Пожарахъ, случившихся на моръ...». Журка машинально отодвинулся и даже не понял, что начался дождь. Это брызгали волны, хлопали паруса и шумели ветры...

Вошла мама.

— Давай-ка закроем окно. Кажется, будет гроза.

Журка никогда не боялся грозы. Даже если грохало и сверкало над самой головой. Он и сейчас ответил:

— Ну и что? Я не боюсь.

— Грозе все равно, боишься ты или нет. Сквозняк втянет молнию, и от такой нелепой случайности может быть большая беда.

Мама плотно прикрыла створки, посмотрела на обложенного книгами Журку, улыбнулась и спросила:

— Нравятся? Интересно?

Журка сперва рассеянно кивнул, потом поднял глаза.

— Ма... Тут не только интересно. Тут дело даже не в этом...

Она ласково наклонилась над ним:

— А в чем, Журавушка?

Но он не знал, как сказать. Как объяснить радостное замирание души, когда думаешь, что, может быть, эту книгу читал в палатке под Измаилом Суворов или в селе Михайловском Пушкин. Вот эти самые страницы. Эти самые буквы. И книги рассказывали им то же самое, что ему, Журке. Они были как люди, которые за одну руку взяли Журку, а за другую тех, кто жил сто и двести лет назад. Тех, кто ходил в атаку под Бородином, писал гусиными перьями знаменитые поэмы, дрался стальными блестящими шпагами на дуэлях и мотался на скрипучих фрегатах среди штормовых волн Южного океана. У не открытых еще островов. Эта жизнь приблизилась к Журке, стала настоящей. И у Журки холодела спина.

— Мама, я не знаю. — Он помолчал и чуть не сказал про книги: «Они живые». Но отчего-то застеснялся.

Мама его поняла. Или, по крайней мере, поняла, что лучше его пока не расспрашивать. И пошла по своим делам. Дел-то было ой-ей-ей сколько...

А Журка опять потянулся к полкам и взял самую прочную и новую на вид книгу с золотыми узорами на корешке. Это оказались «Три мушкетера». Не такое старинное издание, как другие, хотя тоже с «ятями» и с твердыми знаками в конце слов. С гладкой бумагой и множеством рисунков. Журка обрадовался «Мушкетерам» — это были старые друзья, — начал перелистывать, разглядывая картинки...

И увидел между страницами узкий белый конверт.

Видимо, дедушка решил, что если все другие книги покажутся Журке неинтересными, то «Мушкетеров» он все равно пролистает до конца.

Тем же прямым почерком, каким раньше дед писал короткие поздравления на открытках, на конверте было выведено:

Юрику.

Журка сперва сам не знал, чего испугался... Или нет, не испугался, а задрожал от непонятной тревоги. Оглянулся на прикрытую дверь, подошел к окну. Суетливо дергая пальцами, оторвал у конверта край. Развернул большой тонкий лист...

Дед писал четкими, почти печатными буквами:

«Журавлик!

Книги на этих полках — тебе.

Это старые, мудрые книги, в них есть душа. Я их очень любил. Ты сбереги их, родной мой, и придет время, когда они станут твоими друзьями. Я это знаю, потому что помню, как ты слушал истории о плаваниях Беринга и Крузенштерна и как однажды пытался сочинить стихи про Галактику (помнишь?). Ты их еще сочинишь.

Малыш мой крылатый, ты не знаешь, как я тебя люблю. Жаль, что из-за разных нелепостей мы виделись так редко. В эти дни я все время вспоминаю тебя. Чаще всего, как мы идем по берегу Каменки, и я рассказываю тебе про свое детство и большого змея.

Этот летучий змей почему-то снится мне каждую ночь. Будто я опять маленький, и он тащит меня в легкой тележке сквозь луговую траву, и я вот-вот взлечу за ним.

Жаль, что так быстро оборвалась бечева..

В детстве я утешал себя, что змей не упал за лесом, а улетел в далекие края и когда-нибудь вернется. И его

бумага будет пахнуть солеными брызгами моря и соком тропических растений. Наверно, потому я к старости и стал собирать эти книги: мне казалось, что они пахнут так же.

Впрочем, ерунда, старости не бывает, если человек ее не хочет. Просто приходит время, когда лопается нить, которая связала тебя с крылатым змеем. Но змей вернулся, я оставляю его тебе. Может быть, он поможет тебе взлететь.

Журка, вспоминай меня, ладно? Меня и другие будут вспоминать, но многие, даже твоя мама, скажут, наверно: жизнь у него не удалась. Это неправда! И ты про это не думай. Ты вспоминай, как мы расклеивали в твоем альбоме марки, говорили о кораблях и созвездиях, а вечерами смотрели на поезда.

И учись летать высоко и смело.

Ты сумеешь. Если тяжело будет — выдержишь, если больно — вытерпишь, если страшно — преодолеешь. Самое трудное знаешь что? Когда ты считаешь, что надо делать одно, а тебе говорят: делай другое. И говорят хором, говорят самые справедливые слова, и ты сам уже начинаешь думать: а ведь, наверно, они и в самом деле правы. Может случиться, что правы. Но если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, — делай по-своему. Не оправдывай себя чужими правильными словами.

Прости меня, я, наверно, длинно и непонятно пишу... Нет, ты поймешь. Ты у меня славный, умница. Жаль, что я тебя, кажется, больше никогда не увижу.

Никогда не писал длинных писем. Никому. А теперь не хочется кончать. Будто рвется нить. Ну, ничего...

Видишь, какое длинное письмо написал тебе твой дед

Юрий Савельев,

который тоже когда-то был Журавленком».

Журка дочитал письмо и сразу, не сдерживаясь, заплакал. Его резанули тоска и одиночество, которые рвались из этого письма. И любовь к нему, к Журке, о которой он не знал. И ничего нельзя уже было сделать — ни ответить лаской, ни разбить одиночество...

Напрасно дед боялся, что Журка чего-то не поймет в письме. Он понял все. В дедушкиных словах (будто не написанных, а сказанных негромким хрипловатым голосом) были не только печаль и любовь. Была еще гордость.

И поэтому в Журкиных слезах, несмотря ни на что, тоже была гордость...

Он спрятал шелестящий лист в конверт, а конверт под рубашку. Письмо было только ему. Одному-единственному. Он не хотел сказать о нем даже маме. Не потому, что здесь какая-то тайна, а просто они с дедом всегда говорили один на один, и сейчас был последний разговор.

Журка толкнул оконные створки. Холодные капли застучали по широкому подоконнику. Журка поймал несколько капель, провел мокрыми ладонями по лицу. Вытер его рукавом.

— ...Ты опять открыл окно!

— Все равно нет грозы. Простой дождик.

Журка старался говорить обыкновенным голосом, но разве маму обманешь? Она торопливо подошла.

— Ты плакал?

— Вспомнил дедушку, — без всякого обмана сказал Журка. Потом встряхнулся. — Пойдем, я тебе помогу...

Они с мамой долго разбирали вещи. Развешивали одежду, расставляли по пустым углам и подоконникам посуду. Один раз Журка спросил:

— Мама, а дедушка умер сразу?

— Да, сынок. Он потянулся к верхней полке, чтобы взять книгу, и вдруг упал. У него как раз сидел сосед, который пришел за книгой...

— А разве дедушка знал, что скоро умрет?

— Почему ты решил?

— Ну... — сбился Журка (письмо лежало у него под рубашкой), — он же завещание написал...

— Что ж... конечно. У него было уже два инфаркта, и последний год каждый день болело сердце...

«А таскал меня на плечах», — подумал Журка и через рубашку украдкой погладил письмо.

В это время приехал папа, злой и веселый. Злой — потому что контейнером с багажом на станции «еще и не пахло», хотя отправили из Картинска месяц назад. А веселый — потому что заехал в мебельный магазин и «ухватил» там две модные деревянные кровати и неширокую поролоновую тахту — для Журки. Кровати маме понравились, а про тахту она сказала:

— Ничего. Только цвет скучноватый.

— Зато недорого. Да и не было других. Не спать же парню на полу...

Грузчики и отец втащили тахту в комнатку. Она аккуратно встала между стенкой у двери и стеллажом. Журка

скинул кроссовки, вскочил на нее, попрыгал. С тахты можно было дотянуться до верхних полок, куда Журка еще не добирался. Теперь он подпрыгнул и выхватил из ряда книг томик в желтой облезшей коже. Неловко повернулся и чуть не полетел на пол. Папа его подхватил.

— Не скачи, шею свихнешь... Дай-ка взглянуть. — Он взял у Журки книгу и открыл ее странно — с задней стороны. Покачал головой:

— Ну, насобирал дед музейных ценностей. И где только деньги брал... Юля, ты глянь...

Мама подошла, и он показал ей и Журке на обороте обложки лиловый штамп и размашисто написанные цифры: 65 р. Провел глазами по полкам.

— Это еще ничего. Есть по полторы сотни томики... Вот наследство! А, Юрка? Я спрашивал знающих людей, они говорят, что есть специальный магазин, где эти книжки за такие суммы продают и покупают...

Журка испуганно встал спиной к полкам.

— Папа, не надо...

— Что «не надо»?

— Не надо в магазин... Дедушка мне оставил.

Отец сказал с легким удивлением, но терпеливо:

— Я понимаю, что тебе. Но тебе они з а ч е м? Это же не детская литература.

Журка упрямо проговорил:

— Все равно. Это книги...

— Ну, какие книги! — уже раздражаясь, воскликнул отец и открыл титульный лист у той, что держал. — «Экстракт штурманского искусства из наук, принадлежащих к мореплаванию, сочиненный в вопросах и ответах для пользы и безопасности мореплавания»... Что это тебе, «Дети капитана Гранта?» Тут и буквы-то такие, что не разберешь...

— Я разберу.

— Ну ладно. А к чему? Если моряком захочешь стать, не по этой же книжке будешь учиться. Она устарела на двести лет!

— Не хочу я моряком... Не в этом дело...

— В дурости твоей дело! — в сердцах сказал отец. — Ну, оставил бы «Робинзона», «Мушкетеров», это я понимаю. А к чему архивные сокровища? Они только специалистам нужны.

— Мне тоже нужны, — негромко, но четко сказал Журка и поднял заблестевшие глаза.

— Саша, не надо об этом. Потом... — тихо и торопливо сказала мама. И за локоть повела отца к двери.

— Я и потом не дам. Это мои! — звонко сказал Журка вслед. И сам удивился: никогда он с мамой и папой так еще не разговаривал.

Отец обернулся, вырвал локоть, присвистнул и медленно сказал:

— Ты смотри-ка... «Не дам», «мои»... Ну, давай посчитаем, у кого здесь чье... Может, поделим? У тебя вон штаны из моих перешиты...

— Саша...

— Да подожди ты! «Саша», «Саша»! — взорвался отец. — У сыночка вон что прорезалось, а ты — «Саша»... Воспитали буржуйчика! Наследник...

Журка прижался лопатками к полке и сморщил лицо, чтобы не разреветься. Мама сжала губы, опять взяла отца за локоть и утянула из комнаты. За дверью она что-то тихо сказала ему. А отец опять заговорил громко и зло:

— Да брось ты! Вон Пушкин стоит, Гоголь, Стивенсон — я их сам ни на какое барахло не сменяю. Даже Диккенса твоего, хоть и занудно он писал! Но у Юрки-то блажь!

Мама опять заговорила негромко, и опять отец ответил во весь голос:

— Ну, ясно, где мне понять ваши тонкости! Мое дело вкалывать. Знаешь, романтика — штука полезная, но жить тоже надо по-человечески. А мы? Вместо мебели рухлядь, холодильник трясется, как припадочный, телевизор почти что этим книгам ровесник... Кстати, Юрке за две такие книги можно мопед купить...

Кажется, мама сказала: «Этого еще не хватало...» А потом опять заговорила неразборчиво. Журка, глотая слезы, прислушивался, но слов ее так и не мог понять. А отец вдруг воскликнул:

— Ну хорошо, хорошо! Не скажу об этом больше ни слова!.. Я пень, я молчу... Только пускай не ревет. Вот дамское воспитание: чуть чего — и сразу сырость из глаз! Недаром всю жизнь с девчонками играл...

На этом все и кончилось. Больше отец ни разу не завел разговора о книгах. Через час они с Журкой как ни в чем не бывало прибивали карнизы и вешали шторы. Журка два раза съездил себе молотком по пальцам, но

не пикнул. Чтобы опять не услышать про дамское воспитание.

Отец на это воспитание и раньше любил намекать. Растет, мол, кисейная барышня. И насчет девчонок посмеивался. Но разве Журка виноват, что в том дворе на Московской жили в основном девчонки? Конечно, Журка играл с ними и, надо сказать, всегда по-хорошему. Но настоящим другом его был Ромка, а вовсе не девчонки.

Кстати, Ромка никогда-никогда не смеялся над Журкой, они оба понимали, что главное в человеке — характер, а не то, что девчонка он или мальчик.

И здесь через три дня после приезда Журка ничуть не жалел, что познакомился в парке с Иринкой, а не с каким-нибудь Вовкой или Сережкой (тем более что такого, как Ромка, на свете все равно больше нет). Иринка была веселая, хорошая. И мама ее тоже. И дома у них было так здорово — особенно та картина с кораблем. В этом корабле было что-то знакомое... Вот что! Он словно пришел из дедушкиных книг...

### Кто такие «витязи»?

На остановке было много людей. Когда подошел троллейбус, они разом кинулись к дверям — и к задней, и к передней. Но сердитый голос водителя прокричал через динамик непонятное слово:

— Дрынка!

Будто заклинание какое-то. И почти все отступили. Некоторые ворчали. Но Иринка заторопила Журку:

— Пойдем, пойдем, нам годится.

В троллейбусе оказалось много свободных мест.

— Садись к окошку, тебе все видно будет, — предложила Иринка.

Неторопливо — трюх-трюх — троллейбус поехал по бугристому асфальту. Смотреть на незнакомые места было интересно. Сначала Журка видел красивые старые дома, потом потянулся за окном травянистый склон. Журка, вытянув шею, глянул вверх. На крутом холме стояла древняя церковь с облупившейся колокольней...

— Это Макова гора, — сказала Иринка.

— Почему Макова?

— Говорят, на ней раньше маки цвели... А сейчас только одуванчики... Мы зимой здесь на санках и на лыжах катаемся, только с другой стороны, где машины не ходят.

— Хорошая гора, — одобрил Журка.

— А недавно здесь детское кино снимали: про двух мальчиков, которые самодельный самолет построили. Многих наших ребят приглашали на съемки...

— И тебя?

— Да ну... Я и не пыталась. Там не таких выбирали.

— А каких? — удивился Журка и, оторвавшись от окна, взглянул на Иринку.

— Таких... симпатичных. Чтоб смотреть приятно...

«А на тебя разве не приятно?» — чуть не спросил Журка, но смутился и сказал другое:

— В кино всяких людей снимают, не только красавцев. Главное, чтобы талант был.

— Ну да. А если ни таланта, ни внешности?

— Чего ты на свою внешность напустилась? — проговорил Журка с суровой ноткой. — Человек как человек...

— Нет, — вздохнула Иринка. — У меня рот акулий и зубы пилой.

— Какой пилой?

Иринка-приподняла верхнюю губу. В самом деле — нижние краешки зубов были скошены на одну сторону и торчали неровно, как зубчики маленькой пилы.

— Ну и что? — сказал Журка. — Это даже... интересно.

— Уж куда как интересно... А еще конопушки эти круглые. Не лицо, а божья коровка.

— Да их и не видно совсем.

— Это сейчас не видно, а весной знаешь как...

Журку смущал такой разговор. Но он чувствовал, что Иринка говорит не всерьез. Видно, она просто решила показать: вот, мол, я какая, не жалей потом, что подружился...

Журка хотел сердито сказать, что терпеть не может дамских бесед о красоте. Разве в ней дело? Но в это время троллейбус остановился, двери зашипели, и водитель опять недовольно закричал:

— Дрынка!

— Почему он всех какой-то «дрынкой» пугает? Что за «дрынка»? — спросил Журка.

Иринка широко открыла глаза. Потом охнула и начала смеяться:

— Это он говорит «до рынка». Рядом с рынком троллейбусный парк, вот он туда и едет, потому что работу кончил. А вообще этот шестой маршрут ходит на Сельмаш... Нам-то все равно по пути, а другие сердятся. Ждут,

ждут, а он... Он: «Дрынка!».. Ой, ты не обижайся, что я смеюсь.

— Я не обижаюсь, — проворчал Журка. — Просто глупо. Сказал бы по-русски: «Еду в парк, товарищи».

— Тогда непонятно, в какой парк. Может, в парк культуры и отдыха, туда, где мы вчера были. Там у него конечная остановка... Ты обратно на этой «шестерке» до самого дома доедешь.

«Шестерка» снова тряхнулась и поехала.

— Ой, а о чем мы недавно говорили? — спохватилась Иринка.

— О твоих конопушках, — безжалостно сказал Журка.

— Да... — сразу опечалилась она. — И о зубах... Я даже удивляюсь, с чего ты решил со мной познакомиться.

Журка усмехнулся:

— Значит, если знакомишься, надо человеку в зубы смотреть, как лошади? И конопушки считать?.. Ты сказала «пошли», я и пошел с тобой.

— Между прочим, это ты сказал «пошли».

— Между прочим, ты. Я и не мог, я как раз тогда губу облизывал, видишь, на ней трещинка.

— Ну... ладно. Зато ты стал резинкой угощать.

— А ты не отказывалась.

Иринка опять засмеялась:

— Неудобно отказываться. Жевала и страдала.

— Подумаешь, страдала. Вот я сегодня страдал...

— Когда?

— Над молочным супом. Я его больше всего на свете не терплю. Первый раз в жизни до конца съел. Да еще с пе-енками... — Журка передернулся.

— Ой, а почему же ты не сказал?

— В гостях-то!

— Я маме скажу, чтобы никогда больше...

— Не вздумай!.. А то каждый день буду резинками кормить.

Иринка жалобно попросила:

— Только не такими твердыми. А то я потом потихоньку целый час плевалась, когда ты меня по парку таскал.

— Я таскал? Я там и дорог-то никаких не знал! Ты сама: «Пойдем еще куда-нибудь», я и пошел...

— Ага! А сам все спрашивал: «Вон за теми деревьями что? А в том домике что? А лодочная станция где?»

— А ты сама: «Хочешь, летний трамплин покажу? Хочешь на детскую железную дорогу?»

— А ты не отказывался...

— А ты... — Журка хлопнул губами, моргнул и заулыбался. — Сдаюсь. Ты меня переговорила. Скоро приедем?

— Уже. Остановка.

Они выскочили из троллейбуса на горячее солнце. Иринка сказала, продолжая разговор:

— А все-таки здорово мы познакомились. Раз — и готово! Я так быстро ни с кем не знакомилась. А ты?

— Я?.. — Журка сбил шаг, потом чуть опередил Иринку, ступил на узкий поребрик тротуара, пошел, балансируя. И, не оглянувшись, тихо сказал: — Я один раз... Еще быстрее.

Тогда он так же шел по гранитному поребрику у школьного забора... Это было первого сентября три года назад. Журка очень рано прибежал к школе, знакомых ребят не увидел и стал развлекаться, изображая канатоходца. Потом он заметил, как на узкий гранитный барьерчик шагах в пятнадцати от него встал незнакомый мальчик. И пошел навстречу.

Они сошлись. Теперь все зависело от характера и настроения каждого. Разные ведь бывают люди. Кто-нибудь мог сказать: «Не твоя дорога» — и пойти напролом. Или честно вытянуть руку: кто кого столкнет — как на спортивном бревне. Или просто шагнуть в сторону, обойти встречного и снова встать на поребрик — будто и не было ничего.

Мальчик наклонил голову и глянул из-под светлых прядок немного застенчиво, но весело и как-то выжидающе. Журка, сам не зная почему, тоже нагнул голову и заулыбался. Не сговариваясь, не сказавши ни словечка, они сделали еще полшага и легонько стукнулись лбами. Уперлись ими, как бычки. Журка близко-близко увидел золотистые мальчишкины глаза. Мальчик тоже улыбнулся и тихонько сказал:

— Му-у...

Они засмеялись, взяли друг друга за руки и прыгнули с поребрика. Не выпуская ладошек мальчика, Журка спросил:

— Ты кто?

— Ромка...

Оказалось, он совсем недавно приехал в Картинск, и его записали в эту школу, тоже во второй «В».

Так, ухватив за руки друг друга, они вошли в класс и сели за одну парту...

— Мы познакомились в одну минуту... нет, за несколько секунд. И потом не расставались целых два года, — серьезно сказал Журка.

— С кем?

— С Ромкой.

— А, я помню, ты говорил... Вы поссорились потом, да? — осторожно спросила Иринка.

— Мы?! — Журка сбился и соскочил с поребрика. — Нет, что ты. Мы никогда не ссорились... Он погиб вместе с родителями. Они поехали в своей машине на Украину и там разбились... В прошлом году.

Дальше они пошли с опущенными головами. Медленно и без всяких слов. Потом Иринка сбоку быстро глянула на Журку. Ей показалось, что своими воспоминаниями о Ромке он отгородился, как стеклянной стенкой. Вроде рядом, но все равно один. А она что могла сказать? Ей было жаль и Журку, и незнакомого Ромку, и почему-то себя. И страшновато сделалось: вдруг Журка вздохнет и скажет, что ему расхотелось в кино, и он пойдет домой...

— Ну, где это кино? Далеко еще?

— Нет! — обрадовалась она. Вон там, за углом. Пошли скорей.

И они опять сцепили пальцы и замахали на ходу руками...

Оказалось, что «Робин Гуда» уже не показывают и на дневных сеансах идет какой-то «Питер и летающий автобус». Зато в кассе не было очереди. Иринка с Журкой решили, что «автобус так автобус», и купили билеты.

У входа в кинотеатр стояли трое ребят. Стояли расхлябанно, смотрели вокруг не по-хорошему. Сразу было видно, что за люди. Особенно старший, класса из восьмого, — сытый такой, с лицом, похожим на распаренную репу, с волосищами до спины... Чем ближе до них было, тем страшнее делалось Иринке. Одна она не боялась бы, но к таким, как Журка, хулиганы всегда привязываются.

Она шепотом сказала:

— Не пойдем пока. Ну их...

Но было поздно. Все трое уже с ухмылкой смотрели на Иринку и на Журку. Старший, зевнув, сказал:

— Какие красавчики. А?

И тогда что сделал Журка? Он прочно взял ее за руку и повел прямо на этих типов. И они расступились. Правда, один, все ухмыляясь, подставил ногу, но Журка спокойно перешагнул. Иринка тоже перешагнула. Журка повел ее дальше, не оглядываясь. Кто-то из парней грозно, как

Змей Горыныч, гыкнул им вслед. Журка провел ее еще несколько шагов — туда, где было многолюдно и безопасно, и тогда оглянулся. Небрежно спросил:

— Больные, что ли?

Потом сказал Иринке:

— Пошли за мороженым.

...Кино оказалось так себе, хотя и фантастика. Но ничего, смотреть можно. Когда вышли на улицу, Журка весело проговорил:

— Вот бы нам такой автобус! Путешествуй по воздуху, и горючего не надо!.. Только скорость маленькая, не то что у самолета.

— А ты летал на самолете?

— Один раз, на юг...

— У нас в парке, где сейчас площадка для городков, раньше настоящий самолет стоял, «ИЛ-18». В нем детское кино было. Потом его сожгли, — вздохнула Иринка.

— Зачем? — удивился Журка.

— Да ни за чем... Такие дураки, как те, что у дверей торчали... Журка, ты боялся, когда меня мимо них тащил?

Журка шевельнул плечом. Она поняла, что боялся, но говорить про это не хочет. И врать не хочет.

Журка наконец сказал:

— Они только и ждут, чтобы их боялись... Ух, мы в нашей школе дали одному такому. Все лез, лез на маленьких, пока не наткнулся на витязя...

— На кого?

Журка улыбнулся:

— На витязя. Наш класс витязями называли. Потому что мы, когда еще второклассниками были, сделали себе костюмы богатырей для парада октябрятских войск... У всех там пилотки или бескозырки да бумажные воротники матросские, а у нас шлемы, щиты серебряные, кольчуги... Знаешь, кольчуги отлично получаются из больших авосек, надо только, чтобы нитки были потолще...

— Ой, как интересно! Вы, наверно, лучше всех были, да?

— Ну... в общем, не хуже других. «Тридцать витязей прекрасных и с ними дядька Черномор...»

— А кто был дядька?

— Конечно, наша Лидия Сергеевна. Специально себе бороду до полу сделала и шлем с якорем на макушке... Только ей, говорят, попало потом за это...

— За что?

— Ну, за все... За Черномора. Директорша ей сказала: «Это же несерьезно. Все учителя на сцене, а вы впереди своих ребят, как девчонка, прыгаете...» Ей за нас часто попадало. И за ту драку тоже досталось. Но она все равно нам сказала, что мы молодцы...

— В тот раз, когда хулигана отлупили?

— Да... Это в прошлом году было. Его звали Дуля. Он к нашему Вадику Мирохину привязался. Тот над фонтанчиком нагнулся, чтобы попить, а Дуля его бац по затылку... Ну, Вадька губы разбил... Мы тогда встали поперек коридора и стали ждать Дулю. А он большой был, в шестом классе. Но мы все равно как навалились! И давай его кедами и сандалетами обрабатывать! Он заревел, дежурные учителя сбежались... Нас потом за это в пионеры не принимали до самого конца учебного года...

— Весь класс?

— Тех, кто не дрался, хотели принять, а мы сказали, что будем вступать только все вместе... Мы всегда друг за друга были, нас Лидия Сергеевна этому с первого класса учила.

Иринка сочувственно сказала:

— Наверно, жалко было из такой школы уезжать...

— Да нет... Не очень жалко. Лидии Сергеевны потом уже не было. В прошлом году в июне мы сходили с ней в поход, а после она уехала из города... А в четвертом классе нас расформировали. Кого в спортивный класс, кого в новую школу. Почти не осталось витязей.

— Плохо стало?

— Ну, не совсем плохо, но не так, как раньше... Скучнее. Да и Ромки уже не было.

Чтобы он опять не загрустил, Иринка быстро сказала:

— Теперь я понимаю, почему ты такой смелый...

Смелый?.. Нет, он не отличался среди витязей смелостью. Скорее, наоборот. Правда, про это «наоборот» никто не знал. Только Ромке он признался однажды, что «жутковато» чувствует себя вечером в коридоре, когда перегорает лампочка, или если мама с папой ушли в кино на последний сеанс, а за окнами скребется, как нечистая сила, ветер... Но Ромка — другое дело. Он все понимал и тоже ничего не скрывал от Журки. И только говорил, вздыхая: «Надо нам себя перебарывать...»

Но Журка не умел бороться со страхом, и потому произошел тот постыдный случай в походе.

Ночь стояла пасмурная, кое-где под тучами загорались отблески молний. Страшновато было даже у палаток, хотя рядом находились Лидия Сергеевна и ее муж Валерий Михайлович. А Журке выпало по жребию стоять в карауле у дальней границы походного лагеря. Ему вручили пневматическую винтовку без пуль и велели стрелять вхолостую, если появится что-нибудь подозрительное. Всунули его в чьи-то сапоги, отвели на место и оставили одного.

И сразу стало тихо-тихо. Все голоса почему-то угасли, и отблески костра пропали во мраке. Журка стоял, обмирая и не двигаясь. Наверно, сто часов стоял. И была только тишина и редкие зарницы. Может, ребята незаметно свернули лагерь и ушли, позабыв про Журку? Или вообще уже никого нет на свете, и он один здесь на тысячу верст в округе?

Нет, кажется, не один... Нет-нет! Потому что вон там, в траве, кто-то зашевелился. Тихо задышал... Мамочка, кто это? Бандиты и грабители? Шпионы? Или вообще что-то мохнатое и непонятное?

Выстрелить?

Но тогда оно сразу заметит Журку и кинется!

Замереть? Но оно все ближе...

Журка, не дыша, сделал шаг назад, еще шаг, еще... И побежал!

И почти сразу наткнулся на кого-то. Вскрикнул.

Это была Лидия Сергеевна. Она спросила веселым шепотом:

— Журкин, ты что?

Он вцепился в нее левой рукой (правой держал винтовку) и, вздрагивая, пробормотал:

— Там кто-то шевелится... в траве...

— Где? Ну-ка пойдем.

С Лидией Сергеевной было нестрашно. Они прошли вперед, к самой дороге, обшарили кусты.

— Ветерок в траве пошевелился, — сказала Лидия Сергеевна. — Все в порядке.

Тогда Журка ужаснулся тому, что сделал. Сел в траву, положил винтовку, обнял себя за ноги и негромко заревел. Не стесняясь. Потому что все равно с ним было кончено. Если человек струсил и позорно сбежал с поста, что он за человек?

Лидия Сергеевна села рядом.

— Юрик... Журавлик, перестань. Ты же часовой.

— Ну какой я часовой, что вы говорите, — с отчаянием сказал Журка. — Я трус.

Теплые слезы падали ему на колени и щекочущими струйками бежали в сапоги. Журка вытирал их со щек ладонями и галстуком — еще новеньким, но уже прожженным сегодня у костра. Ну и пусть! Галстук все равно отберут за трусость. И правильно сделают.

— Вовсе ты не трус, — возразила Лидия Сергеевна. — Просто немножко растерялся. А потом применил хитрость: отступил, чтобы из укрытия проследить за опасностью.

Он всхлипнул, подумал секунду и сказал с полной беспощадностью к себе:

— Это вы сочинили. А по правде все не так. На самом деле я струсил, и нечего тут говорить.

— Ну ладно, — сказала она и положила ему ладонь на дрожащую спину. — Ты испугался. Но от этого не случилось пока никакой беды, и все можно поправить.

— Как? — с надеждой спросил Журка.

«Боже мой, неужели в самом деле еще можно?»

— Очень просто. Никто ничего не знает, кроме нас с тобой. Это наша тайна. Сейчас ты встанешь на прежнее место и достоишь вахту до конца. И не будешь бояться.

— Я достою, — торопливо сказал Журка и вытер о колено мокрый нос. — Я, наверно, буду бояться, но достою, честное пионерское...

И выстоял до конца. И даже не очень боялся, потому что догадывался, что Лидия Сергеевна где-то совсем поблизости. Да и сроку-то оставалось всего ничего. Минут через десять его сменил Димка Решетников, который не боялся не только всяких ночных шорохов, но даже директора школы.

И никто-никто из витязей не узнал, как оскандалился Журка ночью. Даже Ромка. Потому что Ромки не было в этом походе. Он очень просился, но родители торопились на Украину...

Журка не стал, конечно, рассказывать Иринке про этот случай. Когда она сказала, что Журка смелый, это было приятно. Однако для очистки совести Журка отмахнулся и небрежно проговорил:

— Я? Да ну... Всякое в жизни бывало.

Иринка посмотрела на него с уважением, и они зашагали к троллейбусной остановке.

Когда Журка пришел домой, отец сказал в пространство:

— Кто-то гуляет, а кто-то, между прочим, весь день скребется, квартиру приводит в божеский вид...

— Это я его отпустила до шести часов, — заступилась мама. — Надо же и отдохнуть ребенку.

— Интересно, от каких трудов, — хмыкнул отец.

У Журки было хорошее настроение. Кроме того, он видел, что папино ворчанье не всерьез, а по привычке.

— А что, есть работа? — весело спросил Журка. — Я готов!

— Раз готов, пошли вешать люстру...

Отец забрался на стол и начал отвинчивать пыльный, треснувший плафончик, оставшийся от дедушки. Журка держал наготове новый светильник со сверкающим латунным стержнем. Мама протирала большие стеклянные колокольчики — плафоны для этого светильника. Только Федот бездельничал. Он сидел у порога, шевелил кончиком хвоста и пренебрежительно смотрел на всех малахитовыми глазами.

Мама сказала:

— Журка, пора подумать, в какую тебя школу записать. Тут рядом сразу две...

— Не надо ничего думать, — быстро сказал Журка. — Только в четвертую. Она в трех кварталах отсюда, в Крутом переулке. Мама, и попроси получше, чтобы в пятый «А» записали.

— Ты уже с кем-то познакомился?

— Еще вчера...

— В нашем дворе?

— Нет, она не здесь живет. На нашей улице, только в другом конце, где новые кварталы. А школа как раз посередине между нами.

Отец под потолком неразборчиво хмыкнул. И Журка сообразил, что он услышал слово «она».

— Ты чего? — слегка ощетинился Журка.

— Да ничего, — насмешливо сказал отец.

Журка сердито поддал коленкой светильник и спросил, задрав голову:

— Папа... Если тебе так не нравятся девочки, зачем ты с мамой познакомился? Да еще женился...

Мама обрадованно засмеялась. Отец растерянно замер

на столе, потом сердито заковырял отверткой и сообщил с высоты:

— Это не я. Это она меня охмурила.

— Бессовестный, — сказала мама. — Сам целыми вечерами торчал под окнами... А кто меня возил за цветами на своем жутком драндулете? Представляешь, Журка, он приезжал на свидания на старом самосвале!

— А мы народ простой, — проворчал отец. — На «Волгах» не ездим. Чем богаты... Юрий, давай люстру.

Через пять минут отец с победным видом спустился на пол и нажал выключатель. Стеклянные колокольчики засияли. Федот одобрительно сощурился на них. Мама сказала:

— Ну вот, совсем другое дело. Сразу обжитой вид...

А Журка крикнул «ура» и прыгнул отцу на спину.

— А ну прекрати! Вот фокусы! — закричал отец. — Оглобля такая, а все как в детском садике!

Он всегда так возмущался, когда Журка прыгал на него. Но сперва покричит, а потом несет Журку до кровати или дивана. И только там скидывает: «Брысь!» И Журка весело летит вверх ногами.

Так и сейчас получилось. Отец унес его в маленькую комнату и, тряхнув плечами, сбросил на тахту.

С тахты Журка никуда не пошел. Дотянулся до первой попавшейся книги, устроился с ней поудобнее и лишь тогда открыл темную кожаную корку.

Открыл медленно, со сладким и тревожным ожиданием. Что за этой старой, потрескавшейся кожей? Какие времена, какие люди?

Какие тайны?

Книга называлась «Летопись крушений и пожаров судов русского флота от начала его по 1854 год».

«Вот это да!..» — ахнул про себя Журка и почему-то сразу вспомнил картину Айвазовского «Девятый вал». Он нашел ее однажды в старом «Огоньке» и потом подолгу рассматривал, стараясь догадаться, погибнут или спасутся люди, плывущие на обломке мачты — на них двигалась освещенная пробившимся солнцем водяная гора.

Под названием книги Журка прочитал стихи:

Судно по морю носимо,
Реет между черных волн;
Белы горы идут мимо,
В шуме их надежд я полн.

*Державин*

Журка знал, что Державин — это был старый поэт, которому юный Пушкин читал на экзамене в лицее стихи (Пушкин тогда очень волновался и даже убежал из зала).

Журка перечитал державинские строчки, и они ему понравились. Было похоже на «Песню о Буревестнике», которую очень любила мама (и Журка тоже):

Между тучами и морем
гордо реет Буревестник,
черной молнии подобный...

Море словно вздыбило перед Журкой пенные громады. Как однажды в Феодосии...

Белы горы идут мимо,
В шуме их надежд я полн...

В картине «Девятый вал» тоже была надежда: может быть, ревущий гребень помилует потерпевших крушение. Ведь недаром пробился солнечный луч!

На титульном листе тут и там виднелись желтоватые пятнышки — как веснушки. И Журка подумал, что, наверно, это высохшие брызги морских волн.

Журка перевернул страницу и на оборотной стороне листа прочитал: «С разрешения Морского Ученого Комитета 24 Ноября 1855 года. Председатель Вице-Адмирал Рейнеке».

Эта набранная редкими буквами фамилия сразу напомнила Журке другую книгу. Он ее нашел вчера на самой верхней полке. Это было большое альбомное издание старой немецкой сказки про хитрого лиса Рейнеке. Сказка оказалась в стихах, и читать ее Журка пока не стал. Но зато долго и с удовольствием рассматривал большие иллюстрации со всякими зверями — героями книги.

И сейчас Журке показалось, что вице-адмирал Рейнеке был похож на ехидного узколицего лиса. «Наверно, злюка был, — решил Журка. — Небось лупил по зубам матросов, с крепостных крестьян в своих имениях драл три шкуры...»

Но он тут же перестал думать о противном адмирале, потому что на следующей странице увидел крупные печальные слова:

Памяти товарища
лейтенанта
Федора Алексеевича Андреева,
погибшего
на корабле «Ингерманланд»
31 августа 1842 года.

И понял, что писал эту книгу настоящий моряк — знающий, что такое бури и опасные плавания.

...Журка неторопливо, по порядку прочитал предисловие, список всех погибших судов, узнал, что числа с маленькой буквой «п» означают количество пушек на корабле, а крошечная звездочка перед названием говорит про то, что при крушении этого судна погибли люди.

Названий со звездочкой было меньше, чем без звездочки, но все же очень много...

Рассказ о первом крушении был не очень страшный:

«1713 г. Корабль (50 п.) «Выборг». Командир Капитан-Командор В. Шельтинг (Финск. з.). В погоне с эскадрою Вице-Адмирала Крюйса за тремя шведскими кораблями 11 июля у Гельсингфорса стал на неизвестный камень, наполнился водою и был сожжен. Командир оправдан в потере корабля, но обвинен в деле самой погони и за то понижен чином. Государь Петр Великий сам был в числе судей по званию корабельного Контр-Адмирала Петра Михайлова».

Журка представил каюту флагманского корабля с коричневыми дубовыми стенами и решетчатыми окнами, длинный стол, капитанов и адмиралов, которые сурово качают пудреными париками, Петра Первого с колючими усами. Он сердито постукивает о палубу ботфортом и пристально глядит на понуро стоящего капитан-командора Шельтинга...

«Еще легко отделался», — подумал Журка про неудачливого командира «Выборга». Недавно он смотрел четыре серии нового фильма про Петра и знал, что шутки с ним были плохи...

О втором крушении в Российском флоте говорилось только тремя строками. Но эти строки заставили Журку вздрогнуть.

«*1715 г. Корабль (54 п.) «Нарва» (Финск. з.), стоя на Кронштадском рейде, 27 июня *взорван* от удара молнии. Погибло до 300 человек; спаслось только 15».

Журка насупленно посмотрел в потемневшее вечернее окно. В судьбе «Нарвы» была несправедливость. Одно дело буря, удар о скалы, разбитый корпус. Тогда ничего не поделаешь, море есть море. Или бой, когда корабли идут ко дну от вражеских залпов. Страшно и обидно, и все же понятно: это военные корабли — кто-то побеждает, кто-то гибнет... Но если стоишь на родном рейде, ничего не ждешь — и трах! — столб огня на месте стройного корабля,

и сразу нет на свете трехсот человек... За что им такой конец?

Это случилось очень давно, только Журку такая мысль не успокаивала. Потому что все равно это было. Не в кино, не в придуманной книжке, а в настоящей жизни. И то, что этих людей все равно бы не было сейчас на свете, доживи они хоть до самой глубокой старости, Журку тоже не утешало. Потому что для него, для Журки, словом «сейчас» называлось нынешнее время, а для тех людей тоже когда-то было свое «сейчас». И вдруг перестало быть! Пылали и сыпались в воду с высоты обломки, гремели в порту сигнальные колокола, бежала на берег толпа...

Почему так? Ничего не ждешь, и вдруг — молния!

Журка вспомнил недавний разговор с мамой: «Грозе все равно, боишься ты или нет...»

А ведь в самом деле: молниям все равно. Они бьют неожиданно, без разбора, бессмысленно.

«Молнии — это не только если гроза, — подумал Журка. — Это вообще...»

Это когда по гладкому асфальту мчится с веселыми добрыми людьми машина и вдруг — в один миг! — звон, грохот, дым и обломки. И Ромки уже нет, нет, нет...

«А сколько таких молний в жизни у разных людей...» — со злостью и беспомощной обидой подумал Журка.

От грозы можно закрыть окна, поставить громоотводы (моряки «Нарвы», наверно, еще не знали про них). А если беда врывается к тебе при ясном небе? Если со смехом прибегаешь домой, а бледная мама тихо говорит: «Журавушка, тут вот письмо... Ты постарайся не плакать, малыш...»

А зачем стараться? Не все ли равно? Плачь не плачь...

«Это не молнии, которые в тучах, — подумал Журка. — Это черные молнии. Каждая такая беда — черная молния. Знать бы, как их отбивать...»

Вот если бы придумать специальную машину. Громадную, кибернетическую! Такую, чтобы заранее узнавала про всякую опасность, и предупреждала людей... А как узнавала? Может быть, она разошлет по всей земле роботов-разведчиков, запустит над планетой специальные спутники? Много-много, целые тысячи! Такие, чтобы с помощью специальных волн, лазеров, объективов наблюдали за жизнью каждого человека, берегли его...

Об этом надо было подумать. Всерьез... Только сейчас уже не думалось, устал Журка за день.

Журка лениво разделся, расстелил постель, забрался

под одеяло. Явился Федот, муркнул, извиняясь, и улегся в ногах. Он всегда спал у Журки в ногах (если только не был в ночной отлучке). Отучить его от этого не могли ни мама, ни Журка. Впрочем, Журка не очень и старался — только для вида. Федота он любил. Да и как было не любить, если их связала страшная, почти как в книжке про Тома Сойера, история...

Это случилось прошлым летом, почти сразу после похода.

Журка вернулся домой с беспокойной тяжестью на душе. Из-за постыдного случая в карауле. Тогда, ночью, Лидия Сергеевна слегка успокоила его, но скоро угрызения совести опять одолели Журку. Струсил? Струсил. Бежал с вахты? Бежал. Теперь что ни говори, а все равно дезертир. Себя-то не обманешь.

Во-первых, жить с такими мыслями было очень скверно. Во-вторых, все придется рассказать Ромке, когда он вернется с Украины (не знал еще тогда никто, что не вернется). Они всегда говорили друг другу про себя всю правду. Ромка смеяться не станет, он Журку поймет, но будет до жути стыдно. Им обоим. И Ромка скажет:

— Что же нам делать?

Он всегда так говорил, если с кем-нибудь одним из них случалось плохое.

А что делать? Журка понимал, что трусость можно искупить лишь смелостью. И не надо ждать Ромку. Лучше сделать что-то сразу, чтобы сперва рассказать про это (Журка стыдливо называл в мыслях ночной случай просто «это»), а потом про смелый поступок. Тогда будет легче.

«А какой совершить поступок?» — подумал Журка и зябко поежился, потому что уже шевелилась догадка.

«Темноты боишься?» — беспощадно спросил он себя. И сам ответил: «Смотря какой. Дома уже не боюсь, а если деревья ночью кругом да всякие шорохи...»

«Значит, боишься всяких чудовищ, всякой нечистой силы, которой не бывает?»

«Да...» — со вздохом признался он.

«Тогда иди...»

«Куда?» — в панике спросил себя Журка.

«Иди, иди. Сам знаешь куда. Пройдешь его ночью от края до края, тогда, значит, ты еще ничего...»

«Ну уж нет», — решительно сказал себе Журка.

Однако он понимал, что другого способа сейчас просто не придумать.

Целый день Журка промаялся со своими мыслями. А вечером поступил с собой решительно и жестоко. Сцепил в знак нерушимой клятвы левый и правый мизинцы и прошептал:

— Сегодня среди ночи пройду от забора до забора через кладбище. А если не пройду, у меня умрет мама.

Он знал, что не всякие приметы и клятвы сбываются, но нарушить такую клятву было совершенно невозможно. И с чувством человека, который сам приговорил себя к смерти, Журка стал готовить ночную экспедицию.

В коридоре он украдкой положил на пыльный шкаф тренировочный костюм и старые кеды, чтобы ночью не одеваться в комнате. Если мама проснется и увидит, что Журка пошел к двери раздетый, — это ничего. Решит, что ненадолго — до дверцы в конце коридора. А если в костюме? «Ты это куда собрался?»

А как проснуться вовремя? Не будильник же ставить. И Журка после ужина выдул четыре стакана чая. Надежный способ: хочешь не хочешь, а придется вскакивать среди ночи...

Заснул Журка неожиданно быстро: наверно, измучился от переживаний. Но «внутренний будильник» сработал безотказно. Когда Журка проснулся, в доме и за окнами стояла глубокая ночная тишина. Желание посетить кабинку в конце коридора было таким нестерпимым, что заглушило в это время все Журкины страхи. Он торопливо и бесшумно выскользнул из комнаты...

А через две минуты Журка со свертком под мышкой был уже на крыльце.

Зябко поеживаясь, натянул он костюм, зашнуровал кеды. А затем на голом теле, под майкой, завязал свой пионерский галстук — прожженный и потрепанный в походе. Он надеялся, что с галстуком будет не так страшно. Да и нельзя же опозорить галстук второй раз.

Журка распрямил плечи, с дрожью вздохнул и шагнул на скрипучую песчаную дорожку.

Июньская ночь была совсем светлая. Небо пропускало сквозь редкую облачную пелену белесоватый свет. На севере заметны были отблески зари. Белел над крышами бледный, будто больной, месяц. Все кругом было отчетливо различимо. Стояли темные притихшие клены, и был виден каждый листик. Добродушно дремала у забора старая же-

лезная бочка, которую днем ребята с грохотом катали по всей улице.

Было очень тихо, безлюдно и... совершенно не страшно.

«Я же не виноват, что светло, — подумал Журка. И еще подумал: — Наверно, страх начнется т а м».

Небольшое заброшенное кладбище было недалеко, кварталах в шести-семи. К нему от Московской вел кривой немощеный Тобольский переулок. А дальним краем кладбище примыкало к железнодорожной насыпи. Журка несколько раз бывал здесь, когда играли с ребятами в индейцев, но, конечно, среди ясного солнечного дня. Тогда кладбище с его могучими березами и соснами казалось чем-то вроде старого парка; а железные ржавые оградки и завалившиеся в стороны кресты — остатками каких-то садовых строений. И ни о каких ужасах тогда ничуть не думалось... Но про то же кладбище соседская семиклассница Люська Колосницына любила по вечерам рассказывать жуткие истории. Ночами, мол, там бывает всякое...

Когда сидишь в теплых сумерках на своем крыльце и рядом дышат знакомые ребята, истории эти слушать интересно и лишь чуть-чуть жутковато. А сейчас их не хотелось вспоминать...

Не встретив никого в этой тихой белесой ночи, Журка свернул в Тобольский переулок. В конце его загораживали светлое небо черные кладбищенские деревья. И тогда сердце у Журки застукало неровно, с подпрыгиванием.

Но это был еще не настоящий страх. К нему примешивался интерес. Будто Журка сидел в своей комнате и про самого себя читал приключенческую книжку.

Черная громада кладбища надвигалась, нависала, и сердце под галстуком и майкой прыгало все сильнее, но Журка не замедлял шагов. Наоборот, он шел все скорее, стараясь оказаться вплотную перед неведомой опасностью.

И вот — забор.

Если не смотреть вверх на темные кроны и не думать о том, что там за забором, то ничего особенного — обыкновенная старая загородка. Низкие гнилые столбы, перекладины, а к ним приколочены железные полосы с круглыми отверстиями — отходы какой-то мастерской или завода.

И все же это была граница между обыкновенным миром и чем-то неведомым.

Журка опять вздохнул длинным дрожащим вздохом и, пригибаясь, пошел вдоль забора. И почти сразу нашел место, где несколько полос были оторваны и отогнуты. За лазейкой темнела сплошная чаща кустов и травы.

— Раз, два, три, — беззвучным шепотом сказал себе Журка, и ноги у него ослабели. Тогда он снова — жалобно и сердито — сказал:

— Раз, два, три... — И через дыру в заборе сразу всем телом свалился в заросли.

Посидел среди веток. Прислушался. Отдышался. Шевельнулся наконец. Сердитая кладбищенская крапива ощутимо куснула его сквозь тонкие трикотажные штаны. Но это лишь обрадовало Журку: если крапива жалится так по-обыкновенному, как на простом дворе, то и остальное должно быть здесь обыкновенным. Нестрашным... Не очень страшным...

Журка медленно выпрямился. Сердце попрыгало и настроилось на более ровный ритм.

Под старыми деревьями кладбища было гораздо темнее, чем на улице, но белесый свет пробивался и сюда. А может быть, это назревало уже раннее июньское утро. Кусты, оградки и памятники смутно различались в полумраке. Страшными они не казались. Журка прислушался к тишине каждой клеточкой натянутых нервов и вдруг ясно ощутил, что кругом очень пусто. Нет никого. И значит, нет опасности.

На недалекой насыпи ободряюще простучал поезд.

Журка вышел из кустов и, цепляясь штанами за колючую траву и ржавые прутья решеток, стал пробираться среди холмиков. Он уже не боялся. Ну, разве что самую капельку. Наверно, все запасы страха в его организме уже израсходовались накануне, и теперь бояться было нечем. Нервы ослабли. Вместо боязни Журка чувствовал сердитую досаду на колючки.

Наконец он даже опечалился: если страха нет, значит, нечего и преодолевать. И тогда велика ли заслуга, что он пройдет через кладбище? Но тут же успокоил себя: «Главное, что все-таки пройду. Я же не виноват, что перестал бояться...»

Крепко ободрав штаны и рукава, он выбрался на широкую дорожку и зашагал по ней торопливо, но без боязни (правда, по сторонам старался не смотреть). Затем опять полез через кусты — чтобы сократить свой путь до забора, который тянулся вдоль насыпи. Насыпь была совсем недалеко. Опять прогремел поезд. И сквозь эхо этого веселого грохота Журка не услышал, а, скорее, угадал стонущий, жалобный звук.

Журка замер. Каждая жилка в нем замерла, каждый самый крошечный нерв. Эхо улеглось, поезд прогрохотал

уже в дальних далях, а стон — на этот раз ясный, настоящий — прозвучал опять.

Напрасно Журка думал, что весь его страх кончился. Оказывается, полчища этого страха сидели в засаде, и теперь они кинулись на Журку, навалились, затоптали, как конница. Журка упал лицом в ломкие колючие стебли.

«Не надо! Не надо! — отчаянно думал он. — Ну, пожалуйста, не надо...» Но протяжный и тихий, надрывающий душу звук опять донесся из-за ближайших кустов.

Значит, непонятное и жуткое все же существует. И вот оно настигло Журку, который осмелился не поверить в ночные тайны, позабыть о страхе...

«Я сейчас, сейчас... — торопливо сказал себе Журка. — Сейчас до забора, а там уже не страшно...»

Там насыпь, поезда с их бодрой грохочущей жизнью, простор, огоньки. Там все привычное, свое. Только собрать силы и сделать бросок...

А стон опять прошел над кустами. Это был живой стон. Чей-то. Жалоба измученного человека или зверя. И под пластами страха, под отчаянными мыслями о бегстве у Журки пробилась слабенькая, но настоящая мысль:

«А все-таки что там? Или кто там? Ведь ни стонущих мертвецов, ни привидений все-таки не бывает. Значит, кто-то живой».

«Кто?»

«А если кого-то ранили и ограбили бандиты? Или собака попала в капкан (говорят, какие-то злодеи ловят собак и шьют из их шкур шубы и рукавицы). Или заблудился и застрял в ржавых решетках теленок?»

Журка поднял голову. Рассвет уже набрал силу, но деревья и кресты виднелись еще смутно. Из-за них опять долетел стон.

«Не пойду, — подумал Журка. — Ни за что! Я и так выполнил клятву, я прошел кладбище».

«Не прошел, а пробежал, как заяц. И опять струсил».

«Ну пусть. Я больше не могу!»

«А что скажешь Ромке?»

«Но я же... я просто помру, если пойду...»

«Ну и помирай, скотина, трус несчастный! Иди и помирай!»

Журка всхлипнул, встал на четвереньки и начал пробираться на стоны... Страх слегка отступил перед его отчаянной решимостью. Журка поднялся на ноги. Стон — медленный, бессильный, с каким-то писком — раздался сов-

сем недалеко. И Журка понял, что рядом мучится маленькое живое существо.

«Марш!» — приказал он себе. И выбрался на открытое место. Здесь было уже довольно светло. Журка увидел косо торчащий крест и услышал, что стон идет от него. На кресте чернела фигурка, похожая на маленького растопыренного человечка. Журка сделал короткий вдох и, обрывая веревки страха, прыгнул к этому кресту.

На кресте был растянут шнурками кот. Он время от времени дергал головой и стонал.

— Сволочи! — со злым облегчением и рванувшимися слезами сказал Журка. Он не удивился. Он слышал раньше, что есть такие гады среди шпаны, которые издеваются над кошками, голубями и собаками. Вот, значит, что придумали, фашисты проклятые!

О страхе Журка забыл. Торопливо отыскал среди могил треснувшую бутылку (их здесь хватало, потому что днем на кладбище захаживали пьяницы), грохнул ее о каменный памятник, осколком резанул по шнуркам. Не сумел удержать кота, и он шмякнулся в траву. Попытался приподняться и опять застонал.

— Сейчас, сейчас, котик, — всхлипывая, сказал Журка, сорвал через голову майку, закутал в нее кота, поднял и, царапая голые локти, напрямик, через шиповник и боярышник, рванулся к забору...

...Дома Журке пришлось рассказать о своих приключениях. Маме. Все-все. Даже о том, почему его понесло ночью на кладбище. Мама Журку не ругала. Только побледнела, несколько раз охнула, очень крепко взяла его за руки и попросила больше таких испытаний характера не устраивать. Журка охотно пообещал. Папа, когда услыхал от мамы эту историю, помотал головой, хмыкнул и сказал:

— Во герой... Даже не верится. — И стал вспоминать, как в детстве лазил с мальчишками в подвал старого монастыря. Тоже ночью. И тоже было страшно. А Журка подумал: «Это ведь с мальчишками все-таки...»

Кот выжил. Сутки лежал на подстилке, ничего не ел и постанывал, потом начал подниматься, лакать молоко. И наконец окреп, сделался обыкновенным здоровым котом. Почему его назвали Федотом, никто не мог объяснить. Как-то само собой получилось — Федот, вот и все.

Характер у Федота оказался спокойный, немного ленивый и добродушный. Играл он с Журкой неохотно, зато сидеть у него на коленях и мурлыкать очень любил. Был

у него только один недостаток: иногда он уходил гулять и пропадал суток по трое. Но тут уж ничего не поделаешь, такова кошачья натура. После гулянья Федот возвращался поцарапанный, грязный, и мама с Журкой мыли его в тазу. Федот не возражал, только прижимал уши и жмурился, чтобы мыло не щипало его зеленые глаза.

Когда переезжали, никому, даже папе, в голову не пришло оставить Федота, отдать кому-нибудь, чтобы не было в пути лишних забот. Он поехал в поезде со специальным билетом.

На новом месте Федот освоился очень быстро. Научился вылезать в форточку и греться на широком кирпичном карнизе. Судя по всему, эта квартира ему нравилась...

— Иди сюда, Федотушка, — сказал Журка.

Федот охотно протопал по Журке и устроился у него на груди. Благодарно заурчал, когда Журка почесал ему за ухом. Журка устало вытянулся под одеялом и решил, что пора засыпать. Напоследок он посмотрел в ночное окно.

Окно было открыто. Журка лежал к нему ногами и видел в сумраке комнаты четкий синий прямоугольник с развилкой тополя, похожей на два великанских растопыренных пальца или на громадную рогатку. Тополь рос метрах в трех от окна, и нижняя часть развилки находилась как раз на уровне подоконника. Если отыскать подходящую доску (и дождаться, когда уйдет куда-нибудь мама), можно попытаться сделать трап, чтобы пробираться из окна прямо на дерево...

Кажется, Журка начал дремать, потому что увидел себя со стороны — как он залез на тополь: от левого «пальца» развилки отделился человек.

Журка заморгал, прогоняя дремоту. Но от этого морганья человек не исчез. Наоборот, он будто увеличился. Его фигура отчетливо рисовалась внутри громадной «рогатки». Словно кто-то тушью на темно-синей бумаге вывел силуэт высокого тощего черта.

Что это? Сон после воспоминаний о ночном кладбище? Или грабитель, который примеривается, как прыгнуть в комнату? Журка понял, что сию секунду самым постыдным образом завопит «мама».

Но и мама и папа наверняка спят: щель под дверью давно погасла... Орать? Или подождать?

Журка замер под одеялом — ни дыхания, ни сердечного стука. Только Федот у него на груди мурлыкал как ни в чем не бывало.

Таинственный черный незнакомец шевельнулся, и Журка услышал:

— Эй...

Голос был нерешительный, тонкий. И силуэт незнакомца сразу как бы съежился, превратился в мальчишечий. Журкин страх тоже съежился и тут же растаял совсем. Осталась только досада на себя (вот трус несчастный) и на мальчишку, которого среди ночи какая-то дурь носит по деревьям.

— Эй... — опять окликнул мальчишка. — Там, в комнате... Ты спишь?

Журка скинул удивленного Федота и одеяло, подскочил к окну.

— Чего тебе? — спросил он громким шепотом.

— Ты внук Юрия Григорьевича?

— Да... А что? — откликнулся Журка уже помягче.

— Можно к тебе?

— Зачем?

— Ну, дело есть... Ты не бойся.

— А кто боится? — усмехнулся Журка. — Просто непонятно: почему ночью да через окно?

— Если нельзя, тогда ладно... — вздохнул в сумраке мальчишка.

Этот виноватый вздох примирил Журку с неожиданным гостем. К тому же было очень интересно. Похоже на приключение.

— А как ты сюда доберешься? Доска есть?

— Да нет, веревка... Тут все приспособлено...

Журка разглядел, как мальчишка распутал спустившийся откуда-то шнур.

— Ну, давай, — прошептал Журка.

— Только отойди от окна...

Черная фигурка метнулась и через миг стояла на подоконнике.

Легко и бесшумно мальчишка соскочил на пол.

— Я тут веревку за батарею прицеплю, чтоб не ускользнула, — объяснил он. — Свет можно зажечь?

— Сейчас. — Журка отыскал в углу на гвоздике курточку, положил ее внизу у двери, чтобы лучи не пробились в щель, и включил настольную лампу.

Мальчик оказался одного роста с Журкой. Очень худой, темный от загара, поцарапанный. В одних трусиках, босой. У него были прямые темно-медные волосы. Они косо падали на лоб. Мальчик посмотрел из-под волос на Журку с хмурой виноватостью.

Журка почувствовал его смущение и сказал, чтобы хоть что-то сказать:

— Здорово ты сюда влетел.

— Я эту штуку еще давно придумал. Когда Юрий Григорьевич тут жил. Я к нему часто пробирался.

— А через дверь нельзя, что ли?

Мальчик досадливо повел острым плечом.

— Дверь в наши окна видать. Отец или мать заметят, что я в этот дом иду, сразу начинают: «Опять по чужим людям шастаешь! Лучше бы делом занялся...» А я любил к Юрию Григорьевичу приходить...

— А-а... — произнес Журка. Произнес чересчур спокойно, потому что ощутил неожиданный укол ревности. Оказывается, дедушка дружил с чужими мальчишками. И мальчик будто понял Журку. Опять глянул из-под волос и тихо сказал:

— Ему по вечерам скучно было. Он ведь один жил...

Эти слова смутили Журку, будто в них был скрытый упрек. И, словно защищаясь, Журка ответил с легким вызовом:

— Я знаю. Ну и что?

Лицо у мальчика опять стало виноватым. Он зябко поежился и объяснил:

— Ну... я подумал, что ты мне поможешь. Раз ты его внук... Твой дедушка меня часто прятал.

Это «твой дедушка» вместо «Юрий Григорьевич» понравилось Журке. Все встало на свои места. Уже с сочувствием Журка спросил:

— А от кого ты прятался?

Мальчик опять досадливо повел плечом.

— Да по-разному было... Жизнь такая.

— И сейчас прячешься?

Мальчик кивнул. Обвел глазами комнату.

— Раньше здесь раскладушка была... Я где-нибудь в уголке приткнусь, ладно? До утра...

— Как в уголке? На полу?

— А чего? — Мальчик улыбнулся, показав крупные

редкие зубы. — Я закаленный. Крученый, моченый, прожаренный, промороженный...

— Ну да, — усмехнулся Журка. — Поэтому и лазишь ночью по деревьям голый, как Маугли...

— А я прямо из кровати сбежал. В окно вылез — и сюда.

Журке очень-очень хотелось узнать, от кого сбежал незнакомый мальчишка и почему прячется. Но приходилось быть снисходительно-сдержанным и чуть насмешливым. Как-то уж настроился Журка на эту струну. Он вспомнил свою ночную вылазку на кладбище и сказал наставительно:

— Если собираешься драпать ночью, надо одежду заранее где-нибудь спрятать.

Мальчик беспечно махнул рукой.

— А, не догадался. Ладно, и так сойдет... — Потом он глянул на Журку быстро и внимательно. Спросил: — Тебя Юркой зовут?

— Да...

— В честь Юрия Григорьевича?

Журка растерянно мигнул. Он не знал, почему его назвали Юрием. Но тут же сказал:

— Конечно. А что?

— Ничего. Так...

— А тебя как звать?

Мальчик неразборчиво бормотнул.

— Борька? — переспросил Журка.

— Горька, — отчетливо сказал мальчик. — Полное имя Горислав. Но никто меня полным именем не зовет. Горька — вот и все. Это мне больше всего подходит. Как наклейка...

— Почему? — смутившись, выговорил Журка.

Горька сказал то ли шутя, то ли серьезно:

— Да так. Жизнь такая. Горькая... Невезучий я уродился. Одни шишки отовсюду.

— Какие шишки?

— Всякие. Сегодня опять от отца перепало. С дежурства вернулся злющий, с мамкой поспорил, а мне по хребту.

— Значит, ты из-за отца сбежал? — сразу пожалев Горьку, спросил Журка.

— Не... Сегодня из-за другого. Меня хотели расстрелять.

...Расстреливают обычно на рассвете. Так написано в книжках. Но рассвет начинался рано, и, когда за Горькой пришли конвоиры, солнце стояло уже высоко.

Горька проснулся от долгого, но осторожного стука по стеклу. Увидел в окне головы братьев Лавенковых и все вспомнил. Он понуро, но быстро натянул брюки и рубашку, сунул ноги в растоптанные полуботинки, которые давно надевал не расшнуровывая. Хотел убрать постель и вдруг подумал: а зачем это человеку, которого через несколько минут расстреляют?

Но ведь это не всерьез..

А если бы всерьез?

А правда, что чувствует человек, проснувшийся последний раз в жизни, одевшийся последний раз в жизни? Что он думает, когда у двери стоят двое с автоматами, чтобы провести его последний раз под ясным небом до обрыва?

Тоскливая тревога заметно кольнула Горьку. Будто сейчас была не игра. Не совсем игра... Он выдохнул воздух сердитым толчком, прогнал страх и вылез в окно. Хмуро сказал братьям Лавенковым:

— Чего греметь-то? Чуть всех на ноги не подняли... — Это все, чем он мог досадить конвоирам.

С приговоренным к смерти, видимо, не принято ругаться, и старший Лавенков, Сашка, миролюбиво ответил:

— Да ты что, мы тихонько стучали. — Потом другим, уже строгим голосом скомандовал:

— Руки...

Горька вздохнул, нагнул голову и заложил руки за спину. А что было делать? Он покорился судьбе еще вчера, во время военного суда, который состоялся в сарайчике Егора Гладкова.

Егор тогда спросил у защитника Степки Самойлова:

— Чем ты его можешь оправдать?

Степка пожал плечами, растерянно протер очки и сказал:

— Не знаю...

Он, кажется, добросовестно старался придумать защитительную речь, но так и не смог.

— Оправдывайся сам. Последний раз, — сказал тогда Гладков Горьке.

Но Горьке тоже нечего было говорить. Все, что можно, он сказал еще раньше, и его объяснения не убедили никого из судей — ни Егора, ни Митьку Бурина, ни тем более безжалостного третьеклассника Сашку Граченко. Да Горька и сам понимал, что нет ему оправдания. Из-за него

отряд напоролся на огонь собственного часового, и теперь, по правилам игры, два человека считались убитыми.

Правила были безжалостные. Как на войне.

Егор посмотрел на Граченко и на Бурина, и те кивнули. Егор поднялся с пустой бочки, на которой сидел как на председательском кресле, и сообщил, что бывший стрелок отдельного повстанческого отряда «Синяя молния» за невыполнение боевого задания и трусость приговаривается к расстрелу ранним утром следующего дня.

— Ясно тебе?

— Ясно, — хмуро откликнулся Горька. — А при чем тут трусость?

— Он еще спрашивает... — усмехнулся Гладков. — Ладно, гуляй пока. Завтра на рассвете за тобой придут...

И вот — пришли. Не на рассвете, но все равно считается, будто на рассвете...

Сашка мотнул стволом черного пластмассового автомата с пружинной трещоткой:

— Пошли.

Он пропустил Горьку вперед и зашагал сзади. А Вовка Лавенков пошел впереди. С таким же, как у Сашки, автоматом.

— Напрямик, — сурово приказал Сашка.

Они пошли через пустырь. Трава на пустыре была обычно серой, выгоревшей, колючей, но сейчас она — то ли после ночного дождика, то ли от росы — переливалась тысячами капель. Горькины брюки внизу намокли, в полуботинках появилась противная скользкая сырость. Вовка шагал точно по прямой. Его голубые, выгоревшие гольфы потемнели от влаги и сползли на кеды, он по-птичьи поднимал над травой поцарапанные ноги, но ни разу ничуточки не свернул. У него был светлый упрямый затылок. Горька смотрел на этот затылок без всякой злости и досады. Вовка был ни при чем. Он был смелый, спокойный и надежный парнишка, несмотря на молодость — всего-то девять лет. Повезло Сашке, хороший у него брат. Почему другим везет, а Горьке — никогда? Был бы у него такой же брат, залег бы с двумя автоматами, не боясь мокрой травы, вон за той бетонной глыбой, подпустил бы конвоиров поближе и — та-та-та! «Сашка, ты убит, Вовка, ты убит! Горька, бежим!»

Только и в настоящей жизни, и в игре такие чудеса случаются очень редко. Горька знал, что с ним не случится. Тоскливая тревога опять кольнула его — словно все по правде. И он уже, будто в самом деле прощаясь на-

всегда, смотрел на сверкающую траву, на знакомые дома, на треснувшие бетонные блоки, которые лежали на пустыре, наверно, с тех пор, как существует Земля...

А может, все-таки случится чудо? Очень уж обидно умирать в такое солнечное утро. Даже понарошке — все равно тошно.

Будто и не игра...

Горьку привели на берег Туринки и поставили у края обрывчика.

Метрах в пяти от берега лицом к речке стоял шеренгой отряд «Синяя молния». Правда, не весь, трое, видать, проспали (за это, между прочим, тоже надо под суд). Но и пятерых было достаточно. Да еще Лавенковы встали в строй...

Егор Гладков раздал стрелкам зеленые гнилые помидоры — не всем, а через одного. Значит, половина будет трещать автоматами, а другая половина метнет в Горьку помидоры! И ему придется упасть, скатиться с метрового обрывчика на песчаную полоску у самой воды и лежать там, пока все не уйдут. А потом два дня его не будут брать в военную игру. А может, и больше. Потому что игра игрой, а разозлились на него, кажется, по-настоящему. По крайней мере Егор.

Егор насупленно, будто стесняясь, проговорил:

— Готовы?.. Равняйсь. Смирно... — Потом, постаравшись опять разозлиться, громко сообщил: — Бывший боец «Синей молнии» за трусость и предательский провал военного задания приговорен к высшей мере наказания — расстрелу!

Шеренга напряженно молчала. Стояли не очень ровно. Смотрели мимо Горьки. А Горька, насупившись и съежив плечи, смотрел на разномастные игрушечные автоматы и зажатые в пальцах помидоры. Тоскливое замирание перехватило грудь и подкатывало к самому горлу. Но плакать не хотелось.

— Хочешь сказать что-нибудь напоследок? — спросил Егор чуть виновато.

Горька переглотнул. Сказал:

— Хочу... Все равно это неправильно. Я не предательски... Я же объяснял...

— Слыхали уже, — безжалостно сказал Сашка Граченко и поправил на груди оранжевый автомат с диском.

— Можешь еще что-нибудь сказать? — спросил у Горьки Егор.

Горька не знал, что еще.

— Даем десять секунд, — сумрачно сказал Егор. — Думай.

Секунды пошли — долгие или короткие. Горька не понял. Мысли у него отчаянно заскакали, будто и вправду от каких-то удачно найденных слов зависела жизнь.

— ...Все! — отрубил надежду Егор.

— Ну, все так все, — сказал Горька себе, а не Егору. Распрямил плечи и стал смотреть на облака. Они были маленькие, светлые, с пушистыми краями.

Подошел Митька Бурин и нахлобучил Горьке на голову старую корзину. Облака исчезли. Все исчезло.

— Ты чего? — сказал из-под корзины Горька. — Пусти. — Он ухватился за плетеную кромку.

— Стой давай...

— Пусти!

— А если по лицу попадут, дурак, — разъяснил Митька, но отпустил корзину. Горька секунду постоял неподвижно. Синее утро било в щели. Горька сбросил корзину, сунул руки в карманы и опять стал смотреть на облака.

Егор негромко сказал:

— Да пускай... По голове не кидайте... — И громко скомандовал: — На прицел!

Горька не двинулся, но нижним краем глаз увидел, как поднялись автоматные стволы. И опять, будто все по правде, страх и тоска резанули его.

«Нет!» — мысленно крикнул он в ответ на громкую команду «пли!». Присел, чтобы выстрелы прошли над головой. Помидоры и в самом деле свистнули поверху, а Горька клубком скатился к воде, вскочил, с размаху хлопнулся в речку.

Остывшая за ночь вода обожгла его холодом, прижала к телу намокшую одежду. Но Горька яростно рванулся к другому берегу. Упругая толща воды не пускала его, ноги вязли в илистом дне. Однако самая большая глубина здесь — по грудь, а ширина — метров шесть. И очень скоро мокрый, всхлипывающий от напряжения Горька оказался на твердой земле. Сзади, на том берегу, захлебывались яростным треском и воем автоматы — электрические, заводные, с ручными трещотками... Но эта стрельба не считалась. Она так — ради шума. А чтобы убить или ранить, надо попасть помидором.

А пока спохватятся, пока расхватают запасные помидоры...

Горька оглянулся на бегу. Несколько человек галопом мчались к недалекому мостику. Сашка Граченко и Вовка

Лавенков отважно кинулись в воду — напрямик, но Егор сердито закричал, чтобы вернулись. Митька Бурин и Сашка Лавенков швырнули через речку «гранаты», но в Горьку не попали.

...В общем, Горька ушел от погони. Переулками и проходами между старых заборов добрался до парка. В глухом углу, среди зарослей желтой акации, нашел он полянку, отдышался там, выкрутил одежду, а потом крадучись, чтобы не напороться на засаду, вернулся домой...

Днем Горька с хозяйственной сумкой вышел на улицу. Если человек с сумкой, значит — не игра. Значит, он идет по делу, родители послали в магазин или на рынок. Сразу повстречались Лавенковы и Бурин.

Бурин сказал с насмешкой:

— Доволен? Сбежал, как заяц, и радуешься.

— Если в человека стреляют, он должен, что ли, стоять как пень? — огрызнулся Горька.

— А если бы по правде, куда бы ты делся? — серьезно спросил Сашка Лавенков. — Перебежал бы к врагам?

— Еще чего... — буркнул Горька. Что сказать, он не знал. Если бы по правде... тогда все было бы не так. Никто бы не помешал выполнить задание. Потому что не было бы страха перед отцом, не было бы такого, что с одной стороны война во дворе, а с другой сердитые и жалобные (с оглядкой на отца) крики матери: «Куда тебя опять понесло?»

Но как это объяснить?

Горька неуверенно сказал:

— Я ушел бы в леса и стал бы воевать один. Не с вами, а с врагами...

— Одному трудно, — задумчиво проговорил Вовка Лавенков.

— Все равно мы тебя за эти два дня выследим, — деловито сказал Бурин. — Тогда уж не уйдешь.

И Горька понял, что отряд «Синяя молния» ничуть не огорчен его, Горькиным, бегством. Наоборот! Можно теперь устроить охоту! Обложить, как волка, флажками!

Все на одного, да?

— Ладно, — сказал Горька со стремительно выросшей обидой. — Я думал, вы всегда за справедливость, а вы... тогда ладно... Я с вами воевать не хотел, а теперь буду.

— К «Тиграм» перебежишь? — серьезно спросил Сашка. — Они перебежчиков не берут.

— На фиг мне нужны «Тигры», — отрезал Горька. — А с вами у меня война. Еще посмотрим, кто кого.

И он пошел со двора, решительно махая сумкой.

Каменистая дорожка вела мимо тополя, мимо дома, где недавно еще жил Юрий Григорьевич. Горька поднял глаза к растворенному окну на третьем этаже. И сразу — будто включился незаметный магнитофон — Горьку настигло воспоминание о глуховатом и добром голосе:

— Хороший ты человек, Горислав Геннадьевич. Только характер у тебя слегка извилистый...

«Такой уж...» — виновато отозвался Горька.

«А ты выпрямляйся».

«Как?»

«Реже убегай, чаще дерись...»

«С кем? С отцом, что ли?»

«С жизнью... В шахматы сыграем?»

«Да ну... Вы меня опять обыграете».

«Ну и что? За битого двух небитых дают».

«Да за меня уже трех можно...»

Когда Юрия Григорьевича хоронили, отец сказал Горьке:

— Сиди дома. Нечего путаться под ногами у людей.

Горька не посмел ослушаться. Стоял у окна и видел через пространство заросшего пустыря темную толпу у крыльца трехэтажного дома. Издалека толпа казалась неподвижной. Надрывно завыл оркестр. Люди у крыльца колыхнулись. В заднюю дверь серого автофургона вдвинули что-то длинное, красное... Вот и все... И в голове у Горьки не укладывалось, что это событие имеет какую-то связь с Юрием Григорьевичем. Он знал, конечно, что Юрия Григорьевича больше нет, но все равно казалось, что, если забраться в развилку тополя и перелететь на подоконник, сразу услышишь:

«А, Горислав Геннадьевич. Вечерняя птичка залетная... Что, опять ищем убежища?»

«Да нет, я просто так... Можно у вас переночевать?»

«А дома что скажут?»

«Папка на дежурстве, а мама не будет ругаться. Если отца нет, она разрешает...»

«Ну что ж... Тогда поставим чаек...»

Сейчас, проходя мимо трехэтажного дома, Горька увидел в открытом окне наверху женщину. Она вешала шторы. Горька сообразил, что приехали новые жильцы. Все мальчишки уже знали, что в квартире Юрия Григорьевича должна поселиться его дочь с мужем и сыном.

С крыльца сбежал на дорожку незнакомый мальчик с большой клеенчатой папкой. Ростом вроде Горьки, строй-

ненький такой, в желтой рубашке с погончиками. Ветер сразу растрепал ему волосы. Мальчик не заметил Горьку. Посмотрел на верхушку тополя, улыбнулся чему-то и зашагал к воротам. Папку держал за угол и на ходу легонько поддавал ногой. Горьке понравилось, как он идет: легко, спокойно. Видно, не было в душе у мальчишки никакого страха. Горька даже позавидовал. Сам он не умел так ходить по земле. Но позавидовал он по-хорошему, без досады.

«Внук Юрия Григорьевича», — подумал он. Этот внук не мог быть плохим человеком. И Горька принял решение...

Журка и Горька сидели рядом на постели.

— Игра у нас такая, — сказал Горька. — Два отряда. Ну, или как два индейских племени. Наши с этой улицы, а ихние, «Тигры», с Туринской... А я Сашке и Вовке Лавенковым пароль не передал... Егор велел, чтобы я к ним сбегал, и сказал, какой пароль, потому что они в засаду собирались. А меня отец не пустил...

— Куда? В засаду?

— Да нет, к Лавенковым, чтоб пароль сказать. Не понимаешь, что ли?.. Потом Сашка Граченко и Митька пошли менять Лавенковых в засаде, пароль кричат, а те его не знают. И давай лупить из автоматов. Получилось, что своих перестреляли... Из-за меня...

Журка не очень разобрался, что за пароль, какая засада и кто такие эти Сашка, Митька, Вовка. Но главное понял: Горька по военным законам оказался кем-то вроде изменника и дезертира. Но не по своей вине, а из-за отца.

— А почему отец не пустил?

— Говорит: «И так целыми днями по улице мотаешься. Скоро школа, а в голове одна дурь. Бери учебник, математику повторяй...»

— Ты бы объяснил ему, что на минутку сбегаешь и придешь.

— Ему объяснишь, — сказал Горька.

Они помолчали.

— Ну и что теперь? — спросил наконец Журка.

Горька засопел, ковырнул на коленке засохшую ссадину, сумрачно заговорил, глядя в угол:

— Я теперь никто. Ни «Синяя молния», ни «Тигры»... Сперва подумал: «Пускай расстреляют, а через два дня снова к нашим запишусь». А теперь не хочу. Потому что

несправедливо... Или ты думаешь, они справедливо... вот так, со мной?.. — Горька резко мотнул медными волосами и бросил на Журку быстрый, сердитый и немного опасливый взгляд.

— По-моему, нет, — нерешительно сказал Журка. — А ты им объяснял про отца?

— Объяснял сто раз. Говорят: «Все равно...»

— Конечно, несправедливо, — уже твердо сказал Журка.

Горька быстро проговорил:

— Тогда помоги.

— Как?

— А давай, завтра они за мной погонятся, а я заведу их в тупик. Они же не будут бояться, потому что я без оружия, они мой автомат отобрали. А ты там спрячешься за ящиками. Они в тупик заскочат, а ты — та-та-та! И все. Считается, что они убиты, а ты меня спас... А?

— А потом? — осторожно спросил Журка.

— Потом... Наверно, вся игра сначала.

Журка задумался. Засада — это засада, что-то есть в ней нехорошее. Обманное. Не хотелось начинать знакомство со здешними ребятами с такого обидного для них фокуса.

— Да ты не бойся, — сказал Горька. — Это же игра. У нас по-нормальному играют, без драки. По правилам... Потом на тебя никто злиться не станет.

Журке стало неловко, что Горька отгадал его боязливые мысли.

— Ничего я не боюсь, — буркнул он и подумал, что деваться некуда: Горьку в беде оставлять нельзя. Он пришел искать защиту, невиноватый, оставшийся один против всех, безоружный. Что ж теперь? Сказать: «Иди куда хочешь»?

— Значит, надо оружие, — негромко, но решительно проговорил Журка.

— Ага! — обрадовался Горька. — У тебя есть что-нибудь подходящее?

Журка прижал к губам палец и кивнул на дверь: тихо, мол, перебудишь всех. Горька испуганно и весело съежился: ой, больше не буду. Журка поманил его в угол, где друг на дружке лежали три чемодана с не разобранным еще имуществом. Верхний чемодан осторожно сняли, а средний Журка открыл. Там на коробках с «конструктором» среди рассыпанных пластмассовых солдатиков и прочего мелкого барахла лежали пистонные пистолеты и два

автомата. Один из белой пластмассы, с батарейкой и красной лампочкой в стволе. Другой из черного железа, с пружинной трещоткой.

— Во! В самый раз... — обрадованным шепотом сказал Горька. — Батарейка тянет?

— Новую поставим... Слушай, а когда сделаем засаду? С утра?

— Ну конечно. Я же тебе толкую, что надо как можно раньше. Я потому к тебе и пришел с ночи. Они меня будут у нашего дома выслеживать, а мы отсюда незаметно выберемся, потом я на них наткнусь, будто случайно, — и начали...

— Думаешь, они тебя с самого рассвета будут караулить? — усмехнулся Журка. — Они тоже спать хотят...

— Нет, не хотят... Они завтра в шесть часов на пустыре собираются, чтобы на штаб «Тигров» напасть. А у нашего крыльца часовых поставят. Я же все правила знаю.

— Тогда вот что... — Журка вытянул из чемодана (не с игрушками, а другого) свой тренировочный костюм. — Бери, завтра наденешь. Не голому же тебе воевать.

— Вот хорошо... Я его лучше сейчас надену, чтобы помягче на полу было. И вон ту курточку подстелю. Можно?

— Ну и придумал! — сказал Журка. — У меня на полу даже кот не спит. Давай ложись рядом. Вон туда, к стенке.

— Да ну... я весь пыльный, перемазанный.

— В одеяло завернешься. Оно у меня как раз такое... боевое... Я с ним в прошлом году в поход ходил, даже у костра подпалил.

— А ты как без одеяла?

— Под простыней.

— Холодно будет.

— Ха, — сказал Журка. — Думаешь, ты один закаленный?

Журка выключил свет, сдвинул в ноги недовольного Федота и лег рядом с Горькой. Тот, завернувшись в одеяло коконом, тихо посапывал у стенки.

— Не проспать бы, — шепотом сказал Журка.

— Не проспим. Я всегда рано подымаюсь, — успокоил Горька. И спросил: — А вдруг бы проспали и вдруг бы твои родители меня здесь увидели?

— Ну и что?

— Рассердились бы?

— А с чего сердиться?.. Удивились бы только: кто та-

кой, как сюда попал? — Журка подумал: «Мама перепугалась бы — как это в окно на веревке! Папа сказал бы, наверно: «Ну, вы даете, фокусники...»

— Значит, он у тебя совсем не злой, — задумчиво сказал Горька.

— А чего ему быть злым...

Отец бывал иногда хмурым, случалось, ворчал на Журку, если тот слишком шумел или прыгал, поддразнивал иногда сына за слишком «тонкий характер». Поругивал, если случались двойки. Но зато учил работать молотком и отверткой, катал в кабине своей «Колхиды», а при особенно хорошем настроении рассказывал истории о своем детстве. А вообще-то Журкиным воспитанием занималась мама. Водила на выставки и концерты (хотя они бывали в Картинске нечасто), рассказывала про художников, проверяла дневник, ходила на родительские собрания и даже учила Журку, как давать сдачи, если привяжется какой-нибудь хулиган. Нельзя сказать, что Журка был маменькин сынок, но мамин сын — это точно...

— И папа, и мама у меня вполне... — сказал Журка. — Лучше мне и не надо.

— У меня мама тоже добрая, — тихо отозвался Горька. — А отец, он... когда какой. Если настроение хорошее — «айда, Горька, на рыбалку». А если что не так — скорее за ремень... Хорошо, если сгоряча за широкий возьмется, он только щелкает. А если всерьез, то как отстегнет узкий от портупеи... Знаешь как режет...

Журка не знал.

Он этого никогда не испытывал.

Бывало в раннем дошкольном детстве, что мама хлопнет слегка и отправит в угол. Но чтобы по-настоящему, ремнем, Журка и представить не мог. Он бы, наверно, сошел с ума, если бы с ним сделали такое. Даже если в какой-нибудь книге Журка натыкался на рассказ о таком жутком наказании, он мучился и старался поскорее проскочить эти страницы. И потом всегда пропускал их, если перечитывал книгу. А Горька ничего, говорит про такое спокойно. С печалью, но вроде бы без смущения.

Конечно, в темноте, ночью, когда рядом человек, с которым завязалась, кажется, первая ниточка дружбы, легче говорить откровенно. Видать, наболело у Горьки на душе, вот он и рассказывает. Но... нет, все равно не по себе от такого разговора. И чтобы изменить его, Журка спросил:

— Твой отец военный?

— Милиционер. Старшина... Он на ПМГ ездит. Машина такая с патрулем: передвижная милицейская группа.

— Бандитов ловит?

— Бывает, что и ловит, — равнодушно отозвался Горька.

— Это ведь опасно...

— Бывает и опасно, — все тем же голосом сказал Горька. — Один раз ему крепко вделали свинчаткой. Неделю лежал в больнице... Я в те дни был как вольная птица... Мама, если не при отце, меня зря не гоняет... — Он, видимо, спохватился и объяснил: — Рана-то неопасная была, только сотрясение, но несильное... Ну что, спать будем, ага?

— Будем... Слушай, а как ты с моим дедушкой познакомился?

— Да так, случайно. Сперва зашел к нему с Егором. Егор у него книжки брал почитать, а я просто так... А потом уж один стал приходить. Тоже книжки брал... В шахматы еще играли... Если отец на дежурстве, мама меня отпускала сюда ночевать. Мы с Юрием Григорьевичем иногда до ночи чай пили. Он рассказывал интересно...

— Про что? — слегка ревниво спросил Журка.

— Про всякое... Иногда про тебя. Как вы плотину строили у вас на речке Каменке. И вообще... Он по тебе скучал.

## Засада

Проснулся Журка от озноба. Раннее утро было солнечным, но прохладным. Зябкий воздух из открытого окна забирался под тонкую простыню. Журка поежился и глянул на будильник. Без двадцати шесть.

Горька у стены свернулся в комочек, намотав на себя одеяло. Из одеяла торчали поцарапанные тощие ноги. Горька шевелил ногами, будто по ним ползали мухи.

Журка осторожно хлопнул по одеялу. Потом еще. Высунулась Горькина голова. Несколько секунд Горька обалдело смотрел на Журку, потом заморгал, заулыбался.

— А говорил «рано подымаюсь», — хмыкнул Журка. — Вот проспали бы...

— Ой... Это потому что я не дома. А дома я всегда...

Время поджимало. Они торопливо и бесшумно оделись. Повесили за спину автоматы. Журке стало весело и страш-

новато, будто предстояла не игра, а настоящее большое приключение.

Впрочем, приключения начались даже раньше, чем Журка ожидал. Горька размотал на батарее веревку, встал на подоконник и сказал:

— Смотри, как надо. Берешься вот здесь, где узлы, веревку натягиваешь, потом — раз! — и там.

И в самом деле, он спорхнул с подоконника и через секунду стоял в развилке тополя.

— Раз! — опять повторил он и оказался рядом с Журкой.

Теперь в нем не было ни капли вчерашней робости. Ловкий он был, и синие глаза его смело блестели под прямыми коричнево-медными прядками.

Журка тайком вздохнул. Можно было бы проскользнуть через квартиру и выбраться из дома обычным путем. Но значит, опять струсил? Он посмотрел наверх. Толстый капроновый шнур уходил куда-то сквозь густые листья. Посмотрел вниз. Дом старый, с высокими этажами, до земли метров десять.

Журка удержал в себе второй вздох и спросил с небрежной деловитостью:

— Веревка-то прочная?

— Все в норме, не бойся...

— Да я и не боюсь.

— Боишься, — спокойно отозвался Горька. — Первый раз все боятся... Ты лучше не с подоконника прыгай, а вон оттуда, с карниза. Удобнее.

Внизу, в полуметре от окна, тянулся широкий кирпичный выступ. На этом выступе сидел неподалеку Федот и бесстрашно щурился на солнце.

«Что я, хуже Федота?» — сердито подумал Журка и через подоконник полез на карниз.

— Постой, — сказал Горька. Нижним свободным концом веревки он плотно обмотал Журку вокруг пояса и затянул узел. — Если оборвешься, все равно никуда не денешься...

Это сразу успокоило Журку. Хотя не совсем. Когда он выбрался на карниз, коленки мелко подрагивали. Журка ухватился за веревку и натянул ее. Держаться было удобно — большие узлы не давали соскользнуть ладоням.

«Ничего, — сказал себе Журка. — Все равно надо... Раз, два... три!»

Он толкнулся не сильно и не слабо. В руках отдалось струнное натяжение веревки, на секунду тело замерло от

сладкого и жутковатого ощущения полета. Засвистела пустота, понесся навстречу тополь...

Журку развернуло в полете, он влетел в развилку боком, подошвы зацепились, тело мотнуло в одну сторону, в другую... У самого носа Журка увидел выступы серой коры, выпустил веревку, ухватился за ствол. Вернее, за отросток толщиной с могучее бревно. И прирос к нему, ощутив бугристую прочность дерева.

— Ну, ты что там? — окликнул из окна Горька. — Давай веревку.

Журка оторвал руки от дерева, торопливо размотал на поясе шнур. Сердце часто стучало, но страх уже уходил, и появилась веселая радость оттого, что не испугался. И оттого, что замирание и восторг полета можно будет повторить еще и еще...

Спускаться тоже было страшновато. Но не трудно. Трещины и бугры на коре старого тополя помогали держаться. Журка осторожно сполз до другой, нижней развилки у окон второго этажа, потом по наклонному главному стволу спустился на землю. Правда, поцарапался, помял штаны и рубашку, но не сорвался.

Внизу счастливый Журка лихо перекинул со спины на грудь автомат, и в это время рядом с ним прыгнул Горька.

— Бежим!

Они крадучись пересекли площадку перед окнами, пролезли в дыру старого каменного забора и оказались в переулке, выходившем на Парковую улицу. Горька, пригибаясь, побежал вдоль заборов и ворот. Журка за ним. Тоже пригнулся, хотя, кажется, прятаться было не от кого.

Через минуту Горька привел Журку в тупичок. Слева была оштукатуренная стена одноэтажного дома с решетчатыми окошками под самой крышей.

— Как тюрьма, — прошептал Журка. Но Горька объяснил ему, что это не тюрьма, а склад продуктового магазина.

Справа был деревянный забор с колючей проволокой наверху: какой-то частник надежно огородил свой сад. А впереди тоже стена, только высокая и кирпичная. Журка вспомнил, что у таких стен есть специальное название — брандмауэр. Их строят для защиты от пожара.

У брандмауэра были свалены пустые ящики из реек и фанеры.

— Вон там и спрячься, — сказал Горька. — А я пошел... Как услышишь топот, приготовься. Меня пропустишь к себе, а по ним — очередями...

Горькины глаза были решительными, но слова звучали немного нервно. Он хотел еще что-то сказать, но только мотнул волосами. Отдал Журке свой автомат и пошел из тупика. У поворота оглянулся.

— Прячься получше.

— Все будет в порядке, — отозвался Журка, чувствуя тревожный холодок.

Спрятаться оказалось нетрудно, за ящиками Журка нашел удобное местечко — будто нарочно для засады. Но сидеть было неуютно и скучно. Среди запаха отсыревшей фанеры, в зябкой тени этого глухого уголка Журка продрог и ругал себя, что не взял курточку. Время ползло еле-еле. Сквозь частые рейки решетчатого ящика Журка поглядывал из укрытия, но видневшийся впереди солнечный переулок был пуст.

От неподвижности заныла спина. Потом несильной, но надоедливой болью налились длинные царапины на ногах, защипало подбородок — Журка ссадил его, когда сползал по стволу.

Он сердито шевельнулся, потер царапины, потрогал на подбородке ссадину... и вдруг подумал: а если все зря?

Если ребят на пустыре не оказалось? Или они сцапали Горьку, едва увидев? Они ведь тоже не дураки. А Горька... Может, не всегда он такой ловкий. Одно дело с веревкой прыгать, другое — уйти от погони. И вообще, что он за человек? Что о нем Журка знает? Ничего. Вроде бы обыкновенный мальчишка. Правда, иногда что-то мелькает в нем: какая-то смесь хвастовства и боязливости.

А может быть, хитрости?

Может, он просто решил подшутить над Журкой, притащил сюда и оставил. А потом будет рассказывать ребятам, как разыграл новичка!

Да ну, чушь какая... Скорее всего, Горька просто попался...

Нет, не попался!

Нарастающий топот разогнал тишину переулка. Журка дернулся и насторожил автомат. Горька на отчаянной скорости влетел в тупик, а за ним пять или шесть мальчишек. Горька пригнулся, бросился к ящикам, скрылся с линии прицела. А противник был — вот он!

И Журка нажал спуск.

Новая батарейка рванула в автомате мотор трещотки. Красная лампочка заметалась в белом пластмассовом стволе. Горька оказался рядом, тоже схватил автомат, дернул рычаг пружинного механизма. Потом вскочил, толкнул от

себя ящики. Они посыпались, открыв засаду. Журка тоже вскочил.

Они стояли рядом, и автоматы с ревом и треском бились у них в руках.

Что и говорить, победа была полная. Те, кто гнался, даже не пытались открыть ответный огонь. Они стояли перед ящиками растерянной кучкой и обалдело смотрели на прыгающие автоматные стволы. Потом высокий парнишка в черной морской пилотке плюнул и что-то сказал.

Журка наконец перестал жать на спусковой крючок. Горька тоже. В наступившей тишине парнишка в пилотке (Журка понял, что Егор Гладков) повторил с усмешкой:

— Хватит уж трещать-то. Развоевались, будто нас целая дивизия...

— Чья взяла? — жестко спросил Горька.

— Герой. Красиво сделано, — сказал Егор. Но в голосе его не было признания Горькиной победы. Он смотрел насмешливо. Спросил небрежно:

— Значит, союзника нашел?

— А что? — ощетиненно отозвался Горька. — Разве нельзя? Все по правилам.

— Это точно. Правила ты знаешь, — опять усмехнулся Егор. И сказал: — Пошли отсюда. А то еще сторож прибежит, от него не отстреляемся...

Непонятно было, кому он это сказал: только своим или Горьке с Журкой тоже? Но когда ребята двинулись из тупика, Горька торопливо выбрался из-за ящиков. Журка за ним...

Они все прошли на пустырь, где среди высокой травы и лопухов лежало несколько бетонных блоков. Журка уже знал, что когда-то один здешний жилец задумал строить посреди пустыря капитальный гараж, но ему не разрешили.

Егор приложил к бетону ладонь — сильно ли остыл за ночь? Неторопливо сел. И четверо его друзей тоже сели на треснувший блок. Больше места на блоке не было, и Журка с Горькой остались стоять среди влажной травы. То ли случайно это вышло, то ли не совсем случайно. И хотя были они победители, получилось, что стоят перед своими противниками, будто пленные и в чем-то виноватые.

— Ты внук Юрия Григорьевича? — спросил Егор.

— Да, — хмуро сказал Журка и шевельнул на груди автомат.

— Ясно... А он что? — Егор с насмешкой кивнул на Горьку. — Уже в друзья к тебе записался?

Журка смотрел на Егора, но все равно заметил, почувствовал, как напрягся в беспокойном ожидании Горька. Наверно, испугался, что Журка ответит: «Да нет, мы просто так...» Но было уже не просто так. Потому что был вчерашний вечер, Горькина печальная доверчивость, просьба о защите. А сегодня — надежная веревка, которую он заботливо обмотал вокруг Журки. И еще — как они плечом к плечу, с автоматами навскидку...

И Журка сказал с дерзкой ноткой:

— Да. А что?

Егор лениво улыбнулся. У него было узкое умное лицо и острые глаза. Сразу было видно, что это командир.

— Ничего... — сказал Егор. — Дело ваше. Только ты смотри, это друг такой...

— Какой? — негромко и напряженно спросил вместо Журки Горька.

— А такой! — звонко и бесстрашно врезался в разговор белобрысый мальчишка в порванной голубой майке (небольшой, класса из третьего). — Как заяц. Тогда всех припутали за то, что костер жгли, а ты заныл: «Я не жег, я потом пришел...»

— Дак я же правда потом!

— Ну, точно. Опять все по правилам, — усмехнулся Егор. И остальные негромко засмеялись.

Их было пятеро. Кроме Егора и пацаненка в порванной майке еще худой веснушчатый мальчишка с большим насмешливым ртом и два брата — очень похожие друг на друга, русые, круглолицые, спокойные и молчаливые. Веснушчатый (звали его, кажется, Митька) вдруг спросил у Журки:

— А ты хоть знаешь, почему он от нас бегал? Он пакет с паролем не доставил!

— Дома отсиделся! — добавил мальчишка в майке.

— Да знаю я, — решительно сказал Журка. — Пароль — это игра. А если бы он ушел из дома, его бы... ему бы знаете как досталось! Это ведь уже не игра.

— Вот и получается, что струсил, — заметил старший из братьев. — А если бы по правде война? Там еще не такие опасности...

— Ты, Сашка, не путай, — сказал Горька. — Если вой-

на, там по-другому. И отец бы у меня дома не сидел, меня бы не караулил...

Младший брат посмотрел на старшего и сказал не сердито, а будто жалея:

— Все равно ты, Горька, дезертир.

— Сам ты... — глупо и беспомощно огрызнулся Горька.

А Журка, глядя на Егора, проговорил:

— Война была понарошке, просто игра. А вы теперь так, будто он по-настоящему дезертир. Это справедливо?

Веснушчатый Митька хмыкнул:

— Только что приехал, а уже справедливости нас учит...

Журка не растерялся:

— Ну и что же, что приехал? Справедливость везде одинаковая.

— Игры зато разные, — сказал старший из братьев. — Ты ведь с нами еще не играл.

— А я в такую игру и не хочу, — насупленно отозвался Журка. — Что за игра: людей расстреливать...

— Не нравится? — спросил Митька.

— Не нравится.

Егор задумчиво посмотрел на Журку и возразил миролюбиво:

— А что делать? Если играешь, надо ведь стараться, чтобы похоже было на настоящую жизнь. А в жизни тоже не все нравится.

— Нет, в жизни не так, — упрямо сказал Журка и подумал о черных молниях. — Там если что-нибудь плохое случится, то уже некуда деваться. А игру можно выбирать, какую хочешь.

Егор вдруг откинулся назад, сладко потянулся и засмеялся. Сказал уже совсем по-другому, вроде бы без насмешки:

— Умные слова полезно слушать. Давайте выберем футбол. Все равно мы уже перестрелянные, воевать не можем. Давайте вызовем «Тигров» на матч века.

— Они нам наклепают, — хмуро возразил Горька.

— Если опять будешь сам водиться, пасовать не захочешь, — вредным голосом проговорил Сашка в голубой майке.

— Ну хватит вам, — остановил Егор. И деловито спросил у Журки: — Ты в футбол как?

— Я — так себе, — честно сказал Журка. — Редко играл. Даже и не очень люблю.

— Все равно. У нас команда неполная. Сможешь?

— Ну, если надо...

— Эй, вояки, Капрала не видели?

Это крикнул от края пустыря какой-то парень с велосипедом. Все разом оглянулись. Егор медленно сказал:

— Нам его видеть — какая радость?

— А какая печаль? — насмешливо откликнулся парень.

— Ни то ни другое, — ровно объяснил Егор.

— Зря-то не скреби... — сказал парень. И уехал.

— Их величество Капрал еще небось дрыхнут, — проговорил Митька. — Они поздно ложатся, дел много...

Егор пренебрежительно зевнул, встретился с Журкиным вопросительным взглядом и разъяснил нехотя:

— Это из другой компании...

— Из «Тигров»?

— Нет... «Тигры» — это наши же ребята, мы с ними играем. А у Капрала игры свои... Доиграется когда-нибудь.

Договорились, что встретятся после обеда и тогда все уточнят насчет футбола. А пока разбежались — кто завтракать, кто досыпать. Было около семи часов.

Горька пошел проводить Журку до крыльца.

— Ой-ей... — вдруг сказал Журка.

— Что? — испугался Горька.

— Я позвоню, а меня спросят: «Как ты оказался на улице?» Дверь-то на замке.

— Ой... да... — Горька озадаченно остановился. — А если сказать про веревку? Влетит?

— При чем тут «влетит»?.. Сначала у мамы будет инфаркт.

— А может, они еще спят? И мама, и отец...

— Ну и что? Думаешь, ничего не поймут спросонок, когда позвоню?

— А зачем звонить? Можно же и обратно через окно. Тогда ничего не заметят.

Журка заколебался:

— Не забраться мне без тренировки. Это же не вниз...

— Ты что, по деревьям не лазил?

— Почти, — признался Журка. — Один раз только, да и то невысоко.

— Ну ничего, я помогу.

К своему удивлению, Журка стал подниматься без большого труда. Только страшновато было. А Горька, будто заведенный, двигался сзади и приговаривал:

— Давай-давай, ничего... Уже скоро.

Иногда подталкивал Журку ладонями в пятки.

Наконец Журка лег животом в развилку, отдышался, успокоил беспорядочную стукотню сердца и, обдирая коленки, поднялся на ноги. Тут же втиснулся рядом Горька.

После подъема перелет в комнату казался совсем нестрашным. Журка взялся за веревку с узлом, натянул.

— Может, обвяжешься? — осторожно спросил Горька.

— Да ну, чепуха...

Федот по-прежнему сидел на карнизе и неодобрительно поглядывал на мальчишек. Журка показал ему язык и оттолкнулся от тополя.

Опять охватила Журку страшноватая радость полета, окно стремительно придвинулось, подоконник мелькнул под ногами и ушел назад, и Журка увидел раскрывшуюся дверь и громадные глаза перепуганной мамы.

Он выпустил веревку и брякнулся на пол посреди комнаты. Крепко брякнулся. Посидел, поднял на маму нерешительные глаза и сказал:

— Доброе утро...

После завтрака неожиданно пришел Горька. На этот раз через дверь. Принес Журкин костюм и автомат. На Горьке была новая пестрая рубашка и потрепанные внизу, но отглаженные брюки. Очевидно, он подготовился к «официальному визиту».

Мама сдержанно поздоровалась с Горькой и спросила:

— Значит, это твоя идея устроить воздушные полеты на уровне третьего этажа?

Горька не смутился. Мельком глянув на виноватого Журку, он поведал, что идея общая: его и Юрия Григорьевича, а веревку он, Горька, примотал к суку толщиной в пушку, сделал там пять витков и затянул тремя морскими узлами. Скорее сам тополь сломается пополам, чем треснет сук, развяжется узел или порвется капроновая альпинистская веревка. Журка робко добавил, что для полной безопасности можно сделать еще страховочный пояс, как у верхолазов. Горька громко одобрил эту мысль и пообещал, что не только Журка, но и он сам этим поясом будет пользоваться с охотой и радостью.

Мама покачала головой и хотела что-то возразить, но тут ее окликнул из комнаты папа, и она ушла.

— На улицу выйдешь? Мячик попинаем для тренировки, — предложил Горька.

— Потом. Сначала мне надо... к одному человеку. Я обещал.

— А что за человек?

— Ну... девочка одна. Знакомая.

Горька смотрел спокойно. Даже самой капельки насмешки не было в его глазах. Было только сожаление, что Журка не может идти с ним пинать мячик.

— А хочешь, пойдем со мной, — вдруг сказал Журка.

В самом деле, почему бы не пойти к Иринке вдвоем? А потом можно вместе в парк или еще куда-нибудь.

— Пойдем, — сразу согласился Горька. — Отец до обеда на работу умотал, я пока вольный.

И они пошли. Но у Иринкиного дома Горька вдруг придержал шаги. Сказал настороженно:

— Здесь одна девчонка из нашего класса живет. Ирка Брандукова. Неохота мне ее видеть.

Журка растерянно остановился.

— Я не знал, что она из вашего...

— А ты что? К ней идешь? — удивился Горька.

Журка виновато кивнул. И сразу рассердился и на Горьку, и на себя:

— А что такого? Разве нельзя?

— Когда это ты успел познакомиться?

— Успел...

— Ну, иди, — примирительно сказал Горька. — А я лучше к ребятам...

— Вы с ней поссорились, что ли? — неловко спросил Журка.

— Да не... — беспечно отозвался Горька. — Просто... Чего мне с ней встречаться? И так надоели друг другу, четыре года на соседних партах сидим... А ты иди.

— Я обещал...

— Ну и давай. А я потом к тебе забегу. Можно?

— Конечно, приходи обязательно, — с облегчением сказал Журка. Сперва ему казалось, что Горька обижается, а сейчас он увидел, что нет.

Иринка встретила Журку, будто ждала у самого порога. Не приглашая в комнату, быстро сказала:

— Поехали в краеведческий музей! Там недавно планетарий открыли...

— Поехали.

На лестнице Иринка оглянулась на закрывшуюся дверь, нерешительно посмотрела на Журку и с тихой досадой проговорила:

— Мама с папой там... выясняют, кто прав, кто виноват. Из-за вчерашнего...

— А что вчера? — с тревогой спросил Журка. — Потому что я приходил?

— Да при чем здесь ты? — удивилась Иринка. — Вчера вечером к папе дядя Иннокентий пришел. Ну, приятель папин... В общем, выпивший он был, расшумелся, расхвастался. Мама его и трезвого-то не очень любит, а тут совсем...

Журка кивнул: понимаю, мол.

Запинаясь от неловкости, Иринка сказала:

— Ты только не подумай, что папа тоже с ним... Просто мама волнуется: у папы сердце неважное, у него по ночам такая аритмия бывает... В общем, ты не обижайся, что я тебя домой не позвала...

— Я понимаю, — сказал Журка. И подумал, что нигде на свете нет полного счастья и спокойствия.

## Не игра...

У Горьки не было ясной причины, чтобы не ходить к Ирке Брандуковой. То, что они «надоели друг другу», он придумал. Не могли они надоесть, потому что друг на друга почти не обращали внимания. Вернее, Брандукова не обращала. Горька-то иногда на нее поглядывал с интересом. Ему нравилось, как Ирка улыбается своим щербатым ртом и как грызет головку авторучки, если решает сложную задачку. Но это был минутный легкий интерес, и Горька очень быстро забывал думать о Брандуковой, занятый своими заботами и тревогами.

Сейчас он не пошел с Журкой из-за смутного опасения, что будет лишним. Вдруг Ирка глянет насмешливо и тоже спросит у Журки: «Он что, уже в друзья к тебе записался?» К тому же у нее и у Журки свои дела, они о чем-то договорились. А он, Горька, зачем? Журка ни в коем случае не должен думать, будто Горька назойливый. Он вообще не должен думать про Горьку ничего плохого...

Однако если бы Горька знал про то, что с ним случится через полчаса, он пошел бы куда угодно: к Брандуковой, на край света, к черту на рога.

А случилось вот что.

Недалеко от дома, на углу Парковой и переулка с магазинчиком, Горьку вежливо окликнули:

— Эй, Горислав...

Это был тот парень с велосипедом, что утром искал Капрала. Звали его Студент. На самом деле он был не

студент, а, кажется, девятиклассник. Просто отец у него работал профессором в институте, и сынок однажды сказал в ребячьей компании: «Мне пятерочный аттестат ни к чему, дорога и так открыта. Можно считать, что я уже студент». Потом папашу за что-то посадили, а кличка прилипла к парню намертво...

Рядом со Студентом стоял Череп — сумрачное, неуклюжее существо, ученик восьмого класса той же школы, где учился Горька. У Черепа была яйцеобразная, покрытая мелким пухом голова и длинные медленные ноги в тяжелых ботинках (он всегда волочил эти ботинки, как гири).

Горька остановился. Оклик прозвучал мирно, и драпать, видимо, не стоило. Хотя бы для того, чтобы зря не раздражать Студента и его друзей. Да и не убежать. Череп, конечно, запутается в ботинках, но Студент на велике догонит в два счета...

— Чего? — стараясь быть независимым, сказал Горька.

Студент и Череп медленно подошли.

— Дело есть, — сообщил Студент. — Предложение одно... Пойдем поговорим.

— Мне домой надо, — попробовал отвертеться Горька. Но Студент ласково и крепко взял его за плечо.

— Да пойдем, не бойся.

Он повел заробевшего Горьку в гараж, который стоял в глубине большого двора. Когда-то в гараже находились «Жигули», но потом папаша сел в тюрьму, и машину пришлось продать. А гараж куда денешь? Если бы железный — другое дело, а кирпичный с места не сдвинешь. И теперь в гараже собиралась компания Капрала. Занимались они там вроде бы обыкновенным делом: ремонтировали старый мотоцикл. Но все ребята знали, что это дело у них — не главное.

Сейчас в гараже сидели на верстаке сам Капрал и вертлявый семиклассник Шкалик.

— Во, — сказал Студент и подтолкнул Горьку вперед. — Нашел. Это геройский парень, сделает все о'кей.

Горька тоскливо подумал, что лучше все-таки драпануть. Но в дверях стоял Череп и смотрел на него с ленивой скукой.

Капрал вдруг соскочил с верстака и резко сказал:

— Череп, сгинь из дверей! Я вас, идиотов, просил добровольца привести, а вы его, будто заложника, притащили! Если не хочет, пусть уходит...

Потом он глянул на Горьку бархатными своими глазами и спросил с участием:

— Они что, силой тебя тянули?

— Не... — пробормотал Горька. — Я сам.

— А! Ну, другое дело... Тогда вот что. Помоги нам по-человечески.

— А чего? — нерешительно откликнулся Горька.

У Капрала затуманилось красивое лицо, он виновато улыбнулся:

— Да дело-то обыкновенное... Честно говоря, перебрали мы вчера на дне рождения у одного корешка. Дернул черт мешать с водкой вермут. Тебе этого не понять, да и слава Богу. Не надо... Только поверь мне, грешному: голова трещит, будто в ней рота барабанщиков, и муторно так, словно мыла наелся. Вон и Студент слегка бледный... Если не опохмелимся — смерть...

Он говорил тихо, доверительно и смотрел на Горьку с надеждой, словно тот и в самом деле мог помочь.

Горька ощутил симпатию и жалость к страдающему Капралу. И легкую гордость от того, что знаменитый Капрал не грозит, не требует, а так по-доброму просит о помощи.

Но о какой? На бутылку ему, что ли, надо?

Горька добросовестно вывернул карманы, вытряхнул крошки и несколько медяков.

— Вот, все... — он честно взглянул в печальные глаза Капрала.

Капрал вздохнул и качнул головой:

— Да нет, не то. Все на деньги не измерить... особенно когда их нет... Понимаешь, тут надо немного смелости. Конечно, не как в партизанском отряде, но все-таки... Найдется у тебя?

В Горьке опять задрожала тоскливо-тревожная струнка. Он пожал плечами.

— Найдется, — уверенно сказал Капрал. — Да и задача-то пустяк. У магазина сейчас будут разгружать ящики с коньяком «Белый аист». Никто за ними толком не смотрит, грузчики мотаются туда-сюда. Протопаешь мимо ящиков, дернешь одну бутылку, сунешь вот в эту сумку, обойдешь кругом квартал — и сюда. Нас там всякая собака знает, а на тебя и не взглянут. Сделаешь?

— Нет... — сказал Горька, осипнув от страха. И неловко затоптался на месте.

Капрал без улыбки смотрел, как он топчется. Потом сказал со вздохом:

— Ну, нет так нет. А может, решишься?

— Нет. Пустите меня, — опять пробормотал Горька, пряча глаза.

— А кто тебя держит? Иди, — серьезно проговорил Капрал. — Только условимся по-джентльменски: про наш разговор никому Понял?

— Понял, — торопливо согласился Горька и оглянулся на дверь. Выход был свободен. Горька обрадовался... и не пошел. Виновато посмотрел на Капрала, будто в чем-то обманул хорошего человека.

Капрал сказал ему ласково:

— Ты ведь не боишься. Ты это с непривычки. Думаешь, наверно, что нехорошо, мол... А какая разница, кто эту бутылку выпьет? Мы для поправки здоровья или какие-нибудь алкаши, которые работу прогуливают? Или, думаешь, государство обеднеет на десятку?

Горька не думал про государство, он думал про себя.

— Если поймают...

Капрал засмеялся:

— Да кто тебя поймает? Если даже увидят, разве догонят? Да и не увидят...

— Ну а поймают, так что такого? — с писклявой усмешкой вмешался Шкалик. — Ты скажи, что коньяк хотел вылить, а бутылку сдать, чтобы двадцать копеек получить.

— Точно, — согласился Капрал. — Посмеются да отпустят. Ну, может, пинка дадут... Да чушь это, никто не увидит. Зато от нас будет тебе вечная благодарность и защита от недругов. А?

Потом, вспоминая все, что было, Горька так и не мог понять, почему он согласился. Боялся Капрала и его дружков? Пожалуй, нет. Мстить они не стали бы, слишком мелкая он для них личность. Да и связываться с сыном милиционера — себе дороже. Пожалел Капрала? Может быть, самую чуточку. Но не настолько, чтобы идти из-за него на риск. Обрадовали слова о благодарности и защите? Пожалуй, обрадовали, но все же не в этом дело. Хотел доказать, что не трус? Кому? Себе? Про себя он и так все знал. Капралу и его компании? А зачем? Все равно они жулики...

И все же пошел. Будто его заколдовали. Вместо того чтобы кинуть в траву сумку и рвануть домой, он деревянными шагами двинулся в переулок.

От крыльца магазинчика отъехал крытый грузовик, у входа остались несколько ящиков, в которых блестели

стеклянные горлышки. Два дюжих дядьки подхватили пару ящиков, крякнули и потащили в магазин. Прохожих не было. Оглушительно звенел в ушах августовский полдень. Горька с застрявшим в горле страхом боком подошел к ящику и липкими пальцами вытянул узкую бутылку. Шагнул в сторону. Брючина зацепилась за полуоторванную жестяную полоску на ящике. Полоска задребезжала. Ее звон показался Горьке громом небесным.

Горька замер, будто надетый на громадную стальную спицу. А сквозь грохот и звон услышал:

— Ах ты, жулик проклятый!

На крыльце стояла грузная тетка и смотрела на Горьку пронзительными глазками.

Пробитый ужасом, как ударом тока, Горька дернулся и остался на месте. Бутылку он держал перед собой, не решаясь ее ни уронить, ни поставить обратно.

— Ах ты, сопляк! А ну иди сюда! — сказала тетка, будто не сомневаясь ни капельки, что Горька и в самом деле пойдет.

И он пошел. Как под гипнозом. На ослабевших ногах. По-прежнему держа бутылку в согнутой руке на уровне груди.

Тетка дождалась его, взяла за шиворот и крепко огрела сумкой, в которой лежали тугие кульки.

...Он оказался в комнатушке с письменным столом, за которым сидела молодая крашеная женщина в белом халате. Она сразу стала кричать на Горьку. Тетка, которая привела его, тоже кричала и один раз хлопнула по шее. Грузчики стояли в углу и добродушно гоготали. Потом в комнату втолкнули Шкалика. Он дернул плечом и презрительно скривил губы.

Сквозь отчаяние и страх Горька все же сообразил, что Шкалик, видимо, следил за ним, был неподалеку. Значит, его тоже заподозрили и поймали. Украдкой Шкалик показал Горьке кулак. Наверно, хотел напомнить, чтобы Горька молчал про Капрала.

Горька пытался захныкать, что больше не будет, и бормотал что-то про двадцать копеек, но его не слушали. Женщина в халате куда-то позвонила. Через какое-то время (заполненное для Горьки безнадежным ужасом) приехал милицейский фургончик...

Потом была серая комната, где пахло клеем и едкой известкой. В окне за решеткой (в виде солнечных лучей) светился и звенел такой радостный и свободный мир, теперь недоступный для Горьки. За столом Горька увидел

пожилую женщину в форме лейтенанта милиции. У нее было усталое и скучное лицо.

Женщина открыла серую папку, посмотрела на Горьку и Шкалика почти ласково, встряхнулась и бодро спросила:

— Ну что? Будем отпираться или сразу все скажем честненько? Как у нас насчет совести?

Шкалик закатил истерику. Он зарыдал, затопал ногами и взахлеб закричал, что стало уже невозможно выйти на улицу. Что такого он сделал? Шел мимо магазина, а его хватают, как вора! Есть в Советской стране такие законы, чтобы ни с того ни с сего хватать? Да что же это такое?! В чем он виноват?! Взрослого бы небось не схватили! Взрослый знает, что делать: он и к прокурору пойдет, и в суд, и в газету напишет! А с маленьким все можно, да?

Была в слезах и ярости Шкалика такая неподдельная правота, что лейтенантша растерялась. К тому же Шкалик упал на деревянный диванчик и крепко стукнулся лбом о подлокотник. Прибежала девушка-сержант. Шкалику дали воды, велели успокоиться и отпустили. Уходя, он напомнил Горьке залитым слезами взглядом: «Не болтай».

Горька, всхлипывая, покорно рассказал историю, как хотел сдать бутылку, чтобы получить деньги на кино.

— Так-так, — покачивая какой-то домашней, не милицейской прической, сказала лейтенантша. — С этого все и начинают. Жаль мне тебя, но родителей придется для беседы пригласить. И возможно, оштрафовать. Где ты живешь?

Горька знал, что изворачиваться бессмысленно. Морщась от слез, назвал адрес, потом — как зовут маму и папу.

— Место работы родителей?

Услыхав о работе отца, лейтенантша отложила ручку. Что-то изменилось в ее лице.

— Как? Значит, тот самый Геннадий Сергеевич Валохин, старшина? Ну и ну... Ладно, иди домой, Горислав Валохин, а папе я позвоню. Надеюсь, папа займется твоим воспитанием...

Горька знал, что «папа займется»...

Страх у Горьки сначала поубавился, когда он оказался на улице. Все-таки кругом были простор и свобода. Но Горька понимал, что свобода эта обманчивая. Куда он денется? Бежать? В какие края? Все равно отыщут, доставят обратно через детприемник. Еще хуже будет.

От досады и отчаяния Горька закинул в траву сумку Капрала. Он знал, что на этот раз отец не будет горячиться: тут не двойка в дневнике и не ведро с мусором, кото-

рое Горька забыл вынести... Станет тихо-тихо, мама уйдет на кухню, прижав к лицу руки, и в этой тишине отец спокойно скажет: «Ну-ка иди сюда, сволочь ты такая. Значит, воровать начал? Хочешь, чтобы отца прогнали с работы? Не выйдет, лучше я тебя сам...» Потом начнут слабо звякать колечки портупеи...

Горька тихо заплакал на ходу и так, с опущенной головой, наткнулся на Егора Гладкова.

— Ты чего? — спросил Егор с усмешкой, но и с тревогой.

Егор, конечно, не был другом. Он относился к Горьке «не очень». Кажется, даже слегка презирал. Но он был справедливый. И он был все-таки свой. Горька, ничего не скрывая, рассказал свою печальную историю.

Егор плюнул, хмыкнул и несколько раз назвал Горьку дураком и дубиной. Горька покорно молчал. Раз в самом деле дурак.

Егор привел Горьку на пустырь, где на блоках сидела вся компания, и сердито пересказал ребятам Горькины приключения.

Горька, сидя с головой ниже плеч, молча выслушал все насмешки и высказывания о его безмозглости.

— Ох и врежет ему папаша, — задумчиво проговорил Митька Бурин и поерзал, будто врезать собирались ему самому.

— Ну и правильно, — сказал беспощадный Сашка Граченко.

— Правильно или неправильно, а что делать... — заметил Егор. — Сам напросился.

Подошел Журка, увидел зареванного Горьку и серьезные лица. Спросил, конечно, что случилось. Журке сумрачно и подробно рассказали. Журка недоуменно и, кажется, с испугом взглянул на Горьку. Они на миг встретились глазами, и Горька еще ниже опустил голову: надеяться на дружбу с внуком Юрия Григорьевича теперь не приходилось...

Сашка Лавенков сказал:

— А Капрал-то какой, а! Не смог сам-то пойти за бутылкой, дурака со стороны позвал.

— Шкалик тоже шкура, — заметил Сашкин брат Вовка. — Унес ноги и рад.

— Так он же и правда ничего не делал, — усмехнулся Митька. — Когда они мопед от школы угнали, он тоже... Помните?

Все, кроме Журки, кивнули: помнили. И Горька помнил. Но что ему какой-то мопед, что ему Шкалик? С ним-то, с Горькой, что будет?

— Анальгину купи в аптеке, — вдруг посоветовал Митька Бурин. То ли шутя, то ли по правде. — Таблетку слопаешь, боль задерживает. У меня когда сломанная нога болела, я так спасался.

Горька поднял глаза.

— Правда?

Митька пожал плечами: не хочешь — не верь. А Горька опять столкнулся взглядом с Журкой, и тот опять быстро опустил глаза. А позади Журки Горька увидел отца. Еще далеко. Он медленно шел к ребятам через пустырь.

Горька начал съеживаться. Все сильнее и сильнее — как проколотый воздушный шарик. Старшина Валохин подошел и негромко сказал согнутой Горькиной спине:

— Пошел домой...

Горька поднялся. Все захолонуло в нем. И мелкими шажками, не оглянувшись на ребят, он двинулся за отцом... И услышал тонкий вскрик:

— Подождите!.. Постойте! Товарищ старшина!

Отец оглянулся. Горька тоже оглянулся.

Журка подлетел — в сбившейся рубашке, с растрепанными волосами, с распахнутыми глазами. И были в этих глазах отчаяние и решительность.

— Товарищ старшина!.. Но вы же не знаете... Вот вы его... А он же не виноват. Его Капрал заставил! И этот... Шкалик! Правда...

Журкин голос угас под внимательным взглядом Горькиного отца. Горька знал этот взгляд. От него всегда терялись слова и пропадала надежда на помилование.

Но Журка не опустил глаза. Он мотнул волосами и снова сказал, только потише:

— Горька не виноват.

Горькин отец спросил ровным голосом:

— Ты внук Юрия Григорьевича Савельева?

— Да...

— Понятно... А тебя Капрал смог бы заставить воровать бутылки?

Горька увидел, что Журка смешался, потупился. Сказал сбивчиво:

— Не знаю...

— Знаешь. Не смог бы, — с короткой усмешкой сказал отец. — Ну, хорошо, спасибо за ценную информацию. Разберемся. — И кивнул Горьке.. — Пошли.

...Когда Горька с отцом скрылся в своем доме, Журка почувствовал, как дрожат у него ноги. И сердце тукает с такой частотой, будто ушел от опасной погони.

Ладно, не в этом дело. Все же он успел хоть чем-то помочь бестолковому Горьке. Как он это придумал и как решился побежать следом? Журка и сам не понял. Когда увидел, с какой покорностью и страхом семенит Горька за отцом, будто сорвалась пружина. Нельзя беспомощно сидеть, когда человека уводят на казнь...

Подошли ребята. Встали рядом с Журкой, помолчали. Он смущенно улыбнулся им: «А что было делать?»

Маленький Вовка Лавенков серьезно сказал:

— Ты его сегодня второй раз спас.

— Еще неизвестно, спас ли, — усмехнулся Митька Бурин.

Егор заметил:

— Все-таки помог... — И спросил у Журки: — Ты что, решил над ним шефство взять? Будешь из каждой ямы за уши вытаскивать?

Журка не понял, что в этом вопросе: насмешка или одобрение? Он слегка огрызнулся:

— Разве я специально? Так получилось.

В этот момент его окликнули. Папа позвал с крыльца:

— Юрик, поехали в магазин! Там хороший обеденный стол есть!

Журке не очень хотелось в магазин. Лучше бы как следует познакомиться с ребятами, поиграть. Но помочь-то надо. И он побежал за отцом.

В магазине пахло мебельным лаком, сухим деревом и стружкой. Это был праздничный запах новоселий. Блестели полированные дверцы шкафов, горбатились пестрые туловища диванов и кушеток, поднимались под потолок пирамиды коричневых стульев. Тускло светились высокие зеркала.

Стол выбрали сразу. Но папа еще долго бродил в проходах между мебелью, внимательно и неторопливо к ней приглядывался. Потом сказал Журке с короткой усмешкой:

— Между прочим, если запродать твои книженции, можно было бы обставить квартиру, как дворец Екатерины... Ну, не буду, не буду, не буду! Пошутить нельзя...

Журка надулся и сердито отстал. Начал ходить один. Он задержался у зеркального шкафа, глянул на себя, сморщил переносицу. Да, лазанья по деревьям и военные засады не проходят даром. На рубашке пятно, черная лен-

точка над карманом надорвана, одна пуговица висит на нитке. Ноги в засохших коричневых царапинах, на подбородке тоже подсохшая блямба — словно кусок ржавчины. Недаром Иринка спросила, когда шли в музей:

— А ты чего сегодня такой... будто сквозь джунгли продирался?

Журка рассказал про Горьку и утренние приключения.

Приключения Иринке понравились, а насчет Горьки она удивилась.

— Валохин? Разве вы в одном доме живете?

— В соседних... Я его сегодня с собой звал, когда к тебе пошел, — признался Журка.

— Зачем?

— Ну... как-то нехорошо было одного оставлять. Только он отказался.

— Вот чудак, — отозвалась Иринка. Впрочем, без всякого сожаления.

Они обошли все залы музея — и со старинным оружием, и со скелетом мамонта, и с моделями машин, которые строят на Сельмаше. А потом условились, что после обеда Иринка зайдет к Журке, и они опять придумают что-нибудь интересное...

...Пока папа платил в кассу, пока договаривался о машине, пока добирались домой, прошло около часа. Журка уже беспокоился, что Иринка пришла, а его нет.

Но Иринка еще не приходила. Журка стал прибивать в своей комнате полку для модели подводной лодки. В это время позвонили, и мама крикнула из коридора:

— Журка, к тебе девочка пришла!

Журка уронил на ногу молоток, схватился за ушибленную стопу и на одной ноге поскакал в коридор. Иринка увидела его и засмеялась:

— Ты не журка, ты аист... Пойдем в Исторический сквер! Я покажу, где раньше сторожевые башни стояли, там теперь развалины, как в старинном замке.

Мама, услышав этот разговор, сказала:

— Сударь! При всем уважении к вашей даме, я должна напомнить, что вы еще не сходили за хлебом. На ужин ничего не осталось...

— Пфе! Это раз плюнуть, — весело отозвался Журка. — То есть я хотел сказать, что магазин рядом.

— Мы вместе, — предложила Иринка.

— Лучше посиди и посмотри мои книги, — решил Журка. — Помнишь, я рассказывал? Старинные... А я бегом!

## Капрал и компания

Журка весело шагал вдоль заросшего газона, и высокая трава щелкала головками по сумке с караваем. Журка смотрел на траву и вздрогнул, когда перед ним с коротким звоном остановился велосипед.

На асфальт въехал белобрысый парень лет пятнадцати. Журка его узнал: это он сегодня утром спрашивал про Капрала.

Когда вот так сразу загораживают дорогу, это не к добру. Журка попятился и рывком оглянулся. Но сзади стояли двое: один — длиннорукий, с яйцевидной головой, покрытой рыжеватым пухом; другой — чуть постарше Журки, тоненький, темноволосый, с мокрыми красными губами и маслянистыми глазами.

Журка сразу узнал их по рассказам ребят. Это были наверняка Череп и Шкалик. А тот, что с велосипедом, — Студент.

Шкалик хихикнул и сказал:

— Поговорить надо.

Журка ощутил, как разливается по всем жилкам противный холодный страх. Никуда не сбежишь, и на улице, как назло, никого. Только у соседних ворот возятся с трехколесным велосипедом две девчонки-дошкольницы.

Журка переглотнул страх, сделал равнодушное лицо, независимо поддал коленкой сумку. Сказал Шкалику:

— Ну, говори...

— Не здесь, — объяснил Студент. — Давай к нам в гости зайдем. Это недалеко...

— Вот еще, — хмуро сказал Журка. — Если надо, здесь говорите.

— Здесь неудобно. Пойдем...

— Да не хочу я! — ощетинился Журка.

Шкалик опять хихикнул:

— Тебя разве спрашивают, хочешь ты или нет? Череп...

Череп дотянулся до Журки длинной лапой, цепко ухватил повыше локтя.

— Пусти! — тонко крикнул Журка.

— Стоп...

Это сказал незаметно подошедший высокий паренек — стройненький, смуглый, симпатичный. С тонкой полоской усиков над красивыми улыбчивыми губами. Он двумя пальцами взял руку Черепа и отцепил ее от Журки.

— Капрал, а он не идет, — обиженно сказал Шкалик.

— Пшел вон, болван, — мягким голосом отозвался Кап-

рал. — Не умеете поговорить с человеком. — Он улыбнулся Журке и объяснил: — Воспитываю, воспитываю, а результат нулевой. Ты уж их извини, обормотов.

Шкалик опять захихикал, осекся под взглядом Капрала и стал смотреть в небо. Череп шумно засопел. Студент лениво заметил:

— Поговорить-то все же надо...

— Правильно, — согласился Капрал. — Только поджентльменски. Без обезьяньих ухваток, как у Черепа. — Он ласково взглянул на Журку и предложил: — Может, все же зайдем, побеседуем? А? Есть один вопрос.

— Мне домой надо скорее, — торопливо сказал Журка. — Ждут меня...

— Это же недолго. Минут пять — весь разговор. Да ты не бойся, никто тебя не обидит, даю слово.

После этого отказываться было нельзя. Вернее, можно, только это была бы уже полная трусость. Да и какой смысл? Все равно не убежишь. К тому же Капрал, кажется, не обманывал: бить не будут.

Журка пожал плечом:

— Ну пошли...

В гараже пахло старым железом, бензином и сырой штукатуркой. Тяжелая половинка ворот закрылась, под потолком загорелась жидким светом лампочка. Студент поставил к стене велосипед и боком пристроился на его седле. Череп, будто краб, вскарабкался на верстак. Там сидели еще двое парней — класса из восьмого-девятого. Что-то медленно жевали. А Шкалик... Шкалик остановился перед Журкой. Его масленые глаза сузились и стали злыми, как у змеи.

Журка понял, что попался.

Он оглянулся на выход. Тяжелое железо ворот не раздвинуть с размаха, поймают. Капрала не было, он отстал по дороге.

Шкалик облизнул губы и спросил с прищептыванием:

— Это ты, гадюка, заложил нас Горькиному папаше?

«Вот дурак я, — тоскливо подумал Журка. — Чего меня сюда понесло?» Что ответить, он не знал, да Шкалик и не ждал ответа. Жесткой ладошкой он коротко ударил Журку по уху. В ухе зазвенело. Журка понял, что это лишь начало, и сжался, закрылся поднятой сумкой.

И в этот миг рванулся в гараж солнечный свет: рас-

пахнулась прорезанная в воротах дверца. В дверцу прыгнул Капрал и с тихой яростью спросил:

— Вы что, сявки? Жить надоело?

Шкалика отнесло от Журки на пять метров. Журка, глотая слезы, сказал Капралу:

— А еще слово давал...

Капрал мягко положил руку на Журкино плечо. Попросил:

— Ты извини.

Потом повернулся к Шкалику, проговорил тихо:

— А ну, иди сюда, мой хороший...

— Ну че... — хныкнул Шкалик и пошел слабыми шажками.

— Иди, иди...

Когда Шкалик приблизился, Капрал двумя пальцами поднял за подбородок его лицо и сказал Журке:

— Лупи.

— Еще чего... — насупленно отозвался Журка. Бояться он перестал, но ударить беззащитного, закрывшего глаза Шкалика по сморщенному лицу было невозможно. Противно. И вообще нельзя это...

Журка сказал:

— Неохота руки пачкать.

— Ну и правильно, — заметил Капрал. И окликнул:

— Череп!

Тот опустил с верстака громадные ботинки. Капрал кивнул на Шкалика и сказал:

— Три.

На верстаке негромко загоготали.

— Ну че... — опять хныкнул Шкалик и опасливо оглянулся на Черепа. Тот косолапо шагнул к нему, вывел на середину гаража, слегка пригнул. Шкалик третий раз сказал:

— Ну че...

Череп тяжелым своим башмаком дал ему пинок. Шкалик не то побежал, не то полетел в дальний угол и головой врезался в кучу рухляди. Он копошился там, пока не услышал нетерпеливый голос Капрала:

— Живей...

Тогда он выбрался и побрел на середину. Капрал поднял растопыренные рогулькой пальцы:

— Еще два.

— Не надо! — с отвращением и отчаянием сказал Журка. — Ну, зачем вы...

— Не надо так не надо, — покладисто проговорил Капрал. — Шкалик, морда, проси прощенья у гостя... Ну!

— Я больше не буду, — поспешно пробормотал Шкалик.

— А теперь брысь подальше, — велел Капрал, и Шкалик опять убрался в угол.

— Стул, — сказал Капрал.

Студент придвинул Журке расшатанный грязный стул. Журка машинально сел. Шкалик обиженно проговорил издалека:

— А че... Он нас заложил, а мы с ним целоваться должны?

— Правильно заложил, — спокойно откликнулся Капрал. — А с чего ему было молчать? Может, он нам клятву давал? Или мы его друзья? Он своего товарища выручить хотел. Вам бы, кретинам, поучиться этому...

— Ты небось разревелся и домой, — сказал Журка Шкалику. — А его отец знаешь как излупил бы за воровство.

— Вот именно, — подтвердил Капрал и сел рядом с Журкой на подвинутый Студентом табурет. — Только ты в одном не прав, Юрик... Юриком тебя зовут? Видишь, все про тебя знаем... В одном ты не прав: не за воровство.

— А за что? — удивился Журка.

— За то, что попался, — печально сказал Капрал. — Одни воруют ловко, а другие — как Горька. Вот дураковто и бьют. А умные живут и посмеиваются... «Се ля ви», как говорят интеллигентные французы. Что, непонятно?

— Непонятно, — признался Журка. — Про воровство непонятно.

— А ты погляди вокруг. Часто в магазинах бывают дубленки? Раз в год по обещанию одна штука. А люди в дубленках на каждом шагу. Можно купить хорошую книгу? Фиг. А познакомься с директором магазина, вон с его мамашей... — Капрал кивнул в сторону парня на верстаке, — сунь ей подарок, и будет тебе «Королева Марго»... А вот он... — Капрал показал на другого парня, пухлого и веселого. — Думаешь, почему он такой откормленный? Мама работает в столовой. Скажешь, она в магазине покупает мясо?

— От многого немножко — не воровство, а дележка, — хмыкнул сын столовской работницы.

— Воровство, — сказал Капрал. — Просто оно разное... Вот у Студента его высокообразованный папа на чем погорел? Тихо-мирно брал взяточки у поступающих в инсти-

тут. А один раз взял да промахнулся — не сумел протащить оболтуса через приемную комиссию. У того родители расшумелись, дошло до прокуратуры... И пойдет теперь наш Студентик не на папин факультет, а в ПТУ...

— Шиш вам, — отозвался с велосипеда Студент. — Папочка к тому сроку вернется. Да и связи кой-какие остались.

— Видал? — усмехнулся Капрал. — На завод ему неохота... Хотя на заводе что? Другие люди, что ли? Сколько добра тащат через проходную! Сколько дач да гаражей построено за казенный счет!.. А тут несчастный Горька Валохин со своей бутылкой... Преступник!.. Знаешь, кто его поймал? Некая гражданка Гулявина, которая в свое время отсидела два года за кражу ткани с текстильного комбината.

— Тебя послушать, так все на свете воры, — ошарашенно сказал Журка.

— Не воры, — объяснил Капрал. — Понимаешь, тут разница теряется между вором и обыкновенным человеком. Вот была у меня в школе классная руководительница. Все про нее: «Ах, какая замечательная, какой показательный класс!» К каждому празднику родительский комитет драл с нас по трояку на подарок. То ей вазу хрустальную, то подписку на Тургенева... А если кто трояка не дал... нет, ругать не будут, только оценочки уже не те. Вот и разберись: подарок или взятка? Воровство или нет?.. И кругом так, Юрик.

— Нет. Не кругом, — тихо и упрямо сказал Журка.

— Не кругом? Ладно... У тебя отец кто?

— Шофер...

— Да? — почему-то удивился Капрал. — Ну, тем лучше. Он что, никогда не халтурил? Никому дрова и мебель не возил, пассажиров не подсаживал?

«А правда...» — вдруг подумал Журка. Но тут же сказал:

— Он на тяжелых грузовиках работал, все больше на самосвалах. Какие там пассажиры да мебель? Он на стройках...

— Ну, ладно. А домой приезжал на своей машине?

— Ну и что?

— А то. Расход казенного горючего для личных целей.

— У него премии за экономию горючего были, — ответил Журка. — Так что ничего он зря не расходовал.

— Ты мне нравишься, — серьезно сказал Капрал. — Ты идеалист. Знаешь, кто такие идеалисты?

— Приблизительно, — ответил Журка. Он вспомнил, что идеалистом отец как-то называл деда. — Ну и что?

— Ничего. Хорошо. Рад, что познакомились... Ты заходи как-нибудь потолковать. Приятно, когда у собеседника ясная душа.

Журка выжидательно молчал.

— Ну, будь, — сказал Капрал и поднялся. Протянул руку. Журка встал и нерешительно подал свою. Вообще-то по законам чести и рыцарства давать руку Капралу не следовало. Он был явный жулик, хотя и симпатичный. Но Журка дал. Не потому что испугался. Просто постеснялся обидеть Капрала.

Глядя под ноги, Журка сказал:

— До свиданья.

Шагая к дому, Журка размышлял: зачем все-таки Капралу нужен был этот разговор? И что он вообще за человек? Просто «шеф» хулиганской компании? А для чего ему это? Ребята говорили, что он учится в монтажном техникуме, причем неплохо. Играет в каком-то ансамбле. Матери во всем помогает. И вдруг какой-то Череп-рядом, какой-то Шкалик — явная шпана...

Журка подошел к воротам. Ворота были старинные — из железной узорчатой решетки. Они со скрипом поворачивались на шарнирах, вделанных в кирпичные столбы. Журка задумчиво прокатился на половинке ворот (шарниры завизжали), соскочил и увидел Горьку. Он с беззаботным видом шагал через двор.

— Эй, Горька! — обрадовался Журка.

Тот подбежал, выжидательно заулыбался.

— Ну... как? — со стесненьем спросил Журка. — Обошлось?

Горька слегка поморщился.

— Сперва ничего... А потом все же распсиховался и врезал. Но не очень, просто сгоряча. Да и на работу торопился.

Журка вздохнул, будто был виноват.

— Ничего. Теперь пронесло, — успокоил Горька. И сказал откровенно и с удивлением: — Ох и дуб же я был тогда... Ну чего меня дернуло связываться с Капралом? Будто мозги набок...

— А я к нему сейчас в плен попался, — сообщил Журка.

— Как?!

Журка, нервно посмеиваясь, рассказал. А потом добавил:

— Все же непонятный он какой-то. Вроде и не злой...

— Ты ему не верь, — отозвался Горька. — Это он мозги тебе пудрит. Хочет в свою компанию завербовать. Нарочно все подстроил, Шкалика побил за тебя...

— Да зачем я ему нужен?

— Как зачем? — удивился Горька. — Пополняет ряды. Ему тоже смелые люди нужны.

— Какой же я смелый... — растерянно сказал Журка.

— Со стороны виднее.

— Да ну тебя, — поморщился от неловкости Журка. И, подумав, предложил: — Пойдем ко мне... Только у меня Брандукова... Иринка.

— Ну и что? Пойдем, — охотно сказал Горька.

Иринка в Журкиной комнате вальсировала с Федотом — держала его за лапы и кружила. Федот не сопротивлялся. Увидев Горьку, Иринка не удивилась. Она сказала:

— А, Валохин, привет... Какой ты загорелый! Тоже пойдешь в Исторический сквер?

Горьке было все равно, куда идти. Лишь бы с Журкой.

— Пойдет, пойдет, — сказал Журка.

И они пошли.

Стоял безветренный день августа, в солнечном воздухе плыли невесомые пушистые семена. Над большими белыми корпусами в конце квартала подымалось похожее на светлую гору облако. Оно уже начинало розоветь по-вечернему. Тревоги и заботы длинного дня постепенно отступали. Иринка шла между Журкой и Горькой, рассказывала про соседского дрессированного пуделя Мишку и смеялась, показывая похожие на пилу зубы.

«Хорошо, что мы сюда приехали, — подумал Журка. — И хорошо, что еще три недели каникул».

Часть вторая

# Крушение

## Сентябрьские дни

Первая неделя сентября выдалась дождливая и ветреная. Словно осень хотела напомнить школьникам: побегали, побездельничали — и хватит. Но скоро природа смилостивилась и вернула лето. Теперь оно называлось «бабье лето». Пришли ясные, тихие дни — с неподвижными листьями, присыпанными золотистой пылью, со стеклянными паутинками в прозрачном воздухе.

Вера Вячеславовна раздумала заклеивать на зиму окна и каждый день распахивала настежь створки. В теплом воздухе был запах увядающих деревьев, натертого шинами асфальта, политых из шланга цветочных гряд. Ласковое это тепло было непрочным, но все-таки еще летним. По-летнему галдели воробьи, по-летнему шумела малышня на площадке недалекого детского сада, и Журавленок прибегал тоже летний, веселый, загорелый, такой же, как в первый день, когда появился у Брандуковых. Все в той же рубашке с черной ленточкой над карманом.

Надевать эту рубашку просил Игорь Дмитриевич. Он писал с Журки и с Иринки портрет. Вернее, картину. Называлась она «Качели». Но это пока. Может быть, потом у нее будет название «Друзья» или просто «Лето». Не в этом дело. Дело в том, что картина получалась. Вера Вячеславовна видела, что, когда Игорь берется за эту работу, он забывает обо всем, кроме радости. Забывает о ссоре с начальством в отделении Союза художников, о персональной выставке, которую то назначают, то опять откладывают, о шумном приятеле Иннокентии Заволжском, который мнит себя знаменитостью, а думает больше о веселых компаниях и ресторане.

Впрочем, Иннокентию что? Он давно уже член Союза художников, у него своя мастерская, три полотна в местной галерее, выставка чуть не каждый год... А Игорю — работать и работать.

И он работал. С такой ясностью в душе, с такой хорошей улыбкой, с какой до этого писал, пожалуй, только «Путь в неведомое». Еще в начале августа он сделал первые этюды: пошел как-то с Иринкой и Журкой прогуляться в соседний сквер, увидел, как они забрались на качели, и вдруг воскликнул: «Братцы, не уходите отсюда! Я сейчас!» И помчался за этюдником...

В августе он работал прямо в сквере, уговаривал Иринку и Журку позировать ему хотя бы полчасика в день. И они соглашались. Правда, потом Иринка призналась, что Журка очень стеснялся любопытных зрителей, да и она тоже.

А сейчас Игорь писал в своей комнате — в те дневные часы, когда сентябрьское солнце врывалось в распахнутое окно. В комнате соорудили перекладину, подвесили самодельные качели — доску на толстых веревках. Иринка садилась на нее, Журка вскакивал, Игорь торопливо брался за кисть. И было хорошо — никаких зрителей, кроме Веры Вячеславовны. Но Вера Вячеславовна видела, что ее не стесняются нисколечко...

Холст был высотой больше метра, шириной сантиметров семьдесят. На нем среди солнечной зелени, за которой виднелись крыши и антенны, спокойно висели качели. Иринка в белом платьице с синими горошинами сидела, свесив с доски ноги, улыбалась и смотрела вверх — на Журку. Журка стоял, ухватившись за веревку, тянулся вверх и показывал куда-то в небо: то ли на веселых птиц, то ли на самолет. Но смотрел не в высоту, а на Иринку, словно спрашивал: «Видишь? Здорово, да?» В золотистом

свете, тоненький, легкий, на прямых напружиненных ногах, он сам был как лучик, отраженный осколком зеркала с земли в небо.

И в Иринке и в Журке была беззаботность и в то же время какая-то беззащитность. И, глядя на картину, Вера Вячеславовна каждый раз со щемящей нежностью и тревогой вспоминала голубую жилку, которую, кажется, можно перебить даже травинкой...

На первый взгляд картина была готова. Но Игорь продолжал работать, трогая бликами листья, солнечными точками — ребячьи волосы, зеленым сумраком — тени в кустах. Тонко выписал сухой стебелек, застрявший под погончиком Журкиной рубашки, и крылатое семечко клена, упавшее Иринке на платье.

Один раз Вера Вячеславовна робко намекнула, что, может быть, стоит уже оставить картину. А то можно «зализать» и «пересушить». Однако Игорь нетерпеливо мотнул головой и с осторожной ласковостью спросил у Журки:

— Завтра заглянешь, Журавлик? А то скоро солнце будет уже не то...

Вера Вячеславовна думала, что Игорю просто жаль расставаться с этой работой. Но может быть, он был и прав, когда говорил, что картина не закончена. Художнику виднее. Никому из посторонних Игорь полотно не показывал, даже Иннокентия решительно прогнал с порога своей комнаты.

— Ну-ну, значит, шедевр создаешь, — обиженно басил тот. — Хочешь поразить ценителей очередным взлетом... Верю и одобряю. А только отдых тоже необходим для творческой личности. Зашел бы ко мне, посмотрел бы мои работы, я не таюсь. Обсудили бы кое-что, посидели...

— Иди, иди, Кеша, — шепотом сказала Вера Вячеславовна, потому что с улицы на третий этаж донеслось знакомые щелканье кроссовок по асфальту: это опять мчался к Брандуковым Журка.

Вера Вячеславовна видела, что ни Журку, ни Иринку не утомляют эти «сеансы живописи». Игорь не заставлял ребят замирать в нужных позах, не ворчал, когда они баловались и раскачивали доску. Он работал быстро, легко схватывая мгновенные движения света и красок.

У Веры Вячеславовны был отпуск. Радуясь, что он выпал на эти славные дни, она садилась в углу мастерской, смотрела, как работает муж, и слушала, о чем болтают

ребята. А иногда сама расспрашивала о школьных делах. Спросила однажды, нравится ли Журке школа:

— Да ничего, нравится, — отозвался Журка, покачивая доску. — Такая же, как у нас в Картинске. — Он вдруг засмеялся: — Так же дежурные голосят у дверей: «Где сменная обувь?» И так же столовой пахнет на первом этаже. Будто и не уезжал со старого места.

— По-моему, у вас очень славная классная руководительница, — осторожно заметила Вера Вячеславовна.

— Всякая, — со вздохом проговорила Иринка.

Журка сказал:

— Иногда покрикивает, а так ничего... Зато знаете, что хорошо? Что мы в одном классе. Иринка, я да еще ребята с нашего двора: Саня Лавенков, Митька Бурин, Горька Валохин... Тот, что заходил недавно.

Вера Вячеславовна кивнула. Она помнила мальчика, у которого были коричневые с медным отливом волосы и непонятный взгляд из-под этих волос: настороженный и немного виноватый. Мальчик побыл недолго, обедать отказался и ушел, объяснив, что дома «куча дел». На пороге он обернулся и спросил у Журки:

— Я вечером зайду к тебе, ладно?

— Конечно! — откликнулся Журка.

И тогда мальчик улыбнулся. Улыбка была непохожа на его взгляд — короткая, но доверчивая.

— Вы что, по вечерам вместе уроки делаете? — чуть-чуть ревниво спросила Иринка, когда мальчик ушел. Журка сказал беззаботно:

— Нет, я их еще днем успеваю сделать. Задают-то, сама знаешь, всего ничего...

Задавали и правда пока немного. Журка делал уроки буквально за полчаса, а вечером зарывался в дедушкины книги. Одни из них были интересные, и Журка читал их подряд. Некоторые казались скучноватыми, но Журка все равно перелистывал их: разглядывал старинные пометки на полях, иллюстрации, виньетки, читал отдельные страницы. И знал, что когда-нибудь и эти книги прочитает всерьез. А пока они радовали его даже непрочитанные. Они были как загадочные гости из далеких времен. В каждой из них таилась неспокойная и громадная жизнь. Даже в таких непонятных, как, например, «Сочинение об описи морских берегов Г. Мекензия». «Сочинение» было издано при Морском кадетском корпусе в 1836 году. Книга эта,

наверно, побывала в экспедициях на парусных фрегатах, которые искали незнакомые берега. А может быть, ее читали знаменитые адмиралы — Нахимов, Невельской, Беллинсгаузен, Литке?

Журка открывал наугад страницы, и там среди сухих наставленний и схем попадались слова, которые пахнут джунглями и соленым прибоем:

«Если и не принять в уважение недостаток самого барометра... то при всем том способ измерения при помощи сего инструмента не может удобно употреблен быть в таковых путешествиях, поелику в неизвестных, мало населенных и большей частию еще диких странах едва только можно найти тропинку на ровном месте, а тем паче еще обрести через утесы и леса дорогу на вершину никогда не посещенной горы...»

«Когда опись берега, залива, гавани или реки или значительная часть оной окончена, тогда находи расстояния и величину всех скал, песчаных банок и отмелей, по близости от оного лежащих; заметь какие-нибудь береговые знаки, по которым можно было бы отыскивать места таковых опасностей и при плавании миновать оные...»

Листаешь желтую шероховатую бумагу — и будто сам идешь на валкой шлюпке у полосы прибоя, и пена летит через борт, хлещет по высоким ботфортам, и соленые капельки оседают на выпуклом стекле медной подзорной трубы. А за бурунами — берег незнакомой страны с непроглядной чащей дикого леса. Что там, в этой чаще? Развалины древних городов? Неизвестные звери и птицы? Отравленные стрелы осторожного африканского племени?..

О мальчишке из такого племени Журка читал несколько вечеров подряд. Книга была небольшого размера, но пухлая. В потрескавшихся кожаных корках. Рядом с титульным листом — портрет молодого негра в камзоле. Негр был похож на арапа Петра Первого — Ганнибала (Журка видел его портрет в журнале со статьей про Пушкина). Название книги было таким длинным, что заняло целый лист: «Жизнь Олаудаха Экиано, или Густава Вазы Африканского, родившегося в 1745 году, им самим написанная; Содержащая Историю его воспитания между Африканскими народами; похищение; невольничество; мучения, претерпенные им в Вест-Индийских Плантациях; приключения, случившиеся с ним в разных частях света...» И так далее. Журка даже не дочитал название до конца, потому что какой смысл? В нем пересказывается все содержание. Лучше уж читать саму книжку.

История Олаудаха Экиано оказалась интересной, читалась легко, потому что старинные буквы были большими, как в букваре, а ко всяким «ятям», «фитам» и твердым знакам чуть не в каждом слове Журка давно привык и не обращал на них внимания...

Мальчишку из дикого племени похитили и продали в рабство другому, более сильному африканскому народу, а потом европейцам. Много пришлось вынести ему горя. Капитан, которого Олаудах считал своим другом и покровителем, предал его: снова продал в рабство, в самое страшное — американским плантаторам.

Всякие беды испытал Олаудах Экиано, прозванный европейцами Густавом Вазой. Побывал в плаваниях и морских битвах, хлебнул всяких приключений, прежде чем добился свободы. Да и что это была за свобода! Несколько раз его снова пытались превратить в раба — потому что черный. Морское дело он знал не хуже капитанов, но сделаться капитаном так и не смог, стал цирюльником. Но это было не главное его занятие. Главное — он старался помочь рабам. Правда, он не призывал к восстанию, он верил, что его поймет и спасет невольников английская королева и «добрые» английские лорды. Но что делать, это был восемнадцатый век. Сейчас-то любому пятикласснику ясно, что глупо надеяться на королев и сенаторов, а тогда еще надеялись даже взрослые, серьезные люди.

Конец книжки был невеселый. Негры, которым Олаудах помог вернуться на корабле в Африку, погибли от голода и дождей на пустынных берегах Сьерры-Леоны. Тогда Олаудах написал королеве письмо с просьбой обратить милостивый взор на страдания невольников. Смешной надеждой на эту милость и заканчивалась книга. Но не это в ней было основное. Главное — приключения Олаудаха и как он добивался свободы, чтобы помочь другим неграм. И еще — ненависть к рабству, которая так и рвалась из старинных и вроде бы медлительных фраз...

Даже непонятно, как напечатали такую книжку в России в 1794 году, при царице Екатерине Второй. Мама рассказывала, что в это же время в России жил писатель Радищев, который выпустил книжку против крепостного права, и его заковали в кандалы и сослали в Сибирь. А «Жизнь Олаудаха Экиано» — это ведь тоже против угнетения. Или царица считала, что лишь бы не задевали рабство в своей стране, а про заграницу пускай печатаются, все равно никто не поймет? Ну и балда, значит, она была. Рабы везде рабы, а свобода везде свобода...

Журка долго разговаривал про это с мамой, и она с ним согласилась. Но потом сказала:

— Совсем ты в этих старых книгах утонул. Почитал бы что-нибудь другое...

— Угу, — покладисто отозвался Журка. Но по-прежнему сидел каждый вечер с дедушкиными книгами.

Зато «другие» книги охотно читали Журкины приятели. Еще в самом начале знакомства Егор сказал Журке:

— Твой дед нам всегда книжки давал, мы к нему будто в библиотеку ходили. А сейчас как?

— И сейчас так же, — твердо ответил Журка. А дома передал этот разговор маме и папе. Мама сказала, что, конечно, пусть ребята приходят, надо только завести тетрадку и записывать, кто какие книги взял, чтобы не было путаницы. Папа хмыкнул и заметил, что теперь «прощай книжечки». Но возражать не стал.

К тому же в начале сентября папа уехал. Только успел поступить на работу, и его сразу послали в колхоз на уборку урожая.

Ребята на тетрадку не обиделись. Сказали, что Юрий Григорьевич тоже записывал читателей, только не в тетради, а прямо на обоях (теперь этих записей не было, недавно стены оклеили заново).

Чаще всех приходил Егор Гладков. Он не то что другие — читал не только Дюма и Стивенсона. Он брал стихи Блока и Маяковского, романы Алексея Толстого и Шолохова. И вообще Егор был взрослее, чем показался Журке при первом знакомстве. Учился он уже в восьмом классе.

Над осторожной Горькиной дружбой с Журкой Егор больше не посмеивался. Видно, понял, что не его это дело.

Горька приходил обычно по вечерам. Иногда через дверь, иногда через окно (застегнув широкий страховочный пояс). Он был не очень разговорчив и почти не мешал Журке возиться с книгами. Тоже брал какую-нибудь книжку — обычно с картинками — и листал в уголке, изредка поглядывая из-под волос на Журку.

В такие вечера было спокойно и тихо. Шелестели страницы, да в соседней комнате уютно стучала пишущая машинка. Мама недавно стала работать в машбюро областной редакции и кое-какие материалы брала для перепечатки домой...

Один раз Горька попросился переночевать. Сказал, что отец на работе, а к маме приехала сестра из деревни и они полночи будут вести разговоры о родственниках, спать не

дадут. Горьке поставили раскладушку рядом с Журкиной тахтой. Горька вытянулся под одеялом, помолчал, закрыв глаза, и вдруг проговорил с усмешкой:

— Как в старые времена.

— В какие? — не понял Журка.

— Как при Юрии Григорьевиче... Только он всегда садился на подоконник и курил. У самой форточки, чтобы дым в нее шел.

Журке показалось, что в Горькиных словах есть какой-то глубоко спрятанный упрек, и он сказал со сдержанной досадой:

— Ну, уж тут я ничем помочь не могу. Сам знаешь, курить не научился.

— И не надо. Ты и без этого хорош, — ответил Горька так серьезно, что Журка смутился. Потянул с полки второй том «Путешествия на шлюпе «Камчатка» капитана Головнина (Санкт-Петербург, при Морской типографии, 1819 год)» и сердито раскрыл наугад.

А Горьке на этот раз, кажется, хотелось поговорить. Он спросил:

— Ты к политинформации подготовился?

— А чего к ней готовиться? — откликнулся Журка. — Газеты посмотрел. Все равно ничего нового. В Африке воюют, в Южной Америке воюют, в Италии вокзалы взрывают, в Ирландии по демонстрациям стреляют. Израиль опять лезет на всех и бомбит... Даже тошно. Телевизор смотришь — там тоже: бах, бах! Иногда думаешь: взрослые люди, а чем занимаются. Будто на земле другого дела нет, как друг друга стрелять и резать.

— Люди всегда воевали. Еще с древних времен, — сказал Горька наставительно.

— Ну, вот именно. И до сих пор не поумнели... Когда один человек умирает, и то сколько горя. А тут сразу — трах, трах! — целые тысячи. Или даже миллионы...

— А если война справедливая! Если на тебя нападают!

— Вот я и говорю про тех, кто нападает. Чего им надо? Психи какие-то... Если «Синие молнии» и «Тигры» воюют, это ладно, потому что понарошке. Для интереса... Да и то, когда тебя расстреливать повели, ты вон как заметался. А если по правде?

— Чего ты такие разговоры сегодня завел? — недовольно сказал Горька.

— А ты сам спросил про политинформацию... Тебе хорошо, готовиться не надо. А я уже третий раз. И зачем только Маргарита меня политинформатором назначила...

— Потому что рассказываешь интересно.

— А я больше не буду интересно... Надо по очереди, а она все на меня. Пионерское поручение! Если по правилам, то классный руководитель не имеет права пионерские поручения давать, он ведь не вожатый. Нам это еще в третьем классе объясняли.

Горька сказал с коротким зевком:

— С Маргаритой мы еще хлебнем.

— Ну уж хлебнем, — возразил Журка. — Она ничего. Как все учителя... Вот Виктор Борисович — тот в самом деле вредный. Как заорет...

Журка даже поежился, вспомнив завуча Виктора Борисовича — сухого, с аккуратным пробором и маленьким ртом, съеженным, как высохшая розочка.

— Витенька просто псих, — сказал Горька. — Маргарита хуже.

— Почему?

— Сам увидишь.

— Ты на нее злишься, что не дала нам на одну парту сесть, — проницательно заметил Журка.

— Ну и злюсь... Ты-то, конечно, не злишься. Тебе с Иркой в самый раз.

— Я же не виноват, что у Маргариты такое правило: мальчик с девочкой, — недовольно сказал Журка.

— Дурацкое правило. Как в первом классе... Да еще в каждом кабинете проверяет; все ли на своих местах... Да ладно, мне и с Людкой Синявиной неплохо. Не ябедничает, если подеремся, и списывать дает... А Ирка тебе не надоедает?

— Как это? — удивился Журка.

— Ну как... Полдня за одной партой, да потом ты еще дома у нее торчишь...

— Я не торчу, а делом занят, — хмуро сказал Журка. — Ты же видел, ее папа картину пишет.

— Да уж видел, — вздохнул Горька. — Когда кончит, на выставку пошлет. Небось премию получит. Кучу денег...

— Балда ты, — огрызнулся Журка. — Он о деньгах и не думает. Если хочешь знать, ему за «Путь в неведомое» восемьсот рублей предлагали. А он все равно не продал, хотя дома ни рубля денег не было. Мне Иринка рассказывала...

— Он что, святой такой? Или решил, что мало дали?

Журка оторвался от «Путешествия на «Камчатке», вздохнул и медленно спросил:

— Слушай, ну почему ты про всех всегда говоришь плохое?

Горька помолчал, будто испугался. Потом сказал, то ли дурачась, то ли по правде:

— Да вот так уж... Наверно, потому что про меня никто хорошее не говорит.

«А может, в самом деле?» — растерянно подумал Журка. И пожалел Горьку. И решил сказать ему что-нибудь хорошее. Но Горька продолжал говорить сам:

— А картина мне здорово понравилась. Вы там на ней такие...

— Какие?

— Ну... в общем, видно, как вам хорошо друг с другом...

Журка усмехнулся:

— Ты еще подразнись: «Жених и невеста».

— Что я, совсем дурак? — сказал Горька и натянул до носа одеяло.

«Обиделся», — с тревогой подумал Журка.

Но Горька не обиделся. Он не мог обижаться на Журку. Он был привязан к Журке гораздо сильнее, чем это можно было заметить со стороны. Своей привязанности он стеснялся не только перед другими, но даже перед собой. Конечно, разве он был достоин Журкиной дружбы? Журка был умнее, храбрее, честнее. Горька завидовал той смелой ясности, с какой Журка смотрел на людей. Ему, Горьке, никогда не сделаться таким. Хорошо хотя бы то, что Журка не отталкивает его...

Недавно в старом «Огоньке» Горька наткнулся на цветной портрет мальчишки и вздрогнул. Потом прочитал: «Художник Тропинин. Портрет сына». В сыне художника не было явного сходства с Журкой, но в повороте головы, во взгляде Горька почувствовал что-то очень знакомое. Он вырезал портрет и приколол кнопками в своем уголке над расписанием уроков.

Повесить Журкину фотографию он не решился бы. А так что? Просто картинка.

...Горька откинул одеяло, прошлепал к Журке и сел на краешек тахты.

— Что читаешь?

Журка молча показал титульный лист.

— Интересно? — спросил Горька.

— Ага...

— А почитай вслух.

— Я ведь не по порядку, просто листаю. Тут всякие штурманские наблюдения...

— Ну, все равно.

Горьке в самом деле было все равно. Просто хорошо, если они будут сидеть вместе и Журка для него, для Горьки, станет читать свою мудреную книгу. Хоть про что...

— Давай, — охотно сказал Журка.

Они устроились рядышком, привалились к спинке тахты, укрылись одним одеялом, и Журка перевернул страницу.

— «...Двадцать второго числа в полдень, по наблюдениям, место наше было в широте четыре градуса двадцать шесть минут сорок восемь секунд, в долготе сто пятьдесят градусов ноль ноль минут восемнадцать секунд; тогда до захождения солнца дул ровный ветер, а потом стал затихать, и по горизонту сделалось очень облачно; к северу мы видели один раз блеснувшую молнию, а в одиннадцатом часу ночи показался весьма необыкновенный метеор; я сам наверху тогда не был, но вахтенные офицеры сделали ему следующее описание: «В половине одиннадцатого часа к норд-норд-осту приметили большой светлый шар, опускающийся к горизонту, который был виден секунд пять, потом исчез, разлив свет по всему небу в северо-восточной стороне...»

— Интересно, что это было? — задумчиво сказал Горька. — Они пишут, что метеор, но ведь такие метеоры не бывают — большой светлый шар...

— Они тогда еще не слыхали про НЛО, про неопознанные летающие объекты, — отозвался Журка.

— А правда, вдруг это что-то... такое? Вдруг космический корабль?

— А почему не сел?

— Поглядели, наверно, в телескопы, увидели, что люди не доросли до ихнего разума, и полетели мимо...

— В прошлом-то веке как раз ничего, — сказал Журка. — Тогда вóйны были не очень сильные, из космоса незаметны. А если сейчас прилетят, сразу скажут: «Во, ненормальные, собственную цивилизацию гробят. Айда, ребята, отсюда...»

Мама перестала стучать на машинке и приоткрыла дверь.

— Молодые люди, вам известно, сколько времени? А завтра у вас в восемь утра политинформация.

— Есть, товарищ капитан. Отбой, — сказал Журка.

Но минут пятнадцать они с Горькой еще шептались в темноте о тайнах вселенной и космических пришельцах. А в развилке тополя за окном светилась какая-то яркая планета, наверно, Юпитер.

## Встреча

Школа стояла в Крутом переулке между улицами Парковой и Мира. До Иркиного дома и до Журкиного от школы было три с половиной квартала. Только Иринке в одну сторону, а Журке в другую.

В школу Журка шел с Горькой, с Митькой Буриным и братьями Лавенковыми, Иринка — со Светой Гарановой и Димой Телегиным. А из школы Иринка и Журка выходили вместе. Шли по Крутому переулку до троллейбусной остановки. Была у Иринки причуда: из школы домой добираться только на троллейбусе. Тут и пешком-то пять минут, но Иринка говорила с капризной ноткой:

— Я так с первого класса привыкла. Трудно тебе, что ли, проводить?

Журке было нетрудно. К тому же он знал, что у человека могут быть всякие свои привычки и приметы. Например, сам он, шагая по асфальту, старался не наступать на трещины. А если встречался на улице очень большой пес, надо было тихонько свистнуть и посмотреть на него через колечко, сложенное из пальцев. Чтобы не было какой-нибудь неприятности. Конечно, Журка понимал, что все это ерунда. Но может быть, не совсем ерунда. Может быть, это осталось в крови от далеких предков, которые ходили в шкурах по скалам и ледникам и старались приручить диких животных. Тогда каждая трещинка могла оказаться опасной, а зверя нужно было заранее остановить взглядом. И почему теперь не вспомнить старый обычай, если это нужно для спокойствия души?

Может, и у Иринки есть какая-то примета, и троллейбус ей необходим для хорошего настроения...

Никакой приметы насчет троллейбуса у Иринки не было. Просто ей нравилось идти с Журкой. Хотя бы до остановки. В троллейбусе Иринка прилипала носом к заднему стеклу и смотрела, как Журка машет ей портфелем, а потом убегает, прыгая через черные трещины на желтом от солнца асфальте.

Она знала, что Журка сейчас прибежит домой, кинет в угол портфель, торопливо переоденется, проглотит оставленный мамой обед, покормит Федота и тут же опять помчится к ней, к Иринке. Потому что папа хочет закончить картину, пока сентябрь дарит последние летние деньки.

Через дверь Журка выходить не станет, а вылетит из квартиры через окно — на веревке с поясом. Мамы у него дома нет, и никто не будет вздыхать и говорить о глупом риске. Журка перелетит на тополь, съедет по стволу на землю, за несколько минут промчится из конца в конец Парковой улицы — и вот он. Стоит в дверях, весело морщит переносицу.

— Здрасте! Быстро я, да?

— Ну, молодчина! — обрадуется папа. — Давайте начнем. Я тут и без вас кое-что сделал, а теперь — вместе...

Вместе — это хорошо. Казалось бы, что интересного сидеть целый час на подвешенной доске? А на самом деле — весело. Потому что сидишь и о чем угодно разговариваешь. Разные истории рассказываешь. Папа — о том, как смотрел в детстве трофейные фильмы про пиратов и дикаря Тарзана. Иринка — про то, как брат Виктор учил ее стрелять из лука и возил на велосипеде в лес (и как они там один раз надолго заблудились). Журка — про «витязей», про то, как в раннем детстве сочинял стихи и как был канатоходцем в цирке, который ребята устроили у них во дворе, в Картинске (два дня голова гудела, думали, что сотрясение). Он так весело всегда рассказывал! Переносицу сморщит и сам над собой посмеивается...

Но если даже все молчали, все равно было хорошо. Просто потому, что тут Журка... Иногда, застеснявшись таких мыслей, Иринка говорила капризно:

— Папа, ты нас совсем замучил! Эта доска мне уже в кошмарах снится.

— Ришка, не кокетничай, — добродушно отзывался папа.

Она вскакивала.

— Кто кокетничает? Не могу я больше. Все!

— Ну, началось. Характер показываем, — спокойно говорил папа. — Журка, ты устал?

— Ничуточки. И она тоже... Просто у нее сегодня пфыкательное настроение.

— Какое, какое?! — взвивалась Иринка.

А папа говорил с удовольствием:

— «Пфыкательное!» Прекрасный термин.

Иринка пфыкала и садилась на доску, надув губы. А Журка смеялся. Тогда она тоже начинала смеяться, но сперва говорила Журке:

— Двое на одну! Эх ты, а еще витязь...

В субботу, когда шли к остановке, Журка вдруг замолчал на полуслове. Остановился. Иринка даже испугалась: он с непонятным лицом смотрел куда-то в сторону. Потом бросил у ее ног свой портфель и закричал:

— Лидия Сергеевна!

И побежал за женщиной, которая сошла с троллейбуса.

Та обернулась.

А Журка мчался к ней, раскинув руки, будто хотел обнять с разбега. Так бегут к маме, которая вернулась домой из долгой поездки. Правда, он все же не стал обнимать, в последний момент затормозил, остановился перед женщиной, сказал с радостным придыханием:

— Лидия Сергеевна... Правда вы...

Она обрадовалась так же сильно:

— Журавин! Юрик!.. Надо же! Откуда ты здесь, Журавлик?

— Я переехал... недавно... А вы?

— А я еще в прошлом году. Сразу, как с вами попрощалась. Мужа перевели, вот и я... Теперь я опять студентка.

— Как студентка?

— Очень просто. Я же педучилище кончила, а сейчас учусь в институте. А то ведь что получалось! Три года проучила вас, а потом отбирают, потому что после училища можно работать только в начальной школе... А я больше так не хочу. Пускай с первого класса по десятый... Ох, Журавлик ты мой, как я рада тебя видеть!

Она притянула его за плечи, прижала к себе. И он, кажется, чуть не замурлыкал от удовольствия. В самом деле!

Иринка, подобрав Журкин портфель, подошла и теперь стояла в трех шагах. Журка наконец оглянулся на нее.

— Лидия Сергеевна! Это Иринка! Моя... мой товарищ. Мы на одной парте... Иринка, это Лидия Сергеевна. Ты знаешь, я рассказывал.

— Я догадалась. Здравствуйте, — сказала Иринка, стараясь не очень показывать досаду. А досада была оттого, что Журка так стремительно забыл про все на свете (и

про нее, про Иринку), бросил портфель, кинулся, как сумасшедший. И еще оттого, что Лидия Сергеевна была совсем не такой, какой представляла ее Иринка. Невысокая, даже низенькая, толстоватая, с несовременной прической — какие-то рыжеватые кудряшки. И нос картошкой.

— Пойдемте ко мне в гости, — тут же предложила Лидия Сергеевна. — Я недалеко живу, на улице Кирова.

Иринка бросила на Журку быстрый взгляд. Он, кажется, понял. Сказал огорченно:

— Ой, сейчас нельзя, Лидия Сергеевна, у нас дело важное. Но я обязательно! Скоро!..

«Я», — опять ревниво подумала Иринка. И отвернулась.

Журка, все еще светясь от радости, записал адрес, и они распрощались.

Стали ждать троллейбуса. Иринка молчала. Журка наконец спросил:

— Ты чего надутая?

— Я? — сказала она. — Ничуть... Просто я испугалась: ты так сорвался куда-то...

— Но это же Лидия Сергеевна...

— Да поняла я, поняла... Только я удивилась.

— Почему?

— Ну... — Иринка замялась, но удержаться не смогла: — Я думала, что она красавица, а она...

— Что «она»? — слегка насторожился Журка.

— Да ничего. Но... обыкновенная.

Журка не обиделся.

— Не все ли равно, красавица или нет, — сказал он задумчиво, будто что-то хорошее вспомнил. — Тут даже глупо так говорить...

— Почему же глупо? Для женщины внешность — это очень важно.

Журка подумал и серьезно разъяснил:

— Ты ведь про свою маму не думаешь, красавица она или нет. Просто она есть, вот и все...

— Сравнил! Мама у каждого одна, а учителей вон сколько.

— Лидия Сергеевна тоже одна, — отозвался Журка. — Ты просто не понимаешь...

Иринка хотела сказать, что где уж ей понимать такие сложности, но Журка перебил:

— Вон «шестерка» идет... Ну, пока. Через час я приду.

Будто ничего не случилось...

...Журка не понял, отчего Иринка надулась, и не очень на это обратил внимание. Он слишком радовался встрече с Лидией Сергеевной. В самом прекрасном настроении он прибежал домой и с таким же настроением через час отправился к Иринке.

Она встретила его внизу, у подъезда. Глядя мимо Журки, хмуро сказала:

— Не получится сегодня работа...

Журка наконец сообразил:

— Слушай! Ты на меня разозлись, что ли? За что? Ничего я не понимаю!

Иринка посмотрела виновато, почти со слезами.

— Разве в этом дело? У папы неприятности...

— А что случилось?

— Да... все то же... — горько сказала Иринка, и Журка вдруг подумал, что ее голос очень похож на голос Веры Вячеславовны. — Опять у него с выставкой... Совсем уже назначили, а теперь переносят на будущий год... Ну, он расстроился. Сидит, ругает киношников. Если уж он начал про киношников, значит, не до работы ему. Как бы опять сердце не заболело. Зимой и так целый месяц в больнице лежал...

— А что за киношники? — скованно спросил Журка.

— Так он их называет... двух своих врагов. Он говорит, что они свои картины с экрана срисовывают.

— Прямо в кино? — удивился Журка.

— Нет. Возьмут киножурнал, где строители или сталевары показаны, выберут подходящий кадр — и у себя в мастерской на экран через фильмоскоп. А потом обводят, раскрашивают. Раз, два — и готова картина «Герои пятилетки»! Можно хоть во всю стену...

— Разве так бывает? — недоверчиво сказал Журка.

— Значит, бывает... Папа горячий, несдержанный, но он никогда не обманывает. И всегда говорит, что думает. Как с размаха... Мама его за это сколько раз ругала...

Журка подавленно молчал. Как он мог помочь Иринке и ее отцу? И кто тут может помочь?

Журка и раньше знал, что бывают дома у Иринки грустные дни. Но у кого их не бывает? К тому же слышал об этом он лишь намеками и не очень тревожился.

При Журке Игорь Дмитриевич всегда был веселый, бодрый, готовый к работе. И не верилось, что когда-то он бывает не таким.

Журке Иринкин папа очень нравился. Стройный, похожий на дирижера, который вот-вот взмахнет палочкой и

начнет озорную музыку. Он и кистью взмахивал, как дирижерской палочкой. У него были длинные пальцы и узкие загорелые запястья. И была в этих тонких руках большая сила. Однажды Игорь Дмитриевич взметнул в воздух Журку, чтобы поставить на качели, и Журка зажмурился от неожиданного ощущения: показалось, что его подхватили руки деда.

— Ты что, испугался, птаха?

— Не-е... — сказал Журка. Засмеялся и открыл глаза. Игорь Дмитриевич тоже засмеялся. Волосы у него были с густой сединой, а лицо совсем не старое. Оно было красивым и могло бы показаться строгим, если бы не рот. Большой улыбчивый рот был словно вырезан из какого-то веселого портрета и не очень точно, чуть наискосок, приклеен на лицо Игоря Дмитриевича. Это был рот доброго мальчишки. Впрочем, не только мальчишки. Потому что у Иринки были такие же губы и такая же улыбка (если, конечно, Иринка не дулась).

А сейчас Иринкин рот был грустно сжат, и сама она стояла поникшая.

— Он же очень хороший художник! — искренне сказал Журка.

— Хороший, конечно... А в Союз художников который год не принимают. Он там у них на собрании одного начальника прямо при всех киношником обозвал. Ну вот, с тех пор...

— И выставку из-за этого отменили?

— Я не знаю... Видишь, какое дело, он ведь работает в художественных мастерских, там ему заказ дали — какие-то планшеты для завода рисовать. А он увлекся нашей картиной, заказ вовремя не сдал... Главное, что на заводе-то ничего, согласились подождать, а директор мастерских расшумелся. В выставком пожаловался... А при чем здесь выставка? Это же разные вещи — заказ и картины! Просто у него там друзья...

— У кого? — машинально спросил Журка.

— Да у директора. В выставкоме. Вот они опять и сделали папе гадость...

— А у Игоря Дмитриевича разве нет друзей? Чтобы заступились за него? — сочувственно спросил Журка.

Иринка как-то по-старушечьи махнула рукой. И сказала с сердитой откровенностью:

— А... «друзья». Когда праздник или день рожденья, они тут как тут. А если помочь надо, с начальством ссориться не хотят. Разве это настоящие друзья?

Журка грустно усмехнулся:

— А от тех, кто настоящие, тоже никакого проку...

— Где они, настоящие-то? — тихо и печально отозвалась Иринка.

Так же тихо и очень серьезно Журка сказал:

— А я?

Они помолчали. Журка вдруг застеснялся, Иринка, видимо, тоже смутилась. Потом она тряхнула волосами и попросила с хмурой виноватостью:

— Ты уж на меня не сердись...

— За что? — удивился Журка.

— Да за это... Сегодня на остановке...

— Я так ничего и не понял, — искренне сказал Журка.

— Ну и молодец, что не понял. А я дура...

— Да ладно тебе... Пойдем к нам! Мама пирог с яблоками печет.

Иринка покачала головой:

— Нет. Мама сейчас папе капель даст и в постель уложит, а он всегда просит: «Ришка, посиди со мной рядышком». Я уж пойду, посижу...

Журка брел от Иринки, пинал перед собой пустую коробку от сигарет «Космос» и думал про Игоря Дмитриевича. И про Иринку: какая она сегодня хмурая и по-взрослому озабоченная.

По правде говоря, в Иринкином разговоре о всех этих выставкомах, заказах и отцовских врагах Журке почудилось что-то ненатуральное. Будто она повторяла не свои слова. Но тут же он подумал: «Ну и повторяла. А что такого? Слышала, как отец рассказывает, а потом со мной поделилась...» Иринкина тревога об отце была настоящая и большая, Журка это чувствовал и сам теперь тревожился. Он знал точно, что Игорь Дмитриевич хороший и добрый. Ведь недаром же, когда смотришь на «Путь в неведомое», даже горло начинает щекотать от волнения. Знал он и то, что еще в прошлом году Игорю Дмитриевичу сказали все в том же непонятном выставкоме: «Написано недурно, однако сюжет у вас какой-то странный. Любители живописи ждут от художников, что они отразят современность, а у вас какой-то Грин или Жюль Верн...»

Олухи, честное слово!..

Только бы Игорь Дмитриевич не расстроился слишком сильно и не заболел. А то больше не будет хороших минут

и веселых разговоров в солнечной комнате с качелями. Ведь лето совсем-совсем скоро кончится...

И словно в доказательство близкой осени пахнул из-за угла холодный ветер. Неожиданный и резкий. Угнал в канаву сигаретную коробку, хлестнул по ногам колючей пылью и мусором, запорошил глаза. Серая тучка набежала на солнце.

Журка моментально озяб. Но назло ветру и назло всем печальным мыслям решил, что домой не пойдет, а, раз уж есть свободное время, забежит сейчас к Лидии Сергеевне. Потому что улица Кирова в двух кварталах.

Эта мысль улучшила Журкино настроение. Он подумал, что у Игоря Дмитриевича, может быть, скоро все наладится, зашагал быстрее, согрелся на ходу и к дому Лидии Сергеевны подошел совсем весело.

Дом был новый, девятиэтажный.

Лидия Сергеевна стояла на площадке второго этажа. Держала свернутый половик и выбивалку.

— Ой, Журка!.. А почему ты сверху бежишь?

— Я прокатился на лифте до девятого этажа, — радостно признался Журка. — А там меня прогнала из кабины какая-то старуха... Жалко ей, что ли? Я на лифте всего третий раз в жизни ехал.

— Какой ты молодчина, что пришел!

— А вы ковер чистить пошли? Давайте я выколочу!

— Я уже. Пойдем к нам...

В прихожей их встретил круглощекий большеглазый пацаненок лет четырех. Лохматый и серьезный.

— Ой, это Максимка? — удивился Журка. — Здравствуй, Максим. Какая ты громадина...

— Здравствуй, — ответствовал Максим, задрав голову. — Ты тоже гхомадина. Ты кто?

— Это Юрик Журавин, он к нам в прошлом году приходил, — объяснила Лидия Сергеевна. — Но ты не помнишь...

— Не помню, — согласился Максим. — Я тогда был маленький, а их много было. Целая пхохва.

— Что за выражения, — сказала Максимкина мама, а Журка засмеялся:

— Ты такой большой, а почему букву «р» не научился говорить?

— Стахаюсь, — сообщил Максим.

— Он не старается, он лентяй, — сказала Лидия Сер-

геевна, подтолкнула Максимку к двери, и все вошли в комнату.

У окна сидел и копался в транзисторном магнитофоне Валерий Михайлович, муж Лидии Сергеевны. Это был очень серьезный, даже угрюмый человек. Вернее, таким его считали те, кто плохо знал. Но витязи-то его знали хорошо. Он всех их перекатал на своих широких плечах, каждому сделал покрытый серебряной краской меч, многих мальчишек научил мастерить из бумажных листов самолеты хитрой конструкции (потом ему за это попало от Лидии Сергеевны, потому что самолеты часто взлетали из-под парт во время урока).

Валерий Михайлович был авиационный техник. В Картинске он работал на местном аэродромчике, а сейчас, наверно, в большом аэропорту. А может быть, и в другом месте. Он разбирался не только в самолетных моторах, а, кажется, во всем на свете. Все, что хочешь, мог смастерить и починить: и деревянный самострел с хитрым спуском, и цветной телевизор...

Работал Валерий Михайлович всегда молча. Он считал, что чем больше человек шевелит языком, тем хуже работает руками. Но не всегда он был молчаливый. Например, в походе у костра он целый час рассказывал сказку про маленького робота по имени Трикола́ (три кола — значит, три единицы, номер сто одиннадцать)...

Лидия Сергеевна поставила Журку перед собой и весело сказала:

— Валерий, смотри, кто пришел. Помнишь Журавленка?

Валерий Михайлович поднял голову, глянул из-под насупленных бровей, вдавил большой палец в ямку на подбородке (такая была у него привычка) и сказал, подумав:

— Я всех помню. Я эту пичугу для Доски почета снимал.

— А вот и перепутал! — засмеялась Лидия Сергеевна. — Для Доски ты снимал его друга Рому Светлякова да еще трех девочек...

Она так просто, легко вспомнила о Ромке. Без всякой печали. Ну и правильно, так и надо. Пусть будет, будто Ромка живой...

— А меня вы тоже фотографировали, — сказал Журка. — Для стенгазеты.

— Совершенно верно! — обрадовалась Лидия Серге-

евна. — У тебя там еще стихи были! Про Новый год. Как же там? А, вот...

«Ой, не надо», — подумал Журка и слегка покраснел. Но Лидия Сергеевна уже декламировала:

Вот и Новый год пришел,
Всем нам стало хорошо.
Пусть нам вьюга лица лижет,
Лето все же стало ближе...

— Видишь, я запомнила... А сейчас пишешь стихи?

— Нет, что вы! — испугался Журка. — Это я нечаянно тогда сочинил. А с тех пор почти и не пробовал.

Валерий Михайлович встал. Шагнул к Журке.

— Эту газету я тоже помню... Ну, здравствуй. Теперь здесь живешь?

Он протянул Журке громадную пятерню. Журка положил в нее свою ладонь и сказал:

— Мы недавно переехали.

— Ну и молодец. А то Лида у меня тут совсем извелась без ребят.

— Не сочиняй. Мне хватает Максима и тебя. Оба неслухи...

— Женский гнет, — сказал Валерий Михайлович и вернулся к подоконнику.

Лидия Сергеевна усадила Журку, развернула складной стол, сказала, что утром приезжала ее мама, привезла всякого варенья и сейчас они будут пить чай.

— Ты какое варенье любишь, Журка?

— Всякое, — подал голос Максим, который уже приволок ящик с «констхуктохом» и агитировал Журку строить самолет.

— Я, между прочим, спрашиваю не тебя, а Журку...

Журка посмотрел на Максима, улыбнулся и сказал:

— Всякое...

— Заговорщики!

Пока Журка и Максим свинчивали из дырчатых пластмассовых полосок «кхылья», на столе появились вазочки, блюдца и разной величины фаянсовые чашки.

— Журка, помнишь эту? Вы с Ромой всегда из таких пили, из больших, чтобы лишний раз не наливать. Их две было, а потом одна разбилась. Так жаль...

Журка внутренне вздрогнул. Но не сказал ничего, подошел к столу, взял в ладони тяжелую чашку с синим кораблем и надписью: «Путешествие Магеллана». Покачал тихонько...

— Устраивайся ближе к варенью, Журка... Эй, мужчины, садитесь!

Они пили чай со «всяким» вареньем и вспоминали свой третий «В». Вспоминали прием в пионеры и последний поход.

— Хороший был поход, — вздохнула Лидия Сергеевна и улыбнулась Журке глазами: «Ничего, все равно хороший». Она думала, что он до сих пор страдает из-за той истории. Журка сморщил переносицу и спросил:

— Вы никому не говорили?

— Что ты! Никому-никому...

— Смотрите-ка, тайны у них, — заметил Валерий Михайлович.

— Да, представь себе...

— Теперь уже не тайна, — сказал Журка, набравшись смелости. Теперь можно рассказать. Потому что я себе за то дело знаете как отомстил...

И он, качая от смущения ногами и пряча нос в кружку, поведал про экспедицию на кладбище и про Федота.

Лидия Сергеевна смешно поежилась:

— Ой-ей-ей. Я бы померла от страха. Какой ты отчаянный...

— «Отчаянный», — усмехнулся Журка. — Просто выхода не было. Я подумал: «Что скажу Ромке, когда приедет?»

Чашка грела Журке ладони фаянсовыми боками. Он опять покачал ее и тихо сказал:

— У меня с трещинкой была, а эта без трещинки. Ромкина... Лидия Сергеевна, у вас есть Ромкина фотокарточка? Я давно не видел его..

— Есть, конечно. У меня все ваши есть, я сейчас достану... А у тебя разве нет?

— У меня только общая, где весь класс. Ромка там боком стоит, лицо плохо видно.

— Можно найти хороший негатив и напечатать портрет. У Валерия все фотопленки хранятся... Только снимки-то давно делались, сейчас он подрос, наверно, как и ты. Написал бы ты ему: пусть свежую фотокарточку пришлет... Что с тобой, Журка?

А что? С ним ничего. Осторожно поставил чашку, даже не плеснул на скатерть...

Она ничего не знала. Она уехала из Картинска почти сразу после того похода, и потом никто не написал и не

сказал ей о Ромкиной гибели... И сейчас давнее Журкино горе, к которому он привык, для нее оказалось новым и неожиданным.

Наверно, ей хотелось заплакать, но она только сжала губы и минуту или две молча сидела и водила по клеенке блестящей ложечкой. Потом сказала в нависшей тишине:

— Ромка, Ромка... Вот ведь судьба какая... За что людям такое горе?

«Молнии, — хмуро подумал Журка. — Разве они спрашивают?» И тихо объяснил:

— Там поперек дороги проехал самосвал, а из кузова песок сыпался. Получилась такая горка на асфальте, как бархан. Они на нем взлетели, будто на трамплине, перевернулись — и в столб... в бетонный...

Валерий Михайлович вдруг встал из-за стола.

— Лидуша, ты в ванную пока не ходи... Максим, пойдем, ты мне поможешь.

Лидия Сергеевна и Журка остались вдвоем. Чаю больше не хотелось. Они сели рядышком на тахте, стали говорить о другом, не о Ромке. Лидия Сергеевна расспрашивала про маму и папу, про здешнюю школу. Журка охотно рассказывал и привинчивал хвостовое оперение к недостроенному Максимкиному самолету. Но разговор был без прежней веселости. Будто печальный Ромка сидел здесь же, в уголке, и слушал...

Через полчаса появились Валерий Михайлович и Максимка. Валерий Михайлович положил Журке на колени большую, с четверть газетного листа, фотографию. Она была только что отпечатанная, горячая от глянцевателя.

Веселый Ромка смотрел со снимка мимо Журки, куда-то вдаль и немного вверх. Будто следил за улетающей птицей. Но казалось, что он сейчас шевельнет глазами, встретится взглядом с Журкой — зрачки в зрачки.

Потому что он был совсем живой. Чудилось, что губы его все сильнее растягиваются в улыбку, а раскиданные ветром легкие волосы шевелятся.

Снимок был сделан не для Доски почета, а гораздо позже. Ромка уже в пионерском галстуке, а за плечами у него видны ветки с молоденькими листьями.

— Это когда в пионеры принимали? — спросил Журка.

— Да, — сказала Лидия Сергеевна. — Валерий хотел каждому сделать портрет на память, да не успел проявить и напечатать. Жили-то мы, помнишь, в каком доме? Ни крана с водой, ни уголка, чтобы увеличитель пристроить...

Ромка улыбался — такой знакомый: со старым шрами-

ком над левой бровью, с постоянной трещинкой на верхней губе (он всегда ее трогал языком), с темным квадратиком пустоты на месте выпавшего зуба...

— Вы даже не знаете, какое громадное спасибо, — шепотом сказал Журка.

На улице Журку опять ударил осенний ветер. Серые быстрые облака то и дело закрывали солнце. Сорванные с тополей листья горизонтально летели навстречу и подсохшими краями чиркали по Журкиному лицу. Царапающий холод забрался под вздувшуюся рубашку... Однако Журка не пошел сразу домой. Он заскочил по дороге в книжный магазинчик. Там в застекленной витрине среди брошюр и атласов были выставлены эстампы — оттиски рисунков и гравюр в тонких металлических рамках. На каждом ярлычок с ценой.

В застегнутом кармашке с черной ленточкой у Журки лежали три рубля. Он давно их носил с собой: все надеялся найти в магазинах акварельные краски «Нева». А сейчас купил эстамп «Березки». Березки как березки — еще голые, апрельские, над мокрой полянкой под бледно-голубым небом. Все это Журку не интересовало. Ему нужна была рамка со стеклом.

Дома Журка отогнул зажимы на жестяных угольничках и вставил Ромкину фотографию. Она подошла почти точно, только сбоку пришлось чуть-чуть подрезать. Журка привязал к рамке шнурок от старых ботинок, вбил над постелью гвоздь, повесил снимок.

Отошел немного, посмотрел.

Получилось здорово. Красиво. Аккуратно так.

Только...

Только как-то не так. Слишком уж аккуратно. Как в музее. Стекло отгородило Ромку от Журки. От нынешнего дня. От жизни.

Журка испугался. Он торопливо разобрал рамку, выхватил снимок, двумя кнопками кое-как приколол к обоям.

И стало все как надо, честное слово! Фотография опять сделалась живой. Будто Ромка сам только что прибежал с улицы, размахивая этой карточкой:

— Хочешь, подарю?

И они вдвоем, дурачась и веселясь, пришпилили ее к стенке...

На тахту, длинно мурлыкнув, прыгнул Федот.

— Зачем пришел, усатый лентяй? — сказал Журка. —

Смотри, это Ромка... Если бы не он, я бы ни за что не пошел бы тогда на кладбище. И никто бы тебя, глупого, не спас. Так что имей в виду...

Федот зажмурился и зевнул.

Ромка смеялся, глядя вслед улетающей птице.

...А «Березки» Журка опять вставил под стекло и повесил в большой комнате. Пускай напоминают о весне, когда за окнами осень.

### Детективная история

За окнами набухало пасмурным светом октябрьское утро, но в классе еще горели лампы. Журка стоял у доски и рассказывал о негритянских волнениях в Алабаме. Он говорил о пожарах и стрельбе, но слушали не все. Кое-кто дремал, потому что недоспал, торопясь на политинформацию. Кое-кто украдкой, чтобы не увидела Маргарита Васильевна, готовил английский. Ну и ладно, они, по крайней мере, не мешали. А Толька Бердышев, вздрагивая пухлыми щеками, стрелял пшеном из стеклянной трубки. И, как нарочно, по тем, кто слушал.

— Кончал бы ты, Бердышев, — сказал наконец Журка.

Тот быстро убрал трубку. А Маргарита Васильевна, сидевшая на первой парте, обернулась:

— В чем дело, Бердышев?

— Ни в чем, — сказал Толька и захлопал белыми ресницами.

— Журавин, в чем дело?

Журка смешался. Получилось, что он наябедничал. Но Иринка бесстрашно сказала со своей парты:

— Он плюется, как верблюд! Сам не слушает и другим не дает...

— А чего тут слушать? Это по телику тыщу раз говорили.

— Да ты по телику только мультики да хоккей смотришь, — сказал Сашка Лавенков и запихнул в парту учебник английского.

— Нет, еще передачу «Для вас, малыши», — вставил Горька.

— Ну-ка, прекратите, — потребовала Маргарита Васильевна. — Журавин, продолжай... Он, кстати, очень интересно рассказывает, — добавила она и незаметно зевнула.

— Только пускай покороче, — тоже зевнув, попросил

Борька Сухоруков по кличке Грабля, человек из компании Капрала.

— Не нравится — топай из класса! — вдруг взвинтился Журка. Тебе вообще на все наплевать, кроме своей шкуры! Вот вогнали бы в тебя всю обойму, как в того мальчишку, тогда бы по-другому запел!

— В какого мальчишку? — удивленно спросил кто-то. Многие уже забыли, как Журка рассказывал, что волнения начались после гибели негритянского мальчика: его застрелил недалеко от школы полицейский.

— Слушать надо, — подала голос Лида Синявина, соседка Горьки.

— А мы слушали, — нахально сказал Бердышев.

— Ага! Особенно ты! — зло откликнулась Иринка. — Тебе про пули говорят, а ты пшеном пуляешь. Тебя самого бы туда, где стреляют, в Алабаму...

— За что его туда, бедного? — ухмыльнулся Грабля.

— За глупость, — сказал Сашка Лавенков.

Журка молчал. Оттого, что за него так быстро и решительно заступились, он заволновался, даже в глазах защипало. А Бердышев в самом деле дубина!

— Ничего ты не понимаешь, — сказал ему Журка. — Там же на самом деле дома горят, там людей убивают. Вот прямо сейчас, только на другой стороне Земли, вон там, под нами... — Журка ткнул пальцем в пол, и все тоже посмотрели вниз, будто сквозь громадную земную толщу могли увидеть отблески алабамских пожаров.

С Маргариты Васильевны сошло сонное спокойствие. Она поворачивала голову то к Журке, то к ребятам и, видимо, думала: вмешаться или пока не надо?

— Они там стреляют, а я, что ли, виноват? — обиженно проговорил Бердышев. — Я-то что могу сделать?

Кто-то засмеялся, а Журка сказал отчетливо:

— Ты хотя бы не плюйся, балда, когда о чужом горе говорят.

Наступила какая-то виноватая тишина. В этой тишине Маргарита Васильевна произнесла:

— «Балда» — это лишнее. А остальное все правильно. Продолжай, Журавин.

— Да я все сказал.

— Молодец... Есть у кого-нибудь вопросы к Юре Журавину?

Лида Синявина подняла руку.

— Только у меня не вопрос. Я добавить хочу... Рассказать.

— Очень хорошо...

— У меня дома такая книжечка есть, называется «Стихи негритянских детей Америки». Там такие стихи... Ну, может быть, не очень складные, но такие... отчаянные какие-то. Вот одна девочка написала... Можно, я прочитаю?

— Ты выйди к доске.

— Да нет, я здесь... — И она заговорила тихо и раздельно

Мир такой просторный для всех,
Большой и зеленый,
А нам некуда идти:
В эту сторону пойдешь —
Горе и боль,
В ту сторону пойдешь —
Черная чустота.
И мы бредем, бредем по самой кромке,
Куда же нам идти?
Нет никакого пути.
И крошится под ногами тропа,
Как лед — тонкий и ломкий...

— Молодец, Лида. Очень искренние стихи. Садись.

— Я еще... вот...

Мы дети,
Но в наших телах — тонких и черных —
Боль долгих веков,
Боль миллионов рабов,
Увезенных с потерянной родины,
Зачем, учитель, вы нам говорите
О нашей свободе,
Если на наших руках и ногах
Красными браслетами
До сих пор
Проступают следы кандалов?
Красные — на черном...

Лида помолчала и села.

Пока она читала, Журка вспомнил Олаудаха и теперь сказал притихшим ребятам:

— У меня книжка есть, очень старинная. Про приключения негритянского мальчика, про рабство. Он был предком вот этих ребят, о которых стихи. В этой книжке так же... такая же боль...

— А может быть, ты принесешь и мы почитаем? — предложила Маргарита Васильевна. — Это было бы очень интересно. Так сказать, перекличка эпох. Можно было бы включить в план пионерской работы.

— Я могу принести. Только ее трудно читать вслух, там

язык такой... несовременный. Она в позапрошлом веке напечатана.

— Надо же, какая старина! — удивилась Маргарита Васильевна. — А если ее всю не читать, а ты просто покажешь ее, а самые интересные места перескажешь своими словами? Можно устроить интересный сбор...

— Ладно, — сказал Журка.

На уроке английского Иринка и Журка тихонько шептались. Иринка предложила интересное дело: попросить отца, чтобы он нарисовал картинки про Олаудаха. Перед сбором их можно развесить в классе.

— Лучше я попрошу Валерия Михайловича их переснять и сделать слайды, — сказал Журка. — У него это здорово получается. Слайды можно на экране показать, будет почти кино.

— Тогда надо музыку подобрать подходящую...

— А Игорь Дмитриевич согласится сделать рисунки?

— Неужели нет? Ты сегодня же книжку принеси...

Когда Журка вернулся из школы, папа был дома: приехал на обед. Он две недели назад вернулся из колхоза и работал теперь на строительстве нового квартала совсем недалеко от Парковой улицы. Возил на своем КамАЗе кирпич и облицовочные плиты.

Сейчас папа на кухне разогревал суп, который они с Журкой сварили вчера вечером.

— Обедать будешь, Юрик?

— Нет, я в школе поел... Ты у мамы был?

— Заезжал на минутку. Нормально. В пятницу выпишут.

Журка вздохнул: до пятницы еще четыре дня.

Маму положили в больницу на обследование. Журка знал, что ничего опасного нет, просто проверка, но без мамы дома было скучно. Поэтому он каждый день до вечера сидел у Иринки, даже уроки там готовил. Он и сейчас решил, что возьмет книжку про Олаудаха и сразу побежит к Брандуковым.

Журка подошел к стеллажу, потянулся за книгой... и остановил руку. Что-то на полке было не так. Непривычно. Нет, «Олаудах» стоял на месте, но рядом... рядом не оказалось высокой книги с трещиной на желтом кожаном корешке — «Сочинения об описи морских берегов».

Журка знал на память все книжные корешки, твердо

помнил их порядок на полках. Еще вчера «Опись берегов» стояла рядом с «Олаудахом» с правой стороны. А сейчас там темнел переплет «Истории кораблекрушений».

Сначала с удивлением, потом с тревогой Журка обшарил глазами все полки. Заглянул в ящик стола и даже под тахту. Потом громко спросил:

— Папа, ты не брал книгу с моих полок?

Было слышно, как отец звякнул о тарелку ложкой, откашлялся и сказал:

— Я к твоим книгам и не подступаюсь. Себе дороже...

Куда она могла деваться? Чертовщина какая-то...

Журка с опаской пересмотрел на полках свои сокровища. Все было на месте. Кроме «Сочинения об описи морских берегов».

Вчера вечером он листал эту книжку, пока не пришел Горька. Потом поставил на место. С Горькой они поболтали, затем он сдул у Журки задачу по математике, которую сам решить не мог, взял с собой «Всадника без головы» (не с этих полок, а из большой комнаты) и побежал домой. Может, прихватил и «Опись берегов»?

Но зачем она Горьке? И почему без спросу?

Подумать про Горьку что-нибудь плохое Журка не мог. Даже стыдно делалось при такой мысли.

Но... фантастики ведь тоже не бывает.

Может, воры забрались, пока никого не было дома? Но тогда почему взяли только непонятную морскую книгу?

Журка побежал к Горьке. Домой заходить не стал (недолюбливал Горькиного папашу), а стукнул в окно. Горька тут же вышел.

— Слушай, — сказал Журка слишком беззаботным тоном, — у тебя какие мои книжки есть?

Горька удивился:

— Ты не помнишь, что ли? «Волшебник Изумрудного города», «Сын полка». Еще «Всадник без головы», я вчера взял...

Журка опустил глаза и спросил небрежно:

— А морских, старинных, случайно нет?

Горька удивился сильнее:

— Каких морских?

— Ну, тех с моих полок... — неловко сказал Журка. — Понимаешь, нету «Сочинения об описи берегов»... Вчера еще была, а сейчас нет...

Горька усмехнулся:

— Ну, ты даешь... Я в этих книгах что понимаю?

— Я подумал, что, может, случайно вместе с «Всадни-

ком» прихватил, — тихо сказал Журка и почувствовал, что краснеет. — Может, лежали рядом... ну и... вот так получилось...

Они на миг встретились глазами и моментально поняли друг друга.

«Я не хочу на тебя думать, — сказали Журкины глаза. — Но... тогда кто? Значит, поверить в нечистую силу?»

«Я знаю, что ты думаешь на меня, — ответил глазами Горька. — И как теперь быть?»

— Нет, я не брал, — тусклым голосом сказал Горька и ковырнул ботинком лепешку грязи на крыльце. — Ты отца спрашивал?

— Да он мои книги никогда не трогает... Ладно, пойду. Вечером заглянешь?

— Как получится... — неохотно сказал Горька.

— Ну... пока.

— Пока...

Когда Журка вернулся домой, отец уже уехал. На душе было противно, будто в чем-то очень виноват. А в чем? Ведь Журка ничего Горьке не сказал такого. Только спросил...

Журка еще раз обшарил полки. Потом сунул в портфель «Олаудаха» и в самом скверном настроении пошел к Иринке.

Иринка сразу спросила:

— Что случилось?

Журка рассказал. Сначала о пропаже, потом, краснея и злясь на себя, о разговоре с Горькой.

Иринка досадливо молчала.

— Теперь он, наверно, думает, что я... ну, будто думаю, что это он... — пробормотал Журка.

— Потому что ты и на самом деле так думаешь, — тихо сказала Иринка.

Журка замотал головой — будто отгонял мошкару. Потом проговорил с жалобным отчаянием:

— Я, наверно, не думаю... Но тогда кто?

— Вообще-то он мог, по-моему, — задумчиво сказала Иринка. Спокойно так. В этом спокойствии было что-то обидное. Журка опять рассердился — и на Иринку, и на себя:

— Почему ты так решила?

— Это ты решил... Ты, наверное, вспомнил ту историю с бутылкой...

— И не думал даже, — воскликнул Журка, и это была правда.

— Вообще у Горьки характер такой... — все так же задумчиво продолжала Иринка.

— Какой?

— Ну... изворотливый. То лишний компот в столовой прихватит, то чужую макулатуру на субботнике... Да ты не думай, я к нему все равно хорошо отношусь. Мне его почему-то жалко...

«Мне иногда тоже», — вдруг понял Журка.

А Иринка уверенно проговорила:

— Но у т е б я он ничего взять не мог.

— Почему? — пробормотал Журка. Не ради спора, а машинально.

— Ты для него лучший друг, — рассудительно произнесла она. — Т е б я он никогда не обманет.

В этих словах Журка почуял укор и сказал тихо, но отчаянно:

— Лучше бы этой книги никогда не было...

Они отдали Игорю Дмитриевичу «Олаудаха» — чтобы почитал и подумал насчет рисунков — и хмуро сели делать уроки. Уроков было задано целая куча.

Примеры у Журки не решались, английский рассказ не переводился, и он сердито скатывал задания у Иринки. Она вздыхала и не спорила. А Журка машинально водил ручкой в тетради и думал все о том же: о книжке и о Горьке. Главным образом о Горьке. О том, что теперь между ними будет тягостная неясность.

С этими грустными мыслями Журка вернулся домой. Папа смотрел хоккейный матч. Не отрываясь от экрана, сказал:

— Гуляешь все. Я тут совсем задубел в одиночестве. Скоро начну водку пить с тоски... Зеркало вон привез, а помочь разгрузить некому...

Журка мельком глянул на высокое новое зеркало, стоявшее между дверью и платяным шкафом. Потом подошел к отцу, нагнулся, положил подбородок на его плечо. Виновато объяснил:

— Знаешь, сколько назадавали. Мы с Иринкой три часа сидели. Вдвоем-то легче...

— Ну-ну... — вздохнул отец и, нагнувшись, придвинулся к экрану. Там суетливо бегали маленькие фигурки с клюшками.

— Дружок твой приходил, книжки какие-то принес...

Журка вздрогнул, кинулся в свою комнату.

Три книги лежали на столе. «Волшебник Изумрудного города», «Сын полка» и «Всадник без головы». «Всадника»

Горька ни за что не сумел бы прочитать со вчерашнего вечера. Значит, принес — будто сказал: «Вот все, что у меня было. Забирай, и ничего мне от тебя не надо...»

Ох и тошно стало Журке! Лучше всего было бы немедленно побежать к Горьке, вызвать на крыльцо и сказать:

«Не хотел я тебя обижать, просто получилось так подурацки! Ну, прости, Горька. Я ни секундочки не думал, что это ты!»

Но... если не он, тогда кто?

Когда человеку плохо, он порой забывает, что кому-то может быть еще хуже.

Хуже было Горьке. Он сразу понял, что его непрочной дружбе с Журкой пришел конец. Потому что какой бы он, Горька, ни был, а своя гордость у него есть. Не будет он ни оправдываться перед Журкой, ни объяснять, ни доказывать. И подходить к нему не будет. И разговаривать с ним... Хотя разговаривать можно, если по делу. Но больше никогда-никогда он не придет вечером к Журке.

Нет, он не сердился и даже не обижался на Журку. Не мог. Журка — это все равно Журка. И было только очень тоскливо, что дружить с ним больше нельзя. Журка-то, конечно, ничего больше не скажет, будет делать вид, что все как раньше. Но разве станешь набиваться в друзья, когда тебя считают вором!

С застывшими внутри слезами Горька собрал Журкины книги и понес ему, чтобы тихо, но твердо сказать:

— Вот все, что у меня было. Прощай, будь здоров.

Но Журки дома не оказалось, и Горька с тем же застывшим в горле комком спустился во двор и вышел на улицу. Было пасмурно и слякотно, липли к подошвам комки грязи и бурые листья. Горька шел мимо сырых заборов и думал о несправедливости: какой-то человек взял у Журки книгу, а он, Горька, потерял из-за этого самую большую радость — Журкину дружбу.

Кто же этот вор? И зачем ему книга? Скорее всего, ради денег... Значит, он ее постарается продать? А где? Не на толкучке же! Кому там нужно хитрое морское сочинение с цифрами и таблицами! Его может купить лишь какой-нибудь редкий любитель...

Горька знал, что в некоторых книжных магазинах покупают старые книги: если тебе книга не нужна, можешь прийти и сдать ее за деньги, и в том же магазине ее про-

дадут кому-нибудь другому. Об этом даже по радио объявляли.

И Горька, которого многие считали изворотливым и боязливым, поступил очень просто и смело. Он поехал в центральный книжный магазин, прошел по отделам, увидел среди продавщиц девушку помоложе и подобрее остальных, осторожно окликнул ее («Тетенька, товарищ продавец...») и сказал:

— Можно с вами посоветоваться? Помогите мне, пожалуйста...

Он объяснил, что у его товарища... то есть у одного знакомого мальчика украли старинную книгу. В какой магазин ее скорее всего понесут?

Продавщица оказалась доброй не только на вид. Она Горьку внимательно выслушала, расспросила, что за книга, позвала еще одну девушку, и они вдвоем решили, что пропажу надо искать в «Антикваре». Это специальный магазин для редких книг. У человека, который их сдает, спрашивают паспорт и все данные записывают в особый журнал. Поэтому нетрудно узнать, кто принес книгу на продажу...

Горька сказал «большое спасибо», вышел и задумался. «Антиквар» был далеко, на улице Герцена, у кинотеатра «Современник». Уже вечерело, и сеяла водяная пыль. К тому же Горька засомневался: едва ли книгу стащили из-за денег. Почему тогда с той же полки не взяли «Мушкетеров» или «Робинзона»? Ясно, что ехать в «Антиквар» незачем. Да и денег на билет не осталось, а связываться с контролерами — дело опасное. Хорошо, если просто вышибут из троллейбуса. А если потащат в детскую комнату? Может, пешком топать? Ну уж дудки!

И все же... Все же Горка натянул на голову капюшон курточки, запихал в карманы озябшие руки и с хмурым упрямством зашагал сквозь морось...

Магазин был небольшой, в полуподвале старинного дома. У входа стояли два больших тополя. Уютно светилось окошко. Продрогший Горька шагнул в этот свет и тепло, протерся между взрослыми покупателями к прилавку и зашарил глазами по застекленной горизонтальной витрине.

Он ни на что не надеялся. Просто хотел убедиться, что книги здесь нет.

Но книга была!

Она лежала в правом углу среди других пожелтевших и потрепанных книг. Раньше Горька видел ее лишь мель-

ком, но сейчас легко узнал помятый титульный лист с крупными, неровно отпечатанными буквами:

СОЧИНЕНІЕ
объ описи морскихъ береговъ
Г. Мекензія.

И не было никаких сомнений, потому что внизу рядом с надписью «1836 года» голубел оттиск знакомой самодельной печатки: «Из книг Ю. Г. Савельева»...

За прилавком стояла пожилая тетя неприступного вида. Не то что девушка в центральном магазине. Горька понял, что соваться сюда ему бесполезно.

Больше Горька не думал о троллейбусных контролерах. Он зайцем доехал до своей остановки и ворвался в дом.

— Папа! У тебя мотоцикл на ходу?

— Ну и что? — довольно весело спросил отец. — На рыбалку, что ли, предлагаешь смотаться? Вроде бы условия не те.

— Папа, у Журки кто-то книгу украл, а сейчас она в магазине «Антиквар» лежит! Надо посмотреть, кто ее сдал! Там у них записано...

— Ничего не понимаю. Ну-ка, отдышись.

Горька торопливо отдышался и все повторил.

— А я-то при чем? — сказал старшина Валохин.

— Ну, мне же не скажут! Прогонят, и все! Ты же знаешь, как с ребятами обращаются...

— Как заслужили, так и обращаются.

— Да я не про то... Папа, ну поедем! Тебе-то все скажут!

— Да с какой стати я должен ехать? — с раздражением сказал отец. — Я устал как собака. А у твоего Журки родители есть.

— У него мама в больнице...

— Отец-то дома.

— Он во вторую смену, — соврал Горька. Не хотел он объяснять, что идти к Журке не может. Вот если выяснить, кто виноват в краже, тогда другое дело. А сейчас получится, что прибежал оправдываться. И Горька сбивчиво проговорил:

— Его отец, он же... так просто. А ты милиционер. А там книга, ее украли...

— Милый мой, — зевнув, сказал старшина Валохин. — Кражи на земле случаются ежесекундно. По-твоему, я должен лезть в каждую дыру? Я занимаюсь кражами, когда приказывает начальство. Вчера, например, зани-

мался. А сейчас мое дежурство кончилось, могу отдохнуть... А тебе пора об уроках думать! Небось проболтался, опять ничего не сделал.

— Тебе только одно: уроки, уроки... — устало сказал Горька.

— Что-о? — изумленно протянул отец.

— То, что слышал, — проговорил Горька. — Будто я не человек, а машина какая-то для деланья уроков. Ничего другого от тебя не слышу... Даже на рыбалке про уроки долбишь...

Он увидел отцовский открытый от удивления рот, хмуро усмехнулся и пошел к двери. Ему было все равно. В дверях стояла испуганная мама.

— Стоп, — сказал в спину отец. — Ты что, рехнулся? Стой, говорю!

Горька оглянулся.

— Ты что?! — рявкнул отец. — Давно не получал?!

— А! Не пугай, — пренебрежительно сказал Горька.

Отец поморгал, потом поднялся со стула.

— Ох и осмелел ты, я смотрю. С чего бы это?

— А надоело бояться, — равнодушно объяснил Горька.

Слишком сильным было его горе, слишком большой тоска по Журке, слишком жгучей досада. Страха не осталось.

— Надоело, — повторил он. — В школу идешь — Маргариту боишься, да двоек, да замечаний, домой приходишь — тебя боишься. И днем боишься, и ночью... Почему другие живут и не боятся, а я должен?

— Другие живут, потому что ведут себя как люди...

— А я тоже человек... Это только ты со мной как... как с теми, кого на улице ловишь. И с мамой тоже! Орешь только на нее...

— Славик, не надо... — тихо сказала мама. Она иногда, в самые ласковые минуты, называла Горьку, Горислава, по-своему — Славик.

Горька подошел к ней, молча обхватил, приник лицом к теплому маминому платью. И услышал, как отец резко потребовал:

— А ну иди сюда.

— Не вздумай... — незнакомым ровным голосом проговорила мама. То ли отцу, то ли Горьке.

Горька всхлипнул и сказал:

— Да пускай. Мне привыкать, что ли...

— Не смей трогать ребенка, — тем же голосом сказала мама. — Если тронешь еще, к вашему подполковнику пойду. Понял?

Утром Журка ожидал, что Иринка спросит: «Ну как, не нашлась книга?» И он готов был насупленно ответить: «Где ее теперь найдешь?» Но Иринка ничего не спросила. Она была молчаливая, будто слегка обиженная. Но когда он спросил по привычке: «Чего надутая?», она встряхнулась и быстро сказала:

— Нет, все в порядке.

А с Горькой было не в порядке. В классе он и Журка сказали мимоходом друг другу: «Привет». Но это ничего не значило. Так можно поздороваться даже с врагом. На переменах Горька не подходил, на уроках на Журку ни разу не оглянулся. А подойти самому Журке было стыдно.

Мысли о Горьке, о книге, о том, что теперь делать, сидели в Журке, как заноза. До самого конца уроков. А когда уроки кончились, Иринка сказала:

— Теперь пойдем к нам.

— Мне сперва домой надо.

— Сначала к нам. Чтобы успеть в магазин до обеда. Твоя книга лежит в магазине «Антиквар».

— Откуда ты знаешь?!

Иринка знала от Горьки. Он вчера вечером пришел к ней и сообщил: «Скажи своему Журке, что книгу его кто-то загнал магазину...»

И потом сердито и коротко рассказал, как увидел пропажу.

— А почему он ко мне не пришел? — нервно спросил Журка.

— Объяснить? Или сам догадаешься?

Журка понял, что краснеет.

— А ты тоже... Не могла сразу сказать?

— Чтобы ты все уроки как на иголках сидел? Будто я тебя не знаю...

— А вдруг ее уже кто-то купил?

— Да ну, так сразу! Это же не «Граф Монте-Кристо».

— Надо скорее в магазин!

— Надо сначала к нам, за папой. Я договорилась, что он тоже пойдет. С нами с одними кто станет разговаривать?

Но и с Игорем Дмитриевичем сначала разговаривали

не очень любезно. Когда он попросил достать из-под стекла книгу, насупленная пожилая продавщица буркнула:

— Тридцать пять рублей.

— Меня интересует не цена, а книга, — сдержанно сказал Игорь Дмитриевич.

Продавщица нехотя полезла под стекло.

Журка осторожно и ласково, как вернувшегося домой голубя, взял книгу в ладони. Но теперь это была не его книга. Хотя вот и дедушкина печать, и знакомо каждое пятнышко на титульном листе, а все равно...

Кто же сделал эту книгу чужой?

Игорь Дмитриевич спросил у продавщицы:

— Можно поинтересоваться, от кого она попала к вам в магазин?

— Таких сведений покупателям не даем.

Игорь Дмитриевич посмотрел на Журку, на Иринку, потом опять на продавщицу. И сказал тихо, но слегка затвердевшим голосом:

— Придется дать. Если не сейчас, то чуть позже. Книга недавно исчезла из библиотеки этого мальчика.

Несколько покупателей с интересом прислушивались. Продавщица тяжело задышала, округлила глаза и, похоже, собралась выпалить в Игоря Дмитриевича заряд самых неприятных слов. Но, видимо, вспомнила, что она работает в книжном магазине, а не на рынке. Глотнула и громко позвала:

— Виолетта Ремовна!

«Вот это имечко!» — мельком подумал Журка.

Появилась Виолетта Ремовна — молодая дама с высокой прической бронзового цвета. В лице ее тоже ощущалась твердокаменность. Но все же Виолетта Ремовна была повоспитаннее продавщицы.

— Что произошло, Ида Николаевна? — осведомилась она.

— Вот у гражданина претензия, — обиженно сообщила продавщица и отвернулась к полкам.

Виолетта Ремовна сдержанно сказала Игорю Дмитриевичу:

— Я директор магазина. В чем дело?

— У меня не претензия, а вопрос. Хотелось бы знать: кто сдал вам эту книгу?

— Она ваша?

— Она моя. Моего дедушки, — взвинченно сказал Журка. — Вот печать.

— Тогда, возможно, дедушка и сдал.

— Дедушка у него умер, — сказала Иринка.

Кругом стояли любопытные. Виолетта Ремовна еле заметно поморщилась и предложила:

— Пройдем в кабинет.

Кабинет оказался комнатушкой с бетонным полом и зарешеченным оконцем. На полу зеленел, как листик, втертый подошвами фантик жевательной резинки «Весенняя». Прическа директорши при свете лампочки блестела, как медный колокол. В углу у столика щелкала счетами девушка в синем халатике. Костяшки стучали очень отчетливо. Журкино сердце тоже застучало. Неужели сейчас разгадается эта проклятая загадка?

Виолетта Ремовна громко сказала:

— Галя, дай, пожалуйста, книгу регистрации.

Девушка торопливо протянула книгу, похожую на классный журнал. Виолетта Ремовна взяла у Журки «Сочинение об описи берегов» и отошла к широкому письменному столу. Зашуршала там листами. Потом подняла голову и недовольно сказала Игорю Дмитриевичу:

— Вообще-то мы не обязаны давать сведения по первому требованию...

— Разве это военная тайна?

— Не тайна, а нарушение порядка... Впрочем, ладно. Вот пожалуйста. Номер триста тринадцать. Журавин Александр Евгеньевич. Улица Парковая, дом три, квартира одиннадцать... Вам знаком этот человек?

...Журка не видел, но почувствовал, что Иринка и ее отец смотрят на него досадливыми и жалеющими глазами. Им было неловко — за него и за себя. Сам он смотрел вниз. И видел свои забрызганные грязью ботинки, затертый подошвами пол, а на нем зеленый фантик.

«Зачем же это случилось?» — ахнула в нем полная отчаянья мысль. Ударила, как тугой взрыв, вышибла остальные мысли и начала повторяться с равномерностью плотных колокольных ударов: «Зачем?.. Зачем?.. Зачем?..»

Он мотнул головой, потому что заболело в ушах. И, запинаясь, сказал:

— Тогда... ладно. Извините... Тогда я пойду...

— Ну что? Больше нет претензий? — громко спросила заведующая и встала — башенной прической под низкий потолок. — Можно выкладывать книгу на продажу?

— Выкладывайте, — отозвался Игорь Дмитриевич. — Хотя подождите... Журка...

Но Журка уже не слышал. Он выскользнул из кабинета, проскочил через магазин и, поматывая головой, побрел по улице.

«Зачем?.. Зачем?.. Зачем?..»

Почему ударила эта беда? Почему именно в него, в Журку? Так нежданно-негаданно...

Молния. Тихая и страшная...

Он сейчас отдал бы все-все книги, только чтобы не было этого жуткого случая, этой записи в серой конторской книге.

«Журавин Александр Евгеньевич...» Значит, Капрал правду говорил: все воруют и все врут...

Нет, не все! Иринка и ее отец не такие! Как они смотрели на Журку — с таким стыдом и беспомощным сочувствием!..

А как он сам будет смотреть на отца?

И вместе со слезами поднялась у Журки к горлу едкая злость...

## Крушение

Дома Журка, не снимая грязных ботинок, прошел в свою комнату и бухнулся на диван. Лежал минут пятнадцать. Потом сжал зубы и заставил себя сесть за уроки. Открыл тетради и учебники. Даже начал писать упражнение по русскому. Но не смог. Лег на стол головой, охватил затылок и стал думать, что скажет отцу.

А может быть, ничего не говорить?

Нет, Журка знал, что не выдержит. Сколько горя накипело в душе за последние два часа. Жить дальше, будто ничего не случилось? Тут надо, чтобы нервы были как стальные ванты на клиперах... Да и зачем притворяться?..

Только надо сказать спокойно: «Я думал, ты мне всегда правду говоришь, а ты...»

Или сразу: «Эх ты! Значит, родному отцу верить нельзя, да?» Нет, тогда сразу сорвешься на слезы. Они и так у самого горла... А в общем-то не все ли равно? Исправить ничего уже нельзя...

Отец пришел, когда за окнами темнело. Открыл дверь своим ключом. Щелкнул в большой комнате выключателем. Громко спросил:

— Ты дома?

— Дома, — полушепотом отозвался Журка.

— А чего сидишь как мышь?

— Уроки учу...

— В темноте-то? В очкарики захотел?

Журка молча включил настольную лампу и стал ждать, когда отец войдет. Но тот не вошел. Шумно завозился, расшнуровывая ботинки и натягивая тапочки. Потом сказал:

— У мамы опять был. К субботе точно выпишут.

«Это хорошо», — подумал Журка. Но это никак не спасало от беды, и он промолчал.

Не дождавшись ответа, отец спросил:

— Из еды что имеется?

— То, что днем. На кухне...

Журка услышал, как отец загремел крышками кастрюль. Кажется, рассердился:

— Холодное же все! Разогреть не мог?

Журка поднялся. У него замерло в душе оттого, что близился неизбежный разговор. Холодно стало. Он дернул лопатками, коротко вздохнул и пошел к кухонной двери. Встал у косяка.

Отец зажигал газ.

— Я не успел разогреть, — отчетливо сказал Журка.

— Ты что же, сам-то ничего не ел? — с хмурым удивлением спросил отец. Поставил на горелку сковородку и начал крошить на ней холодную вареную картошку.

— Нет, — отозвался Журка. — Мне было некогда.

Не оборачиваясь, отец спросил с добродушной насмешкой:

— Чем же это ты был занят? Небось оставили после уроков двойку исправлять?

— Нет, — сказал Журка негромко, но с нажимом. — После уроков я был в том магазине... куда ты сдал книгу.

Равномерный стук ножа о сковородку на секунду прервался — и только. Застучав опять, отец небрежно спросил:

— В каком это магазине? Чего ты плетешь?

Но Журка уловил и сбой в стуке ножа, и неуверенность в отцовском голосе. На миг он пожалел отца. Но эта жалость тоже не могла ничего изменить. Журка помолчал и сказал устало:

— Не надо, папа. Там же фамилия записана в журнале...

Отец оставил в сковородке нож и повернулся. Выпрямился. Посмотрел на Журку — видно, что с усилием, — но через секунду сказал совсем легко, с усмешкой:

— Ну и что теперь?

Журка отвел глаза, шевельнул туда-сюда дверь и горько проговорил:

— А я не знаю... Сам не понимаю, что теперь делать.

И подумал: «Вот и весь разговор. А что толку?»

Но разговор был не весь. Отец вдруг шагнул на Журку:

— Ну-ка, пойдем! Пойдем-пойдем...

Журка, вздрогнув, отступил, и они оказались в большой комнате.

— Смотри! — отец показал на стоячее зеркало. — Оно было в магазине последнее! Я вытряхнул на него все до копейки! Нечем было заплатить грузчикам! Эти ребята поверили в долг до вечера... Где я должен был взять деньги?.. У тебя этих книг сотня, я выбрал самую ненужную, там одни чертежи да цифры! Ты же в ней все равно ни черта не смыслишь!

— Смыслю, — тихо отозвался Журка и не стал смотреть на зеркало. — Вовсе там не одни цифры. И не в этом дело...

— А в чем? В чем?! — закричал отец, и Журка понял, что этим криком он нарочно распаляет себя, чтобы заглушить свой стыд. Чтобы получилось, будто не он, а Журка во всем виноват. Чтобы самому поверить в это до конца.

— Ты не знаешь... — проговорил Журка. — Эту книгу, может, сам Нахимов читал. Она в тысячу раз дороже всякого зеркала... Да не деньгами дороже!

— Тебе дороже! А другим?! А матери?! Ей причесаться негде было! А мне?... О себе только думать привык! Живем как в сарае, а ты как... как пес: лег на эти книги брюхом и рычишь

Журка опять подумал, что все-все книги отдал бы за то, чтобы сейчас они с папой вдвоем жарили картошку и болтали о чем-нибудь веселом и пустяковом. Он даже чуть не сказал об этом, но было бесполезно. Отец стоял перед ним какой-то встрепанный, похожий на большую сердитую птицу. Чужой. На широких побледневших скулах выступили черные точки. Это были крупинки пороха: в детстве у отца взорвалась самодельная ракета, и порошинки навсегда въелись в кожу...

— Вбил себе в голову всякий бред! — продолжал отец. — Нахимов!.. Из-за одной заплесневелой книжонки поднял крик!

— Это ты кричишь! — сказал Журка. — Сам продал, а теперь кричишь... Я ведь спрашивал, а ты сказал «не брал»!

— Да! Потому что связываться не хотел! Потому что знаю, какой бы ты поднял визг! Тебе что! На все наплевать! Мать в больнице, денег ни гроша, а ты... Вырастили детку! Двенадцати годов нет, а уже такой собственник! Куркуль...

— А ты вор, — сказал Журка.

Он сразу ужаснулся. Никогда-никогда в жизни он ни маме, ни отцу не говорил ничего подобного. Просто в голову не могло прийти такое. И сейчас ему показалось, что эти слова что-то раскололи в его жизни. И в жизни отца...

«Папочка, прости!» — хотел крикнуть он, только не смог выдавить ни словечка.

А через несколько секунд страх ослабел и вернулась обида. Словно Журка скользнул с одной волны и его подняла другая. Потому что никуда не денешься — был магазин, была та минута, когда он, Журка, убито смотрел на затоптанный пол с зеленым фантиком, а все смотрели на него...

И все же он чувствовал, что сейчас опять случилось непоправимое. Опять ударила неслышная молния.

Не мигая, Журка глядел на отца. А тот замер, будто от заклинания. Только черные точки стали еще заметнее на побелевших скулах. И так было, кажется, долго. Вдруг отец сказал с яростным удивлением:

— Ах ты... — И, взмахнув рукой, качнулся к Журке. Журка закрыл глаза. Но ничего не случилось.

Журка опять посмотрел на отца. Тот стоял теперь прямой, со сжатыми губами и мерил сына медленным взглядом. У него были глаза с огромными — не черными, а какими-то красноватыми, похожими на темные вишни — зрачками. Как ни странно, в этих зрачках мелькнула радость. И Журка чуткими, натянутыми почти до разрыва нервами тут же уловил причину этой радости. Отец теперь мог считать себя правым во всем! Подумаешь, какая-то книжка! Стоит ли о ней помнить, когда сын посмел сказать такое!

Отец проглотил слюну, и по горлу у него прошелся тугой кадык. Ровным голосом отец произнес:

— Докатились... Мой папаша меня за это удавил бы на месте... Ну ладно, ты не очень виноват, виновато домашнее воспитаньице. Это еще не поздно поправить.

Он зачем-то сходил в коридор и щелкнул замком. Вернулся, задернул штору. Ослабевший и отчаявшийся Журка следил за ним, не двигаясь. Отец встал посреди ком-

наты, приподнял на животе свитер и деловито потянул из брючных петель пояс.

Пояс тянулся медленно, он оказался очень длинным. Он был сплетен из разноцветных проводков. Красный проводок на самом конце лопнул и шевелился, как живой. «Будто жало», — механически подумал Журка. И вдруг ахнул про себя — понял, что это, кажется, по правде.

Он заметался в душе, но не шевельнулся. Если броситься куда-то, постараться убежать, если даже просто крикнуть «не надо» — значит, показать, будто он поверил. Поверил, что это в самом деле может случиться с ним, с Журкой. А поверить в такой ужас было невозможно, лучше смерть.

Отец, глядя в сторону, сложил пояс пополам и деревянно сказал:

— Ну, чего стоишь? Сам до этого достукался. Снимай что полагается и иди сюда.

У Журки от стыда заложило уши. Он криво улыбнулся дрогнувшим ртом и проговорил:

— Еще чего...

— Будешь ерепениться — получишь вдвое, — скучным голосом предупредил отец.

— Еще чего... — опять слабым голосом отозвался Журка.

Отец широко шагнул к нему, схватил, поднял, сжал под мышкой. Часто дыша, начал рвать на нем пуговицы школьной формы...

Тогда силы вернулись к Журке. Он рванулся. Он задергал руками и ногами. Закричал:

— Ты что! Не надо! Не смей!.. Ты с ума сошел! Не имеешь права!

Отец молчал. Он стискивал Журку, будто в капкане, а пальцы у него были быстрые и стальные.

— Я маме скажу! — кричал Журка. — Я... в детский дом уйду! Пусти! Я в окно!.. Не смей!..

На миг он увидел себя в зеркале — расхлюстанного, с широким черным ртом, бьющегося так, что ноги превратились в размазанную по воздуху полосу. Было уже все равно, и Журка заорал:

— Пусти! Гад! Пусти! Гад!

И кричал эти слова, пока в своей комнате не ткнулся лицом в жесткую обшивку тахты. Отец швырнул его, сжал в кулаке его тонкие запястья и этим же кулаком уперся ему в поясницу. Словно поставили на Журку заостренный снизу телеграфный столб.

Чтобы выбраться из-под этого столба, Журка задергал ногами и тут же ощутил невыносимо режущий удар. Он отчаянно вскрикнул. Зажмурился, ожидая следующего удара, — и в тот же миг понял, что кричать нельзя. И новую боль встретил молча.

Он закусил губу так, что солоно стало во рту. Нельзя кричать. Нельзя, нельзя, нельзя! Конечно, отец сильнее: он может скрутить, скомкать Журку, может швырнуть, исхлестать. А пусть попробует выжать хоть слабенький стон! Ну?! Домашнее воспитание? Не можешь, зверюга!

Журка молчал, это была его последняя гордость. Багровые вспышки боли нахлестывали одна за другой, и он сам поражался, как может молча выносить эту боль. Но знал, что будет молчать, пока помнит себя. И когда стало совсем выше сил, подумал: «Хоть бы потерять сознание...»

В этот миг все кончилось. Отец ушел, грохнув дверью.

Журка лежал с минуту, изнемогая от боли, ожидая, когда она хоть немножко откатит, отпустит его. Потом вскочил.

В перекошенной, кое-как застегнутой на редкие пуговицы форме он подошел к двери и грянул по ней ногой — чтобы вырваться, крикнуть отцу, как он его ненавидит, расколотить ненавистное зеркало, взорвать и разнести все вокруг!

Дверь была заперта. Журка плюнул на нее красной слюной и снова размахнулся ногой... И вдруг подумал: «К чему это?»

Ну крикнет, ну разобьет. А потом? Что делать, как жить? Вместе с отцом? Вдвоем?

Жить вместе после того, что было?

Журка неторопливо и плотно засунул в дверную скобу ножку стула. Пусть попробует войти, если вздумает! Потом он, морщась от боли, влез на подоконник и стал отдирать полосы лейкопластыря, которыми мама уже закупорила окно на зиму. Отодрал, бросил на пол и тут заметил в углу притихшего, видимо, перепуганного Федота.

— Котик ты мой, — сказал Журка. Сполз с подоконника и, беззвучно плача, наклонился над Федотом. Это было здесь единственное родное существо. И оставлять его Журка не имел права.

Он вытряхнул на пол из портфеля учебники, скрутил из полос лейкопластыря шпагат и привязал его к ручке портфеля — как ремень походной сумки. В эту «вьючную суму» он посадил Федота. Кот не сопротивлялся.

— Ты потерпи, миленький, — всхлипнув, сказал Журка и надел портфель через плечо. Потом отворил окно, достал из-за шкафа специальную длинную палку с крючком, подтянул ею с тополя веревку. Взял веревку в зубы и выбрался через подоконник на карниз.

Стояли серовато-синие сумерки. Моросило. Сырой воздух охватил Журку, и он сразу понял, как холодно будет без плотной осенней куртки и без шапки. Но наплевать!

Журка крепко взял веревку повыше узлов, а пояс надевать не стал. Лишняя возня — лишняя боль. Он примерился для прыжка. Прыгать с Федотом на боку будет труднее. Ладно, он все равно прыгнет! Не в этом дело...

А в чем? Почему он замер?

Потому что понял вдруг, как это дико. Он уходит из дома, из своего, родного. И не просто уходит, а как беглец. И не знает нисколечко, какая дальше у него будет жизнь. Еле стоит на такой высоте, в зябких сумерках, на узкой кирпичной кромке...

«Мир такой просторный для всех, — вспомнилось ему, — большой и зеленый, а нам некуда идти...»

В эту сторону пойдешь —
Горе и боль,
В ту сторону пойдешь —
Черная пустота,
И мы бредем, бредем по самой кромке...
Куда же нам идти?..

«К Ромке!» — неслышно отдалась под ним пустота. Словно кто-то снизу шепотом подсказал эту рифму. Такую простую и ясную мысль...

«А что? — подумал Журка. — Головой вперед, и все».

Вот тогда забегает отец!.. Что он скажет людям, которые соберутся внизу? И что скажет маме?..

Да, но мама-то не виновата. И у нее уже никогда не будет никого другого вместо Журки. Он же не маленький, знает, что из-за этого она сейчас и в больнице... Да и Федота жалко — тоже грохнется. Хотя его можно оставить на подоконнике... Но... если по правде говорить, такие мысли не всерьез.

А если все-таки всерьез?

Страшно, что ли? Нет, после того, что было, не очень страшно. Но зачем? Если бы знать, что после нашей жизни есть еще другой мир и там ждут тебя те, кого ты любил... Но такого мира нет. И Ромки нет... Ромка есть здесь — в памяти у Журки. Пока Журка живой.

Значит, надо быть живым...

Журка толкнулся и перелетел в развилку тополя.

Спускаться по стволу было трудно. Мешала боль. Мешал портфель с Федотом и суконная одежда, срывались жесткие подошвы ботинок. Это не летом... В метре от земли ботинки сорвались так неожиданно, что Журка полетел на землю. Вернее, в слякоть.

Он упал на четвереньки и крепко заляпал брюки, ладони и лицо. Зато Федот ничуть не пострадал. При свете от нижних окон Журка попробовал счистить грязь. Но как ее счистишь? Он взял портфель с Федотом под мышку и, вздрагивая, переглатывая слезы и боль, вышел на улицу.

Фонари горели неярко, прохожих было мало. Никто не остановился, не спросил, куда идет без пальто и шапки заляпанный грязью мальчишка с таким странным багажом. Видно, у каждого встречного хватало своих дел и беспокойств.

У тех, кто ехал в машинах, тоже хватало. «Москвичи» и «Жигули» с шелестом и плеском проносились по мокрому неровному асфальту. Мелкий дождь искрился и дрожал перед ними в длинных лучах. Журке надо было перейти Парковую, чтобы добраться до улицы Мира, и он остановился на углу — пропустить машины. Светофора на этом перекрестке не было, автомобили шли и шли. Что им какой-то дрожащий на переходе пацаненок!

Наконец поток машин прервался, Журка шагнул на дорогу, но тут из-за поворота выскочил сумасшедший «Запорожец», вякнул гудком и пронесся рядом с Журкой, обдав его грязной жижей.

— Скотина ты! — крикнул ему вслед Журка.

Рядом была куча щебня для ремонта дороги. В ярости Журка схватил гранитный осколок и замахнулся вслед «Запорожцу»...

И чьи-то пальцы плотно ухватили его за кисть.

Милиция? Пусть!

Это была не милиция. Рядом стоял Капрал. В жидком свете фонаря Журка разглядел его красивое спокойное лицо. Капрал тряхнул Журкину руку, и камень упал в лужу.

— Ты неправильно кидаешь, — доброжелательно сказал Капрал. — Надо бросать во встречные. Тогда камень летит как пуля — получается сложение скоростей. А, ты физику еще не изучал... Кидай вон в ту.

— Зачем? Не она ведь меня обрызгала, — пробормотал Журка.

— А какая разница? Все они одинаковы, — серьезно сказал Капрал. — Хотя я забыл... У тебя же папаша сам шофер! Тогда ты зря...

— А чего мне папаша... — хмуро отозвался Журка и стал смотреть на дорогу

Капрал оглядел его с головы до ног.

— Домашний конфликт? — спросил он. — Небось родители сказали: «Или мы, или кот!» И ты гордо покинул отчий кров.

— Если бы... — сказал Журка. — Все гораздо хуже... — Он не собирался ничего рассказывать Капралу и не искал у него сочувствия. Просто вырвалось. Просто Капрал был единственный человек, который его хоть о чем-то спросил.

Капрал задумчиво погладил пальцем голову Федота, который смирно поглядывал из портфеля. Потом он скинул свою куртку с капюшоном и набросил на Журку.

— Не надо, — сказал Журка.

— Надо. Идем.

— Куда?

— «Куда», — усмехнулся Капрал. — Устрою где-нибудь.

— В гараже вашем, что ли? — сумрачно спросил Журка. Он сейчас ничего не боялся. И подумал, что хорошо бы назло всему свету навсегда связаться с компанией Капрала. Воруют? Ну и что? Если даже отец... Ну, конечно, про отца любой возразит: «Какое же это воровство! У себя дома!» Но все равно — обман. И еще какой! Как предательство...

— А чем тебе плох гараж? — спросил Капрал. — Сухо, тепло. И люди надежные... Да не бойся, ко мне домой пойдем. Умоешься, переночуешь...

Журка вздохнул. И сказал без всякой злости, без насмешки. Просто так:

— Да. А потом я для вас, как Горька, буду бутылки таскать...

— Глупый ты, — тихо отозвался Капрал. — Думаешь, я на твоей беде буду бизнес делать? Не бойся...

— Я не боюсь... — Журка встряхнулся и снял с плеч куртку. — Спасибо. Я пойду. Не с тобой...

Он подумал, что еще чуть-чуть — и, пожалуй, отправился бы с Капралом. Но... нет. Не такой уж одинокий Журка на свете.

— Пойду, — повторил он. (Машины как раз перестали носиться по мостовой.)

— А есть куда? — озабоченно спросил Капрал.

— Есть.

— Ну, смотри... Давай я провожу. Куртку-то накинь, а то совсем промокнешь.

— А ты?

— Ничего, я привычный.

Журка так продрог, что не хватило духу отказаться. Да кажется, и не стоило. Капрал пожалел его, и было неловко отталкивать эту неожиданную доброту.

Журка опять накинул куртку и сказал виновато:

— Здесь недалеко. Два квартала.

— Вот и ладно, — отозвался Капрал и потом всю дорогу молчал.

Журка тоже молчал. Чем ближе был Иринкин дом, тем нерешительней Журка себя чувствовал. Он знал, что его встретят по-хорошему, поймут и приютят, но ведь придется рассказать про все, что было. Иринка и ее отец сегодня и так видели его унижение, и вот он опять появится, будто оплеванный, — жалкий, исхлестанный, грязный...

Журка сбил шаг. Может, все-таки сказать Капралу: «Знаешь что, пошли к тебе»?.. Но тогда получится, что Капралу он доверяет больше, чем Иринке. Будто Капрал его друг, а она так просто.. Потом она все равно про все узнает, и что тогда скажет? «Эх ты, витязь!»

Журка остановился. Едва мелькнуло в голове слово «витязь», он понял, куда идти. Даже удивился, что с самого начала не подумал об этом...

— Все, спасибо тебе, — торопливо сказал он Капралу и снял куртку. — Тут рядом, я добегу.

— Ну, будь... — Капрал кивнул и пошел, не оглядываясь.

Журка сказал неправду. До того дома, где жила Лидия Сергеевна, было еще пять кварталов. Но вести с собой Капрала так далеко Журка постеснялся.

Он побежал. Чтобы не задрожать опять. Чтобы никто не пристал с расспросами. Чтобы все скорее кончилось...

Федот нервно возился в портфеле, надоела ему такая жизнь.

— Сейчас, котик... Сейчас, сейчас... — говорил ему на бегу Журка. Бежать было трудно, боль отдавалась в теле колючими толчками, но Журка ни разу не остановился.

Дверь открыл Валерий Михайлович. Из-за его ноги выглядывал Максимка. Валерий Михайлович удивился, посмотрев на Журку, даже сказал:

— О! Вот это явление... — Хотел о чем-то спросить, но взглянул внимательней и вдруг быстро ушел из прихожей. Громко проговорил в комнате:

— Лидуша! Там к тебе. Твой Журавленок... — И что-то добавил неразборчиво.

Федот в это время выцарапался из портфеля и прыгнул на пол. Максимка тут же ухватил его поперек туловища и просиял.

Вышла Лидия Сергеевна — в халате и тапочках.

— Журка! Боже мой, ты откуда? Раздетый, мокрый!.. Максим, оставь кота, он, наверно, с улицы, грязный...

— Да нет, он чистый, — отозвался Журка и почувствовал, что слова идут с трудом. — Это я... вот... перемазанный...

Она тут же забыла про кота.

— Журка, что случилось?

Он, переглатывая, сказал:

— Можно, я.. мы... у вас поживем три дня? Пока мама в больнице...

— Как «поживем»?.. То есть можно, конечно. Только...

Она вдруг замолчала, присела перед Журкой на корточки, взяла его за холодные мокрые пальцы. Тихо спросила:

— Журавушка, что с тобой?

Разве тут удержишься... Он быстро наклонился и уткнулся лицом в ее плечо.

## Про машину счастья

Журка думал, что будет очень трудно. Что он станет мучиться и давиться от стыда, когда придется рассказывать свою жуткую историю. Но вышло не так. Слова рванулись вместе со слезами — скомканные, путаные, быстрые. И не так уж много оказалось их нужно, слов-то. Через полминуты Лидия Сергеевна все узнала и поняла.

Она поднялась, вздохнула, вынула из кармана халата платок и стала вытирать Журкино лицо. Молча.

В ее молчании Журке вдруг почудилось осуждение.

Неужели сейчас она проговорит: «Как же так, Журавин? Мне тебя очень жаль, но разве так разговаривают с отцом? И разве можно убегать? Пошли-ка домой...»

Он не пойдет! Лучше опять в холод и дождь. Лучше в гараж к Капралу. Или хоть под забор!

Журка дернул лицом, всхлипнул:

— Вы, конечно, скажете, что я сам виноват...

Но Лидия Сергеевна сказала:

— Ты же весь дрожишь. Куда тебя, горюшко, понесло без шапки, без пальто? Ох ты, Журка, Журка... Не будем мы сейчас разбираться ни в чем. Потом все уляжется и устроится. А пока... Максим, да оставь ты несчастного кота, это не кукла!.. Снимай, Журка, куртку, она вся в грязи... Ох, и рубашка тоже... Смотри-ка, даже волосы залянаны.

Журка виновато пробормотал:

— Машиной забрызгало... — И опять зябко вздрогнул.

— Вот что, дорогой мой, сейчас полезешь в ванну, — решила Лидия Сергеевна. — Отогреешься, отмоешься, а я в это время займусь твоей одеждой... Надо же, и майка грязью забрызгана! Расстегнутый настежь бежал!

— Пуговицы-то оторвались... — прошептал Журка.

— Пошли.

Он пошел, застеснявшись, но с радостью. Очень захотелось в теплую-теплую воду. Все тело стонало, будто его испинали, истоптали грязными, склизкими сапогами. И вот можно будет смыть эту слизь. Не только грязь, но и боль и весь ужас того, что случилось.

Тугие струи ударили в блестящую ванну. Кафельная комнатка наполнилась паром, на тонком шнуре под потолком закачались, как морские сигнальные флаги, Максимкины рубашонки и колготки. Пар быстро обволок Журку сонливым теплом и покоем. Потом рассеялся, но покой и тепло остались...

Вода набралась, Лидия Сергеевна что-то бросила в нее, размешала, и в ванне вспухла перина из густой пены.

— Ныряй, Журка, в это облако. А одежду оставь здесь, на стиральной машине, я потом заскочу и заберу.

Она вышла.

Журка, опасливо поглядывая на незапертую дверь, разделся. Морщась, перебрался через край ванны, охнул от радостного тепла и осторожно погрузился в него по плечи. Было больно касаться дна и стенок ванны, поэтому Журка сел на корточки и обнял себя за колени.

Двигаться не хотелось, от всякого шевеленья притихшая боль опять просыпалась, а сидеть так было хорошо, спокойно. Журка закрыл глаза, оказался будто в теплой невесомости и забыл про время.

...Приоткрылась дверь. Журка вздрогнул, машинально сел поглубже — так, что взбитая пена защекотала ему уши. Лидия Сергеевна потянулась за Журкиной одеждой, потом взглянула на него.

— Греешься? Ну и хорошо. Только не забудь волосы промыть, в твоих кудрях целые комки глины...

Журка кивнул, беспомощно поглядывая из пенистого сугроба. А Лидия Сергеевна вдруг отложила сверток с одеждой, посмотрела на блестящую от мыльных пузырей Журкину голову и негромко сказала:

— Слушай, малыш, давай-ка я тебя сама вымою. Как Максимку... Или будешь очень стесняться?

Журка в первый миг съежился еще больше. Но тут же с удивлением понял, что стесняться не будет. Для этого просто не было сил. Он все больше растворялся, таял в тепле, в окружающей его доброте и безопасности. И без спора покорился ласковой настойчивости Лидии Сергеевны. Только неловко улыбнулся и пробормотал:

— Да ладно. Если буду, вы не обращайте внимания, трите меня, вот и все...

Но она не стала его тереть. Сначала, поливая из кувшина, вымыла ему голову. Потом взяла за локти, осторожно подняла, поставила. Мягкой-мягкой губкой начала смывать с него хлопья пены. Журка закрыл глаза, и стало совсем хорошо — будто он дома и около него мама...

Лидия Сергеевна еще раз облила его теплой водой и вдруг не выдержала:

— Ох, как он тебя... Как тебе досталось, бедному.

Журка вздрогнул и съежил плечи. Но ласковое и спокойное тепло тут же снова окутало его и взяло под свою защиту. Журка передохнул и неожиданно для себя сказал:

— А я все равно не пикнул, вот. Только губу прокусил...

— Маленький ты мой... — вздохнула Лидия Сергеевна. — Ну, ладно, Журавлик, все. Давай сушиться.

Она помогла Журке выбраться из ванны и тут же окутала его прохладной простыней.

— Сейчас принесу тебе костюм Валерия. Спортивный. Большущий, но ничего, до утра поносишь. В нем и спать ложись, как в пижаме...

Через несколько минут Журка вышел из ванной в подвернутых трикотажных штанах и фуфайке до колен. Лидия Сергеевна повела его на кухню ужинать. Следом явился Максим. На руках он опять держал Федота, который, видимо, покорился судьбе. Максим попытался завязать с

Журкой беседу, но Лидия Сергеевна турнула ненаглядного сына из кухни. Поставила перед Журкой тарелку с котлетой и картошкой, стакан молока. И вышла вслед за Максимкой.

Журка втянул котлетный запах и только сейчас понял, какой он голодный. Несмотря ни на что. Он забрался коленками на табурет, откусил сразу полкотлеты, но вспомнил про Федота. Спросил в открытую дверь:

— Лидия Сергеевна, можно я Федоту кусочек дам?

— Мы с Максимом его сами покормим, не беспокойся...

Журка допивал молоко, когда в коридоре раздался звонок (в точности такой же, как у Журки дома). Это вернулся откуда-то Валерий Михайлович. До Журки донесся негромкий, но хорошо слышный разговор.

— Ну как? — осторожно и с тревогой спросила Лидия Сергеевна.

— Да вот, принес...

— А он что?

Кажется, Валерий Михайлович сумрачно усмехнулся:

— Что... Сидит, мается. Видать, недавно бегал по улицам, искал...

— Не спорил, не требовал, чтобы назад привели?

— Нет... По-моему, даже обрадовался. Сам учебники собрал. Только молча все. Можно его понять... Может, ты сама с ним поговоришь, Лидуша?

— Может быть... Потом. Сейчас я ему, наверно, в волосы вцепилась бы. Посмотрел бы ты, что он со своим сыном сделал...

Когда Журка нерешительно вышел в коридор, он увидел на вешалке свою куртку и шапку, а в углу — набитый до отказа портфель. Лидия Сергеевна выглянула из комнаты и мягко сказала Журке:

— Валерий сходил к вам домой, учебники принес и одежду. А то ты примчался без всего...

— Спасибо... — пробормотал Журка.

— Папу предупредил, что ты у нас...

— А чего его предупреждать, — безжалостно сказал Журка. — Он и так бы прожил.

— Он искать бы стал... И получилось бы, что мы тебя похитили... — Она улыбнулась, потрепала его по непросохшим волосам. — Все уладится. Пойдем...

Журка знал, что ничего не уладится, но сейчас он был размягший, сонный. И послушно пошел в комнату.

Здесь к нему опять примазался Максимка:

— Ты что будешь сейчас делать?

— Не знаю... — вздохнул Журка.

— Давай пхочитаем пхо Бухатино.

— Давай! — обрадовался Журка и стряхнул сонливость. Потому что не сидеть же просто так целый вечер. А книжку про Буратино он всегда любил.

Они пошли в отгороженный шкафом угол. Там стояла деревянная койка с барьерчиком, она была похожа на корабельную. Смастерил ее Максимкин папа — длинную, «на вырост». Журка лег животом на одеяло, положил перед собой книгу, Максимка устроился сбоку...

Журка дочитал до того, как Буратино попал в кукольный театр и угодил в лапы Карабасу. И в этот момент Лидия Сергеевна сказала:

— Молодые люди, укладываться не пора?

Максим заявил, что не пора. Но Лидия Сергеевна объяснила, что Журка устал и хочет спать.

— А я буду с Журкой?

— Нет, он будет здесь, а ты с нами.

— И Федот...

— Что Федот?

— С нами.

— Еще новости!

— Я хочу с Федотом.

— В таком случае оба будете спать под кроватью.

— Пхавда?! — возликовал Максим. И очень огорчился, когда узнал, что это шутка. Несколько минут сидел надутый, потом потребовал:

— Тогда пускай папа хаскажет сказку. Мне и Жухке.

— Что ты, мне не надо, — торопливым шепотом сказал Журка.

— Тогда песенку. Пхо кохаблик...

— Ну иди, ложись, — покладисто отозвался Валерий Михайлович. — Тогда будет песенка.

— Мы вместе с тобой...

— Хорошо, вместе.

Максимка ушел от Журки, а через минуту Журка услышал из своего угла за шкафом:

— Папа, я лег. Давай...

— Давай...

И началась песенка. Густой негромкий голос Валерия Михайловича и картавый, тонкий, как дрожащая проволочка, голосок Максимки:

Если вдруг покажется
Пыльною и плоской,
Злой и надоевшей

Вся земля,
Вспомни, что за дальней
Синею полоской
Ветер треплет старые
Марселя...

Мелодия была незнакомая. Слова тоже. Но что-то знакомое в них было. Что-то от дедушкиных книг и картины «Путь в неведомое».

Над морскими картами
Капитаны с трубками
Дым пускали кольцами,
Споря до утра.
А наутро плотники
Топорами стукнули —
Там у моря синего
Рос корабль.

Крутобокий, маленький,
Вырастал на стапеле
И спустился на воду
Он в урочный час,
А потом на мачтах мы
Паруса поставили,
И, как сердце, дрогнул
Нам компас...

Под лучами ясными,
Под крутыми тучами,
Положив на планшир
Тонкие клинки,
Мы летим под парусом
С рыбами летучими,
С чайками, с дельфинами
Наперегонки...

Хорошая была песенка. Веселая и такая... по-морскому деловитая. Хотя чувствовалась в ней какая-то грусть и непрочность. Может быть, от Максимкиного дрожащего голоска?

...У крыльца, у лавочки
Мир пустой и маленький,
У крыльца, у лавочки —
Куры да трава.
А взойди на палубу,
Поднимись до салинга —
И увидишь дальние
Острова...

Они замолчали, отец и сын, и несколько секунд была хорошая тишина. А потом Валерий Михайлович воскликнул:

— Э! Ты куда? А уговор?

— Я на кхошечную минуточку...

Максимка прибежал к Журке и опять забрался на кровать. Спросил таинственным шепотом:

— Ты у нас всегда будешь? Ты будешь мой бхат?

Это был серьезный вопрос, Максимка смотрел внимательно и требовательно. И Журка сказал тоже серьезно. И тоже шепотом:

— Если хочешь, я могу как брат. Но всегда быть у вас не могу. У меня ведь тоже есть мама.

— А она где?

— В больнице пока...

— А папа?

Журка отвел глаза.

— Он уехал... В далекую командировку.

Лидия Сергеевна заглянула за шкаф. Решительно ухватила Максимку за бока и унесла. Журка услышал, как он сказал:

— Ну вот, пехебила хазговох...

— Завтра доразговариваешь. Спи.

И она вернулась к Журке. Присела на дощатый бортик.

— Ты уж не сердись на Максима за его липучесть. Он такой привязчивый. Тебя все время вспоминает и самолет, который ты ему сделал, не дает разбирать. И сегодня так обрадовался...

— Он хороший, — улыбнулся Журка. — Мне бы такого братишку... Он пел так здорово! Лидия Сергеевна, а что это за песенка была?

— Ее сочинил наш знакомый. Товарищ Валерия. Он работает оператором на телестудии, а вообще-то он моряк по призванию... Как это называется, когда человек с парусами возится?

— Яхтсмен?

— Вот-вот... Он с ребятами корабль построил. Небольшой, но совсем настоящий, они на нем в походы ходят. Называется «Капитан Грант». Если хочешь, Валерий тебя познакомит... Ты ведь, по-моему, тоже в моряки собираешься?..

— Нет, — сказал Журка и помолчал. — Не в моряки...

— А куда? Секрет?

— Да нет. Для вас не секрет, — вздохнул Журка. — Только про это трудно говорить... Я боюсь, что не получится.

— А что, очень трудная профессия?

— Я еще сам не знаю... Может, такой профессии даже

нет... Я хочу, чтобы на свете была такая громадная машина, кибернетическая. Не как нынешние, а гораздо сложнее. Надо так придумать, чтобы она все могла предвидеть...

— Что предвидеть, Журка?

Он маялся, не зная, как объяснить. Сказал неловко:

— Ну, случайности всякие. От которых несчастья. Чтобы их никогда не было у людей...

— Совсем?

Журка кивнул и насупился от смущенья. Лидия Сергеевна сказала:

— Значит, это будет машина счастья? Такую машину, Журка, многие пытались придумать. Но, говорят, это невозможно, как вечный двигатель. Видимо, совсем без несчастий не проживешь.

Журка досадливо мотнул головой.

— Я, значит, не так объяснил... Конечно, от всех несчастий никакая машина не спасет. Но... вот если человек идет в опасный поход, в горы, он знает, что может сорваться. И все знают. И он срывается. Это плохо, это горе, но... это как-то... ну, не знаю, как сказать. В общем, тут нет такой несправедливости. Человек же заранее знал, что рискует... А если вдруг случайная горка из песка на асфальте — и сразу гибнут три человека... Как молния ударила... или вот мама — два года назад запнулась на улице за проволоку, упала и теперь... все по больницам.

Воспоминание о маме кольнуло его неожиданно и сильно. Журка прижался щекой к подушке и стал смотреть в стенку. Не хотел он показывать мокрые глаза, сегодня и так хватило слез. Но стало опять тоскливо: мама в больнице, он здесь, все пошло в жизни наперекосяк...

Журка почувствовал, как Лидия Сергеевна тихо наклонилась над ним.

— Не грусти. И мама скоро вернется, и будут у тебя радости... А машину ты задумал хорошую. Но наверно, это не машина счастья, а, скорее, машина справедливости...

— Может быть, — пробормотал Журка. В словах «машина справедливости» была какая-то неправильность. Это человек может быть справедливым, а машина... Видимо, Лидия Сергеевна сказала так просто, чтобы отвлечь его от грустных мыслей.

...А как от них отвлечешься? Уже в темноте, когда все заснули, Журка лежал и все думал, думал о том, что случилось. Иногда снова хотелось плакать, но он боялся разбудить Максимку и его родителей. У них и так вон сколько

хлопот: квартира однокомнатная, а тут жилец свалился на голову.

Журка лежал неподвижно и дышал тихо, как спящий. Только трогал языком ранку на прокушенной нижней губе. Ранка подсохла и почти не болела, но губа, кажется, распухла.

Наконец он устал от горьких мыслей и неподвижности. Тогда повернулся на бок и стал думать о Ромке. О том, как они берутся за руки и бегут с высокой насыпи к раскидистым кустам, за которыми блестит Каменка.

— Ты мне приснись, — тихонько сказал он Ромке.

Но Ромка не приснился. Может быть, обиделся, что Журка забыл в своей комнате его портрет?

Журка уснул наконец — будто утонул в черной глухой воде.

## Возвращение

Журка проснулся и сразу все вспомнил. Будто и не спал. В голове были те же мысли, в теле — та же боль. Хотя нет. Мысли были не такие резкие и тревожные, а боль — притупленная, нестрашная. Она походила на ломоту в костях и нытье в мускулах после тяжелой работы.

Из-за шкафа пробивался в закуток солнечный луч и лежал на обоях оранжевой полосой.

На кухне звякала посуда, и Максим упрямым голосом доказывал, что привык пить молоко только из «хозовой кхужки».

Журка понял, что уже поздно и что Лидия Сергеевна, видимо, решила его не будить: пускай спит сколько хочет, чтобы прийти в себя после вчерашнего.

На стуле висела и лежала Журкина одежда — отчищенная, отглаженная. Слегка постанывая, Журка оделся. Неосторожно загремел стулом. Послышались шаги Лидии Сергеевны, и она спросила:

— Журка, ты уже встал?

Он вышел из-за шкафа. Хотел сказать «доброе утро» и застеснялся. Подумал опять, сколько хлопот доставил Лидии Сергеевне. Опустил глаза.

— Как спал?

— Хорошо... Лидия Сергеевна, я бы сам все вычистил, зачем вы... У вас и так сколько дел... Спасибо.

— Подумаешь, дело. Я своего обормота все равно каждый день чищу.

Журка смущенно улыбнулся.

— Даже пуговицы пришили. Где вы их нашли, школьные?

— В старых запасах. Раньше-то я их вам чуть не каждый день пришивала... Умывайся и пошли завтракать.

— В школу я совсем опоздал... — полувопросительно заметил Журка.

— Ничего, отдохнешь сегодня.

В кухне Журку встретил радостным мычаньем перемазанный кашей Максимка. В углу что-то лакал из блюдца Федот. Валерия Михайловича не было — видимо, ушел на работу.

— А ты разве не ходишь в садик? — спросил Журка у Максима.

— У нас кахантин.

— Меня из-за него скоро выгонят из института, — жалобно сказала Лидия Сергеевна. — Все время то простуда, то карантин, то воду в садике отключили... Я столько лекций напропускала, все с ним дома сижу. А сегодня семинар, я должна была сообщение там делать...

— А вы идите! — обрадованно воскликнул Журка.

Как хорошо, что он хоть чем-нибудь может ответить Лидии Сергеевне за все ее заботы.

— Что ты! — засомневалась она. — Максим тебя заездит.

— Нет, мама! Мы будем «Бухатину» читать!

— Ой, если вы меня правда отпустите...

— Пхавда!

Прежде чем читать про Буратино, Журка перемыл всю посуду. Максиму он велел помогать, и тот отнесся к делу со всей ответственностью — стоял наготове с полотенцем. Потом они подмели в комнате, вычистили пылесосом коврик в прихожей и только тогда сели с книжкой.

Журка дочитал до встречи Буратино с черепахой Тортилой, и тут Максим стал все сильнее ерзать и отвлекаться.

— По-моему, ты хочешь в туалет, — сказал Журка.

— Нет. Я хочу стхоить кохабль.

— Какой корабль?

— Из стульев. Чтобы плыть в путешествие.

— Мама придет — она покажет нам корабль и путешествие.

— Не покажет. Я всегда так игхаю...

Они построили из стульев пароход, сделали из швабры мачту, а из пылесоса двигатель. Максим работал деловито

и увлеченно. Журке тоже нравилась такая игра. Да и опыт был: когда-то они с Ромкой строили во дворе корабль из бочки и старых ящиков.

— Мы поедем на дальний остхов, — решительно заявил Максим.

— Давай, — согласился Журка, и вспомнилась вчерашняя песенка:

...У крыльца, у лавочки —
Куры да трава.
А взойди на палубу,
Поднимись до салинга —
И увидишь дальние
Острова...

Журка вдруг подумал, что отец никогда не пел ему никаких песен. Мама пела всякие, а отец ни одной ни разу... Но, тряхнув головой, Журка прогнал эти мысли и сказал, что на острове, наверно, водятся дикие звери.

— Тигхы!

Тигром сделали Федота. Но он не захотел, чтобы в него стреляли пробками, обиделся и ушел под диван.

— Пхобкой — это же небольно, — виновато сказал Максим.

— Он отправился в засаду, — утешил Журка.

В это время у дверей позвонили.

— Мама! — обрадовался Максим.

Но пришла не Лидия Сергеевна. Пришли Иринка и Горька.

Увидев их на пороге, Журка и обрадовался, и смутился отчаянно. Затоптался, беспомощно оглянулся на Максима, который таращил на гостей любопытные глаза. И тогда Иринка сказала просто и спокойно:

— Мы сперва к тебе домой зашли, а твой папа сказал, что ты здесь. Адрес дал.

— Разве он не на работе? — пробормотал Журка.

— Заехал на обед, — объяснила Иринка и спросила, будто про обычное и не очень важное дело: — Ты из-за книжки, что ли, с ним поругался?

Журка ее понял. Она про многое догадывалась и подсказывала Журке, как себя вести и что говорить.

— Да, — сказал он небрежно. — Такой скандал был... Ну, я ушел. Что мне там с ним... Буду здесь, пока мама не вернется.

— А почему не у нас? — ревниво спросила Иринка.

— Я хотел сначала к вам. А потом подумал, что Игорь Дмитриевич на меня, наверно, обиделся: в таком глупом положении из-за меня оказался...

Журка говорил неправду. Вчера он об этом не думал. Но сейчас сообразил, что так, возможно, и было.

— Дурень ты, — вздохнула Иринка. — Он за тебя так беспокоился... На вот, он велел передать. — Иринка достала из сумки газетный сверток.

По размеру и твердости пакета Журка сразу понял, что это такое. Обрадованно и вопросительно взглянул на Иринку:

— А... как это?

— Очень просто. Взял и выкупил.

— Но ведь... а деньги-то... — забормотал Журка, совершенно не зная, что делать и говорить.

Иринка отчеканила:

— Папа сказал, чтобы ты не пикал об этом. Бери, и все. Ясно?

— Ясно, — с облегчением прошептал Журка, потому что понял: не взять нельзя. И «пикать» тоже нельзя.

Он понимал, что теперь, когда станет листать эту книжку, будет вспоминать обо всем плохом и страшном, что случилось из-за нее. Но книжка же не виновата! Все равно он рад, что она вернулась. Он будет вспоминать и о хорошем: о дедушке, об Иринке, об Игоре Дмитриевиче...

А Горька стоял рядом и молча поглядывал из-под медных волос. Все время, пока шел разговор с Иринкой, Журка чувствовал это молчание и этот взгляд. Посмотреть Горьке в лицо он не решался. И среди всех других мыслей билась одна — колючая и тоскливая: «Что же теперь ему сказать, как быть?»

Впрочем, Журка знал, как быть, только это очень трудно. Но надо. Чтобы потом не краснеть перед Горькой, перед Иринкой, перед собой. Надо переступить через мучительный стыд и проговорить: «Горька, прости меня, пожалуйста, я был самый последний идиот. Я сам не знаю, как мог подумать такое...»

— Горька... ты...

Горька перебил торопливо:

— Слушай, я там тебе книжки притащил, а «Всадника»-то я еще не дочитал. Я его по ошибке прихватил в одной пачке. Ты мне потом его дай опять...

И стало понятно, что говорить ничего не надо.

Иринка и Горька принесли Журке домашние задания, но он сказал, что лучше пойдет делать их к Иринке.

— Если, конечно, можно...

— Почему же нельзя? — возмутилась Иринка.

— Я, пожалуй, тоже приду, — сказал Горька.

Так они и сделали. Едва пришла Лидия Сергеевна, Журка поспешил к Брандуковым. Горька был уже там. Они засиделись у Иринки до вечера. Пришел Игорь Дмитриевич. Журка один на один, тихо и сбивчиво сказал ему спасибо за книжку. А тот поспешно ответил, что все это пустяки, мелочи жизни, не стоит говорить об этом, и поскорее перевел разговор на Олаудаха Экиано. Оказалось, что приключения Олаудаха он дочитал почти до конца и завтра попробует сделать несколько рисунков...

Журка вернулся к Лидии Сергеевне около восьми часов и почувствовал себя виноватым. Он узнал, что, пока его не было, Максимка маялся, тосковал и мучил родителей вопросами, когда Журка вернется.

Они сели дочитывать «Приключения Буратино».

...Наутро Журка пошел в школу, и там все было как всегда. Не спросили даже, почему прогулял день. После школы он часа два играл с Максимом в морское путешествие, а потом отпросился у него и побежал к Иринке.

А еще через день, когда они с Максимом обедали на кухне, кто-то позвонил у дверей. Лидия Сергеевна вышла и скоро вернулась. Тихо сказала:

— Там твой папа... Хочет поговорить, но не заходит.

У Журки тоскливо засосало под сердцем. Он аккуратно отодвинул тарелку, коротко вздохнул и вышел в прихожую.

Отец стоял у порога. И Журке на секунду показалось, что ничего плохого не было. Потому что папа — вот он, такой же, как всегда. И Журка потянулся к нему, чуть-чуть не шагнул, чтобы прижаться к знакомой старой кожанке, которую помнил с младенчества. И увидел руки отца с нервными, шевелящимися пальцами. И вспомнил, как эти руки скручивали, ломали его. И отшатнулся — не от страха, не от обиды, а от болезненного отвращения.

Но все случилось в один миг, незаметно для других. Журка молча встал перед отцом и вопросительно посмотрел на него.

Глядя в угол, отец негромко сказал:

— Вернись домой, сегодня маму выписывают.

Мама! Журка обрадовался в душе, он истосковался по маме. И по своей комнате с Ромкиным портретом. И по

прежней жизни. Хотя прежней жизни все равно уже не будет...

Журка потрогал языком подживший рубчик на нижней губе и ровным голосом отозвался:

— Хорошо, я приду.

— Пойдем...

— Я один приду. Собраться надо.

— Тогда возьми ключ. — Отец протянул его, Журкин ключик на тонком шнурке.

...Максимка опечалился до глубины души, когда узнал, что Журка уходит.

— Я буду у тебя часто бывать, — пообещал Журка. — Ему тоже стало грустно. — Часто-часто. Даже надоем.

— Нет, не надоешь!.. А зачем ты Федота забихаешь? Мне без него скучно будет.

Журка растерянно посмотрел на Лидию Сергеевну.

— Может, правда оставишь? — спросила она. — Пока в садике карантин... Максимке все же веселее. Ты не будешь мучить Федота, Максим? Журка, он не будет...

— Да разве мне жалко? Пускай! — Журка был рад, что хоть чем-то может утешить Максима.

Лидия Сергеевна обняла Журку.

— Я думаю, ты помиришься с папой. Вы должны разобраться во всем сами... Тут, Журавушка, никто вам не поможет: ни друг, ни учитель. Может быть, только мама...

«А чем поможет мама?» — подумал Журка.

Отец, хотя и отдал ключ, не ушел. Ждал Журку на улице. Журка увидел его, остановился на миг, потом пожал плечами и пошел. Сам по себе. Отец нагнал, зашагал рядом.

— Надо поговорить, Юрий.

Журка молчал, глядя перед собой.

— Слышишь?

— Что?

— Поговорить надо.

— Я слышу, — сказал Журка. — Но я не знаю, про что говорить. Если знаешь, говори.

День был хороший, синий и солнечный. Грязь подморозило, на лужах блестел стеклянный ледок. Журка щурился от солнечных лучей. Иногда трогал языком рубчик на губе.

— Я вот что... — стараясь держаться деловитого тона, сказал отец. — Давай условимся: маме ничего не рассказывать. Не надо ее волновать после больницы.

— Хорошо, я не буду рассказывать, — отозвался Журка. Он и сам понимал, что маму лучше не расстраивать.

— Ну, вот так, значит... Что было, то было. Что ж об этом теперь...

— Теперь — ничего, — согласился Журка и проводил глазами воробьев, стайкой сорвавшихся с забора.

— А в школе как?

— Что «как»? — ровно переспросил Журка.

— Ну, как дела?..

— Какие дела?

— Учеба, отметки...

— С отметками у меня все нормально. За первую четверть троек не будет.

— Ну и молодчина! — бодро отозвался отец. — Если дальше так пойдет, к весне мопед купим.

— Зачем?

— Как зачем? Кататься будешь.

— Да? — сказал Журка и почувствовал, как подкатывает смех. После всего, что было, — мопед. Это надо же придумать! Удержаться Журка не смог, начал смеяться сильнее и сильнее. Это было плохо. Страшно даже. Потому что Журка понял: вслед за смехом сейчас рванутся слезы. С испугом и отчаяньем он скрутил себя, заставил замолчать, закусил губу.

— Ты что? — удивленно сказал отец.

— Ничего. На мопеде можно ездить только с четырнадцати лет.

— Да ерунда какая! Все мальчишки ездят.

— Нет. Нельзя нарушать правила, — очень серьезно проговорил Журка.

Потом они долго молчали. Только у самого дома отец хмуро сказал:

— Хотел я выкупить обратно твою книгу, только нету ее уже в магазине.

— Книгу мне вернули.

— Кто?

— Ее купил Игорь Дмитриевич, отец Иринки.

— А... Ну, что ж... Деньги ему отнесешь потом.

— Думаешь, он возьмет? — со спокойным сомнением спросил Журка.

У отца прорвалась досада:

— А почему не возьмет? Презирает, что ли?

— Не знаю. Но он не возьмет, он ее мне подарил.

Дома было все как прежде. Да и что могло измениться за три дня? Это ведь только казалось, что он, Журка, вернулся из далекой и долгой поездки.

Веселый Ромка смотрел со стены вслед улетевшим птицам и готов был вот-вот взглянуть на Журку.

— Ты не сердись, что я тебя здесь оставил, — прошептал Журка.

Потом он разложил на столе учебники, поставил на полку «Сочинение об описи морских берегов». На прежнее место. Это было нетрудно. А как расставить и разложить по местам все, что скомкалось и перемешалось в жизни?

Отец заглянул в Журкину комнату, сказал насупленно:

— Я поехал за мамой. Значит, мы договорились, что ей ни гугу...

— Договорились, — со вздохом отозвался Журка. — Но только имей в виду, что я тебя все равно ненавижу.

Он заметил, как опять побелело отцовское лицо, и даже испугался на миг. Но только на миг. Он сказал то, что обязан был сказать. Он не хотел ни злить, ни обижать отца: просто объяснил все полностью.

Отец выкрикнул с придыханием:

— Ты что! Опять?

— Что опять? — тихо спросил Журка.

— Думаешь, если я... если с тобой по-хорошему, можно на отца опять плевать?! Сопляк! Или мало получил? Могу еще!

— Давай, — устало сказал Журка. — Ты сильнее в десять раз, справишься... А дальше что?

— А вот узнаешь что!

— Да не боюсь я, — сказал Журка. — До смерти все равно не изобьешь, а боль я перетерплю. А дальше-то что? Думаешь, я тебя снова любить начну?

Отец постоял, нагнул голову и шагнул из комнаты. Журка навзничь лег на тахту. Прислушался к тишине. Потом привычно позвал:

— Кис-кис... — И вспомнил, что Федот остался у Максима.

## Стенка

Как будто от мамы что-то можно было скрыть!

Она сразу поняла, что в доме неладно. Сразу спросила у Журки, что случилось. Журка, однако, ответил:

— Ничего. Все нормально. — И поскорее сел за уроки. Он твердо решил ничего-ничего не говорить.

Мама больше не расспрашивала его. Но вечером, когда Журка лег, она взялась за отца. Журка, засыпая, смутно слышал их голоса. Один раз он отчетливо разобрал мамин гневный вскрик:

— Ну что же ты за зверь!

Отец, вопреки обыкновению, отвечал тихо и, кажется, виновато.

«Так тебе и надо», — мстительно подумал Журка и не стал прислушиваться, заснул.

...Утром его не будили, было воскресенье. Проснулся он поздно, со скукой взглянул на пасмурное окно, лениво сел, спустил ноги. Стал думать: идти с утра к Иринке или сесть за книжку. Но это были поверхностные мысли. А в глубине вертелась беспокойная мысль, что предстоит разговор с мамой. Маме бы лучше не волноваться, но куда денешься?

Мама осторожно вошла. Села рядом. Журка сразу понял, что она знает все. Зябко свел плечи. Мама осторожно потрогала на его затылке завитки волос. Тихонько спросила:

— Ну что? Плохо, да?

Журка сразу понял, о чем речь. Обида опять колыхнулась в нем, и он сказал нарочно спокойным голосом:

— По-всякому. Одно плохо, другое хорошо...

— Я про папу. Как вы с ним...

— А с ним не плохо и не хорошо, — холодно проговорил Журка и стал смотреть в окно. — Сначала было плохо, а теперь... никак.

— То есть будто и нет его?

Журка пожал плечами:

— Почему? Он, конечно, есть. Но мне все равно.

— Журка, ну нельзя же так! Он же твой папа...

— Да... А что же теперь делать? — негромко сказал Журка, потому что и в самом деле не знал, что делать. Он подтянул коленки, уперся в них подбородком и быстро, украдкой взглянул на маму. Спросил с надеждой:

— А может... я не его сын?

— Что? — Мама наклонилась к Журке, и он увидел, что она не знает, засмеяться или рассердиться. — Ты что городишь, дуралей?..

— Ну... ты же говорила сама, что я весь в тебя, а на него ни капельки не похож. Ничего общего...

Мама притянула Журку к себе, посидела молча. Потом серьезно сказала:

— Есть у вас общее...

— Что?

— Ваше самолюбие. У обоих одинаковое. Гордость...

Журка подумал над этими словами. Честно подумал,

а не так, чтобы сразу сказать плохое. Но, подумав, беспощадно сказал:

— У него не самолюбие, а злость... И какая там гордость? Книжку унес потихоньку и даже сказать побоялся. А я потом хоть сквозь землю...

— Но он же не знал! Журка!.. Ты пойми, что он совсем по-другому смотрел на это. Думал, что эти книжки для тебя — как игрушки для малыша: сперва поиграешь, а потом надоест, и забудешь. А если забыл про старую игрушку, зачем напоминать? Взял и унес.. Помнишь, как я твои старые машинки в кладовку прятала? Если ты не видел, то и не вспоминал, а как увидишь — вцепишься: жалко!

— Это совсем другое дело...

— Но папа-то не знал, что другое. Он просто тебя не понимал. А ты его. Ты ведь его тоже очень обидел.

— Ну да! — вскипел Журка. — На свои обиды у него есть гордость! А меня можно, как... бумажную куклу...

— Почему куклу?

Журка сказал неожиданно осипшим голосом:

— А помнишь, когда я маленький был, ты мне разных куколок вырезала из бумаги? А для них одежду бумажную, чтобы наряжать по-всякому... Ну вот, он меня как такого бумажного человечка — будто скомкал и в слякоть затоптал...

Мама долго молчала. Журка, чтобы спрятать заблестевшие глаза, стал натягивать через голову рубашку. Из-под рубашки проговорил:

— Я знаю, что сперва был виноват... Потому что так сказал... Но он на меня, как будто я самый страшный враг...

— Он горячий... И он же не думал, что это так закончится! Ему в детстве сколько раз попадало от родителей, и он никуда не бегал. Вот и сейчас не понял: что тут страшного?..

— «Страшного»... — усмехнулся Журка. — Он решил, что я его испугался, да? Я не поэтому ушел.

— Я ему объяснила... Но не у всех ведь так, Журка. Вот Горьку отец взгреет, а назавтра они вместе на рыбалку едут. А разве Горька хуже тебя? Или у него меньше гордости?

Журка подумал и пожал плечами.

— Разве я думаю, что он хуже? Просто... он такой, а я такой.

— Какой же? — осторожно спросила мама.

— Я?

— Да нет, Горька. — Мама чуть улыбнулась. — Тебя-то я знаю.

— А он... Ты говоришь с отцом на рыбалку. Ну и что? А как двойку получит, заранее анальгин глотает, чтобы дома не так больно было... Ему главное, чтоб не очень больно, а кто лупит — ему все равно. Хоть отец, хоть враги...

— Ну какие у вас с Горькой враги?

— Мало ли какие... Меня летом одна компания в плен поймала, хотели отлупить. Ну, это понятно было бы. Хоть плохо, но не обидно... А тут все наоборот: отец... вон как меня, а Капрал... это их атаман... он меня на улице встретил и куртку свою дал. Даже домой к себе звал...

— И все на свете перепуталось. Да? — сказала мама. — Ну, что же... А знаешь, милый, во всей этой истории есть какая-то польза.

— Да?! — вскинулся Журка. И вдруг вспомнил, как плевал на дверь красной слюной. И отодвинулся от мамы.

— Да, — вздохнула мама. — По крайней мере, ты знаешь теперь, какая бывает боль.

Журка вздрогнул, но сказал пренебрежительно:

— Да что боль... Губу закусил, вот и все.

— Я не про такую боль. Я про то, как плохо, если родной человек обижает, а враг жалеет. Когда сердце болит... Такое ведь тоже случается в жизни, это надо знать. А ты до сих пор жил, как счастливый принц.

— Почему это?

— Был на свете писатель Оскар Уайльд и написал он сказку о счастливом принце, который жил в своем прекрасном дворце, за высокой стеной, и не ведал о людском горе...

— Сказку я читал, — перебил Журка. — Вон сказки Уайльда на полке. Дедушкины...

— Ох, а я и не знала...

— А при чем здесь этот принц?

Мама задумчиво сказала:

— Да потому что жил ты, мой Журавлик, до сих пор спокойно и счастливо. Бегал, играл, в школу ходил, и никаких несчастий у тебя не было. Так, пустяки всякие... Ты даже (тьфу-тьфу!) не болел никогда слишком сильно, только ангиной... С людьми бывает столько всяких бед, а ты до этого случая никакого горя не испытывал...

— Испытывал, — прошептал Журка. — Ромка...

— Да... Ромка. Верно... Только ты все равно не видел, как это страшно. По-моему, тебе до сих пор кажется, что Ромка просто далеко-далеко уехал.

— Нет, — возразил Журка и опустил голову. Потому что в глубине души почувствовал, что мама в чем-то права. И он сказал: — Кажется иногда... Ну и что? Разве это плохо?

— Нет, не плохо. Я просто говорю, что это сделало твое горе не таким сильным. И к тому же оно у тебя было единственным в жизни.

— А дедушка...

— А что дедушка? Ты его не очень-то и знал. Всплакнул немного, вот и все...

— Это сначала... А потом не так... — тихо сказал Журка. — Когда письмо прочитал...

— Какое письмо?

Журка встал, снял с полки «Трех мушкетеров», вынул длинный конверт. Не глядя, протянул маме. Потом стал медленно застегивать рубашку и слышал, как мама шелестит бумагой.

Наконец она сказала:

— Вот какой у тебя дедушка... А что же ты мне раньше не показал письмо?

Журка, чувствуя какую-то виноватость, шевельнул плечом:

— Не знаю... Не получалось.

— Да... Ты взрослеешь, — со вздохом сказала мама. И вдруг предложила: — Давай покажем это папе.

— Еще чего! — взвился Журка.

— Зря ты не хочешь. Он бы сразу многое понял. Он ведь тоже мучится...

— Ничего бы он не понял. И ничего он не мучится, — жестоко сказал Журка.

— Не говори так. Он же тебя очень любит...

— Да?

— Не надо смеяться... Время пройдет, и все уляжется. И вы помиритесь.

— «Помиритесь», — отозвался Журка. — Как во дворе. Поспорили, когда играли, потом помирились...

— А как же иначе? Как жить дальше? Врагами? А я что буду делать? Я вас обоих люблю, — жалобно, как девочка, сказала мама.

Эта жалобность смутила Журку. Но что он мог с собой сделать? Он отвернулся, запрыгал, натягивая брюки, и проговорил:

— Ты, мама, не волнуйся. Вражды не будет. Все будет... спокойно.

В самом деле, все было спокойно. Будто ничего не случилось. Журка говорил отцу «доброе утро» и «спокойной ночи». Вежливо отвечал, если тот о чем-нибудь спрашивал. Но смотрел при этом ему в лоб или в подбородок — мимо глаз. И никогда теперь Журке не пришло бы в голову сказать: «Папа, можно я поеду с тобой покататься?» Или с разбега прыгнуть ему на плечи (отец и раньше ворчал на него за такие трюки, но Журка только хохотал).

Сейчас будто встала между ними прозрачная, но абсолютно неразбиваемая стенка. Отец эту стенку, разумеется, чувствовал. Видно, она крепко мешала ему. Он пытался показать, что все в порядке, делался иногда слишком веселым и разговорчивым, но это его оживление как бы расплющивалось о броневое стекло. Тогда он мрачнел, начинал ворчать на пустяки, но и эта жалкая сердитость разбивалась у прозрачного щита. Журка во всех случаях оставался спокоен и вежлив. Отец, скрипнув зубами, уходил из дома или просто замолкал.

Мама все понимала, Журка видел, как ей плохо от такой жизни. Но сделать ничего не мог. И от этого была у него на сердце не сильная, но постоянная тяжесть. Однако человек привыкает ко всему, привык и Журка к этой тяжести. Привык, что вечера дома стали тише и молчаливее. Только к маминым печальным глазам привыкнуть было трудно.

Мама больше не говорила с Журкой об отце. То ли понимала, что бесполезно, то ли ждала чего-то. А время шло. И жизнь — хотя и не такая хорошая, как раньше, — тоже шла. Были школьные заботы, была Иринка, был Горька, который уже совсем не помнил про обиду... Давно уже переселился домой Федот, потолстевший и окончательно облинившийся в доме у Лидии Сергеевны. Прошел наконец сбор, на котором Журка рассказал об Олаудахе Экиано, а Иринка показала на экране рисунки Игоря Дмитриевича. Хороший получился сбор, его потом повторили еще для пятого «Б». Наступили Октябрьские праздники и каникулы — и тоже прошли. В середине ноября выпал большой снег.

Когда на смену долгой, надоевшей осени приходит сверкающая зима, кажется, что в жизни открылась новая страница. Показалось так и Журке. Но ненадолго. Потому что с отцом у них все было по-прежнему. Стенка...

Однажды под вечер отец привез новый кухонный шкафчик. Красивый, с голубыми пластмассовыми дверцами. Мама обрадовалась. Отец электродрелью просверлил в кирпичной стене отверстия, забил деревянные пробки, вогнал в них шурупы. Потом стал навешивать шкаф и позвал на помощь Журку. Журка молча стал поддерживать шкаф плечом.

Отец с натугой сказал:

— Что-то не нравится мне правый шуруп. Не до конца вошел, а дальше не лезет, отвертка паршивая. Юрий, принеси из ящика ту, что с деревянной ручкой. Поживей...

— Хорошо, — ровным голосом ответил Журка. — Только, пожалуйста, придержи мой край, а то шкаф может сорваться.

Он принес отвертку и аккуратно, рукояткой вперед, протянул ее отцу. А сам смотрел на латунные ручки шкафа...

Отвертка вдруг со стуком полетела в угол.

— К черту! — сказал отец. Сорвавшийся шкаф косо повис на одном шурупе. Журка отшатнулся — не от страха, а от неожиданности.

— Идите вы все! — с той же злостью сказал отец. Шагнул к окну, смял занавески, вцепился в косяки, уткнулся лбом в стекло.

Тут же появилась в кухне мама.

— Что случилось?

Отец молчал, его пальцы на косяках побелели. Мама повернулась к Журке:

— Юрик, что произошло?

— Я не знаю, — сказал Журка, хотя знал. Понял. И мстительные струнки ощутимо зазвенели в нем. Очень-очень спокойно он проговорил:

— Кажется, папа чем-то недоволен. Папа, я сделал что-то не так?

Отец размашисто повернулся. Журка снова отчетливо увидел на белых скулах пороховые точки.

— Вы... — коротко дыша, сказал отец. — Думаете, я не вижу? Я же для вас... Кто? Я все для дома, башкой бьюсь, вкалываю, как лошадь, за три месяца ста грамм не выпил, а вы...

— Саша, перестань, — быстро сказала мама.

— Что перестань? — С неприятным визгом спросил он. — Вы же со мной как с чужим! Живу как в холодильнике, хоть домой не приходи! Уйду я к лешему, ну вас...

Журка поднял отвертку и тихо положил на стол. Сказал:

— Раз я пока не нужен, я пойду учить уроки.

Пришел в свою комнату, сел к секретеру и стал перелистывать учебник ботаники. Просто так...

Из кухни долетали обрывки разговора. Вернее, обрывки маминых фраз. А то, что кричал отец, Журка слышал полностью.

— Теперь мне что, на пузе перед ним ползать?! Как побитому псу?!

Мама, кажется, сказала, что побитый-то не он, не отец, а наоборот.

— Надо же, беда какая! Всю жизнь будет помнить? С другими еще не так бывает...

— С другими — это с другими, — сказала мама.

— Ну конечно! А вы особые! Тонкая кость, нежное воспитание! А я бык, дубина неотесанная! Знай свою баранку...

Журка хмуро усмехнулся. Отец и раньше, если злился, любил говорить, что где, мол, ему, необразованному шоферюге, до мамы с ее художественными вкусами. Мама иногда смеялась, а иногда отвечала, что сам виноват: не надо было бросать учебу в техникуме. Кажется, и сейчас так сказала.

— Ну и что техникум?! — крикнул отец. — Ну и кончил бы! Это все без разницы! Технарь, он все равно технарь! Это вы — интеллигенция...

Мама что-то ответила. Потом Журка услышал ее шаги: она шла в Журкину комнату.

Он замер над учебником.

Мама вошла, постояла за Журкиной спиной и тихо спросила:

— Неужели тебе его ни капельки не жаль?

Журка чуть шевельнулся. Жаль?.. Если бы отец вдруг подошел, сказал бы: «Юрка, ну что же ты? Мне ведь тоже не сладко, я сам не понимаю, как это случилось. Юрка, давай будем как раньше...» — тогда, может быть, по броневому стеклу прошла бы трещинка. Только отец этого не сделает... А такого его, как сейчас, было не жаль.

Мама устало села на тахту. Журка насупленно спросил:

— А что ему от меня надо? Я его слушаюсь, не грублю...

— Ты над ним издеваешься.

— Я?! — Журка резко повернулся вместе со стулом. — А не наоборот?

— Но то, что случилось, это один раз! Нельзя же из-за этого калечить всю жизнь...

— Я ничего не калечу, — тихо, но упрямо произнес Журка. — Но обниматься с ним я не могу... Мама, можно я к Иринке схожу? Я обещал...

Он пошел к двери. Но мама сказала вслед:

— Подожди.

Журка остановился у порога. Заметил на крашеном косяке ржавое пятнышко и начал тереть его помусоленным пальцем.

— Журка-Журка, что же дальше-то будет? — спросила мама.

«Я не знаю», — подумал Журка, но ответить не решился.

Мама сказала с прорвавшейся досадой:

— Сил моих нет с вами... Ну, что ты молчишь? Повернись! Что ты там скребешь?

Журка не повернулся. Он ответил:

— Я не скребу, я оттираю. Пятнышко. Это с того дня осталось... когда я тут кровью плевал...

Вернувшись от Иринки, Журка увидел, что дома будто все в порядке. Шкаф висел как надо, мама и отец разговаривали спокойно, даже весело. Это обрадовало Журку, потому что его грызла тревога за маму. И такое чувство, будто он обидел ее. Не хотел, а обидел.

Чтобы прогнать эту виноватость, Журка заговорил с мамой о каких-то пустяках, и она ответила ему с улыбкой. Тогда Журка успокоился...

Прошло два дня, и отец сообщил, что уезжает в командировку. Его попросили участвовать в каком-то дальнем перегоне.

— Проветрюсь, — небрежно сказал он. — Да и подзаработаю, кстати...

Мама вздохнула и посмотрела на Журку. Журка отвел глаза...

Без отца жизнь пошла ровно и почти беззаботно. Появились в жизни новые радости. Склоны Маковой горы укрыл плотный снег, и Журка с Иринкой, Горькой и другими ребятами почти каждый день катался там то на санках, то на лыжах. До сумерек. Потом Журка с Горькой провожали Иринку, заходили к ней, и Вера Вячеславовна поила их чаем, пока обледенелые куртки оттаивали в коридоре. Вечером Журка и Горька, приткнувшись у Журкиного секретера, готовили уроки. Мама говорила, что уроки делать надо днем, иначе это кончится сплошными тройками, а то и двойками за полугодие. Журка обстоятельно доказывал, что «ничего не кончится», а Горька виновато вздыхал и сдувал у него задачки...

Отец вернулся в начале декабря. Веселый, шумный. Обнял маму, взглянул на Журку. Вот тут бы ему сказать: «Юрик, шоференок ты мой... Давай забудем все плохое...» Но он с тем же веселым лицом облапил Журку, колюче поцеловал в щеку. И Журка, ощутив на себе хватку крепких рук, закостенел под этим поцелуем.

Но отец ничего не заметил.

Или сделал вид, что не заметил?

Взглядом соскучившегося хозяина отец оглядел комнату, с хрустом шевельнул плечами, бодро сказал:

— Ну вот, люди, теперь можно покупать цветной телевизор. Как вы на это смотрите?

Мама умоляюще взглянула на Журку. И ему стало очень жаль ее. Чтобы не делать ей новых огорчений, Журка сказал:

— А чего ж... Цветной — это здорово.

Он увидел, как обрадовалась мама. Чтобы закрепить эту радость, Журка сделал усилие: посмотрел отцу в глаза и спросил:

— А какую марку ты выберешь?

— Ха! Какую марку! — чересчур возбужденно откликнулся отец. — Это уж какая будет в продаже! Конечно, надо получше...

Тогда Журка бросил взгляд на счастливую маму и сказал как можно беззаботнее:

— Хорошо бы купить к Новому году. В каникулы всегда такие передачи... Особенно мультики...

Он постарался, чтобы мама не увидела его виноватых глаз. И она от радости, кажется, не заметила Журкиной лжи. А ложь была, потому что цветной телевизор — это,

конечно, хорошо, но счастья он не прибавит. И лучше бы отец не стискивал Журку и не тыкался ему в щеку сухим ртом и колючим подбородком...

Журка выскользнул в свою комнату и передернул плечами. Подошел к окну. За двойными стеклами падал на развилку тополя теплый ласковый снег. Он падал сейчас на весь город. Укрывал мягкими шапками старую церковь на вершине Маковой горы, сыпался на склоны.

Там, на склонах, среди разноцветных ребячьих курток и шапок, наверно, мелькал уже вязаный оранжевый колпачок Иринки... Журка вышел в коридор и стал вытаскивать из-за полки с обувью санки...

Часть третья

# Еще одна сказка о Золушке

## Сверкающая туфелька

Вера Вячеславовна весело шила из мешковины маленькое разлохмаченное платье. Она была довольна: только что Игорь выставил своего приятеля Иннокентия. Тот пришел и начал звать Игоря к себе в мастерскую «проветриться и посмотреть новые работы». А Игорь сказал:

— Не могу. Ответственный заказ...

Он мазал клеем и посыпал осколками елочных шариков остроносую туфельку. Иннокентий вытаращил глаза:

— Ты чего это сотворяешь?

— Дочка в Золушки подалась. Требует срочно костюм и хрустальные башмаки. Так что уж извини...

Иннокентий обиженно повздыхал и ушел. Игорь поставил на ладонь узкий башмачок и поднес к лампе. От башмачка метнулись тонкие разноцветные лучи.

Из другой комнаты просунула голову Иринка.

— Ой какая прелесть! Папочка, дай посмотреть! — Она подлетела к столу, протянула руки.

— Подожди, не тронь. Пусть подсохнет... И потом, осторожнее с ней, не порежься осколками.

Иринка убрала за спину руки, а лицо придвинула к туфельке. Вера Вячеславовна увидела, как по Иринкиным щекам словно разлетелись цветные бабочки...

— Папа, а вторую скоро сделаешь?

— Вторую? Здрасьте, а зачем? Ведь Золушка ее потеряла.

— А Принц-то нашел! Она у Принца будет.

— Ах да! Про него я и забыл...

— Кстати, Принц что-то сегодня задерживается, — заметила Вера Вячеславовна. — Поздно уже, и холод такой...

— Придет, придет, — Игорь Дмитриевич весело взглянул на дочь. — Сквозь тьму, мороз и вьюгу. Все равно доберется до Золушкиной хижины.

Иринка фыркнула:

— Вы еще подразнитесь: «Жених и невеста»... — Она, конечно, не знала, что такие же слова осенью Журка говорил Горьке. — Будто первоклассники. Не стыдно?

— Стыдно. Мы больше не будем, — поспешно раскаялась Вера Вячеславовна. И укоризненно посмотрела на мужа.

— Придется для искупления вины делать второй башмак, — вздохнул тот. — Вот работка... Эге, там звонят! Ришка, открой.

— Папа, лучше ты. Видишь, я платье примеряю.

Когда разгоревшийся от мороза Журка вошел в комнату, Иринка уже стояла в платье из мешковины (еще не дошитом) и осторожно держала у груди сверкающий башмачок. Волосы ее были весело растрепаны. Она нетерпеливо глянула на Журку.

— Ну как?

— Ничего, — снисходительно сказал Журка. — Вполне Золушка. Еще нос помажешь углем да веник возьмешь, и тогда — в точности...

— Их высочество боится, что я перепачкаю его сажей, — хмыкнула Иринка.

— А вот и не боюсь. У меня костюм из черного бархата.

— Уже готов? — спросила Вера Вячеславовна.

— Мама дошивает.

Это Иринка придумала, чтобы они на карнавале были

Золушкой и Принцем. Журка сперва отказывался. Ему не нравилась дурацкая мода средневековых принцев, которые ходили в бархате, в девчоночьих колготках и кружевах. А самое главное, у него уже был другой костюм — как у мальчишки из книги «Приключения юнги»: белая матроска, тельняшка, настоящая бескозырка. Мама в старые школьные брюки вставила клинья, и получились матросские клеши. Егор Гладков обещал дать на время ремень с якорем на пряжке. Журка уже сделал флажки и выучил, как сигналить семафорной азбукой слова «С Новым годом!».

И тут Иринке пришла фантазия стать героиней старой сказки! А какая Золушка без Принца?

Журка сперва ее очень отговаривал. Предлагал тоже одеться юнгой. Обещал сделать вторую пару флажков, чтобы на празднике обмениваться сигналами. Говорил, что золушки и принцы уже всем надоели. Но Иринка уперлась.

Журка в сердцах сказал:

— Ну, еще ладно, если ты бы стала Золушкой, которая уже сделалась принцессой. А чего тебе охота в лохмотья наряжаться?

Они вели спор на уроке истории, сердитым шепотом. С опаской поглядывали на Маргариту Васильевну, которая что-то объясняла у карты.

— Ты бестолковый какой-то, — прошептала Иринка. — Золушка на балу, когда она уже принцесса, — она красавица. А я кто?

— Кто?

— Скажешь, я красивая?

Журка досадливо засопел: опять она об этом. Нет, она не была красивая. Но она была... как Иринка. И ничего, что зубы пилой и что конопушки. Все равно хорошая. Только про это как говорить? Тем более что Маргарита уже несколько раз косилась на них и от недовольства слегка наливалась помидорным соком.

И чтобы спастись от дальнейших разговоров, Журка пробормотал:

— Ну, ладно, ладно, буду Принцем. Тебя все равно не переспорить...

Мама, конечно, очень обрадовалась, узнав об Иринкиных планах. Она распорола старое бархатное платье, отыскала в своих ящиках серебряный галун и кружева, набросала на листе эскиз костюма и села за шитье. Она истосковалась по такой работе. Последний раз до этого она

шила театральные костюмы еще в Картинске, для молодежного спектакля «Сирано де Бержерак».

Сначала Журка без восторга смотрел, как неровные куски материи превращаются в одеяние королевского сына. Но мама радовалась, и он, чтобы не обидеть ее, тоже старался радоваться. А потом увидел, что костюм и в самом деле красивый. Журке показалось, что он похож в этом костюме на стремительного черного стрижа, который в полете для скорости прижимает к бокам узкие крылья.

Вместо бальных башмачков с бантиками, о которых Журка думал с тихой ненавистью, мама сшила из черной клеенки мягкие полусапожки. Она отделала их отвороты серебристыми полосками. Такими же полосками украсила края короткого плаща — черного с голубой подкладкой. К узкой курточке пришила витые синие шнуры, смастерила широкий кружевной воротник. Журка прикинул все это на себя и понял, что доволен.

А самое хорошее то, что принцу полагалась шпага. Она была почти настоящая: братья Лавенковы дали Журке обломок старой спортивной сабли — эспадрона. Для взрослого — обломок, а для Журки — в самый раз. Он начистил до серебряного блеска лезвие и щиток на рукояти, сделал из дюралевой трубки ножны, обмотал их черной блестящей изолентой, украсил жестяными звездочками. Из тонкого алюминия он смастерил шпоры и прицепил к сапожкам. А мама к этому времени сшила широкий бархатный берет.

Костюм понравился даже Горьке, хотя сначала к Иринкиной идее он отнесся пренебрежительно. Сказал, что девчонки помешались на Золушках и для другого у них просто не доросли мозги. Сам Горька делал костюм Гавроша. Работа была нехитрая: пришить на старые широкие штаны несколько заплат, прорвать дыры на рубахе да отыскать большую, чтоб на уши налезала, кепку. Главное-то не в этом. Главное, что у Горьки — Гавроша был пистолет. Очень похожий на старинный. Горька сделал его из деревяшки и обрезка широкой трубы. В трубу можно было вставлять хлопушку. Дернешь за нитку — пистолет грохает, из него летит пламя и цветные бумажные кружочки. Труба усиливала звук. Горька один раз пальнул у Журки дома, и обезумевший Федот с нехорошим воем заметался по дымной комнате...

Ну а Журкин костюм Горьке в самом деле понравился.

— Ничего, — сказал Горька, — смотришься... — Но тут же добавил слова, которые встревожили Журку: —

А Ирка-то что? Рехнулась? Ты вон какой... весь из себя королевский сын, а она в тряпье. Охота ей рядом с тобой выглядеть трубочистихой?

— Она же сама это придумала, — пробормотал Журка.

— Понятно, что сама. А зачем?

— Да я и сам не пойму...

На следующее утро Журка честно рассказал Иринке об этом разговоре. Но Иринка весело хмыкнула и ответила, что Горька и Журка — оба дурни. Простых вещей не понимают! Когда люди видят Золушку в лохмотьях, они знают, что все равно она станет принцессой. Значит, вся сказка у нее впереди.

Впрочем, и в платьице из мешковины Иринка была славная: веселая, ловкая, озорная, с забавными косичками, которые торчали одна вбок, другая вверх.

Оставалось придумать, что же Золушка и Принц будут делать на карнавале. Каждый, кто в костюме, должен был или стихи прочитать, или сценку сыграть какую-нибудь, или станцевать. Стихов про Золушку и Принца Иринка и Журка не знали, танцевать Журка не умел, а сценку... Как ее придумать? Оставалась надежда на Веронику Григорьевну.

Вероника Григорьевна преподавала литературу. Только не у пятиклассников, а в более старших классах. Но знали ее все. Она заведовала школьным драмкружком, устраивала для младших ребят литературные утренники, а кроме того, иногда заменяла у пятиклассников Анну Анатольевну, которая часто болела.

Выглядела Вероника Григорьевна внушительно: высокая, полная, с дремучими бровями, пегой косматой прической и решительным, как у римского полководца, подбородком. И голос у нее был подходящий для такой внешности — басовитый и рокочущий. Он прокатывался по всем этажам громом вагонных колес, когда Вероника Григорьевна созывала ребят:

— Эй, оболтусы мои ненаглядные! Пошли в класс, у меня к вам интересное дело!

«Оболтусы» — это ученики восьмого «А», где Вероника Григорьевна была классным руководителем. В этом классе учился Егор Гладков. Он говорил:

— Вероника — во! Лучше, чем она, учителей не бывает.

Журка про себя не соглашался: Лидия Сергеевна была,

без сомненья, лучше. Но Егора он понимал. В самом деле, Веронику Григорьевну все любили. Когда она приходила к пятиклассникам вместо Аннушки, ребята знали, что двойки никому не грозят и скуки на уроках не будет. Если кто-нибудь не мог ответить у доски, Вероника Григорьевна рокотала:

— Ох, оболтусы... Что же мне теперь, твой дневник двойкой украшать? Это по литературе-то? Русская литература, дорогие мои, существует на свете для того, чтобы доставлять людям радость, а не огорчения... Садись и к следующему уроку выучи так, чтобы не краснеть перед Пушкиным и Гоголем...

Потом она принималась что-нибудь рассказывать. Не всегда по плану урока, но обязательно интересное: про дуэль Пушкина и Дантеса, про то, как воевал на Севастопольских бастионах Лев Толстой, про старинные романы о рыцарях Круглого стола. Или про то, как со своими сыновьями Витькой и Борисом (тоже восьмиклассниками и «оболтусами») путешествовала по Прибалтике и Карелии.

Один раз Сашка Лавенков спросил:

— А почему ваши ребята не в нашей школе учатся?

Вероника Григорьевна замахала большими руками.

— Ну-ну-ну! Этого мне еще не хватало! Было бы здесь на двух оболтусов больше!

И, не смущаясь, рассказала, как накануне ее вызывали в школу номер семь по поводу милых Витеньки и Бори:

— Акселераты несчастные! С меня ростом, а устроили с подшефными третьеклассниками конный бой на перемене. Шкаф со спортивными кубками уронили, балбесы... И на кого! Хоть бы на учителя физкультуры, а то на музыканта!

Класс веселился...

Вероника Григорьевна была энергичным человеком. Когда приходилось устраивать в школе тематический вечер, выставку, встречу гостей или фестиваль искусств, Алла Геннадьевна обязательно звала ее на помощь. Сама Алла Геннадьевна была завуч. Точнее, заместитель директора по внеклассной работе. Она ходила по школе прямая, со сжатыми губами и постоянно чем-то раздосадованная. Обиженно блестели ее круглые очки — такие большие, что они напоминали эмблему, которую укрепляют на крышах свадебных такси. Если человек все время чем-то недоволен, разве он может устроить праздник? Поэтому и нужна была Вероника Григорьевна.

Устройство карнавала Вероника Григорьевна полностью взяла на себя. Поступила она очень хитро: участни-

ков будущего праздника приглашала к себе в литературный кабинет поодиночке или маленькими группами и придумывала с ребятами выступления. О чем они там договаривались, почти никто не знал. Ну и правильно! Надо, чтобы на карнавале все номера были неожиданными.

Иринку и Журку она попросила прийти в субботу в шесть вечера. С ними напросился и Горька. Увидев его, Вероника Григорьевна крякнула и насупила брови.

— А вам что надо, товарищ Гаврош Валохин? Стихи я тебе дала, о стрельбе договорились...

— Да пусть, — быстро сказал Журка. — Мы вместе, у нас друг от друга секретов нет.

Он заметил, как благодарно блеснули Горькины глаза.

Иринка и Журка торопливо переоделись. Она — в уголке за отодвинутым от стены шкафом, он — за ширмочкой из стульев и большого плаката с биографией Салтыкова-Щедрина. На узкой бархатной курточке сзади, под воротником, трудно было застегивать «молнию», и Журка окликнул Горьку, попросил помочь. Потом взял из сумки сверкающий башмачок и, смущаясь, вышел из-за плаката.

В эту же минуту — тоже смущенная и тоже с туфелькой в руках — вышла Иринка.

Они взглянули друг на друга, застеснялись еще больше, опустили головы и встали рядышком — в трех шагах от Вероники Григорьевны. Было тихо, только еле слышно звенела в трубах отопления вода, а где-то в отдаленном коридоре перекликались уходившие с продленки малыши. Журка переступил полусапожками — осторожно дзенькнули шпоры. Журка посмотрел на Веронику Григорьевну.

Она сидела, втиснувшись за ученический стол и подперев большими кулаками щеки. И как-то непонятно смотрела на Иринку и Журку. Журка вздохнул и опять дзенькнул шпорами. Не шевельнувшись, Вероника Григорьевна сказала:

— Слу-ушайте. Это же... Даже не знаю, как сказать...

— А что? — ревниво спросил из глубины кабинета Горька. Он переживал за Журку.

Вероника Григорьевна мигнула, качнула головой и крепко хлопнула себя по лбу. Коротко засмеялась:

— Вот ведь литератор! Не могу слов подобрать... В общем, вы, по-моему, готовые Золушка и Принц. Настоящие.

— Только мы не знаем, что делать на карнавале, — жалобно призналась Иринка.

— Вам не надо быть на карнавале. Вот в этих костюмах — не надо.

Журка оторопело уставился на Веронику Григорьевну. Иринка тоже. А Вероника Григорьевна произнесла таинственно и слегка торжественно:

— Друзья мои, я предлагаю вам заговор. Совершенно серьезно...

На темных стеклах искрились от ламп морозные узоры. Будто снаружи прижался к окнам засеребренный лес, в котором когда-то заблудилась Золушка. В словах Вероники Григорьевны была тайна. Горька настороженно шевельнулся в своем углу. Вероника Григорьевна бросила в его сторону быстрый взгляд. Негромко спросила:

— При нем все можно говорить?

— Можно, — разом сказали Журка с Иринкой.

— Тогда так... Начну издалека. Про себя. Я, дорогие мои, не всегда хотела быть учительницей. В молодости, страшно подумать, была у меня сумасшедшая мечта: сделаться писательницей. Да... Поэмы сочиняла, повести, даже роман один. Правда, ничего до конца не дописала, кроме нескольких стихов и одной сказки... Вот об этой сказке и речь. Она про Золушку. И про Принца.

Журка с Иринкой переглянулись. Вероника Григорьевна рассмеялась, как на уроке, когда рассказывала забавные истории.

— Вы, наверно, подумали: мало нам Шарля Перро и братьев Гримм! Еще одна появилась... сестрица Гримм! Да?

— Нет, что вы... — пробормотал Журка.

— Вы не думайте, что я просто переписала старую сказку. У меня там все по-другому. И честно говоря, эту свою «Золушку» я до сих пор люблю. И вот сейчас я на вас посмотрела, и появилась у меня нахальная идея: а что, если написать по этой сказке пьесу и поставить у нас в школе спектакль? А?

Журка с Иринкой опять посмотрели друг на друга. Все было так неожиданно. А Вероника Григорьевна, разгораясь «нахальной идеей», продолжала:

— Только к Новому году спектакль не подготовить. Самое близкое — это к весенним каникулам. И надо, чтобы всем был сюрприз. Вот поэтому и не следует Принцу и Золушке появляться на карнавале... Ну как, молодые люди? Согласны?

Журка не знал, согласен ли. Никогда он театром не увлекался. А Иринка? Она... она, кажется, была согласна изо всех сил. Она порозовела, опустила глаза, кончиком языка обвела губы и неловко спросила:

— А почему мы?.. Мы же не артисты... У вас же драматический кружок есть...

— Да там же все такие оболтусы, ростом с меня. Восьмой класс и старше! А в сказке у меня Золушка и Принц как раз такие, как вы, им по одиннадцать-двенадцать лет... Кстати, у них еще приятель есть такого же возраста — дворцовый шут. Странная личность, начисто лишенная чувства юмора.

— Это намек, что ли? — подал голос Горька.

— Да бог с тобой, Гаврошенька! Почему намек?

— А вчера, когда я стихи рассказывал, вы сказали, что у меня чувства юмора нет.

— Я уже забыла... А вообще-то у шута очень интересная роль... Ну что, добры молодцы, как моя идея?

— А у нас получится? — тихо спросила Иринка.

Вероника Григорьевна серьезно сказала:

— Вы уж мне поверьте, я сразу чувствую. Я же вам сказала: вы настоящие...

Иринка спросила у Журки одними губами:

— Давай?

Он улыбнулся ей:

— Давай... А на карнавал в морских костюмах пойдем. Я тебя семафорить за один вечер научу.

## Цветной телевизор

Карнавал получился замечательный. Иринка и Журка пришли одетые юнгами и лихо сигналили флажками новогодние поздравления. Горька читал стихи про бой с королевскими гвардейцами и палил из пистолета. Палил, пожалуй, лучше, чем читал, но ему хлопали и за то, и за другое. Сашка и Вовка Лавенковы изображали Карлсона и Малыша. Сашка для этого затолкал под широкий клетчатый пиджак две подушки и приладил к спине вентилятор с батарейкой, а Вовке ничего особенного и не понадобилось: джинсы, пестрая рубашка — вот он и Малыш. Были еще космонавты, Буратино, Чиполлино, страшный гоголевский Вий, одноногий Сильвер из «Острова сокровищ». Митька Бурин явился в богатырских доспехах, заявил, что он Илья Муромец, и устроил бой с шестиклассником Вовкой Графовым — тот махал крыльями из лохмотьев, пускал изо рта дым и свистел, как настоящий Соловей-разбойник. Битва получилась нешуточная, даже запахло скандалом: из-за дыма, которого набралось больше, чем хотелось бы...

А потом были каникулы — такое снежное, беззаботно летящее время. Катанье на лыжах и санках с Маковой горы, ледяная крепость на пустыре, спектакль «Синяя птица» в ТЮЗе, веселые вечера у Иринки, когда вместе с Игорем Дмитриевичем придумывали декорации к «Золушке»... А если нагулялся и устал, можно включить телевизор — и смотри сколько хочешь. Программа на каникулах была такая, что сиди у экрана хоть с утра до вечера.

Правда, цветного телевизора все еще не было. Отец бодро говорил, что «дело движется» и скоро «все будет о'кэй». При этом он смотрел на Журку, словно приглашал порадоваться вместе. Журка отводил глаза и не отвечал. Повисало молчание. У мамы опускались руки, и она смотрела то на Журку, то на отца, словно спрашивала: «Ну сколько же можно быть чужими?» И чтобы она не мучилась, Журка выдавливал что-нибудь такое:

— А чего спешить... И этот неплохо работает...

Цветной телевизор появился после каникул, в середине января. Однажды под вечер Журка явился от Иринки и услышал в комнате шум, веселые голоса и песню.

На месте старого телевизора стоял новый — большущий, на тонких растопыренных ногах. Мама стояла над ним, согнувшись, как над стиральной машиной. Отец, сидя на корточках, двигал рычажки и крутил регуляторы. На выпуклом экране, дергаясь то ли от помех, то ли от вдохновения, рвали струны электрогитар волосатые парни в алых рубашках. Рубашки были нестерпимо огненные. Гитары — разноцветные.

— Вот это палитра. Как у Иринкиного папы, — сказал Журка.

Мама и отец повернули к нему веселые лица. Отец спросил:

— Ничего машина, а?

Журка видел, как в маминых глазах метнулось беспокойство. Сказал куда-то между мамой и отцом:

— Ничего. А какая марка?

— «Радуга-семь», — сообщил отец гордо, будто сам разработал эту систему.

Мама облегченно сказала:

— Саша, переключи на вторую программу. Мне показалось, там краски бледнее. Отчего это?

— Потому что местная студия. Халтурщики, — отозвался отец и защелкал переключателем.

Заметались полосы и зигзаги, потом на экране возникла

солидная розоволицая дама и сказала круглым авторитетным голосом:

— ...а вопрос этот совсем не простой. Одни говорят — школа, другие — семья, третьи — они сами. Едва ли можно ответить на это однозначно. Целый комплекс причин заставляет нас думать, что...

Дама была похожа на директоршу Журкиной школы — спокойную и несердитую Нину Семеновну. И говорила она, кажется, тоже что-то педагогическое...

— Давай переключим, — сказал отец. — Сейчас хоккей..

— Подожди, подожди, тут что-то интересное... — Мама взяла с телевизора газету с программой. — Что это за передача?.. Ага. «Подросток — проблемы и тревога». Журка, это про тебя...

— Разве я подросток? — сказал Журка.

— А кто же ты? — удивился отец.

Журка не ответил бы, но мама тоже смотрела вопросительно, и он сказал ей полушутя:

— Подросток — это во! Ростом с тебя. А я еще малое, недоразвитое дитя.

— Недоразвитое — это верно, — засмеялась мама и хотела взъерошить Журке волосы, но он увернулся. Опять взглянул на экран. Розовощекая тетя продолжала беседу:

— ...однако при всех спорах нельзя забывать, что без благотворного, здорового влияния семьи полноценное воспитание становится крайне затруднительным. А чему могут научить детей люди, которые забывают не только о своем отцовском и материнском долге, но зачастую вообще теряют человеческий облик?.. У нас есть кинопленка, отснятая недавно в городском медвытрезвителе. Чувство тревоги и возмущения вызывают эти кадры...

Журка увидел длинное помещение с барьером, скамейки вдоль стен, поникших людей на этих скамейках. Два милиционера с очень красными петлицами на шинелях вежливо вели какого-то дядьку — он заплетал ногами. Потом на экране возникло женское лицо — измятое морщинами, с маленьким беспомощным подбородком. В морщины скатывались и терялись в них мелкие слезинки. К мокрым от слез щекам прилипали кончики растрепанных волос. Слегка измененный, но знакомый голос розоволицей дамы произнес:

— Ее привели сюда по требованию соседей. Соседи же рассказали нам, что у этой женщины есть десятилетний

сын. Однако дома его в этот поздний час не оказалось... Скажите, пожалуйста, где сейчас ваш мальчик?

Плачущая женщина заморгала, на лице проступили тревога и жалость.

— Гуляет он, сыночек мой, к товарищу пошел... — хрипловато и бормочуще заговорила она. — Он вот придет, а я...

— А вас не беспокоило, почему его до сих пор нет дома? Неужели вам все равно, что с вашим сыном?

Лицо у женщины сморщилось, и слезы потекли сильнее.

— Как же все равно-то! — воскликнула она неожиданно тонким голосом. — Это же сыночек мой, я же его люблю, сыночка моего. Как же вы такое говорите! Ведь он же у меня один, сыночек-то...

Журка растерянно оглянулся на маму. В ее глазах — очень больших и слишком блестящих — встревоженно мигали два крошечных цветных экранчика. Мама сжала спинку стула и тихо сказала:

— Ну что же это... Разве можно показывать такое? Ведь она же мать... А если мальчик увидит? А что ему завтра скажут в школе?

Журка опять взглянул на экран и болезненно зажмурился — от мучительной неловкости и ощущения вины. У людей беда, а он смотрит по цветному телевизору, как кино.

«Переключите!» — хотел сказать он, но в горле нехорошо защекотало. Он открыл глаза и увидел на экране снова коридор со скамейками. По нему два человека с красными повязками вели высокого мужчину без шапки. Под лампочками блестяще отливали седые прядки. Мужчина резко дернул плечом, освободил из пальцев дружинника локоть и зло сказал:

— Не держи, я крепко стою. Вы еще ответите...

Что-то громко и возмущенно разъяснял голос дамы, ведущей передачу. Журка не понимал ни слова. Он закусил губу и беспомощно стиснул кулаки.

— Господи... — шепотом сказала мама. Журка понял, что она смотрит на него отчаянными глазами. Она тоже узнала. Человек без шапки был Иринкин отец.

Они с мамой досмотрели передачу до конца. Молча. Отец поворчал, что не дают смотреть хоккей, и ушел на кухню. Показывали каких-то стриженых парней, милиционеров, занесенную снегом спортивную площадку, потом

снова розовощекую даму, которая что-то объясняла. Журка не слушал. Он отчаянно боялся одного: вдруг еще раз покажут Игоря Дмитриевича.

Нет, не показали. Экран вдруг стал ярко-синим, по нему побежали зеленоватые волны, а потом вспыхнула желтая надпись: «Режиссер передачи Э. Кергелен».

Буквы сияли так ярко, что по синему полю экрана от них разлетались золотистые лучи.

«Кергелен, — машинально подумал Журка. — Это что-то южное. Кажется, в Индийском океане есть такой остров...»

В праздничном разноцветье экрана и букв было издевательство. Насмешка над Иринкиной бедой. Журка оттолкнул стул и вышел в прихожую. Мама поспешила за ним.

Журка стал торопливо натягивать пальто.

— Может быть, не надо?.. Сейчас не надо... — неуверенно сказала мама.

Журка досадливо мотнул головой. Надо! Черная молния беды ударила в Иринкиного отца. Значит, и в Иринку. А он будет сидеть дома? Кто тогда ее защитит?

От кого защищать, Журка не знал, но то, что должен бежать к Иринке, знал точно.

Он встретил Иринку в квартале от ее дома. И понял, что она вышла навстречу. Значит, догадалась, что Журка придет.

Они остановились под желтым неярким фонарем посреди заснеженного тротуара.

— Видел? — спросила Иринка и опустила голову.

— Видел, — виновато сказал Журка.

Они помолчали. Фонарь светил сквозь ветки большого клена. Клен был увешан гроздьями необлетающих крыльчатых семян. Ветки качались от снежного колючего ветерка. Их тени на тротуаре ходили туда-сюда, и казалось, что плавно ходит под ногами сам тротуар. От этого начинала кружиться голова.

— Ну зачем только люди эту водку выдумали! — беспомощно и отчаянно сказала Иринка. От ее губ отлетели клубки пара.

Журка переступил на утоптанном скрипучем снегу. Сердито спросил:

— Но за что его? Он же совсем не пьяный был! Просто шел...

— В том-то и дело, что не просто... — Иринка медленно шагнула, и Журка пошел рядом с ней. — Он все-таки выпил тогда. Это знаешь в какой день было? Перед каникулами, когда мы Веронике Григорьевне свои костюмы показывали... А на другое утро, помнишь, я такая хмурая была, а ты решил, что я за что-то на тебя дуюсь...

Журка не помнил, но кивнул. И спросил:

— А что случилось-то?

— Они тогда снежный городок на главной площади оформляли. Целая бригада из художественных мастерских... Понимаешь, там у всех подсобные помещения были, теплые вагончики — у строителей, у электриков. А художникам ничего не приготовили, никакой даже будочки. Ну, они перемерзли все и говорят: «Давайте, погреемся». Вот и пошли в соседнее кафе... Знаешь ведь, как они греются... А потом в троллейбусе...

— Что в троллейбусе?

— Контролерша стала билеты проверять. А папа по ошибке пробил не троллейбусный, а автобусный билет. Ну, она и раскричалась: «Седой уже, а обманываешь! Плати штраф!» А почему «обманываешь»? Автобусный билет даже дороже... Папа говорит: «Мне штраф не жалко, только зачем вы мои седые волосы задеваете? Покажите ваше удостоверение». А она: «Ах, тебе удостоверение! Водки нахлестался, а теперь хулиганишь! Милиция!..» Ну, вот и все... Мы с мамой целую ночь не спали, все его ждали...

— Это же несправедливо! Из-за какого-то билета!.. — возмущенно сказал Журка.

— А кому докажешь? Эти горластые тетки всегда правы. Помнишь, тогда на Горьку заорали: «Безбилетник, шпана, в милицию!» А у него билет просто за подкладку завалился.

Журка помнил. Он плюнул на снег.

— Кто таких только в контролеры пускает...

— И кто на студию пускает таких вот... которые такие передачи делают...

— Точно! А ты фамилию режиссера видела? Какой-то Кергелен.

Иринка сердито мотнула вязаной шапкой с пушистым шариком.

— Не видела... Мама заплакала, я сразу телевизор выключила.

Они подошли к Иринкиному подъезду.

— К нам, пожалуй, не надо сейчас, — неуверенно сказала Иринка. — Мама такая расстроенная...

— Я понимаю.

— Завтра в классе что будет... Папу ведь многие знают.

— Да ничего не будет. Эту передачу, наверно, никто и не смотрел, по первой программе хоккей шел.

— Кто-нибудь все равно смотрел.

— Ничего не будет, — повторил Журка. — Ты не бойся. Если кто что-нибудь скажет... я тогда... Ришка, ты ничуть не бойся, ясно?

Он впервые назвал ее Ришка. Про себя он так ее часто называл, а вслух стеснялся. А теперь сказал.

И она серьезно кивнула.

## Шумный день

Утром никто в классе не задел Иринку ни сочувствием, ни расспросами, ни насмешкой. Может быть, и в самом деле не видели передачу. А может быть, видели, но Иринкиного отца не узнали. А если кто-то узнал, то хватило ума промолчать.

К тому же класс будоражило другое событие: накануне арестовали Капрала.

Раньше Капрал учился в этой школе, и его многие знали. Да и не только по школе знали. Кое-кто жил с ним по соседству, а некоторые сталкивались на улице. Компания Капрала была широко известна в окрестностях.

Грабля, то есть Борька Сухоруков, который с Капралом был хорошо знаком, рассказывал про все, что случилось. Рассказывал охотно и даже с какой-то гордостью. В новогоднюю ночь подвыпивший Капрал гулял по улицам с приятелями и затеял драку. Он столкнулся с пареньком, курсантом летного училища, и сказал ему что-то обидное. Курсант оказался не робкого десятка и ответил. Тогда Капрал ударил его бутылкой по лицу. Потом компания убежала, а курсанта увезла «скорая». Оказалось, что у него на нижней челюсти трещина. В компании Капрала в ту ночь вместе со взрослыми парнями шатался Череп. Курсант, когда вышел из больницы, встретил Черепа на улице и узнал. Черепа задержали, а заодно Шкалика, который оказался рядом. Череп молчал, как бык, но Шкалик, хотя он попал в милицию случайно, разревелся и начал визжать: «Я ни при чем, меня там не было, это все Капрал, а меня опять ни за что...» Тут все стало ясно. Взяли Капрала.

Но, видать, кроме драки, за Капралом были и другие грехи, потому что на квартире у него сделали обыск.

— Много чего нашли, — значительно сказал Грабля. — И между прочим, знаете что? Марки, которые кто-то свистнул со школьной выставки...

Тут Журка вспомнил, что в каникулы в школе была выставка филателистов, и с нее кто-то увел два планшета с парагвайскими и либерийскими марками, на которых красовались старинные парусные корабли. Марки были замечательные, Журка разглядывал их с завистью. Говорят, когда они исчезли, в кабинете директора был скандал: приходили родители семиклассника — владельца этих марок — и грозили судом и милицией.

— Теперь ниточка потянется, — с многозначительным видом говорил Грабля. Поглядывал выше голов и постукивал по парте обкусанными ногтями. Судя по всему, Капрала он не очень жалел, а молчание внимательных слушателей было ему приятно. — Теперь кой-кого за жабры возьмут...

— Кого? — спросил маленький Дима Телегин.

— Кого надо. Следователь разберется...

Скорее всего, Грабля понятия не имел, кто стащил для Капрала марки. Но любопытному Димке Телегину казалось, что у Грабли можно что-то узнать. В классе он сидел позади Сухорукова и на уроке истории донимал его тихими, но упорными расспросами. Борька шепотом отругивался.

— Сухоруков! Ты прекратишь издеваться надо мной или нет? — громко произнесла Маргарита Васильевна.

— А че я сделал?

Маргарита Васильевна терпеть не могла Граблю. Он был прогульщик, двоечник и злостный нарушитель дисциплины. Он по всем показателям тянул пятый «А» в отстающие. Маргарита Васильевна не раз откровенно заявляла, что место Сухорукова не здесь, а в колонии. Она выражала надежду, что в конце концов туда он попадет. Кроме того, она терпеть не могла слов «че я сделал», если даже их произносили вполне благополучные ученики. А уж если этот Сухоруков...

Маргарита Васильевна сразу налилась помидорным соком и закричала:

— «Че» ты сделал? Срываешь урок, вот «че»! Марш из класса!

Грабле было не привыкать. Он стал медленно выбираться из-за парты.

— Шевелись, не тяни время! Нам заниматься надо!.. А ты куда, Телегин?

— Мы же вместе разговаривали, — сказал Димка. — Значит, я тоже...

Он был маленький, вертлявый и прилипчивый, но справедливый. И довольно храбрый.

— Сядь немедленно!

— Но раз мы вместе...

— Сядь, говорю! Нашел себе приятеля! Его давно спецшкола для трудных ждет!

— Уж как ждет. Прямо плачут там без меня, — сказал Грабля.

— Ты смотри сам не заплачь! — вскипела Маргарита Васильевна. — Герой! Вот разберут это дело с марками, посмотрим, кто заплачет, а кто засмеется!..

Все притихли.

— А я-то... при чем? — сбивчиво сказал Сухоруков.

— Там выяснят, «при чем», — слегка сбавляя тон, ответила Маргарита Васильевна.

Непонятно было: или она правда подозревает Граблю, или со зла наговорила лишнего. Но Грабля испугался. Обычно он разговаривал с учителями сидя, а сейчас встал. Даже побледнел чуть-чуть.

— Да я на каникулах и в школу не заходил!

— Разберутся, разберутся...

— А чего разбираться? — жалобно сказал Грабля.

«Какой ощипанный сразу стал», — подумал Журка. Граблю он не любил. Правда, к Журке Грабля никогда не приставал, да и вообще в своей школе не трогал ребят, даже младших, но все равно он был из «тех». Из тех, которые дежурят в кино, чтобы вытряхнуть у малыша гривенник или дать подножку. Из тех, у кого то ли от курева, то ли от равнодушия лицо будто присыпано серой пылью. Из тех, кто во время хорошего фильма вдруг начинает ржать, когда у тебя в горле щекочет от слез...

Но сейчас Грабля сделался не такой. Обыкновенный мальчишка стал, растерянный, даже маленький какой-то, не больше Димки.

А Маргарита, наоборот, будто выросла, набралась тяжелой правоты и силы. Борькин страх ей добавил уверенности.

— По крайней мере, именно ты больше всех был связан с этой воровской шайкой Капралова, — заявила она...

— Чего связан-то... — бормотнул Грабля.

«Он совсем не умеет доказывать правоту», — подумал

Журка. И в это время позади Журки раздался Горькин голос:

— А когда украли марки?

Маргарита Васильевна подумала и довольно благожелательно сказала:

— Пятого числа, после обеда... Ты что-то знаешь?

— Я знаю, — сказал Журка и встал. — И Валохин знает. — Он оглянулся на Горьку. — И многие... Сухоруков ничего украсть не мог. Он с обеда до вечера катался на санях, на Маковой горе.

— Откуда это тебе известно? — недовольно спросила Маргарита Васильевна.

— Потому что мы там тоже были. Валохин, Брандукова, я... И еще ребята... С утра в ТЮЗе, на «Синей птице», а потом до вечера на горе.

— В хорошей компании ты там резвился...

Журку кольнула злая досада: что Маргарита зря придирается?

— При чем тут компания? Просто на одной горе были. У него своя компания, у нас — своя...

— Вот именно! Так почему ты, Журавин, заступаешься за этого хулигана Сухорукова?

Журка мельком глянул на Граблю. Тот стоял уже более уверенно.

— Я не за него заступаюсь, а... ну просто потому, что он не виноват! Если бы виноват, я бы не заступался. А теперь получится, что на Сухорукова все свалят, а настоящего жулика не найдут.

— Не считай, что все взрослые глупее тебя, — отрезала Маргарита.

— Я не считаю, что все... — вырвалось у Журки, и он даже испугался.

Но в это время кто-то из девчонок перебил его:

— А может, вы не пятого катались?

— Ага! Или там был совсем не Грабля, — ехидно сказал Горька.

— Или вообще ничего не было. Ни пятого числа, ни горы, ни каникул, — подала голос Иринка.

— А чего! Может, правда все перепутали! — вмешался Толька Бердышев — балда и лентяй. Ему было безразлично, за кого заступаться: лишь бы подольше галдели, тогда авось не вызовут к доске.

— Чтобы все перепутать, надо быть малость больным, как Бердышев, — сердито ответила Иринка.

— Или малость пьяным, как твой папа, — сказал Бердышев.

Наступила резкая тишина. Секунд на пять. Потом все случилось очень быстро. Иринка рванулась в проход между партами со звоном залепила. Бердышеву учебником по щеке и выскочила из класса. Но все же она чуточку опоздала. Борька Сухоруков дотянулся до Тольки раньше и успел отвесить ему по загривку могучего леща. Поэтому Журка оказался только третьим. Он перелетел через парту с Лавенковым и Светкой Гарановой и кулаком врезал Тольке между лопаток. И выскочил следом за Иринкой.

Иринка стояла в конце коридора. Вцепилась в батарею и смотрела в окно. Коротко оглянулась на Журку. Глаза были блестящие, но сухие.

— Не вздумай зареветь, — сказал Журка.

— Не вздумаю, больно надо!..

Но она часто дышала, и Журка понял, что разреветься она все-таки может.

— Ришка, — сказал он, — Бердышев просто тупая свинья. А за тебя все ребята..

Подошли Сухоруков и Горька. Почему они здесь? Выскочили следом? Или Маргарита выставила? Грабля потоптался и неловко сказал:

— Спасибо, парни...

Ему не ответили, не до того было. Он вздохнул и отошел. Горька сообщил задумчиво.

— Я Бердышеву въехал по уху. Для комплекта.

Иринка вдруг сказала:

— Ох, ребята, будет нам теперь. И все из-за меня.

— Почему из-за тебя? — возмутился Журка. Но тут же почувствовал внутри противный холодок. Из-за Иринки или нет, а все равно «будет». Что ни говори, а устроили в классе свалку, самовольно ушли с урока. С Журкой такое случилось впервые.

Но он коротко вздохнул и храбро сказал:

— Пускай. Мы не виноваты.

Но, конечно, оказалось, что они виноваты. В безобразном поведении, в срыве урока и варварском избиении товарища. Именно так заявила Маргарита Васильевна, когда после пятого урока оставила своих питомцев на собрание — разобраться в их «чудовищных поступках». И ладно,

если бы разбиралась она одна. Покричала бы, записала бы в дневники — и топайте домой. В общем-то она была не злопамятная. Но едва началось собрание, появился Виктор Борисович.

— У-у, держись, ребята... — тихонько протянул Митька Бурин. А Журку слегка затошнило от противного страха: все знали, что Виктор Борисович — гроза и бич всяких нарушителей.

— Маргарита Васильевна, пригласите виновников происшествия к доске, — сухим голосом распорядился он и сжал рот в красную точку. Посмотрел, как Журка, Горька, Иринка и Грабля выбираются из-за парт, и повторил громче: — Да-да, к доске. Вот сюда! — он ткнул острым пальцем. — Вот на это место! Чтобы все видели паршивцев, которым не место в советской школе! — И взвизгнул: — Живо!

Они — что делать — стали у доски понурой шеренгой.

— Отвечайте! — крикнул Виктор Борисович.

Легко кричать «отвечайте». А на какой вопрос отвечать? Что говорить?

— Долго будем молчать? — вдруг совершенно успокоившись, поинтересовался Виктор Борисович. И по-мальчишечьи забегал вдоль шеренги. Тогда Журка услышал сумрачный Горькин голос:

— Чего отвечать-то?

— Молчать! — снова взвизгнул завуч. — Ничтожные болтуны! Отвечайте, как вы посмели! Да, *как вы посмели* устроить это надругательство над школьными правилами?

Надо было отвечать. Кто ответит? Горька? Но он ударил Бердышева последний. Грабля? Но с него какой спрос? Он врезал Тольке просто от благодарности к Иринке: потому что она заступилась перед Маргаритой. Сама Иринка ответит? А Журка, значит, будет прятаться за нее?

Журка поднял глаза:

— Потому что Бердышев обругал отца Брандуковой... — сказал он негромко, но, кажется, без дрожанья в голосе.

— Вот как! — язвительно воскликнул Виктор Борисович. И тут же торопливо вмешалась Маргарита Васильевна:

— Но послушай, Журавин, разве это правильно?.. Виктор Борисович, не волнуйтесь, у вас же сердце!.. Скажи нам, Журавин, разве можно в ответ на слова, которые тебе

не понравились, пускать в ход кулаки? Да еще так дружно и остервенело?

Она говорила спокойно, почти ласково, и Журка немного осмелел:

— Когда как...

— Что значит «когда как»? — Голос у нее слегка ожесточился. — Когда четверо на одного, на беззащитного товарища — можно? Тут и нервы позволено распускать, и руки? А если кто-то сильнее или взрослее, вы бы, наверно, вели себя с ним сдержаннее. Разве не так, Журавин? А?

Журка пожал плечами.

— Не знаю...

— Нет, знаешь! Со мной бы ты, наверно, не стал драться, если бы даже и обиделся. А?

«Мелет чепуху какую-то», — с досадой подумал Журка. И сказал устало:

— С женщинами не дерутся...

— Ах вот что! — опять взвизгнул Виктор Борисович. — Ты нахал! Дерзкий мальчишка! Значит, если бы Маргарита Васильевна не была женщиной, ты мог бы кинуться в драку? На своего наставника? На пе-да-го-га? Может быть, ты кинешься на меня?

«Что ему надо?» — тоскливо подумал Журка. В классе стало тихо. Видимо, вопрос завуча озадачил всех. И вдруг поднялся Сашка Лавенков. Сказал ясно так и ровно:

— Нет, ему на вас нельзя. Вот если наоборот — другое дело.

— Что?.. — озадаченно спросил Виктор Борисович. — Что наоборот?

— Я говорю, что вам, наверно, можно, — разъяснил Сашка, и в голосе его прорезался негромкий звон. — Возьмите его за ухо и головой о дверь. Как Вовку.

Было тихо, а стало еще тише. Виктор Борисович шелестящим шепотом сказал:

— Что? Как ты смеешь? Какой Вовка?

— Мой брат. Лавенков из третьего «Б», — разъяснил Сашка. — Вы, конечно, уже забыли. Он вчера бежал по коридору, а вы его за ухо хвать и в учительскую поволокли. И лбом о косяк.

Виктор Борисович коротко задохнулся:

— Ты... Ты... Это чудовищная клевета! Это... ин-си-нуация!

— Я не знаю, что такое эта ин... си... В общем, не знаю, — холодно ответил Сашка. — Только Вовка никогда

не плачет, а вчера пришел со слезами. И ухо болит до сих пор.

— Ты лжец!

— Нет, — сказал Сашка.

Он стоял прямой, спокойный. «Он совсем не боится, — подумал Журка. — Потому что у него есть брат. Он заступается за брата. Не страшно, если за брата... или за сестру...»

И Журка сказал:

— Лавенков не врет. Он вообще никогда не врет. Он командир нашего отряда.

Виктор Борисович дернул головой с гладкими бесцветными волосами и тонким пробором. Глянул не то на Журку, не то сквозь него и повернулся к Маргарите.

— Всем! — сказал он с частым придыханием. — Всем! Вот этим... и ему... — он ткнул в Лавенкова. — За третью четверть поведение «неудовлетворительно»! Всем! Я доложу сейчас директору!

Он почти бегом заспешил к выходу — маленький, худой, похожий на мгновенно состарившегося мальчика — и со стуком закрыл за собой дверь.

— Достукались, — горько сказала классу Маргарита Васильевна. — Пять «неудов» за четверть. Прекрасные показатели! Как ты думаешь, Лавенков?

— А почему пять? — Лавенкова, кажется, ничуть не тронул грозящий «неуд». — Бердышев, значит, ни в чем не виноват? Так и отсидится?

Все повернулись к Тольке. Он сидел, хлопая белыми ресницами. Будто хотел сказать: «А я-то при чем?»

— Разберемся и с Бердышевым, — неуверенно пообещала Маргарита Васильевна.

— А Лавенкову за что «неуд»? — спросил Журка.

— За безобразную грубость! — отрезала Маргарита.

— А-а! — протянул Димка Телегин. — Это значит, Санька сам таскал своего брата за ухо! А свалил на Виктора Борисовича.

— Телегин! Ты тоже хочешь заработать?

— А я не боюсь, — весело заявил Димка. — Подумаешь, поведение снизят. Пять лет впереди, сто раз еще исправлю.

— Это у тебя-то пять лет впереди? С такими-то замашками? Кто тебя возьмет в девятый класс? Как миленький отправишься в ПТУ.

— А что ПТУ? Штрафбат, что ли? — спросил Митька Бурин. — В некоторые училища конкурс, как в институты.

— В такие училища, дорогой мой... — начала Маргарита, но тут открылась дверь, и все вскочили: вошла директор Нина Семеновна.

— Садитесь, садитесь, ребята... Маргарита Васильевна, говорят, что-то веселенькое выкинули наши детки, а?

Она была добродушная, уверенная, не умеющая волноваться. А Маргарита заволновалась, как школьница:

— Да, Нина Семеновна, к сожалению. Вот эти... Сначала драка, потом...

— Знаю, знаю. Это и есть заводилы? Смотрите-ка, даже девочка. Ну и петухи...

— Виктор Борисович требует снизить им оценку за четверть, — зло, но неохотно произнесла Маргарита. Понятное дело — ей самой не хотелось, чтобы класс терял показатели.

На добром, домашнем лице Нины Семеновны проступила полуулыбка.

— Ну, это мы посмотрим. До конца четверти далеко, может быть, они исправятся. А, орлы?

Она, кажется, ожидала радостных обещаний, что да, исправятся. Но шеренга хмуро молчала. И Лавенков молчал. Однако это не обескуражило Нину Семеновну.

— Исправятся, — решила она. — А вы, Маргарита Васильевна, понаблюдайте. Разберитесь. Побеседуйте, если надо, с родителями.

Журка и Горька проводили Иринку до троллейбуса. Сначала шли молча. Потом Горька рассмеялся:

— А Бердыш-то ничего не понял!

— Что не понял? — удивился Журка.

— Он же ничего не знал про передачу, точно вам говорю... У него просто привычка такая — отругиваться. Не помните, что ли? Ему скажешь: «Ты дурак», а он: «Как твой папа» или «А у тебя мама горбатая»...

«А ведь верно», — подумал Журка.

— Все равно. Так ему и надо, — сказала Иринка.

— А Грабля-то как вскинулся! Я даже не ожидал, — вспомнил Горька.

Журка тоже подумал о Грабле, а потом о всей компании Капрала. И о самом Капрале. Было жаль его. Хоть и виноват, а все равно жаль. Потому что не забыть, как он шел рядом и укрывал Журку своей курткой. Но Журка не сказал об этом. Горька все равно не поймет. Он после той истории с бутылкой только плюется, услышав про Кап-

рала. А Иринка поймет, но вспомнит, что Капрал затеял драку, когда был пьяный. И значит, про отца вспомнит... Журка сказал озабоченно:

— Как бы Маргарита правда не пошла по родителям...

— Ну и пусть, — отозвалась Иринка. — Меня ругать не будут, меня мама с папой всегда понимают.

Журка посмотрел на нее укоризненно: «А Горька?» Тот будто услышал его мысль. Небрежно проговорил:

— Мне наплевать. Папаша от меня отступился, больше пальчиком не трогает.

«Вот это хорошо, — обрадованно подумал Журка. — Если только Горька не врет. Нет, кажется, не врет».

Иринка взглянула на Журку с беспокойством.

— А тебе не влетит?

— Мне? — удивился он. — За что? Думаешь, мама не поверит мне, если я все объясню?

— А... папа?

Журка скучным голосом сказал:

— Это меня не волнует.

### В маленьком королевстве

Наконец Вероника Григорьевна собрала будущих актеров, чтобы прочитать свою сказку. Кроме Журки, Иринки и Горьки в литературный кабинет пришли старшие ребята: девятиклассник Олег Ножкин, который собирался играть короля, высокие девчонки — мачеха и старшие сестры Золушки; восьмиклассники — им предстояло исполнять роли придворных. Среди них был и Егор Гладков — командир королевских гвардейцев.

Сели не за столами, а кружком. За окнами уже синел ранний вечер. Вероника Григорьевна шумно вздохнула:

— Что-то волнуюсь я, братцы. Ежели что не так, вы уж не очень ругайте...

Ее заверили, что все будет «так» и ругать не станут.

— Тогда ладно. Слушайте...

И вот какую историю узнали они в тот вечер.

Все это происходило в королевстве Унутрия. Точнее, Верхняя Унутрия. Не слыхали? Не удивительно. Это очень маленькое королевство. На свете существует много маленьких государств, о которых мы не знаем. Конечно, всякому известно, что есть карликовые княжества Монако и Лих-

тенштейн, крошечные республики Сан-Марино и Андорра, но про государство Сен-Винсент слышали уже не все, а о таких странах, как Южная Пальмовая Республика или государство Санта-Микаэла, знают, кажется, только ученые-географы. В школах эти государства не изучают. На картах их обозначают не названиями, а цифрами. Да и то не всегда.

Такая судьба и у королевства Верхняя Унутрия.

Когда-то оно было побольше и состояло из двух частей — Верхней и Нижней. Но потом Нижнюю Унутрию отвоевал у королей непокорный герцог Сан-Балконо, а Балконское герцогство завоевал еще кто-то, и половина королевства растворилась без следа среди других стран. Но Верхняя Унутрия существует до сих пор. Южная граница ее проходит по берегу Оранжевого моря. Сколько в королевстве жителей, точно не установлено. Какая территория, тоже трудно сказать. Известно только, что, если поехать вдоль границ Верхней Унутрии на велосипеде, вся дорога займет несколько часов. Есть даже официальные соревнования велосипедистов — они называются «гонки по Королевскому кольцу». Лучшее время в прошлом году показал учитель физкультуры из столичной средней школы. Он объехал королевство за четыре часа тринадцать минут и тридцать две секунды. Как видите, путь не очень длинный. К тому же надо учесть, что дорога, хоть и носит пышное название «Королевское кольцо», на самом деле довольно скверная. Кое-где спортсменам приходится тащить велосипеды на себе. А велосипеды, к слову сказать, очень громоздкие и неудобные: с маленьким задним колесом и громадным передним. Традиции старины и правила соревнования позволяют участвовать в гонках только на таких древних машинах.

Недавно министр Здоровья и Физкультуры на заседании Государственного совета потребовал, чтобы спортсмены соревновались на современных велосипедах. Но его не поддержали. Тогда министр сказал, что надо хотя бы заменить литые шины на старых драндулетах новыми, надувными. С ним согласился король. Но члены Государственного совета рассердились, и министру Здоровья и Физкультуры был объявлен выговор (правда, не строгий, а обыкновенный). А королю сделали замечание.

Министр Медных и Серебряных денег сказал, что соревнования на старинных велосипедах привлекают множество туристов из-за границы. А чем больше туристов, тем лучше для королевской казны. Смотреть же на обыкновенных

велосипедистов никто не станет. Старый премьер-министр Лео Гран-Градус добавил, что все должны уважать обычаи королевства, а не гоняться за модными новинками. Король смутился и закашлялся.

Короля звали Эдоардо Пятьдесят Четвертый. Всех королей в Верхней Унутрии звали Эдоардо, это тоже была традиция. Вот поэтому к нашему времени накопился такой счет. Король часто вздыхал и говорил:

— Хорошо было Петру Великому или, скажем, Наполеону Бонапарту. Или нашему Эдоардо Воинственному, основателю королевства. Они все были первые. А попробуй совершить что-нибудь историческое, когда ты пятьдесят четвертый...

Жизнь у короля была беспокойная. Страна маленькая, а хлопот хоть отбавляй. То сломался мост через речку Трех Волков и — «ваше величество, вас выбрали почетным руководителем ремонтной бригады», то забастовала королевская гвардия — требует позолотить парадные каски, а чем их позолотишь? То иностранные туристы написали жалобу, что в развалинах старой крепости не оказалось привидений, и требуют назад деньги за билеты. Скандал на все королевство!

Ни сна, ни отдыха, а зарплата у короля, между прочим, меньше, чем у любого из министров. Потому что считается: в Верхней Унутрии и так все принадлежит его величеству. Принадлежит-то принадлежит, а разве от этого легче? Если, скажем, износились королевские башмаки, не будешь ведь просить в обувной лавке бесплатно новые туфли. Или захотелось пирожного, а в карманах королевских панталон ни одного медяка? Конечно, хозяин кондитерской, что напротив дворца, будет закатывать глазки и восклицать: «Ах, ваше величество, какая радость, какая честь, что вы пришли! Нет-нет, забудьте о деньгах!» Но попробуй не расплатиться. Завтра же пойдут разговоры: «Король объедает своих подданных, король злоупотребляет служебным положением, король — тиран!»

От такой жизни у Эдоардо Пятьдесят Четвертого несколько раз со звоном лопалось терпение, и он требовал, чтобы его отпустили на пенсию. Но Государственный совет не отпускал, потому что не было замены. На престол разрешалось вступать лишь с двадцати двух лет, а наследный принц — будущий король Эдоардо Пятьдесят Пятый — до этого возраста еще недотянул.

Он был ничего принц, толковый. Носил титул Правителя Нью-Ахтенберга (такой городок под столицей), имел

звание лейтенанта королевской гвардии, был членом Государственного совета, но в короли никак не годился: его высочеству недавно стукнуло одиннадцать лет. Вместе с другими мальчишками и девчонками он учился в столичной средней школе. В пятом классе «D».

Сказка эта как раз и начинается с того, как однажды в понедельник его высочество вернулся из школы.

...Принц вошел во дворец и зашагал по сводчатым коридорам. Он отражался в высоких мутноватых зеркалах, которые стояли здесь со времен Эдоардо Тридцать Девятого. Над беретом принца сердито дергалось помятое страусовое перо. По законам Верхней Унутрии члены королевской семьи должны были ходить на работу и в школу в старинных придворных костюмах. Что делать, принц ворчал, но ходил. Однако сегодня его дворцовое одеяние выглядело не по-королевски... Бархатная курточка была в известке и пыли, шелковый чулок разорван на коленке, а широкий кружевной воротник словно драли недавно сердитые коты. Дыру на колене принц прикрывал старым портфелем с королевской монограммой, но ничем нельзя было прикрыть большой синяк под левым глазом, поэтому принц шагал торопливо и не отвечал на приветствия дежурных гвардейцев, которые стояли между зеркалами и салютовали его высочеству шпагами...

В комнате принца сидел насупленный королевский шут. Шуту было тоже одиннадцать лет, и они с принцем учились в одном классе. Но сегодня шут в школу не ходил: по понедельникам он дежурил во дворце.

Такая уж традиция: при дворе должен быть шут. Сын директора зоопарка Генрих фон Кваркус (по прозвищу Генка Петух) быть шутом не хотел, но его назначил на эту должность премьер-министр Лео Гран-Градус. Генрих упирался, говорил, что у него нет чувства юмора, но премьер пожаловался отцу Генриха, и тот пообещал надрать сыну уши: тогда, мол, чувство юмора появится. Что поделаешь, некоторые папаши готовы определить сына даже в шуты, лишь бы должность была придворная.

К своим обязанностям юный шут относился безобразно. Вернее, никак не относился. На голове не ходил, анекдотов не рассказывал и во время королевских обедов не сидел под столом и не кукарекал. Премьер сказал об этом королю, но тот ответил:

— Ну и шут с ним. При такой жизни все равно не до смеха...

Пока принц был в школе, шут сидел за старинной доской с шашками и лениво играл сам с собой в поддавки. Когда пришел Эдоардо, он оживился:

— Ого! Хорошую блямбу тебе поставили!

Чувства юмора у него не было, но чувство ехидства было.

Эдоардо засопел и швырнул портфель с такой силой, что в тронном зале, который был за стенкой, посыпалась штукатурка и покосился портрет Эдоардо Сорок Девятого, Великолепного.

— Что, ваше высочество, двойку схлопотал? — спросил шут Генрих насмешливо, но с некоторым сочувствием.

— По поведению, — буркнул принц.

Генрих присвистнул:

— Подрался?

— С Лизкой...

— Не с Лизкой, а с ее сиятельством юной герцогиней Шарлоттой-Элизабет де Бина, — наставительно сказал Генка Петух. — Учат тебя, учат дворцовому этикету, а толку... Чего не поделили?

— Да ну ее, ненормальную! Кто-то положил ей в парту заряд с пистонами, а она сразу на меня: «Эдька, это опять твои шуточки!» Я говорю: «Ты что, рехнулась?» А она: «Ах, кто вас воспитывал! Сразу видно, что ваш предок Эдоардо Воинственный был из пастухов!» Я ей сказал, что ее предки были из крокодилов. А она: «Ты просто завидуешь! Наши предки еще тысячу лет назад были владетелями замка Бина и носили фамилию с приставкой «де»... Ну, я и посоветовал ей сменить «де» на «ду»...

— Тут-то все и началось, — догадался шут.

— Она бросила в меня своим фамильным пеналом с серебряной крышкой. А я что, терпеть должен?

— С девочками драться нехорошо, — язвительно заметил Генрих.

— Девочка... Когти как у пумы. Воротник изодрала, в-ведьма... Переодеться бы, пока папа не пришел...

Но было поздно. Папа Эдоардо Пятьдесят Четвертый оказался легок на помине. Он бесшумно приоткрыл дверь и вошел в комнату.

Король был высокий, худощавый и слегка сгорбленный мужчина. Он кутался в плюшевый халат. Небольшая домашняя корона сидела на его лысеющей голове немного набекрень.

— Ну-с, ваше высочество, как дела? — бодро сказал он.

Принц кисло улыбнулся и пожал плечами. Мол, все по-старому, не о чем говорить.

— Дневничок бы посмотреть, — сказал папа, приглядываясь к синяку.

Эдоардо собрался наврать, что дневник взяли на проверку, но король уже заметил валявшийся у стены портфель. Поднял его и вытащил потрепанный дневник на свет.

«Сейчас начнется», — тоскливо подумал юный Эдоардо.

И началось.

— Эт-то что? — спросил папа-король.

— Что? — тихо спросил принц.

— Я тебя спрашиваю «что». Иди сюда. Иди, иди... Что здесь написано?

— Где?

— Здесь. Вот здесь. Вот-вот! Читай!

— Ну...

— Без всяких «ну»! Читай немедленно!

Эдоардо вздохнул и скучным голосом прочел:

— «Устроил безобразную драку на перемене. На уроке природоведения подложил под герцогиню де Бина кактус, похищенный с подоконника. Плюнул на герцогиню жеваной промокашкой. Поведение — два. Прошу ваше величество зайти в школу...» Папа, она первая полезла!

— Ма-алчать! — гаркнул его величество так, что шут упал с табурета. — Ма-алчать! — Он огрел наследного принца дневником между лопаток и топнул ногой. — Все! Будешь сидеть в комнате целую неделю! Никаких гуляний! Никаких футболов! Никаких телевизоров!

— Ну, папа...

— Никаких пап! — Он выдернул из телевизора предохранитель, подхватил с пола футбольный мяч и широко зашагал к двери. В дверях король оглянулся и грозно сказал шуту:

— А ты брысь отсюда!

— А че я сделал? — довольно нахально откликнулся Генрих.

— Ничего не сделал! Тунеядец! Два сапога пара! Марш из комнаты!

— У меня дежурство. Я обязан развлекать принца.

— Я вам поразвлекаюсь, — пообещал его величество. Он бросил мяч в коридор, взял шута под мышку и потащил к выходу.

— На маленького, да?! — заорал Генрих. — А еще ко-

роль называется! — Он возмущенно задрыгал ногами в черно-желтых клетчатых колготках. Однако Эдоардо Пятьдесят Четвертый был сильнее. Он унес шута в коридор и там рявкнул:

— Марш домой, двоечник!

Потом запер снаружи дверь.

Король был крайне раздосадован. Мало ему других неприятностей, так теперь еще изволь тащиться в школу. Хорошо, если дело кончится разговором с классной дамой. А если, не дай бог, потянут на родительское собрание?

Н-н-негодный мальчишка! То и дело записи в дневнике! «Улыбался на уроке грамматики! Бегал на перемене! Опять драка! Не принес в школу макулатуру...»

Черт знает что... А классная дама тоже хороша. По любому поводу сразу надпись красными чернилами на полстраницы... Ну, улыбался, ну, бегал. Что такого? Ребенок ведь, не пенсионер. А макулатуру, где ее возьмешь? Каждый месяц требуют. Эдоардо со своими одноклассниками и так очистил все королевские архивы.

А драка... Ну и что же, что драка? Его величество в детстве тоже не дурак был подраться. И не только с мальчишками. Дрался и с графиней Виолеттой де Бомм — будущей королевой Верхней Унутрии. Она, царство ей небесное, умерла, когда наследному принцу было четыре года.

Мальчик растет без матери. Без ласки и присмотра. Можно ведь и пожалеть. Сегодня пришел с синяком, коленка разбита, больно небось, а тут еще досталось от папаши.

Папу-короля стала грызть совесть. Но что поделаешь, надо быть твердым, когда воспитываешь будущую главу государства. А то, не дай бог, вырастет шалопай вроде Эдоардо Двадцать Шестого по прозвищу Гуляй Дядя.

Король покряхтел, пощелкал пальцами и сменил домашнюю корону на дорожную. Он решил поехать к своему школьному товарищу — часовому мастеру Карлосу фон Уру. Во-первых, у Карлоса трое сорванцов и можно посоветоваться с ним, как воспитывать сына. Во-вторых, у короля с мастером было очень важное дело. Какое дело, говорить пока не следует, потому что это государственная тайна...

Во дворец король вернулся через три часа. В очень хорошем настроении. На лестнице его величество встре-

тился с премьер-министром и весело его приветствовал:

— Прекрасный день, господин Гран-Градус, не правда, ли?

— Как угодно вашему величеству, — сумрачно отозвался премьер. — Только должен заметить, что день совсем не прекрасный, а тяжелый. И все в такое трудное время должны быть на своих местах. А ваше величество...

— А что мое величество... — осторожно спросил король. Он побаивался старого министра.

— А ваше величество занимается бог знает чем!

— Я ездил с королевским визитом...

— Да! А кроме того, вы на вашем королевском автомобиле «Мерседес-ох» катали по главной площади мальчишек и распевали с ними песни.

— Ну... было, — слегка смущенно признался Эдоардо Пятьдесят Четвертый. — Они попросили, а я... как я могу отказать подрастающему поколению нашей славной Верхней Унутрии?

— Вы им никогда не отказываете. Это поколение своими грязными пятками перемазало ваши белые парадные брюки... А машина! Шофер жалуется, что опять лопнула рессора!

— Немудрено. На этой колымаге ездил еще мой прадедушка...

— Вот именно! А вы так относитесь к реликвиям королевской династии...

— Но я не мог отказать в просьбе! Дети подумали бы, что король зазнался.

— Теперь не подумают. Знаете, какую песню распевают сейчас все мальчишки столицы?

Мы, друзья, не позабудем,
Как прекрасным летним днем
На хромом автомобиле
Прокатились с королем!
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Все мы любим короля!

— Н-ну и что... — нерешительно отозвался король. — Песня как песня. Ведь поют, что любят...

— Короля надо не любить, а чтить, — веско сказал премьер. — А как можно чтить монарха, у которого из кармана парадного мундира выглядывает беспризорный котенок?

Его величество схватился за карман, однако понял, что ничего не скроешь, и принял независимый вид.

— Он не беспризорный, мне его подарили.

— Кто же сделал вам столь роскошный подарок?

— Гм... Один мальчик. Очень симпатичный мальчик, рыженький такой, только немножко неумытый... У них дома уже три кошки, и четвертую мама держать не разрешает...

— И котенка препоручили заботам вашего величества!

— Сударь, — слегка раздражаясь, произнес король. — Этот котенок, так же как любой из герцогов и министров, житель моего королевства и, следовательно, мой подданный. Я не могу бросить его на произвол судьбы.

— В таком случае перестаньте заталкивать его в карман, вы свернете ему голову. Отдайте животное поварихе, она его накормит.

— Лучше я отнесу его принцу.

— Принца нет у себя. Он в зале Государственного совета вместе с министрами ожидает ваше величество.

— А что случилось? Зачем собрался совет?

— Этого потребовал принц.

— Что? Кто? Принц?! Да как он смел?! Мальчишка!.. А вы куда смотрели, Гран-Градус?

— Его высочество имеет право. К тому же у него была причина.

— Я ему покажу причину, — сказал король. — Я его запер в комнате, а он...

— Ах, ваше величество, — перебил премьер-министр. — Вспомните ваши школьные годы. Всегда ли вы оставались под замком, если ваш папа Эдоардо Пятьдесят Третий, Добрейший, запирал вас в опочивальне?

А с принцем случилась такая история. Когда король ушел, он с полчаса проскучал на подоконнике, а потом увидел, что на улице собралась компания одноклассников. Среди них был Генка Петух, уже сменивший свой шутовской наряд на обычные штаны и рубашку, сын часового мастера фон Ура Томми Стрелка, племянник городского библиотекаря по прозвищу Гуга Кошкин Дом и еще несколько мальчишек и девчонок. И среди них Лизка де Бина, которая своим смирным видом показывала, что не прочь помириться.

Гуга Кошкин Дом задрал голову и закричал:

— Эдька, айда играть в футбол!

— Папаша, мяч забрал, — хмуро ответил его высочество со второго этажа.

— Ну, пошли в индейцев играть!

Принц стащил с себя придворный костюм, натянул джинсы и майку с ковбоем на груди и по карнизам и выступам спустился в сад — ему было не привыкать.

Компания направилась на заросший пустырь позади городского театра, но дорога вела мимо большого сада, и Генка Петух сказал между прочим, что в саду, наверно, уж созрели ранние весенние яблоки. В решетке сада нашелся выломанный прут, и очень скоро принц и его друзья хрустели маленькими, еще не выросшими и ужасно кислыми, но все равно приятными на вкус яблочками. И набивали ими карманы.

Однако порадоваться как следует не удалось. Сад принадлежал тучному сердитому министру Унутренних дел, и, на беду, в этот час министр обедал дома. В окно он увидел, какой разбой творится в саду. Чуть не подавился индейкой с абрикосами, заорал и выскочил на крыльцо.

Принц отступал последним. Поэтому именно до него дотянулась лапа министра Унутренних дел с пальцами, похожими на сардельки...

Когда дерешься с Лизкой де Бина или с Гугой Кошкиным Домом — это одно. Там все на равных. А когда тебя хватает, сопя и ругаясь, этакая горилла...

Оскорбленная кровь пятидесяти четырех королей вскипела в его высочестве. А еще сильнее вскипела кровь самого Эдьки...

И вот теперь он стоял в конце стола, за которым собрались члены Государственного совета, и яростно дышал. Его порванная майка была в зелени и земле. В волосах запутались мелкие листики и травинки.

Премьер-министр Лео Гран-Градус позвонил в серебряный колокольчик и внушительно произнес:

— Ваше величество! Господа министры! Его высочество наследный принц, Правитель Нью-Ахтенбергский, герцог де Балтос де Пью де ла Картенбух сообщил Государственному совету Верхней Унутрии, что сегодня в три часа пополудни министр Унутренних дел нашего королевства господин Фридрих фон Ганц-Будка совершил злодейское нападение на его особу, то есть на особу принца...

Министры одновременно ахнули и вразнобой заговорили:

— Какас ужас!

— Какое нападение?

— Это, наверно, недоразумение!

— Ваше высочество...

— Господин министр...

— Что он сделал с вами, принц?

Принц Эдоардо, краснея и негодуя, произнес:

— Он схватил меня за ухо. И дергал...

— О-о-о-о-ох... — сказали министры. А король Эдоардо Пятьдесят Четвертый поднялся во весь рост и, прекрасный в своем гневе, пропел петушиным голосом:

— Эй, стража! Двенадцать гвардейцев и кузнеца с кандалами!

— Но, ваше величество! — завопил министр Унутренних дел. — Прежде чем казнить или миловать, выслушайте меня!

— Говорите, — сухо сказал король. — Но о том, чтобы миловать, не может быть и речи.

— Ваше величество! Вы великий и мудрый король, — начал министр, прижимая к парадному камзолу растопыренные сардельки. — Посудите сами, мог ли я узнать принца со спины, когда он... гм... несколько торопливо покидал мой сад. Вы изволите видеть, что его высочество сейчас не в придворном платье. Он своей одеждой ничем не отличается от других юных подданных вашего величества... И даже ухо, за которое я... слегка придержал его высочество, такое же, как и у остальных детей королевства. Мог ли я подумать? Это ухо... да простят меня ваше величество, ваше высочество и господа министры, даже... гм... не совсем вымытое. В точности как у любого мальчишки...

Кое-кто из членов Государственного совета неприлично хихикнул.

Принц гордо сказал:

— Неважно, чье ухо. Вы забыли, что мой дед, король Эдоардо Пятьдесят Третий, Добрейший, запретил взрослым хватать детей за уши, раздавать подзатыльники и вообще обижать маленьких! Это государственный закон. А тем, кто спорит с государственными законами, грозит отсечение языка. В некоторых случаях — вместе с головой.

Папа-король почему-то слегка покраснел, а министр еще сильнее прижал к камзолу сардельки.

— Ваше высочество! Вы развиты не по годам и прекрасно знаете законы. Но ведь есть и закон, который оберегает собственность. В том числе и яблоки в садах жителей королевства!

— А кирпичи? — в упор спросил принц.

— Что... кирпичи? — тихо сказал министр.

— Желтые, — сказал принц.

— Какие... желтые?.. — прошептал министр Унутренних дел и стал белым.

— Те самые, которыми вымощены дорожки в вашем саду, — сказал принц. — Те, из которых построен гараж вашего нового автомобиля. Те, которыми облицован ваш фонтан. Очень уж они похожи на те, которые зимой исчезли со строительства городского плавательного бассейна для ребят. Я сегодня посмотрел, так прямо в точности такие же. Может быть, поэтому вы и не любите пускать посторонних в ваш сад, господин министр?

Министр Унутренних дел покрылся потом, похожим на стеклянные бусины.

— Та-ак... — сказал премьер Гран-Градус. — А вы, господин Ганц-Будка, рассказывали что-то про грабителей из-за границы.

— Та-ак... — сказал министр Медных и Серебряных денег. — Это был убыток на четыре с половиной тысячи монет.

— Та-ак, — сказал король и поднялся опять. — Эй, стража!

Министра-жулика решили немедленно посадить в тюрьму. И держать там, пока не перевоспитается.

— Ваше величество, — взмолился он. — Можно хотя бы попрощаться с женой и взять с собой транзисторный телевизор?

— Попрощаться можно, — сказал король. — А насчет телевизора номер не пройдет... Господин премьер, дайте ему с собой в темницу старый граммофон и пластинку с песней «О великая Унутрия, ты прекраснее всех стран!». Может быть, этот древний гимн скорее перевоспитает... унутреннего хапугу... Да прикажите разобрать его гаражи и фонтаны и вернуть кирпичи на строительство бассейна.

— Ваше величество, а куда его сажать? — шепотом спросил министр Медных и Серебряных денег. — Тюрьмы-то нет.

— Как нет?

— Видите ли, ваше величество... Она столько времени пустовала... Вот я и решил пустить ее под гостиницу для туристов. Они почему-то обожают ночевать в старинных казематах с решетками. А государству доход...

— Новое дело! — возмутился король. — Довели страну, даже тюрьмы не стало!

— Жили же до сих пор... — виновато пробормотал ми-

нистр Медных и Серебряных денег. — Ваше величество, а может быть, его посадить в дворцовое подземелье? Там есть комнатка, где раньше хранились королевские бриллианты. Сейчас, увы, там ничего не хранится...

— Валяйте, — согласился король и повернулся к принцу. — А ты иди учить уроки, герой...

...Вероника Григорьевна перестала читать и оглядела ребят. Осторожно спросила:

— Ну как?

— Здорово! — сказал Журка.

Другие тоже сказали, что здорово.

Только Иринка ревниво заметила:

— Это все про принца и короля. А где же Золушка?

— Скоро будет и Золушка.

## Бал

Вечером король пришел в комнату принца. Юный Эдоардо уже лежал в своей старинной неуютной кровати под бархатным балдахином с кисточками. Но еще не спал. Кровать была громадная, принц казался в ней совсем маленьким, и королю опять стало жаль его.

— Ну что, навоевался за день, герой? — спросил отец.

— Угу...

— А почему такой грустный? — Король присел на краешек постели.

— Не знаю... — вздохнул Эдоардо. Он и в самом деле не знал. Но, скорее всего, грустно было от вечернего одиночества. Оттого, что не с кем поговорить перед сном и поделиться планами на завтра. Была бы мама... Папа, конечно, иногда заходил по вечерам, но так нечасто...

— Ничего, — смущенно сказал король. — Скоро каникулы, вот уж набегаешься... А если хочешь, давай устроим во дворце детский бал! А?

— Можно, — рассеянно согласился принц, но тут же поморщился: — Ой, опять в кружева и бантики наряжаться. В школе надоело. Мальчишки дразнятся...

— Что делать, у королевских семей свои трудности, — вздохнул папа-король. — Зато я могу подарить подходящую к твоему придворному костюму шпагу.

— Настоящую?!

— Еще бы! Настоящую и старинную. Она принадле-

жала твоему пра-пра-пра... В общем, Эдоардо Тридцать Пятому по прозвищу Крошка Эдди. Он был очень маленького роста, и его шпага будет тебе в самый раз...

Принц поднялся на локтях:

— Папа, а ты не забудешь?

— Ну что ты!

— А когда подаришь?

— Да вот, к балу...

— А бал когда?

— Бал? В первый день каникул. Идет?

— Это через неделю... Идет!

Маленький Эдоардо откинулся на подушки, потом улыбнулся, взял отцовскую руку, лег на нее щекой.

— Папа... расскажи сказку.

— Сказку? Гм... Может быть, лучше какую-нибудь историю? Например, про путешествия Эдоардо Одиннадцатого, Мореплавателя? Или...

— Да нет, просто сказку.

— Какую?

— Да хоть какую...

Король подумал, потом тихо проговорил:

— Хорошо, малыш. Я расскажу тебе сказку про Золушку. Тебе когда-то рассказывала ее мама. Ты, наверно, не помнишь...

— Помню... чуть-чуть.

Ни король, ни принц не знали, что в столице живет не сказочная, а самая настоящая Золушка. Правда, не в центре, а на окраине. Совсем недалеко от Большого Унутреннего леса.

Жила она в просторном деревянном доме. Резумеется, с мачехой и двумя неродными сестрами. Отец умер пять лет назад. Он служил смотрителем маяка на утесе Шахматный Конь, простудился во время шторма, сильно заболел и больше не поднялся с постели.

Жилось Золушке скверно. Конечно, мачеха не била ее, как это делают мачехи в старых сказках, но зато изводила мелкими придирками и воспитательными беседами. А толстые и глупые сестры, которые считали себя красавицами, постоянно хихикали над Золушкой и называли ее неряхой и грязнулей.

А попробуй все время ходить чистенькой, если тебе надо и полы вымыть, и ковры пропылесосить, и клумбы в саду полить, и на рынок сбегать, а платье всего-навсего одно:

и для работы, и для школы, и для праздников... Хотя какие там праздники! Для уроков-то не оставалось времени. Золушка часто засыпала, уронив голову на тетрадку с задачами. А мачеха сердито поправляла на худом носу очки и скрипуче говорила:

— Я поражаюсь: почему ты не можешь соблюдать режим дня, как другие дети?

Но Золушка умела находить радости и в такой жизни. Иногда ей удавалось выкроить свободный часок и поиграть на соседней улице с ребятами — в классы, в ляпки, а то и в футбол. А бывало, что она задерживалась в школе, брала в библиотеке интересную книжку и читала где-нибудь в укромном уголке. Мачехе она говорила, что были дополнительные уроки. Обманывать, конечно, нехорошо, но что оставалось делать?

Были у Золушки и кое-какие игрушки: деревянный крокодил с отломанным хвостом и маленький автобус с испортившимся заводным механизмом. Золушка придумала, что внутри автобуса живет множество веселых пассажиров: клоуны, дрессированные звери и храбрые пираты, которые отбирают золото у богачей и раздают беднякам. Каждого пассажира Золушка знала по имени и могла рассказать, как он выглядит, какой у него характер, что он любит и чего не любит. А крокодила с отломанным хвостом Золушка (если не засыпала над уроками) укладывала спать и рассказывала ему сказки. В этом отношении ей жилось даже лучше, чем принцу, которому по вечерам не всегда было с кем поговорить...

В самом конце мая на заборах появились афиши, в которых сообщалось, что все дети столицы приглашаются в королевский дворец на бал. Сестры Золушки, конечно, обрадовались и начали примерять свои пышные бальные платья. Каждая сестра в таком платье была похожа на торт со взбитым кремом. А Золушка только вздохнула: смешно было надеяться, что ее возьмут на праздник. Правда, один раз она заикнулась об этом, но мачеха пожала костлявыми плечами:

— В чем же ты пойдешь? Посмотри, как ты истрепала свое платье.

— А может быть, сестрицы дадут мне какое-нибудь старое платьице?

— Еще чего! Чтобы ты и его превратила в тряпку? — сказали сестрицы.

— Тогда можно мне посмотреть бал по телевизору? В афишах написано, что из дворца будет передача.

— Посмотри, — неохотно согласилась мачеха. — Только не пережги предохранитель... Но сначала тебе надо сходить в лес за хворостом для камина.

— Для камина? — очень удивилась Золушка. — Но ведь он электрический!

— Вечно ты споришь, — поморщилась мачеха. — Электрические угли будут очень красиво просвечивать через настоящий хворост. Сейчас во всех приличных домах такая мода. И не рассуждай!

За хворостом так за хворостом. Сестры с мачехой вызвали такси и укатили на бал, а Золушка отправилась в лес. Его опушка виднелась в конце улицы. Золушка вошла под густые липы и ясени и стала оглядываться. Но вблизи от города лес был вычищенный и ухоженный. На ровных лужайках не лежало ни одного ненужного сучка или ветки. Там цвели яркие, будто клумбовые, цветы, а над ними кружились пестрые бабочки.

Одна бабочка, большая, желтая, похожая на солнечный зайчик, долго летала вокруг Золушки, а потом стала улетать в глубину леса. И Золушка пошла вслед за этим светлым пятнышком.

Шла она довольно долго. Лес постепенно сделался гуще, можно было набрать сухих палок и хворостин. Золушка так и поступила. Потом оглянулась.

Место было незнакомое. Вокруг стояли замшелые деревья с узорчатыми листьями. А под деревьями густо росли двухметровые лопухи. Начинался вечер, из лопухов крались сумерки, а над деревьями проступил тоненький, чуть заметный месяц.

Золушка вздрогнула и бросила хворост. Нет, она не боялась заблудиться. Она была храбрая девочка. Просто ей стало очень грустно. Она подумала, что выберется из леса, придет домой, включит телевизор, посмотрит бал, а дальше что? Опять пойдут день за днем: однообразные, тяжелые и почти безрадостные.

Золушка села под лопух, обхватила коленки и задумалась. Может быть, уйти к разбойникам? Но, кажется, в Унутреннем лесу все разбойники уже повывелись. Переодеться мальчишкой и поступить барабанщиком в королевскую гвардию? Но мачеха очень быстро нападет на след и подымет крик. Построить в лесу хижину, жить в одиночку и питаться ягодами? Это можно, пока тепло, а что делать зимой?

Выхода не было. Золушка сидела и вздыхала. Может быть, она даже поплакала, но это вполне простительно:

во-первых, она девочка, а во-вторых, все равно никто не видел.

Потом Золушка задремала, прикорнув на траве и укрывшись дырявым платком, который взяла из дома.

Сумерки сгустились.

В этих сгустившихся сумерках через лес шел пожилой серьезный Медведь. Недавно он был в гостях у местного пасечника, а сейчас возвращался в берлогу, чтобы почитать газету «Вечерние лесные новости» и улечься спать. К Медведю подлетела серая пичуга и что-то прощебетала на ухо.

— Не может быть... — проворчал Медведь и торопливо свернул с тропинки. У большого ясеня он заглянул под лопух и поскреб растопыренной лапой в косматом затылке.

— Ах ты бедненькая... Да ведь это самая настоящая Золушка...

Осторожно сопя, он поднял легонькую девочку на руки (то есть на лапы). Она не проснулась и доверчиво прижалась к теплой мохнатой груди.

— Ах ты кроха, — растроганно прошептал Медведь и понес Золушку. Нет, не к себе. У него была неуютная холостяцкая берлога, а ребенку нужна женская забота.

Медведь принес Золушку в избушку на курьих ногах. Там жила старая хромая ведьма. Скорее всего, это была обыкновенная баба-яга, но лесные жители звали ее тетушка Роза.

Тетушка Роза всполошилась, уложила Золушку на скрипучую кровать, а Медведю велела на всякий случай затопить печку.

...Когда Золушка проснулась, она сперва очень удивилась, а потом даже испугалась. Посудите сами: вокруг бревенчатые замшелые стены, на стенах звериные черепа, в углу пылает очаг, а у очага возится хромая старуха с крючковатым носом и желтыми зубами, которые торчат вперед, как два редких гребня.

— А, проснулась, милая... — проскрипела старуха. — Вот и хорошо...

Все-таки Золушка была храбрая. Поэтому она решила одним вопросом выяснить самое главное.

— Бабушка, — сказала она, слегка дрожа, — вы меня не съедите?

— Да что ты! — воскликнула тетушка Роза и всплеснула костлявыми руками. — Я уже четыреста лет мясной пищи не потребляю. Печень у меня больная, на диете сижу... Да и где это видано, чтобы есть несчастного ребенка, который в лесу заплутал? Какого-нибудь разбойника или

браконьера — это еще туда-сюда... А ты кто будешь, девочка?

— Золушка.

— Да ну? — тетушка Роза подошла и пригляделась. — Золушек по правде-то и не бывает на свете, это бабушкины сказки.

— Нет, я правда Золушка...

— Ну и ладно, — покладисто сказала старуха. — Тогда я чаек поставлю...

Они сидели за некрашеным столом и пили чай с большими кусками сахара и черными сухарями. У стены мигал экранчиком старенький телевизор. Золушка, выворачивая шею, все поглядывала на экран. Начиналась передача про бал, показывали, как съезжаются и сходятся гости.

Мальчишки, которые обычно бегали растрепанными и поцарапанными, в мятых штанах и перемазанных футболках, сейчас входили в зал причесанные, умытые, в отглаженных матросских костюмчиках или в бархатных жилетиках и белых рубашках с галстучками. Чинные и вежливые. А девочки в кружевных платьицах были похожи на громадные и невесомые семена одуванчиков — дунь, и они разлетятся по залу. Сверкали люстры, и звучала музыка — пока негромкая, выжидательная.

Золушка тихо вздохнула.

Всем известно, что старые мудрые ведьмы легко читают человеческие мысли. Поэтому тетушка Роза сразу же сказала:

— Я вижу, тебе тоже хочется на бал.

Золушка грустно улыбнулась:

— В моих-то заплатах...

— Минуточку... — проговорила тетушка Роза. Хромая, подошла к большущему сундуку и отвалила горбатую скрипучую крышку. Сначала над сундуком поднялась пыль. Потом тетушка вытащила за шкирку старого спящего кота, дунула на него и кинула в угол (кот мявкнул и сразу опять заснул). Затем на свет появились дырявые сапоги-скороходы, сломанная кофейная мельница, узел с тряпьем, и наконец... Наконец тетушка Роза осторожно, пальчиками, подняла над сундуком белое платьице.

Оно было как кусочек легкого облака, которое переливается хрустальными капельками.

— О-о-ой... — тихонько сказала Золушка. — Откуда оно у вас, бабушка?

Тетушка Роза ответила, задумчиво разглядывая платьице:

— Видишь ли, когда-то я тоже была девочкой. Это было... было... кажется, при Эдоардо Тридцать Первом, Блистательном. Ах, какие тогда были балы... Иди, малышка, примерь этот наряд.

Платьице оказалось в самую пору. Нашлись к нему и сверкающие башмачки. Потом тетушка Роза расчесала Золушке волосы и укрепила на них крошечную хрустальную корону.

У Золушки испуганно и радостно стучало сердце.

— Только помни, — предупредила тетушка Роза, — домой надо вернуться до двенадцати часов ночи. А то весь наряд превратится в лохмотья и пыль.

— Как в сказке, — зачарованно прошептала Золушка.

— Дело не в сказке, милая. Просто платье очень старое. Все старые платья когда-то превращаются в лохмотья. И вот у этого платья срок — сегодняшняя полночь.

Потом тетушка Роза ударила деревянным башмаком в пол:

— Поехали!

Пол закачался, избушка перекосилась, двинулась с места, но почти сразу остановилась и осела.

— Охромел домишко мой, — с досадой призналась хозяйка. — Раньше-то бегал как страус, а теперь одно названье, что на курьих ногах... Придется по воздуху.

Она вывела Золушку на крыльцо, закутала в теплую шаль и усадила перед собой на длинную обшарпанную метлу...

Полет Золушка запомнила плохо. Что-то свистело вокруг, внизу мелькали огоньки, а по ногам ударял хлесткий ветер.

Пришла в себя Золушка на площади перед дворцом. Тетушка Роза черной кометой умчалась в вечернее небо, и Золушка осталась одна.

Во дворце ярко светились окна, в них метались тени. Репродукторы над площадью разносили мелодию веселого танца. Золушка тряхнула головой, сосчитала до трех и пошла во дворец.

— Эдька, смотри, — шепотом сказал принцу шут Генка Петух. — Новенькая.

И принц увидел Золушку. То есть он не знал еще, что это Золушка, но ему захотелось подойти к ней. Он застеснялся, но все же оставил приятелей и пошел к незнакомке.

В конце концов, это была его обязанность — встречать гостей. Он считался хозяином бала.

Золушка опустила глаза, но из-под ресниц смотрела, как он идет. Это был настоящий принц из сказки. Пожалуй, только волосы были слишком растрепаны. Зато на боку у него висела настоящая шпага. Принц придерживал ее за серебряную рукоять.

— Здравствуйте... добро пожаловать, — немного сбивчиво сказал принц.

— Здравствуйте... ваше высочество, — прошептала она.

— Не надо «высочество». Меня зовут Эдоардо, — смущаясь, проговорил принц. — А тебя... а вас?

— Золушка.

Принц удивился. И почему-то очень обрадовался. Ему стало гораздо веселее, чем прежде.

— Вы... ты умеешь танцевать?

— Нас учили в школе...

Принц не очень любил танцы. Но сейчас он крикнул:

— Эй, музыканты! Праздничный вальс!

Они с Золушкой закружились по паркету, в котором, как в желтом льду, отражались пылающие люстры. Перед танцем полагается отцеплять шпаги и сабли, но принц не отцепил, и шпага со свистом летала вокруг него на портупее.

А Золушка, кружась по залу вместе с принцем, была похожа на лепесток яблони, который попал в потоки ветра...

— Подумаешь... — сказала юная герцогиня де Бина. — А платье у нее несовременное. Сейчас уже не носят такие короткие. И вообще...

— «Ду», ты и есть «ду», — сказал Генка Петух.

Шарлотта-Элизабет вцепилась ему в галстучек шелковой матроски. Их растащили.

А принц и Золушка танцевали, пока не утомились. Потом они с другими ребятами бегали по залам дворца, где были устроены разные аттракционы, ели мороженое в королевском буфете и наконец по боковой мраморной лестнице спустились в парк.

В парке лишь изредка горели фонарики, и тонкий месяц над деревьями светился теперь очень ярко. Трещали ночные кузнечики.

Принц и Золушка вдвоем побрели по пустынной аллее.

— Ой, кто там? — вдруг прошептала Золушка и схватила принца за руку. Сгорбленная фигура смутно белела среди кустов.

— Не бойся, — рассмеялся принц. — Это мраморная статуя Эдоардо Двенадцатого, Горбатого.

Золушка тоже засмеялась, но руку принца больше не отпускала.

— Почему я тебя не встречал в школе? — спросил принц.

— Я учусь не в той, где ты, а в маленькой, на краю города.

— Я сперва подумал, что ты приехала из-за границы.

— Ой, что ты...

— Правда... А ты настоящая Золушка?

— Не знаю... Меня так зовут.

— Когда я был маленький, мне мама рассказывала про Золушку. А я тогда не выговаривал букву «л» и говорил Зоюшка...

— У меня тоже нет мамы. И даже папы... — сказала Золушка.

«Ну ничего. Зато теперь есть я», — хотел сказать принц, но, конечно, не решился. Он только спросил тихонько:

— Можно, я буду говорить тебе Зоюшка? Иногда?

Она прошептала:

— Ладно.

Они отыскали под фонарем заброшенные качели. Сели рядышком. Но тут застучали по аллее быстрые ноги и выскочил на свет Генка Петух. Оторванный галстук матроски хвостиком торчал у него из кармана.

— Вот вы где... А во дворце уже волнуюся.

— Идем, — сказал принц и взял Золушку за руку.

— Мне скоро пора домой, — вздохнула она. — Уже поздно.

— Совсем не поздно, — возразил принц. Поманил Генриха и что-то прошептал ему на ухо.

— Есть, — сказал Петух и умчался.

Во дворце он отыскал Томми Стрелку, сына часового мастера. Томми не раз бывал в королевских покоях с отцом, когда тот ремонтировал часы. Надо сказать, что все дворцовые часы, даже те, что выглядели старинными, были с электронными механизмами. Ход их регулировался с одного пульта. Томми после разговора с Генкой Петухом пробрался к пульту и передвинул стрелки назад на целый час...

Принц и Золушка вернулись во дворец, еще потанцевали, а потом Эдоардо сказал Генриху:

— Давай покажем Золушке королевские подземелья.

Золушка слегка вздрогнула, но храбро согласилась.

Они пробрались в темный коридор и стали спускаться по узкой лестнице. У нее были такие истертые ступени, что напоминали каменные корытца. Внизу принц надавил выключатель, и зажглись пыльные светильники, сделанные в форме факелов.

У подножия лестницы валялся большой игрушечный конь с колесами. Когда-то на нем ездил в детском возрасте Эдоардо Пятьдесят Третий, Добрейший. Конь был обшарпанный, но вполне целый. Принц и шут посадили на него Золушку и повезли по неровным гранитным плитам.

По углам громоздились старинные бочки с медными обручами — из-под вина и масла. В нишах стояли ржавые доспехи. На стенах висели облезлые щиты с рыцарскими гербами. Их затягивала паутина. Было зябко. Стук деревянных колес разносился под сводами. В разных концах подземного зала чернели входы в неосвещенные коридоры.

— А привидений здесь не бывает? — осторожно спросила Золушка.

— К сожалению, нет, — вздохнул принц.

— Значит, мы здесь одни?

— Конечно, — храбро́ сказал Генка Петух, которому, кажется, было неуютно.

И в этот момент издалека донесся неясный дребезжащий голос.

— Ой... — сказала Золушка.

— Ай, — нечаянно сказал Петух.

Принц тоже чуть не сказал «ой», но тут же взял себя в руки и засмеялся.

— Не бойтесь! Это знаете кто? Бывший министр Унутренних дел. То есть его граммофон. Пойдемте посмотрим.

Они на цыпочках прошли в темный коридор, где светилась большая замочная скважина. В эту скважину они по очереди заглянули.

Камера бывшего министра выглядела вполне уютно. Висел ковер, стоял мягкий диван. Большой стол, покрытый плюшевой скатертью, был уставлен тарелками с яблоками, сосисками и пирожками. На тумбочке красовался старинный граммофон с громадной трубой. Вертелась пла́стинка, а из трубы вылетела дребезжащая песня:

О великая Унутрия,
Ты прекрасней всех на свете!
На заре тебя на утренней
Славят взрослые и дети.
И совсем-совсем не нужен нам
Никакой заморский край.

Ты прекрасна, как жемчужина!
Ты прекрасна, так и знай!

— Какая хорошая песня, — прошептала Золушка. — И какой противный дядька. Что он там делает?

— Перевоспитывается, — сказал принц.

Но бывший министр, кажется, не перевоспитывался. На песню он не обращал внимания, зевал и время от времени глотал, не жуя, длинные сосиски.

— Ну ладно, сейчас мы устроим тебе небольшой цирк... — пробормотал принц. Он вынул из кармана что-то маленькое и серебристое. При свете, падавшем из скважины, стало видно, что это баллончик — вроде тех, что делают для сифонов с газировкой.

Но ни Золушка, ни шут не поняли, зачем он.

Принц шепотом сказал:

— Вообще-то это государственная тайна. Но вы ведь не выдадите, верно?

Золушка и Генка Петух таким же шепотом поклялись молчать, как надгробные камни.

— Это баллончик для пуганья, — проговорил принц. — Тут вот в чем дело. Раньше в подземельях старой крепости и дворца водились настоящие привидения, а теперь куда-то повывелись. А туристы все требуют: подавай им тайны и призраков. Ну, папа и попросил мастера фон Ура сделать специальный газ... Мастер фон Ур — это отец Томми Стрелки. Он ведь не только специалист по часам, а вообще ученый... Вот он и придумал этот газ. Его выпустишь облачком, а оно принимает форму привидения: то мертвец в кровавом саване, то монах в капюшоне, то бывшая завуч Королевской гимназии в белом платье. Часа три держится, не развеивается. Только перелетает по воздуху, если сквозняк...

— Ух ты... — восхищенно прошептал Генка Петух. — Эдька, где взял?

— Я просил, просил у папы, он и не выдержал, подарил один. Только велел в школе не баловаться. Но мы ведь не в школе...

Эдоардо вставил в замочную скважину горлышко баллона и нажал кнопку. Раздалось змеиное шипение.

Ничего не было видно, зато было слышно, как бывший министр Унутренних дел басом сказал:

— Вам чего?

Потом он сказал тонким голосом:

— Ой, мамочка!

Потом завизжал:

— И-и-и-и-и...

Сдавленно хохоча и сталкиваясь лбами, принц, Золушка и Петух заглядывали в скважину. В комнате колыхалась трехметровая фигура в черном плаще и с голым черепом вместо головы. Бывший министр метался из угла в угол, стараясь найти убежище от неожиданного ужаса. Но убежища не было. Тогда Фридрих фон Ганц-Будка с полного размаха влетел головой в граммофонную трубку и скрылся в ней. Граммофон поперхнулся.

А дальше случилось небывалое. Из узкой части трубы, над пластинкой, стало выползать что-то длинное и тонкое. Оказалось, что это все тот же бывший министр, но только очень худой и вытянувшийся.

— Вот это да... — сказал Генка Петух.

— Возможно, теперь он и в самом деле перевоспитается, — сказал Эдоардо.

— Он и так стал совершенно другим человеком, — заметила Золушка.

Забегая вперед, надо сказать, что так оно и случилось. Фридрих фон Ганц-Будка в самом деле стал другим человеком. Но министром его больше не сделали. Он устроился на должность королевского гардеробщика. При его вытянувшемся росте было очень удобно дотягиваться до самых высоких вешалок.

Но что нам какой-то бывший министр? Главное — Золушка и принц. Ведь время-то шло, и никакие хитрости с часами его не могли остановить. Кроме того, принц забыл, что часы на главной городской башне имеют свой собственный механизм и удары этих часов слышны во всех уголках города.

И вот, когда принц, шут и Золушка рассуждали о судьбе бывшего министра, сквозь каменные стены подземелья протолкался глухой удар. Это был полуночный часовой колокол.

— Ох, — сказала Золушка и прижала к щекам ладони.

Колокол ударил снова. Золушка метнулась к выходу, но принц и шут схватили ее за руки.

— Не держите меня! Вы же не знаете, что сейчас случится! — воскликнула она.

— Ничего плохого с тобой не случится, пока я рядом, — твердо сказал принц.

— Но уже двенадцать!

— Ну и пусть!

Они не пустили ее. Тогда Золушка прижалась спиной к холодной каменной стене и закрыла глаза...

...Вероника Григорьевна остановила чтение и обвела взглядом ребят. Все, даже старшеклассники, сидели неподвижно.

— Дальше, — нетерпеливым шепотом сказали Иринка.

— Дальше?.. «Золушке стало очень страшно и обидно. Она опоздала, и все было кончено. При каждом ударе часов платье обвисало, расползалось, превращалось в куски серой пыльной мешковины. Хрустальная коронка рассыпалась, покрыв на прощанье волосы Золушки словно дождевым блестящим бисером. Только башмачки сохранились, но какой от них был прок?

Когда прозвучал последний удар, Золушка опустила руки и мокрыми глазами посмотрела на принца.

— Зачем вы меня задержали? Теперь... вот...

— Что? — спросил принц.

— Разве вы не видите? Мое платье... — И она заплакала навзрыд...»

— Было бы из-за чего! — хмуро сказал Горька.

Вероника Григорьевна обрадованно взглянула на него.

— Ты молодец! Именно так сказали и принц с Генкой Петухом. Они переглянулись и пожали плечами.

«— Подумаешь, платье, — проговорил принц.

А Генка Петух добавил с досадой:

— Все девчонки одинаковы, даже Золушки. Реветь из-за каких-то тряпок...

Принц вынул платок и шепнул:

— Вытри глаза и пошли танцевать... Ну... Зоюшка...

— В таких лохмотьях? — всхлипнула она. — Все будут смеяться.

— Я им посмеюсь, — пообещал принц Эдоардо и тронул рукоять шпаги.

...И правда, почти никто не смеялся, только удивлялись потихоньку. Лишь захихикали Золушкины сестрицы да скривила губы Шарлотта-Элизабет де Бина.

— Коровы, — сказал им Петух. — Это новейшая мода. Бальный туалет «а ля Золушка» — так сейчас одеваются для праздников в Париже и Токио...

По девчонкам и дамам пошел быстрый шепот. Самые находчивые выскользнули из зала и кинулись разыскивать

королевского завхоза, чтобы выпросить у него несколько старых мешков.

— Завтра в городе мешковину будут продавать дороже, чем бархат, — со смехом сказал Генка Петух принцу и Золушке...

У Золушки еще не высохли глаза, но она весело смеялась. Она знала, что прежней унылой жизни больше не будет, потому что у нее есть настоящие друзья. А музыка гремела. Ночь за окнами вдруг сделалась яркой и разноцветной. Это взлетели над парком огни праздничного фейерверка...»

— Вот и все, друзья мои, — со вздохом сказала Вероника Григорьевна. — Ну а сейчас решайте окончательно: беремся за спектакль?

Что тут было решать? Все закричали, что «конечно, беремся, и как можно скорее».

— А вот насчет «скорее» — это вопрос особый. Надо еще переделать сказку в пьесу. Надо соорудить декорации, провести репетиции. Ой-ей-ей, сколько работы. Хорошо бы успеть к весенним каникулам.

## Апрель

Премьера на весенних каникулах не состоялась. Не успели. Вдруг заболела Вероника Григорьевна и пролежала две недели. Потом закапризничал и уволился руководитель музыкального ансамбля, который работал в школе «по совместительству». А без музыки какой спектакль? Но все же дело двигалось. Ансамблем стал руководить десятиклассник Боря Романенко. Вероника Григорьевна вернулась в школу и опять собрала «артистов», а ее «оболтусы» срочно доделывали декорации по эскизам Иринкиного папы.

Весь апрель шли репетиции, и все верили, что в Майские праздники спектакль состоится обязательно. Только Иринка однажды печально сказала:

— Хорошо бы успеть. А то мы можем уехать еще до мая.

— Куда? — не понял Журка и даже сперва не встревожился.

— Во Владимир.

— Зачем?

— Жить.

— Как жить?

Иринка помолчала и сказала со взрослой ноткой:

— Ну что значит «как»? Как все люди живут. Насовсем...

Журка наконец понял. Остановился, чуть не уронив портфель на сухой солнечный асфальт. И она остановилась — насупленная и слегка виноватая. Быстро взглянула на Журку, стала смотреть вниз и серьезно объяснила:

— Выхода больше никакого. Здесь у папы совершенно нет перспектив.

Журка с легким раздражением уловил в ее словах знакомые интонации — когда Иринка будто повторяет чужие слова. Но он уже знал, что какие бы эти слова ни были, а в них всегда кроется горькая правда. Поэтому досада растаяла, а тревога осталась.

— Как же так... — беспомощно пробормотал он, и самому стало тошно от пустоты и бессилия этих слов.

Иринка шевельнула головой, будто сказать хотела: «А вот так. Ничего не поделаешь». Потом она медленно пошла вдоль школьной изгороди, и Журка — рядом с ней.

— И ничего не говорила... — с упреком сказал он.

— Я не знала, что это всерьез. Они и раньше про переезд разговаривали... Мама и папа... Поговорят и раздумают. А сейчас оказалось, что на самом деле... Потому что куда же дальше-то? На областную выставку ничего у папы не взяли, про «Летний день» сказали, что хорошо, но по теме, мол, не подходит. О персональной выставке теперь и не говорят... Это все после того случая с телепередачей.

— Неужели все еще помнят?

— А ты думал... На нем сейчас такое пятно. О приеме в Союз художников лучше и не заикаться. И мастерской нет...

Значит, та зимняя молния оставила свой след. А Журке-то казалось, что она ударила лишь по краешку и не принесла Иринке и ее родителям большого вреда. Потому что всегда, когда он приходил к Брандуковым, Игорь Дмитриевич был веселый и полный художнического азарта. Он делал какие-то интересные заказы для Дворца пионеров, говорил, что в августе собирается в Калининград к рыбакам, и главное — он заканчивал картину «Золушка из пятого «А».

Над этой картиной Игорь Дмитриевич работал в мастерской одного из приятелей. Дома он только делал эскизы с Иринки, Журки и Горьки. Но «мучил» он ребят недолго. И Журка просто обалдел от неожиданности, когда в нача-

ле апреля Игорь Дмитриевич повел их троих в мастерскую и показал почти готовую картину.

Дело было даже не в том, что все сразу узнали себя. Дело в том, что картина была как рассказ про них. Про их настроение, про их характеры. И про мысли...

На картине были Золушка, принц и шут перед началом спектакля. Они за кулисами ожидали своего выхода. Иринка в платье из мешковины сидела на фанерном ящике и, как ручного голубя, держала у груди сверкающую туфельку. На Иринкином лице дрожали цветные отсветы. Журка, одетый принцем, стоял сбоку и что-то говорил ей (может быть, просил не волноваться, хотя сам заметно нервничал). Но Иринка его, видимо, не слышала: чуть улыбаясь, она совсем ушла в свою сказку...

А Горька в своем желто-черном клетчатом костюме стоял чуть в стороне, у занавеса. Он слегка раздвинул складки, и со сцены пробился в красноватый сумрак горячий луч. Лицо Горьки было совсем не похоже на лицо шута. Это было лицо разведчика, у которого одна задача: проверить, нет ли опасности для друзей. Нет ли в зале среди зрителей насупленных и недобрых людей? Кажется, не было. Напряжение еще не совсем сошло с Горькиного лица, но он уже обернулся к Иринке и Журке, чтобы сказать: «Нормально, ребята. Не волнуйтесь». Но почему-то ничего не сказал...

«Золушка из пятого «А» была написана не так, как «Летний день», а более резкими и крупными мазками. Более нервно, что ли. Она отличалась от «Летнего дня», как отличается, например, сдержанное, но энергичное вступление к испанскому танцу от негромкой спокойной песенки. Журка не мог решить, какая картина ему нравится больше. Он понимал, что нравиться одинаково они не могут: очень уж разные. Но понять, какая из них лучше, он был не в силах. Обе были замечательные.

Втайне (не всерьез, а просто так) Журка даже мечтал, что однажды Игорь Дмитриевич скажет: «Что, Журавленыш, говорят, у тебя в июне день рождения? Какую картину мы выберем для подарка?» Он бы не думая ответил: «Ой, что вы... Правда? Хоть какую!»

Но, конечно, этого не случится. Какой же художник станет дарить мальчишке, даже хорошо знакомому, любимые картины? Да и не надо! Плохо другое: теперь на дне рождения не будет Иринки. И в другие дни тоже не будет. И некуда станет спешить вечером. И не с кем водить Максимку в кукольный театр. Не с кем спорить на скуч-

ных уроках ботаники о космических пришельцах. Не с кем серьезно, не боясь насмешек, говорить про машину для защиты от молний... И... многое-многое будет еще не с к е м.

Конечно, Журка не останется одиноким, но с Иринкой словно уйдет целая часть жизни. Очень хорошая, радостная и счастливая часть.

Почему же так? Опять злая молния. Или след прежней, ударившей в январе?

...Апрельский день был теплый, и на солнечном асфальте лежали синие, скрюченные тени обрезанных тополей. Интересно, зачем нужно уродовать деревья? Уже и в газетах не раз ругали этот обычай, но каждую весну сумрачные небритые дядьки срезают ножовками с едва оформившихся крон сучья и отросшие за год ветки. Оставляют скорченные обрубки. И длинный ряд молодых тополей делается похожим на унылую колонну стриженых подростков, которых недавно Журка видел в телеспектакле про колонию для малолетних преступников. Он смотрел этот спектакль с беспокойством и тоскливым воспоминанием о Капрале. Значит, и Капрал ходит сейчас так же, заложив за спину руки и нагнув голую голову с торчащими ушами? Какой бы он ни был, Капрал, а Журке его жаль. И будто в чем-то Журка виноват перед ним... Может, если бы он в тот вечер пошел с Капралом, все было бы по-другому? Может, Капралу осточертели его друзья и он искал других? Может, ему нужен был Журка... А Журка тогда в своей боли, ярости в обиде не мог думать ни о чем. Разве что о собственной беде. Кто виноват?..

...Да, но при чем сейчас Капрал, при чем тополя, при чем все другие мысли, если Иринка уезжает?

— А почему во Владимир? — спросил Журка, будто этот вопрос мог что-то изменить.

— Это папина родина. Папа в нем учился, у него там друзей много, они давно зовут, с обменом квартир взялись помочь... А еще Витя там недалеко служит. После армии тоже хочет во Владимире остаться, в институт поступать... — Иринка слабо улыбнулась. — Мама говорит, что у него там, наверно, девушка есть. Он нас тоже туда зовет...

Журка впервые подумал об Иринкином брате с неприязнью: «У него девушка, вот он и тащит всю семью...» Но это было от досады. Конечно, не из-за Виктора они едут. Едут потому, что так надо. И никто здесь ничего не сделает — ни Иринка, ни Журка. Можно, конечно, спорить и сопротивляться. Может быть, можно даже слезами и

мольбами добиться, чтобы не уезжали. Но тогда как дальше жить Игорю Дмитриевичу?

«Не надо было водкой греться, тогда бы ничего не случилось», — кольнула Журку злая мысль. Но он тут же прогнал ее. Не потому, что устыдился, а просто она была неправильная. То, что Иринкин отец выпил, просто случайность. Неприятности у Игоря Дмитриевича не из-за этого. Вон у него приятель дядя Иннокентий вечно под мухой ходит, а живет без всяких несчастий. Потому что «умеет жить», сам это говорил. А Игорь Дмитриевич не умеет, у него характер такой...

Журка медленно шел, стараясь не наступать на синие тени. И привыкал к печальной мысли, что скоро Иринка будет далеко-далеко. Но вдруг в нем все опять заспорило с этой мыслью, и он с отчаянной надеждой посмотрел на Иринку:

— А может быть, все-таки опять передумают?

— Ну, может быть... — сказала она, как говорят взрослые, которые знают настоящую правду, но не хотят раньше срока огорчать маленького.

Журка понял это и сник. А Иринка шепотом попросила:

— Давай об этом пока не говорить.

— Давай, — послушно сказал он.

И они правда больше не говорили про отъезд. Лишь дома у Иринки Вера Вячеславовна обняла однажды Журку за плечи и сказала:

— Что поделаешь, Журавушка... А ты приезжай к нам на каникулы! С мамой и папой мы договоримся...

Журка спрятал глаза и торопливо кивнул. Он все же не верил до конца, что Иринка уедет.

Не верил, хотя роль Золушки на всякий случай начала репетировать вместе с Иринкой Лида Синявина. Ну и пусть репетирует. Вон Горька, например, от нечего делать иногда выступает на репетиции в роли принца вместо Журки. И получается у него даже очень хорошо, хотя Вероника Григорьевна говорит, что он «видит образ совсем в другом ключе...».

Дни шли, об отъезде пока никто больше не заговаривал, надежда делалась прочнее, а весеннее солнце и театральные заботы заглушали тревогу.

А Первомайский праздник был совсем близко.

## Молния

Премьера состоялась второго мая.

За несколько часов до спектакля Журка начал отчаянно волноваться. Попросту говоря, трусить. Даже в горле сам по себе переглатывался какой-то скользкий комок.

Тогда Журка отыскал и тайком надел под майку старенький пионерский галстук — тот, в котором когда-то испытывал свою смелость на кладбище. Может, и правда была в галстуке волшебная сила, а может, была она в самом Журке и галстук просто помог ей победить боязливую дрожь. В общем, волноваться Журка не перестал, но уже не трусил. И, говорят, на сцене держался молодцом, играл свою роль хорошо. Мама сказала, что просто замечательно. И Лидия Сергеевна так сказала. Журка пригласил ее на спектакль вместе с Максимкой и Валерием Михайловичем. Валерию Михайловичу спектакль тоже понравился, и он очень жалел, что не взял с собой фотоаппарат.

— А вы приходите шестого числа, — сказал Журка, — Будет еще представление, для соседних школ...

После спектакля Вера Вячеславовна позвала всех «артистов» и Веронику Григорьевну пить чай и есть праздничный пирог. Вероника Григорьевна отказалась: ей надо было со своими Витькой и Борисом ехать к родственникам. Зато «артисты» охотно пошли — шумной, растянувшейся по улице толпой. Дома у Иринки они съели весь пирог, печенье и конфеты, выпили несколько чайников и без конца вспоминали, как и что было во время спектакля.

Короче говоря, это был хороший, веселый вечер. Но сквозь веселье к Журке подкрадывалась печаль: он замечал, что кое-где на стенах нет знакомых картин, а с некоторых полок убраны книги и лежат по углам, увязанные в пачки. Но спросить у Иринки про день отъезда он не решался. Зачем портить себе и другим настроение?

Он спросил назавтра, в школе. Иринка грустно сказала:

— Ой, не знаю пока. Папа ждет какого-то письма... Но все равно скоро. Сегодня вещи отправляем...

Однако Иринка успела сыграть Золушку не только шестого числа, но и еще раз, через несколько дней, в субботу. И вот тогда, после спектакля, сказала, опустив глаза:

— В понедельник, на уроки уже не приду. С утра забегу попрощаться с ребятами — и сразу на поезд...

Нельзя сказать, что на Журку навалилась большая

тоска. Он знал, что не сегодня, так завтра Иринка это скажет. Но все равно стало невесело.

Он проговорил с досадой:

— Неужели нельзя хотя бы до конца учебного года здесь остаться?

— Папе надо скорее, а мама одного его отпустить не хочет... А отметки за год мне и так выведут...

Они потихоньку от всех ребят, даже от Горьки, ушли из школы и побрели по улицам. Просто так. У Маковой горы Иринка сказала:

— Давай подымемся....

Склон уже вовсю зеленел. Среди весенней травы путались тонкие тропинки. Кое-где валялись обломки лыж с разноцветными эмблемами и буквами. Иринка и Журка стали подниматься на круглую вершину, где стояла полуразрушенная церковь (от нее, говорят, вел за город подземный ход, но никто его не мог отыскать). Журка держал за воротник и волок подолом по траве потрепанную школьную курточку. Было очень тепло, даже чересчур. Как в июле. Взрослые говорили, что это еще не настоящее, не летнее тепло, вот зацветет черемуха и холода снова покажут себя. Но черемуха пока не цвела, видимо, ей тоже не хотелось мерзнуть.

С вершины было видно полгорода. Железные крыши, белые дома, веселые машины и троллейбусы, похожие на разноцветные жидкие капли. А дальше — трубы и новые кварталы Сельмаша, где Журка еще ни разу не был. А за ними синие леса. А над лесами — розовеющие от вечерних лучей облака — целые горы с откосами, склонами и синими тенями в глубине провалов. Как те «дальние острова», о которых Журка слышал в песне про кораблик.

Журка и раньше видел город с Маковой горы, но тогда над улицами висела сизая холодная полумгла. А сейчас все окутано было зеленым дымом весны. И ярким, хотя немного печальным, блеском отражали невысокое солнце тысячи стекол...

— Даже не верится, что недавно здесь катались на лыжах, — сказал Журка.

Иринка вдруг засмеялась:

— А я помню, как ты боялся первый раз отсюда ехать.

— Ох уж, «боялся»! Просто привычки не было...

— А потом, когда съехал и опять забрался, такой гордый сразу сделался. Я помню, я на тебя снизу смотрела, вон оттуда. Стоишь, руки с палками расставил, а на груди

будто красный бант. Это у тебя варежки были за пазуху засунуты...

Журка улыбнулся и качнул головой:

— А я даже не помню, какие у меня тогда были варежки.

— Зато я помню: курточка темно-серая, а варежки как маки... У меня вообще такая память, это, наверно, в папу...

— Какая?

— Понимаешь, я забываю, что когда случилось, кто о чем говорил, числа и адреса не помню, зато краски всякие запоминаю. И кто как одет был, какое выражение лица. И что вокруг было. В общем, как цветная фотография... И какой ты был первый раз, когда познакомились, тоже помню...

Журка неловко сказал:

— Чего там помнить-то! Такой же, как сейчас...

Иринка мотнула головой.

— Не такой... Не совсем такой. Ты тогда был чуточку помладше. И чуточку больше круглолицый. И губы помягче, ты их тогда не сжимал так...

— Как?

— Ну, вот так. — Иринка чуть сощурила глаза, сжала рот в прямую черту и куснула нижнюю губу.

Журка машинально сделал так же. Верхней губой легонько тронул нижнюю — там, где под кожицей затаился твердый невидимый рубчик. А Иринка вдруг улыбнулась:

— А ростом ты остался такой же.

— Ну уж... — слегка обиженно возразил Журка.

— Точно. Видишь, мы с тобой, как раньше, одинаковые.

— Это разве сравнение? Просто мы одинаково подросли.

— Не-ет. У меня дома на двери зарубка, я знаю, что за год не подросла... Да ты чего огорчаешься? Это у нас впереди.

— Я не огорчаюсь. Подумаешь... Маме забот меньше. А то она меня перед каждым летом заново обшивать начинала...

— Да, я знаю. Ту рубашку, в которой ты на картине, тоже она шила, верно?

Журка кивнул. Иринка улыбчиво сказала:

— Я помню, ты в ней был, когда первый раз к нам пришел. Я вхожу, а ты стоишь у окна, весь такой... желтенький, как свежая лучинка... Папа потом сказал: «Будто тонкую кисточку до самой верхушки обмакнули в солнечную краску».

Журка проговорил недовольным от смущения тоном:

— Ну да. Такой красавчик позолоченный...

— При чем здесь красавчик? Это же цветовое восприятие: белая вздувшаяся штора с голубой тенью, серые обои и ты — будто яркой желтой кисточкой мазнули сверху вниз. Светлая такая полоска...

— А в ней зазубрина. У меня черная ленточка над карманом...

— Точно! С надписью «Виндроуз». Я сперва думала, что это иностранная фирма, но ведь рубашка-то дома сшита... Я потом все хотела спросить, что это за ленточка, да боялась; вдруг эта тайна какая-нибудь.

— Это не тайна, — сказал Журка и посмотрел на далекие острова-облака. — Но это было давно... Мы с Ромкой прочитали в журнале про бригантину «Роза ветров», которая обошла вокруг света, и стали в нее играть. Модель пускали в Каменке... А мама нам сшила одинаковые рубашки и ленточки вот эти сделала с названием бригантины. А потом с рубашек на рубашки их перешивала, всегда на одинаковые... Только ту, желтую, она уже шила одну...

Иринка проговорила с виноватой ноткой:

— Я не знала... Но догадывалась, что она для тебя чем-то дорога, эта ленточка.

«Завтра я подарю ее тебе, — с печалью и ласковостью подумал Журка. — Вот приду такой же, как тогда, «желтенький», чтобы все было будто первый раз, отпорю ее от кармана и отдам... Пусть. Ромка не обиделся бы...»

Но он ничего не сказал. Он посмотрел сбоку на Иринку, увидел ее щеку, освещенную отблеском вечерних облаков, вздрагивающие от ветерка волосы, весь ее курносый профиль с печально приоткрытыми губами. И тут же Иринка повернулась к нему. И глаза у нее были жалобные и беззащитные. «Стоим тут, разговариваем о пустяках, будто ничего не случилось. А на самом деле... Что же делать?»

Журка не знал, что делать. И он сказал внутренне беспомощно, а внешне бодро и спокойно:

— Ничего. Завтра у нас еще целый день. Давай завтра, как в первый раз, облазим весь парк. Ладно?

— Ладно, — послушно сказала Иринка.

Они взялись за руки и стали спускаться среди зеленой и позолоченной солнцем травы.

Журка проводил Иринку до ее подъезда. Они помахали друг другу и разошлись. А через десять шагов Журка

остановился. Как перед стенкой. Остановился от резкого и холодного ощущения вины. Будто он в чем-то обманул Иринку. Обманул, и она знает об этом, а он уходит с фальшивой беззаботностью.

Но в чем он виноват? Может, это просто печаль расставания? Нет, какая-то вина. Не сегодняшняя, а вообще. Журка не мог объяснить словами, но чувствовал: было что-то не так. Словно до сих пор у них была еще не дружба, а предисловие к настоящей дружбе.

Но почему? Ведь они каждый день были вместе, доверяли друг другу все свои тайны. И радостные, и горькие... Только... если Иринка доверяла, он разве всегда понимал их до конца? Может, и понимал, но сколько раз говорил себе: «А может, все обойдется. Может, все еще будет хорошо...»

Не обошлось. Не будет... И ничего уже не исправить, остался всего один день...

Журка оглянулся. Иринка стояла у подъезда, не уходила, смотрела вслед. И тогда Журка пошел назад. И она пошла — ему навстречу. И вдруг легко вскочила на бетонный брус, который отгораживал асфальт от газона. Журка со сбившимся, застукавшим сердцем тоже встал на поребрик. И они сошлись на этой узкой бетонной балке, взяли друг друга за руки, смущенно глянули исподлобья, сдвинули головы, осторожно коснулись друг друга лбами.

— Му-у, — тихонько и виновато сказал Журка.

Иринка ласково засмеялась, и Журка вздохнул с облегчением. Они спрыгнули с поребрика.

— Я тебе завтра скажу... про многое, — пообещал Журка, хотя не знал еще толком, о чем скажет.

Иринка серьезно ответила:

— Я тоже.

А завтра все было не так. Завтра на одной напряженной ноте выл мотор, и КамАЗ летел по кольцевой дороге, как тяжелый спутник по орбите. И Журка, подавшись к ветровому стеклу, каждой клеточкой, каждой жилкой рвался вперед.

Скорее, скорее, скорее!

...Утром все начиналось, как было задумано. Журка с мамой разыскали прошлогоднюю одежду, в которой он был с Иринкой на качелях, на картине «Летний день». Пускай будет все-все как прошлым, хорошим летом. (Только старенькие кроссовки оказались малы, и пришлось на-

деть новые сандалеты.) Журка положил в нагрудный кармашек завернутое бритвенное лезвие. Потом повел глазами по полкам. Какую книжку подарить, вместе с ленточкой, Иринке? Наверно, «Олаудаха». Они с Иринкой столько вечеров сидели над этой книгой, придумывали рассказ для сбора...

Он уже совсем собрался бежать к Брандуковым, и тут его кольнула совесть, а Горька?

Горьку надо было позвать. Нехорошо получится, если Журка уйдет к Иринке один. Горька — он тоже их друг. Но... если будет Горька, разве с Иринкой поговоришь о важном? Разве побродишь спокойно по тем парковым закоулкам, где бродили в первый день знакомства? Разве помолчишь, если захочется помолчать о чем-то знакомом и понятном? Горька хороший. Но он будет болтать, неуклюже шутить — специально, чтобы разогнать печаль прощания. А ее не надо разгонять. Ни к чему. Просто нельзя...

Журка нерешительно затоптался у двери: что же делать? И тут же успокоил совесть (не совсем успокоил, но приглушил) тем, что сначала пойдет к Иринке один, а под вечер они вместе зайдут к Горьке.

Но пока он топтался, мама вспомнила, что надо сходить за хлебом.

— Сбегай, Журка, это недолго. А то я с обедом не управлюсь...

Не спорить же. Он побежал, помахивая легкой плетеной сумкой и прыгая через тени тополей. Тени были теперь курчавые — на обрезанных сучьях дрожали от ветерка молодые, но частые листья. А Журкина тонкорукая и тонконогая тень была быстрая, ловкая, нетерпеливая. Иногда она даже обгоняла Журку, а когда он высоко подпрыгивал, отрывалась и улетала к заборам.

Журка вдруг понял, что ему ни капельки не грустно. Может быть, потому, что утро было очень солнечное и синее. А может быть, оттого, что если бежишь вот так наперегонки с тенью, то печальные мысли не могут за тобой угнаться. Да и надо ли сильно грустить? Конечно, плохо, что Иринка уезжает, но дружба-то не кончается. И они еще тысячу раз встретятся. И будет еще много хороших дней. Тем более что впереди лето и каникулы...

К маленькой булочной на углу Парковой и Красноармейской Журка подошел совсем веселый: Там как раз подъехал фургон, и продавщицы принимали лотки с батонами и караваями. Но эта задержка не испортила Журке настроения. Он посидел на штакетнике перед магазином

(солнце жарило плечи), дождался, когда станут торговать, купил батон и половинку украинского хлеба, а на сдачу — посыпанный сахарной пудрой рогалик. Чтобы сжевать по дороге домой.

Вернулся он через полчаса.

Но как много значит иногда полчаса!

Журка не стал звонить, открыл дверь своим ключом. Поставил сумку в кухне, шагнул в свою комнату... и увидел себя. Как в зеркале. Но это было не зеркало, потому что рядом с ним, с Журкой, стоящим на доске качелей, сидела Иринка. Это была картина «Летний день».

Она стояла на тахте, прислоненная к стеллажу.

Зачем она здесь? Резкая тревога сразу обожгла Журку. Вошла мама. Журка глянул на нее с нетерпением — что случилось? Мама сказала как-то виновато:

— Иринка заезжала со своим папой. У них что-то изменилось, они улетают прямо сейчас.

— Что изменилось, почему? — беспомощно спросил Журка...

— Я не знаю точно, они очень торопились... Игорь Дмитриевич получил какое-то письмо, ему завтра надо быть во Владимире. Поэтому они сейчас самолетом до Москвы, а там по железной дороге до Владимира, это недалеко... А Вера Вячеславовна поедет завтра поездом, с вещами...

«Ему надо скорее, а Иринке-то зачем? — думал Журка. — А, ну конечно: они с матерью не захотели отпускать отца одного. У него сердце и вообще... И чего меня понесло ни раньше, ни позже в булочную?» Эти мысли проскакивали какими-то равнодушными серыми строчками, будто думал кто-то другой. А Журка... он стремительно тонул в прихлынувшей тоске. Неужели это он совсем недавно скакал по улице, беззаботный и почти веселый? Сейчас не было ничего, кроме едкой тоски и обиды на дикую несправедливость. Почему все так нелепо? Почему именно в эти полчаса? Зачем кому-то понадобилось отнимать у него и у Иринки этот последний день?

— Они очень жалели, что тебя нет, — сказала мама. — Но ждать было нельзя, они торопились, на такси заехали... А картину подарили нам на память. Такая прелесть, верно?

— Ну при чем здесь прелесть? — с болью откликнулся Журка. — Я же ничего не успел...

Мама поняла.

— Что же делать, Журавушка...

Что делать? Самолет улетает не сразу. Сначала реги-

страция билетов, потом очередь у выхода на поле. Журка летал, знает! Если уговорит маму схватить на улице такси... Но разве схватишь его здесь, далеко от центра, да еще в выходной день? Это если только счастливый случай...

Но делать что-то надо! Журка чувствовал с нарастающим отчаяньем, что, если не скажет Иринке хотя бы несколько слов, если не отдаст ленточку с надписью «Виндроуз» и книгу, если не махнет вслед самолету, что-то очень надломится в жизни.

А может быть, все же можно успеть? Может быть, если...

В это время очень громко затарахтел звонок. «Они вернулись!» — радостно понял Журка и кинулся к двери. Но это была не Иринка и не Игорь Дмитриевич. Это был отец.

Он мельком взглянул на Журку и озабоченно сказал маме:

— Ты мне, Юля, собери что-нибудь поесть, дай с собой. Обедать не приеду, в середине дня начнем со склада материалы в лагерь возить, будет не до того...

— В выходной работаете, да еще без обеда, — укоризненно отозвалась мама.

— Воскресник же. Лагерь-то надо сдать к каникулам. Все родители там вкалывают. Юрий вон тоже небось запросится отдыхать...

«Никуда я не запрошусь», — подумал Журка. И вдруг сказал:

— Папа...

Видно, как-то по-особому сказал. Отец вздрогнул и посмотрел на него.

— Папа... Иринка уехала, — с тоской сказал Журка, почти забыв про все, что было. — Я не успел попрощаться, они на самолете... Папа, если на машине, то можно успеть в аэропорт!.. Папочка...

Отец мигнул, по мускулам его лица словно прошла короткая рябь. Потом лицо затвердело, и отец глуховато сказал:

— Давай.

...И вот гудящий тяжелый грузовик летит по исполинскому асфальтовому кольцу. Это не самая короткая дорога, через город ближе, но там светофоры, пробки, а здесь можно до поворота к аэропорту мчать на предельной ско-

рости. И эта нетерпеливая скорость воет в моторе, звенит в каждой нервной струнке у Журки.

Дорога пошла по широкой дамбе. Слева громадами белых кварталов, стеклянными цехами и тонкими трубами начал поворачиваться, будто на гигантском блюде, Сельмаш. Справа зазеленели луга, очерченные по горизонту кромкой леса. Оттуда, из-за синей кромки, взлетел и круто пошел в небо необыкновенно большой ТУ-134.

Но это еще не тот самолет, который увезет Иринку, не тот. Журка успеет. Вон как мчится под радиатор серое полотно асфальта! Вон как прочно лежат на руле отцовские руки. Они сразу и четко дали машине самый верный, самый рассчитанный курс.

У отца резкий профиль, спокойный, но не отрывающийся от дороги взгляд. Не поворачиваясь к Журке, отец сказал:

— Ничего, Юрик, успеем. Точно успеем.

Тревожные Журкины жилки слегка ослабели. Раз отец сказал, можно верить. Он же пилот, ас автомобильных дорог.

Только бы ничего не случилось...

— Папа, а за нами, по-моему, милиция на мотоцикле, я в зеркальце заметил.

— Едут. Ну и что?

— Тебя не остановят за превышение?

— А нету никакого превышения, идем как надо... Да и ребята на мотоцикле знакомые.

— А тогда нельзя чуточку скорее?

— Нельзя. Да и не надо, все будет нормально.

Хорошо, если нормально. Если успеют. Потому что в таких случаях успевают не всегда. А случаев таких в жизни множество. Он слышал про них, читал, смотрел в кино. Про то, как один друг уезжает, а другой отчаянно старается догнать его, потому что это очень важно для них обоих. И вот человек рвется по летящей навстречу дороге, скачет на коне, летит на самолете, несется под штормовым парусом, мчится в машине, стараясь напряжением всех мускулов и нервов добавить скорости мотору. Скорее, скорее, ско...

Молния ударила горизонтально — черной свистнувшей полосой. И в короткий-короткий миг после этого Журка успел подумать о многом: «Что это?.. Какая аккуратная дыра в середине стекла! И какие мелкие трещинки вокруг дыры!.. А небо в ней гораздо синее, чем за стеклом... Это

выстрел? Теперь не успеть, папа не поедет с разбитым стеклом...»

Журка рывком повернулся к отцу. Тот одной рукой держал руль, а другую прижимал к лицу, и между пальцами набухали красные капли.

— Папа!

— Ничего, ничего, Юрик, сейчас...

Машина замедлила ход и осторожно встала у края.

— Папа!

— Ничего, Юрик, глаза целы...

Он оторвал от лица ладонь, и лицо это было незнакомым — в алых пятнах и черных трещинках, из которых, пульсируя, выталкивались тонкие красные струйки. Но Журка растерялся лишь на миг. Все равно это было папино лицо. Журка заплакал — не от страха, а от жалости, рванул из-под ремешка рубашку, выхватил из кармана бритвочку.

— Папа, я сейчас, я перебинтую...

Лезвие оказалось тупым, Журка суетливо кромсал им подол рубашки.

— Да что ты, не надо, аптечка есть...

Журка оторвал застежку на коричневой сумке с красным крестиком, выхватил перевязочный пакет, дернул, как надо, нитку (на «Зарнице» учили), размотал марлевую ленту.

— Папочка, больно? Я сейчас...

В эту секунду распахнулась дверца, в кабину сунулся молодой черноусый милиционер.

— Журавин, Саша? Живой?.. А ну, давай... — Он выхватил у Журки бинт, начал быстро и очень ловко обматывать отцу голову. — Ничего, тут недалеко, в Колпаково медпункт... Вот гады, из-под насыпи, из кустов бросили. Нас-то не видели, мы левее ехали...

Завязав бинт, милиционер выглянул из кабины и крикнул кому-то:

— Здесь нормально, давай за теми!

У отца остались незакрытыми только глаза и рот. Сквозь марлю проступали веснушками красные пятнышки.

— Больно? — шепотом спросил Журка.

— Да чепуха, щиплет слегка... Вот беда, не получилось у нас. Не догнали твою подружку...

— Да ладно, папа...

Все теперь отодвинулось: Иринка, аэропорт. Не было уже ни тоски, ни жгучего нетерпения, был только страх за

отца. Иринке он напишет, объяснит, лишь бы с папой ничего страшного...

Милиционер потянулся к заднему стеклу. Оно было затянуто проволочной сеткой, а в ней застрял серый камень. Круглый, размером с небольшое яблоко. Сержант покачал его на ладони, хмуро сказал:

— Вот такой подарочек. Немного бы в сторону — и заказывай по кому-то из вас поминки.

Журка рукавом резко вытер слезы и спросил с тихой яростью:

— Зачем его бросили?

— А черт их знает! Шпана проклятая... Давай, Саша, я сяду за руль.

— Да я сам могу...

— Какое там «сам»! Давай.

Отец придвинулся к Журке. Журкины пальцы были в крови. Он вытер их о полуобрезанный подол, комком затолкал его под ремень, взял отца двумя руками за локоть, прижался к нему плечом. Автомобиль завыл, выбираясь на проезжую часть. Журка неловко покачнулся, ухватил отца покрепче, напряженно глянул на его забинтованное лицо. Опять спросил с тревогой:

— Тебе больно?

Отец помолчал, как-то странно дернул плечами, сказал с хрипотцой:

— Чушь какая, разве это боль... Юрик, сынок, ты меня прости.

— Что? — не понял Журка и опять испугался. Отец так редко говорил «сынок». Может, это от потери крови, от слабости?

— Папа...

— Ничего, Юрик, ничего, родной. Переживем... Все переживем... Да?

## Валерик

Порезы оказались неопасными, но каждый день отец ходил на перевязки. Глядя на его забинтованное лицо, Журка сказал однажды.

— Ты похож на марсианина.

Отец почему-то очень обрадовался, ответил весело и невпопад:

— А стекло уже заменили... Ничего, мы еще поездим!

Один раз к отцу приходил незнакомый мужчина — оказалось, что из милиции. Когда он ушел, отец сказал:

— Вот уж не думал! Нашли ведь тех «гранатометчиков», догнали.

— Да?! — зло обрадовался Журка. — А кто они?

— Кто... Пацаны, конечно. Вроде тебя.

— Почему это вроде меня? — сразу ощетинился Журка.

— Ну, я про года говорю. Такие же по возрасту. Чего ты как динамит?

— Мама говорит: весь в тебя, — усмехнулся Журка. — Папа... а что им будет? Этим ребятам...

Отец пожал плечами.

— Откуда я знаю? Что заработали, то и будет... — И ушел опять в поликлинику.

А Журка побежал на репетицию.

Репетиции «Сказки о Золушке» шли одна за другой, потому что предстоял еще один спектакль. И очень важный. Вероника Григорьевна с таинственным видом говорила, что ожидается какой-то сюрприз. Все выпытывали: какой? И она сообщила наконец, что, «кажется», пьесу будут снимать для детской телепередачи «Сигнал горниста».

— Ой, мамочка, — шепотом сказала «новая Золушка» — Лида Синявина.

Она была неплохая Золушка. Если по правде говорить, она играла, пожалуй, не хуже Иринки. Только сильно волновалась. Если на репетиция она сбивалась от волнения, Журка терпеливо ждал и подсказывал. И ни капельки на нее не сердился. Потому что это было бы глупо и по-свински. Лидка же не виновата, что Иринка уехала.

И сейчас, когда она перепугалась, Журка сказал ей:

— Не бойся, это же будет съемка. Если что не получится, переснимут, вот и все...

Но сам он ощутил какое-то беспокойство. Его не очень-то обрадовало участие в телепередаче.

— Конечно, вся пьеса в передачу не влезет, — разъяснила Вероника Григорьевна. — Только самые интересные эпизоды. — Но все равно! Представляете, охламоны вы мои ненаглядные, как это здорово! Вся область вас увидит на экране! Школу свою прославите... Но и ответственность какая!

Журка прислушался к своей тревоге. Нет, его не пугала ответственность. Тут что-то другое. Кажется, дело все же в Иринке. В том, что не она будет Золушкой.

По всей справедливости должна была играть Золушку

она! Именно для передачи. Назло всему, что случилось! Если одна передача принесла ей столько несчастий, пускай другая будет ее победой!

Но это было невозможно... Ощущение такой невозможности, все эти беспокойные мысли очень мешали Журке на репетиции. Он даже начал злиться на Лидку. Вероника Григорьевна сказала:

— Журавин, да что с тобой сегодня? Ну-ка, соберись, голубчик.

Он вздохнул и постарался «собраться»...

В субботу провели генеральную репетицию. Ради такого дела «артистов» освободили от уроков. Вероника Григорьевна доказала директорше Нине Семеновне, что репетировать надо на свежую голову, с утра.

Пришла незнакомая женщина — в джинсах и замшевой куртке, высокая, с красивым лицом, с резким нарисованным ртом и короткой прической. Звали ее Эмма Львовна. Оказалось, что она с телевидения.

Эмма Львовна весело, но решительно вмешивалась в репетицию, громкими хлопками ладоней останавливала игру на сцене, что-то проверяла по часам, делала пометки в блокноте. Оробевшая Вероника Григорьевна кивала и со всем соглашалась.

Впрочем, ребятам Эмма Львовна понравилась. Благодаря ее напору и быстроте репетиция закончилась уже в половине двенадцатого. Полагалось идти на два последних урока, но Вероника Григорьевна переглянулась с Эммой Львовной, подмигнула ребятам и сказала:

— Так и быть, разбегайтесь и отдыхайте до понедельника. Ответственность мы берем на себя.

«Актеры» громким шепотом сказали «ура» и дунули по домам.

Когда Журка вернулся из школы, дома никого не было. Мама, несмотря на субботу, ушла в машбюро: ее попросили перепечатать срочную работу. Отец, видимо, был в поликлинике.

День стоял совсем летний, жаркий, воздух в комнатах перегрелся. Журка с наслаждением распахнул все окна, вытащил из холодильника бутылку молока, глотнул из горлышка (вот мама-то не видит!), смочил в ванной нажаренную солнцем макушку и начал торопливо переодеваться: они с Горькой договорились пойти на двенадцать тридцать в кино.

Кто-то нерешительно, сбивчиво позвонил. Явно не Горька. Журка торопливо заправил в шорты подол желтой рубашки (мама ее уже починила) и открыл дверь.

За дверью стояли незнакомые люди: пожилая, почти старая женщина и темноволосый мальчишка с сумрачными глазами волчонка. Сразу, в одну секунду, Журка ощутил, что веет от них какой-то бедой.

Женщина, переминаясь, проговорила:

— Ты, мальчик, извини... Журавин здесь живет?

— Да, это я, — почти с испугом сказал Журка. — То есть мы все Журавины. А что?

— Значит, папа твой... — пробормотала женщина. И вдруг дернула мальчика за плечо: — Вот, привела, чтоб прощенья просил! За камень за свой дурацкий! Он ведь бросил-то! Теперь, если папа твой не простит, совсем худо...

Плечо у мальчишки мотнулось, и он опустил голову.

Журка смотрел на него и на женщину с удивлением и растерянностью. Неужели этот парнишка в самом деле бросил камень? И зачем они пришли?

— У, паразит, — жалобно сказала женщина мальчику, а у Журки заискивающе спросила:

— Папочка-то дома?

Журка внутри себя застонал от мучительной неловкости и хмуро сказал:

— Нет. Наверно, он на перевязке...

— Вот беда опять. Что же делать-то?..

— Ну, вы проходите, — пробормотал Журка. — Он скоро придет.

— Да чего же проходить-то, если... — начала растерянно женщина и как-то машинально шагнула в прихожую. Дернула мальчика за собой. Он худыми, какими-то ломкими ногами переступил порог и опять замер, не поднимая головы.

В полутемной прихожей не было окон, и Журка включил яркую лампочку. Женщина растерянно мигнула. Журка увидел ее тоскливые беспомощные глаза, дряблые щеки, маленький жалобный подбородок и понял вдруг, что это лицо ему знакомо. Но откуда и почему, не вспомнил. Они встретились глазами, и Журка торопливо перевел взгляд на мальчишку.

Тот казался чуть младше Журки. По виду — класса из четвертого. Тощий, с большими ушами, торчащими из-под прямых черных прядок. Волосы упали вперед, лица не разглядеть. Он был в новых сандалетках, голубых но-

сочках, в летнем синем костюмчике с олимпийскими колечками на кармашке. Новый этот костюмчик сидел на мальчишке неловко и твердо, торчал острыми углами — как спичечный коробок, наткнутый косо на длинную лучинку. Кое-где на жесткой материи заметны были слежавшиеся складки. И Журка вдруг догадался, что в эту нарядную, поспешно купленную одежду мальчишку засунули специально: чтобы он казался более приличным, более воспитанным. Даже более маленьким. Это, мол, не хулиган, а ребенок, который случайно совершил нехороший поступок.

Волчонка одели в костюмчик смирного зайчика. Журка снисходительно усмехнулся этой мысли, но злости к «волчонку» не почувствовал. Появилась только какая-то смесь обиды и пренебрежительной жалости. И еще — болезненное любопытство: каково ему сейчас?

Журка представил себя на месте «волчонка» и зябко шевельнул плечами: лучше не думать про такое...

— Вы заходите, — стесненно сказал он. — Посидите...

— Да чего ж... — опять проговорила женщина, однако нагнулась, чтобы расстегнуть туфли.

— Не надо, — поспешно остановил ее Журка. — Что у нас, музей, что ли?.. Вы идите в комнату и садитесь. Папа скоро...

В комнате он отодвинул от стола два стула. Женщина села, опустила с головы на плечи косынку, разгладила на коленях слишком яркое цветастое платье. Вздохнула. Мальчик не сел. Встал рядом с ней, сбоку от стула. Все такой же: с опущенной головой и неподвижный. Только пальцы его суетливо мяли и дергали края штанишек. Женщина сильно хлопнула его по руке. Потом громко, будто здесь было много людей, проговорила:

— Родила его на свою голову! На старости-то лет! Маюсь вот теперь... У мальчика тоже проси прощения, бандит! Ты ведь и его мог прибить!

«Волчонок» быстро облизал губы, приоткрыл рот, судорожно глянул из-под волос на Журку. У него были какие-то ощетинившиеся и в то же время умоляющие глаза.

— Не надо у меня ничего просить! — почти крикнул Журка. — Вы... посидите. А я пойду. У меня уроки...

Он ушел в свою комнату, сел к секретеру, открыл первую попавшуюся книжку — учебник истории. Посидел над ним, не зная, что делать. Подумал: «Хоть бы скорее папа пришел...» Потом не выдержал, оглянулся.

В открытую дверь женщину не было видно — только

краешек стула с цветастым платьем. А мальчишка был виден весь. И они опять встретились глазами.

Этот взгляд был чуточку дольше, чем первый. И Журка почувствовал, как страшно, мучительно стыдно и тоскливо сейчас «волчонку».

«Если бы знал, ни за что бы небось не кинул», — подумал про него Журка.

А зачем кидал?

В самом деле, зачем?

Что его толкнуло схватить булыжник и швырнуть в стекло летящей машине? Ведь ни Журка, ни отец никогда-никогда и ничего-ничего не сделали ему плохого.

Зачем?

Да, это, оказывается, был главный вопрос. Он сразу же засел в Журке твердым колючим кубиком.

Если бы понять: почему был брошен камень? Журке теперь казалось, что жить тогда стало бы проще и легче. Может быть, мальчишка не так уж виноват? Ведь и Журка однажды схватил кусок щебня и хотел швырнуть в машину. Правда, вслед, а не навстречу, но мог бы и навстречу. От жгучей боли, от обиды, от злости на весь мир. Что он тогда понимал?

Люди, которые мчались в том «Запорожце», наверняка не хотели обрызгать Журку. Наверно, и не заметили его. Может быть, спешили по важному делу. Но в тот яростный миг Журка считал себя правым. Это хоть как-то можно понять.

А «волчонок»? Может, и с ним было что-то похожее?

Журка опять уткнулся в учебник, не видя ни букв, ни картинок. И тут услыхал:

— Мальчик... Наверно, мы потом придем, попозже. Нехорошо так сидеть-то... Мы пока по магазинам походим, а через часик опять зайдем...

Журка вышел в большую комнату.

— Ну... как хотите. Я скажу папе...

— Ты уж скажи, а мы придем еще раз... Через весь город ехали, с Сельмаша... У, паразит! Вот не простит тебя его папа, в колонию ведь попадешь, дурак, или в школу специальную... Пошли давай! — Она сильно дернула сына.

— Постойте, — неожиданно для себя сказал Журка. — Вы его оставьте... Здесь оставьте.

— А... как? Зачем? — растерялась она.

— Идите в магазины, а он пока пускай здесь... Папа придет, они и поговорят.

— Без меня?

— Ну, не вы же камень кидали, — чуть усмехнулся Журка. — Он кидал, он пусть и отвечает.

— Да что он скажет-то? Одно знает: в пол упрется глазищами — и ни гугу.

— Ну, ничего. Может, не упрется...

— А будет папа с ним с одним-то разговаривать?

— Будет. Даже лучше, если с одним, — схитрил Журка. — А то скажет: мама пришла заступаться...

Мать взглянула на мальчика.

— Оставайся, я через час приду... Да проси прощенья как следует! Слышишь?

— Слышу, — как неживой, прошептал «волчонок». Это было первое, что он сказал здесь.

Журка запер за матерью мальчишки дверь и вернулся в комнату. «Волчонок» все так же понуро стоял у опустевшего стула.

— Сядь, — насупленно сказал Журка.

Тот сразу сел — будто ноги подломились. Сдвинул коленки. Вцепился в них пальцами с мелкими бородавками и грязными ногтями. Стал смотреть перед собой. И Журка увидел, что это вовсе не волчонок, а мальчишка, совсем сломленный бедой. Беспомощный и покорный.

Журка ощутил полную власть над этим пацаненком. Его можно было поставить на колени, можно было отлупить, и он бы не стал сопротивляться. На миг такое всесилие сладко обрадовало Журку. Но если один всесилен — другой полностью беспомощен. А ужас такой беспомощности Журка когда-то сам испытал. Он вздрогнул. Нет, не хотел он для этого мальчишки ни боли, ни унижения. Он только хотел понять...

— Знаешь, зачем я тебя оставил? — спросил Журка.

Мальчик отрицательно мотнул головой.

— А ты подумай! — с прорвавшейся злостью крикнул Журка.

Мальчик помолчал и спросил совсем тихо:

— Бить?

Журку опять передернуло — от стыда и обиды.

— Ну на кой черт мне тебя бить? — резко проговорил он. — Мне только надо знать: зачем ты кидал камень в машину? Скажи!

Мальчик повернул голову и посмотрел на Журку — более долго, чем раньше. У него были очень темные глаза, а вокруг них лежала тень. Может быть, это от природы, а

может быть, от какой-то болезни. Или от долгих слез. Глаза смотрели издалека, из тоскливой глубины.

— Я не знаю... — прошептал мальчик, и Журка заметил, как под его жесткой, стоящей коробом рубашкой беспомощно шевельнулось плечо.

— Что ты не знаешь?

Мальчик так стиснул коленки, что побелели ногти. Но он не отвел глаз и повторил более громко, с усталостью и отчаянием:

— Ну, я правда не знаю. Все спрашивают: «Почему, почему», а я кинул, и все... Просто...

У него оказался неожиданный голос, вовсе не подходящий для такого мальчишки. Низковатый, с хрипотцой, будто от легкой простуды. Таким голосом говорил бы, наверно, плюшевый медвежонок, если бы научился человечьему языку...

Задребезжал в прихожей звонок. «Папа», — решил Журка, но не обрадовался. Ему хотелось окончить разговор один на один.

Пришел не отец, а Горька. А Журка совсем забыл, что они договорились насчет кино!

— Идем? — спросил Горька.

Журка сказал, поморщившись:

— Не могу я сейчас. Тут у меня сидит один... «Диверсанта» привели, который в машину камень пустил.

— Да ну-у?! — удивился и, кажется, обрадовался Горька. — Можно посмотреть?

Не дожидаясь ответа, он шагнул в комнату и весело уставился на мальчика.

— Правда, что ли? Этот мелкий гвоздик? — спросил он (хотя сам был лишь чуть-чуть побольше «диверсанта»).

Журка сумрачно кивнул. Горька, все усмехаясь и не отрывая глаз от мальчишки, обошел его по широкой дуге. Тот сначала робко следил за ним, потом съежился и опять опустил голову.

— Ну и что теперь? — спросил Горька у Журки.

Журка пожал плечами.

— Я почем знаю? Отца ждет, объясняться будет... А я пока хотел добиться, зачем он кидал. Понимаешь, причину из него вытянуть!

— Тебе не все равно, что ли? — сказал Горька.

Журка мотнул головой. Ему было не все равно. Он хотел знать, как рождаются черные молнии, которые в одну секунду могут обрушить на людей всякое горе.

Мальчишка опять поднял глаза и вдруг сказал хрипловатым своим голосом:

— Они все кидали и не попали... Потом Репа говорит мне: «Кидай». Я кинул и попал. Потом побежали...

— Вы что, в партизан играли? — деловито спросил Горька.

— Ага...

— Идиоты! — почти со слезами крикнул Журка. — Это же не игра! В машинах-то настоящие люди! Вы об этом думали?

— Не-а... — прошептал мальчишка.

— Но ты о чем-то думал?

— Чтобы в стекло попасть. Чтобы зазвенело...

— Дать бы тебе, чтоб зазвенело, — беспомощно проговорил Журка. И понял, что больше спрашивать не о чем. Но вспомнил опять, как замахивался камнем сам и снова спросил:

— А может, ты злился на кого-то, когда кидал?

— Не...

— Да не тяни ты его за душу, — вдруг серьезно сказал Горька. — Ни черта он не соображал тогда.

— Совсем? Так не бывает.

— Бывает. Я, когда бутылку у магазина тащил, разве о чем-нибудь думал? Сейчас, как вспомню, сам удивляюсь...

— Сравнил... — сердито отозвался Журка. И обратился к мальчишке с новой догадкой: — Репа этот... и кто там еще, они тебя насильно заставляли кидать? Отлупить грозились?

Мальчик мотнул головой.

— Не... они со мной всегда по-хорошему. Заступались...

— «Заступались»... — опять вмешался Горька. — А сейчас, наверно, чистенькие сидят: «Мы ни при чем».

— Они сказали, что не кидали, только я...

— А ты что сказал? — спросил Журка.

— Что... Не они же разбили, а я...

Наступило молчание — длинное и неловкое. Потом Горька ненатурально зевнул и попросил:

— Дай чего-нибудь пожевать, я дома перекусить не успел.

— Пошли! — обрадовался Журка и повел Горьку на кухню. Дал ему хлеба, холодную котлету и стакан компота. Потом оглянулся на дверь: показалось, что в комнате раздался длинный всхлип. Журка торопливо вернулся

к мальчишке. Тот сидел как и раньше, и тоскливые глаза его были сухими. Только дышал чаще.

И совсем неожиданно для себя Журка спросил тихо:

— Есть хочешь?

Мальчик быстро и даже испуганно мотнул головой:

— Не...

— Да пойдем, не бойся, — сказал Журка.

— Не... — повторил мальчик. Суетливо поскреб по полу острыми краями новых сандалеток, коротко вздохнул и спросил, глядя в сторону: — А он меня простит?

— Кто?

— Ну... папа твой.

«Да нужен ты ему...» — чуть не сказал Журка. В самом деле, не будет же отец сводить счеты с этим и так задавленным бедой мальчишкой. А если сперва и вскипит, если заговорит, что «таких с детства учить надо», Журка скажет: «Папа, отпусти его. Ты же видишь, как ему плохо...» Отец послушает. Журка знал, что сейчас отец согласится на любую его просьбу.

«Не бойся», — хотел сказать Журка. И в эту секунду опять позвонили. И опять мальчишка сжался на стуле.

Однако и сейчас это был не отец. Вернулась мать «диверсанта». Она очень огорчилась, когда узнала, что отца еще нет.

— Вот же невезенье какое... А мне к трем часам на работу надо, я в домоуправлении подрядилась по субботам полы мыть.

— Ну, так вы идите. А его оставьте, — опять посоветовал Журка.

— Одного-то?..

— А что, он дорогу домой не найдет?

— Да найдет... Тут еще одна забота. У него талон к зубному врачу на два часа. А он один, паразит, ни за что не пойдет, сбежит. Он их боится, врачей-то этих, пуще милиции...

Журке не хотелось так сразу расставаться со своим несчастным гостем, он продолжал испытывать к нему странное чувство. Смесь жалости и любопытства. Но самым главным было ощущение нерешенной загадки. И эту загадку понять без мальчишки было невозможно.

— А в какую поликлинику талон? У вас на Сельмаше?

— Да нет, в городскую. В нашей-то нету детского кабинета...

— Это недалеко, — сказал Журка. — Если хотите, мы его сводим.

Он оглянулся на Горьку, который независимо стоял в дверях кухни и пальцами вытаскивал из стакана компотные ягоды. А вдруг Горька скажет: «На фиг нам это надо?» Но тот бросил в рот сливу и кивнул.

— Вот ведь... — опять нерешительно заговорила женщина. — Сколько хлопот вам... — Она вдруг повысила голос, чтобы сын в комнате слышал ее. — Он вон чего натворил, окаянный, а вы с ним возитесь! Наоборот бы надо!

— Да вы не бойтесь, наоборот не будет, — почти испуганно отозвался Журка. — Вы думаете, мы его обидеть хотим?

— Да что ты! Я же вижу, что вы по-хорошему... Мальчик, может, ты поговоришь с папой-то? Чтобы он не очень сердился. А?

Журку опять скрутило от неловкости.

— Да ладно... вы не волнуйтесь, — пробормотал он, стараясь не смотреть в дряблое жалостливое лицо. И с непонятной тревогой подумал опять, что лицо это где-то видел.

Отца так и не дождались и в половине второго повели «пленника» в больницу. Мальчишка понуро шагал между Горькой и Журкой и, конечно, молчал.

Недалеко от поликлиники Горька сурово сказал:

— Не вздумай драпать.

Мальчишка отозвался тихо и немного удивленно:

— Куда я... — И при этом глянул не на Горьку, а на Журку.

Журка спросил осторожно:

— Дергать будут или сверлить?

— Сверлить...

— Это хуже, — вроде бы с сочувствием заметил Горька. — Мне два раза сверлили, дак я над креслом подлетал и опуститься не мог, будто космонавт в невесомости.

Журка поморщился и глянул на него с укором. Горька вдруг жестко сказал:

— Ничего. Это все же не так больно, как стекла в лицо.

«Перестань!» — хотел крикнуть Журка. И не крикнул. В Горькиной суровости была правота, никуда от этого не денешься. И не за что кричать на него. Журка почувствовал себя виноватым, будто сам оказался на месте «диверсанта». И опустил голову. А когда поднял, увидел отца.

Тот шел навстречу. Бинты с лица у него были сняты, но на лбу и на щеках белело много марлевых наклеек.

— Папа... — растерянно сказал Журка, будто его застали врасплох.

Отец улыбнулся, и белые наклейки зашевелились.

— Вы, гвардия, куда маршируете?

— Да... — сбивчиво начал Журка, — вот его... к зубному врачу провожаем, чтобы веселее было.

Он локтем ощутил, как дрогнул и боязливо напрягся рядом «пленник». Краем глаза увидел Горькину усмешку. И торопливо, чтобы Горька не сунулся в разговор, спросил у отца:

— Ты почему так долго у врача был?

— Очередь к хирургу. И возились со мной порядочно... Домой скоро придешь?

— А вот с зубом дела закончим и придем.

— Ну, давайте, — добродушно сказал отец. — Зуб — дело серьезное.

Когда разошлись, Горька небрежно сказал мальчишке:

— Хорошо ты разукрасил дяденьку. Видел?

Журка думал, что мальчишка промолчит, но тот негромко ответил:

— Видел...

И это, кажется, смутило Горьку.

Перед белой дверью с табличкой «Детский стоматолог» никого не было. Из кабинета доносилось еле слышное позвякивание и тихий голос. Эти звуки лишь подчеркивали неприятную тишину, которая висела в коридоре. У Журки шевельнулась совсем не героическая мысль: как все-таки хорошо, что не ему идти за эту белую дверь.

В большое окно безудержно рвался поток солнца. Совсем летнего, горячего. Лучи нагревали желтый пол и широкую клеенчатую скамейку. Журка, Горька и совсем поникший «пленник» присели. Клеенка была горячая, будто под скамейкой пряталась печка, но мальчишка зябко ежился и потирал ноги: на них, как от холода, высыпали пупырышки.

Дверь открылась. Из кабинета, держась за щеку, вышла девчонка с мокрыми глазами и, не взглянув на ребят, торопливо пошла по коридору.

— Да-а... Там, видать, не курорт... — сказал Горька.

Мальчишка молча вцепился в края скамейки.

Из-за двери показалась пожилая женщина в халате и косынке — видно, медсестра. Весело удивилась:

— Ого! Сразу три богатыря! Кто первый?

— Да нет, один только, — так же весело отозвался Горька. — Вот этот. А мы конвоируем, чтоб не убег.

Медсестра быстро наклонилась над мальчишкой, легонько взяла его за локоть. Сказала серьезно и ласково:

— А зачем убегать? Ничего страшного у нас нет. Пойдем, не бойся, мальчик. И не слушай их...

Мальчишка рывком поднялся. На ломких своих ногах покорно шагнул к двери и там, у порога, беспомощно оглянулся на Журку. Дверь за ним закрылась.

С минуту Журка и Горька сидели молча, будто ждали чего-то. Потом Горька бесцветным голосом проговорил:

— Сейчас завопит.

И тут Журка не выдержал:

— Ну зачем ты так?!

— Как? — не удивившись этому крику, спросил Горька.

— Ну вот так! Издеваешься!

— А ты его жалеешь...

— Ну и что?! — запальчиво сказал Журка. И повторил тихо, уже по-другому: — Да. Ну и что?

Горька помолчал и ровно проговорил, глядя на дверь:

— А я жалею тебя.

— За что?

— А если бы камень тебе в лоб? Если бы черепушка пополам?

— Но он же не попал... Он же не знал про меня. Он вообще не думал!

— Вот потому и гад, что не думал...

— Но ты же сам говорил... Ты сам его оправдывал! Когда про бутылку...

— Оправдывал? — Горька усмехнулся. — Я просто объяснил. И про него, и про себя.

— Не трогай ты его, он сейчас беззащитный.

— А мы все беззащитные, — откликнулся Горька.

— Почему? — удивился Журка.

— А нет, что ли? Что хотят с нами, то и делают. Захотели — погладили, захотели — пинка дали...

«Опять с отцом не поладил», — догадался Журка и сказал:

— Если тебе плохо, на других-то зачем кидаться?..

— А вот я такой, — усмехнулся Горька, и глаза его сумрачно блеснули из-под медной челки.

— Какой «такой»?

— А вот такой. Подлый, — безжалостно сказал Горька.

— Ты чего ерунду-то городишь?

— Ерунду так ерунду. Значит, дурак... — как-то неохотно отозвался Горька. — Тебе-то что?

— Как это «что»?

— Ну, я тебе кто? Брат, бабушка, мать родная?

— Я думал, ты мне друг, — тихо сказал Журка.

— Я? Да ну-у... — Горька засмеялся с какой-то ненастоящей легкостью. — Это Ирка у тебя друг. А я так, сбоку припека...

— Не мели чушь! — крикнул Журка. Крикнул, пожалуй, слишком громко, потому что в Горькиных словах была кое-какая правда.

— Да нет, не чушь, — вздохнул Горька. — Она тебе, наверно, уже письмо написала...

— Ну... написала. А что такого?

— А мне сроду не напишет... У тебя и портрет висит: ты да она.

— У нее тоже висит: она, я да ты. Втроем.

— Ну да. Я там шутом нарисован.

— Горька... Ну ты чего? — виновато сказал Журка. — Это же пьеса такая. Ну играл бы принца, кто тебе не давал? Ты же мог...

— В пьесе-то мог...

Журка сказал осторожно:

— Иринка уехала, мы остались двое. Неужели нам теперь ссориться?

— Разве мы ссоримся? — будто бы удивился Горька. И вдруг спросил: — А ты мою фотографию повесил бы? Как Ромкину?

— Зачем? — испуганно спросил Журка.

— Ну, если бы... я, как Ромка...

— С тобой сегодня что? Заболел или не выспался?

— Ты не вертись, ты скажи, — усмехнулся Горька и опять блеснул глазами из-под медных волос.

Журка помолчал и проговорил неохотно:

— Я не хочу... про такое. Знаешь, Горька, я немного верю в приметы. Поэтому лучше не надо...

— Надо. Не вертись, — заупрямился Горька. — Я, может, тоже верю. И мне как раз н а д о. Только честно.

Журка украдкой сложил в замок пальцы, чтобы не случилось беды, и честно сказал:

— Да, повесил бы. А ты как думал?..

Горька вроде отмяк немного. Что-то хотел сказать, но открылась дверь, и вышла медсестра. Спросила у Журки:

— Как зовут братишку-то? Мне надо карточку заполнять, а он с открытым ртом сидит и только гыкает.

— Братишку? — растерялся Журка. — Я не знаю... Он не братишка.

— Мы с ним случайно, — разъяснил Горька. — Просто нас попросили покараулить, чтобы не сбежал.

— Странно... А он сказал, что который в желтой рубашке, тот брат. Значит, не поняла... А как зовут-то вашего приятеля?

Журка с Горькой переглянулись. Журка виновато пожал плечами.

— Ну и ну, — неласково сказала медсестра и скрылась.

Все это перебило прежний разговор Журки и Горьки. Теперь они сидели потупившись и молча. Журка запоздало расцепил пальцы.

Минуты через три медсестра вывела мальчишку. Сказала ему:

— Видишь, ничего страшного. А послезавтра будет совсем пустяк. Пломбу заменим, вот и все. Приходи к девяти... — Она глянула на Журку и сухо сообщила: — Между прочим, его зовут Валерик.

На крыльце Журка спросил у Валерика. Спросил не сердито, а даже смущенно:

— Ты почему сказал, что я твой брат?

— Я не говорил, — пробормотал Валерик.

— Ну да, не говорил. Она же сказала...

— Она меня спросила: «Там твои друзья сидят?» А у меня же рот открыт был, а за щекой вата...

— Ну и что?

— Я говорю: «Ых»... Ну, значит, «нет». А она опять: «Может, там твой братишка есть?» Я опять сказал «ых». Она, наверно, подумала, что это «да»... Потом опять говорит: «Это который в желтой рубашке?» А я опять...

Он впервые сказал подряд несколько фраз. И вдруг будто испугался такого многословия — замолчал.

— А ты опять: «Ых», — закончил за него Горька. И снисходительно разъяснил: — Это она тебе зубы заговаривала, чтобы ты кресло не промочил со страха... Штанишки сухие?

Журка наградил Горьку злым взглядом и больше не смотрел на него. Стал смотреть сбоку на Валерика. Тот опять шел понурый и покорный — готовый вынести все, что ему приготовлено. Он был похож на печального Буратино — только без колпачка и длинного носа.

Журка все отчетливее чувствовал, что «молния» родилась не в руке этого мальчишки. Она родилась где-то раньше. Потому что по Валерику она тоже ударила. Журка не

смог бы объяснить эту мысль словами, но он будто видел, как в воздухе вспыхивает черная звезда и одним лучом врубается в стекло машины, а другим валит навзничь мальчика в синей жесткой рубашке (хотя тогда Валерик, наверно, был одет не так).

— Слушай, а ведь не ты бросил камень, — уверенно сказал Журка.

— Я... — откликнулся Валерик. — Если бы не я, тогда я бы не признался... — Он помолчал и вдруг сказал с тем же долгим всхлипом, который Журка слышал в комнате: — Стекло на машине, оно выпуклое... За ним людей не видать совсем, только все в нем отражается. Все мелькает, как кино в телевизоре. Я и кинул. Я не знал, что опасно...

— Врешь ты все, — резко сказал Горька. — Все ты знал. Парни заставили, вот и кинул. И еще кинешь, если заставят.

Валерик мотнул головой.

— Нет... Они даже и не заставят. Я с ними больше не хожу...

— Куда ты денешься? — насмешливо проговорил Горька. — Позовут, и пойдешь. А не пойдешь — они тебе так вломят, что зубной кабинет после этого раем покажется.

Журка впервые увидел, как у Валерика упрямо и пренебрежительно сжался рот.

— Ну и пусть вломят. Я этого не боюсь.

— Какой храбрый, — усмехнулся Горька. — А зуб сверлить боялся, аж весь побелел.

Валерик не обратил внимания на насмешку. Он сказал с непонятной нарастающей доверчивостью:

— Это потому что там нельзя зубы сжимать. Сидишь, а рот открытый... А если зубы сжать, я тогда терпеливый. Мамка вчера вон как отлупила... за это... Я и то молчал.

Горька возразил:

— Мать сильно лупить не будет. Она всегда жалеет.

— Да? — тихо сказал Валерик. Он остановился, быстро оглянулся и неловко поднял подол своей твердой рубашки. На боку у него, пересекая тонкие проступившие ребра, синели припухшие длинные следы ударов. Журку будто хлестнули по глазам. И затошнило.

— Она жалеет, конечно. Потом, — хмуро объяснил Валерик. — «Сыночек, сыночек...» А сперва, если разозлится, то себя не помнит. У нее нервы...

Горька грубовато сказал:

— А чего молчал-то? Наоборот, надо было орать. Кто-нибудь заступился бы.

— Не, — серьезно возразил Валерик. — Тогда бы соседи услыхали. А они на мамку и так сердятся. Они на нее письмо писали, что пьет и меня обижает... Чтобы меня у нее отобрали в интернат. А если отберут, она куда без меня?.. Да она теперь совсем редко пьет, а они писали, чтобы нашу комнату себе забрать...

Дальше пошли молча. Как раньше: по сторонам Журка и Горька, а между ними мальчишка в синей рубашке с латунными пуговками и цветными колечками на кармашке. Только это был уже не «волчонок», не «диверсант» и не «пленник», а Валерка...

На старинном здании банка висели большие часы. Горька увидал их и будто споткнулся:

— Ой-ей! Братцы! Мне же к маме на работу забежать надо!.. — Он поспешно зашагал вперед и вдруг оглянулся на Журку. Сказал скованно:

— Я, может, вечером зайду. Можно?

— Да ты что спрашиваешь! — обрадовался Журка.

— Может, ночевать останусь. Ладно?

— Да конечно! Ты обязательно приходи!

— Ладно. Пока! — И он, стуча полуботинками, побежал к остановке, где как раз шипел и дергал дверцами автобус...

Автобус увез Горьку, а Журка подумал, что Горькина мать сегодня не на работе. Суббота. И уехал Горька потому, что с ним что-то не так. А может быть, просто не захотел больше обижать Валерика? Или подумал, что Журку с Валериком надо оставить одних? Зачем? Чтобы он, Журка, мог принять какое-то решение?

Троллейбусная остановка была рядом с автобусной. Журка спросил у Валерика:

— Деньги у тебя есть?

— Зачем?

— На дорогу.

— У меня талоны есть... — Валерик потянулся к синему кармашку с колечками.

— Ну и хорошо. Садись на «шестерку» и кати домой.

Валерик широко открыл глаза — не черные, а темно-темно-коричневые. Шепотом спросил:

— А как... твой папа?

— Ну зачем ты моему папе, — со вздохом сказал Журка. — Ты что, всерьез думаешь, что он будет на тебя в суд подавать?

Валерик низко-низко опустил голову и проговорил:

— Правда не будет?.. Мама за стекло уже деньги заплатила... И за леченье может, если надо...

— Вон идет «шестерка», садись, — сказал Журка.

Троллейбус распахнул двери, но оттуда сердито донеслось:

— Дрынка!

Валерик будто обрадовался:

— Мне на этом нельзя.

— Подождем.

Валерик переступил тонкими ногами и опять спросил нерешительно:

— А он правда... он мне... ничего?

Журка подумал.

— Ты где живешь?

— Я? На Сельмаше...

— Адрес какой?

— Я... Механизаторов, четыре. Квартира два.

— Ну и ладно. Если «чего», я тебя найду... Да не бойся... Только не вздумай связываться опять с этим Репой и с другими дураками. А то снова вляпаешься.

— Не... я не буду, — сказал Валерик.

Потом он уехал в тяжелом пузатом троллейбусе, а Журка пошел домой. С облегчением, но в то же время с досадливым чувством, будто не доделал что-то важное. А что — не знал.

## Опыт разговора с открытым ртом

— Это ты, Журавéль? — спросил отец из кухни, когда Журка вернулся.

Журка заулыбался: чуть ли не впервые в жизни он услыхал от папы свое журавлиное прозвище. Не слишком точное, правда, но разве в этом дело?

— Угу, — откликнулся он и остановился в дверях кухни. Отец, нагнувшись над раковиной, мыл тарелки: видимо, он только что пообедал.

Журка несколько секунд смотрел на отцовскую спину. Потом весело сказал:

— Ты удобно стоишь...

— Чего?

— Ничего-ничего. Так и стой, — засмеялся Журка. И с

разбега прыгнул отцу на спину. Тот крякнул, тряхнул плечами, но Журка вцепился прочно.

— Ты что, обалдуй! Чуть тарелку не грохнул! — запоздало закричал отец. — Вот мама бы дала нам... Ну-ка слазь!

— Не-а... — отозвался Журка. — Ты меня прокати.

— Ю-рий...

— Ну что «Юрий»? Почти двенадцать лет Юрий. А ты прокати, ты меня давно не катал. Все равно не слезу.

— Орясина, — проворчал отец, и Журка понял, что он старается не улыбаться. — Тебя уже на прицепе возить надо...

Потом отец покорно вздохнул, подкинул Журку на спине и ухватил под коленки. Журка взвизгнул — пальцы были мокрые и холодные. Отец тяжелыми шагами грузчика понес его через квартиру.

Посреди большой комнаты Журка вдруг сказал:

— Постой, папа... — И прямо в ухо отцу прошептал: — Помнишь мальчика, который сегодня с нами был?.. Папа, это он бросил камень в машину.

Широкая спина затвердела. Журка медленно съехал с нее, встал перед отцом и, глядя ему в грудь, перебирая пуговки на его рубашке, рассказал все, что было. Потом поднял глаза.

— Я, папа, сказал ему, чтобы ехал домой, не дрожал больше. Он и так намучился.

Отец хмыкнул, потирая украшенный заплаткой подбородок. Сказал растерянно:

— Вот ведь, надо же... А с виду такой цыпленок.

— А он такой и есть, — отозвался Журка. — Просто все у него получилось как-то... ну, будто все против него.

— Ну и ладно, что уехал, — задумчиво сказал отец. — Я с ним как бы стал говорить? Это дело тонкое... педагогическое. Только у меня вот какая мысль...

— Какая? — встревожился Журка.

— Может, ему лучше было бы, если бы его от матери забрали? Если она с ним... так вот обращается. Пьет и вообще...

— Не знаю, папа... — нерешительно проговорил Журка. В самом деле, откуда он мог знать? — Папа, он же ее любит. Если его заберут, она совсем... А он будет думать: как она там без него? Что у него будет за жизнь — каждый день в тоске!..

— А сейчас у него хорошая жизнь?

— Ну, нет, конечно... Но все-таки не один. — Журка

опустил глаза и, подавив смущение, признался: — Я бы без мамы не смог...

Отец моргнул, неловко улыбнулся, шевельнул губами, словно хотел спросить: «А без меня?»

Журка молча ткнулся лбом ему в грудь.

Маленький Максимка боком сидел на трехколесном велосипеде и насупленно поглядывал на подходившего Журку.

— Почему Федота не пхинес?

— В дхугой хаз...

— А ты не дхазнись...

— Не буду, — согласился Журка. — А ты чего сердитый?

— Жизнь такая, — меланхолично откликнулся Максим. — Одни непхиятности... В велосипеде тохмозов нет. На дом наехал, колготину похвал. Видишь, дыхка... — Он дернул коленкой.

— Чепуха, — утешил Журка.

— Тебе чепуха, а мне от мамы влетит.

— Не влетит, пойдем.

Лидия Сергеевна обрадовалась Журке и Максима ругать за «дыхку» не стала.

— А Валерий как раз фотокарточки глянцует, которые на вашем спектакле снимал, — сообщила она. — Иди посмотри. По-моему, неплохо получилось.

Но Валерий Михайлович сидел, запершись, в ванной и попросил Журку подождать. А то следом за ним проникнет в ванную некая личность, а здесь провод у глянцевателя не заизолирован...

— «Некую личность» я пойду поить молоком, — сказала Лидия Сергеевна. — Журка, а может быть, и ты хочешь?

— Ой, правда хочу, — сознался Журка. — Я сегодня пообедать позабыл. Столько было дел.

Лидия Сергеевна дала ему кроме молока макароны с сыром и поинтересовалась, что за дела.

— Всякие разные, — вздохнул Журка. Подналег на макароны и стал рассказывать по порядку: про утреннюю репетицию и Эмму Львовну с телевидения; про Валерика и его мать; про то, как ходили в поликлинику. Только про смутный разговор с Горькой и про неясное беспокойство, которое осталось после Валерика, рассказывать не стал. Он вовсе не хотел что-то скрывать от Лидии Сергеевны,

но не знал, как объяснить ей свою тревогу... Зато он охотно и весело рассказал про последний разговор с отцом.

— Ну вот... Значит, совсем помирились с папой? — тихонько спросила Лидия Сергеевна.

— Угу... — смущенно сказал Журка. И вдруг пришло к нему громадное облегчение. Только сейчас. Словно именно в эту минуту растаяла, испарилась тяжелая ледяная корка, которая привычной холодной тяжестью давила на него столько месяцев подряд. Он сам поразился этой неожиданной и небывалой легкости. Удивленно и обрадованно глянул на Лидию Сергеевну.

Она поняла его радость, улыбнулась навстречу, ласково сказала:

— Ну и славно... Все теперь будет хорошо.

Но в ее голосе Журка уловил усталость. Лидия Сергеевна, видимо, догадалась об этом. Качнула головой, провела по лицу ладонями, виновато призналась:

— Ох и устала я, Журка...

— А почему? Что случилось? — Он быстро повернулся к ней вместе с табуреткой.

— Да ничего особенного. Просто сессия на носу, зачеты пошли, а я в этом семестре закрутилась с хозяйством, лекций напропускала. Теперь столько учить приходится, просвета не видно... Ох, уйду я, Журка, на заочное.

— Куда? — испугался он.

— На заочное отделение. Чтобы работать в школе, а в институте только экзамены сдавать и контрольные работы.

— Но тогда еще труднее будет, — рассудительно заметил Журка.

— Труднее... и легче. Я, Журка, по школе скучаю. Ты рассказываешь про все ваши дела в классе, а я так бы и побежала туда. Понимаешь, я как будто в чем-то виновата...

— В чем? — удивился Журка.

— Трудно объяснить... Наверно, у меня такой нелепый характер. Все кажется, будто я ребят бросила.

— Кого? Нас? Но ведь все равно же...

— Да нет, вообще ребят... Ну, вот будто война идет, а я в тылу сижу. Вроде бы делом занята, да не самым главным... Хотя это, конечно, очень громкое сравнение...

— Ведь не война же... — осторожно возразил Журка.

Лидия Сергеевна сказала негромко:

— Война, Журка... За таких вот, как этот Валерик, про которого ты рассказывал... Я знаешь о чем подумала?

Был бы он в моем классе, я бы его никакой беде не отдала.

«А ведь точно!» — понял Журка. И тревога за Валерку опять кольнула его. Журка сказал:

— Тогда идите на это... на заочное...

— Ох, Журавлик... Думаешь, так просто? Знаешь, сколько забот прибавится! И работа, и сессии и... вон эта личность беспризорником растет... Я на курсе заикнулась было про заочное отделение, а все подруги в один голос: «Ты с ума сошла! Учись, пока есть возможность, успеешь еще ярмо на шею надеть! Муж зарабатывает, чего тебе...» В общем, кажется, убедили. Почти...

— Если «почти», значит, не убедили, — заметил Журка. — Лидия Сергеевна, вы их не слушайте.

— Но если разобраться, они же правильно рассуждают.

— Ага! — откликнулся Журка. — «Правильно»... Лидия Сергеевна, у меня дедушкино письмо есть, последнее. Он там знаете что написал? «Если тебе все-все, со всех сторон, будут говорить правильные слова, а ты хоть самую капельку будешь знать, что надо делать по-своему, так и делай...»

— Да... Но, Журка, посуди сам. Тогда могут сказать: «Значит, мы все глупые, а ты один умный? Разве ты не можешь ошибаться?»

Журка подумал.

— Можно ведь проверить, — сказал он. — Можно тысячу раз себя спросить: «Ты не ошибся? Ты не ошибся?» И если уж видишь, что нет, тогда — все...

— Да... а если все же ошибся, только сам этого не понял? Людям-то ведь тоже надо верить...

— Ну... — растерянно сказал Журка. Не привык он вести такие споры и не мог найти нужных слов. И на помощь пришел Валерий Михайлович. Он появился в дверях и весело вмешался в разговор:

— А себе, между прочим, тоже надо верить... Вспомни-ка, дорогая Лидия Сергеевна, позапрошлый год. Как тебя завуч, директорша, вожатая и родительский комитет убеждали, что в пионеры надо принимать сперва лучших, а ты уперлась! «Они у меня все лучшие!»

— Точно! — обрадовался Журка. — Вам тогда говорили, что вы педагогику не знаете! Мы ведь про эти разговоры тоже слышали!

Лидия Сергеевна рассмеялась:

— Сдаюсь... Эх вы, рыцари, двое на одну слабую, за-

мученную женщину!.. Ну-ка, брысь все из кухни, я буду мыть посуду.

В комнате Валерий Михайлович дал Журке пачку теплых от глянцевателя фотографий. Журка сел на корточки и разложил их на полу. Сопящий от любопытства Максим пристроился, конечно, рядом.

...И словно опять зашумела, заиграла вокруг Журки сказка о Золушке. И зазвенел испуганный голос Иринки:

— Что же мне теперь делать?

— А что? — удивился принц.

— Куда я в таких лохмотьях...

— Подумаешь! Пошли танцевать «Рыжую лошадь»!

— Меня засмеют...

— Пусть попробуют! Я же рядом с тобой. Я за тебя всегда буду заступаться... если хочешь...

— Я... хочу... Ой, смотрите, ребята, а башмачки не рассыпались, остались...

Журка стал медленно перекладывать фотографии. «Эти — для ребят, эти — мне, эти Иринке пошлю. Эти — Горьке...»

Только обрадуется ли Горька? Увидит себя в костюме шута и опять что-нибудь скажет.

И беспокойство снова вернулось к Журке. Как все-таки непросто устроена жизнь...

Как-то получилось, что от Лидии Сергеевны Журка снова попал в школу. На странную молчаливую репетицию, где все двигались, но ничего не говорили. Как в балете без музыки. Золушка была непонятно кто — Лида, или Иринка, или совсем незнакомая девочка. Журка старался подойти к ней поближе, но все время оказывалась на пути Эмма Львовна, которая играла лесную ведьму.

Потом все исчезли, и Журка понял, что уже очень поздно, давно пора домой, мама беспокоится. К тому же в опустевшей темной школе стало тихо и страшновато. А если честно сказать — совсем жутко.

Задохнувшись от этого непонятного страха, Журка промчался по коридорам и выскочил на улицу. Сердце стреляло короткими очередями...

Вечер был очень светлый. Тихий и мягкий. Журка торопливо пошел к дому. Прохожие удивленно оглядывались на него. И Журка вдруг понял, что идет по городу в костюме принца. Забыл переодеться.

Вернуться? В пустую школу, в ее жуткую тишину?

Журка боязливо оглянулся. Но школы уже не было видно, а была вокруг многолюдная улица — наполовину знакомая, а наполовину странная, будто сказочная. Журка быстро пошел мимо освещенных окон, и люди провожали его молчаливыми взглядами. Даже манекены из витрин удивленно следили за ним.

Мучаясь от этих неотрывных взглядов, от неловкости за свой театральный костюм, Журка свернул в переулок и понял, что оказался недалеко от парка.

«Вот и хорошо, — подумал он, — сейчас пробегу через кусты, потом через мост, а там рядом дом».

До ворот было далеко, и Журка подошел к решетчатой изгороди, чтобы найти лазейку. И увидел, что это не парковая решетка. Изгородь была сделана из дырчатых железных полос. Как там... где он спас Федота...

Страх опять накрыл Журку, и стало ясно, что не надо пробираться туда, за решетку. И совсем там не парк... Но лазейка открылась сама собой, и Журка полез в нее — сквозь страх, сквозь густую колючую траву и кусты. Не хотел, а лез...

Потом он выбрался на пригорок и оглянулся. Нет, кругом был все-таки парк. Только очень пустой и тихий. Смутно темнели замершие лодки качелей, подымалось над черными деревьями страшно громадное колесо обозрения.

Было темно и по-прежнему жутко. «Хоть бы огонек какой...» — подумал Журка.

И тогда среди спиц колеса разгорелось большое светлое пятно, превратилось в ясный круг. Это была, кажется, луна, только очень яркая. Почти как солнце, но с голубоватым светом. И Журка понял, что теперь совсем не страшно. И что не стоило прятаться, потому что на нем был не костюм принца, а простая школьная форма. А от придворной одежды у него только шпага.

Журка вынул эту шпагу — не от страха, а на всякий случай — и стал спускаться с пригорка. И чем дальше он шел, тем яснее понимал, что оказался в парке не из-за косых взглядов прохожих. Он здесь, чтобы встретиться наконец с Ромкой.

Ромка был где-то совсем близко. Где? Почему не идет навстречу? Журка побежал. Свернул на боковую дорожку, выскочил на лужайку позади киоска. Здесь валялись пустые фанерные ящики...

Ромка стоял на краю лужайки. Он был какой-то странный, понурый, одетый в зимнее пальто и шапку. И на Журку не смотрел. Будто дремал стоя.

Журка подбежал, тряхнул его.

— Ромка! Ты чего такой? Почему так закутался?

Ромка вздрогнул, поднял глаза. Обрадовался, но сказал с мягким упреком:

— Конечно... Я тебя сколько жду. С самой зимы.

«Ой! — подумал Журка. — Почему же так получилось?»

Но Ромка уже улыбался, как всегда. Он сбросил с плеч пальто, размотал шарф, скинул в траву шапку. Теперь он был в такой же, как Журка, форме. Но тут же он снял и школьную курточку. И остался в знакомой желтой рубашке с черной ленточкой. Только на ленточке было вышито сейчас не «Windrose», а просто «Ромка».

— Ну, пойдем куда-нибудь, — сказал Ромка и протянул Журке руки. Как тогда, при знакомстве у школы. Журка взял его пальцы и... увидел на них несколько маленьких круглых бородавок. Он замер. Он вдруг ясно понял, что если поднимет взгляд, то увидит не желтую рубашку с черной ленточкой, а синюю, с цветными колечками на кармане. И темные, смотрящие из пугливой глубины глаза...

Он все же сделал усилие, посмотрел. Нет, это был по-прежнему Ромка, такой же, как раньше. Только теперь без улыбки. Медленно и задумчиво Ромка спросил:

— Ты отправил Иринке фотоснимки?

— Нет еще...

— А Горька...

— Что Горька? — с неожиданной тревогой отозвался Журка.

— Ты повесил его фотографию рядом с моей?

— Зачем?

Ромка сказал уклончиво:

— Ну... он же просил.

— Нет... Он не просил... Он не так... — с непонятным страхом забормотал Журка. А Ромка глянул потемневшими глазами и озабоченно проговорил:

— Странно, что он не пришел к тебе вечером. Он обещал. Даже хотел остаться ночевать...

«А ведь правда!» — ахнул Журка, вспомнив, как целый вечер ждал Горьку.

«Но ведь я еще не был дома!»

«Нет, был. А Горьки не было...»

Журка быстро сжал на прощанье Ромкины пальцы с маленькими бородавками, мельком успел все же заметить синюю рубашку с колечками и, скрутив себе нервы, разорвал сон.

...Светило в окно солнечное утро. Но остатки сна еще

стучали в Журке редкими тревожными ударами. И страх не проходил. Потому что в самом деле Горька вчера вечером не пришел, хотя и обещал...

Журка взглянул на будильник, было около шести. Он вскочил, уперся ладонями в стену, посмотрел на Ромкин портрет. Сказал с упреком:

— Ты чего снишься так по-дурацки?

Но Ромка улыбался ясно и открыто. Это был настоящий Ромка, не из тревожного сна. Он ничего не знал про Горьку...

Журка торопливо оделся, махнул из окна на тополь, спустился по стволу. Май — это еще не лето. Утро было безоблачное, но зябкое, и Журку сразу заколотил озноб. Особенно когда пришлось бежать через пустырь. Там вовсю разрослись лопухи, и сейчас они были в ледяной росе.

Дрожа от холода и тревоги, Журка примчался к Горькиному дому, встал на цыпочки, заглянул в полутемную комнату.

Напротив у стены стоял диванчик, и на диванчике Журка различил закутанный в одеяло ком. Из одеяло торчала нога. Ком зашевелился, нога торопливо спряталась, будто Журкин взгляд пощекотал ее. Журка засмеялся от облегченья и шагом, уже не боясь мокрых лопухов, двинулся домой. По тополю и через окно он забрался к себе в комнату. Там он опять улегся в постель и проспал до половины девятого...

Проснувшись, он уже знал, что будет делать. Нужно было увидеть Валерика. Зачем? Журка не мог себе объяснить, чувствовал только, что надо. Хотелось. Он почему-то стеснялся этого желания, но понимал, что не успокоится, пока не встретится с Валериком.

После завтрака Журка взял с гвоздя тонкую пластиковую сумку с рекламой сигарет «Мальборо» и побежал на троллейбусную остановку.

Первый троллейбус был, конечно, «дрынка». Журка огрел его по корме свернутой в трубку сумкой. Он нервничал. Ему казалось, что он может куда-то опоздать. Но тут подошла другая «шестерка».

Журка ехал и удивлялся, какой громадный город. Через полчаса потянулись улицы, где он еще никогда не бывал. Мелькнуло здание с колоннами, из-за которого уходила в вышину решетчатая телевышка, и Журка с холодком волнения подумал о завтрашнем спектакле. Но это будет

завтра. А сегодня... Журке казалось, что сегодня тоже случится что-то необычное.

Хорошее?

Или опять молния?

На Сельмаш приехали через час. Журка вышел на конечной остановке и растерянно оглянулся. Здесь все равно что в другом городе. Куда идти, где искать Валеркин дом?

Над широкой площадью поднимались шестнадцатиэтажные разноцветные дома. Из боковой улицы выкатил звенящий трамвай, и Журка от удивления приоткрыл рот: в центре трамваев не было, и он даже не знал, что они водятся в этом городе...

Журка ощутил на себе чьи-то взгляды. У киоска «Союзпечати» стояли три парня лет по четырнадцати и непонятно смотрели на Журку. Он сразу вспомнил рассказы о здешних ребятах, об их любимой поговорке: «К нам не суйся — мы сельмашевские». И правда, в этих парнях было что-то подозрительное. Вроде как в компании Капрала.

Журка коротко вздохнул, щелкнув себя по колену сумкой и с екнувшим сердцем пошел прямо к ребятам. Сказал, глядя в лицо самому высокому:

— Мне на улицу Механизаторов надо. Это далеко?

Парни оказались ничего. С усмешкой, но толково объяснили, что «пойдешь вон в ту арку, а там протопаешь квартал и вертай налево».

Журка так и сделал.

За площадью дома были пониже, а улица Механизаторов оказалась совсем тихой: с лужайками, палисадниками и деревянными штакетниками вдоль узких тротуаров.

Поглядывая на номера, Журка шагал мимо двухэтажных домов и неожиданно вышел на пустырь.

Пустырь был почти такой же, как у них на Парковой. Так же росли лопухи и валялись бетонные блоки. Среди лопухов и блоков гоняли мяч ребята. Совсем маленькие, класса из первого или второго. Они играли «в одни ворота». Штангами ворот служили два ржавых ведра. Между ведрами стоял мальчишка в широкой кепке, громадных перчатках и рыжем обвисшем свитере, из-под которого еле виднелись смятые в гармошку шортики.

Журка обрадовался. Потому что не надо было искать дом номер четыре и квартиру номер два. Потому что мальчишка был Валерик.

Журка подошел сзади и негромко сказал:

— Эй...

Валерик оглянулся. Испугался. Опустил руки, уронил с них перчатки. И Журка сразу понял, о чем он думает и чего боится. Ведь Журка сам вчера сказал: «Если чего, я к тебе приду...»

— Да все в порядке, — торопливо проговорил он. — Я к тебе так, по пустяковому делу. — Он развернул сумку. — Вот. Это вы вчера оставили?

Валерик, не понимая, смотрел то на сумку, то Журке в лицо.

— Я думал, это вы вчера забыли, — повторил Журка. — Вот и привез...

В глазах Валерика смешались радость и недоверие. Он чуть улыбнулся, тут же испугался своей улыбки и спросил:

— Ты из-за этой сумки?.. Нарочно приехал?

Журка небрежно сказал:

— Ну а что делать? Сумка лежит под вешалкой, я подумал, что ваша.

— Не... — прошептал Валерик и опять нерешительно улыбнулся. А Журка подумал с запоздалым страхом: «Вдруг бы сказал: наша? Тогда что?» Тогда ясно стало бы, что совести у Валерки нет и знаться с ним больше нечего. И сумку пришлось бы отдать, чтобы не выглядеть дураком. И от мамы бы влетело, эта сумка ей нравилась.

Но Валерик мотнул головой и снова сказал:

— Не... не наша.

Потом в глазах его опять метнулось опасение. И тогда Журка проговорил:

— С отцом все нормально, ты не бойся. Я к тебе не ради того случая ехал.

Валерка глубоко передохнул, опустил глаза и вдруг тихо сказал:

— Ну и не ради сумки...

Эти слова застали Журку врасплох. Он понял, что сейчас начнет что-то доказывать, бормотать какие-то глупости. И тогда, сердито мотнув головой, он сказал:

— Да. У меня к тебе один вопрос. Ну-ка, давай сядем. Вон там.

Валерик послушно пошел к бетонному блоку, сел, с беспокойством глядя на Журку. Малыши перестали гонять мяч и подходили пестрой стайкой.

— Подождите, — остановил их Валерик негромко, но по-командирски. Они остановились в десяти шагах.

А Журка встал перед Валериком.

— Я насчет зубов, — объяснил он.

Валерик удивленно заморгал.

— Покажи, пожалуйста, какой тебе зуб сверлили, — попросил Журка.

Валерик широко раскрыл рот и ткнул туда пальцем.

— Ы...

Журка присел и сделал вид, что внимательно разглядывает. Потом спросил:

— Сейчас не болит?.. Постой, не закрывай рот, так скажи. Не болит?

— Ых, — сказал Валерик, чуть мотнув головой. Это было явное «нет».

— Завтра опять к врачу?

— Ыхы, — согласился Валерик.

— «Ыхы» — это значит «да»? — уточнил Журка.

Валерик кивнул.

Журка выпрямился, коротко вздохнул, набираясь решимости, и сказал в упор:

— А теперь ответь. Вчера, когда тебя медсестра про меня спрашивала, брат я или нет, ты что сказал? «Ых» или «ыхы»?

Журка никогда не думал, что люди могут так сильно и стремительно краснеть. Валерик уронил голову, его щеки, уши и шея под черными нечесаными прядками сразу сделались вишневыми. Та же вишневая краска пошла по рукам, докатилась до ногтей. И наконец выступила даже на немытых коленках. Словно желая их спрятать, Валерка вцепился в них изо всех сил. Как вчера дома у Журки. Ногти побелели.

Журка взял Валерика за кисти рук, мягко, но решительно приподнял. Пальцы разжались, и на коленях остались от них белые пятнышки. Валерик не сопротивлялся, но и голову не поднимал. Журка сказал:

— А я знаю, как вывести бородавки...

— Как? — шепотом спросил Валерик. Краска на его ушах немного посветлела.

— А помнишь, как Том Сойер и Гек Финн их сводили?

— Кто? — бормотнул Валерик.

— Ты что, не читал про Тома Сойера?

— А, читал... Нам в классе читали, — вспомнил Валерик и наконец поднял лицо, стыдливо посмотрел на Журку. В глазах у Валерика была мольба: «Ты только больше не спрашивай меня про «брата», ладно?»

«Не буду», — глазами пообещал Журка и сказал:

— Читали, а не помнишь...

— Нет, я помню, — откликнулся Валерик. — Это с кошкой на кладбище... Это же все не по правде.

— Что не по правде? Том Сойер?

— Да нет. Про бородавки...

— А ты бы пошел на кладбище ночью?

Валерик улыбнулся слабо, но уже без опаски. Сказал доверчиво:

— Не... Это страшно...

— А я ходил. Ну так, чтобы себя проверить, — сказал Журка. Он вовсе не хвастался. Просто чувствовал, что надо продолжать разговор. Хоть о чем, лишь бы говорить. — Я ходил, и кошка там была. Только не дохлая. Вернее, кот. Его какие-то гады к кресту привязали... Теперь он у нас живет. Это в Картинске было, там кладбище недалеко от нашей улицы. Но оно не страшное, старое, вроде парка. Так что ничего особенного...

Валерик слушал, уже не пряча глаз. Потом сказал, сочувствуя Журке:

— Все-таки страшно... Все-таки это не парк.

— Ну конечно, не парк, в парке веселее, — согласился Журка. — А ты в парке часто бываешь?

— В каком?

— В каком! В центральном, конечно. Там, где всякие аттракционы.

— Не... Я только два раза, давно. Он же далеко.

— Не так уж далеко. Сел на «шестерку» и доехал без пересадок.

— Я знаю. Одному неохота...

— Ну... — сказал Журка, будто переступая черту. — Если хочешь, поехали вместе.

Валерик удивился, весь как-то вскинулся, недоверчиво помолчал и спросил:

— Когда?

— Хоть сию минуту, — стараясь говорить небрежно, отозвался Журка.

— Давай! — с торопливой готовностью сказал Валерик. Схватил с травы перчатки, задрал на животе свитер, сунул перчатки под резинку на поясе и опять опустил подол. Смешно получилось — будто под свитером надулся большой живот.

Журка засмеялся:

— Ты что, так пойдешь? В этом малахае и с таким пузом?

— Ой, правда, — виновато сказал Валерик. Скинул в

траву кепку, сдернул через голову свитер, бросил перчатки. Окликнул одного из малышей.

— Толька, я больше не играю. Надевай это все, если хочешь. Вставай за меня.

Бойкий веснушчатый Толька охотно забрал вратарское снаряжение, а Валерик робко спросил Журку:

— Так можно?

Он остался в белой майке с рукавами, на которой оранжевой и черной краской была напечатана улыбающаяся рожица тигренка. Она полиняла от многих стирок, но все равно глядела задорно, по-боевому.

— В самый раз. Поехали, — сказал Журка. И спохватился: — Подожди. Ты зайди домой, маме скажи, что поехал...

— Мамы нет, она еще не скоро придет, — чуть насупившись, объяснил Валерик. — Она к тете Лене поехала, чтобы насчет обмена комнаты договориться. Нам с этими соседями не житье...

Журку смутила его взрослая озабоченность. Но Валерик уже думал о другом. Он смотрел на Журку преданно, нетерпеливо и с беспокойством: «Ты не передумал?» И вдруг сказал:

— Может, ты думаешь, у меня денег нет? У меня полтинник есть. Вот... — Он неловко полез пальцами в плоский кармашек у пояса.

— У меня тоже есть, — весело откликнулся Журка. — На карусель хватит. У тебя голова на каруселях не кружится?

— Не-е...

### Не бойся грома...

Писать большие письма Журка не любил. Потому что рука не успевала за мыслями — все, что пишешь, получалось коротко и сбивчиво. Хорошо бы придумать машинку, которая читает мысли и сразу печатает их на бумагу.

«Ришка, здравствуй!

Это уже второе мое письмо. В первом я послал ленточку «Виндроуз» и рассказал, как мы с папой мчались в аэропорт и вдруг — камень. От тебя письмо я тоже получил, но ты, когда его писала, мое первое письмо не получила. А теперь, наверно, получила и снова напишешь. Да?

...Ришка, я про того Валерку, который бросил камень. Я его должен был ненавидеть, а злости у меня не появилось. Почему-то даже наоборот... Понимаешь, Ришка, он

беспомощный. И он на меня так смотрел, будто я для него последняя защита... В общем, я на другой день его разыскал и повез с собой в парк. Ну, в те места, где мы с тобой играли в прошлом году... Там теперь еще один новый аттракцион — «Спутник на орбите». А на железной дороге вагончики новые, разноцветные, а на них всякие звери нарисованы... Ришка, а во Владимире хороший парк? Там у вас в городе, говорят, кремль старинный на холме, красивый.. Может, и правда приеду. Мы там везде полазим, ладно?

...Я опять про Валерку. Сперва он какой-то боязливый был, а потом сделался... ну, обыкновенный. Даже веселый. Мы с ним в парке чуть ли не до вечера проболтались, все деньги на карусели и на мороженое извели. А есть-то знаешь как захотелось! Я ему говорю: «Пойдем к нам, пообедаем. Не бойся!» Ну а он, конечно, уперся. Да и я бы на его месте тоже... Тогда я знаешь что сделал? Повел его к Лидии Сергеевне. Чуть не силой затащил. А она обрадовалась. С Валеркой так же, как со мной, стала разговаривать. Будто давно его знает. Начала нас обедом кормить. Валерка опять будто заморозился, но потом ничего, оттаял. А тут еще Максимка с улицы пришел, начал меня и его вопросами донимать. С ним не заскучаешь, с Максимкой, ты же знаешь. Болтал, болтал, а потом мне говорит:

«Ты мне котенка подар-ри скор-рее». (Он на днях «р» начал выговаривать, старается теперь.)

Я говорю:

«Какого котенка?»

«Ну, Федот же когда-нибудь выр-родит котенка».

Мы с Лидией Сергеевной поглядели друг на друга и надуваться начали, чтобы хохот удержать. Потом я говорю:

«Ладно, если выродит, подарю».

А сам думаю: «Найду где-нибудь и принесу».

«Только р-рыжего».

«Рыжего трудно. Федот-то серый, а дети всегда на родителей похожи».

Он думал, думал и знаешь что придумал?

«А давай, — говорит, — покрасим его желтой кр-раской. А когда котенок уже будет, мы его опять отмоем».

Знаешь, Ришка, мы все чуть не взорвались от хохота. Даже Валерка... Он, между прочим, так хорошо смеется, весело, когда не боится. У него даже голос теперь немного другой стал, чище как-то.

Мы тогда долго сидели у Лидии Сергеевны, потому что

начался дождь с грозой. В эти дни у нас частые грозы. Мама боится и вздрагивает, а я люблю, когда грохает. Потому что гром — это не страшно, это уже после молнии. Если слышишь, как гремит, значит, молния ударила мимо... А какая у вас погода? У нас если нет грозы, то тепло и солнечно. И от этого хорошее настроение.

...Ришка, только одно плохо: Горька на меня опять надулся. Кажется, сильно. Потому что я целый день был в парке с Валеркой, а Горька меня ждал, ждал... Но, понимаешь, нельзя было, чтобы Горька и Валерка вместе. Пока нельзя. Валерка его боится. Вернее, стесняется как-то... Я Горьке вечером хотел объяснить: «Понимаешь, так получилось, ты не обижайся...» А он: «Я и не обижаюсь, насильно мил не будешь». И пошел домой.

Вот это меня сегодня сильно грызет.

А еще грызет что-то непонятное из-за сегодняшней съемки для телепередачи. Да нет, я не боюсь, что плохо сыграю, и даже не волнуюсь, только кажется, что может что-то случиться. Вот этого боюсь, сам не знаю почему... Но ничего, это я переборю. Я опять на всякий случай надену под майку свой старый пионерский галстук...»

Из-за съемки во всех классах отменили последние уроки (вот была радость в школе!). Учителя быстро отправили ребят по домам. Хорошо, что погода теплая — в раздевалке никакой суеты. Среди учеников нашлись несознательные личности, которые пытались укрыться в разных классах и кабинетах: им хотелось просочиться в зал и поглазеть на телекамеры и операторов. Однако этих нарушителей быстро выловили и проводили к выходу. Им осталось разглядывать громадный серебристый фургон с буквами TV и два автобуса, которые стояли у школьного крыльца. От фургона и автобусов тянулись к школьным окнам толстые резиновые кабели.

А в школе стало пусто и гулко, как в каникулы. Только в зале возились у больших глазастых телекамер и многочисленных светильников молодые бородатые дядьки, а в раздевалке спортзала натягивали на себя театральные костюмы участники спектакля. Да в учительской переговаривались учителя и завучи — одни остались по делу, другие из любопытства (их-то не выгонишь, как ребят)...

Журка украдкой поправил под футболкой галстук и торопливо натянул через голову узкую бархатную курточку с пышными рукавчиками у плеч и широким кружевным

воротником. Подошел к молчаливому Горьке, сказал тихонько:

— Застегни, пожалуйста...

Это означало: «Горька, не сердись на меня. Я нисколечко не хотел тебя обижать. Я же не виноват, что так получается...»

Горька неторопливо и старательно затянул у Журки под воротником застежку-молнию. И ничего не сказал.

— Спасибо, — подождав, проговорил Журка.

Горька, наверно, не слышал. Он уже влезал в клетчатый комбинезон дежурного шута.

«Ну и пусть! — с резкой досадой подумал Журка. — В чем я виноват?»

Он кинул на плечи плащ и, позванивая шпорами, пошел из раздевалки. Почувствовал, что Горька смотрит вслед, но оглядываться не стал.

По звонким пустым лестницам Журка поднялся в зал. Здесь то зажигались, то гасли жгучие белые рефлекторы. На сцене стояла декорация комнаты принца. За кулисами басовито вякали электрогитары и подавала голос флейта. Журкина тревога почти угасла. Стало расти привычное праздничное волнение — как всегда перед спектаклем.

Два бородатых оператора о чем-то негромко спорили с третьим — курчавым и темноволосым. Он держал в руках большой аппарат — видимо, кинокамеру. Что-то нервно говорил, качая камерой в сторону сцены. Потом отвернулся и, прихрамывая, отошел. Встретился взглядом с Журкой и вдруг улыбнулся. Незаметно, одними глазами, но так по-хорошему. Журка тоже улыбнулся и спросил:

— У вас кинокамера?

— Совершенно верно, ваше высочество, — отозвался курчавый оператор.

— А говорили, что будут на магнитную пленку снимать.

— Правильно, в основном на магнитную. А я на всякий случай, для подстраховки. И кое-какие детали снять надо...

— А-а... — сказал Журка и подумал: «Что бы еще спросить?» Ему не хотелось обрывать разговор. А оператор попросил:

— Слушай, ты не мог бы узнать у вашего начальства, есть у вас в школе электрик или нет? Осветители не могут подключиться, боятся все провода пожечь...

— Могу, — охотно сказал Журка. Вышел из зала и зашагал по пустому коридору к учительской.

Коридор был очень длинный. На желтых половицах

ровно лежали прямоугольники солнца. Журке казалось, что идет он долго-долго. И вдруг подумалось ему, что это не коридор, а улица в незнакомом городе, а свет падает на мостовую из окон домов. И стучат по деревянному тротуару каблуки, позванивают шпоры.

А впереди какая-то дверь, и что за ней — неизвестно. И это было предчувствие опасности...

Журка тряхнул головой, постучал и открыл дверь учительской.

Там были Вероника Григорьевна, Маргарита Васильевна, несколько полузнакомых учителей, завуч Виктор Борисович, еще одна завуч — Алла Геннадьевна — и даже директор Нина Семеновна. А чуть в стороне, у тумбочки с телефоном, стояла Эмма Львовна — командир всей телепередачи. Она отчетливо и решительно говорила в телефонную трубку.

— ...Да, я еще в пятницу предупреждала, что должен быть запасной рулон! Хорошо, проверьте. Нет, это надо сделать сейчас же. И сразу позвоните сюда, прямо в школу. Пятьдесят пять, семьдесят, ноль четыре... Нет, не Тихоновой, а Кергелен. Эмме Львовне Кергелен!

Она положила трубку, и Журке показалось, что сразу стало тихо-тихо.

Все смотрели на него.

— Ты что, Журавин? — спросила Маргарита Васильевна. — Хочешь сказать, что ребята уже готовы?

— Здравствуйте, — машинально сказал он.

— Здравствуй, здравствуй. Ну, в чем дело? Ты хочешь что-то спросить?

— Да... — проговорил Журка. — Нет... Я хотел сказать, что там ищут электрика... Но теперь, кажется, все равно...

— Почему все равно? — встревожилась Вероника Григорьевна. — Юра, что случилось?

Журка посмотрел на Эмму Львовну. Она, как и все, держала Журку под вопросительным взглядом. Журка глубоко вздохнул. Сделалось зябко, и стала надвигаться тишина — сильнее прежней. Похожая на оглушительный звон. Сквозь этот звон Журка громко спросил:

— Ваша фамилия Кергелен?

— Да. А в чем дело?

Журка опять вздохнул и спросил тише и решительней:

— Это вы в январе были режиссером передачи: «Подросток — проблемы и тревоги!»

— Да, я... Я постоянный режиссер этого цикла. А все-таки в чем дело?

Журка сказал устало, но твердо:

— Я не буду сниматься.

То, что было потом, Журка запомнил как отрывки. Яркие, но перемешанные.

Кажется, после своих слов он сразу повернулся и пошел из учительской. В раздевалку. Чтобы переодеться и поскорее уйти домой. На середине коридора его догнали. Маргарита и Эмма Львовна.

— Журавин, стой! Это что за фокусы?

И он понял, что ничего не кончилось.

— Это не фокусы. Я не хочу сниматься с этой... с этим человеком. Из-за нее уехала Иринка.

— Как ты разговариваешь! Какая Иринка? Что за чушь!

— Это не чушь! Когда она в своей передаче Иринкиного отца... А он не виноват! Даже не разобрались! А теперь я должен сниматься, да?!

Видимо, они поняли наконец, в чем дело. Только неясно, когда поняли: сразу или потом, в зале... Как все оказались в зале, Журка не помнил. Помнил только яркие лампы и шум голосов. Он почему-то стоял на сцене, сзади его обступали восьмиклассники в форме королевских гвардейцев, а перед ним стояли Маргарита, Эмма Львовна, учителя. И говорили, говорили наперебой. О том, что он не имеет права срывать... О том, что сейчас не время разбираться в старых обидах... О том, что та передача не имеет никакого отношения к этой... О том, что Журавин должен успокоиться, взять себя в руки и помнить о чести школы...

Он слушал, не перебивая. Но когда все умолкали, ожидая ответа, он говорил:

— Нет.

— Что значит «нет»? Журавин! Кто тебе дал право решать?!

А ему никто не давал. Он сам решил. Он так и сказал:

— Я сам.

Тогда взорвался Виктор Борисович. Он подскочил, затопал блестящими туфлями, замахал кулачками, визгливо закричал:

— Негодяй! Сопляк! Вылетишь из школы как пробка!

Журка закрыл глаза, но не шелохнулся. Что он еще

мог? Только стоять так и не двигаться. От крика, от угроз, от этого злого напора, от резкого света, который горел неизвестно зачем, Журка ощутил себя совсем беспомощным. Страха не было, но подкатили слезы, и Журка загнал их внутрь крупными глотками.

И когда загнал, стало легче.

— Не кричите на меня, — сказал он Виктору Борисовичу.

Тот задохнулся:

— Ах ты... На-хал! Дерзец!

— Тихо, тихо, товарищи... — Это поднялась на сцену директор Нина Семеновна. — Виктор Борисович, не волнуйтесь, у вас сердце... И давайте разберемся по порядку. Я уже в курсе... Товарищи, выключите там ваши прожекторы...

Сразу стало хорошо-хорошо. И светлый день за окнами показался мягким и спокойным. И Нина Семеновна была тоже спокойная, добродушная, уверенная, что в ее школе не может быть никакого беспорядка и несправедливости.

Журка передохнул.

Нина Семеновна присела на фанерный, расписанный бронзовыми завитушками диванчик. Оглядела всех. Гвардейцы-восьмиклассники отступили к самым кулисам. Там же растерянно топталась Лида Синявина в платье из мешковины и стоял сумрачный Горька.

— Товарищи, — укоризненно сказала Нина Семеновна. — Почему все, не разобравшись, накинулись на Юру Журавина? Разве у мальчика двенадцати лет не может быть своих принципов, своих убеждений? А если он в чем-то прав?

— Но, Нина Семеновна...

— Минуточку, Маргарита Васильевна. Журавин ваш ученик. Скажите, он был когда-нибудь злостным нарушителем дисциплины? Обманщиком? Трусом, ябедой, хулиганом?

— Нет... Правда, тот случай зимой...

— Я в курсе. В том случае Журавин действовал необдуманно, однако в этих действиях была своя правота. И свое благородство. Он защищал девочку. И сейчас... Сейчас Юра тоже поступает искренне. И наша задача не кричать на него, а спокойно объяснить, в чем он ошибается... А может быть, Юра, ты понял уже сам?

— Нет, — сказал Журка, и опять в нем натянулись все нервы.

— Тогда послушай... Допустим, в той передаче Эммы Львовны были свои просчеты...

— Простите, товарищ директор, но о моих просчетах... — взвинченно перебила Эмма Львовна.

— Одну секунду. Я сказала «допустим». Но посуди сам, Журавин, разве режиссер Кергелен хотела кого-то сознательно обидеть? Зачем ей это было нужно?

— Ей нужны были выразительные кадры, — дерзко сказал Журка. Потому что в его памяти как бы размоталась вся лента передачи. И снова он увидел залитое слезами, измятое лицо женщины, услышал ее беспомощный голос: «Я же его люблю, он же сыночек мой...» И теперь он четко знал, что это было лицо Валериной матери...

— Ей кинокадры, а людям горе. Ни над кем, даже над виноватыми людьми, нельзя так издеваться, — уже совсем бесстрашно проговорил Журка.

— Журавин, Журавин, — изменившимся голосом произнесла Нина Семеновна. — Ты позволяешь себе лишнее.

— Тогда отпустите меня домой, — тихо попросил Журка.

— Домой — это невозможно. Ты смеешься? А спектакль? Ты должен сниматься, это твой долг. Понимаешь? Д о л г.

— Нет.

Виктор Борисович, Маргарита Васильевна и завуч Алла Геннадьевна качнулись к нему. Директор остановила их движением ладони.

— Журавин... Здесь собрались десять взрослых людей. Опытных, знающих свое дело и, уверяю тебя, неглупых. И все говорят тебе: «Юра, ты ошибаешься». Почему ты не можешь нам поверить? Почему ты, еще мальчик, считаешь, будто ты прав, а все взрослые не правы?

У Журки заболела голова, словно опять зажглись рефлекторы. И он сказал сквозь эту боль:

— Взрослые, конечно, всегда правы. Но я еще не взрослый. Зачем мне эта ваша правота?

— Я тебя не понимаю.

— Брандукова не стала бы сниматься, если бы узнала, кто режиссер. А я, значит, должен быть предателем?

— Но Брандукова уехала во Владимир! — вмешалась Маргарита Васильевна. — Она никогда не увидит этой передачи!

— Если не увидит, значит, можно? — сказал Журка. И услышал резкий короткий смех. Это зло и непонятно засмеялся у кулисы Горька.

— Но кто же виноват, что все так сложилось! — воскликнула Маргарита Васильевна. — Нельзя же из-за одного случая срывать общее дело! Теперь с Брандуковой все равно ничего не исправить! Что же делать?

Журка не знал, что надо делать.

Но он точно знал, чего делать *не надо*. Не надо сниматься.

— Я пойду? — спросил у Нины Семеновны Журка.

— Никуда ты не пойдешь! — Она крикнула это уже без всякого добродушия. — Довольно комедий! Эмма Львовна, у вас все готово? Сейчас будем начинать!

— Нет, — сказал Журка. И увидел, как внизу у сцены ходит взад-вперед незнакомая седая дама (наверно, тоже с телестудии). Она ходила, держалась за виски и повторяла:

— Немыслимо. Немыслимо. Какой-то мальчишка... Этого не позволяют себе заслуженные артисты.

— Наверно, он думает, что передача нужна мне, — с резкой насмешкой произнесла Эмма Львовна. — Да объясните вы ему, что передача нужна тысячам зрителей. Нужна вашей школе. *Людям* нужна! И объясните ему, что простаивает техника! Из-за него. Он знает, во сколько обходится минута простоя телевизионной аппаратуры? А если студия предъявит счет его родителям? Они же не расплатятся всю жизнь!

Голова перестала болеть, но слегка кружилась. И было все как во сне, когда снится бой и очень обидно, что ты в этом бою один и не сможешь победить. Но это был не сон. Журка сказал:

— Сам расплачу́сь, если надо.

— Вы посмотрите! — воскликнула очкастая завуч Алла Геннадьевна. — Какой миллионер! Ты что, наследство получил?

— Да, — сказал Журка и подумал, что пусть. Дедушка не обиделся бы за книги. Он же сам писал: надо делать по-своему, если считаешь, что прав.

Откуда-то издалека, из зала, вдруг дошел до сцены спокойный и молодой голос:

— Зачем пугаете мальчишку? Кто его заставит платить? Он же не подписывал договор, чтобы сниматься...

Журка бросил взгляд в сторону телекамер и опять увидел курчавого оператора.

— А вас, Кошкарев, кто просил вмешиваться? — зло сказала Эмма Львовна. — Ваше дело — вспомогательная съемка.

— Если бы только это... — ответил оператор Кошкарев.

— Защитники нашлись... — бросила Эмма Львовна.

— Защитники не помогут, — сухо отозвалась Нина Семеновна. — Журавин должен понимать, что он срывает работу целой организации. Это как минимум стóит неудовлетворительной оценки по поведению за весь учебный год. И соответствующей характеристики...

Журка вспомнил Димку Телегина и сказал:

— Впереди еще пять лет, исправлю.

— Но ты, дорогой мой, не исправишь другого! — вмешалась завуч Алла Геннадьевна, которая ведала внеклассной работой. — Тебя вышибут... да-да, именно вышибут из пионеров! — Очки ее, похожие на свадебную эмблему, торжественно засверкали.

— За что?! — крикнул Журка. — Что я сделал? Воровал или хулиганил? Или предал кого-нибудь? Просто сниматься не хочу!

— Вот за э т о и будешь исключен...

— А вот и не буду! Отряд не даст! А без отряда нельзя.

— Отряд проголосует как нужно...

— А я галстук не отдам. Зубами вцеплюсь.

— Цепляйся, цепляйся. Доцепляешься... до колонии.

— Что вам от меня надо? — сказал им всем Журка. — Все равно я не буду сниматься. — И он вдруг заплакал. Неожиданно для себя. Все сильнее и сильнее. Неудержимо. Сел на диванчик, на котором недавно сидела Нина Семеновна. Прислонился щекой к покрашенному бронзовой пудрой подлокотнику.

Стало тихо-тихо. Журка слышал только свои всхлипы. Потом кто-то сказал чуть виновато:

— Ну вот, сам себя довел...

— Какая съемка, когда он в таком состоянии? — негромко и досадливо произнесла Эмма Львовна Кергелен.

И совсем тихо (наверно, думая, что Журка не слышит), возразила ей Маргарита:

— Да поймите вы, что дело не в передаче. В нем дело. Если мы его сейчас не сломаем, что будет потом? В шестом классе, в седьмом, в восьмом? То, что он делает, — н е п о д ч и н е н и е. Для школы это хуже хулиганства и воровства.

— Но вы его уже сломали, — пренебрежительно сказала Кергелен.

«Да? — подумал Журка. — Черта с два...»

Они решили, что если он плачет — значит, готов. Но слезы сами по себе, а он сам по себе. Он всхлипнул еще

раз, встал, вытер ладонями мокрые щеки со следами бронзового порошка и упрямо спросил:

— Можно мне идти домой?

Нет, его не пустили домой. Виктор Борисович закричал, что надо немедленно вызвать родителей.

— Они на работе, — сказал Журка.

Алла Геннадьевна подвела Веронику Григорьевну.

— Посмотри ей в глаза! Посмотри, посмотри. Она писала пьесу, старалась. А ты... Вероника Григорьевна, скажите ему!

Посмотреть? Ладно! Журка вскинул залитые слезами глаза. Но Вероника Григорьевна смотрела в сторону.

— Оставьте мальчика, — сказала она. — Пусть он решает сам. — И пошла, такая усталая и грузная, что под ней прогибалась сцена.

— Ты бестолочь, Журавин, — шепнула Маргарита. — Ты знаешь, что с тобой сделают ее восьмиклассники? Они тебе голову оторвут.

Ее услышали. В молчаливой шеренге восьмиклассников прошелестел невнятный шепот. Потом оттуда сказали:

— Никто его не тронет.

Журка узнал: это был Егор Гладков.

— Правильно! — подхватила Маргарита. — Потому что у вас есть благородство! А у него благородства ни на грош! Из-за своего каприза он подводит телестудию, подводит школу, своих товарищей, которые пришли на съемку, как на праздник!.. За что ты им так мстишь, Журавин? В чем виновата вот она? — Маргарита ткнула в сторону Лиды Синявиной. — Вот он! — В сторону длинного девятиклассника Олега Ножкина, который играл короля. — Вот он! — В сторону Горьки. Горька хмуро усмехнулся.

— А я в чем виноват? — с отчаянием спросил Журка. — В том, что не хочу быть предателем?

— О господи! Да нет здесь никакого предательства! Ты его выдумал! Ясно?! На самом деле его нет!

— Есть, — сказал Журка.

— Нет его, нет! — крикнула Маргарита, наливаясь помидорной краснотой.

— Иринка не стала бы сниматься. Я тоже не буду, я ее друг.

Снова откуда-то появилась Эмма Львовна.

— Мне эта передача не нужна! Но мы не можем сейчас тебе в угоду заменить режиссера.

— И не надо, — вдруг успокоившись, заявила Маргарита. — Журавин просто болен, оставим его. Вероника

Григорьевна, вы говорили, что Валохин знает роль принца не хуже Журавина, верно? Вот и пусть играет. А без шута можно обойтись. Как вы считаете?

— Как хотите, — издалека сказала Вероника Григорьевна.

— Вот и прекрасно! Валохин, переодевайся!.. Или, может быть, Журавин не даст свой костюм?

— Да нет, пусть берет... — растерянно сказал Журка. И добавил пренебрежительно: — Пожалуйста. Если хочет...

Он посмотрел на Горьку мокрыми презрительными глазами... и сразу подавился стыдом, как горячей кашей. «Ты что? — взглядом спрашивал его Горька. — Ты забыл? Забыл, как вечерами читали книги о плаваньях и бурях? Как я учил тебя летать на веревке? Как ты бежал за моим отцом и кричал, что я не виноват? Как мы там, на баррикаде из ящиков, стояли плечом к плечу... Думаешь, ты один такой гордый, а остальные — тьфу?»

«Горька, я...»

«Ладно, подожди...»

Горька сложил на груди тонкие клетчатые руки и сказал со спокойным удивлением:

— Надо же... А меня и не спросили.

— А тебя и не спросят, — с угрожающей ласковостью разъяснила Маргарита. — Ты будешь делать, что скажут. Иначе живенько сообщим отцу, а он выпишет тебе, что положено...

Журка повернулся к ней так, что отлетела шпора.

— Вы что... — с тихой яростью сказал он. — Вы...

Но Горька перебил его. Он ответил негромко и чуть лениво:

— Не выпишет. Он от нас ушел.

«Правда?» — с удивлением и тревогой взглянул на него Журка.

«Правда».

Так вот почему Горька был в эти дни такой... Пришелся и по нему злой удар. А может, и не удар? Может, это лучше? Ведь Горька жил при отце в постоянном страхе... Но почему в страхе? Откуда берутся такие отцы? Как ни поверни — все равно горе.

И никакая машина не поможет, дурак он был, Журка. Думал: тысячи спутников над всей Землей, лучи, волны, пульты с миллионами сигнальных огоньков! Нажал кнопку — и отвел чье-то горе. А как отведешь, если горе делают сами люди? Если кому-то в радость чья-то боль? Если

одни смеются, когда другие плачут? Тут все пульты задымят сгоревшими предохранителями, полопаются все сигнальные лампочки, и спутники посыплются, как битые елочные игрушки...

— ...Журавин, ты слышишь?

— Что?

— В последний раз тебя спрашивают: ты всерьез намерен сорвать телезапись?

...И опять лица, лица. Трясутся налитые помидорным соком щеки Маргариты. Блестят очки Аллы Геннадьевны. Рот Виктора Борисовича то сжимается в крошечную розочку, то превращается в черную дыру. Криво изгибаются нарисованные губы Эммы Львовны Кергелен. Гневно возносятся на лоб тонкие брови Нины Семеновны.

— Журавин!..

— Журавин!..

— Журавин!..

То крик, то опять спокойные и убедительные слова. Такие правильные! Ведь в самом деле, срывается передача, простаивает съемочная техника, обижена Вероника Григорьевна, чуть не плачет Лида Синявина — ей так хотелось увидеть себя на экране! И все из-за него, из-за Журки...

— Журавин, как ты не можешь понять?..

Он может. Он все понимает. Под лавиной справедливых слов, под их громадной взрослой правотой сжимается в крошечный комок его собственная правота.

В комок? В маленький неразбиваемый кристалл с колючими углами и гранями.

— Жу-ра-вин!

— Да подождите! — отчаянно сказал он и прижал к лицу ладони. — Ну, подождите, дайте подумать...

И сразу все замолчали. И в наступившей тишине было слышно только дыхание, а потом еще — еле различимый свист. Кто-то про себя насвистывал в зале песенку. И Журка догадался кто. И песенку вспомнил: про кораблик и дальние острова. Она звучала сквозь дыхание тех, кто ждал Журкиного ответа.

А чего они ждут? Когда он оторвет от лица ладони и скажет, что согласен? Они не знают, что он обманывает. Ни о чем он не думает, ничего не решает. Просто закрылся, чтобы хоть минуту отдохнуть от их напора, от угроз и

уговоров, от слов — таких верных и справедливых, что с ними невозможно спорить. Как он может спорить? Что он возразит этим людям, которые сильнее, умнее, старше?

Журка опустил руки, потрогал языком заросший рубчик на нижней губе и сказал:

— Нет.

* * *

Вот здесь бы и кончить повесть о Журавленке и его друзьях. Но не получается. Из-за одной мелочи. Когда Журку и Горьку все же отпустили (а вернее, гневно прогнали), оказалось, что внизу, у спортзала, заперта раздевалка.

Техничка тетя Лиза сердито сказала:

— Ничего не знаю. Не велено открывать. — И ушла, ворча и звеня ключами.

— Отомстили, — хмыкнул Горька.

— Глупо, — сказал Журка. — Думают, что ли, что мы обратно пойдем?

Он устало сел на скамейку у дверей. Горька тоже. В окнах стоял пасмурный свет, и это ничуть не удивило Журку. Столько времени продолжался этот бой там, наверху! Конечно, уже вечер...

Журка поставил перед собой шпагу, уперся щекой в рукоятку. Посмотрел на Горьку. Тот сидел, уронив руки между колен, обтянутых шахматными штанинами.

— Правда отец ушел? — спросил Журка.

— Правда. Три дня назад.

— Горька... Плохо, да?

— Не знаю... Мать изводится.

— Горька, ты... Ты меня прости.

— За что? — как-то необычно ласково спросил Горька.

— За все. За вчерашний день.

— Ой, да ладно тебе. Я же понимаю...

— С этим Валеркой... Видишь, он...

— Да понимаю я. Куда тебе деваться, раз он сказал про брата... Наверно, у каждого человека должен быть брат...

— Наверно, — сказал Журка и поднял голову.

И Горька поднял голову. И убрал с глаз медные пряди.

— Я про это не раз думал, — сказал Горька.

— Про брата? Чтобы у каждого?

— Да.

— Тогда давай, — сказал Журка. После того, что было в зале, после спора и упорства, слез и решительности он

чувствовал, что надо теперь говорить без ненужного смущения — честно и ясно. Такая пришла минута.

— Давай, — отозвался Горька, и глаза его посветлели.

— Давай. Чтобы ты, и Валерка, и Ришка, и я... Ведь это же можно!

— Можно.

— Это будет в тысячу раз лучше машины...

— Какой машины?

— Да так, это моя фантазия... Потом я расскажу.

— Ты расскажи...

— Вот пойдем домой, и расскажу.

— Ладно... А как пойдем? Не в этом же! — Горька дернул себя за пышный манжет на узком рукаве.

«Да, в самом деле, — подумал Журка. — Но, значит, надо идти к Маргарите, просить, чтобы открыли раздевалку...»

— Нет уж, туда я больше не пойду, — сумрачно сказал он.

— Я тоже...

— Лучше уж так идти домой... Нет, правда. Три квартала пробежать. Если кто удивится и спросит, скажем: из драмкружка. Что особенного? А форму и сумки потом отсюда заберем.

— Тебе-то хорошо, ты все-таки принц. А я в этом клоунском наряде... Всем людям на потеху... Лучше уж совсем голым.

— Придумаешь тоже...

— А чего? Никто и не удивится, наоборот, скажут: молодцы. Скинули одежду, чтоб не замочить, и лупят в трусах под дождем!

— Под каким дождем?

— Ты что, не видишь?

За окнами прошелся по листьям резкий ветер, закрутились на асфальте пыльные вихри. И Журка наконец понял, что совсем еще не вечер, а просто надвинулась грозовая туча.

Мигнул розовый свет, а через несколько секунд прокатился над школой рокочущий гул. И ударили по стеклам большие капли.

— Ура! — сказал Журка. — Погода за нас! Ну-ка, расстегни мне сзади воротник...

— Давай... Готово. Журка, а зачем у тебя галстук под майкой? Я еще утром заметил...

— Надо. На счастье.

Они скатали в тугие муфты свои придворные доспехи

и выскочили в тамбур. Дождь с нарастающей силой бил по автобусам у крыльца, над серебристым фургоном висела белая водяная пыль.

— Ну дает, — сказал Горька и зябко переступил тонкими ногами.

— Да ничего, прорвемся! Нам не страшен серый волк! Бежим?

— Ага! Раз, два...

— Нет, постой! Вот как трахнет гром — сразу рвем!

Гром трахнул немедленно. И они бросились под упругие безжалостные струи. Ой-ей-ей, какие холодные!

Но это сперва холодные. А потом — ничего. Только очень уж здорово хлещут.

Сквозь ливень, сквозь мгновенные розовые вспышки и грохот майской грозы Журка и Горька мчались вниз по Крутому переулку. Журка почти захлебывался ливнем. Скользкий асфальт больно бил по босым пяткам и вырывался из-под ног. Промокший галстук (Журка его так и не снял) прилип к телу. Было жутковато и весело.

— Журка, не отставай!

— Я лечу! Только очень скользко!

Их обгоняли бурливые ручьи. Вернее, это был уже один поток, несущийся по мостовой и тротуарам.

Внизу, недалеко от Парковой улицы, вода с ревом срывалась в черный провал — в широкую, сантиметров тридцать, щель, которая открылась на мостовой и как бы разрубила правую часть дороги.

— Во какая пасть! Водопады глотает! — на бегу крикнул Горька. И оглянулся: — Журка, ты что?

А Журка стоял. Вода бурлила у его щиколоток и уносилась в гудящую пустоту. Журка сделал осторожный шаг — ближе к провалу. Пласт лопнувшего асфальта упруго закачался под ступнями.

— Ты чего! — заорал подлетевший Горька. — Смоет! Или провалишься!

— А что там такое?

В это время огненная линия полоснула над крышами и трахнуло так, что, казалось, на секунду остановился дождь. А потом захлестал пуще прежнего.

Черная пустота втягивала в себя потоки.

— Что там?! — опять крикнул Журка.

— Черт его знает! Какой-то подземный канал открылся или труба! Канализация какая-нибудь!

— Нет! Там целое подземелье! Как это могло случиться? Под самой дорогой! Крепеж разрушило, что ли?

— Не знаю! Потом разберемся! — закричал Горька. Струи лупили его по худым плечам и по голове с облипшими волосами. — Бежим!

— Подожди! А может, это подземный ход с Маковой горы?

— Может быть! Бежим!

Но Журка стоял. Он-то был сыном шофера. Он знал, что случится, если на скользкой дороге врежется передними колесами в эту щель автомобиль.

— Машина может грохнуться!

— Да не грохнется! Здесь они не ходят!

— А если на улице Мира опять проезд зальет? Все машины сюда повернут!

— А что делать?! — крикнул Горька и присел от громового удара.

— Беги в школу! Скажи кому-нибудь, чтобы позвонили в ГАИ. Егору скажи!

— Бежим вместе!

— Да нельзя вместе! Я сигналить буду, если поедут! Вот, галстуком! — Журка дернул на шее слипшийся галстук. — Беги, ты в кедах, а у меня ноги скользят!

Горька рванул навстречу потокам и ливню. И на середине переулка скрылся за водяной завесой.

Журка оглянулся. До этого момента он не чувствовал холода, он был как бы сам частью стремительного дождя. Но сейчас задрожал.

Над тротуаром на высоте второго этажа горело окно. Там, в доме, зажгли очень яркую лампу, и широкий квадратный луч пробивался сквозь сверкающую толщу ливневых струй. Он чуть наклонно шел над мостовой и рассеивался на другой стороне улицы.

Журка машинально встал под этот луч, будто здесь было теплее.

Видимо, над Крутым переулком был самый центр грозы. Молнии стреляли уже не розовым, а белым светом, и гром трахал за ними сразу, без малейшей задержки. Журка пригибался от взрывов электрического треска, но делал это машинально. Он знал, что грома бояться нечего...

После очередного удара он не услышал, а, скорее, угадал, что сверху надвигается машина. И правда, за стеною ливня забрезжили размытые пятна горящих фар, а чуть позже проступил квадратный силуэт автобуса или автофургона.

Теперь все пошло очень быстро. Журка бросил к ногам

сверток с одеждой, наступил на него, чтобы не смыло, рывками растянул на шее узел, вскинул в кулаке галстук. Но ткань была темная от воды, струи прижали ее к руке.

«Не заметят, — понял Журка. — А если и заметят, ничего не поймут».

А когда поймут, будет поздно!

Если бы галстук на свет!

Но луч шел высоко над головой — не достать, не допрыгнуть.

Журка нагнулся, выхватил из одежды шпагу. Ножны отлетели, и вода смыла их в провал. Журка намотал галстук на конец клинка, затянул узел, вскинул тонкий клинок над головой. Все равно не хватало высоты. Чуть-чуть! А тяжелый автомобиль шел, шел, шел, и его фары расцветали за стеклянной стеной ливня, как громадные подсолнухи.

Журка встал на цыпочки и яростно тянулся к лучу. Наконец — то ли кто-то шевельнул в доме лампу, то ли сам Журка через силу рванулся по вертикали — луч коснулся галстука. Сырой клубок ткани налился неярким, но отчетливым багровым светом.

Теперь заметят! Если не смогут затормозить, то, в крайнем случае, отвернут. Лишь бы устоять, не упасть...

И он стоял, вытянувшись вверх, и каждая жилка стонала в нем, дрожа от яростной и нервной силы. Струи били по лицу, но он не закрывал глаз и смотрел на свой крошечный красный сигнал.

Опять вспыхнула над головой трескучая оглушительная звезда. Журка пригнулся и вытянулся вновь.

«Если ударит в клинок, я, наверно, не услышу грома», — подумал он. И стоял...

Молнии рубили ливневое пространство над соседними крышами, и каждая могла пройти обжигающим ударом через тонкую сталь клинка и струны Журкиного тела.

Не ударит? Не попадет?

Может быть, нет.

На этот раз, наверное, нет...

Но впереди еще столько гроз...

И если вы увидите под ливнем и молниями Журавленка, пожалуйста, поспешите ему на помощь.

Поспешите, как спешили восьмиклассники, поднятые отчаянным Горькиным криком.

1981 г.

Содержание

СКАЗКИ
СЕВКИ ГЛУЩЕНКО
*Повесть* 5

Что такое стихия 6
Школьные заботы 18
«Белая лошадь — горе не мое» 32
Два поэта 43
Суровое решение 53
Дуэль 62
О чудесах, сказках и жизни всерьез 69
День рождения 81
Бремя славы 94
Алька 104
Вот такая разная весна 117
Последняя сказка 127

КОВЕР-САМОЛЕТ
*Повесть* 143

Глава первая 145
Глава вторая 153
Глава третья 159
Глава четвертая 167
Глава пятая 172
Глава шестая 178
Глава седьмая 187
Глава восьмая 196

Глава девятая 199
Глава десятая 204
Глава одиннадцатая 210
Глава двенадцатая 216
Глава тринадцатая 231
Глава четырнадцатая 237
Глава пятнадцатая 245
Глава шестнадцатая 252
Глава семнадцатая 259

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА
*Повесть* 277

Глава первая 278
Глава вторая 286
Глава третья 296
Глава четвертая 304
Глава пятая 316
Глава шестая 322
Глава седьмая 328
Глава восьмая 342
Глава девятая 353
Глава десятая 370
Глава одиннадцатая 377
Глава двенадцатая 387
Глава тринадцатая 395
Глава четырнадцатая 407
Глава пятнадцатая 415

ЖУРАВЛЕНОК И МОЛНИИ
*Роман для детей и взрослых* 421

**Вступление** 422
Журавленок 422

**Часть первая** 436
Игра и не игра 436
Наследство 436

Кто такие «витязи»? 450
Ночные приключения 459
Побег на рассвете 472
Засада 484
Не игра... 494
Капрал и компания 504
**Часть вторая** 511
Крушение 511
Сентябрьские дни 511
Встреча 522
Детективная история 535
Крушение 549
Про машину счастья 559
Возвращение 567
Стенка 574
**Часть третья** 585
Еще одна сказка о Золушке 585
Сверкающая туфелька 585
Цветной телевизор 593
Шумный день 599
В маленьком королевстве 608
Бал 620
Апрель 633
Молния 638
Валерик 648
Опыт разговора с открытым ртом 665
Не бойся грома... 678

**Владислав Петрович Крапивин**

Собрание сочинений

Тома 4 и 5.

Редактор В. В. Артюшина
Художник П. В. Крапивин
Художественно-технический
редактор Н. Н. Заузолкова
Корректоры Т. А. Дрябина,
Н. Л. Федотовских

Сдано в набор 30.03.92. Подписано в печать 19.10.92. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 37,0. Усл. кр.-отт. 37,2. Уч.-изд. л. 41,3. Тираж 80 000 экз. Заказ № 280. С 3.
Независимое издательское предприятие «91», 620086, Екатеринбург, Посадская, 44-1-48. Малое предприятие «Книга». 614001, Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

**Крапивин В. П.**

К78 Собрание сочинений: В 9 т. — Екатеринбург: Независимое издательское предприятие «91», 1992. — Т. 4 и 5. — 604 с.: илл.

В девятитомное Собрание сочинений известного детского писателя В. Крапивина вошли наиболее популярные и любимые читателем произведения, написанные за более чем тридцатилетний творческий путь. Тома сформированы не по хронологическому принципу, в зависимости от времени создания произведения, а тематически. Первый и второй тома несут на себе автобиографический след, третий, четвертый и пятый по проблематике можно было бы назвать «семья и школа», далее следуют сказочные повести, повести о морских приключениях, фантастика. В замыкающем томе новая и одна из последних по времени вещь «Синий город на Садовой».

Адресуется всем любителям творчества В. Крапивина и тем, кто еще не открыл для себя этого мастера художественной прозы.

К $\frac{4803010201-000}{92}$ 3—92 ББК 84Р7